

К.В. ГОРШКОВА Е.А. ХАБУРТАЕВ

Историческая
грамматика
русского
языка

К.В. ГОРШКОВА Г.А. ХАБУРГАЕВ

Историческая
грамматика
русского
языка

Допущено
Министерством
высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве учебного пособия
для студентов
филологических специальностей
университетов

МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1981



ББК 81.2Р

Г70

Рецензенты:

*кафедра русского языка Ростовского университета;
проф. Горшков А. И. (Институт русского языка АН СССР)*

Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.

Г70 Историческая грамматика русского языка: Учеб. пособие для ун-тов. — М.: Высш. школа, 1981. — 359 с.

В пер.: 1 р. 20 к.

В учебном пособии освещаются теоретические вопросы исторического изучения языка. История языка представлена в его диалектном многообразии. Вместе с тем авторами предпринята попытка преодолеть сложившееся в русской лингвистической традиции изложение истории языка как отдельных звуков и форм и предложить историю развития системных отношений, т. е. раскрыть закономерности формирования современной фонологической системы и морфологического строя.

Г $\frac{70102-098}{001(01)-81}$ 128—80

4602010000

ББК 81.2Р

© Издательство «Высшая школа», 1981

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое пособие подготовлено в соответствии с новой программой по истории русского языка для университетов, утвержденной в 1977 г. Однако отдельные разделы программы не нашли отражения в книге. Так, в пособии не говорится о синтаксисе, поскольку недавно переиздана работа А. Н. Стеценко «Исторический синтаксис русского языка» (1977). Отсутствуют также разделы исторической лексикологии и словообразования: наша наука еще не накопила материала для систематического обобщенного изложения соответствующих проблем в общем курсе истории языка; эти проблемы могут освещаться в специальных курсах.

Историческая фонетика и историческая морфология, разработанные в пособии наиболее полно, содержат новые данные, обогатившие науку о русском языке в последние годы. Прежде они не учитывались в общих пособиях по истории языка. Но принципиальное отличие данного пособия от существующих учебных книг по истории русского языка заключается в особенностях интерпретации материала.

Авторы последовательно реализуют тезис о том, что историческая грамматика как научная и учебная дисциплина противопоставляет истории литературного русского языка своим объектом, так как исследует (и излагает) историю народно-разговорного, а не книжно-литературного языка. В этой связи в пособии уделяется (вслед за А. А. Шахматовым) преимущественное внимание диалектному материалу как основному источнику исторической грамматики русского языка, а материал древних памятников письменности, который по-прежнему остается важным источником историко-лингвистических реконструкций, используется критически и постоянно корректируется показаниями диалектологии и лингвистической географии.

Авторами предпринята попытка преодолеть сложившееся в русской лингвистической традиции изложение истории языка как истории отдельных звуков и форм и предложить читателю историю развития системных отношений. Такой подход позволил по-новому взглянуть на многие, казалось бы, достаточно уже разработанные в нашей науке интерпретации, увидеть причинно-следственные связи языкового развития там, где до сих пор они казались скрытыми от глаз исследователя.

Авторы в равной степени несут ответственность за содержание пособия; материал раздела «Имя прилагательное» подготовлен доцентом Ростовского педагогического института О. В. Горшковой. Авторы благодарны товарищам по кафедре и многочисленным коллегам из научных учреждений и вузов Москвы и других городов, читавшим в рукописи текст пособия или его отдельных разделов, а также рецензентам книги проф. А. И. Горшкову и коллективу кафедры общего языкознания Ростовского университета, чьи замечания во многом помогли подготовке книги.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Ап.* — псковский Апостол, 1307 г.
Арх. ев. — Архангельское евангелие, 1092 г.
Бел. гр. — белгородские грамоты, XVII в.
Белевск. гр. — белевские грамоты
Вит. бер. гр. — Витебская берестяная грамота, рубеж XIII—XIV вв.
Вкл. Варлаама — Вкладная грамота Варлаама Хутынского монастырю, после 1192 г.
Вор. гр. — воронежские грамоты, XVII в.
Гал. ев. — Галицкое евангелие, 1266 г.
Гал. ев. 1144 — Галицкое евангелие, 1144 г.
Гр. — Грамота
Двинск. гр. — грамоты XV в., связанные с поселениями по нижнему течению Сев. Двины.
Добр. ев. — Добрилово евангелие, 1164 г.
Дог. гр. — договорные грамоты
Дух. гр. — духовные грамоты (завещания)
Ев. — евангелия
Елецк. гр. — елецкие грамоты, XVI—XVII вв.
Жит. Евфр. Пск. — Житие Евфросина Псковского, XVI в.
ЖН — Житие Нифонта, 1219 г.
Зл. — Златоструй, XII в.
Изб. 1073 (1076) — Изборники великого князя Святослава Ярославича 1073 и 1076 гг.
Ип. лет. — летопись по Ипатьевскому списку, ок. 1425 г.
Иуд. в. — История иудейской войны — древнерусский (XII в.) перевод сочинения Иосифа Флавия, по списку XVI в.
Каз. лет. — Казанский летописец
Книга о ратном строении — военное руководство «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», 1647 г.
К. Туровской — сочинения Кирилла, епископа Туровского, XII в., по спискам XV—XVI вв.
Купч. — купчие
Курск. гр. — курские грамоты, XVII в.
Курск. отк. кн. — Курская отказная книга, 1639 г.
Курск. сыскн. дело — курские сыскные дела, XVII в.
Лавр. лет. — «Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку, 1377 г.
Леств. — Лествица, XII в.
Мил. ев. — Милятино евангелие, 1215 г.
Мин. — новгородские служебные мишей за сентябрь, октябрь и ноябрь, по рукописям 1095, 1096 и 1097 гг.
Моск. гр. — московские грамоты, XIV—XVII вв.
Моск. ев. — Московское евангелие, 1339 г.
Моск. лет. — Московский летописный свод, конец XV в.
Мст. гр. — грамота великого князя Мстислава Володимировича и его сына Всеволода, ок. 1130 г.

Надпись 1068 — надпись на Тмутараканском камне, 1068 г.
Новг. бер. гр. — новгородские грамоты на бересте из раскопок 1951—1976 гг.
Новг. гр. — новгородские грамоты на пергамене
Новг. ев. — Новгородское евангелие, 1270 г.
Новг. кормч. — Новгородская кормчая, 1282 г.
Новг. лет. — Новгородская I летопись по Синодальному списку, XIII—XIV вв.
Новг. II лет. — Новгородская II летопись, по списку XVII в.
Новг. сл. — Новгородский служебник, XIV в.
Новосильск. гр. — новосильские грамоты
Об. гр. — обоянские грамоты
Оск. гр. — грамоты из Ст. Оскола, XVII в.
Остр. ев. — Остромирово евангелие, 1056—1057 гг.
Пар. — Паремейник, 1271 г.
Печ. пат. — Печерский патерик
Пол. гр. — полоцкие грамоты, XIII—XIV вв.
Пр. — новгородский Пролог, 1432 г.
Псалт. — Псалтырь, XIV в.
Пск. гр. — псковские грамоты, XIV—XVI вв.
Пск. лет. — Псковская летопись, XV в.
Пск. Паракл. — псковский Параклитик, 1386 г.
Пск. Пролог — псковский Пролог, 1383 г.
Пут. мин. — Путятинна минея, XI в.
Радз. лет. — Радзивилловская летопись, конец XV в.
Рижск. гр. — грамота рижских ратманов витебскому князю Михаилу Константиновичу, ок. 1298—1300 гг.
Р. пр. — «Русская правда» по списку новгородской Кормчей, 1282 г.
Ряз. гр. — рязанские грамоты
Ряз. кормч. — Рязанская Кормчая, 1284 г.
Савв. кн. — Саввина книга
Сб. — Сборник
Син. пат. — Синайский патерик, XI в.
Сл. Ипп. — Слово Ипполита, XII в.
Сл. ПИ — «Слово о полку Игореве», XII в.
Смол. бер. гр. — смоленские грамоты на бересте XIII—XIV вв., из раскопок 1952—1968 гг.
Смол. гр. — смоленские грамоты, XIII—XIV вв.
Суд. — судебники, XV—XVII вв.
Сузд. лет. — Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку, XIV в.
Тверск. гр. — тверские грамоты
Тверск. лет. — Тверская летопись
Улож. — Соборное Уложение царя Алексея Михайловича, 1649 г.
Усп. сб. — Успенский сборник, XII—XIII вв.
Уст. лет. — Устюжский летописный свод, XVI в.
Хож. Игн. См. — Хождение Игн. Смольнянина, 1392 г., по списку XV в.
Чернавск. гр. — Чернавские грамоты
Чуд. Нов. зав. — Чудовский Новый завет, приписываемый митрополиту Алексию, XIV в.
Юрьевск. ев. — Юрьевское евангелие, ок. 1120 г.
Ябл. гр. — яблоновские грамоты, XVII в.
Яр, гр. — ярославские грамоты, XV в.

* * *

<i>авгст.</i> — авестийский	<i>гр.</i> — греческий
<i>бел.</i> — белорусский	<i>дв.</i> — двойственное (число)
<i>в.</i> — вид	<i>диал.</i> — диалектныи
<i>в.-луж.</i> — верхнелужицкий	<i>др.-</i> — древне-
<i>в.-сл.</i> — восточнославянский	<i>ед.</i> — единственный
<i>вм,</i> — вместо	<i>жен.</i> — женский

инд. — индийский
книжн. — книжное
л. — лицо
лат. — латинский
мн. — множественное
муж. — мужской
нем. — немецкий
несов. — несовершенный
н.-луж. — нижнелужицкий
польск. — польский
прасл. — праславянский
прост. — просторечное
р. — род

разг. — разговорное
русск. — русский
сербск. — сербский
слов. — словацкий
сов. — совершенный
совр. — современное
ср. (р.) — средний (род)
ст.-сл. — старославянский
укр. — украинский
фр. — французский
цсл. — церковнославянский
ч. — число
чешск. — чешский

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

§ 1. Как наименование научной и учебной дисциплины «историческая грамматика» — название условное, не покрывающее полностью ее объекта, ибо содержанием этой дисциплины является характеристика всех уровней языковой системы в различные исторические эпохи. Таким образом, историческую грамматику можно определить как науку, изучающую формирование и развитие всех уровней языковой системы и ее отдельных составляющих (в традиционном определении — звуков и форм). Поскольку в центре внимания исторической грамматики находится языковая система, а не речевая деятельность, то ее основными (и практически наиболее полно разработанными) разделами являются историческая фонетика и историческая морфология, а ее основной задачей является выявление общих закономерностей и тенденций преобразования разных уровней языковой системы, которые обнаруживаются в последовательной смене синхронных состояний, восстанавливаемых для разных исторических периодов русского языка.

§ 2. В русской языковедческой традиции историческая грамматика как часть науки об истории русского языка связывается с изучением не кодифицированной литературной, а живой разговорной речи в ее историческом развитии. Понимаемый таким образом объект исторической грамматики (в отличие от объекта истории русского литературного языка) означает, что соответствующая научная дисциплина исследует языковую систему, реализующуюся в повседневной разговорно-бытовой речи. Если учесть, что на протяжении многих столетий, вплоть до начала формирования нации, средством живого повседневного общения была диалектная речь, на базе которой в период образования великорусской народности оформляется московское койне, лежащее в основе норм современного русского литературного языка, то традиционный объект исторической грамматики предстает как диалектный язык, а сама историческая грамматика оказывается, таким образом, тесно связанной

с исторической диалектологией как наукой об образовании, развитии и взаимодействии диалектов русского языка.

Объединяясь с исторической диалектологией общностью материала, историческая грамматика как научная дисциплина отличается от нее своеобразием задач и перспективами исследования. Если историческая диалектология исследует диалектный язык в плане образования и истории каждого отдельного диалекта, выявления места соответственных диалектных явлений в системе разных диалектов¹, а историей диалектного взаимодействия интересуется лишь постольку, поскольку она необходима для понимания динамики диалектного развития, то историческая грамматика акцентирует внимание на общих закономерностях истории народно-разговорного языка во всей совокупности его говоров, а историей взаимодействия диалектов интересуется с точки зрения их объединения в единую «систему систем», в составе которой осуществляются процессы нивелировки диалектных различий, ибо перспективой изучения диалектного языка в плане исторической грамматики является процесс формирования центрального (московского) говора как базы общенациональной системы норм русского языка.

§ 3. Историческая грамматика как часть науки об истории русского языка тесно связана с историей литературного русского языка, прослеживающей пути становления, развития и преобразования системы книжно-литературных норм, использовавшихся в разные периоды истории народа в письменном творчестве. Со времени появления книжно-литературного языка он обслуживал то же общество, система разговорного языка которого исследуется исторической грамматикой, а потому на всех этапах своей истории находился во взаимодействии с обиходно-разговорной речью народа. Это взаимодействие было менее регулярным в эпохи существования народностей (древнерусской — до XIII—XIV вв., великорусской — после XIV в.) и более тесным — со времени формирования национальных отношений, когда складывается литературный язык русской нации, базирующийся на системе норм центрального (московского) говора и постепенно оттесняющий на периферию местные говоры как средство повседневного общения. Изучая разные по своим функциям средства общения одного и того же народа (одной и той же народности, а затем нации), историческая грамматика и история литературного русского языка имеют, таким образом, «пересекающиеся» объекты исследования и используют одни и те же источники — памятники письменности разных исторических эпох; однако методы исследования и отношение к источникам у этих двух дисциплин принципиально различны.

¹ О понятии соответственного явления и характере диалектных различий как членов соответственного явления см.: *Русская диалектология* / Под ред. П. С. Кузнецова. М., 1973; наиболее подробно вопросы структурной диалектологии в связи с учением о диалектном языке изложены в книге: *Вопросы теории лингвистической географии* / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1962.

Если история литературного языка начинает исследование с древнейших письменных памятников и прослеживает литературно-языковые традиции и смену норм в хронологической последовательности, то историческая грамматика как научная дисциплина, стремящаяся реконструировать непосредственно не зафиксированные системные отношения прошлых эпох, в том числе предшествующих появлению старейших письменных памятников, принципиально ретроспективна, т. е. следует от данных фактов к прошлому, исчезнувшему состоянию. Ретроспективный путь реконструкции языковых состояний в исторической грамматике сохраняется и в тех случаях, когда она имеет возможность использовать данные древних письменных памятников, что вытекает из особенностей ее объекта и, следовательно, из принципиально иного, чем в истории литературного языка, отношения к такому важному источнику, как письменный памятник.

Дело в том, что для историка литературного языка письменный текст это не только источник, но и непосредственный объект исследования, реализующий (с большей или меньшей последовательностью) систему письменно-литературных норм своего времени; поэтому в письменном тексте исследователь литературного языка имеет дело с языковыми явлениями в их системных отношениях. Книжно-литературный язык, обработанный мастерами слова и характеризующийся принципиально традиционными нормами (если он имеет достаточно длительную историю существования), никогда не совпадает с обиходно-разговорной речью, а в восточнославянских условиях это универсальное положение осложняется своеобразием происхождения книжно-литературного языка и его отношения к обиходно-разговорной речи. Литературный язык восточных славян в эпоху средневековья сложился не в результате кодификации какой-либо разновидности местной разговорной речи (диалекта или койне), а в процессе освоения языка старославянских (южнославянских по происхождению) богослужебных текстов, в силу чего он по многим своим особенностям не совпадал ни с одним из восточнославянских диалектов, хотя и взаимодействовал с ними. Поэтому для историка восточнославянской народно-разговорной речи во всем ее диалектном многообразии материал письменных памятников — это только источник, из которого он извлекает отдельные факты, требующие территориально-диалектной интерпретации, чтобы оценить их отношение к реконструируемой системе диалектного языка эпохи создания текста.

Своеобразие объектов и задач определяет принципиально различную оценку указанными двумя дисциплинами материально одних и тех же фактов, обнаруживаемых в письменных памятниках. Так, встречающиеся в древних текстах северо-западной Руси (например, новгородских) написания типа *Ольговици*, *поца(ти)*, *коньчь*, *отьча* историк литературного языка интерпретирует как отражение тенденции к варьированию письменных норм в древнем Новгороде, где эти нормы, однако, остаются достаточно устойчивыми и традиционными, коль скоро в тех же памятниках норматив-

ные написания *Ольговици*, *поча(ти)*, *коньць*, *отьца* оказываются регулярными и заметно преобладающими; тексты же, в которых довольно последовательно нарушаются эти нормы, он оценит как не относящиеся к памятникам литературного языка своего времени. Исследователь же истории народно-разговорной речи интерпретирует те же факты как отражение цоканья — отсутствия в системе древнего новгородского диалекта аффрикат <ц, ч>. Его более, чем историка литературного языка, интересуют памятники, последовательно нарушающие требуемое книжно-литературной нормой различие букв *ц* и *ч*, а материал современной диалектологии и более последовательное употребление буквы *ц* в текстах, которые историк литературного языка признает нелитературными, позволит ему сделать вывод, что «смещение» *ц* и *ч* отражает наличие в древнем новгородском диалекте одной аффрикаты <ц'>, противопоставленной различению *ц* и *ч* в системе книжно-литературного языка, что и заставляло местных писцов чаще или реже (в зависимости от выучки) ошибаться в стремлении различать на письме эти аффрикаты.

Приведенный пример достаточно определенно свидетельствует о том, что при всем различии объектов и задач, характеризующих две дисциплины, исследующие историю русского языка, они тесно связаны друг с другом. Историк литературного языка обязан владеть материалом и выводами исторической грамматики русского языка, иначе он не в состоянии будет оценить значение того или иного факта, отмеченного в памятнике письменности, отделить явления нормативные от узусальных, выявить специфику книжно-литературной нормы для разных эпох функционирования языка. Равно как и историк народно-разговорной речи должен владеть материалом и выводами истории литературного языка, иначе он не сможет оценить отношение того или иного свидетельства древних памятников к литературной норме соответствующей эпохи, будет видеть в каждом частном нарушении традиции прямое отражение особенностей живой речи автора или переписчика текста (например, будет считать, что написания *поча(ти)* и *коньць* непосредственно отражают «беспорядочную» мену аффрикат в разговорно-бытовой речи писца, а не стремление писца следовать норме, вопреки свойственному его произношению цоканью).

Указанные обстоятельства, казалось бы, диктуют необходимость создания «синтетической» истории русского языка, изучающей историю народно-разговорной речи в тесной связи с историей литературного русского языка; тем более, что обе языковые системы, хотя и в разной сфере деятельности, обслуживают одну и ту же социально-этническую общность (народность, позднее — нацию). Однако различие объектов, задач и проблематики двух историко-лингвистических дисциплин в значительной степени затрудняет их обобщение в единую историю русского языка: создание такой «синтетической» истории языка — дело будущего.

§ 4. Неоднозначно отношение исторической грамматики русского языка к курсу старославянского языка в силу его многоаспектности. Курс старославянского языка сложился в русской педагогической практике в то время, когда основой высшего филологического образования было сравнительно-историческое языкознание. Поэтому неотъемлемой и значительной частью этого курса является реконструкция праславянского языка, восстановление его истории, общих закономерностей, определяющих развитие всех славянских языков на раннем этапе. В этом плане материал курса старославянского языка носит источниковедческий характер: свидетельства старославянских памятников оцениваются прежде всего

как собрание наиболее древних, зафиксированных на письме фактов славянской языковой истории. Эта часть курса содержит данные, которые затем обобщаются в курсе сравнительной грамматики славянских языков и используются в сравнительной грамматике индоевропейских языков. Например, история детерминативов *-ā, *-ō, *-ǐ, *-ĩ и др., характеризовавших некогда исход славянских именных основ, в зависимости от которых устанавливаются древние именные классы и ранние славянские типы склонения, относится к компетенции сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, на основе данных которого строится история имени праславянского языка. Включение подобного материала в курс старославянского языка превращает этот курс во введение в историю отдельных славянских языков, в том числе и русского. Иными словами, историческая грамматика русского языка начинается там, где кончается изложение судеб праславянского языка в курсе старославянского языка.

Другой аспект связи курса исторической грамматики русского языка с курсом старославянского языка касается характеристики отдельных явлений древних славянских языков в связи с их отражением в старославянских текстах различных редакций. Анализ таких явлений требует привлечения специфических восточнославянских особенностей, противопоставленных южно- и западнославянским. Именно по мере изучения курса старославянского языка происходит знакомство с восточнославянскими рефлексам праславянских сочетаний согласных с *j*, с полногласными сочетаниями, сочетаниями редуцированных с плавными между согласными и т. д., т. е. с результатами процессов, относящихся к непосредственной предыстории русского языка.

§ 5. По мере перехода основы высшего филологического образования от сравнительно-исторического языкознания к изучению современных языков, их истории и функционирования преобразуется и курс исторической грамматики. Прежде всего он утрачивает свой источниковедческий характер как базы сравнительно-исторического изучения родственных языков. Возрастает удельный вес характеристики специфического пути развития данного языка, в нашем курсе — русского. Разрабатывается история поздних периодов, связанных с формированием и развитием языка великорусской народности (старорусского — XIV—XVII вв.) и языка русской нации (новорусского — XVII—XIX вв.) — вплоть до современной эпохи (XIX—XX вв.). Решается задача органического соединения курса исторической грамматики с курсом современного русского языка. Курс исторической грамматики в системе современного высшего филологического образования обеспечивает научное познание языка, позволяет понять историческую природу языка как объекта лингвистики: историзм становится действенным средством познания языка на всех этапах его развития, в том числе и его современного состояния.

§ 6. История языка связана со всем комплексом дисциплин исторического цикла: археологией, этнографией, антропологией,

историей. Как утверждал А. А. Шахматов, историю языка невозможно понять вне связи с историей его создателя и носителя — народа, обслуживаемого данным языком. Так, только при соотнесении историко-лингвистических данных со свидетельствами археологии о размещении и истории различных типов древних культур можно решить проблему диалектообразования и раннего диалектного взаимодействия — в связи с историей взаимодействия этнографических групп древнего восточнославянского населения.

В плане реконструкции древних диалектных ареалов, географии и хронологии развития различных восточнославянских языковых явлений особенно перспективно соотнесение данных лингвистической географии с историко-археологическими свидетельствами. Именно таким путем Р. И. Аванесов установил изоглоссу, связанную с противопоставлением звуков [г, γ, һ] — как различие, возникшее в эпоху племенных диалектов восточных славян. Сопоставляя данные о размещении типов безударного вокализма в их исторической динамике с данными истории восточных славян, Аванесов показал, что аканье, в том числе в виде диссимилятивного яканья, могло возникнуть не позднее времени вхождения территории верхнего течения Оки и области Посемья в состав Великого княжества Литовского, т. е. в середине XIV столетия¹.

ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

§ 7. Основными источниками истории русского языка являются письменные памятники разных эпох, современный русский язык во всех его функциональных разновидностях (прежде всего диалектных) и лингвистическая география. Именно эти источники дают основной систематический материал для историко-лингвистических реконструкций на всех уровнях языковой системы. Ограниченное значение имеют другие источники, которые, однако, в ряде случаев снабжают историческую грамматику ценнейшим и даже уникальным материалом. Среди них следует указать ономатику, и прежде всего топонимику, изучающую собственные географические названия, заимствования иностранных языков из русского и русского из соседних языков, письменные свидетельства иностранцев, содержащие русские словоформы и словосочетания, а также другие материалы, которые могут быть

¹ См.: Аванесов Р. И. Вопросы образования аканья. — В кн.: Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974, с. 230. О разнообразных возможностях реалистической реконструкции древней языковой истории и древнего диалектного взаимодействия в результате сопоставления лингвогеографических данных со свидетельствами социальной истории русского народа говорится также в коллективной монографии «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров» (М., 1970).

важными при изучении того или иного частного языкового явления¹.

§ 8. Письменные памятники неодинаковы по своему типу и по информативности с точки зрения задач исторической грамматики русского языка. Их можно разделить на 1) надписи, или граффити, 2) материалы частной переписки, 3) грамоты, 4) рукописные книги и 5) печатные книги. В случаях несоответствия типа памятника его общей языковой принадлежности это деление оказывается условным и принадлежность памятника к тому или иному типу решается неоднозначно.

К надписям обычно относят тексты, выполненные не на специальном писчем материале (пергамене или бумаге), а на камне (типа памятных записей, эпитафий, надписей на архитектурных сооружениях и т. п.), дереве, металле, глине (как правило, на предметах домашнего обихода) и т. д. Для исследователя истории русского языка надписи интересны тем, что они нередко делались лицами, плохо владевшими традиционной орфографией и зачастую достаточно свободно отражавшими черты родного диалекта. К числу древнейших относятся: надпись на Тьмутараканском камне (1068), надписи XI—XIV вв., процарапанные на штукатурке стен древних соборов Киева, Новгорода, Смоленска, надпись на серебряной чаре черниговского князя Володимира Давыдовича (ок. 1151) и др. К надписям принято относить и *Ана рѣина* — подпись французской королевы, дочери великого князя Ярослава, под документом 1063 г., написанном на пергамене (Анна Ярославна подписалась за своего малолетнего сына Филиппа I).

Старейшие материалы частной переписки — письма на бересте из Новгорода (в настоящее время в разной степени сохранности известно свыше 500 берестяных писем XI—XV вв.), Смоленска, Витебска, Пскова и Старой Руссы. Как и частные письма на бумаге, сохранившиеся с XVII в., эти памятники, сближаясь с надписями непрофессиональной грамотностью авторов, ценны относительной цельностью текстов, дающих богатейший материал для изучения особенностей разговорной речи, в частности диалектной.

К грамотам относятся собственно деловые памятники — официальные документы, по особенностям языка значительно ближе стоящие к разговорной речи своего времени, чем книжно-литературные тексты; многие из грамот написаны «малограмотными»

¹ Лучшим пособием по источниковедению является книга выдающегося диалектолога и историка русского языка Н. Н. Дурново «Введение в историю русского языка» (1927), переизданная в 1969 г. В книге описано 280 рукописных источников, в основном восточнославянского происхождения. В отличие от всех других сводов памятников письменности обзор Дурново содержит указания на диалектную принадлежность рукописей, дает сведения об их публикации, о библиографии работ, посвященных их лингвистическому исследованию. Важна классификация памятников по их происхождению и жанровой принадлежности. Приложение ко второму изданию содержит обширную библиографию работ, вышедших после 1927 г.

писцами и по богатству информации для исторической грамматики имеют такое же важное значение, как и частные письма.

Старейшая подлинная грамота — дарственная великого князя Мстислава новгородскому Юрьеву монастырю (ок. 1130). С конца XII в. сохранились новгородские грамоты, с XIII в. — смоленские грамоты (старейшие — 1223 и 1229 гг.), наиболее ранние московские грамоты относятся к XIV в. От более позднего времени сохранилось большое число грамот с разной степенью лингвистической информативности (частью опубликованные, но в основной своей массе еще остающиеся неисследованными). По языковым особенностям к грамотам примыкают отдельные крупные памятники, которые по исполнению следует отнести к рукописным или печатным книгам. Такова «Русская правда» — свод законов Древней Руси, старейший сохранившийся список которого относится к концу XIII в.; таковы многочисленные рукописные книги XVI—XVII вв. практического назначения (типа переведенного с польского языка «Назирателя» — руководства по сельскому хозяйству), а также первая светская печатная книга — «Соборное Уложение» — свод законов Московского государства.

Самым главным письменным источником истории русского языка старейшего периода является рукописная книга. В предварительном списке рукописей XI—XIV вв. (включая такие, время создания которых определяется примерно как XIV—XV вв.), опубликованном в «Сводном каталоге рукописей, хранящихся в СССР, до XIV в. включительно» («Археографический ежегодник за 1965 г.»), указано почти 1500 славяно-русских рукописей. Как правило, они написаны в основных древнерусских культурных центрах — в Новгороде, Пскове, Киеве, Смоленске, Галиче, Ростове и др.; впрочем, во многих случаях определить место написания рукописи невозможно.

Подавляющее большинство древнерусских рукописных книг — это списки текстов старославянского происхождения, преимущественно христианская богослужебная литература: евангелия (книги об Иисусе Христе), Псалтирь (сборник духовных стихов), минеи (сборники церковных чтений), кондакари (сборники церковных песнопений) и т. п., а также поучения отцов церкви и жития святых. К этой группе относится подавляющее большинство дошедших до нас старейших рукописных книг: «Остромирово евангелие» (1056—1057) — самый древний из сохранившихся датированный древнерусский памятник; два «Изборника» — избранные переводы с греческого, переписанные для князя Святослава в 1073 и 1076 гг.; переписанные в Новгороде в 1095—1097 гг. служебные Миней за сентябрь, октябрь и ноябрь и др. Старейшая рукописная книга, содержащая оригинальные древнерусские сочинения (той же клерикальной направленности), — «Успенский сборник» конца XII или XIII в., в который, в частности, входят «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия», принадлежащее Нестору, и другие сочинения. Оригинальные сочинения светского характера, в том числе и созданные не позднее XI в., сохранились в списках более

позднего времени — не ранее конца XIII—XIV вв. Это так называемый Синодальный список I Новгородской летописи XIII—XIV вв., «Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку 1377 г., сочинения Владимира Мономаха по тому же списку, сочинения киевского митрополита XI в. Илариона, сохранившиеся в списке XV в., и т. д., в том числе и бесценное «Слово о полку Игореве» XII в., ставшее известным по списку XVI в.¹

Печатные книги, дающие материал для истории русского языка, появляются с XVI в. Впрочем, к ним можно отнести и напечатанные в Кракове в 1491 г. богослужебные книги на церковнославянском языке с чертами белорусского языка. В подавляющем большинстве печатные книги XVI—XVII вв. — это все та же богослужебная литература, которая очень важна для истории русского литературного языка, но в ней есть также материал для суждений об особенностях живой восточнославянской речи того времени. Есть среди печатных книг особо интересные для истории русского языка — это грамматические сочинения, описывающие, правда, систему книжно-литературного языка своего времени — церковнославянского, но содержащие ряд сведений, позволяющих судить о чертах живой речи их авторов. Самой ранней печатной книгой этой группы является «Букварь» Ивана Федорова, изданный в 1574 г. во Львове. Сохранились грамматические труды, напечатанные в 1586 г., в 1591 г. (так называемый «Адельфотис», изданный во Львове), «Грамматика» Лаврентия Зизания, напечатанная в Вильне в 1596 г., наконец, знаменитая «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, вышедшая первым изданием в 1619 г. в Евио (близ Вильнюса) и в 1648 г. переизданная в Москве. Старейшим печатным изданием не на церковнославянском языке является уже упоминавшееся «Соборное Уложение», изданное в 1649 г. в Москве и отражающее деловой язык своего времени, противопоставленный книжно-славянскому языку богослужебной литературы и грамматических сочинений.

Изучению любого письменного текста предшествует исследование его внелингвистических характеристик: текстологические наблюдения, сравнение списков, выявление условий создания исследуемого списка, его палеографический анализ (внешний вид памятника; материал письма, особенности начертания букв) и установление орфографической системы. Все это позволяет определить отношение текста к культурно-письменной традиции, связь писцов с той или иной школой книжности, устойчивость их орфографической выучки, а в необходимых случаях дает возможность узнать время и место создания текста.

Каждый письменный памятник содержит, по крайней мере, два ряда фактов: с одной стороны, он более или менее последовательно отражает в написаниях уже отжившие элементы фонетической и

¹ Обстоятельная характеристика древнерусских рукописных книг, хранящихся в древлехранилищах (музеях и библиотеках) Москвы, Ленинграда и других городов, дана в указанной выше книге Н. Н. Дурново.

грамматической системы, звуки и формы, давно исчезнувшие в языке, но продолжающие сохраняться в письменности по традиции (вследствие преемственности школ книжности, известной устойчивости орфографии, что свойственно любой разновидности письменного языка, в том числе и деловой); с другой стороны, в каждом письменном памятнике непосредственно или косвенно отражаются звуки и формы живой речи своего времени, среди которых могут быть и узкодиалектные явления. Жанр памятника и связанный с ним тип письменного языка небезразличны для исследователя. Так, деловая письменность, частная переписка, многие надписи отличаются орфографией, более или менее свободной от церковно-письменной традиции, что способствует более широкому, чем в церковнославянских текстах, отражению на письме особенностей местной живой речи. Но даже и канонические тексты, особенно старейшего периода, от которого сохранилось ограниченное число памятников неофициального письма, дают материал для восстановления живых языковых черт языка их переписчиков или редакторов. Однако для извлечения такого материала необходимы предварительный анализ орфографической системы писца и критическая обработка отклонений от нее, особенно в тех случаях, когда исследователь имеет дело со списком более раннего текста, в котором причудливо переплетаются нормы современной писцу орфографии и орфографии оригинала.

§ 9. Современные говоры являются не менее важным источником исторической грамматики русского языка, чем памятники письменности; в отдельных случаях они как источник приобретают первостепенное значение. Более того, особенность отношения к материалу памятников письменности исследователя исторической грамматики (в отличие от исследователя истории литературного языка) как раз и заключается в том, что он обязательно соотносит этот материал с данными современных говоров. Только в этом случае интерпретация материала памятников разных эпох в плане их соответствия живой разговорной, в частности диалектной, речи авторов или переписчиков приобретает достоверный характер.

Нередко (например, в исторической фонетике) показания современных говоров оказываются главным источником исторической реконструкции. Так, восстановление истории безударного вокализма, истории аффрикат, истории контракции гласных, истории звуков [л — л] и ряда других единиц фонетических систем русских диалектов возможно главным образом на диалектном материале, и в частности потому, что они не находят отражения в памятниках письменности, синхронных времени развития соответствующих явлений. Как и для установления современной системы диалектного языка, для реконструкции его прошлых состояний важны результаты и экспериментальной фонетики, и монографического описания говора (например, его фонологической системы), и данные лингвистической географии.

Результаты экспериментального анализа диалектной речи могут дать важный материал для объяснения диахронических процессов, которые невозможно проследить по памятникам письменности или другим источникам. Так, при изучении одного из северновеликорусских говоров вологодско-кировской группы с семифонемным вокализмом установлено, что если в системе противопоставлены гласные верхнесреднего и среднего подъема ⟨ê ~ е⟩ и ⟨ô ~ о⟩ и если ⟨ê, ô⟩ реализуются в дифтонгах [iê, uô], то ⟨е, о⟩ реализуются в гласных среднего подъема [e, o] однородной тембральности без начальных призвуков верхнего подъема. Длительность дифтонгов и монофтонгов оказывается одинаковой, но они различаются интенсивностью, противопоставление основано на различии начальных фаз гласных. В этой системе тембральные различия начальных фаз гласных поддерживаются сочетаемостью фонем ⟨ê, е⟩ с согласными разных степеней смягчения: [t'ie], но [t'e]. Гласный [o], реализующий фонему ⟨о⟩, и гласный [a], реализующий фонему ⟨а⟩, отличаются своей тембральной характеристикой от соответствующих гласных [o, a] литературного языка: первый — более опущенным, а второй — более передним образованием. Эти артикуляционно-акустические различия связаны с определенной фонологической системой. Исследователями отмечено также, что при переходе от семифонемного вокализма описанного типа к пятифонемному под влиянием прежде всего литературного языка носители диалектной речи не сразу усваивают звуки [e, o] дифтонгического типа, какие характеризуют литературное произношение. На промежуточном этапе распространяются тембрально однородные [e, o] и на месте старых дифтонгов, перед которыми также уменьшается степень смягчения предшествующих согласных, т. е. отмечается произношение типа [c'eno]. Следовательно, можно сказать, что если зафиксированы говоры с тембрально однородными [e, o] на месте древнейших [ê] (в старой письменности ѣ) и [ô] под интонацией нового акута, то в недавнем прошлом на данной территории были говоры с семифонемным составом вокализма, различавшие гласные фонемы верхнесреднего и среднего подъема. Такие данные оказываются важнейшим источником при восстановлении фонетических изменений и исторической смены фонологических систем.

Не менее важный материал для исторической грамматики дает монографическое описание говоров, которое имеет целью анализ системных отношений между языковыми фактами. Опираясь на такой анализ, исследователь памятника письменности, отразившего одно из звеньев системы, может судить о наличии в эпоху изучаемого памятника и других звеньев. Например, старые письменные тексты, как правило, не содержат указания на качество согласного, обозначаемого в них буквой г. Однако знание того, что в системе со смычным [г] он оглушается (например, на конце слова) в [к], а в системе с фрикативным [γ] в той же позиции он реализуется как [х], позволяет судить о качестве соответствующей звонкой фонемы в говоре писца по тому, как он отражает резуль-

тат оглушения этого согласного: пишет ли он *острок* или *острох* ('острог').

§ 10. Данные лингвистической географии — это относительно новый, но очень перспективный источник исторической грамматики русского языка, возможности которого еще полностью не раскрыты. И тем не менее уже первые опыты исторической интерпретации изоглосс показали, какую ценность для уточнения первоначальной области и хронологии развития языковых новообразований, времени и характера междialeктного взаимодействия представляют лингвистические карты, показывающие территорию распространения языковых явлений, взятых как элементы системы. Именно материал лингвистической географии позволил по-новому осветить развитие таких явлений, не получивших отражения в синхронных по времени возникновении памятниках письменности, как аканье, переход [e > o], различие в качестве фонем ⟨г, γ⟩ и др.¹ Лингвистические карты являются основным материалом для реконструкции диалектного членения русского языка разных эпох.

При восстановлении диалектного членения языка различных периодов его истории приходится считаться с тем, что вопрос о древних диалектах не является исключительно лингвистическим: он относится к той области исследований, где языкознание смыкается с другими историческими дисциплинами — исторической географией, археологией, этнографией, социальной историей народа. Для истории языка лингвистическая география приобретает особую ценность в связи с тем, что ее материал сопоставим с результатами историко-археологических исследований, что содержит данные для выявления «внешних» — социально-исторических условий диалектного взаимодействия, помогает понять причины вытеснения одних языковых особенностей локального распространения другими².

Только лингвистическая география дает материал для восстановления истории языкового развития в районах, которые на протяжении длительного времени не представлены памятниками письменности; к таким районам относится, например, основная территория распространения южновеликорусских говоров, сыгравших заметную роль в формировании специфических особенностей говоров великорусского центра, в частности Москвы³.

§ 11. Ономастика, т. е. имена собственные (названия водоемов, исторических областей, городов и т. п., имена людей, названия племен и народов и т. д.), служит как бы связующим звеном между

¹ См.: Аванесов Р. И. Лингвистическая география и история русского языка. — *Вопр. языкозн.*, 1952, № 6.

² Интересный и во многом убедительный опыт такой реконструкции истории основных диалектных подразделений русского языка предложен в монографии «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров».

³ См.: Орлова В. Г. Классификация южновеликорусских говоров в свете современных диалектных данных. — *Вопр. языкозн.*, 1955, № 6; *ее же*. Типы изоглосс по их значению для разработки вопросов исторической диалектологии. — В кн.: *Вопросы диалектологии восточнославянских языков*, М., 1964.

лингвистическими и экстралингвистическими (внеязыковыми) аспектами истории языка. Особенность ономастического материала заключается в том, что он зачастую не включается в общий процесс закономерных языковых изменений, охватывающих словоформы нарицательных наименований, и использует давно утратившие продуктивность модели словопроизводства или не сохранившиеся в иных образованиях значения производящих (нарицательных) основ.

Использование ономастических данных в исследованиях по истории языка, хотя и имеет в русском языкознании определенную традицию (представлено уже в работах А. И. Соболевского), до сих пор остается явно недостаточным, прежде всего из-за слабой разработанности общих вопросов и методики историко-лингвистической интерпретации соответствующего материала. Однако в последние годы интерес к ономастическим данным как к лингвистическому источнику заметно растет. В плане истории языка здесь намечается два основных аспекта изучения этого материала. Один из них связан с диалектной приуроченностью различных типов ономастических образований: так называемых *микротопонимов* (названий пашенных, охотничьих или рыболовных угодий, мелких речек, притоков и т. д.) и *антропонимов* — собственных имен людей. Так, обобщая исследования антропонимов в русских памятниках XVI—XVII вв., В. В. Палагина приходит к выводу, что они обнаруживают явную локальную окраску, проявляющуюся в самом составе имен собственных, в их употребительности, в словообразовательных моделях и в фонетическом оформлении¹. Это создает условия для воссоздания состава населения, являвшегося носителями тех или иных диалектов, что очень важно при реконструкции условий и направления диалектного взаимодействия.

Другой аспект лингвистического исследования ономастических данных связан с реконструкцией древнего межъязыкового взаимодействия. Здесь особенно интересны данные *топонимии*, поскольку замечено, что географические названия, и особенно названия водоемов (*гидронимы*), «безразличны» к языку. Известный советский этимолог О. Н. Трубачев, изучающий гидронимы на территории старейших восточнославянских поселений, отмечает, что в районах, характеризующихся непрерывностью культурной традиции, собственные географические названия могут сохраняться в течение тысячелетий — независимо от смены населения, которое в разные исторические эпохи могло говорить здесь на разных, в том числе и неродственных, языках². Это обстоятельство открывает

¹ См.: Палагина В. В. К вопросу о локальности русских антропонимов. — В кн.: Вопросы русского языка и его говоров. Томск, 1968 (в статье дана обстоятельная библиография).

² См.: Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов верхнего Поднепровья. М., 1962; Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины, Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968.

возможности восстановления так называемого языкового субстрата, т. е. языка, некогда распространенного на территории, где он впоследствии был полностью поглощен славянской речью, на которую он именно в этом районе мог оказать то или иное влияние. Например, местная гидронимия убеждает в том, что в северных районах распространения русского языка ему предшествовали западнофинские говоры (впоследствии полностью или в значительной степени исчезнувшие), повлиявшие на русскую речь местного населения в виде развития ряда специфических диалектных особенностей (например, цоканья), типичных именно для северновеликорусских говоров.

§ 12. Древнерусские заимствования в других языках для истории языка интересны прежде всего потому, что они могут отражать тот облик заимствованных слов, который был им свойствен в эпоху заимствования. Этот материал приобретает особую ценность, когда он связан с заимствованиями периода, предшествующего появлению письменных памятников. Естественно, что при интерпретации заимствований необходимо учитывать закономерности функционирования и истории тех языков, в которых эти заимствования обнаружены.

Из сохранившихся не книжных заимствований из языка восточных славян наиболее многочисленны дописьменные русизмы в финских (суоми, эстонском, вепском, ливском, водском и др.) и балтийских языках (литовском и латышском). Например, заимствованные из северных восточнославянских диалектов финские (суоми) слова *kuontalo* ('пакля'), *suntia* ('церковный служитель') и др., соответствующие русским *кудаль*, *судия*, свидетельствуют о том, что в период распространения славянской речи на восточноевропейском Севере носители местных говоров еще сохраняли непременный носовой гласный (ср. прасл. **kǫdělъ*, **sǫdīja*), который, видимо, произносился как напряженный (*ǫ* или даже *ц*), если северные соседи славян передали его сочетаниями *in*, *uon* (а не *on*).

§ 13. Свидетельства иностранцев о русском языке относятся к разным периодам его истории и очень неравноценны по информативности: от отдельных глосс (восточнославянских слов в иноязычном тексте) до более или менее систематических описаний строя русской речи и хрестоматий.

Старшие свидетельства представлены сочинениями арабских путешественников и географов IX—X вв., содержащими известия о Восточной Европе, в частности о Древней Руси. Интересные в историческом отношении, они очень мало дают исторiku языка: несколько географических названий, этнонимов (племенных наименований) и антропонимов в довольно трудной для историко-фонетической интерпретации записи (в арабском письме, как правило, пропускаются гласные, а многие славянские согласные не имеют адекватных соответствий в арабском языке). Но в сопоставлении с иными источниками и эти скудные данные важны для реалистической реконструкции особенностей восточнославянской речи IX—X вв. Так, передача восточнославянского этнонима *V-n-n-tit*,

вероятно *вятичи* < **veŭiĭci*, подтверждает предположение о возможности сохранения в IX в. в восточнославянской речи носового гласного.

Из числа старейших европейских источников наиболее заметно сочинение византийского императора Константина Порфирогенета (в русских сочинениях его прозвище обычно дается в переводе — Багрянородный) «О народах» (949): в главах 9 и 37 обстоятельные сведения о Древней Руси сопровождаются воспроизведением древнерусских названий племен, городсв, рек, днепровских порогов, отдельных древнерусских слов. Отдельные фразы и слова живого русского языка можно найти в более поздних сочинениях иностранных авторов.

Обширные записи живой русской речи сохранились в заметках и сочинениях иностранных путешественников XVI—XVII вв. Среди них наиболее известны «Парижский словарь московитов» (1586) и «Русско-английский словарь-дневник» Ричарда Джеймса (1618—1619) с записями холмогорского (архангельского) говора, опубликованные Б. А. Лариным. Иностранцам принадлежат и первые опыты систематического описания русского языка, среди которых старейшим является «Русская грамматика» Г. В. Лудольфа (1696), изданная на латинском языке в Оксфорде и опубликованная в русском переводе Б. А. Лариным.

МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА

§ 14. Методы исторического изучения языка зависят от типа источника и от конкретных исследовательских задач, поэтому они очень разнообразны, а их соотношение друг с другом при решении разных вопросов неодинаково.

Сравнительно-исторический метод остается основным при реконструкции «исходной» древнерусской языковой системы (исторически непосредственно связанной с поздней праславянской), предшествующей появлению старейших памятников письменности и принимаемой за общевосточнославянскую. Цель применения этого метода — восстановление так называемых праформ — звуков и форм, являющихся общим источником закономерно соотносящихся друг с другом звуков и форм современных родственных языков, а основная единица применения сравнительно-исторического метода — морфема. Именно «сравнение родственных морфем с учетом их истории дает возможность изучить основные закономерности фонетической эволюции в данных языках, вскрыть природу многих морфологических процессов»¹.

В условиях довольно раннего появления древнерусских памятников, заметно отражающих влияние старославянских (южнославянских по происхождению) образцов, сравнительно-исторический метод, опирающийся на показания русского, украинского и бело-

¹ Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, с. 17—18.

русского языков и их диалектов, дает возможность не только восстановить систему того славянского диалекта, который обособился после VI—VII вв. в Восточной Европе от остальных раннеславянских говоров, но и критически отделить в старейших восточнославянских текстах собственно древнерусские языковые особенности от традиционных книжно-славянских, не соответствовавших чертам живой восточнославянской речи. Например, сопоставление бел. *лес*, укр. *ліс*, русск. диал. *лес*, *лис*, *ліес* позволяет утверждать, что написание *лсѣ* в древнерусских памятниках соответствовало исходному для всех восточнославянских языков произношению [л'ѣсь] — с корневым гласным верхнесреднего подъема (в отличие от ст.-сл. [л'ѣсь] — с открытым гласным переднего ряда). Сопоставление форм творительного падежа единственного числа мужского и среднего рода русск. *стол-ом*, укр. *стол-ом* (а не «*стол-ім*» при укр. *стіл* из др.-русск. *столѣ*) дает возможность встречающиеся в старейших восточнославянских памятниках написание типа *стол-омь* и *стол-ѣмь* классифицировать как книжно-славянское, отражающее старославянскую форму в первом случае и собственно древнерусское, отражающее живую местную форму во втором случае. Из этих примеров видно, что сравнительно-исторический метод является ретроспективным: от реально существующих современных данных — к состоянию далекого прошлого.

Частным случаем применения сравнительно-исторического метода является метод внутренней реконструкции, опирающийся на сопоставительное изучение фактов одного языка. При внутренней реконструкции синхронное отождествление морфем интерпретируется как диахроническое тождество. Так, сопоставляя *вз-я-ть* — *воз-(ь)м-у* — *вз-им-ать*, можно сделать вывод, что первоначально во всех образованиях корень должен был содержать гласный переднего ряда с носовым элементом, следовательно, восстанавливается (с учетом чередования гласных) как **e-(< *-em-) / *-ьm- / *-im-*. Границы между методом внутренней реконструкции и сравнительно-историческим стираются, когда сопоставляются данные разных диалектов одного языка, что аналогично сопоставлению данных разных родственных языков.

§ 15. В последнее время в историко-языковых исследованиях получает распространение метод структурного анализа, который позволяет представить пути исторического развития внутрисистемных отношений, не получивших отражения в памятниках письменности. Так, интерпретация внутрисистемных отношений позволяет утверждать, что после утраты носовых гласных фонема <ô> могла закрепиться лишь в оппозиции к передней фонеме <ê>; из этого следует, что отражаемое, например, древнейшими смоленскими грамотами раннее совпадение <ê> с <е> указывает на отсутствие в древнем смоленском говоре фонемы <ô>.

К структурному анализу близок по приемам исторической интерпретации языкового материала и сопоставительнотипологический метод, основанный на установлении сходства и различия системных отношений одного уровня в разных

языках, т. е. на установлении типологии системных отношений — независимо от материального сходства элементов системы. Например, при сопоставлении фонологических систем современных славянских языков оказалось, что они образуют два основных типа — консонантный и вокалический. В консонантном типе основную функциональную нагрузку несут согласные фонемы, что в славянских языках наиболее заметно выражается в развитой корреляции согласных по твердости ~ мягкости; в вокалических системах основная нагрузка падает на гласные фонемы, которые могут различаться по длительности и интонационной окраске. Таким образом устанавливается зависимость просодической системы (различение ~ неразличение гласных по длительности, высоте тона, характеризующего соответствующий слог) от степени развития корреляции твердых ~ мягких согласных, так что развитая система согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости, не сочетается в одной системе с противопоставлением гласных по длительности или по высоте тона. Этот вывод позволяет предполагать в славянских языках с развитой консонантной системой (к их числу относится русский) раннюю утрату фонологических различий между долгими и краткими гласными и отмечать причинно-следственные отношения в фонологических изменениях.

Распространение идеи системности языка в историческом языкознании привело к появлению метода синхронного среза, который позволяет преодолевать «атомизм» традиционного сравнительно-исторического языкознания. Система языка не панхронична: она функционирует как данная в определенную историческую эпоху и изменчива во времени. Метод синхронного среза — это восстановление прошлого состояния языка не как суммы изолированных элементов, а именно как языковой системы.

Такое «включение» синхронии в диахронию позволяет для каждой исторической эпохи функционирования языка разграничивать факты актуальные, продуктивные и явления непродуктивные, позволяет выделить те звенья системы, изменение которых вызывает перестройку всей системы (или ее отдельного уровня), и явления, которые в своем изменении замкнуты, не затрагивают других звеньев системы. История языка в этом случае предстает как изменение системы языка, а не отдельных языковых единиц.

§ 16. Новым является очень перспективный для исторической грамматики метод исторической интерпретации изоглосс. Первые опыты применения этого метода, предложенные в работах Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой, позволяют надеяться, что он может избавить историка языка от «игры случая», т. е. позволит реконструировать историко-языковое развитие на всей территории распространения языка вне зависимости от того, с какого времени и письменными памятниками каких типов представлена та или иная территория.

Метод исторической интерпретации изоглосс предполагает обязательное привлечение внеязыковых данных — для древних периодов истории языка преимущественно археологических. С его по-

мощью можно не только восстановить историю языковых явлений, не нашедших отражения в памятниках письменности, но и уточнить место и время развития языковых особенностей, известных по древним памятникам; открываются возможности для реалистической реконструкции древних диалектных зон, диалектного взаимодействия, основных направлений нивелирующих процессов в эпоху развития языка великорусской народности и ряда других важных проблем истории народно-разговорной (прежде всего диалектной) речи, которые не могли быть решены до развития лингвистической географии.

Исследователь истории языка может пользоваться и рядом других методов, которые либо имеют ограниченное значение, так как связаны с анализом второстепенных источников, либо могут быть охарактеризованы с позиций задач исторической грамматики русского языка как косвенные, поскольку связаны с научной обработкой источника, в результате чего из него и извлекается материал, который уже затем как таковой подвергается историко-лингвистической интерпретации. К последнему ряду могут быть отнесены методы, используемые при изучении древних памятников: текстологические, палеографические, орфографические (включая статистический метод изучения орфографии древнего текста) и иные.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

§ 17. Проблема периодизации истории русского языка связана с общетеоретическими проблемами языкознания, относящимися к пониманию природы языка как объекта науки. Среди них — проблема отношения языка как структуры, как функционирующей знаковой системы к языку как средству общения. Изменения в структуре языка и в общественных функциях языка, хотя и являются внутренне связанными, не совпадают во времени, т. е. характеризуются относительно самостоятельными периодами смены одного состояния другим; их можно определить как периодизацию «внутренней» истории языка и периодизацию его «внешней» истории. При рассмотрении вопроса о соотношении этих периодизаций возникает очень важное для исторического языкознания понятие времени в языке.

Время, являясь одной из общих форм бытия, естественно, является и формой существования языка. Астрономическое время, представляемое как непрерывное (недискретное) и равномерное, присутствует в языкознании в терминах **а б с о л ю т н о г о** **в р е м е н и**. Языкознание обращается к абсолютному времени, когда необходимо соотнести выводы о состоянии системы языка или ее элементов с данными общей истории, с тем чтобы отождествить это состояние с языком или диалектом, обслуживающим этнос или этнографическую группу определенного исторического периода. Так, относя определенный ряд языковых фактов и процессов (например, падение редуцированных, перестройку системы спрягае-

мых глагольных форм и т. д.) к XI—XIII вв., историк русского языка тем самым относит эти факты и процессы к поздней эпохе развития языка древнерусской народности, связанной с началом феодальной раздробленности и обособления локальных этнографических групп древнерусского населения.

Для лингвиста, изучающего исторические изменения структуры языка, более существенным оказывается иное понятие, которое обычно выражается в терминах *относительного времени*. Это время наполнено собственно лингвистическими событиями, оно дискретно и неравномерно и может быть названо *лингвистическим временем*, имеющим свою периодизацию. Т. П. Ломтев предложил каждый период на оси лингвистического времени называть интервалом лингвистического времени и понимать интервал как период, который необходим для разрешения противоречия, возникающего на определенном участке языковой структуры¹. Понятие интервала лингвистического времени может стать основой синхронизации отдельных языковых фактов, не совпадающих на оси абсолютного времени, являясь тем самым единицей периодизации «внутренней» истории языка. А так как разные уровни структуры языка, разные «подсистемы» изменяются несинхронно, то формируется ряд частных периодизаций «внутренней» истории языка, относящихся к истории его фонологической системы, системы именных, глагольных и т. п. категорий и форм, не совпадающих на оси абсолютного времени, т. е. охватывающих разные периоды функционирования языка как средства общения. Иными словами, периодизация истории языка как структуры, помимо своей «дробности» — наличия ряда частных периодизаций (история фонологических отношений будет иметь свою периодизацию, история морфологического строя — свою, ибо отдельно будут периодизироваться история имени, история глагола и т. д.), обнаружит также и известную безотносительность к социальной истории народа — носителя языка.

Иная природа у периодизации языка как средства общения, поскольку она принципиально невозможна без учета социальной истории народа, средством общения которого является изучаемый язык. Для периодизации истории языка с учетом его общественных функций можно использовать понятие *синхронного среза*, т. е. периода на оси абсолютного времени, в течение которого общественные функции языка остаются неизменными.

Автономность периодизаций «внутренней» и «внешней» истории языка не является абсолютной. Между ними наблюдается не только связь, но и *иерархическая зависимость*, поскольку «внутренняя» история языка отражает (в различной степени на разных уровнях языковой структуры) его «внешнюю» историю, в то время как «внешняя» история никогда не зависит от «внутренней». Это важное наблюдение заставляет строить общую периоди-

¹ См.: Ломтев Т. П. Общее и русское языкознание. М., 1976, с. 312—324.

зацию истории русского языка при ориентации на изменения в его общественной функции. При рассмотрении же истории отдельных уровней языковой структуры в рамках общей периодизации, намечаемой на оси абсолютного времени, могут устанавливаться частные периодизации истории системных отношений соответствующих уровней (фонетико-фонологического, морфологического и т. д.), соотносимые с общей периодизацией истории языка как средства общения.

§ 18. В истории русского языка, соотнесенной с историей восточных славян, можно выделить ряд основных периодов, старейшие из которых, по существу, относятся к донстории русского языка в современном понимании (великорусского). Включение их в общую периодизацию истории собственно русского (впрочем, так же как и украинского или белорусского) языка необходимо постольку, поскольку на оси относительного лингвистического времени они «накладываются» на интервалы развития различных уровней языковой системы, охватывающие время как великорусской доистории, так и истории собственно великорусского языка. В отличие от частной периодизации истории литературного языка общая периодизация безразлична к такому важному общественно-культурному событию, как появление письменности, но именно она определяет причины и условия появления книжно-письменной культуры на Руси.

Следует также учитывать, что хронологические рамки каждого периода могут указываться лишь условно, ибо в пределах столетия или даже более значительного отрезка времени невозможно указать точную «дату» перехода от одного синхронного состояния к другому. Дело, разумеется, не в том, что такую «дату» в древней истории языка трудно установить современному исследователю, а в том, что ее не было: переход от одного состояния к другому совершается в истории языка не «вдруг», не в течение года или десятилетия, а постепенно, в процессе последовательного «развертывания» нового качества, вытесняющего или преобразующего функционально элементы старого качества. Можно утверждать, что конец предшествующего периода — это одновременно и начало нового периода в развитии языка как средства общения. Так, процесс распада древнерусского языка как средства общения единой древнерусской народности, если он выражался в локализации диалектного взаимодействия, т. е. в появлении на территории распространения древнерусского языка относительно замкнутых диалектных объединений, может и должен рассматриваться одновременно и как начальный процесс формирования великорусского (украинского и белорусского) языка, коль скоро намечающиеся в это время относительно замкнутые диалектные объединения со временем развиваются в средства общения великорусской, украинской и белорусской народностей, сложившихся в результате распада древнерусской народности. Иными словами, конец древнерусского периода — это одновременно и начало нового, старорусского (староукраинского и старобелорусского) периода.

Более определенны границы поздних периодов развития русского языка, когда в связи с формированием национальных отношений центральное место в языке как средстве общения нации занимает его литературная разновидность, история которой в значительной степени связана с целенаправленной филологической деятельностью (например, деятельность М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина имела очень существенное значение в смене одного качественного состояния литературного русского языка другим).

§ 19. С учетом изложенного можно наметить следующую общую периодизацию истории русского языка как средства общения, начиная со времени распада праславянского языка, т. е. со времени обособления языка восточных славян, являющихся прямыми предками русского (великорусского, а также украинского и белорусского) народа.

1. **Восточнославянский период (VI—IX вв.)** — это период распространения славянской речи на территории Восточной Европы, в процессе которого осуществляется взаимодействие славянской речи с неславянскими языковыми системами аборигенов (прежде всего балтийскими и финно-угорскими) и происходит обособление славянских диалектов Восточной Европы от западно- и южнославянских. Именно к этому периоду относится специфически восточнославянская реализация общеславянских языковых тенденций развития, наметившихся в поздний праславянский период, т. е. оформление восточнославянских рефлексов прежних сочетаний согласных с *j*, начального *o* (в соответствии с инославянским сочетанием *je*), развитие так называемых полногласных сочетаний, деназализация носовых гласных, вокализация редуцированных перед плавными в сочетаниях между согласными и т. д. Конец этого периода связан с формированием территориальных диалектов на базе племенных в связи с перерастанием общинно-родовых объединений в объединения сельских общинников, развитием ремесел (т. е. появлением поселений городского типа) и, как следствие этого, оформлением ранних государственных объединений.

2. **Древнерусский период (IX—XIV вв.)** связан с формированием и развитием древнерусской народности, объединившей все славяноязычное население Восточной Европы. С точки зрения основных тенденций языкового развития в рамках этого периода выделяются два этапа — раннедревнерусский (примерно до конца XI в. — начала XII в.) и позднедревнерусский.

Ранний древнерусский период — это период формирования языка древнерусской народности, складывающейся в связи с образованием единого для славян Восточной Европы государственного объединения — Древней Руси. Формирование древнерусского языка — единого языка древнерусской народности происходило в результате активизации конвергентных языковых процессов. Именно в этот период на все восточнославянские говоры распространялись языковые особенности, которые являются общевосточнославянскими по распространению (т. е.

характеризуют диалекты всех восточнославянских языков) и в своей совокупности выделяют восточнославянскую группу, противопоставляя ее западно- и южнославянским. Общевосточнославянскими по распространению оказываются и языковые новообразования этого периода: они не дают изоглосс на территории распространения говоров восточнославянских языков (например, падение редуцированных [ь, ъ] во всех восточнославянских говорах отражается одинаково).

В этот период, специфические особенности которого связаны с формированием древнерусского языкового единства, обусловленного созданием феодального древнерусского государства, распространяется и книжно-письменный язык на старославянской основе как язык государства и официальной церкви, являвшейся непременным атрибутом средневековой государственности и культуры ¹.

Поздний древнерусский период, связанный с периодом феодальной раздробленности Древней Руси, характеризуется обособлением (дифференциацией) крупных диалектных зон — областей локализации языковых новообразований: сначала на окраинах — на северо-востоке и юго-западе (например, падение редуцированных [й, ѥ], так называемые последствия падения редуцированных и другие процессы этого времени уже не получают общевосточнославянского распространения; так, на северо-востоке [й] переходит в [e], а [ѥ] в [o]; [e] перед утратившимся слабым редуцированным изменяется на юго-западе в «новый» ѣ и т. д.), а затем и на остальной территории распространения древнерусского языка. Именно в этот период определяются основные территории распространения языковых особенностей, устанавливающих наиболее заметные единицы диалектного членения будущего (велико)русского языка — новгородско-псковский, ростово-суздальский, рязанский, смоленский диалекты ².

К концу этого периода сознание общевосточнославянского языкового и этнического единства приобретает исторический характер, так как вследствие монголо-татарского нашествия Древняя Русь оказалась раздробленной на изолированные сферы влияния, в пределах которых и начинается формирование новых восточнославянских народностей и их языков. В этой связи в последующей истории восточнославянской речи необходима дифференцированная периодизация истории (велико)русского, украинского и белорусского языков.

3. Старорусский (великорусский) период (XIV—XVII вв.) — это период формирования и развития языка великорусской народности. Образование самой великорусской

¹ См.: Шапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М., 1978, с. 3—5.

² Уточнение «великорусский» необходимо здесь потому, что восточные славяне периода Древней Руси (в отличие от закрепившейся в наше время лингво-этнической терминологии) называли «русским» язык всего населения Руси, т. е. язык всех восточных славян — предков современных русских, украинцев и белорусов.

народности происходило в процессе консолидации восточных славян, не вошедших в состав Великого княжества Литовского, вокруг Москвы как центра самостоятельного восточнославянского государства. Этот социально-исторический процесс не только определил обособление великорусского диалектного объединения от остальных складывавшихся в это же время локальных восточнославянских диалектных объединений (украинского и белорусского), но и отразился на характере и направлениях нивелирующих процессов в составе этого объединения. Как показывают изоглоссы «Атласа русских народных говоров»¹, границы распространения периферийных диалектных новообразований (которые в этот период еще были возможны) постепенно все более и более сужаются; напротив, языковые особенности северо-восточного происхождения постепенно распространяются на север, северо-запад (в направлении Новгорода) и юг (за Оку), определяя постепенно специфику формирующегося великорусского языка (отличие его от украинского и белорусского).

Именно в этот период оформляются переходные среднерусские говоры — как результат взаимодействия разносистемных восточнославянских диалектов в процессе складывания языка великорусской народности, а говор Москвы приобретает тот смешанный (с точки зрения окружающего диалектного разнообразия) облик, который к концу старорусского периода находит отражение в официальных документах Московской Руси как национального (велико)русского государства и претендует на роль общегосударственной формы общения.

4. Начальный период формирования национального русского языка (середина XVII—XVIII вв.) связан с процессом формирования русской нации и коренной перестройкой отношений между системой общенародного литературного языка и диалектами как средством общения. Разъясняя социально-экономические условия активизации национальных движений, В. И. Ленин писал: «Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких прелятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе»². В этих условиях происходит интенсивная нивелировка диалектов, проявляющаяся в прекращении диалектообразования на территории метрополии (собственно диалектные новообразования возникают

¹ По техническим причинам «Атлас русских народных говоров европейской части СССР», составленный коллективом сотрудников Института русского языка АН СССР, остается неопубликованным (вышел лишь один том: *Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы*. М., 1957). Большинство фонетических и грамматических карт Атласа опубликовано в монографии «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии».

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т 25, с. 258.

теперь лишь в говорах колонизируемых в этот период территорий — на Дону, за Уралом и в Сибири), в ходе которой решающее значение приобретает речь великорусского центра как общенациональная система норм. Необходимое для сложения нации единство языка ведет к обострению противоречий между церковнославянским языком, оставшимся в течение всего средневековья основным языком восточнославянской книжности, и живой народной речью, которой книжно-славянский язык был противопоставлен. Это противоречие разрешается к концу периода оформлением принципиально новой системы литературного языка, ориентированного в своих нормах на разговорную речь нации.

5. Период развития национального русского языка (XIX—XX вв.) можно определять со времени деятельности А. С. Пушкина, когда в основном завершается сложение системы норм современного русского литературного языка, который стремится стать основным средством общения нации. В этих условиях диалекты постепенно теряют свое значение регионального средства общения и уже к началу XX в. сохраняются как достояние только сельского населения (т. е. превращаются в социально-территориальные), а в процессе сближения унифицированного городского койне с системой норм кодифицированного литературного языка формируется система нормированной устной речи как разговорно-бытовой речи носителей литературного языка.

6. Новые общественные функции приобретает русский язык по мере сложения новой исторической общности — советского народа: он становится межнациональным языком этой новой общности, орудием советской культуры. Меняется положение русского языка и в современном мире — он становится одним из мировых языков. Влияние этих новых функций на характер русского языка, на его строй и тенденции развития еще предстоит изучить.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

§ 20. Ранний этап развития исторической грамматики русского языка связан со сравнительно-историческим изучением славянских языков, начало которому было положено знаменитым «Рассуждением о славянском языке...» А. Х. Востокова (1820), и с появляющимися с 40-х годов XIX в. опытами исторического комментирования фактов современного языка Ф. И. Буслая. Буслая принадлежит и сам термин «историческая грамматика русского языка» (так, начиная со второго издания, стал называться один из крупнейших его языковедческих трудов)¹. В работах первых исследователей еще нет четкой и последовательной программы исторического изучения русского языка как самостоятельной отрасли науки о языке, еще только намечается круг источников истории языка — преимущественно памятников письменности, исследование которых носит пока общефилологический характер.

Началом целенаправленного изучения истории русского языка можно назвать работу И. И. Срезневского «Мысли по истории русского языка»

¹ Первое издание вышло в 1858 г. под названием «Опыт исторической грамматики русского языка»; переиздание с 5-го издания (1881) см.: Буслав Ф. И., Историческая грамматика русского языка, М., 1959.

(1849), которая явилась историко-лингвистической программой и вместе с тем учитывала необходимость использования материала разных источников, включая также и диалектологические данные, интерес к которым в середине XIX в. уже определился. Затрагивая широкий круг проблем истории языка, Срезневский отчетливо формулирует и историко-диалектологическую концепцию, которая сводится в общих чертах к тому, что: 1) в начале исторической жизни русский язык характеризовался значительным единством, почти исключавшим диалектное дробление, и мало отличался от церковнославянского; 2) распад русского языка на наречия (которые в то время приравнивались к отдельным восточнославянским языкам) начинается не ранее XIV в., в связи с чем он и отделяется от языка книжного; 3) новый строй русского языка (под которым Срезневский понимал речь всех восточных славян) формируется в XV—XVI вв., когда народная речь уже резко отличается от книжной. Срезневский первым подходит и к идее лингвистического картографирования диалектных фактов. «Первой принадлежностью... лингвистической географии, — пишет он, — должна быть... карта языков, наречий и говоров, карта, на которой место границ политических, религиозных и всяких других занимают границы лингвистического разнообразия народов»¹.

В это же время вопросы исторической диалектологии начинает разрабатывать П. А. Лавровский, который, опираясь на материал письменных памятников новгородского происхождения, устанавливает, что характерные особенности новгородского говора существовали задолго до XIV столетия².

В 1866 г. выходит исследование А. А. Потебни «О звуковых особенностях русских наречий», в котором обсуждается проблема взаимоотношения русского и украинского языков (белорусский язык в то время рассматривался как особое наречие — наряду с великорусским, которое Потебня делит на северновеликорусское и южновеликорусское поднаречия). Научная ценность этого исследования определяется богатством фактического материала, извлеченного из памятников письменности и соотнесенного с данными современных говоров, что позволило автору указать на время и особенности развития многих языковых явлений, специфических для восточнославянских языков.

§ 21. Последние десятилетия XIX в. характеризуются большими успехами исторического языкознания, которое продолжало расширять исследовательскую базу. К этому времени уже были описаны и интенсивно изучались основные из известных науке старейших письменных памятников, накапливался диалектологический материал, особенно словарный: вышли в свет «Опыт областного великорусского словаря» (АН, 1852) и «Дополнения» к нему (1858), «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863—1866) В. И. Даля, появляются публикации записей диалектной речи в местных и центральных изданиях. Актуальной оказывается задача расширения и систематизации диалектного материала, который, наряду с данными памятников, мог бы служить базой исторического изучения русского языка. Эту задачу в значительной мере решает А. И. Соболевский. В своих лекциях по истории русского языка Соболевский постепенно выделил самостоятельный курс русской диалектологии, что было новым в практике университетского преподавания. Опыт обобщения диалектологического материала подсказывал ученому возможность диалектного дробления языка и в древнерусский период. Анализируя с этих позиций данные рукописных памятников, Соболевский приходит к выводу об отражении специфических диалектных черт в текстах южных памятников Древней Руси. В частности, он отмечает следующие признаки древнего южнорусского (галицко-волынского) наречия XII в.: удлинение [e > è] (*ѣ*) в определенных условиях, [y] на месте [в] и др. В работах Соболевского (а позднее и его ученика Н. М. Каринского³) обосновываются также особенности древнего псковского диалекта — по данным рукописей псковского происхождения. Постепенно его знаменитые

¹ Срезневский И. И. Замечания о материалах для географии русского языка. — Вестник Рус. географ. об-ва, 1851, ч. 1, кн. 1, отд. 5, с. 6.

² См.: Лавровский П. А. О языке северных русских летописей. Спб., 1852.

³ См.: Каринский Н. М. Язык Пскова и его области в XV веке, Спб., 1909.

«Лекции по истории русского языка» включают довольно значительный материал, характеризующий древнерусские диалекты по данным памятников письменности¹.

Благодаря исключительным исследовательским способностям, отличному знанию древней литературы, древнерусских рукописей, привлечению имевшихся в его время диалектологических данных, Соболевский сумел сделать ряд значительных открытий по исторической диалектологии (хотя отдельные его выводы и потребовали в дальнейшем уточнения). Осторожность ученого часто вынуждала его оставаться в области эмпиризма и отказываться от обобщений, что он и сам признавал, осуждая смелые гипотезы молодого поколения ученых. Однако именно труды Соболевского способствовали окончательному оформлению исторической грамматики русского языка как специальной научной дисциплины, определению круга ее важнейших источников и основных методов их исследования; а его Лекции, по существу, до сих пор служат своего рода образцом построения курса исторической грамматики, противопоставленного истории литературного языка своим объектом и особенностями проблематики.

Обстоятельный разбор Лекций Соболевского дал И. В. Ягич², сумевший по достоинству оценить этот первый опыт систематического изложения истории русского языка как средства общения, учитывающего его диалектное разнообразие. Критический разбор Ягича — оригинальный труд, до сих пор сохраняющий свое значение благодаря вдумчивым и хорошо обоснованным интерпретациям истории звуковых и формальных особенностей русского языка, разработанным на широком славистическом фоне. Наиболее существен вклад Ягича в разработку проблем исторической морфологии. Именно ему принадлежат современная формулировка задач исторической грамматики как науки об истории живой народно-разговорной речи и определение методов ее изучения. Ягич подчеркивал, что историк языка не может довольствоваться лишь изложением фактов письменных памятников, а должен стремиться «из-за написанного слова глубже вникнуть в характер народного произношения», постоянно ставить перед собой вопрос — являются ли те или иные языковые формы «чертою сравнительно новою, или же они существовали в живом языке уже давно, но долгое время были покрыты слоем форм литературных?»³.

Под влиянием исследований Соболевского на рубеже столетий появляется ряд заметных работ по диалектологии и истории русского языка, среди которых можно назвать труды Н. М. Каринского о псковских говорах, К. Филатова о воронежских говорах, Е. Ф. Будде о рязанских, тульских и орловских говорах, М. Г. Халанского о курских говорах и др., в которых описания современных диалектов сопровождаются историческими комментариями, опирающимися на показания древних памятников письменности. Интересный опыт истории одной диалектной особенности с учетом истории носителей языка предложен Д. К. Зелениным⁴. В плане научно-методическом большое значение имеют исследования Б. М. Ляпунова о ранней истории редуцированных и особенно Л. Л. Васильева, которому принадлежат выдающиеся открытия о качестве гласного, обозначенного в древних текстах буквой ѣ, и о существовании в древних восточнославянских говорах особой фонемы (ѣ)⁵.

§ 22. Новый этап в развитии науки об истории русского языка связан с именем выдающегося русского языковеда А. А. Шахматова, творческий метод которого послужил образцом для последующих поколений диалектологов и историков языка. В его трудах прослеживается развитие всех основных явлений фонетического строя восточнославянских языков в их диалектной приуроченности,

¹ См.: Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907.

² См.: Ягич И. В. Критические заметки по истории русского языка. — Сборник ОРЯС, 1890, т. 46, № 4.

³ Там же, с. 130.

⁴ См.: Зеленин Д. К. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением заднеязычных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. Спб., 1913.

⁵ Из работ Л. Л. Васильева по методу исследования особенно интересна большая статья «Гласные в слове под ударением в момент возникновения аканья в обоянском говоре» (Изв. ОРЯС, 1904, т. 9, кн. 1), в которой древние фонетические особенности реконструируются на основе анализа системных отношений,

охарактеризованы многие морфологические особенности в связи с историей их развития, впервые оформлена общая концепция восточнославянского глоттогенеза — происхождения восточнославянских языков в связи с историей восточных славян. Характер подхода к источникам и научный метод Шахматова были во многом противоположны методам Соболевского. Шахматов с полным пониманием относился к данным древних письменных памятников, превосходно знал эти данные, но главным и надежнейшим источником истории языка считал современные говоры, которые составляли основу его историко-лингвистических реконструкций. Образцы тонкого анализа материала письменных памятников с целью реконструкции особенностей древних восточнославянских диалектов можно найти в его исследованиях новгородских, двинских и псковских рукописных текстов XIV—XV вв.¹ До сих пор сохраняет свое научное значение монография «Очерк древнейшего периода истории русского языка» (1915), которая тесно связана с курсом лекций по истории русского языка, прочитанным в Петербургском университете в 1908—1911 гг.² Наконец, именно Шахматову принадлежит первая детально разработанная общая концепция происхождения восточнославянских языков, до сих пор определяющая исследования по этой проблеме.

Проблема образования современных восточнославянских языков занимала Шахматова на всем протяжении его научной деятельности, поскольку он хорошо понимал не только ее научное значение, но и ее методологическую важность: именно здесь с наибольшей полнотой осуществлялся провозглашавшийся им принцип тесной связи истории языка с историей народа³. Гипотеза Шахматова сводится к следующим основным положениям, содержащимся во всех его работах, в которых варьируются частные выводы, относящиеся к решению тех или иных вопросов восточнославянского глоттогенеза.

В эпоху, непосредственно предшествовавшую историческому периоду, по мнению Шахматова, было три группы восточнославянских («русских» по терминологии времен Шахматова) диалектов, обслуживающих соответственно три основных племенных объединения — севернорусов, восточнорусов и южнорусов. На их основе и сложились три современных восточнославянских языка как следствие раннего диалектного взаимодействия. Великорусский язык образовался в результате объединения говоров севернорусов и восточнорусов; следствием этого объединения явились средневеликорусские говоры, сочетающие севернорусские и восточнорусские черты, причем первые составляют основу, а вторые — наслоение. Северновеликорусское и южновеликорусское наречия русского языка являются прямым продолжением древних диалектов севернорусов и восточнорусов, Белорусский язык образовался путем объединения части говоров восточ-

¹ См.: Шахматов А. А. Исследования о языке новгородских грамот. — Исследования по русскому языку. Спб., 1885—1895, т. 1; *его же*. Исследование о двинских грамотах XV в. — Исследования по русскому языку. Спб., 1903, т. 2, вып. 3; *его же*. Несколько заметок о языке псковских памятников XIV—XV вв. — ЖМНП, 1909, июль.

² В эти же годы под общим названием «Курс истории русского языка» литографическим способом были изданы тома 1 (введение), 2 (историческая фонетика) и 3 (история именного и местоименного склонения). Том 3 был переиздан: Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.

³ Этой проблеме посвящена серия работ А. А. Шахматова: К вопросу об образовании русских наречий. — Рус. филолог. вестник, 1894, т. 32; К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей. — ЖМНП, 1899, апрель; Очерк современного литературного языка. 4-е изд. М., 1941, разд. «Происхождение современного русского литературного языка»; Курс истории русского языка. 2-е изд. Спб., 1910—1911, ч. 1; Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916; Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915; Русский язык, его особенности. Вопрос об образовании наречий. Очерк основных моментов развития литературного языка. — В кн.: История русской литературы до XIX в. / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1916, т. 1; Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919, и др.

норусов и южнорусов при участии западославянских (ляшских) говоров. Украинский язык продолжает историю древнего диалекта южнорусов.

Эта гипотеза вызвала критическое замечание Ягича. Он писал Шахматову: «С интересом прочел я Ваши рассуждения о группировке русских наречий. Беда не велика, если Вы не сразу убедили меня во всем, что излагаете. Не придаете ли Вы чересчур много значения племенному родству в образовании политических организмов Древней Руси? Вероятно ли предположить, что когда-то в очень древнее время существовали три группы и только, без постепенных переходов, без посредствующих звеньев? (...) Кажется, что дальнейшее изучение должно будет допустить не три только, а гораздо больше групп»¹.

Подробное критическое рассмотрение концепции Шахматова в связи с пересмотром всей проблемы образования русского языка впервые дал крупнейший советский диалектолог и историк русского языка Р. И. А в а н е с о в, подошедший к ее решению с позиций восточнославянских лингвогеографических данных². Автор приходит к выводу, что группировка современных русских говоров не может быть непосредственно возведена к племенным диалектам восточных славян: между ними лежит эпоха феодальной раздробленности, вызвавшая к жизни образование современных территориальных диалектов и оформление многих диалектных особенностей, отсутствовавших в племенных диалектах, предшествовавших образованию древнерусского языка как средства общения населения Древней Руси. Рассмотрение ряда современных изоглосс позволяет связать современное территориальное распределение некоторых языковых черт с историческими данными о передвижении соответствующих групп населения. В частности, при анализе проблемы сложения средневеликорусских говоров Аванесов выделяет группы говоров первичного и вторичного образования и предлагает оценивать различные средневеликорусские говоры с учетом конкретно-исторического процесса их формирования.

§ 23. Идеи Шахматова продолжали разрабатываться в трудах его учеников и последователей. Еще в 1901 г. был организован Кружок по изучению истории и диалектологии русского языка, начавший подготовительную работу к составлению диалектологической карты русского языка. В 1903 г. на основе этого Кружка была создана Московская диалектологическая комиссия, руководителем которой стал Ф. Е. К о р ш, а подлинным вдохновителем — А. А. Шахматов. С 1908 г. стали выходить «Труды Московской диалектологической комиссии»; наконец, в 1915 г. вышел «Опыт диалектологической карты русского языка в Европе», наметивший границы говоров восточнославянских языков, а в качестве приложения к нему — «Очерк русской диалектологии», подготовленный Н. Н. Д у р н о в о, Н. Н. С о к о л о в ы м и Д. Н. У ш а к о в ы м. В «Опыте» обобщены накопленные к тому времени диалектологические данные по всем восточнославянским языкам; так появилась возможность выделить важнейшие признаки основных групп говоров и показать их территориальное размещение. В дальнейшем эти признаки и территории уточнялись, но значительное число собранных фактов, четкость документации и во многих случаях правильные теоретические обобщения надолго определили научную и практическую ценность диалектологической карты 1915 г.

В монографии Н. Н. Д у р н о в о «Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. I. Южновеликорусское наречие»³ дается классификация южновеликорусских говоров по типам аканья-яканья, рассматривается вопрос о постепенном развитии различных типов предударного вокализма, а также уделяется много внимания процессам образования переходных говоров.

§ 24. В последующие годы изучение истории языка на основе соотнесения материалов письменных источников с данными диалектологии становится ведущим направлением в отечественном языкознании. Одним из ранних трудов этого

¹ А. А. Шахматов. (1864—1920). Сб. статей и материалов / Под ред. С. П. Обнорского. М. — Л., 1947, с. 79—80.

² См.: Аванесов Р. И. Вопросы образования русского языка в его говорах. — Вестник МГУ, 1947, № 9.

³ Труды Московской диалектологической комиссии, 1917, вып. 6; 1918, вып. 7.

типа является работа В. В. Виноградова, посвященная истории звука, обозначенного в древних текстах буквой ѣ¹. Интересны исследования С. П. Обнорского о переходе [e > 'o] и сочетании *чи* в русских говорах, В. Н. Сидорова по исторической фонетике русского языка, В. Г. Орловой об истории звуков [в, ф]², труды следующего поколения исследователей, посвященные реконструкции отдельных древнерусских и старорусских диалектов.

В послевоенные годы возобновляется публикация важнейших письменных памятников, среди которых привлекают внимание тексты нового типа — берестяные грамоты (преимущественно из Новгорода, обнаруженные в ходе археологических раскопок под руководством А. В. Арциховского) и граффити (старейшие — из Киева и Новгорода) и материалы частной переписки, публикуемые с середины 60-х годов под руководством С. И. Коткова. Продолжается исследование памятников письменности как источников для реконструкции истории отдельных особенностей русского языка. Среди таких работ прежде всего выделяются исследования П. С. Кузнецова по истории русского глагола, В. И. Борковского по историческому синтаксису, а также В. М. Маркова, В. В. Колесова и др. по исторической фонетике (на материале преимущественно северных памятников).

С 40-х годов в АН СССР под руководством Р. И. Аванесова разворачивается работа по сбору материала для диалектологического атласа русского языка. В ней приняли участие большое число филологов — сотрудников, аспирантов и студентов многих университетов и педагогических институтов страны. «Атлас русских народных говоров» — уникальное научное предприятие, объединившее широчайший круг языковедов и осуществленное по единой программе, что не только помогло сбору обширнейшего диалектного материала на огромной территории распространения русского языка, но и обеспечило его сопоставимость. С начала 50-х годов в работах Аванесова и Орловой этот материал включается в историко-диалектологические исследования, обнаруживающие перспективность привлечения данных лингвистической географии к реконструкции истории русского языка. В плане монографического исследования выделяются работы Орловой об истории аффрикат и Л. Л. Касаткина об истории прогрессивной ассимиляции задненёбных согласных³. В 60-е годы появляются и первые опыты обобщающих исследований по истории великорусских наречий С. И. Коткова и К. В. Горшковой⁴, окончательно оформляется понимание истории живой народно-разговорной речи в плане исторической диалектологии, что и реализуется, с одной стороны, в монографии «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», опирающейся преимущественно на данные лингвистической географии, с другой стороны, — в капитальной работе Ф. П. Филина «Происхождение русского, украинского и белорусского языков» (1972), получившей характерный для 70-х годов подзаголовок: «Историко-диалектологический очерк»⁵. Наконец, появляется и первый опыт учебного пособия по исторической диалектологии — «Историческая диалектология русского языка» (1972) К. В. Горшковой.

¹ См.: Виноградов В. В. Исследования в области фонетики севернорусского наречия. Очерки из истории звука ѣ в севернорусском наречии. — Изв. ОРЯС, 1922—1923, т. 24, кн. 1—2.

² См.: Обнорский С. П. Избранные работы по русскому языку. М., 1960; Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966; его же. Из русской исторической фонетики. М., 1969; Орлова В. Г. Губные спонденты в русском языке. — Труды Ин-та русского языка, 1950, т. 2.

³ См.: Орлова В. Г. История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров. М., 1959; Касаткин Л. Л. Прогрессивное ассимилятивное смягчение задненёбных согласных в русских говорах. М., 1968.

⁴ См.: Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии. (Фонетика и морфология). М., 1933; Горшкова К. В. Очерки исторической диалектологии Северной Руси (по данным исторической фонологии). М., 1968.

⁵ Ранее вышел обстоятельный обзор материалов, относящихся к предистории русского языка: Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М. — Л., 1962.

По мере накопления материала и расширения исследовательской проблематики возникает необходимость совершенствования и вузовского курса исторической грамматики русского языка. Первым послевоенным опытом такого рода оказался краткий очерк исторической грамматики русского языка П. Я. Черных. Но наиболее серьезными явились издания Московского университета: «Очерки по историческому синтаксису русского языка» (1956) Т. П. Ломтева — первое специальное пособие по историческому синтаксису и «Историческая грамматика русского языка. Морфология» (1953) П. С. Кузнецова, которому принадлежит ряд исследований в области исторической морфологии, позволивших продвинуть вперед этот раздел исторической грамматики по сравнению с работами Соболевского, Ягича и Шахматова. Последующие работы Кузнецова¹ были обобщены в разделе, вошедшем в книгу В. И. Борковского (которому принадлежит раздел исторического синтаксиса) и П. С. Кузнецова «Историческая грамматика русского языка» (1963 и 1965). Это пособие остается наиболее полным по охвату материала и его обработке из всех изданий учебного характера по исторической грамматике русского языка, вышедших в последние десятилетия.

¹ См.: Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959; его же. Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.

ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМАТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКИ

§ 25. Историческая фонетика как целостная историко-лингвистическая дисциплина оформилась в процессе развития сравнительно-исторического языкознания конца XIX — начала XX в. в тесной связи с интересом к живой (звучащей) речи. Особенно большой успех имели труды Ф. Ф. Фортунатова по индоевропеистике, которые оказали большое влияние на последующие исследования по истории русского языка. В этот период исторические реконструкции, с одной стороны, приобретают все большую методическую строгость (основанную на возникшем в младограмматическом языкознании понимании «фонетических законов» — строгих закономерностей исторических фонетических изменений), с другой стороны, обрастают своего рода иллюзиями, базирующимися на восприятии фонетических единиц как з в у к о в р е ч и, т. е. реальных и конкретных звучаний, фиксируемых уже развившейся к тому времени диалектологией в живых народных говорах и проецируемых в прошлое (в результате общего вывода о сохранении в диалектных противопоставлениях разных этапов истории языка).

Характеризуя этот этап русского исторического языкознания, связанный с достижениями лингвистов фортунатовской школы, замечательный русский славист Г. А. Ильинский писал: «Чтобы объяснить загадочное явление в истории языка, московская школа обыкновенно не останавливается ни перед какими самыми смелыми и сложными конструкциями, лишь бы *quand tême* представить его в конечном итоге как результат более или менее длинного ряда фонетических процессов: для этой цели с легким сердцем придумываются никогда не существовавшие переходные звуки, открываются, иногда целыми десятками, новые фонетические законы, восстанавливаются празвуки, которых язык никогда не знал, изобретаются самые хитрые звуковые комбинации...»¹ Poleмическая гиперболизация недостатков классических сравнительно-исторических реконструкций в характеристике Ильинского бесспорна; но бесспорно и то, что в столь отрицательной оценке подобных реконструкций, в действительности все же составивших целую эпоху в науке, обнажена их очевидная уязвимость, идущая от стремления понятие звука речи как основной единицы исследования синхронного состояния сохранить и в ретроспективных конструкциях, доходящих до очень древнего языкового состояния, восстанавливаемого лишь теоретически.

¹ Ильинский Г. А. Еще раз о праславянских дублетах типа *jelenъ: olenъ*,... — «Slavia», 1925, IV, s. 2, с. 393—394.

В отличие от описательной фонетики историческая фонетика не может оперировать понятием звука речи, так как соответствующая этому понятию фонетическая единица определяется инструментальными методами или с помощью слухового анализа непосредственно звучащей речи, а потому и определение звука речи может иметь место лишь с того времени, когда появляются записи звучащей речи. Историческая фонетика может оперировать лишь понятием звука языка, т. е. понятием звукового типа, определяемого на основе обобщенных фонетических признаков.

Звук языка является конечным результатом применения сравнительно-исторического метода и метода внутренней реконструкции к материалу родственных языков и диалектов с целью восстановления древнейшего состояния их звуковой материи. Так, сравнивая звуковые системы современных восточнославянских диалектов и сопоставляя полученные результаты с данными древнерусских письменных памятников, можно прийти к выводу, что кроме звука типа [и] — переднего, верхнего, нелабиализованного и звука [e] — переднего, среднего, нелабиализованного в древнерусском языке был звук, отличавшийся от [и, e] и в то же время близкий к ним. Этот искомый звук был передним, нелабиализованным и по степени подъема находился между [и] и [e]. В современных говорах ему соответствуют звуки ряда [и — ие — ê — e], а в древнерусских текстах он обозначался буквой ѣ, которая до определенного времени не смешивалась с другими буквами, включая и буквы и, е. В исторической реконструкции общая характеристика такого звука (передний, нелабиализованный, верхнесредний) оказывается исчерпывающей и достаточной и не может быть дополнена более детальной оценкой его качеств в диалектах древнерусского языка. Звук языка, таким образом, может быть охарактеризован в признаках артикуляционной (или акустической) фонетики. На основе выделенных признаков возможна классификация звуков.

Звук языка является единицей синтагматической фонетики, поэтому могут быть определены и изучены его сочетаемостные свойства, которые проявлялись в синтагматических позициях — сочетаниях разных согласных, согласного с гласным и т. п. Так, устанавливается, что в древнерусском языке раннего периода звуки заднеязычного ряда [к, г, х] не могли сочетаться с гласными переднего ряда, а сочетались только с гласными непреднего ряда; палатальные [ш', ж', ч', ц'] до известного периода не могли сочетаться с [о], а сочетались только с [e]. Для разных исторических эпох, таким образом, можно определить правила сочетаемости звуков, «разрешающие» одни сочетания и «запрещающие» другие. Например, в древнерусском языке «разрешалось» сочетание заднеязычных с [ы], но «запрещалось» сочетание этих согласных с [и]; в современном же русском языке, напротив, «разрешается» сочетание [к, г, х] с [и] и «запрещается» их сочетание с [ы].

Изучение признаков звуков языка в их отношении к сочетаемостным свойствам позволяет выделять конститутивные (независимые от позиции) и позиционно обусловленные признаки. Так, в древней-

шую эпоху существования восточнославянских диалектов все непалатальные согласные, сочетаясь с гласными переднего ряда, уподоблялись им, становились полумягкими: $\langle п + и \rangle > [п \cdot и]$, $\langle б + е \rangle > [б \cdot е]$, $\langle с + ь \rangle > [с \cdot ь]$. Признак полумягкости у таких согласных был, следовательно, позиционно обусловленным, а признаки глухости у [п, с], звонкости у [б], билабиального образования у [п, б] и зубного образования у [с] были конститутивными.

Определение признаков звуковых единиц в исторической фонетике носит более обобщенный характер, чем в описательной. Так, классифицируя гласные древнерусского языка по ряду, их можно распределить в зависимости от сочетаемостных свойств на гласные передней и непередней зоны образования. Описательная фонетика современного русского языка способна выделить по данным экспериментальной фонетики несколько классов гласных, различающихся по ряду.

§ 26. До возникновения в начале XX в. фонологии звуковой тип (звук языка) оставался единственной реальной кратчайшей единицей исторической фонетики. Становление фонологии привело к включению в число единиц исторической фонетики ф о н е м ы — кратчайшей единицы звуковой системы языка, выполняющей различительную функцию, или функцию отождествления звукового состава значимых единиц языка — морфем и слов. Свои основные функции в языке фонема может выполнять путем противопоставления другим фонемам в тождественных фонетических условиях. Например, звуковой состав слов *мал*, *мол*, *мул* различается в результате противопоставления фонем $\langle а \sim о \sim у \rangle$, а слов *м'ил*, *мыл* — путем противопоставления согласных фонем $\langle м' \sim м \rangle$ перед фонемой $\langle и \rangle$; звуки [и, ы] в этих словах реализуют одну и ту же фонему $\langle и \rangle$ в разных фонетических условиях.

Фонема является кратчайшей единицей парадигматического плана системы языка, так как она связана с противопоставлением (оппозицией) однородных единиц в позициях чередования этих единиц. Фонема должна быть охарактеризована в фонематических признаках — дифференциальных (релевантных, существенных для нее) и интегральных (избыточных). Для разграничения дифференциальных и интегральных признаков фонемы важную роль играет нейтрализация признаков. Нейтрализация — это утрата фонологического противопоставления. Так, в современном языке на конце слова или перед шумными согласными происходит нейтрализация противопоставления по глухости ~ звонкости: *стол[б]а* — *стол[п]а*, но *стол[п]*. Нейтрализуемые признаки являются обязательно дифференциальными в позиции различения.

Понятие дифференциального признака (ДП) шире понятия нейтрализованного признака. ДП — это признаки, образующие оппозицию фонем. Например, в современном языке оппозиция фонем $\langle е \sim о \rangle$ образуется ДП лабиализованности ~ нелабиализованности.

Фонема и ее признаки не могут быть восстановлены для прошлых исторических эпох и охарактеризованы с помощью сравнительно-исторического метода или метода внутренней реконструкции. Фонема актуальна лишь для той системы, членом которой она является. Поэтому историческая фонология использует методику анализа и синтеза звуковых единиц, разработанную синхроническим языкознанием, в данном случае — описательной и теоретической фонологией. Данную методику принято называть структурно-функциональной.

При реконструкции фонологических систем или отдельных фонем для разных исторических эпох необходимо помнить, что эта реконструкция должна сопровождаться определением признаков фонем. Без такого определения выводы историка языка о наличии или отсутствии искомой фонемы в ту или иную историческую эпоху будут неокончательными. Недостаточно, например, сказать, что звук, обозначающийся буквой *нь*, реализовывал особую фонему <*нь*>: необходимо при этом выявить, на основании каких признаков эта фонема входила в фонологическую систему древнерусского языка.

Фонема и звук языка связаны как более абстрактная единица языка с ее реализациями, т. е. фонема как идеальная единица может быть материально представлена звуками языка. Признаки фонемы, дифференциальные и интегральные, реализуются в конститутивных признаках звуков языка. отождествление звуков языка в пределах одной фонемы или их распределение между разными фонемами должно производиться по правилам, разработанным теорией фонем. Поэтому как в описательной, так и в исторической фонетике при решении всех фонетических и фонологических вопросов необходимо руководствоваться избранной теорией фонем.

§ 27. Стихийное, или интуитивное, понимание системы языка, в частности фонетической, было присуще уже первым работам основоположников русского исторического языкознания. Фонетическая интерпретация графико-орфографических фактов в работах А. А. Шахматова и других ученых конца XIX — начала XX в. сопровождалась обобщением звуковых явлений. Используя современную терминологию, можно сказать, что исследованиям по исторической фонетике того времени было свойственно понятие фонемы как звукового типа, полученное в результате обобщения звуков речи на основе физиолого-акустического сходства или тождества. Понимание фонемы как звукового типа возникает при выдвигании на первый план синтагматики языка; правила же противопоставления звуковых единиц, вытекающие из учения об их оппозиции, при этом не учитываются. Между тем оставаясь лишь в пределах синтагматических отношений, можно установить произошедшие в языке отдельные фонетические изменения; но, не обратившись к системе противопоставлений языковых единиц, нельзя ответить на вопрос, привело данное изменение к историческому движению звукового строя или нет. Введение понятия оппозиции в историческую фонетику диктуется, таким образом, современными задачами изучения истории языка и диалекта как исторической смены одной сис-

темы другой. Поэтому при всей важности синтагматического аспекта, позволяющего проследить изменения отдельных звуков языка, исследователю исторической фонетики необходимо считаться и со сменой парадигматических отношений, происходящей в процессе развития языка как функционирующей системы.

§ 28. Синтагматика и парадигматика тесно связаны друг с другом. Собственно фонетические изменения рано или поздно ведут к перестройке фонологических (системных) отношений; в свою очередь, системные отношения могут влиять на характер или интенсивность фонетических изменений — «сдерживать» их или, напротив, создавать благоприятные условия для реализации начавшихся фонетических процессов. Сложные отношения между синтагматическими единицами речи и парадигматическими единицами языка заставляют исследователя истории языка решать вопрос о выборе исходной фонологической теории, без которой невозможна фонологическая интерпретация историко-фонетических процессов, таким образом, чтобы она не затушевывала сложности этих отношений, а могла бы стать основой всех частных решений и обеспечивала бы реальность реконструкции фонологических систем для разных исторических эпох.

Чтобы отвечать сформулированным требованиям, исходная теория диахронической фонологии должна исходить из такого понимания языка как объекта лингвистики, при котором изменение так же включается в основную характеристику языка, как и системность и функция, т. е. при котором язык понимается как исторически меняющийся объект, а его синхронное состояние — как противоречивое, динамическое. Такая теория должна исходить из понятия фонемы как кратчайшей различительной единицы, а ДП — как способа описания фонемы. При этом такая теория не должна сводить фонему и к звуковому типу, а должна понимать ее как единицу системы оппозиций и учитывать закономерные связи фонологической системы с грамматической или лексической и не считать фонологическую систему автономной.

Перечисленным требованиям отвечает концепция Московской фонологической школы, которая с ее последовательно функциональной точкой зрения на фонему позволяет ввести парадигматику в историческое изучение звукового строя и в то же время располагает достаточно простыми и экономными правилами, определяющими взаимодействие парадигматики и синтагматики. Концепция Московской школы принята в качестве исходной в данном пособии¹.

§ 29. З в у к я з ы к а и ф о н е м а являются сегментными единицами звукового строя. Кратчайшей надсегментной фонетической единицей языка является с л о г. Слог является как бы полем реализации признаков согласных и гласных фонем, составляющих этот слог. Структура слога исторически изменчива.

¹ См.: *Аванесов Р. И., Сидоров В. Н.* Очерк грамматики русского литературного языка, ч. 1. Фонетика и морфология. М., 1945; *Аванесов Р. И.* Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956; *Панов М. В.* Русская фонетика, М., 1967.

В число единиц фонетической системы, изучаемых в исторической фонетике, следует включить еще одну, которая корреспондирует (соотносится) с основной значимой единицей языка — словом в его определенной форме, т. е. словоформой. Эту единицу называют **фонетическим словом**. Ее характеристика включает определение основных фонетических факторов, формирующих состав и сочетаемость звуковых единиц в словсформе. Выделение этой единицы по необходимости связано с определением группы пограничных сигналов (диэремы), с помощью которых одно фонетическое слово отделяется от другого в недискретном (цельном, нерасчлененном) потоке речи. Природа диэремы позиционна, поэтому для прошлых исторических эпох она трудно восстанавливаема. Но отдельные фонетические признаки, специфические для начала и конца слова, могут быть восстановлены.

§ 30. Изучение совокупности фонетических слов позволяет устанавливать **фонетические модели слов**, что очень важно для исторической фонетики. По степени и характеру актуальности фонетических моделей слов можно судить об актуальности фонетических законов, определивших или определяющих направление фонетических изменений в разные исторические эпохи. Несинхронность фонетического закона и фонетической модели, неединственность фонетической модели для некоторых разрядов слов помогает лучше судить о динамике фонетических изменений и о диахронной связи явлений разных уровней: фонологического и морфологического, фонематического и лексематического и т. п. Например, закрепленность модели диссимилятивного яканья за соответствующими словоформами в юго-западных русских диалектах при отсутствии противопоставления фонем ⟨*ô* ~ *o*⟩ в этих говорах, т. е. произношение типа *с[л'и]пой старик*, но у *с[л'а]пой старухи* (при наличии форм *с[л'и]пой* и *с[л'а]пой* в других русских говорах) позволяет сказать, что данные фонетические модели могли сложиться в то время, когда фонетический закон развития безударного вокализма (в зависимости от ударного) был актуальным. Функционирование фонетической модели оказалось более продолжительным, чем действие самого фонетического закона. В результате в соответствующих говорах данный тип безударного вокализма перестал характеризовать фонетическую систему безударного вокализма, а стал основой возникновения чередования безударных гласных [а/и]. Закрепленность членов этого чередования за определенными словоформами позволяет говорить о них как об **альтернативах**, т. е. говорить о преобразовании позиционной мены в чередование, фонетического явления в морфонологическое.

Неединственность фонетической модели русских слов, включающих сочетание парного твердого согласного и гласного [e], возрастающая актуальность модели с несмягченным согласным перед [e] (ср. произношение слов *ателье*, *кашне*, *модель*, *шоссе* и др.) позволяет утверждать, что фонетический закон обязательного приспособления парного твердого согласного перед [e] (смягчения согласного) перестал быть актуальным, вследствие чего оказываются возможны-

ми слова, допускающие обе модели: *фо[н'е]тика* и *фо[не]тика*. Это положение позволяет сделать вывод о направлении в развитии фонетической системы в целом: появление новой сильной позиции перед фонемой ⟨е⟩ для парных твердых ~ мягких согласных, усложнение системы безударного вокализма после парных твердых согласных (система типа ⟨и ~ у ~ а⟩ сменяется системой типа ⟨и ~ у ~ э ~ а⟩). Внимание к фонетической модели слова позволяет историкам языка получить больше сведений о нормах реализации фонетической системы в разные исторические эпохи.

ЗВУКОВОЙ СТРОЙ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТОВ ДРЕВНЕЙШЕЙ (ДОПИСЬМЕННОЙ) ЭПОХИ

§ 31. Славянские диалекты, впоследствии составившие древнерусское языковое единство, в начальный период своего развития характеризовались звуковыми чертами, унаследованными от праславянского языка. Со времени обособления от праславянского языка и до периода объединения в составе древнерусского языка они пережили ряд изменений, получивших отражение в старейших памятниках письменности. Реконструируемая с помощью сравнительно-исторического метода звуковая система праславянского языка может считаться «и с х о д н о й» системой, с которой начинается развитие собственно восточнославянской речи. А получившие отражение в старейших письменных памятниках черты, противопоставляющие древнерусский язык западно- и южнославянским языкам и отсутствующие в реконструируемой системе праславянского языка, должны рассматриваться как результат тех фонетических изменений, которые осуществлялись в период между распадом праславянского единства и сложением древнерусского языкового единства.

Окончательный распад праславянского единства принято относить приблизительно к VI в.; формирование древнерусского языка как средства общения древнерусской народности начинается в IX в.; старейшие же из сохранившихся древнерусских памятников относятся к середине XI столетия. Это значит, что практически нет возможности строго разграничить звуковые процессы, осуществлявшиеся в разных восточнославянских говорах до их объединения, и процессы, завершавшиеся в древнерусском языке как средстве общения населения Древней Руси. Эти процессы приходится рассматривать как результат общих тенденций развития большинства восточнославянских диалектов, за исключением немногих особенностей, нашедших отражение в памятниках лишь отдельных древнерусских областей. Только с появлением письменных памятников историческая фонетика получает возможность более строго разграничивать локальные звуковые изменения и реконструировать системные отношения, неоднозначные для разных восточнославян-

ских диалектных зон. Эти реконструкции, в свою очередь, дают материал для предположений о более ранних процессах диалектного (необщевосточнославянского) характера.

ПРАСЛАВЯНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

§ 32. Система вокализма праславянского языка ко времени его распада уже пережила преобразование количественных различий в качественные, в результате чего признак количества утратил фонологическую значимость. Для периода обособления славянских диалектов Восточной Европы восстанавливаются следующие звуковые типы гласных: [i, y, i̇, u, ě, (n), ɛ, ɔ, e, o, ь, ъ, a].

По своей природе гласные [i, y, i̇, u, ě, ɛ, ɔ, a], возникшие из индоевропейских долгих гласных, из дифтонгов или дифтонгических сочетаний, очевидно, были долгими. Однако к позднепраславянскому периоду эта долгота во многих позициях утрачивалась, а потому и там, где она сохранялась, должна интерпретироваться как позиционная. Гласные [e, o], развившиеся из индоевропейских кратких, по данному признаку не могли уже противопоставляться долгим [ě, a], если сохранение или утрата долготы оказались связанными с позицией. Очевидно, сохранял свою значимость лишь признак редуцированности у гласных [ь, ъ].

Степень подъема носовых гласных по диалектам праславянского языка могла быть различной. В диалектах, легших в основу языка восточных славян, для ɛ можно предположить средненижний подъем, для ɔ — верхнесредний.

Важнейшим признаком, формировавшим систему вокализма, был признак ряда, что проявлялось в характере сочетаемости гласных различной зоны образования с согласными в слоге и определило такую закономерность в построении праславянского слога, как слоговой сингармонизм. Противопоставляясь по зоне образования, передней или непередней, часть гласных образовывала соотносительный ряд:

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{[i] - [y]} & \underbrace{[e] - [o]} & \underbrace{[ь] - [ъ]} \\ [i] & [e] & [ь] \end{array}$$

Противопоставление этих гласных осуществлялось после губных и переднеязычных согласных, нейтрализация происходила после палатальных (среднеязычных) согласных фонем: *plodi и *plody, но только *kon'i; *synъ и *olenъ, но только *kon'ь; *vesti, *voziti, *nesti, *nositi, но только *kon'emь, *pol'e, *bur'ejq.

Признак лабиализованности ~ нелабиализованности носил релевантный характер в частной системе гласных верхнего подъема, где после несмягченных согласных по данному признаку могли противопоставляться ⟨y ~ u⟩, а после смягченных ⟨i ~ i̇⟩, а также в частной системе носовых гласных ⟨ɛ ~ ɔ⟩.

Для гласных ⟨e ~ o⟩, ⟨ь ~ ъ⟩ признак лабиализованности ~ нелабиализованности был избыточным; он сопровождал признак ряда этих гласных фонем и в число их ДП не входил. Такое распре-

деление признаков ряда и лабиализованности хорошо прослеживается в соотношении фонем ⟨е, о⟩ после ⟨j⟩ и палатальных согласных и после непалатальных согласных. Гласный [o], попадая в позицию после [j] или после палатальных согласных, не только передвигался в переднюю зону образования, но и делабиализировался: *selo, но *pol'e; *selomъ, но *pol'emъ; *ž'enojъ, но *zeml'ejъ. При утрате протетического [j] гласный [e], оказавшись в начале слова, перемещался в непереднюю зону образования и приобретал лабиализованность, поэтому для разных праславянских диалектов восстанавливаются отношения: *jezero, но *ozero; *jelenъ, но *olenъ. Релевантным для системы вокализма было многочленное противопоставление по степени подъема: ⟨i ~ e ~ ė⟩, ⟨u ~ ȯ ~ o⟩ и др.

Таким образом, гласные фонемы позднеславянского периода, характеризовавшие унаследованную восточнославянскими диалектами систему вокализма, имели следующие признаки:

⟨i⟩ — передний ряд, верхний подъем, нелабиализованность, неназальность, нередуцированность;

⟨y⟩ — непередний ряд, верхний подъем, нелабиализованность, неназальность, нередуцированность;

⟨u⟩ — передний ряд, верхний подъем, лабиализованность, неназальность, нередуцированность;

⟨u̇⟩ — непередний ряд, верхний подъем, лабиализованность, неназальность, нередуцированность;

⟨ė⟩ — передний ряд, верхнесредний подъем, нелабиализованность, неназальность, нередуцированность;

⟨e⟩ — передний ряд, средний (или средненижний) подъем, нелабиализованность, назальность, нередуцированность;

⟨ȯ⟩ — непередний ряд, средний (или верхнесредний) подъем, лабиализованность, назальность, нередуцированность;

⟨ь⟩ — передний ряд, средний подъем, нелабиализованность, неназальность, редуцированность;

⟨ь̇⟩ — непередний ряд, средний подъем, неназальность, редуцированность;

⟨e⟩ — передний ряд, средний подъем, нелабиализованность, неназальность, нередуцированность;

⟨o⟩ — непередний ряд, средний подъем, лабиализованность, неназальность, нередуцированность;

⟨a⟩ — непередний ряд, нижний подъем, нелабиализованность, неназальность, нередуцированность.

§ 33. Классификация согласных звуков этого периода может строиться с учетом места образования, способа образования, участия или отсутствия голоса.

В зависимости от места образования различались согласные губные и язычные. Язычные согласные делились на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные. Переднеязычные могли быть зубными и альвеолярными. Среднеязычные (или средненёбные) согласные можно назвать палатальными, если среднеязычная артикуляция была для них основной.

По способу образования различались смычные, фрикативные согласные, аффрикаты и смычно-проходные.

По участию или отсутствию голоса выделялись шумные звонкие, шумные глухие, сонорные согласные. Шумные согласные отличались от сонорных соотношением шума и голоса. Для всех шумных

согласных их основную характеристику составлял шум, у шумных глухих он был единственной характеристикой. У сонорных согласных шум дополнял голос, который являлся основной характеристикой. Шумные глухие согласные были напряженными, шумные звонкие характеризовались ненапряженностью.

Место образования		Язычные									
		Губные		переднеязычные				среднеязычные		заднеязычные	
				зубные		алвеол.		звонкие	глухие	звонкие	глухие
		звонкие	глухие	звонкие	глухие	звонкие	глухие				
Шумные	смычные	[b]	[p]	[d]	[t]					[g]	[k]
	фрикативные	[w]		[z]	[s]	[ž']	[š']	[j]			[x]
	аффрикаты				[c']	[č'd'ž]	[š't's']				
Сонорные	смычно-проходные	[m]		[n]	[l]	[r]					
						[n']	[l']	[r']			

§ 34. Система согласных фонем характеризовалась признаками, которые реализовывались в месте образования и в способе образования согласных. Эти признаки охватывали весь набор согласных фонем данной системы. По месту образования противопоставлялись губные, переднеязычные зубные, среднеязычные и заднеязычные согласные.

Варьирование согласных по способу образования позволяет выделить такие ДП, как смычность, фрикативность, аффрикатность, латеральность, вибрантность, назальность.

Фонологическая оценка признаков глухости ~ звонкости шумных согласных связана с оценкой их напряженности ~ ненапряженности. Из описательной фонетики известно, что все шумные глухие согласные являются напряженными звуками, а шумные звонкие — ненапряженными. Следовательно, признаки глухости и напряженности и признаки звонкости и ненапряженности оказываются как бы связанными, постоянно сопутствующими друг другу. Подобная комплексность фонетических признаков при материальной реализации фонем (на фонематическом уровне) должна быть распределена между различительными и дополнительными признаками фонем.

Дифференциальный признак, как признак с функцией различения по своей природе, по назначению в языке не может быть комплексным. Это означает, что при противопоставлении звуковых единиц

типа <t ~ d> в качестве различительных выступают признаки глухости ~ звонкости или напряженности ~ ненапряженности. Если частную систему шумных согласных формирует противопоставление по глухости ~ звонкости, то в этой же системе признак напряженности ~ ненапряженности является дополнительным. Такая система характеризуется нейтрализацией противопоставления по глухости ~ звонкости в конце слова, а также при оглушении шумных звонких или озвончении шумных глухих при словообразовании. Подобная система характеризует консонантизм современного русского литературного языка и большинства русских говоров (она подробно описана в курсах современного русского языка).

Консонантизм ряда русских говоров, украинского литературного языка и диалектов включает частную систему согласных с ДП напряженности ~ ненапряженности. Признаки глухости ~ звонкости в этом случае выступают как дополнительные. В такой системе конечные шумные звонкие согласные не оглушаются.

Сопоставление данных современных славянских языков и их диалектов, результаты историко-типологического изучения славянского консонантизма делают возможным реконструкцию частной системы шумных согласных для позднеславянского языка как системы, организованной противопоставлением по напряженности ~ ненапряженности. Признак глухости ~ звонкости в этой системе был дополнительным.

Самым сложным является вопрос о фонологической интерпретации смягченных согласных, появившихся в праславянском языке в результате ряда палатализаций, т. е. согласных передненёбного и средненёбного ряда. До палатализаций эта зона образования была представлена лишь средненёбным согласным [j]. Появление смягченных согласных привело к сближению тембра гласных и согласных в слог.

Фонетические результаты праславянских палатализаций в лингвистической литературе охарактеризованы достаточно полно. Фонологическое же объяснение этих результатов различно. Наиболее известна точка зрения Р. И. Аванесова, которая сводится к тому, что в позднеславянском языке и древневосточнославянском до вторичного смягчения согласных десять согласных <s, s', z, z', l, l', n, n', r, r'> образовывали пять пар согласных фонем, противопоставленных по твердости ~ мягкости (непалатализованности ~ палатализованности). Остальные смягченные согласные оказались непарными по данному ДП, непарными должны рассматриваться и несмягченные губные, зубные и задненёбные.

Сильной для парных фонем определяется позиция перед гласными: словоформы типа *kon'ь — *olen'ь, *kon'a — *kona имели основы на парную мягкую или твердую согласную фонему. В этом случае система твердых ~ мягких согласных до вторичного смягчения принципиально не отличалась от системы консонантизма современного русского языка; отличия сводятся главным образом к количественным показателям. Данная интерпретация твердости ~ мягкости, очевидно, может относиться лишь к шести переднеязычным соглас-

ным: [l, l', n, n', r, r']. В пределах дентального ряда они уже в поздне-праславянской системе могли составить три пары согласных фонем, различающихся по твердости ~ мягкости: ⟨l ~ l'⟩, ⟨n ~ n'⟩, ⟨r ~ r'⟩. Судя по дальнейшей истории славянских фонологических систем, данные отношения как бинарные были осознаны носителями отдельных диалектов праславянского языка, в том числе и северо-восточных диалектов. Однако и в этих диалектах период парного противопоставления фонем ⟨l ~ l'⟩, ⟨n ~ n'⟩, ⟨r ~ r'⟩ не совпадал со временем завершения праславянских палатализационных процессов, а оформился позже.

Непосредственным фонологическим результатом процессов смягчения было появление фонем среднеязычного (палатального) ряда. Это означает, что существовавшее и до процессов смягчения трехчленное противопоставление согласных фонем по ряду (губные — переднеязычные зубные — заднеязычные) сменялось четырехчленным противопоставлением по этому же признаку ряда. Прибавился среднеязычный (палатальный) ряд. О том, что согласные, занимающие в фонетическом отношении передненёбную и средненёбную зоны образования, реализовывали в позднепраславянском языке среднеязычные (палатальные) фонемы, свидетельствует их поведение на синтагматической оси. Как и среднеязычный [j], все новые смягченные согласные, в том числе и ⟨l', n', r'⟩, не сочетались с лабиализованными гласными среднего подъема ⟨o, ɔ⟩. Сочетания типа *t'o, *t'ɔ, как и *jo, *jɔ, обязательно заменялись сочетаниями типа *t'e, *t'ɛ. Были возможны лишь словоформы типа *pol'e, *kon'ɔ, *kon'emɔ, *bur'ejo.

Положение звуков ⟨s', z'⟩ в системе разных исторических периодов после второй и третьей палатализации заднеязычных и до вторичного смягчения согласных было иным, чем других смягченных согласных зубного ряда. Звуки ⟨s', z'⟩ замещали задненёбные ⟨x, g⟩ перед флексиями *ь, и* в парадигмах склонения или спряжения слов с основой на заднеязычный: *drugɔ — *druz'ě — *druz'i; *mixa — *mus'ě; *mogɔ — *moz'i — *moz'ěte. В этих парадигмах в соответствующих словоформах основы на -s', -z' соединяются с такими же флексиями, как и основы на несмягченный согласный, в то время как основы на смягченный согласный соединяются в таких же словоформах с другими флексиями; ср.: *drugɔ — *druz'ě — *druz'i, как и *stolɔ — *stolě — *stoli, но *kon'ɔ — *kon'i — *kon'i; *mixa — *mus'ě — *mixy, как *ž'ena — *ž'eně — *ž'eny, но *z'eml'a — *z'eml'i — *z'eml'ě. Эти факты приводят к предположению, что звуки [s', z'] были лишь позиционными в а р и а н т а м и фонем ⟨x, g⟩ в определенных словоформах парадигмы.

Фонологизация ⟨s', z'⟩ могла иметь место в словах, где ⟨s', z'⟩ не чередовались с ⟨x, g⟩, а были представлены во всех словоформах парадигмы, как, например, в *kъnez'ɔ, *polz'a. Но в этих словах древние тексты отражают диалектное отверждение [z']. Очевидно, основной процесс фонологизации мягких зубных [s', z'] имел место в отдельных славянских языках и диалектах позже, уже после

вторичного смягчения согласных и в связи с тенденциями развития фонетических систем отдельных славянских языков.

Таким образом, перед вторичным смягчением согласных система консонантизма позднепраславянского языка с известными основаниями может быть представлена в следующем виде:

- (p) — губная, напряженная, смычная;
- (b) — губная, ненапряженная, смычная;
- (w) — губная, фрикативная;
- (m) — губная, носовая;
- (t) — зубная, напряженная, смычная;
- (d) — зубная, ненапряженная, смычная;
- (s) — зубная, напряженная, фрикативная;
- (z) — зубная, ненапряженная, фрикативная;
- (š) — среднеязычная, напряженная, фрикативная;
- (ž') — среднеязычная, ненапряженная, фрикативная;
- (č') — среднеязычная, аффриката;
- (c') — зубная, аффриката;
- (n) — зубная, носовая, непалатализованная;
- (n') — зубная, носовая, палатализованная;
- (l) — зубная, латеральная, непалатализованная;
- (l') — зубная, латеральная, палатализованная;
- (r) — зубная, дрожащая, непалатализованная;
- (r') — зубная, дрожащая, палатализованная;
- (j) — среднеязычная;
- (k) — заднеязычная, напряженная, смычная;
- (g) — заднеязычная, ненапряженная, смычная;
- (x) — заднеязычная, фрикативная.

Сложные звуки [š't's', ž'd'ž'] следует рассматривать как сочетания фонем ⟨š' + č'⟩ и ⟨ž + d'ž'⟩. В этом случае выделяется позиционно связанная фонема ⟨d'ž'⟩. Она известна в словах лишь в сочетании с предшествующей фонемой ⟨ž'⟩. Губная фонема ⟨w⟩ реализовывалась губно-губным звуком.

Фонологическая характеристика аффрикат ⟨č', c'⟩ требует дополнительных замечаний. Аффриката [c'] также могла чередоваться с задненёбным [k] в пределах парадигмы слов с основой на [k], как [s'] чередовался с [x], а [z'] с [g]: *uč'enikъ — *uč'enic'ě — *uč'enic'i, как и *stolъ — *stolě — *stoli; *tekъ — *tbc'i, *tbc'ěte, как и *nesъ — *nesěte. И в этом случае звук [c'] также являлся лишь позиционной реализацией фонемы ⟨k⟩. Словоформы в этих случаях были организованы по типу словоформ с основой на несмягченный согласный.

Иначе ведет себя аффриката [c'] вне чередования с [k], когда основа на [c'] характеризует все словоформы парадигмы или аффриката оказывается не на стыке морфем. В этих случаях аффриката [c'] «ведет себя» как самостоятельная среднеязычная фонема; ср., например, парадигму слов *otbc'ь, *ovbc'a, построенную так же, как и парадигма слов с основой на смягченный согласный: *otbc'ь — *otbc'i, как и *kon'ь — *kon'i; *ovbc'a — *ovbc'ě — *ovbc'i, как и zeml'a — *zeml'ě — *zcmli. В слогах [c'a, č'a, ka] перед ⟨a⟩ фонемы ⟨c' ~ č' ~ k⟩ противопоставляются друг другу как самостоятельные. Поэтому для некожающих говоров, различающих аффрикаты, необходимо определить ДП, организующие частную

систему аффрикат. Таким ДП можно принять различие, реализующееся в месте образования: ⟨с'⟩ — зубная, а ⟨с̣'⟩ — альвеолярная или среднеязычная фонема. Но возможно и другое решение, когда реализацией признака, различающего аффрикаты, можно признать способ образования, работу кончика языка.

§ 35. Структура слога в праславянском языке позднего периода подчинялась ряду закономерностей, актуальных и для структуры слога восточнославянских диалектов древней поры. К их числу относится явление слогового сингармонизма, когда в пределах слога сочетались звуки, однородные по зоне образования. Эта закономерность вызывала позиционную полумягкость у твердого согласного перед гласным переднего ряда в этом же слоге: **p'ьsъ*, **s'ěno*, **l'edъ*, **r'edъ*, **p'ilъ*, **b'it'i*, **d'ьn'ь*. Задненёбные твердые согласные не могли сочетаться с гласными переднего ряда. Гласные передней зоны образования или не могли сочетаться с палатальными согласными, или же, сочетаясь, перемещались в переднюю зону образования. Не встречались сочетания палатальных согласных с [у, о, ъ], а по диалектам — также и с [ѣ] (в других диалектах сочетание типа **t'ě* было морфологически ограничено); гласные [а, и] в сочетаниях с палатальными согласными изменялись в [ã, ï]. Полумягкость согласных перед гласными переднего ряда и продвижение непалатальных гласных в переднюю зону образования после палатальных согласных были явлениями позиционными и определяли позиционно обусловленные признаки звуков в слоге.

Слог характеризовался определенными правилами сочетаемости звуков, различающихся по степени сонорности. В своей совокупности эти правила формировали тенденцию построения любого слога, начального и нена начального, по нарастающей звучности. Построение слога по нарастающей звучности выявляло еще одну закономерность — «закон» открытого слога. Слог оканчивался наиболее сонорным звуком, который и определялся как слогаобразующий: **plo-dъ*, **plo-tъ*, **s'ь-ьb-c'ь*, **slъ-za*. Слоговая модель нарастающей звучности определяла возможные сочетания согласных в слоге.

По диалектам праславянского языка, исторически связанным с восточнославянскими, были известны слова с начальными [о, и] без протетического [j]: **osenъ*, **olenъ*, **odinъ*, **unъ*, **unos'a* (ср. цсл. *есень*, *елень*, *единъ*, *юнъ*, *юноша*).

Последовательная палатализация согласных перед [j] также могла быть связана с перераспределением слоговой границы вследствие действия тенденции возрастающей звучности. В результате согласный с последующим [j] оказались в одном слоге и возникло уподобление согласного [j] по месту образования, т. е. **ko-njos* > *kon'ь*, **pi-sjom* > **pis'q* > *пиш'у*.

Перечисленные закономерности построения слога создавали специфику сочетаемости слогов в пределах фонетического слова. Слог отличался значительной автономностью. Позиционные изменения протекали главным образом в пределах слога, лишь изредка являясь межслоговыми, как, например, при изменении [ъ] или

[ь] перед [j] соответственно в [ŷ] или [i]: *bělъ-jь > *b·ělŷ-jь, *p·b-jь > p·i-jь. Слоговая граница выполняла как бы роль консонанта.

Морфемные границы, очевидно, не имели такого значения, как слоговые. На стыке морфем могли проходить такие же позиционные изменения, как и внутри морфемы; важно, что оно было внутрисловным: например, изменение типа *izč'eznŷti > *iž'č'eznŷti отражалось в написании в старославянских текстах: *ищезнѣти*.

ОБЩЕВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

§ 36. В начальный период обособленного развития славянских языков продолжали действовать тенденции развития, сложившиеся в поздний праславянский период. Однако общие закономерности могли получать специфическую форму в отдельных славянских языках. Не без основания многие слависты считают, что при периодизации истории структуры славянских языков можно назвать падение редуцированных тем общеславянским фонетическим процессом, который завершает актуальность праславянских фонетических законов и открывает историю фонетических систем отдельных славянских языков.

Сохранялись актуальность тенденции построения слога по возрастающей звучности и актуальность открытых слогов. Одним из проявлений общей тенденции развития слоговой модели слова было образование восточнославянского полногласия.

Фонетическое изменение сочетаний типа *tert, *tort, *telt, *tolt не закончилось в праславянский период: долгие закрытые слоги этих сочетаний подверглись сложным преобразованиям, по-разному завершившимся в диалектах разных славянских областей. В частности, в диалектах, обособившихся в Восточной Европе, носителем долготы в этих слогах, очевидно, был плавный согласный: *ter:t, *tor:t, *tel:t, *tol:t. Преобразование закрытого слога в открытый в дальнейшем шло за счет утраты плавным долготы и заместительного развития гласного звука после плавного, т. е. *tor:t > *torot. Завершение развития сочетаний типа *tort по диалектам отдельных славянских языков приходится на относительно поздний период. На это указывает имя *Karl*, получившее в чешском языке форму *král*, в польском *król*, в русском *король* и являющееся по происхождению нарицательным от имени Карла Великого (к славянам это слово могло проникнуть не ранее конца VIII — начала IX в.).

Есть основания считать, что второй гласный полногласных сочетаний был короче нормально кратких: в юго-западных (будущих украинских) диалектах древнерусского языка, в которых после падения редуцированных развивалось удлинение гласных в новых закрытых слогах и старые краткие [e, o] становились долгими [e:], [o:], изменившимися затем в [i] с предшествующей мягкостью согласного, во втором слоге полногласных сочетаний гласные сохранились без изменения; ср.: *камень* > *каме:н' > кам'ин', *котъ* > *ко:t > *kit*, но *берегъ* > *берег*, *воронъ* > *ворон* (не «ворин»).

В сочетаниях типа **telt*, **tolt* в восточнославянских диалектах еще до их преобразования в открытые слоги изменилось качество плавного, который стал лабиовелярным. Это повлекло за собой перемещение предшествующего гласного [e] в непереднюю зону образования, сопровождавшееся его лабиализацией (еще в то время, когда сочетание **el* находилось в пределах одного закрытого слога, т. е. **telt* > **tel^ot* > **tolt*). Именно поэтому инославянским сочетаниям *la* и *lě* соответствует древнерусское сочетание *оло* (как из **tolt*, так и из **telt*). При этом если в корне типа **telt* начальный согласный был задненёбным, изменявшимся перед гласными переднего ряда в палатальный, то предшествующий гласный [e] не мог перемещаться в непереднюю зону и у восточных славян, наряду с *оло*, появлялось полногласное сочетание *ело*; ср.: ст.-сл. *млѣко* — в.-сл. *молоко* (< **melko*), ст.-сл. *шльмѣ* — др.-русс. *шеломѣ* (< **xelmѣ*).

Изменение слоговой структуры начальных слогов, восходящих к праславянским сочетаниям типа **olt*, **ort*, в языке восточных славян зависело от интонации. Акутовая интонация способствовала изменению этих сочетаний в *la*, *ra* (например, *raka*). Под циркумфлексной интонацией они изменялись соответственно в *lo*, *ro* (например, *lodъka*, *robъ*).

Специальных замечаний требует интерпретация сочетаний редуцированных гласных с плавными типа **tǫrt*, **tǫrt*, **tǫlt*, **telt* (в последнем случае, как и в сочетании типа **telt*, плавный стал лабиовелярным, что влекло за собой передвижение гласного в непереднюю зону образования, т. е. **tǫlt* > **tǫlt*). Слоговая модель слов, включающих сочетания этого типа, для восточнославянских диалектов допускает двоякую интерпретацию.

Для восточнославянских диалектов несомненно сохранение редуцированными слогообразующей роли (в отличие от южнославянских, где редуцированный был поглощен слоговым плавным: **trt*). Что же касается самого плавного, то вполне возможно трактовать его как неслоговой, т. е. считать актуальной модель типа **tǫr-t*. В этом случае предполагается наличие закрытых слогов в древнерусском языке (свидетельствующих о незавершенности тенденции к открытости слогов), устранение которых оставалось «делом будущего».

Вторая интерпретация слоговой структуры сочетаний типа **tǫrt* предполагает, что слоговыми в них были не только редуцированные гласные, но и плавные согласные, т. е. что сочетания эти имели тип **tǫ-r-t*, причем физиологически неизбежным был гласный призвук при слоговом плавном: [tǫ-r^ь-gǫ]. Такая интерпретация соответствует тем представлениям о фонетической системе древнерусского языка, согласно которым к X — XII вв. модель открытого слога проводилась последовательно и слоги типа **tǫr-t* были бы совершенно исключительными. Если же предполагать закрытые слоги типа **vǫr-xǫ*, **pǫl-nǫ*, **tǫr-gǫ* (а не *tǫ-r^ь-gǫ* и т. д.), то следует признать, что эти сочетания не успели преобразовать свою слоговую структуру в языке восточных славян до падения редуциро-

важных, и видеть в истории второго полногласия в конце древнерусского периода историю преобразования закрытой слоговой структуры в открытую. Оба предположения теоретически допустимы.

§ 37. Носовые гласные утратились в диалектах восточных славян, изменившись соответственно $*\rho > [u]$, $*\epsilon > [\acute{a}]$ (открытый гласный переднего ряда). Указанное направление в изменении $*\epsilon$ восстанавливается на основе предположения о более ранней утрате носовых гласных в сравнении со вторичным смягчением согласных перед гласными переднего ряда. Последовательное смягчение согласных перед звуком, развившимся из $*\epsilon$ (ср. совр. [p'ady] < $*redy$, [m'at'] < $*meti$), и позволяет предполагать, что он первоначально изменялся в гласный передней зоны образования. Схематически этот процесс можно представить так: $*t\epsilon > *t\acute{a} > *t'a$ (например, $*red\bar{z} > *r\acute{a}d\bar{z} > *r'ad\bar{z}$).

Носовые гласные утратились до появления старейших (из сохранившихся) текстов. Поэтому уже в древнейших восточнославянских памятниках, переписанных со старославянских оригиналов (где употреблялись буквы ж и ѡ для обозначения носовых гласных), начиная с «Остромирова евангелия», обычна мена букв ж/оу (ж./ю), ѡ/ѡ и ѡ.

В дальнейшем буквы ж, ѡ перестали употребляться, а использование букв ѡ, ѡ, ѡ стало регламентироваться уже нормами древнерусской орфографии: ѡ — в начале слова и слога (ѡѡ моѡ), ѡ — после парных смягченных согласных (ѡѡѡ, ѡѡѡ), ѡ — после непарных мягких (ѡѡѡ, ѡѡѡ).

Исторические свидетельства позволяют уточнить время утраты носовых и отнести его к периоду до IX в. В сочинении Константина Багрянородного «О народах» приведены названия днепровских порогов на языке восточных славян. Эти названия даны в греческой транслитерации: $\beta\epsilon\rho\omicron\upsilon\zeta\eta$, $\nu\epsilon\alpha\sigma\eta\tau$. Первое слово передает древнерусскую словоформу *вьроуци* — причастие настоящего времени от глагола *вьръти*, второе — древнерусское *неясыть*, вероятно, «пеликан»; в старославянском — *вьръшти*, *неѡмыть*. Если это верно, то восточные славяне, от которых в первой половине X в. были услышаны эти названия, уже носовых гласных не произносили.

ПРОБЛЕМА ВТОРИЧНОГО СМЯГЧЕНИЯ СОГЛАСНЫХ

§ 38. Наиболее важным фонетическим процессом начального периода обособленного развития восточнославянских диалектов было так называемое вторичное смягчение согласных — изменение полумягких согласных перед гласными переднего ряда в мягкие. С точки зрения артикуляционной этот процесс означал завершение аккомодации согласного гласным переднего ряда в слоге. Важность этого процесса заключается в его фонологических последствиях, что и привлекает к нему особое внимание историков русского языка.

Многие исследователи относят вторичное смягчение согласных к рубежу X—XI вв. Так, по мнению Л. Л. Васильева, вторичное смягчение происходило последовательно: начавшись перед узкими гласными [i, ě] в X в., оно продолжалось вплоть до рубежа XI—XII вв., закончившись смягчением перед более ши-

рокими гласными [e, à]. Н. Н. Дурново, проанализировав данные графики и орфографии в тексте «Архангельского евангелия», обратил внимание на написания типа *мъ, тѣ, сѣ*. Он полагал, что такие написания могли возникнуть лишь после того, как в живом древнерусском языке согласные вторичного смягчения по степени смягчения и своему месту в системе совпали с исконными смягченными, Только в этом случае писец мог употребить *ѣ* после губных и зубных согласных, обозначенных буквами *м, т, с*.

Судя по данным поздних восточнославянских диалектов, смягчение согласных перед [e] могло происходить не во всех диалектах. Это зависело от качества звуков, реализующих фонему ⟨e⟩. Если гласный [e] был дифтонгоидом, т. е. имел *i*-образный призвук, перед ним последовательно происходило смягчение. При тембрально однородном [e] степень смягчения предшествующего согласного оставалась незначительной и вторичное смягчение не осуществлялось.

В результате вторичного смягчения значительно расширилось число смягченных согласных, в частности появились смягченные губные ([p', b', m', v'l]) и зубные согласные ([t', d']): **golub'ь* < **golub'ь*, **b'iju* < **b'iju*, **p'às't'ь* < **p'às't'ь*, **p'iju* < **p'iju*, **m'áso* < **m'áso*, **m'ilъ* < **m'ilъ*, **d'ělo* < **d'ělo*, **gos't'ь* < **gos't'ь*. Значительно расширился круг слов со смягченными [s', z', r', l', n'], так как вторично смягченные соответствующие согласные совпали с исконно смягченными; ср.: **v'bs'a* — **s'ěm'a* (< **s'ěm.á*), **kъn'az'ь* — **z'ima* (< **z'ima*), **bur'a* — **r'ěpa* (< **r'ěpa*), **vol'a* — **l'ьnъ* (< **l'ьnъ*), **kon'ь* — **ol'en'ь* (< **ol'en'ь*).

Результаты вторичного смягчения были значительны не только для состава согласных звуков, но и для структуры слога и для фонологической системы древнерусского языка. Слог стал характеризоваться еще большим сближением тембра согласных и гласных, четкое противопоставление гласных по передней и задней зоне образования привело к контрастированию передних и задних слогов типа: **t'i* ~ **ty*, **t'ü* ~ **tu*, **t'ê* ~ **tô*, **t'e* ~ **to*, **t'ь* ~ **tъ*, **t'á* ~ **ta*. Подобная слоговая структура слова предполагает, что гласные типа [ü, e, ь, à] были дифтонгоидами, т. е. между смягченным согласным и основной частью гласного были переходные элементы, более узкие, чем основной гласный. Описанная слоговая структура восточнославянского слова стала основой для выдвижения гипотезы о силлабеме как новой фонологической единице, которая характеризовала фонологическую систему древнерусского языка после вторичного смягчения согласных до падения редуцированных.

Основные положения гипотезы о силлабеме, выдвинутой и разработанной Р. И. Аванесовым, сводятся к тому, что в слоге указанной выше структуры нельзя выделить ни согласных фонем с признаком твердости ~ мягкости, ни гласных фонем с признаком переднего ~ заднего ряда, так как нельзя определить позиций, в которых согласные или гласные по этим признакам противопоставлялись бы как самостоятельные фонемы. Эти признаки, которые реализуются в зоне образования звуков (или, иначе, в высоте тона), как бы охватывают весь слог, характеризуя сочетающиеся в нем звуки.

В пределах фонологической системы, если понимать ее как автономную, независимую от морфонологической и морфологической, гипотеза о силлабеме обладает необходимой объяснительной силой. Однако в действительности фонологическая система закономерно связана с морфологической, а фонемная структура слова — с его морфемной структурой. Гипотеза о силлабеме как особой фонологической единице не согласуется с представлениями о морфемной структуре древнерусских словоформ и о чередованиях гласных и согласных как одном из грамматических средств создания парадигмы. Например, при морфемной структуре словоформ **plodъ* — **plod'ě*, **ruk-a* — **ruc'ě*, **kon'-ь* — **kon'-a* их слоговая структура была иной: **plo-da* — **plo-d'ě*, **ru-ka* — **ru-c'ě*. Если силлабема (*-da*, *-d'ě* и т. д.) — это фонологическая единица, то она не может разделяться морфемной границей. В случаях типа **uč'en'ikъ* — **uč'enič'-e* образование новой формы слова сопровождается чередованием **k/č'* как особых фонем; между тем на силлабемном уровне здесь следует говорить о силлабемах $\langle кь \sim č'е \rangle$, хотя $\langle ь, е \rangle$ принадлежали флексиям, а чередовались фонемы, оканчивающие основы.

Указанное противоречие может быть разрешено, если считать, что силлабема относится не к фонологическому уровню и его единицам, а к уровню фонетическому и к такой его важной единице, как слог. Что же касается фонологической системы древнерусского языка после вторичного смягчения согласных, то она еще должна получить необходимую характеристику. Давая такую характеристику, следует прежде всего обратить внимание на тот факт, что вторичное смягчение согласных имело место не во всех древних славянских диалектах.

В результате исторической интерпретации более поздних изоглосс можно прийти к выводу, что наиболее последовательно вторичное смягчение согласных протекало в тех северо-восточных диалектах, которые позже образовали диалектную зону центра языка великорусской народности, т. е. в тех говорах, которые генетически восходят к диалекту Ростово-Суздальской земли. Именно в этих диалектах мы находим в более позднее время наиболее развитую корреляцию согласных фонем, парных по твердости \sim мягкости, наличие дифтонгоидов различного типа после смягченных согласных, результаты последовательного изменения $[e > o]$, пятифонемный вокализм и другие особенности системы.

Все эти факты позволяют предположить, что вторичное смягчение согласных последовательно протекало в тех древних славянских диалектах, в фонологической системе которых наметились развитие фонологических возможностей консонантизма, рост различительных возможностей языка за счет усложнения консонантизма. Такое направление в развитии связано с расширением возможностей категории согласных фонем, парных по твердости \sim мягкости, так как именно в этом случае увеличивается число согласных фонем, усложняется набор их ДП, изменяется соотношение согласных и гласных в слоге, представляющем поле фонетической реализации признаков фонем.

Фонетико-экспериментальные исследования фонетических систем современного русского литературного языка и современных русских говоров показывают, что признак мягкости, характерный для парной мягкой фонемы, реализуется в слоге типа $*t'a$ таким образом, что акустический сигнал мягкости приходится, как правило, не на сегмент согласного, а на сегмент, промежуточный между согласным и гласным или же на сегмент гласного: $*t^l-a$, $*t^l-e$. Эти наблюдения и позволяют предположить, что вторичное смягчение согласных было следствием тех изменений в фонологической системе, которые свидетельствовали о начале развития системы консонантного типа с согласными, противопоставленными по твердости ~ мягкости. Первыми такими парами были $\langle n \sim n' \rangle$, $\langle r \sim r' \rangle$, $\langle l \sim l' \rangle$.

Вторичное смягчение согласных значительно расширяло круг употребления данных согласных, прибавляло новые смягченные согласные — губные $\langle p', b', m' \rangle$, зубные $\langle t', d' \rangle$ и, главное, создавало новый тип слога, который был приспособлен для реализации нового ДП — п а л а т а л и з о в а н н о с т и с о г л а с н ы х.

§ 39. Результаты вторичного смягчения полумягких согласных, изменив слог, должны были сказаться и на фонологической системе, так как слог является полем реализации фонем, его составляющих. Однако характеристика фонологической системы после вторичного смягчения зависит от решения вопроса об относительной хронологии этого процесса в связи с утратой носовых гласных.

Об относительной хронологии вторичного смягчения согласных и утраты носовых гласных говорилось выше. Здесь надо сказать о весьма существенных следствиях, связанных как с пониманием синхронного состояния звукового строя древнерусского языка, так и с трактовкой направлений развития древнейшей фонетической системы, а именно: 1) реконструкция гласного $[\hat{a}] (< e)$ как широкого (нижнего подъема), нелабиализованного, передней зоны образования; 2) определение его как самостоятельной фонемы, противопоставленной $\langle a \rangle$ по зоне образования, и 3) определение сильной позиции для $\langle \hat{a} \sim a \rangle$ после несмягченных согласных: $*rad\check{z} \sim *r\hat{a}d\check{z}$ — фонологически $*r\langle a \rangle d\check{z} \sim *r\langle \hat{a} \rangle d\check{z}$; 4) предположение о появлении слога силлабемной структуры после вторичного смягчения перед $\langle \hat{a} \rangle$ (в результате $*t\cdot e > *t\cdot \hat{a} > *t'a$), т. е. слога такого же типа, как и $*t'i$, $*t'e$, $*t'b$; 5) вследствие всего этого предполагается, что до падения редуцированных нельзя видеть перед $\langle a \rangle$ противопоставления согласных по твердости ~ мягкости (например, $*[r]ad\check{z} \sim *[r']ad\check{z}$), а следует видеть противопоставление силлабем $*[ra]d\check{z} \sim *[r'\hat{a}]d\check{z}$.

Изложенная относительная хронология является результатом не анализа языковых фактов, а логического построения. Сами факты, извлекаемые из памятников письменности и связанные с орфографией букв а, ъ, ѡ, ѣ, ѥ, дополнительных надстрочных обозначений мягкости и их интерпретацией, свидетельствуют лишь о том, что и утрата носовых, и вторичное смягчение согласных имели место в языке восточных славян до появления памятников письменности.

При иной реконструкции относительной хронологии предполагается, что вторичное смягчение согласных происходило до утраты носовых, а потому перед гласным переднего ряда $*e$ закономерно $*t \cdot e > *t'e$; утрата носового происходила уже после мягкого согласного: $*t'e > *t'a$. Такая интерпретация относительной хронологии рассматриваемых явлений имеет свои следствия, относящиеся к пониманию всей фонетической системы и закономерностей ее развития.

Изменение $*e > [a]$ после уже смягченных согласных означало перевод гласного в более заднюю зону образования и, следовательно, изменение в слоговой структуре. В частности, из этого следует, что позиция перед $\langle a \rangle$ уже была сильной для смягченных и несмягченных согласных и что в этой позиции они уже были способны противопоставляться по твердости ~ мягкости. В этом случае в истории языка восточных славян не представляется возможным определять $[a, \dot{a}]$ как самостоятельные фонемы, противопоставленные по ряду, ибо распределение их оказывается всегда позиционно связанным. Например, в формах $*[r]ad\dot{z} \sim *[\dot{r}]ad\dot{z}$ в этом случае возможна фонологическая интерпретация твердости ~ мягкости согласных перед $\langle a \rangle$. Иными словами, при такой реконструкции относительной хронологии вторичного смягчения и утраты носовых можно говорить об известном освобождении согласного от гласного в слоге еще до падения редуцированных.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

§ 40. Учитывая те изменения, которые произошли в языке восточных славян после распада праславянского единства, фонетическую систему древнерусского языка, получившую отражение в старейших текстах (с XI в.), можно представить в следующем виде:

с о г л а с н ы е:

губные: [п, п', б, б', в, в', м, м'];

переднеязычные — зубные и нёбные: [т, т', д, д', с, с', з, з', н, н',

л, л', р, р', ш', ж', ц', ч', ш'ч', ж'д'ж'];

среднеязычный [j];

заднеязычные: [к, г, х];

г л а с н ы е: [и, ы, у, ê, ô, е, о, ь, ъ, а].

ЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ПЕРИОДА

§ 41. Для системы древнерусского языка эпохи древнейших текстов существуют две основные реконструкции гласного, обозначаемого в них буквой њ. Первая принадлежит А. А. Шахматову, который полагал, что этой буквой обозначался узкий дифтонг типа $[\widehat{ie}]$, известный и в позднее время в ряде русских говоров архаического типа: [л'иес], [с'иел]. Гласные типа [и, ê, е], известные на месте њ в русских говорах (ср.: [л'ис] — [л'ês] — [л'ес]), Шахматов и его

последователи рассматривали как результат разного (по говорам) изменения дифтонга [иѐ].

Другая, более поздняя реконструкция связана с именем А. М. Селищева. Оценивая основные тенденции развития фонетического строя русских говоров, Селищев отметил, что характерными для них являются процессы дифтонгизации, образования звуков тембрально неоднородных — дифтонгоидов и дифтонгов. Поэтому с исторической точки зрения больше оснований предполагать, что древнерусский звук, обозначавшийся буквой ѐ, являлся узким долгим монофтонгом, который в отдельных говорах мог преобразовываться в узкий дифтонг типа [иѐ] с различным распределением длительности между начальной и конечной фазами. В этом случае древнерусский звук можно представить как гласный нелабиализованный, передней зоны образования, верхнесреднего подъема, напряженный. Напряженность этого гласного могла сопровождаться долготой (в транскрипции [ê:]).

§ 42. Судя по данным диалектологии, параллельно [ê:] в древнерусских говорах развивался узкий лабиализованный гласный непереднего ряда [ô:], который известен на месте старой фонемы ⟨о⟩ в особых просодических условиях — под новой акутовой интонацией: [вô:л'а] < *vôl'a, [с'елô:] < *s'eló.

Старейшие восточнославянские тексты не содержат данных о наличии или отсутствии этого гласного в XI в. Однако тот факт, что [ô:] известен только на месте праславянского [o] (но не на месте [o < ъ]) и связан с рано утраченными интонационными характеристиками слогов, заставляет предполагать его появление в период после утраты носовых (в частности, после изменения [ô > u]) в качестве непереднего противопоставления [ê:] в очень ранний период развития восточнославянских говоров¹.

§ 43. В звуковой системе древнерусского языка начального периода (как и в старославянском языке) были р е д у ц и р о в а н н ы е г л а с н ы е, обозначавшиеся буквами ъ и ѣ. По своей длительности они были короче нормально кратких. В зависимости от дальнейшей судьбы этих гласных (их утраты или вокализации) принято различать две основные позиции, в которых редуцированные ко времени создания старейших текстов, видимо, характеризовались разной степенью редукции: слабую (ъ, ѣ) и сильную (ѣ, ѣ).

С л а б ы м и были позиции: 1) в абсолютном конце неодносложной словоформы (независимо от реконструируемого ударения): ол'ѣн'ѣ, мыѣет'ѣ, дѣмѣ, л'ѣнѣ, лѣбѣ, б'ѣѣмѣ; 2) не под ударением перед слогом с гласным полного образования: б'ѣрат'и, ж'ѣну,

¹ Известны более поздние тексты (XVI в.), в которых писцы для обозначения [ô:], отличного от [o] среднего подъема, использовали особый диакритический знак, названный к о м о р о й. Закономерность употребления коморы и ее звуковое значение были открыты Л. Л. Васильевым; тексты с такой же орфографической особенностью были охарактеризованы и Н. Н. Дурново. Известны попытки некоторых древних писцов использовать для обозначения [ô:] букву ѡ,

сѣна; 3) не под ударением перед слогом с сильным редуцированным: ж'ѣн'ѣц'ѣ, н'ѣс'ѣц'ѣ, ш'ѣв'ѣц'ѣ.

Сильными были позиции: 1) под ударением (не в абсолютном конце словоформы): дѣску, ш'ѣпѣтъ; 2) независимо от ударения перед слогом со слабым редуцированным: н'ѣсѣ, ш'ѣпѣтъ; мѣхѣ, сѣб'ѣрат'и; 3) независимо от ударения перед плавным, в сочетании с ним между согласными: з'ѣрнѣ, кѣрм'ѣт'и, мѣлвѣ, тѣрга.

Мена слабых и сильных редуцированных была позиционной: д'ѣн'ѣ/д'ѣн'ѣи, лѣбѣ/лѣба. Наиболее слабой была позиция редуцированных вне позиционной мены с сильной: кѣн'ѣга, кѣто.

В положении перед [j] редуцированные, не меняя длительности, становились напряженными, что в древних текстах обозначалось соответственно буквами *и*, *ы*, т. е. *ь + j = и* [й], *ѣ + j = ы* [ѣ]: *биемѣ* [б'йемѣ], *мыеть* [м'йет'ѣ]. Редуцированный [ь] после [j], очевидно, изменялся в направлении к [й] в результате ассимиляции предшествующему согласному (они входили в один слог); на письме в этом случае также использовалась буква *и*; ср.: *его* [j-ego] — *и* [j-ѣ]. См. в образовании членных форм прилагательных: *синь + и = синиш* [син'й-ш], *слабѣ + и = слабыш* [слаб'ѣ-ш]. Напряженные редуцированные [и, ы] также могли быть в слабой или сильной позиции *мыдет'ѣ*, *слаб'ѣй*, *б'йемѣ*, *н'йѣ*.

Мена слабых и сильных редуцированных была позиционной меной параллельного типа. Позиционная мена звуков [ѣ, ы] и [й, ѣ] перед [j] была меной переименовывающегося типа, так как перед [j] становились напряженными и ненапряженными [и, ы].

§ 44. Сочетаемость согласных и гласных в слоге регламентировалась правилами, разрешавшими одни последовательности звуков и запрещающими другие.

Все несмягченные согласные могли сочетаться с гласными передней зоны образования, т. е. были возможны сочетания *ны, ты, кы, ну, ту, ку, по, то, ко, нѣ, тѣ, кѣ, па, та, ка: тынѣ, дѣски, пустын'и, куп'ит'и*.

Смягченные согласные могли сочетаться с гласными переднего ряда [и, ѣ, е, ы]: *нит'и, л'ѣсѣ, ш'ѣс'т'ѣ, ш'ѣдѣ*, но не могли сочетаться с гласными непереднего ряда: [ы, ѓ, о, ѣ]. Все смягченные согласные могли сочетаться с [а]: *бур'а, в'ѣд'а, вол'а, вон'а, м'асо, мьст'а, н'ѣс'а, н'ат'ѣ*.

С гласным [у] довольно свободно могли сочетаться [л', н', р']:
л'уд'ѣе, н'ухат'и, бур'у. Морфологически ограниченными и сравнительно новыми были сочетания смягченных губных и зубных согласных [т', д'] с [у]; такие сочетания становились возможными на стыке основы и флексии при склонении имен существительных с основой на губной согласный при переходе их в тип склонения с древнейшей основой на *-jѓ (типа *голуб'у, т'ѣс'т'у*).

Указанная зависимость согласных и гласных в слоге позволяет предполагать, что в системе консонантизма древнерусского языка еще накануне падения редуцированных возникали отношения пар-

ного противопоставления согласных фонем по твердости ~ мягкости. Следовательно, частная система твердых ~ мягких согласных фонем формировалась длительное время, ее отдельные элементы в своем генезисе принадлежат разным историческим эпохам, хотя наиболее актуальной и типичной, определяющей функционирование и развитие всей русской фонетической системы, она станет позже.

Первыми элементами этой системы, очевидно, следует считать возможность сочетания исконно смягченных согласных [l', n', r'] (< *lj, *nj, *rj) с гласными [a, u] еще до вторичного смягчения согласных и вызванное этим перемещение гласных [a, u] в более переднюю зону образования. Зависимость качества гласных [a, u], их позиционное перемещение по ряду, определяло независимость твердости ~ мягкости указанных согласных; ср.: *vola* — *vol'â*, *volu* — *vol'û*, *kona* — *kon'â*, *konu* — *kon'û*, *kora* — *bur'â*, *koru* — *bur'û*.

После вторичного смягчения согласных, когда появились смягченные губные, эти согласные в системе могли быть аллофонами твердых губных фонем в положении перед гласными переднего ряда. Если же отношения между твердыми и мягкими губными фонеологизовались, то мягкие губные фонемы могли принадлежать лишь губному ряду и входить с твердыми губными фонемами в бинарную оппозицию по твердости ~ мягкости. Такими позициями фонеологизации между твердыми и мягкими губными фонемами можно считать положение перед ⟨а⟩, а несколько позже, в результате морфологических изменений, и перед ⟨у⟩; ср.: [мат'и] — [м'ат'и], [пас'т'ь] — [п'ас'т'ь].

О фонеологичности признака твердости ~ мягкости у согласных свидетельствуют и различное изменение [ъ, ь] в русском языке, их история как гласных непереднего и переднего, отсутствие совпадения редуцированных [ъ, ь] в русском языке (см. ниже).

§ 45. Признание за качеством твердости ~ мягкости согласных перед ⟨а, у⟩ фонеологической значимости означает определение качества признака ряда у гласных [a, u] как фонеологически нерелевантного.

Иными были отношения между ⟨и ~ ы⟩, ⟨ê ~ ô⟩, ⟨е ~ о⟩, ⟨ь ~ ъ⟩. Принадлежность этих гласных к переднему или непереднему ряду продолжала быть фонеологически значимой. В то же время лабиализованность ~ нелабиализованность у гласных ⟨ê, ô, е, о, ь, ъ⟩ продолжала быть связанной с рядом, а потому реализовала избыточный, а не дифференциальный признак соответствующих фонем. От том, что отношения между фонемами ⟨е⟩ и ⟨о⟩ строились по признаку ряда, свидетельствует дальнейшая судьба их чередования: оно преобразовалось в чередование парных мягкого и твердого согласных. Ср.: **nes-ti* — **nos-iti*, где некогда чередовались **e/o*, и [н'ес]тѣ — [н'ос] — [нос]итѣ в современном языке, где чередуются [н'/н].

В то же время признак лабиализованности — нелабиализованности в частной системе гласных верхнего подъема уже приобрел значение признака релевантного, именно по этому ДП противополо-

ставлялись ⟨и ~ у⟩ после мягких согласных и ⟨ы ~ у⟩ после твердых: *л'икъ — л'уд'йе*, *лыко — лукъ*.

Дифференциальным признаком, организующим систему вокализма, была степень подъема гласного. Противопоставление осуществлялось по четырем степеням подъема: верхний ~ верхнесредний ~ средний ~ нижний. Гласные верхнесреднего подъема были напряженными. Поэтому ДП гласных ⟨ê, ô⟩ может быть определен и как напряженность. Противопоставление фонем ⟨ê ~ е⟩, ⟨ô ~ о⟩ можно охарактеризовать и как противопоставление по степени подъема, и как противопоставление по напряженности ~ ненапряженности. Признак напряженности оказывается недостаточным для осуществления противопоставления фонем. Поэтому он обычно сопровождается долготой; однако долгота в этом случае является признаком избыточным, сопровождающим напряженность. Можно сказать, что звуки [ê:, ô:] реализовали в древнерусском языке фонемы ⟨ê, ô⟩.

§ 46. Согласные, различающиеся по напряженности ~ ненапряженности, что сопровождалось наличием или отсутствием голоса, образовывали пары: [п ~ б], [п' ~ б'], [т ~ д], [т' ~ д'], [с ~ з], [с' ~ з'], [ш' ~ ж'], [ш'т'ш' ~ ж'д'ж'], [к ~ г]. Вне парных отношений находились [в, в', м, м', н, н', р, р', л, л', ц', ч', j, х]. Противопоставлением парных шумных согласных могли различаться звуковые оболочки слов: *пут'и — буд'и*, *п'ит'и — б'ит'и*, *вотъ — водъ*, *тамъ — дамъ*, *ш'ит'и — ж'ит'и*. Соотносительного ряда парных глухих ~ звонких согласных фонем в древнерусском языке не было, так как не было позиций нейтрализации согласных фонем по глухости ~ звонкости. Только предлоги-приставки на *э-* (*без, вѣз, из, низ, через*) в положении перед морфемой на шумный глухой знали оглушение конечного [з > с]: *из-лѣса — ис-пустынь*.

Подводя итог рассмотрению особенностей фонетической системы древнерусского языка раннего периода, можно сказать, что это была система противоречивая, включавшая как элементы прошлых систем, унаследованные, уже непродуктивные, так и элементы новые, уже актуальные, но еще непродуктивные. В системе вокализма таким непродуктивным признаком был ДП ряда. Уже актуальным и в перспективе продуктивным был признак лабиализованности ~ нелабиализованности. Палатальность как ДП у согласных также оказывалась уходящей. Этот признак преобразовывался в палатализованность у губных и зубных согласных, или в признак, связанный со способом образования согласного или его местом, как у шипящих и аффрикат. Признаку палатализованности ~ непалатализованности предстояло стать продуктивным в истории фонетической системы языка великорусской народности.

ОСНОВНЫЕ ДИАЛЕКТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

§ 47. Для древнерусского периода, представленного памятниками письменности различных областей, возможна реконструкция наиболее ярких диалектных различий: 1) губно-губное или губ-

но-зубное образование звонкого спиранта — [w] или [v]; 2) взрывное или фрикативное образование звонкого заднеязычного согласного — [ɣ] или [ɣ]; 3) различие ~ неразличие аффрикат [ц', ч']; 4) различие ~ неразличие мягких свистящих и шипящих; 5) [л] или сочетания [кл, гл] на месте праславянских *tl, *dl; 6) внесистемные лексико-фонетические различия.

Сопоставление данных лингвистической географии с показателями древнерусских письменных памятников позволяет представить территориальное распределение названных диалектных различий:

Территория		Северо-восток	Северо-запад		Запад	Юго-восток и юг	Юго-запад	
		рост.-сузд.	новг.	пск.	смол., по-лоцк.	рязан., черн.	гал.-вол.	киев.
Фонологические различия	Качество губных спирантов	[v]	[w]					
	Качество заднеязычных звонких согласных	[ɣ]	[ɣ] и [ɣ] (по говорам)		[ɣ]			
	Различие ~ неразличие аффрикат	[ц', ч']	[ц'']			[ц''] (по говорам)	[ц', ч']	
	Различие ~ неразличие мягких шипящих и свистящих	[с' — ш'] [з' — ж']	[с''] [з'']	[с' — ш'] [з' — ж']				
Лексико-фонетические различия	Праславянские *tl, *dl	[л]	[кл, гл]	[л]				

Древнейшие письменные памятники не могли отразить диалектных различий в качестве губного спиранта и заднеязычного звонкого согласного: в речи каждого носителя того или иного диалектного варианта был представлен согласный одного качества, а потому не было необходимости наряду с буквами *z* (ассоциировалась ли она со смычным или фрикативным согласным) и *v* (ассоциировалась ли она с губно-губным или губно-зубным согласным) использовать какое-то иное обозначение для согласного, отличавшегося от того, который реализовался в речевой практике пишущего. О диалектных различиях в особенностях образования соответствующих согласных можно судить на основании диалектологических данных,

исторической интерпретации изоглосс и косвенных указаний письменных памятников более позднего периода. Так, только на северо-востоке в эпоху падения редуцированных встречаются написания с оглушением [в > ф], в то время как на остальной восточнославянской территории даже в современных говорах отмечаются следы изменения звонкого губного спиранта в новом закрытом слоге в [ў], что убедительно указывает (как доказал Р. И. Аванесов) на губно-губное образование соответствующего согласного в эпоху до падения редуцированных.

К эпохе едва ли не племенных диалектов относится противопоставление [г ~ ɣ], изоглосса которого является в общевосточнославянском масштабе одной из самых древних¹ и делит восточнославянские диалекты на две зоны — север (среднерусские говоры) и юг (южновеликорусские, белорусские и украинские диалекты)².

Известны данные о наличии фрикативного [ɣ] в северновеликорусских говорах, где он фиксируется, как правило, на территории бывших новгородских колоний. Но в северновеликорусских говорах, в отличие от южновеликорусских (а также белорусских и украинских), [ɣ], как правило, ограничен определенными позициями (перед гласными, чаще в интервокальной позиции, т. е. м е ж д у г л а с н ы м и) и сосуществует с более регулярным [г].

Другие диалектные различия находят то или иное отражение уже в старейших древнерусских текстах.

§ 48. Наиболее существенные изменения в варьировании фонологической системы древнерусского языка вносили такие диалектные особенности, как цоканье и утрата различий между шипящими и свистящими согласными.

Цоканье, т. е. совпадение аффрикат [ц', ч'] в одной фонеме (очевидно, <ц'> или <ц''>), известное в разных вариантах большинству северновеликорусских (а также некоторым рязанским) говоров, отражается уже в старейших новгородских текстах (начиная с Мин. 1095) и в известных с более позднего времени псковских, полоцких и смоленских памятниках. Писцы, в родном диалекте которых была лишь одна аффриката, в целом стремясь употреблять «правильно» буквы *ц* и *ч*, временами путали их, так как в их сознании обе буквы соотносились с одной фонемой; отсюда в памятниках, с одной стороны, *володимирица*, *полоцянинъ*, *цѣто*, с другой стороны — *жеречьь*, *пльчь*, *чвьтъ*.

Неразличение аффрикат [ц', ч'], их совпадение в [ц'] не только сокращало общее число фонем в цокающих говорах, но и определенным образом сказывалось на всей системе оппозиций согласных фонем, т. е. затрагивало как распределение согласных фонем, так и состав их ДП. В цокающих говорах уменьшался объем оппозиции по дентальности ~ альвеолярности, так как исчезла оппо-

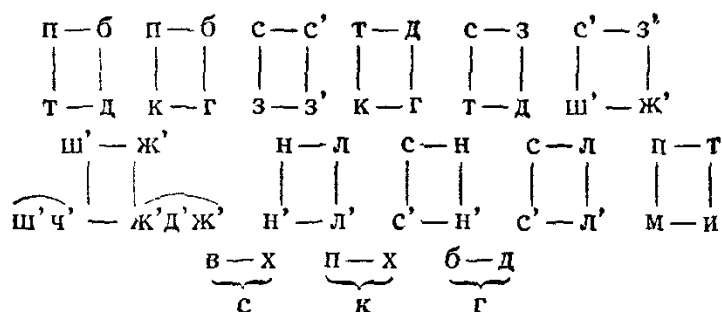
¹ См.: Аванесов Р. И. Лингвистическая география и история русского языка, с. 44—45.

² Изоглоссу [g — ɣ] (*h*) в славянских языках см. в кн.: Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков, с. 295.

зиция ⟨ц' ~ ч'⟩, а оставались лишь ⟨ц' ~ ш'ч'⟩, ⟨ц' ~ ж'д'ж'⟩, ⟨с ~ ш'⟩, ⟨с' ~ ш'⟩, ⟨з ~ ж'⟩, ⟨з' ~ ж'⟩.

Из-за утраты ряда оппозиций, членом которых была фонема ⟨ч'⟩, изменился состав ДП участвующих в этих оппозициях согласных фонем. Так, утрата противопоставлений ⟨ш' ~ ч'⟩, ⟨ж' ~ ч'⟩ с ДП фрикативности ~ аффрикатности привела к утрате фрикативности в наборе ДП у ⟨ш', ж'⟩. Соответственно изменялся набор ДП у других согласных фонем из-за утраты оппозиций ⟨к ~ ч'⟩, ⟨г ~ ч'⟩, ⟨х ~ ч'⟩, ⟨п ~ ч'⟩, ⟨б ~ ч'⟩, ⟨в ~ ч'⟩, ⟨з ~ ч'⟩, ⟨с ~ ч'⟩, ⟨д ~ ч'⟩, ⟨т ~ ч'⟩ и т. д.

Вызвав указанные изменения в составе и системе согласных фонем, цоканье не затронуло основных оппозиций согласных фонем. Коррелятивные отношения согласных фонем оставались одинаковыми в цокающих и «нецокающих» говорах:



Развитие цоканья расширило сочетаемость фонемы ⟨ц'⟩ с последующими гласными как на стыке морфем, так и внутри морфемы, что увеличило число противопоставлений этой фонемы другим согласным фонемам перед гласными.

В результате утраты противопоставления ⟨ц' ~ ч'⟩ на стыке морфем в цокающих говорах развилась омонимия форм, особенно среди существительных и соотносительных с ними притяжательных прилагательных, исконно образованных с помощью суффикса *-j-*: *бѣльць* ('белый монах') — *бѣльчь* (прилагательное от *бѣльць*), *ловць* ('охотник') — *ловчь* (прилагательное от *ловць*) и др., а также среди таких слов, как *вѣньць* ('корона') — *вѣньчь* (от *вѣньча* — 'солома'), *ниць* — *ничь*.

§ 49. Неразличение шипящих и свистящих согласных наиболее широко представлено в памятниках псковского происхождения, известных с XIV в.: *помъсати*, *псенице*, *здати* (= *ждати*), *зялуются*, *донеши*, *искушьна*, *кладяжи*, *прожябе*. Реже, но с более раннего времени встречаются такие написания в Новгороде: *ги помози* (вм. *помози*) в надписи XI—XII; *заожеричь* в свинц. гр. XI—XII; известно это явление и в говорах новгородской колонизации. Последний ряд фактов заставляет думать, что речь идет о диалектной особенности, более устойчиво сохранявшейся в псковском диалекте как окраинном, но в древности характеризовавшей, может быть, весь северо-западный диалектный ареал.

Отмечаемое диалектное явление (соканье или шоканье) влияло как на состав фонем (сокращая его), так и на их распределение, что приводило к изменению набора ДП отдельных согласных фонем, а также изменяло возможность сочетаний согласных с гласными. Это диалектное отличие затронуло и основные корреляции согласных фонем, уменьшая объем оппозиции напряженности ~ ненапряженности (вместо пар <с ~ з>, <с' ~ з'>, <ш' ~ ж'> образовалась одна пара <с'' ~ з''>), а также объем оппозиции по дентальности ~ палатальности: утрагилось противопоставление <с ~ с'> и <з ~ з'>.

Тот же диалектный ареал охватывало и такое своеобразное для восточнославянских говоров явление, как сочетания *кл*, *гл* в соответствии с прасл. **tl*, **dl* (типа *плекли* — 'плели', *призегли* — 'привели'), которые фиксируются с XVI в. в памятниках преимущественно псковского происхождения. Это явление не связано с особенностями звуковой системы и может быть охарактеризовано как местная норма произношения соответствующего ряда словоформ.

Древнерусские тексты различного территориального происхождения по-разному обозначают сочетания согласных, возникших на месте прасл. **zgj*, **zdl*. Новгородские и псковские тексты имеют буквенное сочетание *жг*; галицко-волынские памятники — буквы *жч*: *дъжъ* в Новг. лет.; *въжгелавъши* в Мин. 1095; *дожъ* в Пск. ап.; *въжчельша* в Гал. ев. 1144. Ответить на вопрос, является ли это различие орфографическим или отражает диалектное отличие в консонантизме северо-восточных и юго-западных диалектов древнерусского языка, не просто¹. Очевидно, можно согласиться с теми исследователями, которые видят здесь лишь орфографические варианты, обозначавшие одно и то же звуковое сочетание [ж'д'ж'].

Данные лингвистической географии позволяют думать, что к раннему древнерусскому периоду могло восходить и происхождение некоторых других языковых явлений локального распространения, свойственных говорам великорусского языка. Но они получают отражение в более поздних собственно великорусских памятниках (после XIV в.) и пока не могут с уверенностью характеризоваться как древнерусские по времени происхождения.

РАЗВИТИЕ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

§ 50. Самым значительным по своим последствиям процессом, пережитым древнерусским языком, было так называемое падение редуцированных, которое осуществилось во всех славянских языках, но в каждом из них характеризовалось своими особенностями.

Под падением редуцированных понимается процесс утраты редуцированных гласных как особых фонем. Если исходить из того, что основным ДП редуцированных была их количественная характеристика (а иные признаки, которые бы противопоставляли <ь ~ е> и <ь ~ о>,

¹ См.: Геровский Г. И. Древнерусские написания *жч*, *жг* и *г* перед передними гласными. — Вопр. языкозн., 1959, № 4.

обнаружить трудно), то следует считать, что падением редуцированных завершился длительный процесс преобразования праславянского вокализма, связанный с утратой фонологической значимости первоначальных различий гласных по длительности.

Утрата редуцированных проходила как исчезновение гласных до звукового нуля — в слабых позициях и совпадение с гласными полного образования — в сильных позициях. Начало процесса, очевидно, относится ко времени до появления старейших письменных памятников, может быть, к рубежу X—XI вв., так как уже древнейшие тексты знают пропуск букв *ь, ъ* в случаях, где они некогда обозначали гласные в абсолютно слабой позиции: *кто, князь, птица, книгамъ* (вм. *кѣто, кѣнязь, пѣтица, кѣнигамъ*) в Остр. ев. Процесс падения редуцированных, безусловно, был длительным, охватывавшим значительный промежуток времени; при этом принято считать, что абсолютное совпадение сильных редуцированных с гласными полного образования (во всех без исключения восточнославянских диалектах изменение $\langle b \rangle > e$, $\langle ь \rangle > o$) происходило позднее, чем исчезновение слабых. Случаи написания букв *e, o* в словоформах, некогда содержащих сильные редуцированные, в памятниках письменности встречаются только с XII в.; видимо, к этому времени и относится окончательная перестройка вокализма (полностью исчезли $\langle ь, ъ \rangle$ как самостоятельные фонемы) в живой восточнославянской речи.

Исчезновение [ъ] в абсолютно слабой позиции, разумеется, еще не могло означать утраты редуцированных как самостоятельных фонем, а могло лишь отражать процесс сужения их функционирования. А. А. Шахматов в свое время привел ряд доводов в пользу того, что в языковом сознании писцов старейших текстов буквы *ь, ъ* соотносились с особыми фонемами, отличными от $\langle e, o \rangle$; ряд дополнительных соображений по этому поводу был высказан позднее В. Н. Сидоровым¹. Учитывая, в частности, что писцы «Остромирова евангелия» очень последовательны (за редкими исключениями) в употреблении букв *ь, ъ* (в соответствии с их этимологией), Шахматов сопоставлял эту последовательность с обычным для них смешением написаний *ъ и оу, ѡ и ѡ*, которые, несмотря на стремление следовать орфографии оригинала, вполне естественны, коль скоро они не соотносились в языковом сознании переписчиков с противопоставлением носовых ~ неносовых гласных. Обращено внимание и на то, что Анна Ярославна для передачи фр. [э] воспользовалась именно буквой *ѣ* (*рѣина*). Сидоров напомнил о довольно последовательном оформлении в восточнославянских списках флексии Т единственного числа имен мужского и среднего рода с редуцированными, т. е. *-ьмь, -ѣмь*, а не *-емь, -омь*, как в собственно старославянских. Причем отражение здесь собственно восточнославянских окончаний несомненно, коль скоро в современных говорах не встречается в этой флексии [ô] (или [ô:], [yo]), который возможен лишь на месте прасл. [o] под новой акутовой интонацией, а в украинском языке, отражающем на месте прежних [o, e] в новых закрытых слогах [i] (например, *кит < котъ*), известны лишь флексии *-ом/-ем* (не-*ім*), следовательно, из *-ьмь/-ьмь*. Неизвестны в старейших текстах и написания с отражением $\langle e \rangle$ или $\langle o \rangle$ перед плавными: авторы деловых документов (начиная с Мст. гр.) и частных писем (в частности, берестяных грамот) последовательно пишут *върхъ, държа(ти), дѣлжьни, запѣртити, пѣлнъ* (и *върхъ, пѣлнъ*) и т. д., а переписчики канонических текстов нередко нарушают традиционную орфографию (требовавшую церковнославянских написаний типа *държати, пѣлнъ*),

¹ См.: Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка, с. 203—216; Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка, с. 5—37.

употребляя те же (типа *държати*) или контаминированные написания типа *дъръжати*, *дълъжьни*.

То, что к концу XII в. редуцированных как самостоятельных гласных фонем в живой восточнославянской речи уже не было, доказывается массовыми случаями употребления букв *ь/е* (и *ю*) и *ѣ/о* как графических дублетов, использовавшихся для обозначения ⟨е, о⟩ (независимо от их этимологии, т. е. не только из [ь, ѣ], но и старых) и в собственно орфографических целях — в соответствии с ранними написаниями *ь*, *ѣ* как знаков слабых редуцированных. С конца XII и на протяжении всего XIII в. подобная орфографическая «неупорядоченность» обычна для авторов частных писем на бересте: *перѣдо тобою*, *бѣлоки*, *во дворо*, *гѣже*, *ко Фѣмѣ* (вм. *передѣ тобою*, *бѣлѣкы*, *въ дворѣ*, *гоже къ Фомѣ*); для писца Смол. гр. 1229: *будѣте* (вм. *будеть*), *на берѣго* (вм. *берегѣ*), *налѣзлѣ* (вм. *налѣзлѣ*), *дѣ вѣка* (вм. *довѣка*); для автора надписи первой половины XIII в. на стене Смоленского собора: *игуменьмѣ* (вм. *игуменомѣ*), *великѣму* (вм. *великому*), *кѣнца* (вм. *конѣца*), *помѣзи* (вм. *помози*) и других текстов, созданных авторами, не обладавшими традиционной орфографической выучкой и не списывавшими с оригиналов, созданных в более раннюю эпоху¹. Изредка встречаются такие написания и в текстах канонического содержания с более «строгой» орфографией. Отчасти это явление связано с нормами тогдашнего книжного чтения, в соответствии с которыми полагалось произносить [е, о] везде, где в старинных рукописях писалось *ь*, *ѣ* — независимо от их позиции (сильной или слабой), актуальной для живого общения, а не для системы книжного языка. Именно поэтому в словоформах, вошедших впоследствии в русский язык из книжно-литературного языка (а не из языка, использовавшегося в повседневном общении), [е, о] произносятся не только на месте сильных, но и на месте слабых редуцированных: *греческий* (< *грѣчьскыи*, ср. *грецкий*), *отеческий* (< *отѣчьскыи*, ср. *немецкий* < *нѣмѣчьскыи*), *восход* (< *вѣсходѣ*, ср. *всходы*) и т. д. Однако сам факт книжного прочтения слов с *ь*, *ѣ* как с гласными [е, о] говорит о том, что к XIII в. соответствующие буквы уже не связывались в сознании книжников с особыми фонемами, отличными от ⟨е, о⟩.

О том, что совпадение редуцированных ⟨ь, ѣ⟩ с ⟨е, о⟩ завершилось до прекращения общедревнерусских языковых изменений, свидетельствует и тот факт, что его результаты не дают изоглосс на территории распространения восточнославянских языков.

§ 51. Диалектные различия, дающие изоглоссу, отделяющую русские говоры западной зоны от восточной (исторически — северо-восточной), возникают в связи с судьбой редуцированных, находившихся перед [j], т. е. с судьбой [й, ѣ]. В древнерусских говорах северо-востока, на базе которых впоследствии формировалось великорусское языковое единство, напряженные редуцированные изменялись так же, как и ⟨ь, ѣ⟩, т. е. утратились в слабой позиции и

¹ См.: Жуковская Л. П. Новгородские берестяные грамоты. М., 1959, с. 102—107.

совпали с ⟨е, о⟩ в сильной позиции: [б'j]ем < [б'ij]емъ, сви[n'j]а < сви[n'ij]а, мю < [м'ijy], рою < [р'ijy], слепой < [сл'п'ijy] (в диалектах также *новой* — *новой* < нов[ijy]), шея < [ш'ij]а. Лингвистическая география показывает, что этот результат изменения сильных напряженных редуцированных неуклонно распространяется в западном направлении со времени начала формирования языка великорусской народности.

На большей части восточнославянской языковой территории напряженные редуцированные изменялись соответственно в [и, ы] (полного образования); это отражается в украинских, белорусских и многих пограничных с ними великорусских говорах: укр. *бий, пий*, бел. *бі/бій, пі/пій*, русск. юго-зап. *бий, пий*; укр. *мию, рию*, бел. *мыю, рыю*, русск. юго-зап. *мыю, рыю*; укр. *сліпий*, бел. *сляпи/сляпий*.

Вдоль северной границы между говорами с [и, ы] и [е, о] расположены говоры, в которых на месте [ы] отражен более или менее последовательно [е] после твердого согласного (который в орфографической записи был бы обозначен буквой э): [мэjy], [рэjy]. Особенно широко это явление представлено в окончании прилагательных мужского рода: *моло[дэ]й, сле[пэ]й*. Историческая интерпретация изоглосс позволила исследователям высказать предположение, что изменение [ы > е] (после твердого согласного) — отражение своеобразного результата этого процесса в северо-западных говорах на окраине ареала [ы > ы] (на территории Белоруссии есть говоры, в которых на месте любого *ы* произносят [э] или [э^м]: б[э]к, б[э^м]к или б[ы^э]к).

Не до конца ясен собственно фонетический результат изменения сильного редуцированного после [j], т. е. [jy]. В большинстве случаев русские говоры отражают здесь [е]: *боец* < бо[jy]ць, *стоек* < сто[jy]кѣ. Однако наличие в говорах случаев типа *яиц* < я[jy]ць, *яичница* даёт основания считать, что фонетическим результатом был гласный [и]; а [е] в приведенных примерах — морфологического (аналогического) происхождения: *боец/бойца* (< бо[jy]ца), как *отец/отца*; *стоек/стойкий*, как *крепок/крепкий* и т. д. Впрочем, в говорах встречается и необъяснимое аналогией *яёшница, яёшня*.

В начале корней то же сочетание имело разную судьбу в восточнославянских говорах: диалекты русского языка отражают в этом случае [и]: *игла* < [jy]гѣла, *играть* < [jy]грати; украинские и белорусские говоры утратили начальный редуцированный: укр. *голка, грати*; бел. *голка, граць*. Возможно, что различия в результатах изменения начального *и* < *jy* объясняются разным произношением сочетания еще до падения редуцированных с изменением его в гласный полного образования (отсюда и сохранение начального [и]) или с сохранением его как [й] (отсюда его дальнейшая утрата как слабого редуцированного).

Следует, наконец, отметить, что русские литературные формы с [и] на месте не только сильного, но и слабого напряженного реду-

цированного — отражение традиции книжного произношения: *обилие, учение* (но разг. *уче[н'j]e*), *воинственный, таинственный*.

§ 52. Одним из результатов падения редуцированных является так называемое второе полногласие — диалектное отражение прежних сочетаний типа **tǫrt* в виде **torot*, т. е. как и полногласных, развившихся из праславянских сочетаний типа **tort*. Особенностью «второго полногласия» является его позиционный характер: оно известно только перед бывшим слогом со слабым редуцированным, но отсутствует перед старым слогом с гласным полного образования или сильным редуцированным. Ср.: *верѣх* (< *вьрхѣ*) — *верха, верху* (< *вьрха*), *гороб* (< *гѣрбѣ*) — *горбат* (< *гѣрбатѣ*), *столоб* (< *стѣлбѣ*) — *столба, столбу*; в новгородских рукописях с XIII—XIV вв. постоянно: (на) *Торожку* (< *Тѣржѣку*), но только *Торжок* (< *Тѣржѣкъ*); *черенци* (< *чѣрнѣци*), но только *чернец* (< *чѣрнѣць*) в Новг. кормч. В настоящее время явление это фиксируется более или менее последовательно только в северных говорах, прежде всего северо-западных, хотя в отдельных словах встречается в белорусских и украинских диалектах, в связи с чем А. А. Шахматов считал, что оно не было исключительно северным. В литературном языке оно известно лишь в словах, вошедших в него из диалектной речи: *бестолочь* (корень *тѣлк-/тѣлч-*), *верѣвка* (< *вьрѣвка*; ср. книжн. *сервие*), *остолоп* (корень *стѣлп-*) и т. п.

Шахматов полагал, что явление это связано с вокализацией призвука, развивавшегося у слогового плавного в закрытом слоге: **tǫ-r:-t > *tǫ-rʲ-t*; это объяснение исходит из представления о сочетании типа **tǫrt* в древнерусском языке как сочетании с открытым слогом и предполагает наличие или отсутствие гласного после плавного в результате его прояснения или утраты в разных позиционных условиях: **-rǫ-tǫ > -rot*, но **-rǫ-ta > -pta*. Однако такая интерпретация оставляет открытым вопрос о постоянном сохранении гласных перед плавными, если оказывается, что **tǫ-rʲ-tǫ > *torot* (в то время как ожидается **trot*). В. Н. Сидоров пытался выйти из этого затруднения, предположив заменительное удлинение плавного в процессе утраты слабого редуцированного и образования нового закрытого слога, что уже не могло оказать влияния на судьбу редуцированного перед плавным в старом закрытом слоге.

§ 53. Судьба редуцированного после плавного перед согласным фонетически, видимо, была той же, что и во всех других случаях: он должен был утрачиваться в слабой позиции и совпасть с [e] или [o] в сильной. Диалекты русского языка отражают этот процесс повсеместно для сильного редуцированного: *кр'ѣсть > > кр'ест*, *сл'ѣзѣ > сл'ез* (совр. *слѣз*), *глѣтѣка > глотка*, *кр'ѣв'ѣ > > кров'*; *л'ѣнѣ > л'ен* (совр. *лѣн*), *рѣж'ѣ > рѣж'*. Что же касается слабой позиции, то в этом случае утрата редуцированного вела к появ-

лению сочетания плавного с последующим шумным согласным, т. е. к появлению сочетаний, аналогичных тем, которые соответствовали сочетаниям типа **tǫrt*. Факты восточнославянских диалектов отражают стремление избегать этих сочетаний.

Внутри слов утрата слабых редуцированных вела к образованию сложного стечения согласных с пиком сонорности внутри сочетания: *кр'ьст'ит'и* > *кр'ст'ит'и*, *сл'ьзá* > *сл'за*, *глътáт'и* > *глтат'и*, *кръвáвъ* > *крвав*. В этих условиях оказывалось два пути ликвидации указанных сочетаний. Один из них — вокализация плавного. Этот путь, видимо, и отражен диалектами украинского языка, где при слоговом плавном развился призвук типа [ы]: *кривав* и *кирвав* (при *кров* — на месте сильного редуцированного); *слиза* и *силза* (при *слез*), *христити* (при *хрест*); то же в белорусских говорах: *крывавы* (при *кроў*), *крыцыць* и т. д.

Русские говоры, как известно, обычно отражают тот же гласный, что и на месте сильного редуцированного: *крестить*, *слеза*, *глотать*, *кровавый*. Судя по всему, такое произношение отражает аналогическое выравнивание корней (а сочетания указанного типа известны только в корнях слов!), т. е. *крестить* (как *крест*), *слез-а* (как *слёз*, *слёз-ы*), *глот-ать* (как *глот-ка*), *кров-авый* (как *кровь*). На то, что в таких случаях имело место именно аналогическое выравнивание при фонетически закономерном (если не происходит вокализации плавного) упрощении образовавшегося сочетания (т. е. при реализации второй возможности ликвидации пика звучности внутри стечения согласных), указывают случаи упрощения в словах, после падения редуцированных не связываемых в сознании говорящих с теми корнями, от которых они образованы: *Кръсты* > *Ксты*, *Пльскóвъ* > *Псков*; ср. также разг. *окстись* от того же корня *кръст-*.

Сопоставительное изучение диалектных данных и древних написаний в текстах, созданных в эпоху завершения падения редуцированных, свидетельствует о том, что исчезновение до нуля звука слабых и «прояснение» в [е, о] сильных редуцированных как диахронический процесс было собственно фонетическо́й закономерностью, не знавшей «исключений». И если впоследствии обнаруживаются многочисленные случаи произношения словоформ, как будто нарушающие эту закономерность, то либо мы имеем дело со словами, усвоенными в их книжно-литературном произношении (типа *собор* при народно-разговорном, отразившем непосредственный результат фонетического процесса *сбор* < *сѣборъ* или *учен[и]е* при разг. *уче[н''j]е*), либо перед нами результат позднейших *аналогических обобщений*, т. е. процессов морфологических, вызванных к жизни нарушением словообразовательных и морфологических связей в результате падения редуцированных. Так, в современном склонении слов типа *жнец* (< *жьньць*) в косвенных падежах обычно *жнеца*, *жнецу* и т. д. — с нулем звука на месте сильного и [е] на месте слабого редуцированного (вм. *женца* < *жьньца*). Формы некоторых говоров, а также написания древних текстов свидетельствуют о том, что современное оформление основы в косвенных падежах не нарушение закономерности собственно фонетического процесса (ср. *черенца* < *чьрньца*), а позднейшее обобщение основы, от которой и образованы как бы заново формы косвенных падежей: *жнец-а*, *-у* и т. д.¹ Вплоть до конца

¹ В книге названия падежей обозначаются начальными прописными буквами: И, Р, Д, В, Т, М, П.

XVIII в. на картах и в книгах названия городов на *-(e)ск* (< *-ьск*) писались так, как они должны были звучать после падения редуцированных: *Куреск* (< *Курьскъ*), *Минеск* (< *Миньскъ*); современные формы *Курск*, *Минск* (с «отсутствием» [e] на месте бывшего сильного редуцированного) — результат обобщения основы косвенных падежей, где закономерно *Курска* < *Курьска*, *Минска* < *Миньска*.

В начале корней ликвидация сочетания, как правило, осуществлялась за счет развития начального гласного: *л'ьна* > *л'на* > > *ол'на* (*ал'на*, *ил'на*), *рѣжи* > *ржи* > *иржи*, *рѣжаньѣ* > *ржаной* > *аржаной*. По памятникам отражение такого произношения встречается с XIV в., как в северновеликорусских, так и в старобелорусских и староукраинских; с начала XVII в. аналогичные написания фиксируются и в южновеликорусских текстах: *12 холстоз олненьх, иржи сто копен, хлѣб вѣсь аржанои перемалотили* (Курск); *две холстины алненьх* (Брянск).

§ 54. Падение редуцированных оказалось важной вехой в перестройке не только фонологической системы, но и собственно фонетических особенностей русского языка, затронуло его грамматический строй, отразилось в словообразовательных средствах и лексике.

Наиболее очевидно воздействие падения редуцированных на слоговую структуру слова. В частности, во всех случаях, где слабые редуцированные сократились до нуля звука, сократилось и число слогов в слове, при этом появлялись закрытые слоги: *жь-нь-ць* > *жнец*, *го-рѣ-ка* > *гор-ка*, *пло-дѣ* > *плод*, *сѣ-бо-рѣ* > > *сбор*, *сто-лѣ* > *стол*. Слог в этих случаях утратил свою автономность, а слоговая граница стала меняться при словоизменении и словообразовании; ср.: *пло-дѣ* — *пло-да* > *плод* — *пло-да*, *тѣр-гѣ* — *тѣр-га* > *торг* — *тор-га*. Возникли начальные и конечные слоги со сложным распределением сонорности, неизвестным до падения редуцированных. В частности, в словоформах с новым закрытым конечным слогом в подавляющем большинстве говоров наметилась тенденция к снижению звучности к концу словоформы, что имело ряд последствий, отразившихся на собственном фонетическом облике словоформ и на фонологических отношениях. Так, спад звучности к концу слова имел следствием так называемое оглушение конечных звонких согласных: *возѣ* > *воз* > *во[s]*, *плодѣ* > *плод* > *пло[t]*. Сонорные сохраняли качество звонкого согласного в конце слова в том случае, если оказывались после гласных (*столѣ* > *стол*); в положении же после согласных они также должны были оглушаться, что вело к упрощению конечного сочетания «согласный + сонорный»: *журавл'ь* > *журавл'* > диал. *журав*, *рубл'ь* > *рубл'* > *ру[п']* (или *ру[п]*, обычное в говорах и просторечии), *неслѣ* > *несл* > *нес*, *пеклѣ* > *пекл* > *пек* (совр. *нѣс*, *пѣк*), *умьрлѣ* > *умерл* > *умер*. Впрочем, в тех случаях, когда упрощение такого сочетания, позиционно обусловленное, происходило в конце основы, сохранявшей сонорный в большинстве форм словоизменения, аналогическое выравнивание основы вело к его «восстановлению» при помощи «вставочного» гласного: *вьтрѣ* > *ветр*

(вместо ожидаемого «вет» по аналогии с *ветр-а, ветр-у*) — *вет-е-р*; *вєслѣ* > *вєсл* (по аналогии с *вєсл-о, вєсл-а*) — *вєсл-е-л*; *ог[н'ь]* > *ог[н']* (по аналогии с *ог[н'-и]*) — *ог-о[н']*; *сєстрѣ* > *сєстр* (по аналогии с *сєстр-а, сєстр-ы*) — *сєстр-ѣ-р*. (Ср. современное произношение аналогичных словоформ книжных слов или недавних заимствований: *вєпрь* — *вє[п'р']*, *министр* — *минис[т'р]*, *театр* — *теа[т'р]*, диал. *теа*[т'ер] — с характеристикой конечного сочетания «согласный + сонорный» как самостоятельного слога.)

Утрата слабых редуцированных вела не просто к сокращению числа слогов, но и к появлению внутри слогов ранее невозможных сочетаний. Вновь появляются исчезнувшие еще в процессе развития праславянского языка сочетания типа **tor-t* (в таких случаях, как *вол-на* < *вѣлна, гор-ка* < *горѣка, кор-мить* < *кѣрмити*), внутрислоговые сочетания *тл* и *дл* (*светло* < *свѣтъло, седло* < *сєдѣло*), *кт'* и *гт'* (*локт'и* < *локѣти, ногт'и* < *ногѣти*), сочетания согласных с [j] (*пла'[т'ъ]е* < *пла[т'ъ]е*, *сви[н'ъ]а* < *сви[н'ъ]а*).

Во многих словах новые стечения согласных оказывались в противоречии с актуальными правилами сочетаемости, что вызывало к действию новые процессы ассимиляции, диссимиляции или упрощения групп согласных, которые должны быть охарактеризованы как последствия падения редуцированных, действовавшие на протяжении длительного времени и по-разному в диалектах формирующихся восточнославянских языков. «Инерция» внутрислогового движения от начала к концу определяла, как правило, регрессивный характер таких процессов — изменение предшествующего согласного под влиянием последующего. Так, появление сочетаний согласных, различавшихся по глухости ~ звонкости, по месту образования, в том числе и по твердости ~ мягкости, имело следствием ассимиляцию (уподобление по соответствующему признаку предшествующего согласного последующему): *лодѣка* > *лодка* > *ло[тк]а*, *сва[т'ьб]а* > *сва[т'б]а* > *сва[д'б]а*; *сѣборѣ* > *сбор* > [зб]ор; *сѣжєчи* > *сжєчи* > [зж]єчь > [ж:]єчь; *сѣшити* > *сийити* > [ш:]ити; *вѣр'ьн'ыи* > *вѣ[р'н]ой* > *вє[рн]ой*. Впрочем, процессы смягчения по говорам часто осуществлялись в прогрессивном направлении. Так, если на северо-востоке (со временем и в говорах великорусского центра) обычно *же[н'ьс]кыѣ* > *же[н'с]кой* > *же[нс]кой*, то на периферии (а также в будущих украинских диалектах) — *же[н'с]кой* > *же[н'с']кой*, *пє[н'ьк]а* > *пє[н'к]а* > *пє[н'к']а*.

Сочетания двух одинаковых по способу образования смычных согласных преодолевались путем диссимиляции (изменения предшествующего смычного в фрикативный), а внутри стечения согласных — упрощением группы: *молочьн'ыѣ* > *молочной* > *моло[шн]ой*, *что* > *что* > [шт]о; *мѣст'ьн'ыѣ* > *мѣстной* > *мє[сн]ой*, *позд'ьно* > *поздно* > *пo[зн]о*, *сѣльн'ьце* > *солнце* > *со[лнц]е*.

§ 55. Падение редуцированных существенно преобразовало состав фонем русского языка.

В системе вокализма исчезли фонемы ⟨ь, ъ⟩, заметно расширилось употребление ⟨е, о⟩ (а в диалектах, изменивших [й > и] и [ы > ы], расширилось также функционирование ⟨и, ы⟩), окончательно утратилась фонологическая значимость количественной характеристики гласных фонем. Некоторые изменения резко противопоставили диалекты юго-запада и северо-востока, что впоследствии отразилось на противопоставленности вокалических систем украинского и русского (великорусского) языков.

На юго-западе в новых закрытых слогах возникло удлинение исконных гласных [о, е]; новые [о:, е:] через стадию дифтонгов дали в конечном результате [и] со смягченным предшествующим согласным; см. укр. [k'it] из др.-русс. [котъ], [p'ip] из др.-русс. [попъ], [k'iny] из др.-русс. [конь], [p'ic] из др.-русс. [печь]. Это удлинение отражено в галицко-волынских памятниках начиная со второй половины XII в., в написании ъ вместо е и реже оо вместо о: *каминь*, *оушитъль* в Добр. ев.; *воовьца* в Гал. ев. 1266.

На северо-востоке, в диалектах древнего Новгорода и в близком к нему диалекте древнего Пскова, а также в ростово-суздальском диалекте лабиализованный гласный верхнесреднего подъема [ô:] занимает в системе положение особой фонемы ⟨ô⟩.

С перестройкой вокалической системы связаны важные морфологические изменения — возникновение регулярного чередования гласных ⟨е, о⟩ с нулем звука (ø) при словоизменении (так называемые беглые гласные). В основе этого чередования лежит преобразование древних позиционных чередований [ь/ъ] > е/ø и [ъ/ь] > о/ø в случаях типа *л'ьнъ/л'ьна* (после падения редуцированных: *л'ен/л'на*, *л'ну*), *отьць/отьца* (> *отец/отца*), *сънъ/съна* (> *сон/сна*, *сну*), которые позднее были поддержаны случаями типа *ветер/ветра* (*ветру*), *огонь/огня* (*огню*), где [е] или [о] развился в конечном сочетании «согласный + сонорный». В ряде говоров (прежде всего северо-восточных) это чередование закрепилось в качестве морфологического показателя — противопоставления основ прямого и косвенных падежей. В результате как собственно морфологические появляются чередования типа *камень/камня* (*камню*), *л'ед/л'да* (*л'ду*), *ров/рва* (*рву*), фонетически с падением редуцированных не связанные (др.-русс. *камень/камне*, *ледъ/леда*, *ровъ/рова*).

Значительно изменяется в результате падения редуцированных система консонантизма: завершается фонологическое противопоставление твердых ~ мягких согласных (см. появление позиционно не обусловленных оппозиций типа *ко[n]* ~ *ко[n']* из *ко[нъ]* ~ *ко[н'ь]*), формируются соотносительные ряды согласных по твердости ~ мягкости и глухости ~ звонкости. В результате значительно изменяется соотношение вокализма и консонантизма. Именно в ходе этих процессов складываются наиболее яркие различия русского, украинского и белорус-

ского языков на фонологическом уровне, а потому их рассмотрение связано с изложением истории собственно русского (великорусского) и соответственно украинского или белорусского языков.

ИСТОРИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО (ВЕЛИКОРУССКОГО) ЯЗЫКА (XIV—XVII вв.)

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОНСОНАНТИЗМА

§ 56. В развитии структуры языка в каждую историческую эпоху в серии различных изменений можно выделить главные, как бы ведущие звенья, история которых интересна своим воздействием на остальные звенья системы. В истории звуковой системы русского языка XIV—XVII вв. таким звеном была корреляция твердых ~ мягких согласных фонем. Категория твердости ~ мягкости не утратила своей актуальности и в эпоху развития языка русской нации; актуальна она и для звукового строя современного русского языка.

История фонологической категории противопоставленных твердых ~ мягких согласных фонем могла материализоваться: 1) в увеличении числа пар согласных, способных противопоставляться по данному признаку; 2) в появлении новых сильных позиций, в которых твердость ~ мягкость не была позиционно обусловленной и, следовательно, могла реализовать ДП фонемы; 3) в сокращении числа слабых позиций, в которых твердость ~ мягкость согласных была позиционно обусловленной.

Падение редуцированных, будучи связанным с закономерностями языкового развития предшествующей эпохи, в то же время выявило те тенденции развития, которые уже были свойственны истории отдельных славянских языковых систем, обнаружило их специфичность. В истории древнерусского языка это сказалось в актуализации формирующейся корреляции палатализованных ~ непалатализованных согласных фонем. Поэтому не случайно древнерусский оказался в числе тех славянских языков, в которых редуцированные не совпали, а вокализовались — один в гласный передней зоны образования, второй в гласный непередний. Оставаясь в частной системе гласных среднего подъема, передний гласный должен был сохраниться нелабиализованным, непередний — функционировать в качестве лабиализованного. Можно думать, что фонетический процесс лабиализации передних гласных перед твердыми согласными (см. ниже) протекал уже в новых закрытых слогах после падения редуцированных.

Падение редуцированных обнаружило и фонологичность самого признака мягкости ~ твердости в их противопоставлении — утрата переднего гласного [ь] не привела к изменению качества находившегося перед [ь] согласного: *го[r'ь]кая > го[r']кая, ко[н'ь] > ко[n']*. При этом именно после падения редуцированных возникает основная масса словоформ, фонемный состав которых различается только твердыми ~ мягкими согласными фонемами — перед согласными и

особенно в абсолютном конце словоформы: $го[r]ка \sim го[r']ка$ ($\langle го[r]ька \sim го[r']ька \rangle$), $ко[n] \sim ко[n']$ ($\langle ко[n]ь \sim ко[n']ь \rangle$).

Весьма показательно в этом отношении поведение губных согласных, для которых дополнительная артикуляция мягкости (артикуляция среднеязычная) не совпадает с основной артикуляцией. Если при образовании мягких переднеязычных или заднеязычных согласных среднеязычная артикуляция мягкости, накладываясь на основную, лишь видоизменяет ее, делая переднеязычные более задними, а заднеязычные более передними, т. е. сдвигая и те и другие к зоне согласных среднеязычного ряда, то при образовании мягких губных две разнородные артикуляции должны оказаться строго синхронными, образуя общую весьма сложную артикуляцию. Если такого совпадения не произойдет, то появится не мягкий губной, а сочетание твердого губного с [j] или же только твердый губной на конце слова.

Лишь фонологическая значимость признака мягкости в общей системе консонантизма способствовала сохранению конечных мягких губных, особенно если эта мягкость была значимой для парадигмы в целом; ср. такие формы, как *бро[v']* — *бро[v'и]*, *голу[б']* — *голу[б'а]*.

Последовательное сохранение конечных мягких губных характеризует современные русские говоры, входящие в диалектную зону центра, противопоставляя их по данной черте всем периферийным говорам. Оценивая это противопоставление исторически, можно сказать, что ростово-суздальский диалект, к которому генетически восходят центральные говоры, знал противопоставление твердых ~ мягких губных уже в эпоху падения редуцированных. В отношении остальных диалектов, вошедших в новую языковую общность — великорусский язык, допустима мысль, что мягкость губных в них не утрачивалась после падения редуцированных: она здесь не развивалась (для звонкого губного спиранта это направление в развитии могло быть связано с его билабиальным образованием). Естественно, что отсутствие противопоставления твердых ~ мягких губных на конце слова или перед согласными ослабляло всю корреляцию.

Есть основания считать, что в диалекте древнего Пскова не развивалась и корреляция фрикативных зубных согласных $\langle с \sim с' \rangle$, $\langle з \sim з' \rangle$, так как твердые $\langle с \sim з \rangle$ принадлежали зубному ряду, а мягкие — альвеолярному ряду и были сильно смягченными шепелявыми $\langle с'' \sim з'' \rangle$; об этом свидетельствует смешение букв *с—ш* и *з—ж* в древнепсковских текстах. По данным текста псковского Пролога, в этом диалекте рано утратилось противопоставление фонем $\langle р \sim р' \rangle$.

Таким образом, после падения редуцированных только ростово-суздальский диалект располагал наиболее продуктивной системой парных по твердости ~ мягкости согласных фонем: $\langle п \sim п' \rangle$, $\langle б \sim б' \rangle$, $\langle в \sim в' \rangle$, $\langle м \sim м' \rangle$, $\langle т \sim т' \rangle$, $\langle д \sim д' \rangle$, $\langle с \sim с' \rangle$, $\langle з \sim з' \rangle$, $\langle л \sim л' \rangle$, $\langle н \sim н' \rangle$, $\langle р \sim р' \rangle$ (11 пар). Очень рано в число этих фонем вошла и пара глухих губных спирантов $\langle ф \sim ф' \rangle$.

В древних славянских диалектах (в том числе и восточнославянских) звуки [ф] и, возможно, [ф'] характеризовали только звуковой состав заимствованных слов (преимущественно из греческого языка) — имен нарицательных (*фарисеи*,

финифть и др.) и собственных (Феодосия, Фома, Фрол и др. — в соответствии с греческими ψ и φ). Включению этих звуков в славянскую фонологическую систему предшествовал собственно фонетический процесс оглушения звонких спирантов [в — в'], если они были губно-зубными, что и характеризовало древний ростово-суздальский диалект.

§ 57. Согласные заднеязычного ряда долго оставались в стороне от формирования корреляции палатализованных ~ непалатализованных согласных фонем. Дрезнейшим фонетическим изменением, которое привело к появлению среднеязычных согласных, было изменение сочетаний [кы, гы, хы] в [к'и, г'и, х'и].

Вслед за А. А. Шахматовым принято считать, что первоначально заднеязычные были не просто велярными, но лабиовелярными. Утрата ими лабиовелярного характера привела к перемещению гласного [ы] в передний ряд — в [и]. Перед [и] затем происходит непереходное смягчение [к, г, х] в [к', г', х']. Данное фонетическое объяснение не содержит ответа на вопрос о причинах утраты лабиовелярности заднеязычными и не объясняет, почему сочетания губных и переднеязычных с [ы], которые также должны были утрачивать лабиовелярность, не пережили подобного изменения.

Исследования по исторической фонологии европейских языков, обобщенные в трудах французского ученого А. Мартине, показали, что в фонологических системах обычно не сочетаются признаки палатализованности ~ непалатализованности и лабиовелярности ~ нелабиовелярности у согласных. Если такое сочетание возникает в результате ряда фонетических изменений, то при дальнейшем развитии фонологической системы сохраняется в качестве ДП или палатализованность ~ непалатализованность, или лабиовелярность ~ нелабиовелярность. Исходя из данного представления, можно полагать, что развитие в истории древнерусского языка противопоставленности по палатализованности ~ непалатализованности должно было привести к утрате согласными качества лабиовелярности.

Таким образом, можно сказать, что изменение [кы, гы, хы] в [к'и, г'и, х'и] было одним из проявлений протекавшего в системе формирования парного противопоставления согласных фонем по твердости ~ мягкости. Фонетические изменения, связанные с утратой заднеязычными лабиовелярного характера, получили завершённый вид, так как не встречали противодействия фонологической системы того времени: среднеязычные [к', г', х'] появлялись как аллофоны заднеязычных <к, г, х> перед [и].

Иное положение возникло в частных системах губных и переднеязычных согласных. Здесь ко времени утраты согласными лабиовелярного характера уже сложилось фонологическое противопоставление твердых ~ мягких губных и зубных перед <и>: ср. [был] — [б'ил], [воды] — [вод'и], [выти] — [в'ит'и]. Поэтому фонетическое изменение сочетаний типа [пы, бы, вы, зы, сы, ты, ды] в соответствующие [п'и, б'и, в'и] и т. д. оказалось невозможным¹.

¹ См.: Аванесов Р. И. Из истории русского вокализма. Звуки *i* и *y*. — В кн.: Русская литературная и диалектная фонетика, М., 1974.

Расширение круга словоформ со среднеязычными происходило за счет аналогического выравнивания основ на заднеязычные в парадигмах склонения и спряжения, что фонетически оказалось возможным после появления сочетаний типа [к'и, к'ё]: *учени*[к'и] (вм. *ученици*, как *ученик* — *ученика*), *учени*[к'ё] (вм. *ученициц*); *но*[г'ё] (вм. *нозѣ*), *но*[г'и] (вм. *нозѣ*); *му*[х'ё] (вм. *мусть*), *му*[х'и] (гм. *мухы*).

В текстах написания *ки*, *ги*, *хи* последовательно появляются с XIV в. Возможно, что в ростово-суздальском диалекте это изменение протекало несколько раньше, чем в диалекте древнего Новгорода. По данным двинских грамот XV в. А. А. Шахматов находил возможным считать еще живыми для новгородского диалекта XV в. сочетания [кы, гы, хы]. Данная хронология не противоречит представлению о более ранней корреляции твердых ~ мягких согласных в ростово-суздальском диалекте в сравнении с новгородским.

Появление среднеязычных [к', г', х'] в славянской фонетической системе (в древнерусский исторический период эти согласные могли характеризовать лишь подсистему заимствованных слов: [к'и]тѣ, ан[г'е]лѣ, [х'и]тонѣ), создало материальную основу для последующего парного противопоставления заднеязычных и среднеязычных как самостоятельных фонем, что уже относится к более позднему времени — к периоду развития национального русского языка.

§ 58. Шипящие [ш', ж'] и аффриката [ц'] по говорам русского языка претерпели отверждение. По данным старых текстов, этот процесс происходил с XIV в. и отразился в написании букв ѣ или (что особенно показательно) *ы* после *ш*, *ж*: *рушѣти* в Моск. гр. 1471; *Иеашѣково*, *приложѣли* в Купч. XV. Отверждение [ц'] в нецокающих говорах, судя по времени появления написания *цѣ* или *цы*, имело место уже в XVI в.

Что касается написаний типа *жа*, *ша*, *ца*, *жоу*, *шоу*, *юу*, то они встречаются в древнейших текстах и об отверждении согласных не свидетельствуют. Эти написания относятся к истории орфографии и связаны с выработкой средств обозначения мягкости на письме. Поскольку шипящие [ш', ж'], как и аффрикаты [ц', ч'], были только мягкими, не было необходимости ставить после букв *ш*, *ж*, *ц*, *ч* йотованные буквы *я*, *ю*, так как в этом случае было как бы двойное обозначение мягкости: и буквой самого согласного, и последующей буквой для гласного. Буквы же *ѣ*, *ы* были невозможны в этом положении, так как мягкие шипящие и аффрикаты не могли сочетаться с непредними гласными [ѣ, ы].

В северо-западных (цокающих) говорах аффриката [ц'] продолжала сохранять мягкость. При этом цоканье и неразличение свистящих и шипящих — как утрата противопоставления согласных по признаку дентальности ~ альвеолярности — продолжали распространяться после XIV в. в связи с колонизацией носителями древненовгородского диалекта новых районов, ранее заселенных неславяноязычным населением.

Отверждение [ш', ж', ц'], как и сохранение мягкости аффрикаты [ч'], не затрагивало характера фонологической системы вели-

корусского языка; это изменение касалось лишь нормы реализации единиц данной частной системы согласных.

В периферийных северных говорах мягкость шипящих сохранялась как диалектная черта и в национальный период и утрачивалась уже под влиянием литературного языка. В отдельных позициях мягкость шипящих могла сохраняться и в центральных говорах, и даже в литературном языке. Так, для начала XX в. А. А. Шахматов отмечал позиционную мягкость шипящих перед суффиксом *-ник*: *сапо[ж'н'лик]*.

Изменялось и качество сочетаний [ш'т'ш', ж'д'ж']. В центральных говорах был утрачен срединный взрывной элемент, т. е. возникают долгие мягкие шипящие звуки [ш:', ж:']: [иш:'у], [пож:'е].

Утрата звонкого и глухого взрывного элемента могла проходить не параллельно. Более слабый звонкий взрывной мог утратиться раньше; тогда по диалектам возникал долгий мягкий звонкий [ж:] при глухом сочетании [ш'ч']. Высказывается предположение, что в центральных русских говорах (а потому и в литературном языке) краткие твердые и долгие мягкие шипящие постепенно втягиваются в корреляцию по твердости ~ мягкости, сохраняя различие по длительности в качестве сопровождающего признака. В периферийных говорах долгие шипящие отвердевают, как и мягкие: [рош:a], [еж:у].

§ 59. Фонетические изменения позиционного характера в группах согласных, возникших после падения редуцированных (ассимилятивные, диссимилятивные и др.), в диалектах великорусского языка в ряде случаев развивались неодинаково и по-разному отражались в местных фонологических системах.

Выше уже отмечалось различное по говорам направление ассимиляции согласных по твердости ~ мягкости. В фонологическом отношении все позиции ассимилятивного отвердения или смягчения были с л а б ы м и для согласных фонем, парных по этому признаку. Реальная твердость ~ мягкость согласного в этих случаях была позиционно обусловленной и поэтому не могла реализовать ДП фонемы. Старомосковские орфоэпические нормы произношения согласных перед мягкими согласными хорошо отражают регрессивный характер и результаты ассимилятивного смягчения согласных в говорах великорусского центра на протяжении всего исторического периода развития языка великорусской народности (XIV—XVII вв.) и в начальный период истории русского национального языка; см., с одной стороны: *кра[сн]ый* (< *кра[с'ьн]ый*), *те[мн]ый* (< *ть[м'ьн]ый*), с другой — *[в'д']еть* (< *вѣдѣти*), *[д'в']е* (< *дѣвь*), *дс[ф'к']и* (< *дѣзкы*), *[с'т']ихать* (< *[сѣт']ихати*). Прогрессивное направление ассимилятивного смягчения, судя по данным лингвистической географии, наиболее последовательно осуществлялось на юге¹; в частности, оно получило широкое отражение в старей-

¹ См.: *Касаткин Л. Л.* Прогрессивное ассимилятивное смягчение задненёбных согласных в русских говорах. М, 1968.

ших южновеликорусских памятниках, относящихся к концу XVI— началу XVII в.: *Афонкя, Феткя* в Елецк. гр. 1593 (явно отражено произношение типа *Фе[т'к'ла < Фе[д'ь]ка)*; *Амелкя* в Курск. гр. 1620; *на губе беленкя* в Курск. гр. 1624; *за стоикю* в Вор. гр. 1632; *сколкя, с Ларкемъ, с Феткемъ* в Курск. отк. кн. Правда, в памятниках, относящихся к центральным районам, это явление отражено ранее: *бочкю* в письме 1482; *Володкю, Степанкю* в Моск. гр. 1517; но это не противоречит выводам о распространении прогрессивной непреходной ассимиляции заднеязычных на среднерусские говоры с юга, если учитывать, что синхронных южновеликорусских памятников не сохранилось.

В большинстве говоров регулярный характер носила и ассимиляция согласных по глухости ~ звонкости, в результате которой складывается ряд согласных фонем, парных по глухости ~ звонкости: <п ~ б>, <п' ~ б'>, <т ~ д>, <т' ~ д'> и т. д. Соотносительность согласных фонем по этому признаку развивается в связи с появлением позиционной мены типа *ду[б]а — ду[п]*, *ко[з']ба, моло[д]а — моло[т]*. В тех случаях, когда фонетическое озвончение или оглушение не приводило к позиционной мене, новая фонетическая модель закреплялась в соответствующей ей орфографии: *где* (<кѣдѣ), *здесь* (<сѣднѣсѣ), *здоров* (<сѣдоровѣ), *пчела* (<бѣчела).

Изучение актовой письменности ростово-суздальского происхождения позволяет сделать вывод, что соотносительность глухих ~ звонких согласных на стыке морфем и слов, а также на конце слов уже вполне сложилось в говорах великорусского центра в XIV столетии. Диалектное варьирование в связи с формированием фонем, парных по этому признаку, было связано с качеством [в] или [w] и [г] или [γ]. Так, говоры ростово-суздальского типа знали позиционную мену *г/к*, следовательно, развили соотносительную пару <г ~ к>. Южные говоры, характеризовавшиеся ко времени падения редуцированных фрикативным звонким заднеязычным согласным, оглушали его в [х] (*денех* в Елецк. гр. 1617; *берех* в Курск. гр. 1642; *денях* в Оск. гр. 1651; *перелох* в Бел. гр. 1683; *стерехъ* в Об. гр. 1699), следовательно, развили соотносительную пару <γ ~ х>.

В говорах ростово-суздальского ареала с губно-зубными [в, в'] в исходной системе происходит их позиционное оглушение перед глухими шумными согласными и на конце словоформ: *дрѣ[вѣ] > дро[в] > дро[ф]*, *крѣ[в'ѣ] > кро[в'] > кро[ф']*, *тра[вѣ]ка > тра[в-к]а > тра[ф]ка*. Об этом свидетельствуют единичные, но весьма показательные примеры мены *в/ф* в ростово-суздальских грамотах XV в. (типа *фпрок, с Ведоровы стороны = с Федоровы*) и особенно данные современных говоров владими́ро-поволжского типа с последовательной меной *в/ф, в'/ф'* (*тра[в]а/тра[ф]ка, кро[в']и/кро[ф']*). Именно эта позиционная мена и вовлекала звуки [ф, ф'] в общую систему консонантизма местных говоров, что можно отнести к рубежу XIV—XV вв. Противопоставленность <ф ~ ф'> по твердости ~ мягкости сложилась на основе противопоставленности по данному

ДП фонем ⟨в ~ в'⟩. Впрочем, круг слов, в пределах которого фонемы ⟨ф ~ ф'⟩ могли использоваться как средство различения, был (и продолжает оставаться) небольшим.

Северо-западные и южные говоры с фонемами ⟨w, w'⟩ в исходной системе после падения редуцированных развивают позиционную мену [w] и [w'] с [ʏ] или сохраняют [w, w'] в конце слова и слога — с последующим отвердением [w']. С XIV—XV вв. о позиционной мене w/ʏ свидетельствуют новгородские и псковские тексты сменной *в/у* (в одних и тех же орфограммах); подобные написания обычны с конца XVI в. и в южновеликорусских текстах: *с удоз и недорослей, узяти, умьста, у моем иску, унучата; и с Курсково възду (= уьзду); взял в нас, в сундучка замочек, за овсяное вхоботье; см. также уз одном рубли, уз Описима, уз ыццоге иску.*

Характеризуя диалектное варьирование фонетических результатов ассимилятивного изменения согласных по глухости ~ звонкости, необходимо согласиться с предположением, что позиционное озвончение согласных происходило ранее, чем оглушение, и охватывало всю восточнославянскую область; оглушение же происходило неодинаково по восточнославянским говорам. Так, звонкие перед глухими сохраняют звонкость на значительной протяженности звука в говорах украинского языка и в некоторых северновеликорусских говорах. В этих же говорах не происходит и оглушения конечных шумных звонких согласных. Эти различия в фонетическом поведении глухих и звонких согласных в диалектах восточнославянских языков, а в пределах русского языка — в изолированных (по данной особенности) северновеликорусских говорах, очевидно, связаны с историей частной системы шумных согласных, противопоставленных первоначально по напряженности ~ ненапряженности.

Если, как в большинстве диалектов русского языка, происходило преобразование частной системы согласных фонем, противопоставленных по напряженности ~ ненапряженности, в иную частную систему, в которой в качестве ДП используется глухость ~ звонкость шумных согласных, а напряженность ~ ненапряженность приобретает значение дополнительного признака, то в таких диалектах происходило последовательное и полное оглушение шумных звонких перед глухими, а на конце слов происходила нейтрализация противопоставления согласных фонем по глухости ~ звонкости, устанавливался ряд согласных фонем, парных по глухости ~ звонкости. Такой соотносительный ряд подробно охарактеризован в описательной фонетике современного русского литературного языка.

В диалектах украинского языка, как и в изолированных русских говорах, которые знают неоглушенные конечные звонкие согласные, а также «неполное» оглушение звонких перед глухими, сохраняется архаичная частная система шумных согласных с противопоставлением по напряженности ~ ненапряженности; глухость ~ звонкость согласного в этой системе становится признаком дополнительным. Нельзя при этом не заметить, что в русских

говорах, сохраняющих в качестве ДП напряженность ~ ненапряженность, оказывается неразвитой и корреляция согласных фонем по твердости ~ мягкости. Взаимосвязь данных изоглосс еще нуждается в исторической интерпретации.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОКАЛИЗМА

§ 60. Если интерпретация фонологической истории [a, a], которые ко времени падения редуцированных уже были аллофонами ⟨a⟩ после твердых ~ мягких согласных (ср.: [ma]lmi — [m'á]lmi), зависит от решения вопроса об относительной хронологии вторичного смягчения согласных и утраты носовых гласных (см. выше), а в отношении [y, y'] нет сомнений, что они уже ко времени распада праславянского языка были аллофонами ⟨y⟩ после палатальных ~ непалатальных согласных (ср.: во[лу] — во[л'ý]), то фонологические отношения между [и] и [ы] в процессе развития русского языка существенно изменялись. История звуков [и, ы] не совпадает с историей фонем ⟨и, ы⟩.

Артикуляционно-акустическое различие между [и] и [ы], судя по всему, сохранилось без существенных изменений. Частная же система фонем ⟨и ~ ы⟩, противопоставленных по признаку ряда, утратилась: две фонемы совпали в одной.

История частной фонологической системы нелабиализованных гласных верхнего подъема включает ряд различных исторических эпизодов фонетической и морфологической природы. Среди них центральной и определяющей является перестройка отношений между ⟨и⟩ и ⟨ы⟩ в связи с развитием в русском языке корреляции согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости.

Превращение признака палатализованности в фонемообразующий изменило фонологическую структуру слогов типа *t'i, *ty, которые стали полем реализации фонемообразующего признака твердости ~ мягкости у согласных и нефонемообразующего признака ряда у гласных. В результате сочетания типа [бы]ли — [б'и]ли, [пы]л — [п'и]л, [сы]н — [с'и]нь (см. начальные слоги), не претерпев сколько-нибудь значительных изменений в физиолого-акустическом отношении, пережили значительную перестройку их фонологической структуры. Действительно, до вторичного смягчения и падения редуцированных такие слоги в словах типа *pylъ — *p'ilъ, *byt'i — *b'it'i различались фонемами ⟨y ~ i⟩, противопоставленными по ряду; полумягкость [p, b] и др. перед [i] была позиционной. Вторичное смягчение полумягких согласных перед гласными переднего ряда означало полноту господства ⟨i⟩ над согласным в слоге. Однако уже в следующий исторический период, связанный с падением редуцированных, это господство сменилось зависимостью гласных, различающихся по ряду, от твердых ~ мягких согласных фонем. Фонемная структура слогов *ti, *ty превратилась в структуру ⟨t'i, ti⟩ (фонетически [t'i, ty]).

К этой фонологической эволюции имели отношение и морфологические изменения, приводившие к расширению морфологического отождествления [и, ы].

В ранний древнерусский период при полной функциональной тождественности гласных [y, ỳ], [a, à] (ср.: *же[н-у]* — *зем[л'-у]*, *ко[н-у]* — *ко[н'-у]*, *же[н-а]* — *зем[л'-à]*) соотношения [и, ы] во флексиях при твердости конечного согласного основы в первом случае и мягкости во втором были факультативны. В ряде форм эти соотношения выдерживались; см.: Т мн. ч. *сто[лы]* — *ко[н'и]*; у прилагательных [-ыхъ] — ['ихъ], [-ымъ], ['имъ], [-ым'и] — ['им'и], [-ыма] — ['-има]. Но эта корреспонденция в морфологической системе была необязательной, ибо корреспондентом [ы] в положении после мягкого основы мог быть [ѣ]: *же[н-ы]* — *зем[л'-ѣ]* (Р ед. ч.); *же[н-ы]* — *зем[л'-ѣ]*, *пло[д-ы]* — *ко[н'-ѣ]* (В мн. ч.); напротив, гласному [и] после мягкого основы мог соответствовать [ѣ] после твердого основы (со смягчением): *зем[л'-и]* — *же[н'-ѣ]* (Д-М ед. ч.), *ко[н'-и]* — *пло[д'-ѣ]* или *дру[з'-ѣ]* (М ед. ч.). К концу древнерусского периода и в начале истории великорусского языка, благодаря унификации форм именного склонения, эти многообразные корреспонденции устраняются, складываются парадигмы с единым набором флексий, фонетические реализации которых полностью определяются характером основы: после основы на твердый согласный ⟨и⟩ реализуется в звуке [ы], после мягкой — в звуке [и]: *жен-ы* — *земл-и*, *плод-ы* — *кон-и*, так же *нов-ые* — *син-ие*.

Возникновение морфологической тождественности способствовало функциональному объединению звуков [и, ы] в одной фонеме ⟨и⟩. Вполне возможно, что и направление в изменении системы флексий в именном склонении по диалектам великорусского языка зависело от состояния и направления развития диалектных фонологических систем. Позиционное распределение звуков [и, ы] и связанное с этим определение [и] как основного вида фонемы (по позиции начала слова) зависело от различных фонетических изменений, как связанных, так и первоначально не связанных с функциональным объединением звуков [и, ы] и относящихся еще к истории праславянского языка.

Индоевропейские гласные **ī* и **i̯* различались как фонемы и в начале слова. Но на протяжении истории праславянского языка в соответствии с законом восходящей звучности перед начальными гласными стали развиваться протетические звуки: перед **ī* развивался **i̯*, который позже мог изменяться в **ω*, а далее по диалектам и в **v*, перед **i̯* развивался *i̯ > j*. Поэтому в славянских языках и диалектах нет слов, которые бы начинались с [ы]. Что касается начальных сочетаний **jь* и **ji̯*, то в дальнейшем в славянских языках, в том числе и в древнерусском, сочетание **jь* изменяется в [i̯], а в начальном слоге [ji̯] утрачивается [j]. Поэтому звук [и], в противоположность [ы], оказывается возможным в начале слова во многих словах русского языка. Этот частный процесс не внес заметных изменений в фонетическую систему праславянского или раннего древнерусского языка, но его результаты оказались значимыми в более позднюю эпоху, когда происходило функциональное объединение звуков [и, ы] и определялись закономерности их позиционного распределения.

В соответствии с [и] абсолютного начала слова после твердых согласных в истории русского языка утвердилось [ы]. Это одно из оснований считать звук [ы] вариацией фонемы ⟨и⟩. Рассматривая историю этого явления, Р. И. Аванесов восстанавливает следующую его хронологию:

- 1) *роз + искати, подѣ + имати, отѣ избы, братѣ идетъ* ⟨домѣ⟩;
- 2) *розыскати, подыимати, отѣ избы, братѣ идетъ* ⟨домѣ⟩;
- 3) *розыскати, подыимати, оты-избы, братѣ идетъ* ⟨домѣ⟩;
- 4) *розыскати, подыимат'и, от-ызбы, брат-ыд'ет'* ⟨дом⟩.

Сочетание [кы] на стыке предлога и гласного [и] следующего слова появилось тогда же, когда и явления типа 4, т. е. после падения редуцированных: [к-ы|вану, сне[к-ы|дет (как [с-ы|ваном, ко[т-ы-п|овар). Данное положение в системе сохраняется и в современном русском языке, литературном и диалектном.

§ 61. Судьба звуков [е, о] и фонем ⟨е, о⟩, пожалуй, еще более сложна, чем судьба фонем ⟨и, ы⟩. Материальная неизменность звуков [е, о] в разные исторические эпохи таила в себе весьма существенные различия в фонологических отношениях между ⟨е⟩ и ⟨о⟩. Противопоставленные друг другу как разные фонемы ⟨е ~ о⟩ в одну историческую эпоху, они теряли эту противопоставленность в другую. Позже — в результате ряда фонетических и морфологических изменений — звуки [е, о] вновь приобретали фонологическую самостоятельность, но уже с другими дифференциальными признаками. Эволюция данного частного звена фонетической системы была связана с историей не только всей системы вокализма, но и определялась общими тенденциями развития консонантизма, и прежде всего корреляцией согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости.

В древнерусском языке старшей поры фонемы ⟨е, о⟩, противопоставляясь зоной образования, входили в общий класс гласных фонем, ДП которых был передний ~ непередний ряд, т. е. входили в ряд гласных, объединявшихся в пары по зоне образования. Аллофоны каждой из фонем данной пары реализовались лабиализованными ~ нелабиализованными звуками: ⟨е⟩ была представлена звуками нелабиализованными, ⟨о⟩ — лабиализованными. Но данное качество, характеризуя звук [е] или [о] как разновидность соответствующей фонемы, не входило в число ДП гласных фонем среднего подъема: лабиализованность ~ нелабиализованность сопровождала признак переднего ~ непереднего ряда. Такая связанность этих признаков проявлялась в тех фонетических изменениях, которые имели место в то время (см. § 32). О том же распределении ДП в частной системе гласных фонем среднего подъема свидетельствует и история праславянского чередования *e/o* в русском языке — с развитой корреляцией твердых ~ мягких согласных — древнее чередование гласных преобразовалось в чередование согласных: *[ne]sti — *[no]siti, *[ve]zti — *[vo]ziti в праславянском языке и [н'о]с — [но]сѣть, [в'о]з — [во]зѣть в современном русском.

Положение гласных фонем, различающихся по зоне образования, изменилось в фонетической системе древнерусского языка

после вторичного смягчения согласных, когда все полумягкие согласные смягчились. Отношения в паре ⟨е — о⟩ подчинились этой системе. Распределение звуков [e, o] оказалось теперь таким — в начале слов возможен только [o]: *озеро, олень, осень*; после несмягченных согласных также только [o]: *плодъ, село*; после смягченных согласных только [e]: [л'е]дъ, по[л'е]. Звуки [e, o] оказались в одной парадигме, их распределение стало позиционным, они утратили по отношению друг к другу фонологическую самостоятельность и стали реализациями одной фонемы, очевидно ⟨о⟩, так как в наиболее независимой позиции (в начале слова) в древнерусских словах последовательно появлялся звук [o].

Дальнейшая история [e, o] связана уже с эпохой падения редуцированных, с фонетическим изменением [e > o] по диалектам древнерусского языка и распространением слога типа *t'o* по морфологическим причинам. Воссоздание истории фонетического изменения [e > o] опирается на два ряда фактов: явления современных русских говоров и диалектов ближайших родственных языков, украинского и белорусского, и факты, извлеченные из памятников письменности.

Диалекты русского языка предоставляют в распоряжение историка два типа явлений. Одни диалекты, и к ним прежде всего относятся говоры диалектной зоны центра, знают результаты последовательного изменения [e > o], постоянное соотношение в окающих говорах форм типа [н'ос] — [н'осу], широкое распространение конечного слога типа *t'o* ([г'ор'o], [бел'ј'о]) и *t'o* перед мягкими согласными (*на бе*[р'оз'e], *зем*[л'оју]). В этих говорах [e], не перешедший в [o], тембрально неоднороден, имеет *и*-образный призвук, перед ним согласный постоянно смягчен, т. е. произносят *о*[в'е]ц, [т'е]сть. Вокализм говоров состоит из пяти фонем: в нем нет особых фонем на месте древнерусских ⟨ê, ô⟩; консонантизм располагает развитой корреляцией согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости. В этой корреляции участвуют и твердые ~ мягкие губные: *гол*[п'] — *глу*[п'] — *глу*[п], *кр*[ф'] — *кр*[ф], *се*[м'].

Иные факты прослеживаются при изучении периферийных севернорусских говоров, в частности тех, которые генетически связаны с диалектом древнего Новгорода и его области. При всем разнообразии конкретного фонетического материала, полученного в результате звукового анализа севернорусской речи, в нем можно выделить черты, общие для севернорусской фонетической системы. Из них важно отметить такие, как отсутствие результатов изменения [e > o] или их ограниченность отдельными флективными или суффиксальными морфемами (например, в флексии: *ко*[н'-о]м, как *сто*[л-о]м; *ко*[н'-о]к, как *стр*[ел-о]к), положением под ударением и некоторыми другими условиями. В таких говорах обычно нет отношения [н'ос] — [н'осу], но [н'ос] — [н'есу] или даже [н'ес] — [н'есу]. Отмечается слабая лабиализованность [o], тембральная однородность [e]; перед этим [e] согласные могут быть неполного смягчения: [д'е]нь, *пять* [в'е]рст. В таких говорах есть особые фонемы верхнесреднего подъема ⟨ê ~ ô⟩, представленные напряженными

монофтонгами [ê, ô] или узкими дифтонгами [iê, uô]. В системе консонантизма, как правило, обнаруживается слабость корреляции твердых ~ мягких согласных фонем; в некоторых архаических говорах (например, по течению Пинеги) исследователи выделяют в качестве фонемообразующего признак лабиовелярности. Говоры с непереходом [e > o] изучены и на периферийной южновеликорусской территории; таковы, например, говоры рязанской Мещеры, описанные Р. И. Аванесовым.

Во всех русских говорах, имеющих те или иные результаты изменения [ʼe > ʼo], такой [o] представлен после шипящих и перед шипящими: [жо]ны, [пшо]нный, на[д'ож]ный, о[д'ож]а; но нет результатов изменения [ʼe > ʼo] перед аффрикатой [ц]: *молод[ец], от[ец]*. Результаты изменения [e > o] после шипящих известны и по диалектам украинского и белорусского языков; однако в этих диалектах отсутствует изменение [e > ʼo] после парных мягких согласных, а сами согласные перед [e] произносятся с неполной мягкостью.

По памятникам написания с *o* (в соответствии с *e* или *ь*), отражающие изменение [e > ʼo], отмечаются с XII в., но главным образом после шипящих и *ц*: *блажонъ, бывъшомъ, хытръцомъ* в Сл. Ипп.; *носящому, рекишому* в Леств. и др. В более поздних текстах, особенно в грамотах, можно встретить и мену букв *o/e* при обозначении гласного после парных мягких согласных: *идом (= идем), озоро, рублобъ*.

На основании этих фактов, соотносящихся с реализациями [e > o] в современных восточнославянских языках, А. А. Шахматовым было высказано (принятое затем многими историками языка) предположение о двух этапах процесса изменения [ʼe > ʼo]. Первоначально во всех восточнославянских диалектах [e] изменился в [ʼo] после исконно смягченных согласных, т. е. после [ш', ж'] и аффрикат [ч', ц']. Поэтому в современных восточнославянских языках результаты этого изменения представлены одинаково. Позже началось изменение [ʼe > ʼo] после вторично смягченных согласных. Результаты этого изменения сохранились последовательно лишь в диалектах русского языка. По диалектам украинского и белорусского языков в этом положении произошла делабиализация [o > e], перед которым согласный стал неполного смягчения; возникло соотношение: русск. [л'он], укр. и бел. [л'ен].

Накопление диалектных данных и стремление восстановить историю системных отношений требовали нового решения проблемы. Становится ясным, что нет оснований предполагать два этапа в развитии фонетического изменения [ʼe > ʼo], ибо лабиализация [ʼe] после мягкого согласного (исконного или вторичного), связанная с отодвижением гласного в более заднюю зону образования, означала важное изменение во всей системе языка, так как создавала возможность появления слога новой структуры, являющегося сочетанием мягкого согласного с последующим лабиализованным гласным среднего подъема, т. е. слога типа *l'o*. Такое изменение не могло ограничиваться лишь положением после исконно

смягченных согласных, а должно было затронуть положение после смягченного согласного любого происхождения.

Это изменение, очевидно, активно происходило после падения редуцированных, прежде всего в новых закрытых слогах под влиянием последующего твердого согласного. Именно в этот период твердые согласные теряли свой лабиовелярный характер, изменяясь в велярные звуки. При изменении согласный передавал лабиальность предшествующему гласному [e], т. е. [л'едь] > [л'ед] > [л'од], [н'есль] > [н'есл] > [н'ос]. Изменение [e > 'o] могло происходить лишь после сильно смягченных согласных. Следовательно, если [e] был тембрально однородным и перед таким [e] невозможно было полное вторичное смягчение согласных, то такой [e] не изменялся в ['o]. Очевидно, в современных формах типа [л'ед] в русских говорах и диалектах украинского и белорусского языков не следует видеть делабиализацию и вторичное отверждение, а с достаточным основанием можно считать такие формы архаичными.

Последовательное изменение [e > 'o] в сочетании типа *t'et* (*t'et* > *t'ot*) происходило в диалекте Ростово-Суздальской земли, на основе которого позже формировалась центральная диалектная зона. Фонологическим результатом этого изменения стала новая сильная позиция для парных твердых ~ мягких согласных — перед ⟨o⟩: [нос] — [н'ос], [сол'] — [с'ол]. Таким образом, фонетическое изменение *t'et* > *t'ot* способствовало укреплению продуктивной категории парных по твердости ~ мягкости согласных фонем: актуальные тенденции развития консонантизма совпадали с актуальностью изменений в системе вокализма. При этом изменение не изменяло принципиально отношений между гласными [e] и [o]: появилась лишь еще одна позиционная реализация той же гласной фонемы — звук [ò].

Дальнейшее распространение слоги типа *t'o* стали получать в силу морфологических изменений, условием для которых явилась фонетическая возможность существования такого слога. Унификация парадигм склонения у имен с твердой и мягкой основой вела к появлению форм типа *го[р'о]*, *но[л'о]*; *го[р'ом]*, *но[л'ом]*; *ды[н'оу]*, *зем[л'оу]*. В результате, кроме слогов типа *t'òt*, где [ò] выступает перед твердым согласным, появились и конечные слоги типа *t'ò* ([пол'о]) и типа *t'o + t'*: *на бе[р'оз']е*, *к[л'он']е*. Однако во многих других словах того же диалекта сохранялись конечные слоги типа *t'e* ([ид'от'е]) или *t'et'*: [кон'е']. В результате появилась оппозиция гласных [o ~ e] на конце слова (*t'o ~ t'e*) и между мягкими согласными (*t'òt' ~ t'et'*).

Фонологизация отношения между гласными [e, o] теперь шла с ДП лабиализованности ~ нелабиализованности, а ряд [ò], т. е. звуки типа [o, ö, o'] или более или менее переднее образование [e] стали качествами позиционно обусловленными.

Фонологизация отношения между ⟨e⟩ и ⟨o⟩ сопровождалась образованием взаимного противопоставления, что привело к прекращению фонетического изменения [e > o]. Фонетический закон

лабиализации [e] перед твердыми согласными перестал быть актуальным. Время деактуализации закона подсказывается сопоставлением звуковых моделей русских слов — перед отвердевшим шипящим находим [ʼo] (< [e]): *на[д'ож]ный, о[д'ож]а*; перед отвердевшей аффрикатой [ц] сохраняется [ʼe]: *моло[д'е]ц, о[т'е]ц*. Отверждение шипящих датируется XIV в., отверждение [ц' > ц] — рубежом XV—XVI вв.; следовательно, прекращение действия фонетического закона изменения [ʼe > ʼo] может датироваться XV столетием.

Актуальность фонетической модели слова может сохраняться и после прекращения действия фонетического закона; однако деактуализация закона создает условия для появления новой фонетической модели. Пока действовал фонетический закон перехода *t'et > t'ot*, в русских (не церковнославянских!) словах возможно было только сочетание типа *t'ot*, и слова приобретали звуковой вид: [л'од], [н'ос], о[д'ож]а, [шол], но [л'ен'], [п'ен'], [т'ен'] и т. д. Когда закон перестал быть актуальным, модель с сочетанием типа *t'ot* продолжала сохраняться; но рядом с ней оказалась возможной также и модель типа *t'et*, тем более, что наличие обеих моделей создавало новую сильную позицию для фонем <е, о> — перед твердыми согласными. Поэтому, когда в результате отверждения согласных в сочетаниях согласных в русских словах вновь возникало сочетание типа *t'et*, оно могло сохраняться без последующих изменений. Так появились сочетания типа *t'et* в словах с отвердевшим плавным [р]: [в'ер]х, [з'ер]кало, *че[т'в'ер]г*. По русским говорам эти слова могут произносить с [р'] и в настоящее время: [в'ер']х, [з'ер']кало, *че[т'в'ер']г*.

Представлен [e] без перехода в [o] в ряде суффиксов или перед суффиксами: *дере[в'ен]ский, [жен]ский, поло[т'ен]це*.

При усвоении новых заимствований из западноевропейских языков или в произношении слов, пришедших из церковнославянского языка, также представлено сочетание типа *t'et*: *ан[т'ек]а, [л'ен]та, мо[н'ет]а; [кр'е]ст, [н'е]бо, [п'ер]ст*. По диалектам возможно произношение [кр'ост], [п'орст], что свидетельствует о большей силе модели с сочетанием типа *t'ot*, а может быть, и об единственности данной модели во время усвоения носителями диалекта соответствующей лексики.

В центральных говорах и в литературном языке значительное пополнение словаря словами, фонетическая модель которых включает сочетание типа *t'et*, произошло в связи с замещением фонемы <ё> (н) фонемой <е>: [л'е]с, [с'е]но, [сн'е]г, х[л'е]б.

Таким образом, развитие нового противопоставления фонем <е ~ о> с ДП лабиализованности ~ нелабиализованности совмещается с установлением пятифонемного вокализма и продуктивной категорией согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости.

§ 62. На рубеже XIII — XIV вв. в системе вокализма диалектов формирующегося великорусского языка существенно изменяется положение фонемы <ê> (н), реализовавшейся в древнерусский период в долгом узком монофтонге [ê:].

Письменные тексты XIV—XV вв., отражающие фонетические

черты говоров ростово-суздальского типа, наряду с традиционным, «этимологически правильным» употреблением букв *ь, е, и*, знают мену *н/е* (реже *и*). Чередование орфограмм с *ь* и *е* (*и*) обнаруживает связь с их фонетической характеристикой (соседство [j], парных твердых ~ мягких и непарных мягких согласных), а также с их морфологической характеристикой (в корневой, аффиксальной или флективной морфеме) и не зависит от отношения к месту ударения. При этом чаще и последовательнее встречается замена *е* буквой *ь* перед мягкими согласными в корнях слов, т. е. написания типа *деръвья* (вм. *деревьня*). Фонетическую основу таких написаний можно видеть в позиционной мене гласных среднего подъема: перед мягкими согласными [e] становился более напряженным, следовательно, воспринимался как [ê]: [д'ьн'ь > д'ен' > д'ên'], [де[r'ев']ня > де[r'êв']ня. В результате признака напряженности гласного типа [e] в положении между мягкими согласными оказался позиционно обусловленным, т. е. уже не мог реализовываться ДП фонемы. В такой системе вокализма фонемы <ê, е> перед мягкими согласными уже не могут противопоставляться по признаку напряженности ~ ненапряженности, так как фонема верхнесреднего подъема <ê> (на письме *ь*) по своему основному качеству оказалась близкой или даже фонетически тождественной новому члену позиционной мены в ряду фонемы <е> — звуку [ê]. Возникла позиция нейтрализации этих двух фонем. Неразличение фонем <е, ê> перед мягкими согласными и стало фонологической основой мены букв *е/ь* в одних и тех же орфограммах.

Для истории фонемы <ê> важно отметить, что признак напряженности в говорах, знающих позиционное изменение [e > ê] перед мягкими согласными, став свойством, зависящим от позиционных условий функционирования фонемы, исключается из числа ее возможных ДП в этой же позиции.

Фонема могла сохраняться в системе, пока в других позициях, в данном случае перед твердыми согласными и на конце слова, она продолжала сохранять свой основной различительный признак — напряженность. Однако в говорах ростово-суздальского типа качество напряженности у фонемы верхнесреднего подъема <ê> перед твердыми согласными также перестает реализовываться ДП. Это происходит вследствие последовательной лабиализации [e] (изменения [e > 'o]) перед твердыми согласными: в результате последовательного преобразования *t'et > t'ot* в любом фонетическом слове утрачивается и противопоставление <ê ~ е> перед твердыми согласными. Звуковые единицы <ê, о> перед твердыми согласными не могли противопоставляться по признаку напряженности ~ ненапряженности, так как для такого противопоставления у них не было тождества основания; не могли они противопоставляться и по признаку, связанному с лабиализацией, так как были разного подъема. В результате признак напряженности у <ê> перед твердыми согласными превращался из дифференциального в необязательный для функционирования данной частной системы. И лишь в силу традиционности произношения такой избыточный признак на правах *п р о и з*

носителем нормы может передаваться следующему поколению говорящих на данном диалекте, что и обуславливает сохранение произношения [с'ê]но, [н'ê]г, тe[л'ê]га с [ê], напряженность которого уже не поддерживается фонологической системой.

Сложнее была позиция на конце слова. Здесь также появлялся слог типа *t'o* (< *t'e*): *го[р'о]*, *мо[л'о]*. Но, распространяясь по законам грамматической аналогии, а не в силу действия фонетического закона, он охватывает не все конечные слоги. Во многих словах могли сохраняться и конечные слоги типа *t'e*: *горожа[н'е]*, *иди[т'е]* и др. Поэтому в конечных слогах наличие *t'o* лишало в слогe типа *t'ê* фонему <ê> ДП, связанного с напряженностью, а наличие слога типа *t'e* в этой же позиции поддерживало этот ДП в слогe типа *t'ê*. Можно заметить, что именно в позиции конца слова фонема <ê> могла совпадать с морфемой <ê> и, следовательно, быть носителем не только фонематического, но и грамматического значения: *же[н'ê]*, *на ок[н'ê]*, *сто[л'ê]*.

Итак, характер новой системы, установившейся в связи с последовательным развитием корреляции твердых ~ мягких согласных и частной системы вокализма <е ~ о> с ДП лабиализованности ~ нелабиализованности, способствовал замене фонемы верхне-среднего подъема <ê> фонемой среднего подъема <е> в ростово-суздальском диалекте. Замена <ê> фонемой <е> создавала наиболее сильную для ДП лабиализованности ~ нелабиализованности позицию — перед твердыми согласными: [л'ес] ~ [л'ос], [с'ел] ~ [с'ол]. Эти новые фонологические отношения и могли отразиться в характерной для московских текстов с XIV в. мене букв *ь/е* перед твердыми согласными. Судя по материалам современных говоров, замена <ê> фонемой <е> раньше осуществлялась в безударных слогах.

По данным исследователей, тип предударного вокализма после мягких согласных перед твердыми (*и — о — о — а — у* из *и — ê — е — а — у*) характеризует юго-восточную часть территории распространения окающих говоров (главным образом районы Горьковской области, а также некоторые районы Владимирской, Ивановской, Пензенской, Ульяновской областей, Марийской, Мордовской, Татарской и Чувашской АССР). Населенные пункты с говорами этого типа есть также в восточной части Вологодской области; говоры с этим типом вокализма известны и далее к юго-востоку — на территории Куйбышевской и Ульяновской областей. В районах позднейшей колонизации говоры с данным типом предударного вокализма принадлежат выходцам из Поволжья.

Генетически этот тип вокализма возник довольно рано. В. Н. Сидоров предполагает, что в говорах владими́ро-поволжского типа первоначально, накануне воздействия аканья, преобладающим был именно тип предударного вокализма [и — о — о — а — у] из [и — ê — е — а — у]. А это, в свою очередь, требует предположения, что открытый звук [е] на месте <е> в безударных слогах в говорах ростово-суздальского диалекта появился тогда, когда еще действовал закон лабиализации [е] перед твердыми согласными или когда фонетическая модель,

сложившаяся в результате изменения безударного [e > 'o] перед твердыми согласными, была актуальной.

В настоящее время говоры юго-восточной части территории распространения северновеликорусского наречия обычно сочетают предударный вокализм [и — о — о — а — у] с пятифонемным вокализмом [и — е — о — а — у]. Появление здесь шестой фонемы <ê> — явление спорадическое. Говоры с предударным вокализмом [и — е — о — а — у] также имеют пятифонемный состав гласных.

Таким образом, есть все основания предполагать, что и ударная фонема <ê> в таких говорах стала утрачиваться вскоре после XV в. Динамика процесса зависела от принадлежности слов с этой фонемой к тому или иному пласту лексики, от употребительности этих слов, от принадлежности фонемы <ê> к той или иной аффиксальной морфеме и от положения данного аффикса в словообразовательной и формообразовательной системах языка, а также от других причин, связанных с функционированием языка как средства общения. Важно подчеркнуть, что общее состояние фонологической системы ростово-суздальского диалекта XV в. не поддерживало фонему <ê> с ее прежним ДП как единицу этой системы.

Развитие московского говора как одного из говоров ростово-суздальского диалекта заслуживает отдельного рассмотрения, так как именно он, став говором центра, в дальнейшем послужил основой русского литературного языка, определил многие его нормы, в частности нормы орфоэпические.

Изучение орфографических особенностей московских грамот XIV — XVI вв. позволяет заметить, что в актах XIV в. в написаниях корневых морфем <ê> очень последовательно обозначается буквой ъ, соответствуя морфологическому принципу орфографии. Немногие примеры замены ъ буквой е относятся к обозначению безударного гласного: *по рекѣ, целовали*; под ударением зафиксирован лишь один случай: *тобе*. Чаще такая замена наблюдается в книжной форме Р указательных местоимений и прилагательных женского рода: *тое, новые*.

В текстах XV в. замена ъ буквой е уже имеет место при обозначении безударного гласного в корневых, аффиксальных, флективных морфемах. Встречаются отдельные случаи написания ъ вместо е между мягкими согласными: *вздѣ, тѣбе*. Для московских грамот XVI и конца XVII в. Л. Л. Васильев установил различие ъ и е при обозначении ударного гласного и замену ъ буквой е при обозначении безударных гласных как достаточно последовательную орфографическую норму.

Итак, начиная с середины XV в. употребление букв ъ/е в московских грамотах отличается от написаний в грамотах других центров Ростово-Суздальской земли. Это можно объяснить или особой историей московского говора, отличной от истории других говоров ростово-суздальского типа, или возможностью интерпретировать орфографию московских грамот конца XV — XVII вв. не только в историко-диалектологическом плане.

Данные описательной диалектологии и лингвистической геогра-

фии не позволяют рассматривать историю московского говора XIV — XV вв. как особую, отличающуюся от истории других говоров Ростово-Суздальской земли. Последовательное развитие категории согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости, последовательное изменение [e > o], пятифонемный вокализм характеризуют все говоры центра, как московский, так и владими́ро-поволжские, генетически связанные с ростово-суздальским диалектом¹. Складывание старомосковского просторечия относится к рубежу XVI — XVII вв., т. е. к периоду становления фонологической системы с пятифонемным вокализмом в ростово-суздальском диалекте. Поэтому и в фонологической системе старомосковского просторечия не было условий для функционирования особой фонемы ⟨ê⟩, противопоставленной ⟨e⟩. Можно с достаточной вероятностью сказать, что орфография московских грамот отражает не факт диалектной системы, а особенность произношения, характерного для Москвы как нозого политического и культурного центра, где в определенных условиях различие [ê] и [e], не поддерживаемое местной диалектной системой, могло сохраняться в силу традиции на положении произносительной нормы.

История фонемы ⟨ê⟩ в древненовгородском говоре отличалась от ее истории в ростово-суздальском диалекте. На основании изучения текстов 17 новгородских грамот XIII — XIV вв. и трех грамот XV в. А. А. Шахматов приходит к выводу, что древненовгородский диалект XIII — XIV вв. имел в своем составе особый гласный звук, который он определяет как дифтонг типа [iê], обозначаемый буквой ѣ². Этому выводу не противоречат данные, собранные В. В. Виноградовым: все случаи частой замены ѣ буквой и отмечены в текстах XV — XVI или самого конца XIV в.³

Показания пергаменных грамот уточняются свидетельствами орфографически менее выдержанных новгородских берестяных грамот, преимущественно XIV в., в которых мена букв ѣ/e и ѣ/i представлена достаточно широко (по-разному в грамотах, написанных разными лицами) и в различных фонетических и морфологических позициях. С одной стороны: *векоше* (вм. *вѣкъшь*), *выехати*, *доеди* (ср. *ѣду*), *о цене* (вм. *цѣнь*), *позелело* (вм. *-велѣлъ*), *при ветре* (вм. *вѣтрѣ*), *целои*; реже — написание ѣ на месте ожидаемого e: *ѣще*, *камѣньѣ*, причем, по наблюдениям В. И. Борковского, основная масса случаев с ѣ на месте e относится к рубежу XIV — XV вв.⁴ С другой стороны: *в клить* (вм. *кльть*), *дози* (вм. *дѣзѣ*), *на зими* (вм. *зимѣ*), *тоби* (вм. *тобѣ*); и в этом случае основная масса написаний с ѣ на месте и не во флексиях (типа *4 лососѣ* вм. *лососи*),

¹ См.: *Русская диалектология* / Под. ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. М., 1965, с. 228—233.

² См.: *Шахматов А. А. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв.* — Серил: Исследования по русскому языку. Спб., 1835—1895, т. 1, с. 149—153, 209—226.

³ См.: *Виноградов В. В. Исследования в области фонетики севернорусского наречия.*

⁴ См.: *Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте.* (Из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963, с. 183—190.

где они могут объясняться морфологически, как и в пергаменных грамотах, приходится на XIV — XV вв.: *велльъ есть* (вм. *еси*), *дидьна* (вм. *дъдина*), *рукописьне*.

Важно отметить, что достоверные случаи мены букв *ь/е*, с одной стороны, и *ь/и* — с другой, в морфологически не обусловленных позициях (типа на *жерепц-ь*, как на *стол-ь*, или к *Фом-и*, как к *Добрын-и*) характерны для писцов разных грамот. Это обстоятельство и позволяет интерпретировать совокупность таких написаний как свидетельство сохранения ⟨ê⟩ как особой фонемы верхне-среднего подъема в новгородском говоре вплоть до XV столетия¹.

Интересны свидетельства двинских грамот, отразивших периферийные говоры новгородского типа, которые могли дольше сохранять особенности древненовгородского диалекта, чем собственно новгородские. А. А. Шахматов в зависимости от употребления букв *ь*, *е*, *и* делит двинские грамоты XV в. на три группы. Первая (большая группа) знает правильное написание буквы *ь* во всех положениях, кроме конечного открытого слога, где она в определенных морфемах заменяется буквой *и*. Вторая характеризуется меной букв *ь/е*, причем писцы употребляют *ь* вместо *е* в безударном положении перед мягкими и твердыми согласными. В конечных слогах во флективных морфемах известно написание *и* вместо *ь*. Третья группа объединяет грамоты, в которых встречаются написания *и* вместо *ь* под ударением и без ударения, перед мягкими и твердыми согласными; именно в этих грамотах находим написание *ь* вместо *е* перед твердыми согласными и отсутствие замены *е* буквой *о*. Этим орфографическим данным следует придавать важное значение. Шахматов дает следующую фонетическую характеристику фактам: первая группа отражает говоры с *ь* = [и̇]; вторая — говоры, изменившие [ê > e]; третья группа связана с говорами, в которых наблюдается переход [ê > и]. Во всех говорах конечный [ê] изменился в [и].

Интерпретация орфограмм из новгородских текстов с заменой *ь* буквой *и* часто основывается на данных современных говоров новгородского типа с рефлексом [и] на месте древнерусской ⟨ê⟩, т. е. на сопоставлении конечных результатов изменения. Но были ли возможен фонетический переход ⟨ê > и⟩ в системе древненовгородского диалекта конца XIV в. и на протяжении XV в.?

В распоряжении историков русского языка нет никаких фактов для реконструкции непосредственного изменения ⟨ê > и⟩ в новгородских говорах конца XIV — XV в. Орфографические факты XV в. и данные современных говоров не свидетельствуют о сужении фонемы верхнесреднего подъема под влиянием мягких согласных, так как ⟨и⟩ на месте ⟨ê⟩ находим и перед твердыми согласными, так же как и замену *ь* буквой *и* в текстах XV в. Нет никаких данных для таких изменений и в фонологических отношениях, которые приводили бы к нейтрализации ⟨ê, и⟩. Более вероятно замену *ь* буквой *и* (не во флексиях) интерпретировать как отражение фонетического изменения [ê: > и̇] в говорах древней Новгородской земли. Причем это изменение не имело фонологического содержания: дифтонг [и̇е] имел те же ДП, что и [ê:] и реализовывал ту же фонему ⟨ê⟩. Замены же *ь* на *и* (*е*) в падежных флексиях в этом случае должны объясняться морфологически, т. е. буква *и* в соответствующих орфограммах обозначает фонему ⟨и⟩.

¹ См.: Аванесов Р. И. Фонетика. — В кн.: Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. М., 1955, с. 87—92.

Решение вопроса о том, что в древненовгородских говорах звук [ê] не изменялся фонетически непосредственно в [и], а изменялся в дифтонг типа [иê], находит определенное подтверждение в работах по экспериментально-фонетическому исследованию архаической системы северновеликорусских говоров.

Дело в том, что в говорах с [e] повышенного образования, не переходящим в [o], сохранение оппозиции гласных фонем верхнесреднего и среднего подъема (после падения редуцированных, когда долгота [ê:], поддерживавшая различие по напряженности~ненапряженности, утратилась) могло осуществляться лишь в результате дифтонгизации [ê: > иê]. В этой связи представляют интерес наблюдения фонетистов за различным распределением длительности между начальной и конечной фазами дифтонга типа [иê]: первый компонент этого дифтонга может быть весьма кратким — порядка 25% общей длительности гласного, может составлять 40—50% длительности; по наблюдениям О. Брока, первый компонент может занимать и более половины общей длительности гласного. При таком различном распределении длительности между компонентами дифтонга [иê] акустически может сближаться и с [и], и с [e]. Нельзя ли в этом видеть основу замены ъ буквой и в одних новгородских текстах и буквой e — в других, считая, что во всех говорах новгородского типа произошла дифтонгизация древнего [ê:], но дифтонг [иê] различался по говорам фонетически, и это различие сводилось к распределению длительности между его компонентами?

Среди говоров новгородской группы были, очевидно, и такие, в которых, как и в ростово-суздальских, происходило изменение [e > o], нейтрализация ⟨ê, e⟩ между мягкими согласными, что и послужило фонологической основой замены e буквой o и ъ — буквой e в части двинских грамот и других письменных памятниках новгородского происхождения.

Своеобразны написания с меной букв ъ/e и ъ/и в псковских текстах XIV—XV вв., исследовавшихся А. И. Соболевским, Н. М. Каринским, А. А. Шахматовым. Подводя итоги этим исследованиям в связи с анализом орфограмм псковского «Пролога», Т. Н. Кандаурова различает вслед за В. В. Виноградовым два типа употребления ъ, e, и в рукописях Псковской земли¹. Одни из них характеризуются довольно частой меной ъ/e независимо от ударения, перед твердыми и мягкими согласными; например, первый писец «Пролога» чаще употребляет e вместо ъ под ударением и предпочитает замену e буквой ъ без ударения. Такие написания заставляют предполагать, полное совпадение фонем ⟨ê, e⟩ в группе псковских говоров, отошедших в своем развитии от новгородских.

В других псковских рукописях иной характер употребления букв ъ, e, и: в корневых и формальных морфемах под ударением обычна замена ъ на e; устаревшие формы аориста и местного падежа множественного числа обозначаются орфограммами с заменой e на ъ. Буква и вместо ожидаемой ъ встречается главным образом при обозначении флексий и в некоторых суффиксах, где написание ъ или и может быть объяснено как смешение самих аффиксов. Для этой части псковских говоров предполагается наличие фонемы ⟨ê⟩ и распространение фонемы ⟨и⟩ за счет замены флексии -e в определенных формах флексией -и.

¹ См. Кандаурова Т. Н. К истории древнепсковского диалекта XIV в. (О языке псковского Пролога 1383 г.). — Труды Ин-та языкознания, 1957, т. 8.

Западные говоры южновеликорусского наречия в Древней Руси развивались вместе с будущими белорусскими в составе единой диалектной зоны, охватывавшей обширную Смоленско-Полоцкую область. В старейших текстах Смоленска, Витебска и Полоцка, известных с начала XIII в., обычна позиционно и морфологически не обусловленная мена *e/n/b*, свидетельствующая о том, что все три буквы в сознании писцов ассоциировались с одним и тем же гласным, реализовавшим фонему ⟨e⟩: *держати — държати, оутвърдили — твърдили — оутвърдятъ, първе — първое* и др. в Смол. гр. 1229.

Юго-западные южновеликорусские говоры не представлены текстами ранее конца XVI — начала XVII в. Данные же лингвистической географии указывают на то, что ⟨ê⟩ здесь как особая фонема сохранялась очень долго и могла быть утрачена отдельными местными говорами уже после развития современных типов аканья-яканья, а в отдельных говорах, занимавших до XVI в. окраинное положение, сохраняется и в настоящее время в виде звука [ê]. Тексты начала XVII в. в большинстве случаев отражают наличие одной фонемы ⟨e⟩ в речи их авторов; однако существование в это время говоров, сохранявших противопоставление фонем ⟨ê ~ e⟩ или хотя бы звуков [ê ~ e] (на уровне произносительных норм), несомненно. Может быть, этим (как и в новгородских текстах XIV — XV вв.) объясняется то, что отдельные южновеликорусские грамоты XVII в., знающие мену *n/e*, изредка дают написания со смешением букв *n/u*: *видер — седра* в Вор. гр. 1622; *подмитил* в Ябл. гр. 1642; *диверь* в Елецк. гр. 1659; *двъ клити* в Елецк. гр. 1660 и др.; ср. написания одних и тех же фамилий: *Рябинин — Рябънин* в Курск. сыскн. деле 1631; *Копыкин — Копишкин* в Курск. сыскн. деле 1648.

§ 63. Следы существования в прошлом фонемы ⟨ô⟩, функционировавшей в качестве непереднего (лабиализованного) противопоставления ⟨ê⟩, отмечаются на всей великорусской периферии, кроме западных (исторически — смоленско-полоцких) говоров, уже к XIII в. не сохранявших ⟨ê⟩. Орфограммы, которые могут интерпретироваться как прямое или косвенное отражение ⟨ô⟩, известны и по старым письменным памятникам соответствующих областей. Необходимо при этом учитывать, что фонема ⟨ô⟩, развившаяся из старого [o] (не из [ы]) под новой акутовой интонацией, могла функционировать только под ударением и первоначально реализовалась в долгом гласном верхнесреднего подъема [ô:].

Можно предположить, что параллельно с изменением [ê: > ñê:] происходило и изменение [ô: > уô:]. Параллельное произношение фонем верхнесреднего подъема известно современным говорам, как северным, например вологодско-вятским с семифонемным вокализмом¹, так и южным, например задонским.

¹ См. Брок О. Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда. — Сб. ОРЯС, 1907, г. 83.

Во многих говорах [ô:] или [yô] в настоящее время уже не может интерпретироваться как особая фонема, функционально противопоставленная ⟨о⟩, а может восприниматься лишь как норма произношения соответствующих словоформ. Таково, например, положение [yô] в современных говорах вокруг Курска, где этот гласный реализуется «этимологически правильно» (*балюотъ, нѣ-карюошѣх, с'с'аструой*), но непоследовательно (чаще в речи тех же носителей говора звучит [o]), хотя и не отмечен в тех словоформах, где исторически его не должно быть.

Утрата ⟨ô⟩ происходила в разных говорах не одновременно. Так, исследования В. В. Колесова приводят к выводу, что в древненовгородском диалекте процесс утраты ⟨ô⟩ как особой фонемы происходит на рубеже XV — XVI вв.; при этом устанавливается позиционная зависимость функционирования [ô, o]: [ô] закрепляется в закрытых слогах, а [o] — в открытых¹. Южновеликорусские тексты конца XVI — начала XVII в. отражают ⟨ô⟩ в написании *y* при обозначении ударного гласного²: *два колудезя* в Курск. гр. 1629; *за рабуту* в Бел. гр. 1651; *дву годов* в Елецк. гр. 1660; ср. обратное явление — обозначение [y] буквой *o*: *корскои стрелец* (= *курский*) в Курск. гр. 1623; *Белокоров* в Елецк. гр. 1659 (см. здесь же *Белакуров*). Впрочем, южновеликорусские примеры эпизодичны и не позволяют судить о том, отражена ли здесь фонема ⟨ô⟩ или поддерживаемая речевой традицией норма произношения словоформ, передаче которой на письме способствовали позиционные условия (соседство губных и заднеязычных согласных).

Для объяснения причин утраты фонемы ⟨ô⟩ (при сохранении в ряде говоров произношения [ô] или [yô]) в подавляющем большинстве великорусских диалектов в период после XV в., т. е. как раз в то время, когда завершается консолидация великорусской народности и начинается процесс унификации диалектов, вошедших в великорусское объединение, важно выявить состояние системы ударных гласных в говорах великорусского центра.

Письменные памятники ростово-суздальского происхождения не отражают фонемы ⟨ô⟩, противопоставленной ⟨о⟩. По данным диалектологов, ⟨ê, ô⟩ сохраняются к востоку от Москвы в вокалической системе говоров главным образом Курловского района Владимирской области, на который приходится 7 из 11 населенных пунктов с противопоставлением ⟨ê ~ е⟩, ⟨ô ~ о⟩. Но эти говоры, расположенные в междуречье Оки и Клязьмы, отличаются от диалектов бывшего ростово-суздальского ареала и другими чертами, например цоканьем. Таким образом, и письменные тексты, и современные говоры не предоставляют фактов для реконструкции фонемы ⟨ô⟩ в ростово-суздальском диалекте XIV — XV вв. И тем не менее на основании представления о типах фонологических систем

¹ См.: Колесов В. В. [ô] (о закрытое) в древненовгородском говоре. — Уч. зап. ЛГУ, 1962, № 302, вып. 3, *его же*. Эволюция фонемы [ô] в русских северо-западных говорах. — Филол. науки, 1962, № 3.

² См.: Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии, с. 23—31.

для говоров Ростово-Суздальской земли необходимо предположить оппозицию $\langle \hat{o} \sim o \rangle$, может быть, для времени не позднее XV столетия.

Фонемы $\langle \hat{e}, \hat{o} \rangle$ в русских говорах функционально, структурно и генетически связаны. Когда после падения редуцированных окончательно утратились интонационные различия, звук $[\hat{o}:]$, связанный с интонацией нового акута, в одних говорах преобразовался в самостоятельную фонему $\langle \hat{o} \rangle$, противопоставленную $\langle o \rangle$, в других исчез вместе с утратой древних интонационных различий.

Утверждение в системе говора нового противопоставления $\langle \hat{o} \sim o \rangle$ способствовало сохранению более старого противопоставления $\langle \hat{e} \sim e \rangle$ с тем же ДП (верхнесредний \sim средний подъем). В тех же говорах, где фонологического противопоставления $\langle \hat{o} \sim o \rangle$ не возникло, очень рано утрачивается и фонема $\langle \hat{e} \rangle$. К последней группе говоров относились смоленско-полоцкие и территориально прилегавшие к ним псковские, в которых ранняя утрата $\langle \hat{e} \rangle$ сказалась на судьбе $[\hat{o}:]$: он не развился здесь в самостоятельную фонему $\langle \hat{o} \rangle$, а совпал с фонемой $\langle o \rangle$. Итак, ранняя утрата противопоставления $\langle \hat{e} \sim e \rangle$, получающая отражение в орфографии текстов соответствующих районов, одновременно указывает и на отсутствие в говоре противопоставления $\langle \hat{o} \sim o \rangle$. Ростово-суздальский диалект в XIV — XV вв. еще сохранял противопоставление $\langle \hat{e} \sim e \rangle$; поэтому для него можно восстанавливать и противопоставление $\langle \hat{o} \sim o \rangle$, по крайней мере для рубежа XIV — XV вв.

В связи с развитием системы согласных фонем, парных по твердости \sim мягкости, фонемы верхнесреднего подъема $\langle \hat{o}, \hat{e} \rangle$ оказывались не противопоставленными друг другу по признаку лабиализованности \sim нелабиализованности: фонема $\langle \hat{o} \rangle$ функционировала лишь после твердых согласных, $\langle \hat{e} \rangle$ после мягких. По сути дела, противопоставлялись ударные слоги $\langle c\hat{o} — c'\hat{e} \rangle$. Поэтому, когда в большинстве говоров ростово-суздальского диалекта утрачивается $\langle \hat{e} \rangle$, заменяясь фонемой $\langle e \rangle$, параллельно утрачивается $\langle \hat{o} \rangle$, заменяясь фонемой $\langle o \rangle$. Лишь в тех говорах, где в результате морфологических процессов возникает сочетание «мягкий согласный + $\langle \hat{o} \rangle$ » = $\langle c'\hat{o} \rangle$, устанавливается фонологическое противопоставление $\langle \hat{o} \sim \hat{e} \rangle$ с ДП лабиализованности \sim нелабиализованности. В таких говорах дольше сохраняются фонемы верхнесреднего подъема.

§ 64. Позиционное изменение ряда и степени подъема фонемы $\langle a \rangle$ после мягких согласных было известно уже древнерусскому языку, где в этих условиях она реализовалась в звуке типа $[a]$. Вследствие перестройки слоговой структуры слова, произошедшей после падения редуцированных, когда автономность слога, оканчивавшегося гласным, была утрачена даже если он остался открытым, артикуляционное воздействие на гласный стал оказывать не только предшествующий, но и последующий согласный. В отношении $[a]$ это означало, что перед мягкими согласными (т. е. между мягкими) его передвижение в переднюю и верхнюю зону образования усиливалось, т. е. фонетически он приобретал качества

гласного переднего ряда средненижнего подъема: *кри[ч'ят']и*, [п'ят'] (до падения редуцированных [п'а-т'ь]). В большинстве говоров, однако, это физиолого-акустическое изменение не вывело [ä] из ряда реализаций фонемы <а> нижнего подъема, противопоставленной фонеме <е> среднего подъема.

За пределами территории, непосредственно прилегающей к Москве и географически совпадающей с границами княжества Московского XIV в., известны говоры, в которых позиционное изменение [ä] перед мягкими согласными имело следствием его полное совпадение с [e]: *з[р'ес']* ('грязь'), *кри[ч'ет']* ('кричать'), [п'ет'] ('пять'). Позиционная обусловленность этого явления подчеркивается обычным для таких говоров чередованием типа *t'et' — t'at*: *з[р'ес']*, но *з[р'аз]ный*; *кри[ч'ет']*, но *кри[ч'ал]*.

Говоры с чередованием *t'et' / t'at* известны по всей великорусской периферии — на северо-западе (в частности, вокруг Новгорода), на западе (в том числе в районе Смоленска) и юго-западе (в частности, между верховьями Оки и Дона); но сплошной диалектный массив они образуют лишь к северу и востоку от оз. Белого и г. Вологды, т. е. на территории древней новгородской колонизации¹. Последнее обстоятельство позволяет интерпретировать редкие орфограммы новгородских и псковских текстов конца XIII — XIV вв. как отражение рассматриваемого явления: *освящаеть* ('освящает') в Новг. кормч. 1282; *въпиеша* (= *въпиаши*) в Пск. Паракл. 1386; *обнищаца* (= *обнищаца*) в Псалт. XIV.

Различные фонологические последствия позиционного изменения [ä] в разных говорах могут быть связаны с артикуляционно-акустической природой этого гласного, который уже в древнерусский период характеризовался более высокой степенью подъема по сравнению с [a] после твердых согласных. Гласный [ä] более высокого образования отмечается диалектологами в современных арханческих севернорусских говорах. Интересно, что в таких говорах в результате фонетико-экспериментального изучения вокализма и [e] определяется как звук более высокого образования в сравнении с [e] литературного языка.

ИСТОРИЯ АКАНЬЯ

§ 65. Аканье, будучи в историко-диалектологическом плане явлением собственно диалектным, вместе с тем занимает особое место в фонетико-фонологической истории русского языка. Именно аканье наиболее последовательно реализует общую для всех русских говоров тенденцию к «консонантизации» звукового строя — к расширению функций согласных фонем за счет сокращения различительной нагрузки гласных фонем. Именно аканье на просо-

¹ См. карту 1 в кн.: *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров*, с. 18.

дическом уровне наиболее последовательно реализует общую для всех русских говоров тенденцию к противопоставлению ударных слогов безударным, наметившуюся после утраты интонационных различий и перехода к монотоническому динамическому ударению. Наконец, будучи по происхождению и территориальному распространению диалектной чертой, аканье, охватив в определенный период истории говор Москвы, стало со временем (в одной из своих разновидностей) орфоэпической нормой литературного русского языка, обусловив все принципиальные особенности его фонологической системы.

История аканья — сложная и в известном смысле «загадочная» проблема восточнославянской исторической фонетики. Памятники письменности, в значительной степени традиционные по своей орфографии, отражают это явление очень непоследовательно. Так, крупнейший исследователь истории белорусского языка, говоры которого вместе с южновеликорусскими относятся к числу «первично» акающих, Е. Ф. Карский отмечал, что огромное количество памятников XV — XVII вв., созданных на территории Белоруссии, совсем не отражает аканья¹; а во многих текстах оно представлено единичными написаниями, хотя нет никакого сомнения в том, что аканье в это время в белорусском языке уже мало чем отличалось от современного. Вообще же распространение аканья памятниками старше XIII — XIV вв. не подтверждается, а самые ранние случаи бесспорного отражения аканья в письменности относятся к XIV в. и связаны с областями, куда это явление проникло из соседних говоров. Например: *апустъвиши* в Моск. ев. (запись переписчика); *Брошевую* и *Брашевую* в Дух. гр. Дм. Донского 1389; *гадина*, *Масква* в Пск. Прологе. К XV в. относятся первые достоверные примеры отражения аканья в полоцких текстах (*абою*, *съ братамъ*), которые связаны с территорией его раннего распространения. В том, что аканье задолго до этого характеризовало систему безударного вокализма местных говоров, сомневаться не приходится. По этой причине лишь «документальный» интерес представляют орфограммы обнаруженных недавно в Трубчевске надгробных надписей первой половины XVI в., которые являются самыми древними датированными памятниками Деснинско-Сейменского междуречья — предполагаемого района возникновения аканья²: *Иванавич*, *Федар Иванавич*. Большинство письменного материала из этого региона относится лишь к концу XVI — XVII вв. Все это означает, что при решении проблемы происхождения и распространения аканья приходится опираться почти исключительно на данные описательной диалектологии и лингвистической географии, требующие специальной методики анализа.

¹ См.: Карский Е. Ф. Белорусы. Язык белорусского народа. М., 1955, вып. I, с. 134—135.

² См.: Левенок В. П. Надгробия князей Трубечких, — Сов. археология, 1960, № 1,

Проблема возникновения и распространения аканья включает ряд взаимосвязанных вопросов, без выяснения которых она не может быть решена. Важнейшими из них являются: 1) фонологическая сущность аканья; 2) зона (территория) первоначального развития этого явления; 3) хронология развития аканья как определенной фонологической системы; 4) время и условия формирования известных современной диалектологии фонетических реализаций гласного первого предударного слога в акающих говорах и историческое взаимоотношение различных типов и разновидностей аканья. Так, выяснение фонологической сущности аканья невозможно без учета его современных разновидностей, а установление хронологии развития этого явления немыслимо без реконструкции территории его первоначального возникновения и условий последующего распространения. И хотя каждый из этих вопросов должен рассматриваться на разном материале и разными методами, тем не менее решаться они должны таким образом, чтобы частные решения не противоречили друг другу при исторической интерпретации всей проблемы в целом.

§ 66. Под аканьем понимается неразличение гласных неверхнего подъема в безударных слогах, где они могут реализоваться в различных гласных звуках, качество которых зависит от позиционных условий. В этом значении аканье противопоставлено оканью — различению безударных гласных неверхнего подъема, т. е. реализации их в том же звукотипе, что и под ударением. Иными словами,

при оканье: *v[ɔ]dá* (как *v[ó]ды*); *l[e]sá* (как *l[é]с*); *st[a]nók* (как *st[á]н*);

при аканье: *v[a]dá*, *v[ʌ]dá*, *v[ʔ]dá* или *v[ɨ]dá* (при *v[ó]ды*); *l[ʲ]i'sá*, *l[ʲ]i'e'sá*, *l[ʲ]e'sá* или *l[ʲ]a'sá* и даже *l[ʲ]y'sá* (при *l[ʲ]é'с*); *st[a]nók* или *st[ʔ]nók*.

При этом во всех акающих говорах во всех безударных слогах, кроме первого предударного, гласные неверхнего подъема реализуются в сильно редуцированном звуке типа [ʔ] (или [ʲ]). Исключение представляют начальный и конечный гласные словоформы, реализация которых может определяться морфологическими причинами. Такая же реализация гласных неверхнего подъема не в первом предударном слоге встречается и в отдельных окающих говорах; в этих случаях говорят об окающих говорах с частичным неразличением безударных гласных.

С точки зрения фонологической аканье противопоставляется оканью как вокалическая система, развившая слабую гласную фонему ⟨α⟩, конкретные фонетические реализации которой после твердых и мягких согласных отражают произносительные нормы того или иного диалекта. Словоформы ⟨в'ад'й⟩ — ⟨вад'й⟩ — ⟨вад'й⟩ в акающих говорах различаются только согласными фонемами, а потому функционально воспринимаются одинаково при различных нормах реализации ⟨α⟩: [в'а]д'й — [в'и]д'й — [в'е]д'й — [в'и^е]д'й,

[ва]ды́ — [в_л]ды́. Фонологическая сущность аканья состоит, таким образом, в уменьшении различительной способности гласных фонем в безударном положении, в сокращении числа их ДП.

Термин «аканье», наряду с тем общим значением, которое противопоставляет его «оканью», постоянно употребляется еще и в более узком значении — различение гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге после парных твердых согласных. В этом значении аканье противопоставляется яканью — неразличению гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге после парных мягких согласных; отдельные разновидности яканья (в этом значении) обозначаются еще более частыми терминами — и канье, е канье и т. п., указывающими на конкретную фонетическую реализацию слабой гласной фонемы первого предударного слога после парных мягких согласных.

Чтобы избежать недоразумений, связанных с терминологической омонимией (что ведет к ошибочной интерпретации явления даже в работах известных лингвистов), в дальнейшем будем пользоваться термином «аканье» только в узком смысле (как противопоставление яканью); в широком смысле будем употреблять сложный термин «аканье-яканье», подчеркивающий, что речь идет о различении гласных неверхнего подъема в безударных слогах независимо от частных фонетических реализаций этих гласных в конкретных позиционных условиях.

Поскольку система реализаций <α> может быть различной в разных акающих говорах лишь в первом предударном слоге, постольку именно этот признак положен в основу определения различных типов и разновидностей аканья-яканья; в частности, именно особенности реализации <α> (после мягких согласных) в первом предударном слоге имеются в виду, когда говорят об иканье, еканье и т. п.

Наиболее общими типами реализации <α> в первом предударном слоге являются диссимилятивный и умеренный, представленные многообразными разновидностями собственно аканья (в узком смысле) и яканья, одни из которых встречаются на огромных территориях, занятых акающими говорами, другие имеют очень узкие ареалы¹. Диссимилятивное аканье-яканье как общий тип характеризуется зависимостью фонетической реализации <α> (в первом предударном слоге) от степени подъема ударного гласного; сам термин при этом подчеркивает, что степень подъема гласного, в котором реализуется <α>, находится в отношении «расподобления» со степенью подъема ударного гласного. При этом во всех без исключения разновидностях диссимилятивного аканья-яканья перед ударными [а] произносится «не-а», а перед ударными гласными верхнего подъема [и/ы], [у] произносится гласный типа [а]. Разновидности диссимилятивного аканья и яканья различаются по качеству гласного, реализующего <α> перед ударными [е, о]; при этом в некоторых разновидностях реализация <α> неодинакова перед гласными, восходящими к древним <ê, ô>, с одной стороны, и <е, о> — с другой. Например, в говорах Курской, Белгородской и Воронежской областей, представляющих

¹ См.: Аванесов Р. И. Очерки русской диалектологии. М., 1949, ч. 1, с. 65—102; Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой, с. 36—65.

архаическую разновидность диссимилятивного аканья-яканья, фиксируются исходные различия в реализации ⟨α⟩:

Звуки под ударением	Фонетические реализации ⟨α⟩
[н/ы], [у] [e, o] < ⟨è, ò⟩	<i>ст [а] лы́, кр [а] сізый, [н'а] сў́, [в'а] дў́, бу [р'а] кі́ на ст [а] лé, з [а] сéяли, [л'а] тéл, [л'а] сóз, на [р'а] кé</i>
[e, o] < ⟨e, o⟩ [а]	<i>ст [ъ] лóм, л [ъ] птў́й, [н'п] сéм, [в'и] дéте, [л'и] снóй ст [ъ] лá, м [ъ] я́, [н'и] слá, [в'и] лá, [р'и] кá</i>

В качестве подтипа диссимилятивного аканья-яканья можно рассматривать его ассимилятивно-диссимилятивные разновидности, совпадающие с диссимилятивными, но всегда отличающиеся тем, что перед ударным [а] слабая фонема ⟨α⟩ реализуется так же, как и перед гласными верхнего подъема: [л'а]сá (как в [л'а]сў́), но [л'и]снóй; [н'а]слá (как [н'акў́, [н'а]сў́), но [н'и]сéм; ст[а]лá (как ст[а]лы́), но ст[ъ]лóм.

Следует отметить, что [и] — это наиболее распространенный в настоящее время, но не единственный гласный, реализующий ⟨α⟩ в соответствующих позиционных условиях: в говорах с диссимилятивными или ассимилятивно-диссимилятивными разновидностями яканья в первом предударном слого в качестве противопоставления [а] могут выступать также [e, и^e] и даже гласный типа [ъ]: [н'е] сéм — [н'и^e]сéм — [н'ъ]сéм.

Как фонетическая реализация унифицированного гласного неверхнего подъема звук [и] скорее всего распространяется из «вторично» акающих средне-великорусских говоров в недавнее время. В текстах, созданных на территории распространения говоров с диссимилятивным яканьем, безударные гласные после мягких согласных, кроме написаний с я (*волявода, всяму* и *Авдеяв, з-зельям*), до конца XVII в. передаются только буквой е: *выслушев, дéсеть, дьечкá, петнáцеть*. Такие написания указывают на то, что е может передавать и [e], и [ъ].

Принципиальное отличие разновидностей недиссимилятивного аканья-яканья от диссимилятивных (и ассимилятивно-диссимилятивных) разновидностей заключается в отсутствии зависимости реализации ⟨α⟩ от ударного гласного. После парных твердых согласных здесь, как правило, не наблюдается различий по говорам, поэтому при определении аканья в узком смысле вполне достаточна его характеристика как недиссимилятивного. После парных мягких согласных позиционное варьирование реализаций ⟨α⟩ в силу причин артикуляционного характера оказывается более значительным, что и характеризуется термином умеренное яканье, который указывает на зависимость реализации ⟨α⟩ от качества последующего согласного — его твердости ~ мягкости. «Умеренность» заключается в том, что гласные неверхнего подъема в первом предударном слого после парных мягких согласных реализуются в звуке [а] только перед

твердыми согласными, в то время как перед мягкими звучит более передний гласный более высокого подъема — типа [e, и^е] или даже [и]: [и'а]сý, [л'а]снóй, [р'а]кá, но [и'иc']ú, [р'ик']ú. Принцип «умеренности» может накладываться на диссимилятивный или ассимилятивно-диссимилятивный тип, создавая очень сложную систему реализации ⟨α⟩ после парных мягких согласных.

Наконец, в говорах, занимающих центральную часть старейшей великорусской территории, [a] как позиционная реализация ⟨α⟩ вообще может отсутствовать: независимо от позиционных условий гласные неверхнего подъема в первом предударном слоге после парных мягких согласных совпадают в одном звуке типа [и] или [и^е, е, 'о]. В этом случае тип предударного вокализма определяется как иканье, еканье или ёканье; причем последние два варианта известны также и говорам к северу от Москвы, характеризующимся оканьем после парных твердых согласных, т. е. различием гласных неверхнего подъема. По свидетельству диалектологов, изучающих говоры районов относительно позднего заселения (за Уралом), при длительном взаимодействии носителей окающих и акающих говоров вырабатывается «смешанный» акающий диалект с реализацией ⟨α⟩ (после парных мягких согласных), как правило, в звуке [e].

§ 67. В ареале восточнославянских языков аканье-яканье занимает компактную территорию. На юге изоглосса проходит с запада на восток через Полесье, охватывая переходные белорусско-украинские говоры, а затем совпадает с границей между русским и украинским языками. На севере изоглосса аканья-яканья от Псковского озера идет на юго-восток, пересекая северное Подмосковье и затем течение Оки между Муромом и Рязанью¹. Далее на восток акающие говоры занимают территорию относительно поздней восточнославянской колонизации, а потому представляют интерес в типологическом, но не в историко-генетическом плане.

Поскольку, как это обнаруживается из исследований последних десятилетий, при столкновении аканья-яканья с оканьем «побеждает» акающая система как более последовательно реализующая общую для всех восточнославянских языков тенденцию к обобщению ДП безударных гласных, то можно утверждать, что в целом ареал аканья-яканья в историческое время неуклонно расширялся. А это означает, что зона старейших акающих говоров должна находиться в центре общего ареала аканья-яканья, а не на его окраинах. Материал лингвистической географии указывает на то, что в центре современного восточнославянского ареала аканья-яканья на территории старейших славянских поселений располагаются его диссимилятивные (или ассимилятивно-диссимилятивные) разновидности. Это лингвогеографическое свидетельство соответствует выводам о первичности именно диссимилятивного аканья-

¹ См.: *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров*, с. 133, 136.

яканья, сделанным на основании анализа отношений между его структурными типами ¹.

Предположение о первичности диссимилятивного аканья-яканья было высказано еще А. А. Шахматовым, который исходил именно из этого типа при разработке гипотезы происхождения аканья-яканья в восточнославянских языках ². Убежденность в наибольшей древности диссимилятивного аканья-яканья по сравнению с другими его разновидностями окрепла после открытия Л. Л. Васильевым (по записям А. С. Машкина, осуществленным в Курской губернии в середине XIX в.) так называемой архаической разновидности диссимилятивного аканья, при которой реализация ⟨α⟩ оказывается различной перед ударными гласными среднего подъема, исторически связанными с фонемами ⟨ê — ô⟩ или ⟨е — о⟩, хотя указаний на различия в современном произношении самих ударных гласных записи Машкина и не содержали ³. Те же различия в реализации ⟨α⟩ перед ударными [е, о] различного происхождения возможны и в отдельных ассимилятивно-диссимилятивных разновидностях ⁴. Однако во времена Шахматова и Васильева эти разновидности еще не были замечены: они принимались за так называемое сильное яканье (за реализацию ⟨'α⟩ только в звуке [a], независимо от позиционных условий), поскольку в неодносложных словоформах [е] (не из ⟨ê⟩) и [о] (не из ⟨ô⟩) оказываются под ударением относительно редко, а потому произносимый только перед ними «не-а» при нецеленаправленном наблюдении воспринимается как естественное в период интенсивного междиалектного взаимодействия «нарушение» традиционной для говора нормы реализации ⟨'α⟩. В силу этого не мог быть замечен и параллелизм собственно диссимилятивных и ассимилятивно-диссимилятивных разновидностей аканья-яканья ⁵, а потому последние не учитывались в прежних опытах реконструкции истории аканья-яканья.

Предположение о первичности диссимилятивного (и ассимилятивно-диссимилятивного) аканья-яканья заставляет обратить внимание на ряд особенностей, наблюдающихся в ареале именно этих разновидностей неразличения гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге:

1) диссимилятивное аканье в узком смысле (после твердых согласных) обязательно сопровождается диссимилятивным яканьем ⁶, в то время как недиссимилятивное аканье сопровождается самыми разнообразными разновидностями реализации ⟨'α⟩ (после парных мягких согласных) — от диссимилятивного или ассимилятивно-диссимилятивного яканья до московского иканья, при котором собственно фонетическая реализация ⟨'α⟩ (после мягких согласных) не имеет ничего общего с фонетической реализацией ⟨α⟩ (после парных твердых согласных) ⁷;

¹ См.: Аванесов Р. И. Лингвистическая география и история русского языка, с. 37—38.

² См.: Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка, с. 330—340.

³ См.: Васильев Л. Л. Гласные в слоге под ударением в момент возникновения аканья в обоянском говоре. ИОРЯС АН, 1904, т. 9, кн. 1, с. 351.

⁴ См.: Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой, с. 59—60.

⁵ См.: Аванесов Р. И. Очерки русской диалектологии, с. 90—92.

⁶ Ср.: Аванесов Р. И. Лингвистическая география и история русского языка, с. 37.

⁷ Ср.: Аванесов Р. И. О соотношениях предударного вокализма после твердых и после мягких согласных в русском языке. — Изв. АН СССР, СЛЯ, 1970, т. 29, вып. 6.

2) в связи с этим нельзя не заметить, что только в ареале диссимилятивного аканья-яканья встречаются говоры, в которых типы реализации ⟨α⟩ после парных твердых и мягких согласных (разновидности собственно аканья-яканья) полностью совпадают¹;

3) только в границах рассматриваемого ареала отмечены говоры, в которых как после твердых, так и после мягких согласных ⟨α⟩ перед ударяемыми гласными неверхнего подъема реализуется в сильно редуцированном гласном типа [ъ] или [’ъ], подчеркивающим исходный параллелизм системы фонетических реализаций этой слабой фонемы после твердых и мягких согласных в тождественных условиях по отношению к ударным гласным.

В плане реконструкции истории аканья-яканья перечисленные факты, ставшие достоянием восточнославянской диалектологии в последние десятилетия, важны в связи с оценкой наиболее разработанной в русском языкознании концепции происхождения аканья-яканья, созданной А. А. Шахматовым и исходящей из представления о единстве изменения предударных гласных после парных твердых и мягких согласных.

Следует отметить, что интерес Шахматова к архаической разновидности диссимилятивного аканья-яканья, связанный с отражением ею семифонемного подударного вокализма (т. е. с отражением противопоставления ⟨ê ~ е⟩ и ⟨ô ~ о⟩) в свете современных диалектологических и лингвогеографических данных приобретает особую перспективность. Говоры, характеризующиеся этой разновидностью, занимают территорию, которая на протяжении столетий — вплоть до ликвидации монголо-татарского ига (т. е. до конца XV в.) — являлась глухой восточнославянской периферией, удаленной от важнейших древнерусских (позднее великорусских) культурных центров, что, с точки зрения типологии диалектного развития, как правило, способствует консервации архаических языковых особенностей. Именно в говорах с этой разновидностью диссимилятивного аканья зафиксирована фонетическая реакция ⟨α⟩ на семифонемный состав ударных гласных как после мягких, так и после твердых согласных. А тщательный критический анализ старейших местных текстов, созданных малограмотными носителями говоров Посемья, убеждает не только в распространении здесь к началу XVII в. диссимилятивного яканья архаического типа (коль скоро предударный гласный неверхнего подъема передается через я только перед ударными и/ы, у, о < ⟨ô⟩, е < ⟨ê⟩: *всямю́, твоямю́, воявóду, Пятрóв*, в том числе и *жань, пацань, чарни́говец* и др.), но и в функционировании параллельной разновидности аканья (в узком смысле). Ибо, несмотря на орфографические препятствия в передаче на письме особенностей фонетической реализации ⟨α⟩ после твердых согласных (ориентация на традиционную орфографию, поддерживаемую чередованием безударных и ударных гласных в одной и той же морфеме, отсутствие графического знака

¹ См.: Аванесов Р. И. О соотношениях предударного вокализма после твердых и после мягких согласных в русском языке, с. 475—477.

для [ъ], который должен был произноситься перед ударными гласными нижнего и среднего подъема), местные писцы обнаруживают определенные орфографические тенденции в передаче словоформ с различными реализациями ⟨α⟩ перед разными ударными гласными. Наблюдения показали, что предударный гласный неверхнего подъема после твердых согласных перед ударными *и/ы, у, о* < ⟨ô⟩, *е* < ⟨ê⟩ местные писцы в 80% случаев передают буквой *а* независимо от «этимологии»: пишут не только *пушкари́, на губново*, но и *каси́ли, ласи́ных, бабро́в, пазо́рными, сабо́ю, да́жною (память), памѣ́стья, са всѣх (старонѣ)*. Напротив, перед ударным *а* (очень редки случаи с ударным *е* < *е, ь*) более чем в 80% случаев пишется буква *о* — не только в словоформах типа *допроши́въ, полян (в Халопковой поляне в Курск. гр. 1637)*, но и *но нас* ('на нас', т. е. явно [нъ-на́с]), *но Фѣдку* ('на Федьку'), *тотари́н*.

В ареале собственно диссимилятивных разновидностей аканья-яканья говоры с архаической разновидностью занимают юго-восточную окраину обширной диалектной зоны, в пределах которой в период феодальной раздробленности осуществлялись общие языковые переживания, продолжавшиеся еще и в XIV в.; причем говоры этой зоны обнаруживают разновидности, отражающие постспенный переход (с Востока на Запад) от семифонемного к пятифонемному ударному вокализму смоленско-полоцкого типа, а в северо-восточном направлении (также вдоль границ старейших восточнославянских поселений) сохраняется реакция ⟨α⟩ на семилли, по крайней мере, шестифонемный ударный вокализм при преобладании ассимилятивно-диссимилятивных разновидностей. Причем отражение характерного для этих разновидностей [a] перед ударным [a] также находит отражение в местных памятниках XVII в.¹

К югу и к северу от ареала диссимилятивных разновидностей аканья-яканья в границах старейших восточнославянских поселений исследователи определенно обнаруживают первоначально «неакающую» основу местного безударного вокализма — как на территории южной Белоруссии², так и на территории центральной России — к северу от Оки, где, как убедительно показал В. Н. Сидоров, сопоставивший принцип «умеренности» при реализации ⟨α⟩ с результатами изменения предударного [e > 'o] именно перед твердыми согласными в говорах великорусского центра³, нейтрализация ДП безударных гласных наметилась еще до усвоения аканья. Данные лингвистической географии и внутрисистемные отношения говоров с различными типами аканья-яканья свидетельствуют, таким образом, с одной стороны, о единстве происхождения собственно диссимилятивных и ассимилятивно-диссимилятивных

¹ См.: Котков С. И. Южновеликорусское наречье в XVII столетии, с. 66—70.

² См.: Войтович Н. Т. Окающе-акающий вокализм в белорусских говорах. — В кн.: Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М., 1964.

³ См. Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка, с. 98—158.

разновидностей аканья-яканья¹, с другой — о «вторичности» иных разновидностей, формировавшихся в результате столкновения акающих говоров с «неакающими» (окающими).

§ 68. Существенно колеблются мнения исследователей о времени происхождения аканья-яканья. Если отвлечься от идеи некоторых зарубежных славистов, недостаточно знакомых с разнообразным материалом восточнославянской диалектологии и не учитывающих сущности явления, о связи аканья (но не яканья!) с праславянским совпадением кратких индоевропейских **ǵ*, **ǵ̌* > <а> (а не <о>), как обычно во всех славянских языках и диалектах)², то можно констатировать, что историки русского языка датируют возникновение аканья-яканья в довольно широких пределах между IX и XIV столетиями. Впрочем, после исследований Л. Л. Васильева подавляющее большинство ученых признают возможность развития аканья-яканья только после падения редуцированных, т. е. тогда, когда в словоформах типа *лесно́ю*, *реко́ю* неударный гласный в равной степени занимал первый предупредительный слог, а потому в говорах с архаической разновидностью диссимилятивного яканья, в настоящее время не различающих под ударением <ѓ> и <о>, позиционная мена реализаций <α> в обоих случаях тождественна: [л'и]сна́я, [р'и]ка́ (до падения редуцированных: *ль-сь-на-я*, *ръ-ка*), но [л'а]сно́ю, [р'а]ко́ю. Таким образом, относительная хронология начального периода развития аканья-яканья оказывается общепринятой. К этому можно добавить, что ко времени формирования архаической системы реализаций <α> уже существовала фонема <ѓ>, противопоставленная <о>.

Что касается абсолютной хронологии аканья, то она в этом случае тесно связана с хронологией падения редуцированных, следовательно, не может быть начата ранее XI в., если, разумеется, в окраинных древнерусских диалектах, первоначально развивших аканье-яканье, процесс падения редуцированных не завершился ранее, чем в диалектах Новгорода и Киева, представленных памятниками письменности, что теоретически не должно исключаться. Устанавливаемое в этом случае абсолютное время начала фонетических изменений, приведших в конечном счете к оформлению той системы безударного вокализма, которую принято называть аканьем-яканьем, не противоречит указаниям на то, что начало этих изменений предшествовало разобщению древнерусских говоров Посемья с говорами средней Оки (будущими рязанскими), с одной стороны, и с говорами будущей Белоруссии — с другой. Общедревнерусские новообразования на говоры среднего течения Оки, по данным лингвистической географии, перестали

¹ См.: *Аванесов Р. И.* Лингвистическая география и история русского языка, с. 40.

² См. критические замечания *П. С. Кузнецова* в его рецензии на I том сравнительной грамматики славянских языков *А. Вайана* (Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1951, т. 10, вып. 4); *его же*. К вопросу о происхождении аканья. — *Вопр. языковед.*, 1964, № 1. Гипотеза об аканье как отношении *о/а* разделяется также *Ф. П. Филиным* (Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, с. 97—149).

распространяться примерно в XII в., а с говорами будущей Белоруссии диалекты Посемья и верхней Оки оставались связанными и после XIII в. — в составе Великого княжества Литовского. Вместе с тем ко времени присоединения Коломенской волости к Москве в 1301 г. аканье-яканье в речи ее населения было вполне сформировавшимся: здесь оно, в отличие от московского аканья-иканья, обнаруживает свой первичный характер¹.

Если с точки зрения фонологической аканье реализует тенденцию к унификации ДП безударных гласных и противопоставлению безударного вокализма ударному, то фонологическими условиями его формирования следует считать, во-первых, развитую систему консонантизма, в значительной степени принимающего на себя различительные функции (что, как указывалось, характерно для говоров с развитой корреляцией согласных по твердости ~ мягкости); во-вторых, перестройку отношений между слогами внутри фонетического слова, в результате чего его центром становится ударный слог, противопоставленный остальным (безударным) по силе и интенсивности. Такая перестройка могла произойти в процессе смены древней политонической (интонационной) системы ударения монотонической динамической, выделившей в фонетическом слове ударный слог и ослабившей безударные слоги вплоть до их редукции, что затрагивало слогаобразующие элементы этих слогов, т. е. гласные. Абсолютная хронология этого процесса в науке не разработана, но замечено, что он получил отражение во всех русских говорах, в том числе и «неакающих», где ударный слог также заметно противопоставлен неударным, в которых различительная способность гласных (прежде всего неверхнего подъема) в той или иной степени ослаблена². Акающие говоры отличаются еще более резким выделением ударного слога, так что, как заметил А. А. Потеня, он по силе и интенсивности примерно в полтора раза превосходит первый предударный слог и почти в три раза — остальные безударные (исключая гласные абсолютного начала и конца фонетического слова).

Именно с процессом перестройки интонационной системы и противопоставления ударного слога безударным связывал развитие аканья-яканья как системы своеобразной фонетической реализации унифицированной фонемы <α> диссимилятивного типа А. А. Шахматов, гипотеза которого, несмотря на некоторые противоречия, до сих пор остается наиболее последовательной. Более того, многие принципиальные предположения, казавшиеся в период разработки этой гипотезы слишком смелыми, в последующем стали получать фактические обоснования.

¹ См. Аванесов Р. И. Вопросы образования русского языка в его говорах с, 138—139.

² См.: Пожарицкая С. К. К типологии предударенного вокализма севернорусских говоров. — В кн.: Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. М., 1961, вып. 2; Касаткин Л. Л. Новая ступень в развитии системы гласных русского языка. — В кн.: Развитие фонетики современного русского языка, Фонологические подсистемы, М., 1971,

§ 69. Шахматов предусматривает все затруднения, которые обычно возникают при исторической интерпретации аканья-яканья. И в этом отношении его гипотеза, безусловно, определила уровень знаний своего времени, а потому ее изложение в наши дни не может буквально следовать формулировкам автора и требует известной «модернизации», учитывающей не только накопленный наукой материал, но и его историко-фонологическое осмысление. Построение Шахматова, в частности, учитывает, что:

1) с точки зрения фонетической аканье — это не проблема *o/a*, а проблема объединения в одном звуке неударных гласных неверхнего подъема, которые первоначально, может быть, и не реализовались в звуке [a];

2) аканье-яканье в своем развитии прошло две стадии: а) стадию фонетического совпадения безударных гласных неверхнего подъема (в терминах фонологии — стадию унификации их ДП), которая последовала после падения редуцированных и перестройки акцентной структуры словоформ, и б) стадию формирования фонетических реализаций уже унифицированного гласного первой позиции в зависимости от фонетико-просодических условий; из этого, между прочим, следует, что отнесение истоков аканья-яканья к XI в. отнюдь не означает, что в это время уже сформировались те разновидности реализации <α>, которые наблюдаются в наше время: современные разновидности аканья-яканья складывались тогда, когда «первично» акающие говоры уже развивались независимо друг от друга, а потому и нормы фонетической реализации <α> в них формировались по-разному;

3) древнейшей по времени оформленной является та зависимость предударного гласного от ударного, которая характеризует говоры с диссимилятивными (и ассимилятивно-диссимилятивными) разновидностями аканья-яканья; при этом диссимилятивная зависимость фонетических реализаций <α> от степени подъема ударного гласного является мнимой и исторически не первична;

4) нормы реализации <α> в тождественных фонетико-просодических условиях после твердых и мягких согласных формировались параллельно, а потому не может ставиться вопрос о происхождении аканья (в узком смысле) и отдельно — о происхождении яканья, ибо перед нами разновидности одного и того же явления, лишь впоследствии подвергшегося дифференциации на фонетическом уровне — в зависимости от физиолого-акустических возможностей его существования.

Шахматов исходил из того, что в период акцентной перестройки происходило с о к р а щ е н и е б е з у д а р н ы х г л а с н ы х, что само по себе для языков с динамическим ударением обычно¹; при этом в говорах, впоследствии развивших аканье, напряженные гласные верхнего подъема, которые (все!) были долгими, стали произноситься как краткие, а гласные неверхнего подъема, которые были краткими, в безударных слогах сократились до редуцирован-

¹ Ср.: Кузнецов П. С. К вопросу о происхождении аканья, с 34.

ных (что, между прочим, лишний раз подчеркивает течение процесса после падения редуцированных, коль скоро «новые» редуцированные не совпали с древними фонемами ⟨ь, ъ⟩); такой же редукции подвергся и бывший долгий, но компактный (ненапряженный) гласный *ā*. Таким образом, если во всех диалектах в период акцентной перестройки словоформ оказались возможными две просодические модели неодносложных словоформ (т. е. без учета других безударных слогов, кроме первого предударного, модели [◡ ◡] и [◡ ◡̣], где предударный гласный только краткий, а под ударением мог быть как долгий, так и краткий гласный), то в будущих акающих говорах в каждой из моделей предударный гласный мог быть как кратким (если это бывший долгий напряженный, т. е. ⟨и/ы⟩ или ⟨у⟩), так и редуцированным (все компактные, ненапряженные гласные, т. е. ⟨е, о, а⟩, которые теперь совпали в одном неопределенном по качеству редуцированном гласном: у Шахматова — *α* и *ε*; в современных символах — [ъ] и [ь], которые не следует смешивать с древнерусскими редуцированными ⟨ь, ъ⟩). Редуцировались краткие гласные и в остальных безударных слогах, что продолжают сохранять все акающие говоры.

Итак, на первой стадии, предшествующей количественным изменениям ударных гласных, в говорах, впоследствии развивших аканье-яканье, сложились четыре модели соотношения гласных первого предударного и ударного слогов. Две из них ([◡ ◡] и [◡ ◡̣]) содержали в первой позиции бывшие долгие напряженные гласные, а теперь краткие [и, ы, у], которые в дальнейшем не претерпели изменений. Более интересны две другие модели, содержавшие в предударном слоге фонетически унифицированный редуцированный гласный, исторически связанный с гласными неверхнего подъема (вспомним, что аканье-яканье — это и есть неразличение гласных неверхнего подъема!). Эти гласные включались в модели: [◡ ◡̣] и [◡ ◡̣̣]. Для последующей судьбы этих моделей существенно, какие именно гласные в ударных слогах оставались в это время долгими, а какие — краткими.

Поскольку в те времена ассимилятивно-диссимилятивные разновидности аканья-яканья не были известны, Шахматову пришлось предположить раннее сокращение в будущих акающих говорах ударного [a: > a], что впоследствии вызвало резкую критику языковедов, не видевших иных оснований (кроме необходимости объяснить оформление диссимилятивного аканья-яканья как первичного) для такого предположения. Современный диалектологический материал, указывающий на давность ассимилятивно-диссимилятивных разновидностей и единство происхождения ассимилятивно-диссимилятивного и собственно диссимилятивного аканья-яканья, не требует такого предположения: достаточно считать, что окраинные говоры Деснинско-Сейменского междуречья в период осуществления первой стадии сокращения гласных могли в узком ареале сократить также и под ударением компактный гласный [a], в то время как остальные говоры, первоначально с ними связанные (по среднему течению Оки), продолжали сохранять этот гласный

как долгий. В этом случае просодическая модель, развившая аканье-яканье, может «расшифровываться» для различных говоров по-разному: под ударением долгие гласные [и:, ы:, у:, ê:, ô:], а в ряде говоров и [а:]; под ударением краткие гласные [e, o], а в ряде говоров и [a].

Позднее, по Шахматову, происходит сокращение гласных под ударением; при этом сокращались только долгие гласные (для которых признак долготы уже давно перестал быть ДП), так что все гласные в положении под ударением стали краткими (как это и наблюдаем в современных русских говорах). В процессе сокращения долгих гласных происходило заместительное удлинение предударного редуцированного, который становился кратким.

Таким образом, модель [V[∪]], где под ударением находились краткие гласные, по образованию — компактные гласные среднего (не верхнесреднего!), а в деснинско-сейменских говорах также и нижнего подъема, сохранилась без изменений, что отражено в фонетической реализации словоформ типа л[ъ]н[т]éй, [л'ъ]снóй, а в говорах, рано сокративших [а] (ныне с диссимильативным аканьем-яканьем), также и ст[ъ]лá, [н'ъ]слá (позднее, ввиду качественной близости [ь, е], [н'е]слá и [н'и]слá). Модель же [V[∪]], где под ударением находились долгие гласные — верхнего и верхнесреднего подъема [и:, ы:, у:, ê:, ô:], а в ряде говоров также и гласный нижнего подъема [а:], изменилась в [V[∪]], вследствие чего фонетически (и физиологически) уже унифицированный к тому времени редуцированный гласный первой позиции изменялся в краткий компактный гласный неопределенного качества типа [a], фонетические признаки которого, естественно, не зависели от того, какой именно гласный (но обязательно неверхнего подъема!) подвергся когда-то редукции. Так оформляется фонетическая реализация словоформ типа ст[а]л[ь]би, [в'а]д[ь]и, [л'ас]ôв, [л'ат'ê]ли, а в ряде говоров (с ассимильативно-диссимильативными разновидностями) также и ст[а]л[ь]лá, [в'а]л[ь]лá и т. д. После ликвидации различий между гласными по долготе такая связь предударного и ударного слогов воспринимается, естественно, с точки зрения отношения гласных по степени подъема, т. е. при синхронном описании производит впечатление диссимильативной или ассимильативно-диссимильативной зависимости (что постоянно вызывало недоумение диалектологов, во-первых, потому, что диссимильация в фонетических процессах явление крайне редкое, во-вторых, потому, что при ассимильативно-диссимильативном аканье-яканье принципы зависимости предударного гласного от степени подъема гласного под ударением оказываются явно противоречивыми ¹).

Процесс «упорядочения» фонетических реализаций ⟨α⟩ перед разными ударными гласными осуществлялся в «первично» акающих говорах не более чем до середины XIII или начала XIV в. (что обычно и указывается как наиболее вероятное время развития

¹ Ср.: Кизнецов П. С. К вопросу о происхождении аканья, с. 40—41; Аванесов Р. И. Очерки русской диалектологии, с. 91—92.

аканья-яканья¹). А распространение его за пределы зоны первоначального оформления происходило в период, когда взаимоотношения ударных и предударных слогов уже стабилизировались. В зависимости от системы вокализма ударных слогов (актуальности ~ неактуальности противопоставления под ударением ⟨ê ~ е⟩ и ⟨ô ~ о⟩) говоры, рано усвоившие акающую систему предударного вокализма, вырабатывали разные нормы реализации ⟨α⟩ перед ⟨е, о⟩ (см. щигровскую разновидность, при которой отражается разная реакция ⟨α⟩ на ударные ⟨ê ~ е⟩; суджанскую, при которой ⟨α⟩ реагирует на ⟨е⟩ любого происхождения как на гласный среднего, а не верхнесреднего подъема). При этом частотность ударных ⟨ê, ô⟩ в словоформах, имеющих предударный слог (ср. § 66), обуславливала усвоение говорами, рано утратившими ⟨ê⟩ и не знавшими ⟨ô⟩, реакции ⟨α⟩ на ⟨е, о⟩ как на гласные ненижнего подъема (так называемая жиздринская, или белорусская, разновидность диссимлятивного аканья-яканья). Иными словами, дальнейшая история аканья-яканья — это уже не история его развития, а история его распространения. А так как по своей фонологической сущности аканье-яканье стремится к ликвидации фонемных различий между гласными безударных слогов, то при переходе того или иного говора к аканью не имела значения конкретная фонетическая реализация ⟨α⟩: усваивалась лишь оппозиция ⟨α⟩ ударным гласным как основной принцип аканья-яканья. Фонетическая же реализация ⟨α⟩ определялась при этом фонетическими особенностями соответствующего говора, что убедительно показано на примере образования умеренного яканья, представляющего собой, по меткому выражению В. Н. Сидорова, «акающий слепок, отлитый по окающей модели»².

Типология формирования «смешанных» говоров, обычно реализующих ⟨'α⟩ (после парных мягких согласных) в гласном типа [e], подсказывает, что и типично московская реализация слабой фонемы после мягких согласных в звуке [и^е] (в речи старых москвичей еще в прошлом веке более склонном к [e], чем к [и]; см. § 72) явно связана с процессом взаимодействия акающей и окающей речи в Москве после XIV в. — в период ее возвышения как центра великорусской народности. Конкретные же пути формирования той системы норм произношения безударных гласных, которая впоследствии получает общерусское значение, ждут своего дальнейшего исследования.

СТРУКТУРА ДИАЛЕКТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА К XVII в.

§ 70. Диалектные различия, развивавшиеся в результате падения редуцированных в фонологических системах великорусского диалектного языка, имели разную структурную значимость. Одни из них лишь расширили или сузили употребление уже из-

¹ См.: Кузнецов П. С. К вопросу о происхождении аканья, с. 36—37.

² Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка, с. 105.

вестных системе фонем; так, изменение [ы] в [о] или в [ы] соответственно расширило круг словоформ с ⟨о⟩ или с ⟨и⟩. Другие различия затронули отдельные звенья системы, оставаясь на ее периферии; примером может служить изменение [бм > м:] и [дн > н:] в говорах новгородского типа (о[m:]ан < о[бм]ан, ла[n:]о < ла[дн]о), противопоставленное сохранению этих групп в других говорах. Были и различия, которые не имели фонологического содержания и касались лишь фонетической реализации фонем. Так, если в одних говорах произносились узкие дифтонги [пе, уо], а в других фонемы верхнесреднего подъема реализовались монофтонгами [ê, ô], то это соотносительное явление оставалось на фонетическом уровне.

Следует, однако, отметить, что возникли и такие диалектные различия, которые пронизывали всю фонологическую систему, затрагивая ее важнейшие, определяющие звенья, взаимно обуславливающие состояние консонантизма и вокализма. Главное различие было связано с тем, что в ростово-суздальском диалекте последовательно оформилась корреляция согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости. Оформление в этой же системе ряда согласных фонем, парных по глухости ~ звонкости, образовало в системе корреляции, которые и составили центральное звено фонологической системы ростово-суздальского типа.

Развитие фонологической категории твердых ~ мягких согласных фонем придало ростово-суздальской системе консонантный характер. Возможности этой оппозиции не были исчерпаны к рубежу XIV — XV вв. Можно сказать, что все последующее развитие фонологической системы ростово-суздальского типа (следовательно, и московского типа, включая как московское просторечие, так и русский литературный язык, сложившийся в своей фонетической системе на основе московского просторечия) определялось возможностями дальнейшего развития противопоставления твердых ~ мягких согласных фонем. Становление коррелятивных согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости и по глухости ~ звонкости, было закономерно связано с направлением в развитии гласных среднего и верхнесреднего подъема.

Оформление противопоставления гласных среднего подъема по лабиализованности ~ нелабиализованности способствовало утрате гласных фонем верхнесреднего подъема, приводило к формированию пятифонемного вокализма вместо семифонемного.

Именно эти звенья системы имели другой вид в новгородском диалекте. Здесь категория согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости, оказалась не такой продуктивной, что проявилось не только в меньшем числе твердых ~ мягких согласных, а главным образом в условиях их функционирования — в гораздо меньшем числе сильных позиций для этих парных согласных. Не случайно именно в говорах новгородского типа отсутствует до сих пор и полная соотносительность согласных фонем, парных по глухости ~ звонкости.

Отсутствие последовательного противопоставления гласных среднего ряда по лабиализованности ~ нелабиализованности, сохра-

нение семифонемного вокализма, включающего и гласные верхне-среднего подъема, находилось во взаимообусловленной связи с указанным направлением в развитии консонантизма. Таким образом, центральные фонологические различия между ростово-суздальским и новгородским диалектами лежали в области системы твердых ~ мягких согласных фонем и гласных фонем среднего и верхнесреднего подъема.

Результатом взаимодействия этих двух систем является формирование своеобразных говоров северного Заволжья, где носители говоров новгородского типа соседствовали с колонистами из Ростово-Суздальской земли. В этих окраинных северных районах в финноязычном окружении местные говоры продолжали сохранять семифонемный вокализм и слабо развитую корреляцию твердых ~ мягких согласных; известно здесь и отсутствие соотносительности согласных по глухости ~ звонкости, что, по-видимому, должно указывать на очень раннее обособление местных говоров от собственно новгородских.

Совпадала с новгородской в своих главных чертах фонологическая система окающих псковских говоров. Псковские же диалекты южной части продолжали усваивать особенности, объединяющие их с формирующимися севернобелорусскими говорами, которые были близки говорам Смоленщины, вошедшей с XVI в. в состав Московской Руси. Система западного (смоленского) диалекта, граничившего с северо-восточными (витебско-полоцкими) белорусскими говорами, включала пятифонемный вокализм (вследствие раннего изменения [ê > e] семифонемный вокализм здесь не сложился), категория твердости ~ мягкости согласных в этой системе, видимо, была близка север-западной.

Резко отличались указанными элементами системы окающие диалекты. В них частная система ударного вокализма из семи сильных фонем сочеталась с трехчленной системой слабых фонем безударных слогов. Такой вокализм с ослабленными различительными способностями гласных предполагает развитый консонантизм — с последовательно проведенной корреляцией согласных по твердости ~ мягкости (как и в диалектах северо-востока).

Таким образом, в период формирования великорусского языка как средства общения развивающейся великорусской народности на территории его распространения первоначально складывается в результате изменений, вызванных падением редуцированных, не единая фонологическая система консонантного типа с противопоставленными диалектными явлениями, а несколько фонологических систем: ростово-суздальского типа на северо-востоке, новгородско-псковского типа на северо-западе и близкая ей по основным фонологическим особенностям система говоров северного Заволжья, смоленского типа с аканьем-яканьем, усвоенным не позднее чем к XV в., — на западе, система окающего диалекта на юго-западе и юге. Примерно с XIV в., с начала возвышения Москвы и объединения вокруг нее великорусских земель, завершаемого к XVI столетию, в связи с процессом формирования

великорусской народности активизируются процессы диалектного взаимодействия. Результатом этого взаимодействия принципиально разных фонологических систем является формирование полосы неоднородных по составу, «смешанных» средневеликорусских говоров, сочетающих в восточной своей части (в районе Москвы) черты северо-восточного и южного типов, а в западной части — черты северо-западного и смоленского типов.

К XVII столетию формируются основные группы великорусских говоров, противопоставленные друг другу особенностями фонологических систем (см. табл. на с. 115) и определяющие наиболее крупные единицы диалектного членения национального русского языка в европейской части России¹.

§ 71. В процессе формирования великорусской народности особую роль приобретает говор Москвы как один из говоров северо-восточной группы, подвергшийся трансформации под влиянием носителей акающих говоров, но сохранивший многие черты фонологической системы северо-восточного типа. Особая роль московского говора, приобретающего в XVII в. значение общерусского просторечия, в формировании системы норм национального русского языка обуславливает специальное внимание к особенностям функционирования фонологической системы северо-восточного типа, определившей важнейшие черты фонологической системы великорусского языка с точки зрения его противопоставления украинскому и белорусскому языкам.

Система согласных фонем северо-восточного типа включала 32 единицы с ДП:

- ⟨п⟩ — лабиальность, твердость, глухость, неназальность;
- ⟨п'⟩ — лабиальность, мягкость, глухость, неназальность;
- ⟨б⟩ — лабиальность, твердость, звонкость, неназальность;
- ⟨б'⟩ — лабиальность, мягкость, звонкость, неназальность;
- ⟨в⟩ — лабиодентальность, твердость, звонкость, неназальность;
- ⟨в'⟩ — лабиодентальность, мягкость, звонкость, неназальность;
- ⟨ф⟩ — лабиодентальность, твердость, глухость, неназальность;
- ⟨ф'⟩ — лабиодентальность, мягкость, глухость, неназальность;
- ⟨т⟩ — дентальность, взрывность, твердость, глухость, неназальность;
- ⟨т'⟩ — дентальность, взрывность, мягкость, глухость, неназальность;
- ⟨д⟩ — дентальность, взрывность, твердость, звонкость, неназальность;
- ⟨д'⟩ — дентальность, взрывность, мягкость, звонкость, неназальность;
- ⟨с⟩ — дентальность, фрикативность, твердость, глухость, неназальность;
- ⟨с'⟩ — дентальность, фрикативность, мягкость, глухость, неназальность;
- ⟨з⟩ — дентальность, фрикативность, твердость, звонкость, неназальность;
- ⟨з'⟩ — дентальность, фрикативность, мягкость, звонкость, неназальность;
- ⟨м⟩ — лабиальность, твердость, назальность;
- ⟨м'⟩ — лабиальность, мягкость, назальность;
- ⟨н⟩ — дентальность, твердость, назальность;
- ⟨н'⟩ — дентальность, мягкость, назальность;
- ⟨р⟩ — альвеолярность, твердость, вибрантность;
- ⟨р'⟩ — альвеолярность, мягкость, вибрантность;

¹ Процессы диалектного взаимодействия и диалектообразования именно этого периода исчерпывающе проанализированы в работе «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров»,

Диалектное членение языка великорусской народности
(фонологические различия)

Северновеликорусские говоры			Восточно-средневеликорусские говоры	Южновеликорусские говоры	
заволжская группа	северо-западная группа	северо-восточная группа		южная группа	западная группа
Очень слабое развитие корреляции согласных фонем по твердости ~ мягкости и глухости ~ звонкости	Сравнительно слабое развитие корреляции согласных фонем по твердости ~ мягкости	Последовательное развитие корреляции согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости, глухости ~ звонкости		Сравнительно слабое развитие корреляции по твердости ~ мягкости	
Фонема ⟨г⟩; в определенных позиционных условиях — ⟨γ⟩.			Фонема ⟨г⟩	Фонема ⟨γ⟩	
Фонема ⟨w⟩	Фонемы ⟨w ~ w'⟩	Фонемы ⟨в ~ в'⟩		Фонема ⟨w⟩	
Аффриката ⟨ц''⟩		Аффрикаты ⟨ц — ч'⟩		Аффрикаты ⟨ц — ч⟩	
Непоследовательное противопоставление ⟨с' ~ ш'⟩ ⟨з' ~ ж'⟩	Противопоставление фонем ⟨с' ~ ш'⟩ ⟨з' ~ ж'⟩	Противопоставление фонем ⟨с' ~ с ~ ш⟩, ⟨з' ~ з ~ ж⟩		По говорам фонемы ⟨с'' ~ з''⟩	
Устойчивый семифонемный вокализм		Переходное состояние от семифонемного к пятифонемному вокализму		Семифонемный вокализм под ударением	Пятифонемный вокализм под ударением
Отсутствие или слабое развитие фонологизации отношения ⟨е ~ о⟩ с ДП лабиализованность ~ нелабиализованность		Фонологизация отношения ⟨е ~ о⟩ с ДП лабиализованность ~ нелабиализованность		Ограниченная фонологизация отношения ⟨е ~ о⟩ с ДП лабиализованность ~ нелабиализованность	
Последовательное различие безударных гласных		Оканье с частичным неразличением безударных гласных	Аканье с умеренным яканьем	Аканье-яканье диссимилятивного (или ассимилятивно-диссимилятивного) типа	

- ⟨ш⟩ — альвеолярность, глухость, твердость;
- ⟨ж⟩ — альвеолярность, звонкость, твердость;
- ⟨ш':⟩ — альвеолярность, глухость, мягкость;
- ⟨ж':⟩ — альвеолярность, звонкость, мягкость;
- ⟨ц⟩ — дентальность, аффрикатность;
- ⟨ч'⟩ — альвеолярность, аффрикатность;
- ⟨ј⟩ — средняяязычность;
- ⟨к⟩ — заднеязычность, взрывность, глухость;
- ⟨г⟩ — заднеязычность, взрывность, звонкость;
- ⟨х⟩ — заднеязычность, фрикативность.

Согласные фонемы реализовывались звуками, которые могли находиться в различных отношениях позиционной мены, представленной двумя основными типами: параллельным и перекрещивающимся. Если параллельный тип позиционной мены создавал фонемную парадигму, все члены которой обладали одинаковой различительной способностью, то перекрещивающийся тип мены определял такую парадигму, члены которой обладали разной различительной силой.

Перекрещивающийся тип позиционной мены согласных характеризовал два соотносительных ряда согласных фонем. Один ряд состоял из парных фонем, противопоставленных по твердости ~ мягкости, второй ряд образовывали согласные фонемы, парные по глухости ~ звонкости. Соотносительность этих рядов создавалась способностью указанных фонем противопоставляться по признакам твердости ~ мягкости, глухости ~ звонкости или по совокупности этих признаков в одних позициях и утратой этого противопоставления, его нейтрализацией — в других. Первые позиции можно назвать сильными, вторые — слабыми.

В соотносительный ряд по твердости ~ мягкости входило 12 пар согласных фонем: ⟨п ~ п'⟩, ⟨б ~ б'⟩, ⟨ф ~ ф'⟩, ⟨в ~ в'⟩, ⟨м ~ м'⟩, ⟨т ~ т'⟩, ⟨д ~ д'⟩, ⟨с ~ с'⟩, ⟨з ~ з'⟩, ⟨н ~ н'⟩, ⟨л ~ л'⟩, ⟨р ~ р'⟩. Непарными были ⟨ц, ч'⟩, фонетическая твердость ~ мягкость которых не имела значения ДП (была фонологически нерелевантной), а также ⟨ш, ж⟩ и ⟨ш':, ж':⟩, которые можно интерпретировать и как парные по твердости ~ мягкости с избыточным признаком долготы для мягких, т. е. как ⟨ш ~ ш':⟩, ⟨ж ~ ж':⟩.

Ряд согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости, имел сильные позиции: на конце слова и перед ⟨и, у, о, а⟩. Отдельные классы фонем этого ряда могли иметь сильные позиции перед согласными; так, фонемы ⟨л ~ л'⟩ имели сильные позиции перед всеми твердыми согласными, парные зубные — перед твердыми заднеязычными. В сильной позиции твердость ~ мягкость согласного реализовала соответствующий ДП фонемы.

Слабыми были позиция перед ⟨е⟩ и все позиции ассимилятивной твердости ~ мягкости согласных. В слабой позиции твердость ~ мягкость согласного была позиционной и не могла реализовать ДП фонемы.

Соотносительный ряд глухих ~ звонких согласных фонем имел сильные позиции: перед всеми гласными фонемами, перед сонорными ⟨н, н', л, л', р, р'⟩, а также перед ⟨в, в'⟩. Слабыми были

позиции перед всеми шумными согласными, кроме ⟨в, в'⟩. В сильных позициях реальное качество глухости ~ звонкости согласного реализовало ДП фонемы, в слабых позициях глухость ~ звонкость были свойствами позиционно обусловленными и не могли реализовать ДП фонемы.

В пределах фонетического слова можно было выделить позиции, абсолютно сильные для твердых ~ мягких и глухих ~ звонких согласных фонем и абсолютно слабые позиции, где эти качества были позиционными, а также позиции сильные для одного соотносительного ряда, но слабые для другого. Так, в слове [з'д'ес'] звук [з'] реализовал абсолютно слабую фонему, так как и звонкость, и мягкость [з'] позиционно обусловлены; звук [д'] реализовал сильную звонкую, но слабую по твердости ~ мягкости фонему, поскольку признак мягкости [д'] в этой позиции нерелевантен; звук [с'] реализовал сильную мягкую фонему, но слабую по глухости ~ звонкости, ибо признак глухости здесь позиционный и фонологически нерелевантен.

Непарные по твердости ~ мягкости или по глухости ~ звонкости фонемы также могли иметь позиционную мену по этим признакам. Так, фонемы ⟨к, г, х⟩, не противопоставленные по твердости ~ мягкости, обязательно смягчались перед гласными переднего ряда: [рука] — [рук'е] — [рук'и], [нога] — [ног'е] — [ног'и], [соха] — [сох'а] — [сох'и]. Как качество твердости у [к, г, х], так и мягкость [к', г', х'], характеризую каждый из этих звуков, не входили в число ДП указанных фонем.

Варьирование согласных по месту и способу образования не вносило существенных черт в характеристику системы в целом.

Состав г л а с н ы х фонем северо-восточных говоров, в великорусский период приобретающих значение центральных, включал пять единиц с ДП:

- ⟨и⟩ — верхний подъем, нелабиализованность;
- ⟨у⟩ — верхний подъем, лабиализованность;
- ⟨е⟩ — средний подъем, нелабиализованность;
- ⟨о⟩ — средний подъем, лабиализованность;
- ⟨а⟩ — нижний подъем, нелабиализованность;

Окающий вокализм центральных говоров основывался по преимуществу на позиционной мене звуков параллельного типа (например: [а/á/ ä/â]). Отсутствие позиционной мены перекрещивающегося типа как фактора, определяющего вокализм, связано с характером соотношения ударного и безударного вокализма. Безударный вокализм характеризовался противопоставлением пяти звуковых единиц с теми же ДП: различием трех степеней подъема, лабиализованностью ~ нелабиализованностью.

Впрочем, в значительной группе центральных (исторически — северо-восточных) говоров с окающим вокализмом в течение старорусского периода развивалась редукция гласных неверхнего подъема в безударных слогах, кроме первого предударного (т. е. частичное неразличение гласных неверхнего подъема). В этом случае частная система вокализма второго и других предударных

слогов, кроме первого, характеризовалась составом слабых гласных фонем, звуковые реализации которых находились с гласными ударного или первого предударного слога в отношениях позиционной мены перекрещивающегося типа.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОСКОВСКОГО ПРОСТОРЕЧИЯ XVII—XVIII вв.

§ 72. Начальный период развития национальных отношений связан с формированием норм литературного русского языка, ориентированного на речь народа и стремящегося стать единым и универсальным средством общения нации.

Формирование национального русского литературного языка — это сложный процесс взаимодействия книжно-литературной языковой традиции с живой речью московского типа, оказывающейся в центре этого процесса. Соотношение двух основных источников литературного языка русской нации неодинаково. В лексике, в синтаксисе, а отчасти и в морфологии вырабатывающаяся к началу XIX в. система в очень значительной степени включает в себя освященные длительной традицией черты книжно-славянского языка, остававшегося собственно литературным языком великорусов на протяжении всего донационального периода. Что же касается фонетико-фонологической системы, реализующейся прежде всего в повседневном устном общении, то здесь, при сохранении некоторых устойчивых особенностей традиционного книжного (исторически — церковного) чтения, ведущую роль, естественно, играла система произносительных норм москвичей, реализующая фонологическую систему московского просторечия, как она сложилась к концу XVII — началу XVIII столетия. Проблема формирования московского просторечия, таким образом, — это проблема источников орфоэпических норм национального русского литературного языка.

§ 73. Представляя собой исторически говор Москвы, выделившийся в составе северо-восточного великорусского диалекта, московское просторечие в значительно большей степени, чем окружавшие его средневеликорусские говоры, впитало в себя черты других диалектов. И все же историческая основа северо-восточного типа проявляется в нем очень заметно. В частности, консонантизм старомосковского просторечия полностью совпадал с охарактеризованной выше системой согласных центральной (окающей северо-восточной) группы говоров. Вокализм также был пятифонемным.

Принципиально отличался от оканья безударный вокализм старомосковского просторечия; он характеризовался аканьем недиссимилятивного типа, при котором [a, o] после парных твердых согласных совпадали в достаточно открытом гласном [a]: [ва]дá, [тра]вá при [вó]ды, [трá]вы. Во втором и остальных предударных,

как и в заударных, слогах звучал редуцированный гласный типа [ы]: [гълава́], [го́львы], [на́ды].

После парных мягких согласных безударный вокализм характеризовался е к а н ь е м — произношением типа: [н'есу́], [п'ет'и́], [с'ем'и́] при [н'о́с], [п'а́т'], [с'ём']. В других предударных и заударных слогах произносили звук типа [ы]: [вьи́н'ьсу], [п'ьтач'о́к]. Что касается конечных заударных слогов, реализовавших флексии имен (и другие аффиксальные морфемы), то в них после парных мягких согласных должны были произносить более задний и открытый гласный звук: [бра́т'jъ] — [бра́т'jъм'и], [по́л'ъ] (т. е. *по́ле* и *по́ля*) — [по́л'ъм].

После непарных шипящих [ш, ж] гласные ⟨а, е, о⟩, не различаясь в безударных слогах, совпадали в первом предударном слоге в звуке типа [e^в], параллельном гласному этой позиции после парных мягких согласных: [ше^вг'и́], [же^вра́], [пше^внò].

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

§ 74. Нивелировка диалектных различий в национальный период осуществляется за счет все увеличивающегося унифицирующего воздействия системы литературного языка на местные говоры. Литературный язык при этом не только расширяет границы своего функционирования, но и определяет развитие произносительных норм на различных территориях распространения русского языка, где под его воздействием на базе местных диалектов формируются, по существу, «полудиалекты», сочетающие местные и общерусские черты. Закономерности, присущие развитию звуковой системы литературного языка, становятся, таким образом, закономерностями национального масштаба. Учитывая это, историческая фонетика русского языка, переходя к изучению истории языка национального периода, сосредоточивает свое внимание на тенденциях развития орфоэпической системы, закрепляющейся в качестве национальной нормы и в своем образцовом варианте характеризующей литературный русский язык.

§ 75. Оформившись на базе звуковой системы московского просторечия, фонетико-фонологическая система национального русского литературного языка продолжает развиваться как система консонантного типа. Это направление ее исторического движения проявляется прежде всего в актуальности противопоставления согласных фонем по твердости ~ мягкости. Причем в новое время корреляция по твердости ~ мягкости как бы расширяет свои возможности, охватывая новые согласные, формируя новые сильные позиции и сокращая число слабых позиций.

В новый период истории русского национального языка в парное противопоставление по твердости ~ мягкости входят задненёбные и средненёбные согласные [к, к', г, г', х, х']. Об этом свидетельствуют новые спрягаемые формы глаголов с основой на задненёбный в литературном языке: *т[к'о]шь*, *т[к'о]т*, *т[к'о]те*; в просторечии

и в диалектах: *nc*[к'от], *стере*[г'от] и др. Ср. и некоторые словообразовательные формы: *жере*[х'отнок (от *жерсх*), *киос*[к'ор], *пани*[к'ор].

Три пары фонем <к ~ к'>, <г ~ г'>, <х ~ х'> не адекватны остальным парам в соотносительном ряду твердых ~ мягких согласных. Так, <к', г', х'> невозможны в конце слова — этой решающей сильной позиции ряда, не противопоставляются эти пары и перед <и>. Однако на конце слова твердые задненёбные ведут себя как фонемы с фонологически значимым качеством твердости, поэтому на стыке слов возникают те же позиционные явления, что и на стыке слов с конечной парной твердой фонемой; ср.: *ко*[т-ы-п]овар и *ро*[к-ы-к]ольцо.

В результате усвоения ряда заимствованных слов и топонимов в словарном составе оказались и формы с сочетаниями [к'а, к'у, г'а, г'у], что создает ситуацию сильной позиции перед фонемами <а, у> для задненёбных и средненёбных согласных: *кахта*, *кюре*, *гяур*.

В ряд парных по твердости ~ мягкости фонем, очевидно, вовлекаются и краткие твердые ~ долгие мягкие шипящие звуки: [ш, ш':] и [ж, ж':]. Это происходит в литературном языке и в тех диалектах, в которых сохраняется мягкость долгих шипящих. В этом случае краткость твердых и долготы мягких шипящих звуков оказывается признаком дополнительным, сопровождающим признак твердости ~ мягкости, который и выступает в роли дифференциального. Можно считать, что, например, слова [шур] (Р мн. ч. от *Шура*) и [ш':ур] (*Щур* — фамилия) различаются противопоставлением <ш ~ ш'>. Такого же типа отношения наблюдаются в словах *шит* и *щит*: <ш>ит ~ <ш'>ит (фонетически [шит], [ш':ит]).

В новый период истории русского языка, прежде всего языка литературного, формировалась и новая сильная позиция для парных по твердости ~ мягкости согласных фонем — позиция перед <е>. Это изменение в области фонологических отношений связано с определенными тенденциями в развитии словарного состава языка (усвоение заимствованных слов и пополнение словаря сложносокращенными словами).

Уже на рубеже XIX — XX вв. лингвисты заметили, что закон обязательного смягчения согласных перед [e] в русском языке перестал быть актуальным. Его утрата сделала необязательной фонетическую модель с сочетанием типа *t'et*: появилась возможность в системе языка и для фонетической модели слова с сочетанием типа *t'e* или *te*. И хотя слова, вошедшие в словарный состав до рубежа XIX — XX вв., сохраняли прежнюю фонетическую модель, а новые слова по мере усвоения их носителями русского языка приобретали этот же звуковой вид с сочетанием *t'e*, все же возникла возможность сохранять и слова с сочетанием *t'e*. Так, при обязательном произношении [апт'екъ], [в'ес], [в'ет'ър], [д'ева], [д'ель], [л'ентъ], [ман'етъ], [партф'ел'], [с'ел], [с'ено], [т'ело], [т'емъ], [хл'еп] возможны двоякие формы: *фо*[н'э]ма и *фо*[нэ]ма,

фо[н'э]тика и фо[не]тика или только: а[те]ль'э, в[тэ]к, каш[нэ], [нэп], шол[с:э], э[сэ]р и др. Возникла возможность путем противопоставления <т ~ т'> перед <е> различать пары слов: <пас'т'эл'> ~ <паст'эл'>, <с'ер> ~ <сер>. В результате оказалось, что в современном русском языке для парных по твердости ~ мягкости согласных фонем позиции перед всеми гласными фонемами — сильные.

Определение позиции перед <е> как сильной для согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости, заставляет пересмотреть статус мены согласных в конце основы перед <е> при словоизменении или формо- и словообразовании, т. е. в таких случаях, как бе[ль]й — бе[л'э]ть, кове[р] — на ков[р'э], ок[но] — на ок[н'э]. В системе, где оказывается возможным противопоставление <т ~ т'> перед <е>, такие формы должны рассматриваться как образованные не только флексией или суффиксацией, но и чередованием парных (твердый ~ мягкий) согласных.

Сокращение числа слабых позиций для парных по твердости ~ мягкости согласных фонем происходит в результате утраты ассимилятивного смягчения согласных перед мягкими согласными. Дело в том, что в соответствии со старомосковскими орфоэпическими нормами (соответствовавшими диалектным нормам северо-восточного типа) губные и зубные согласные перед мягкими губными, зубные перед мягкими зубными, губные перед мягкими средненёбными и все согласные перед [j] произносились как мягкие: на ла[м'п'э], [з'в'ерь], за[т'м'ить], де[ф'к'и], [с'j]ехать. В последние десятилетия в русском языке активно осуществляется процесс утраты мягкости согласных перед мягкими согласными. С неполной мягкостью произносятся лишь зубные фрикативные перед мягкими зубными носовыми (типа [с'н'яг], [с'н'ять]); в остальных случаях преобладает произношение твердых согласных перед мягкими: в ри[ф'м'э], за[тм'ить], [зв'ерь], [зм'ея], Люд[д'и]ла, Ма[тв'ей], на ла[мп'э], по[д]езд, [тв'ордый], хотя в речи старых москвичей и сейчас еще можно услышать: в ри[ф'м'э], Люд[д'и]ла, [т'в'ордый]. Губные перед мягкими средненёбными уже устойчиво не смягчаются: ли[пк'им], ло[фк'ие], не[мк'и].

Неактуальность законов ассимилятивного смягчения имела и фонологические следствия. Позиции, в которых оказались возможными сочетания типа *tt'*, перестали быть слабыми. Это не означало их одновременного превращения в сильные позиции, но потенциальная возможность для такого преобразования возникла. Некоторые исследователи звукового строя современного русского языка считают, что в настоящее время уже сложились отдельные сильные позиции на месте недавних слабых и к числу их можно отнести позицию для твердых ~ мягких зубных перед мягкими губными. Нормированность произношения одних слов с твердыми зубными перед мягкими губными, а других с мягкими зубными перед мягкими губными создает данную позицию; ср.: [л'ез'в'ицъ] — [разв'ь]. Совокупность всех рассмотренных явлений заставляет считать актуальной для современного русского языка тенденцию

к дальнейшему развитию корреляции твердых ~ мягких согласных фонем.

§ 76. В развитии русского вокализма прежде всего требуют внимания процессы, связанные с закреплением в говоре Москвы, а вслед за тем и в качестве общенациональной орфоэпической нормы аканья после парных твердых согласных с реализацией ⟨α⟩ после парных мягких согласных в звуке «не-а», противопоставлявшем в первом предударном слоге фонему ⟨α⟩ слабым фонемам верхнего подъема ⟨и, у⟩.

Упрощение системы безударного вокализма после парных мягких согласных имело следствием замену старомосковского еканья так называемым иканьем, распространяющимся в говорах лишь в новый период истории русского языка.

Объяснить распространение иканья как частного случая реализации акающего произношения после парных мягких согласных можно с точки зрения общих законов развития русской фонологической системы.

Как подчеркивалось ранее, аканье-яканье обобщило в первом предударном слоге в одной слабой фонеме гласные неверхнего подъема. Поэтому развивающееся в этой позиции при усвоении аканья произношение [e] (наряду с [ʼa]) в качестве реализации ⟨α⟩ после парных мягких согласных вполне закономерно; в первой позиции формируется система трех слабых фонем — противопоставленных по признаку лабиализованности ~ нелабиализованности гласных верхнего подъема ⟨и ~ у⟩ и унифицированной фонемы неверхнего подъема ⟨α⟩. Однако, как фонологическая тенденция, аканье-яканье стремится к полной унификации ДП безударных гласных, а при активном усложнении системы консонантизма (в первую очередь за счет дальнейшего развития корреляции согласных фонем по твердости ~ мягкости) эта тенденция получает благоприятные условия для реализации, что и осуществляется за счет ликвидации противопоставления ⟨α ~ и⟩ в первом предударном слоге и объединения их в одну слабую фонему ⟨α⟩, противопоставленную ⟨у⟩ в этой позиции только по признаку лабиализованности ~ нелабиализованности. Результаты этого изменения отмечены во многих акающих говорах¹, а в местных памятниках они получают отражение с конца XVII в. в виде написания *и* для обозначения гласного неверхнего подъема в первой позиции после мягких согласных (гипа *двинацати, пичалица*). Таким образом, в собственно диалектном произношении [и] как фонетическая реализация ⟨α⟩ после мягких согласных распространяется с середины XVII и на протяжении XVIII в.

Нормализация иканья является интересным событием в истории русского языка, так как показывает, что даже «непрестижное» в социальном отношении явление может занять положение нормированного, если его движение по пути к норме совпадает с основными тенденциями развития фонологической системы. Еще в начале XX в. иканье определялось как черта городского, мещанского просторечия, а в 30-е и особенно в 50—60-е годы оно становится орфоэпической нормой.

В настоящее время иканье прочно вошло в систему норм литературного языка, во все его стили, хотя в речи старых москвичей в первой позиции гласный остается не столь закрытым, как в повсеместном произношении, и производит впечатление [e]. Лишь в сценическом произношении сохраняется традиционное для классической литературной нормы еканье.

¹ См.: Кузнецов П. С. К вопросу о происхождении аканья, с. 41.

Общие тенденции развития языка, однако, не всегда осуществляются однонаправленно. Развитие может происходить противоречиво. В частности, можно указать факты, свидетельствующие не об упрощении, а об усложнении системы русского вокализма.

Формирование сильной позиции для ⟨t ~ t'⟩ перед ⟨e⟩, усилив данную систему консонантизма, одновременно вызвало к жизни и свою противоположность — различие трех степеней подъема у безударных гласных, усилив вокализм после парных твердых согласных. В сочетании типа *te* сохраняется [e] без редукации в безударном положении: [декáн]. В результате вместо частной системы безударных гласных с двумя степенями подъема (ы ~ у и а) появилась система с тремя степенями подъема: [ы ~ у] верхнего подъема, [e] среднего и [a] нижнего.

Усложнение безударного вокализма происходит и после шипящих согласных. Унаследованная система вокализма знала различие трех гласных: [ы, у, e^в]. Звук [e^в] или [ы^е] реализовал в первом предударном слоге ударные фонемы ⟨а, о, е⟩: [шак] ('шаг') — [шы^егáт'], [шест] — [шс^встá], [жоны] — [же^внá]. Система фонем знала противопоставление по двум степеням подъема, а у гласных верхнего подъема — противопоставление по лабиализованности ~ нелабиализованности.

По мере того как твердые шипящие все в большей степени отходили к системе парных твердых согласных фонем, после них стабилизируется и система вокализма, характерная для позиции после парных твердых согласных. Однако эта тенденция формирования системы затрагивает пока лишь гласный нижнего подъема [a]. По образцу [трáвы] — [травá] начали произносить [жар] — [жарá], [шак] — [шагáт']. Однако ударные фонемы ⟨о, е⟩ сохраняют в первом предударном слоге реализацию в звуке типа [e^в] или [ы^е]: [же^внá] или [жы^енá], [пше^внó] или [пшы^енó]. В результате вся частная система гласных после твердых шипящих становится более сложной, и здесь теперь представлены гласные трех степеней подъема: [ы, у, e^в, a]; в верхнем ряду сохраняется противопоставление по лабиализованности ~ нелабиализованности.

ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМАТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ

§ 77. Историческая морфология изучает вопросы формирования и развития грамматических категорий и форм их выражения в системе данного языка. Поскольку собственно морфологические категории (в отличие от синтаксических) выражаются средствами, сосредоточенными в словоформе, то и основной объект морфологии (как описательной, так и исторической) — это словоформа или класс словоформ, т. е. слов во всей совокупности их форм, связанных с выражением тех или иных грамматических значений. Так, для морфологии, в отличие от лексикологии, слово *стол* представляет интерес не как лексема с определенной предметной семантикой, а как одна из словоформ ряда *стол-о — стол-а — стол-у — стол-ы...*, входящая в класс словоформ типа *дом-о (дóм-а...)* и под. Регулярным средством выражения грамматических значений в словоформе являются некорневые морфемы, или аффиксы, — приставки, инфиксы, суффиксы и флексии, которые и оказываются основными значимыми единицами морфологического строя языка.

Морфологию как учение о значениях (и функционировании) аффиксов принято отграничивать от словообразования. Формально это разграничение оправдывается тем, что словообразование интересуется аффиксами в их связи с корневыми морфемами, поскольку изучает механизм формирования неграмматических (или лексических) значений, обязательными носителями которых являются корни, в то время как морфология, строго говоря, рассматривает аффиксы в отвлечении от корней, поскольку изучает механизм формирования грамматических значений словоформ, не зависящих от их лексического значения. Значение и функционирование аффикса остается в ведении морфологии лишь до тех пор, пока не обнаружится, что его наличие или отсутствие отражается на лексическом (неграмматическом) значении слова или на его принадлежности к тому или иному классу слов (к иной части речи), что также влияет на его неграмматическое значение.

В историческом плане собственно морфологическое или словообразовательное значение (и функционирование) аффиксов не остается неизменным.

Так, в древнерусском языке суффикс *-ач-* (или *-уч-*) был средством образования одной из глагольных форм — действительного причастия настоящего времени; в современном же языке это суффикс, служащий для образования отглагольных прилагательных (*вис-яч-ий, кол-юч-ий*), — средство словообразования. В древнерусском языке флексия *-и/-ы* последовательно выступала в качестве средства образования формы **И-В** мн. ч. муж. р. (отвлечемся пока от первоначального противопоставления форм самих падежей, ибо оно остается в пределах морфологии): *лист-ъ — лист-и, лист-ы; скот-ъ — скот-и, скот-ы* оставались формами одного слова. В современном же языке *листы* по своему лексическому значению не совпадает с *листья* (мн. ч.), а *скоты* (только мн. ч.) значит совсем не то, что *скот* (только ед. ч.) и не могут рассматриваться как формы одного слова.

Возможно и противоположное направление изменений. Так, в древнерусском языке *брат-ъ* (ед. ч.; мн. ч. *брат-и*) как обозначение родственника и *брат-ия* (фонстически *бра[t'-ij-a] > бра[t'-j-a]*; товарищи, соратники, сподвижники) явно представляли собой разные слова, следовательно, суффикс *[-ij- > -j-]* выступал здесь как средство словообразующее. В современном же языке *брат-Ø — брат-ья* являются формами одного слова, т. е. суффикс *[-'j-]* утратил словообразовательное значение и стал средством образования формы (ср.: *зятья, князья*).

§ 78. Если в современном языке окончания (внешние флексии иногда выступают в качестве средств словообразования), то в древнерусском языке окончания всегда были показателями словоизменения, выражавшими только грамматические значения — от категориальных (например, значение рода у существительных) до синтаксических, поскольку они являются основным средством оформления связи слов в высказывании (предложении). Интересной особенностью грамматической семантики окончаний всегда была ее комплексность: каждая флексия в одной и той же словоформе является носителем одновременно нескольких грамматических значений; например, в словоформе *сестр-и* флексия указывает на женский род, единственное число и на функцию прямого дополнения (на зависимость словоформы от переходного глагола). При этом комплексная грамматическая семантика окончаний непременно включала (наряду с иными) синтаксическое значение.

Тот факт, что грамматическое значение окончаний реализуется на синтаксическом уровне, играет огромную роль в исторических изменениях на морфологическом уровне. Именно соприкосновение в синтаксических значениях явилось причиной оформления категории одушевленности посредством перенесения в **В** окончания **Р**. Тенденцией к преодолению исторически сложившейся синтаксической синонимии флексий обусловлена перестройка типов склонения существительных, происшедшая в процессе развития русского языка. И напротив, необходимость оформить различия в синтаксических значениях (преодолеть синтаксическую омонимию) вела к функциональному разграничению отдельных окончаний (т. е. собственно морфологических средств), некогда оформлявших одни и те же синтаксические отношения; ср.: *был в лесу — знает толк в лесе, работает на дому — рассказывал о доме*. Синтаксическими отношениями обусловлена морфологическая дифференциация так называемых полных и кратких прилагательных, утрата форм скло-

нения сравнительной степени прилагательных, преобразование кратких действительных причастий в новую морфологическую категорию — деепричастия — и многие другие собственно морфологические исторические изменения в системе русского языка.

§ 79. В отличие от окончаний приставки (префиксы) используются как средство изменения неграмматического значения слов. В частности, в древнерусском языке приставки являлись прежде всего словообразующим средством (характеризуя преимущественно глагольное словообразование и сохраняясь в отглагольных именах), хотя полностью отвлекаясь от них морфология не может, поскольку приставки в известных случаях определяют, например, грамматическое значение вида производной глагольной основы (ср. совр.: *писать* — *пере-писать* — *под-писать* и т. д.). Но морфологию в таких случаях интересует не конкретная приставка, соединяющаяся или не соединяющаяся с теми или иными глагольными корнями (что относится к области глагольного словообразования), а приставка вообще — ее грамматическая роль в глагольной основе, характеризующейся теми или иными аффиксами.

§ 80. Как собственно морфологическим, так и словообразовательным средством могут быть суффиксы, которые занимают среди аффиксов срединное положение не только в плане синтагматическом (после корня, но всегда перед окончанием): как и приставки, суффиксы не выражают (или не оформляют) синтаксических отношений; но, как и флексии, они могут использоваться для изменения грамматического значения слова (например, *нес-л-а* — *нес-ущ-ий* или *сын-ъ* — *сын-ов[ъ-а]* — разные формы одного слова).

Отделяя словообразовательные суффиксы (которые иногда называются дериватами) от собственно морфологических, следует учитывать, что они, наряду с лексическим, обязательно определяют также и категориально-грамматическое (наиболее общее морфологическое) значение основы, в связи с чем морфология всегда учитывает и словообразующие суффиксы. Но интересует она только грамматическим значением этих суффиксов, которое связано с неграмматическим (в отличие от несвязанного грамматического значения собственно морфологических суффиксов). Так, если для словообразования существенно, что суффикс *-ск-/-еск-* используется для производства прилагательных от основ существительных со значением 'свойственный или относящийся к тому, что обозначено производящей основой' (например, *город-ск-ой* — 'свойственный *город-у* или относящиеся к *город-у*'), то для морфологии представляет интерес лишь то, что этот суффикс указывает на относительное прилагательное. Если для словообразования важно, что суффикс *-тел(ь)* образует от глагольных основ названия действующих лиц или орудий действия [*писа-тел(ь)*, *учи-тель(ь)*, *выключател(ь)*, *копни-тел(ь)*], то для морфологии существенно лишь то, что основа, оканчивающаяся этим суффиксом, непременно характеризует существительное, относящееся к классу имен мужского рода.

Для морфологии (в отличие от словообразования) не актуальны понятия непроеводной ~ производной основы: основа любой словоформы на морфологическом уровне обязательно содержит суффикс, оформляющий ее наиболее общие морфологические значения.

Если с точки зрения словообразовательной основа словоформы *при-сед-а-ть* является производной от *при-сес-ть* (которая является для нее производящей), образованной присоединением суффикса *-а-*, то с точки зрения морфологической (не историко-этимологической) эти основы, различающиеся видовым значением, противопоставлены своими суффиксами, оформляющими соответствующие грамматические значения: *при-сед-а-ть* ~ *при-сес-о-ть* — мена суффикса ведет к изменению видового значения основы. Менее общее значение прошедшего времени глаголов оформляется (в современном языке) присоединением к основе инфинитива суффикса *-л-* (*нес-л-а*, *писа-л-а*), которому противопоставлен нулевой суффикс, присоединяющийся к основе настоящего времени для оформления настоящего (несов. вид) или будущего (сов. вид) времени: *нес-о-ет*, *пиш-о-ет*, а присоединенный к той же основе суффикс *-ущ-/ащ-* оформляет действительное причастие настоящего времени: *нес-ущ-ий*, *пиш-ущ-ий*. И ни одна из этих основ с точки зрения морфологической не может рассматриваться по отношению к остальным как производная,

Грамматическая семантика суффиксов может быть не только комплексной [например, *-тел(ь)* указывает на часть речи и на принадлежность к классу имен мужского рода; *-вш-* указывает на принадлежность словоформы к действительным причастиям прошедшего времени], но и с п е ц и а л и з и р о в а н н о й. Например, *-л* в составе глагольной словоформы указывает только на прошедшее время: наклонение обозначается наличием или отсутствием частицы *бы* (ср.: *хоте-л-а* — *хоте-л-а бы*), а принадлежность к глаголу — флексиями (ср.: *уста-л-а* — *уста-л-ая*). Вместе с тем она может быть м н о г о з н а ч н о й и о д н о з н а ч н о й. Так, суффикс *-л* может указывать на время глагола и на принадлежность словоформы к разряду относительных прилагательных, следовательно, может функционировать как собственно морфологический и как словообразовательный; суффикс *-ик* может оформлять принадлежность к классу имен как мужского, так и женского рода: *печи-ик-о*, *странн-ик-о*; *землян-ик-а*, *черн-ик-а*; но суффикс *-тел(ь)* указывает на принадлежность к именам только мужского рода, а *-(н)ищ-* — только женского рода; *-вш-* всегда указывает на действительное причастие прошедшего времени и т. д.

§ 81. Учитывая различия в характере (в степени абстракции, несвязанности ~ связанности) грамматических значений, носителями которых являются разные виды аффиксов, целесообразно различать три типа функционирования аффиксов.

1. С л о в о и з м е н е н и е — функция аффиксов, включающих в свою семантику синтаксические значения, следовательно, определяющих (или оформляющих) на морфологическом уровне синтаксическую функцию словоформы. Основным средст-

вом словоизменения являются окончания, или внешние флексии, которые можно характеризовать как словоизменительные аффиксы.

2. **Ф о р м о о б р а з о в а н и е** — функция аффиксов, семантика которых включает только синтаксические грамматические значения и которые, следовательно, определяют (или оформляют) категориально-грамматические значения словоформы и всегда входят в состав ее основы. Основным средством формообразования являются морфологические суффиксы с несвязанным грамматическим значением. Примерами формообразующих аффиксов могут служить суффикс *-л*, который в составе главной словоформы (*ходи-л-о* — *ходи-л-а* — *ходи-л-и*) определяет (или оформляет) грамматическое значение прошедшего времени, или суффикс *-ви-*, который определяет (или оформляет) принадлежность словоформы к классу действительных причастий прошедшего времени.

3. **С л о в о о б р а з о в а н и е** — функция аффиксов с неграмматическим значением (грамматическое значение которых является связанным). Средствами словообразования в современном языке могут служить все аффиксы (включая окончания); в древнерусском же языке внешние флексии не отмечены в качестве средства словообразования.

Таким образом, словоизменение и формообразование противопоставлены друг другу как разные способы собственно морфологической аффиксации (мены аффиксальных морфем), связанные ~ не связанные с изменением конкретного синтаксического значения словоформ. А формо- и словообразование противопоставлены друг другу как способы аффиксации, не вызывающие ~ вызывающие изменения неграмматического значения основ, т. е. как собственно морфологический и словообразовательный способы аффиксации основ.

§ 82. Если исторические изменения функций морфологических единиц, т. е. изменения в плане содержания, как правило, определяются синтаксическими отношениями (тенденциями к дифференциации средств выражения синтаксических и несинтаксических грамматических отношений, к преодолению синтаксической синонимии и синтаксической омонимии и т. д.), то исторические изменения в оформлении аффиксов (включая утрату прежних и появление новых морфологических средств), т. е. изменения в плане выражения, непосредственно или опосредованно определяются исторически изменяющимися фонетико-фонологическими отношениями. Примером непосредственного отражения фонетико-фонологических изменений в перестройке морфологических единиц могут служить преобразования флексий именного склонения в результате падения редуцированных, изменения [e > 'o], [è > e] и т. д.: *стол-ѣ* > *стол-о*, *стоя-ѣмь* > *стол-ом*, *кон-ьмь* > *кон-ем* > *ко-[н'-о]м*, *(на) стол-ь* > *стол-е* (те же падежные значения оформляются новыми флексиями).

Новые фонетико-фонологические отношения нередко оказываются необходимым условием реализации собственно морфологиче-

ского процесса, определяемого синтаксическими отношениями. Так, только после осуществления изменения [e > 'o] и перестройки законов сочетаемости твердых ~ мягких согласных с передними ~ задними гласными (а также других фонетических изменений) создаются условия для реализации тенденции к преодолению синонимии падежных флексий — выразителей одних и тех же синтаксических отношений, в связи с чем, например в склонении существительных женского рода на -(')а, становится возможным единое оформление значения Т ед. ч.: *вод-ою* — *земл'ою* (ср.: др.-русск. *вод-ою* — *земл-ею*). Подобные процессы морфологического обобщения флексий (которые принято называть морфологической аналогией) могут иметь еще более опосредованную связь с перестройкой фонетико-фонологических отношений. Например, обобщение флексий твердого ~ мягкого вариантов склонения имен мужского рода в П ед. ч. (*на стол-е* — *на кон-е*; ср. др.-русск.: *стол-ь* — *кон-и*), безусловно, является процессом собственно морфологическим, не связанным с фонетическими или фонологическими изменениями (если ствлечься от оформления самого окончания бывшего твердого варианта <e < ê>). Но происходит это аналогическое обобщение флексий только после того, как в результате фонетических изменений окончания стали едиными во всех остальных падежах. Ср.:

др.-русск.	ст.-русск.	совр.
<i>стол-ь</i> , ко[н']-ь	<i>стол-о</i> , ко[н']-о	ко[н']-о
<i>стол-а</i> , ко[н']-а	<i>стол-а</i> , ко[н']-а	ко[н']-а
<i>стол-ьмь</i> , ко[н']-ьмь	<i>стол-ом</i> , ко[н']-ём > ко[н']-ом,	ко[н']-ом
<i>стол-ь</i> ко[н']-и	<i>стол-е</i> , ко[н']-и	ко[н']-е

§ 83. Результатом фонетических изменений является утрата славянскими языками такого древнего индоевропейского морфологического средства, как **и н ф и к с** — **ф о р м о о б р а з у ю щ и й а ф ф и к с**, **н а х о д и в ш и й с я в н у т р и к о р н я**.

Славянские языки (в том числе и русский) сохраняют отдельные глагольные формы, указывающие на то, что праславянским языком был унаследован глагольный инфикс *-n-, известный и другим индоевропейским языкам. Подобно тому, как, например, латинский корень *vic-* (ср. *vic-toria* — 'победа') образовывал основу настоящего времени посредством инфикса *-n- (ср.: *vic-i* — 'я победил', но *vinc-o* — 'побеждаю'), некоторые праславянские глагольные формы также образовывали основу настоящего времени с результативным значением (в современном русском языке — основа форм будущего простого времени) с помощью того же аффикса: от корня **lég-* (инфинитив **lég-ti* — ст.-сл. *leisti*, др.-русск. *лечи*, совр. *лечь* — *лег-л-а*) — **lěng-*; от корня **sēd-* (инфинитив **sēd-ti* — ст.-сл. *стыти*, др.-русск. *стыти*, совр. *сесть* — *сел* < *стль* < **sēd-l-ь*) — **sēnd-*. Известно, что в праславянском языке под влиянием тенденции к восходящей звучности слога сочетания гласных с носовыми согласными в закрытых слогах изменились в носовые гласные, поэтому основа **lěng-om* > **leg-ŏ* (ст.-сл. *лѣгъ*, русск. *ляг-у*), основа **sēnd-om* (после сокращения долгих гласных в закрытых слогах: **sēnd-*) > **sēd-ŏ* (ст.-сл. *сѣдъ*, русск. *сяд-у*).

Итак, при образовании соответствующих глагольных основ древнее противопоставление инфиксов $\emptyset \sim n$ в результате фонетических изменений оказалось преобразованным в противопоставле-

ние корневых гласных — историческое чередование \tilde{e}/e , в современном русском языке $e/'a$: *лег-/ляг-, сед-/сяд-*.

§ 84. Исторические чередования фонем — довольно распространенное средство как словообразования, так и формообразования и словоизменения (в последнем случае их обычно называют в н у т р е н н е й ф л е к с и е й). Наиболее древними из них являются исторические чередования корневых гласных. В древнерусском языке к таким чередованиям, характеризовавшим разные основы одного глагольного слова, кроме $e/'a$ (*лег-л-а — ляг-ѡ-у*), относились также $e/ь$, $o/ѡ$ и др.: *бер-ѡ-у — бьр-а-л-а, стел-ѡ-ю — стьл-а-л-а, зов-ѡ-у — зѡв-а-л-а*.

В связи с падением редуцированных в русском языке развились очень характерные чередования, получившие условное название беглых гласных, сопровождающие именное словоизменение. Это чередования гласных [е, о] с нулем звука, противопоставляющие основы разных словоформ, например прямого и косвенных падежей:

ветер-ѡ — ветѡр-а (др.-русск. *вьтр-ѡ — вьтр-а*),
лѣд-ѡ — л'ѡд-а (др.-русск. *лед-ѡ — лед-а*),
пес-ѡ — пѡс-а, пѡс-у (др.-русск. *пѡс-ѡ — пѡс-а*)

или

огон'-ѡ — огѡн'-а (др.-русск. *огн-ь — огн-и*),
ров-ѡ — рѡв-а (др.-русск. *ров-ѡ — ров-а*),
сон-ѡ — сѡн-а (др.-русск. *сѡн-ѡ — сѡн-а*).

Нулевой огласовкой противопоставлена также основе родительного падежа основа остальных падежей множественного числа имен женского и среднего рода: *весел-ѡ — весѡл-а* (др.-русск. *весл-ѡ — весл-а*); *сестѣр-ѡ — сестѡр-ы* (др.-русск. *сестр-ѡ — сестр-ы*); так же противопоставлены формы словоизменения кратких прилагательных: *полон-ѡ — полѡн-а* (др.-русск. *пѡлн-ѡ — пѡлн-а*), *прочен-ѡ — прочѡн-а* (др.-русск. *прѡчьн-ѡ — прѡчьн-а*).

В процессе развития праславянского языка сложились многочисленные чередования согласных (о происхождении чередований $g/ж$, $k/ч$, $x/ш$, $z/ж$, $s/ш$, $\delta/ж$, $t/ч$ и др. см. в курсе старославянского языка), которые к концу праславянской эпохи начинают функционировать как словообразовательные и морфологические средства. Морфологический характер таких чередований подтверждается их регулярным применением в тех словоформах, где они не могли развиваться фонетически в праславянском языке.

Яркий пример того — чередование губных согласных с сочетаниями «губной + [л']» (из прасл. $*mj$, $*rj$, $*bj$) в личных формах глаголов II спряжения: (*раз*)*гром-и-шь* — (*раз*)*гром-л-ю*, *куп-и-шь* — *куп-л-ю*, *люб-и-шь* — *люб-л-ю*. В древнерусском языке это чередование регулярно охватывает и основы на -ѡ (типа *лов-и-шь* — *лов-л-ю*), где фонетически оно не могло появиться (слав. *v* происходит из \tilde{u} перед гласными, поскольку перед согласными \tilde{u} вместе с предшествующим гласным составлял дифтонг, впоследствии подвергшийся монофтонгизации; именно поэтому из прасл. $*boj-jos$ в славянских языках находим $*bi-jь$ (ср. русск. *буйный*), а не «*бовль*», «*бовльный*»), как не могло оно появиться фонетически и в современных образованиях с *ф* (которого в праславянском вообще не существовало) — в случаях типа (*раз*)*граф-и-шь* — (*раз*)*граф-л-ю*.

Как собственно морфологическое средство чередования обычно сопровождают аффиксацию — мену окончаний или суффиксов.

§ 85. На грамматическом уровне словарный состав группируется в части речи, традиционно считающиеся наиболее общими грамматическими категориями языка, хотя они и не обнаруживают внутреннего грамматического единства, в связи с чем их нередко определяют как категории лексико-грамматические. Каждая часть речи объединяет слова (и словоформы), характеризующиеся общностью собственно морфологических категорий или единством синтаксических функций. Определяя историческую морфологию как науку о развитии грамматических категорий и форм их выражения и отграничивая ее, таким образом, от исторического словообразования и этимологии аффиксов неграмматического назначения, мы тем самым исключаем из этого раздела исторической грамматики историю служебных частей речи (предлогов, союзов и частиц) и неизменяемых знаменательных слов (наречий), поскольку эти части речи объединяются только общностью синтаксических функций и, как неизменяемые, не имеют собственно морфологических категорий и форм. В числе объектов исторической морфологии оказываются, следовательно, только знаменательные изменяемые части речи (имена с местоимениями и глаголы) в их историческом развитии.

Система каждого уровня языковой структуры складывается из взаимодействующих подсистем. Фонетико-фонологическую систему образуют подсистемы гласных и согласных; на морфологическом уровне в качестве таких подсистем можно рассматривать части речи, которые относительно автономны в своем историческом развитии, хотя, разумеется, и не изолированы друг от друга. Именно эта относительная автономность лежит в основе традиции рассматривать историю категорий и форм каждой части речи в отдельности.

Отношения между различными лексико-грамматическими категориями слов в системе языка неодинаковы. В кругу знаменательных частей речи, обладающих формами словоизменения, четко противопоставлены две группы — имена (существительные, прилагательные, числительные и грамматически связанные с ними местоимения) и сложная подсистема глагола: они противопоставлены как по набору основных морфологических категорий и средств их выражения (род и падеж имен, залог, вид, наклонение, время глагольных форм), так и по синтаксическим функциям. В системе древнерусского языка историческая первичность этого противопоставления подчеркивается меньшей дифференцированностью существительных и прилагательных, чем в системе современного русского языка, и отсутствием в группе имен особой категории слов для обозначения чисел (отсутствием числительного как особой части речи). Связь между указанными группами частей речи осуществляется через измененные формы глагола (например, причастия), которые по образованию и основным категориально-грамматическим значениям относятся к глагольным формам, а по синтаксической функции и, следовательно, по набору аффик-

сов, выражающих (или оформляющих) синтаксические отношения, — к именам.

Исторически изолированы от изменяемых частей речи неизменяемые — наречия и служебные слова. Старейшие из паречий этимологически связаны с местоименными корнями, а пополнение этой части речи уже в праславянском языке осуществлялось за счет синтаксически специализированных словоформ изменяемых частей речи, что непрерывно продолжает осуществляться на протяжении всей истории русского языка. Через паречия пополняется постоянно и набор служебных слов — союзов и предлогов, которые могут быть квалифицированы как лексические средства выражения синтаксических отношений. Но процессы эти, как указывалось, являются историко-словообразовательными, а не историко-морфологическими.

§ 86. Основные источники исторической морфологии те же, что и источники исторической фонетики, — памятники письменности и современные говоры, обследованные монографически или методами лингвистической географии. Однако возможности этих источников для реконструкции исторического развития разных уровней языка неодинаковы.

После блестящих исследований А. А. Шахматова сложилась традиция широкого привлечения диалектологических (а в последнее время и лингвогеографических) данных при изучении фонетических изменений или реконструкции диалектного варьирования фонетико-фонологических систем в разные периоды истории. Современная историческая фонетика (включая фонологию) практически уже не признает частных выводов или гипотез, которые бы целиком базировались на показаниях письменных памятников и не учитывали бы диалектологических свидетельств. Менее регулярно диалектологические данные привлекаются в исторической морфологии, которая прежде всего опирается на материал древних текстов и лишь в отдельных случаях обращается к свидетельствам современных говорков. Многие историко-морфологические концепции опираются исключительно на материал памятников или, во всяком случае (в отличие от историко-фонетических гипотез), исходят из преимущественного доверия к этому материалу, предпочитая его более разнообразным и подчас довольно противоречивым данным диалектологии. На свидетельства памятников ориентирована принятая в славянском языкознании хронологизация процесса перегруппировки типов именного склонения, а существующие гипотезы развития системы видо-временных форм русского глагола, как бы различны они ни были, фактически все опираются на показания текстов. Такое положение дел, если учесть провозглашаемую исторической грамматикой ориентацию на историю живой, в том числе диалектной (а для периодов, предшествующих началу формирования национальных отношений, прежде всего диалектной) речи, можно оценить только как парадокс, поддерживаемый научной традицией.

Дело не только в том, что памятники письменности не представляют непрерывно и систематически все основные восточнославянские диалектные территории с древнейшей эпохи и до нового времени, а встречающиеся в них свидетельства живой речи

никогда не отражают диалектную форму или новообразование в системных отношениях, ибо являются единичными, изолированными фактами, противоречащими системе норм письменного языка, а не принадлежащими ей. С этим обстоятельством приходится считаться при изучении истории любого уровня языковой структуры (в том числе и фонетико-фонологического). Но перед исторической морфологией, когда она обращается к показаниям сохранившихся текстов разных эпох, встают дополнительные трудности.

Нельзя не считаться с тем, что в системе форм *п и с ь м е н н а я н о р м а* обнаруживает наибольшую устойчивость, а ее исторические изменения, если они и связаны с воздействием развивающейся устной речи, вытесняющим традиционную форму, как правило, отражают речевую практику основных культурных центров соответствующей эпохи. Именно поэтому многие морфологические диалектные особенности, даже достаточно широкого распространения, совершенно не нашли отражения в памятниках письменности. Среди них, например, такие черты, как формы **И** *йон — йона — йоны*, очень важные для понимания процесса формирования современной категории личных местоимений, так называемый «новый перфект», без учета которого невозможна реалистическая реконструкция истории видо-временных форм глагола, и ряд других исторических новобразований, многие из которых, как указывают данные лингвистической географии, должны были распространяться не позднее XII в. и охватывают даже в наше время обширные диалектные ареалы смежных восточнославянских языков (но всегда за пределами основных культурных центров), а в прошлом могли быть и более распространенными.

Разумеется, факт фиксации в памятнике письменности морфологического новообразования или диалектизма чрезвычайно важен как свидетельство его реальности в данное время и на данной территории. Но такое свидетельство — исследовательская удача, на которую всегда надо надеяться, но на которую нельзя рассчитывать.

Например, обследование нескольких тысяч челобитных и писем, написанных в первой половине XVII в. в юго-западных районах Московской Руси писцами-непрофессионалами, в которых местные фонетические черты просматриваются не так уж редко, позволило обнаружить лишь два (!) бесспорных случая отражения диалектной формы *Р у рѣкъ* и *без грамоте* (не считая еще двух-трех примеров, которые могут объясняться по-разному), а между тем речь идет об очень характерной морфологической черте, которая, при любой ее исторической интерпретации, к XVII в., бесспорно, существовала в местных диалектах. Очевидно, что старейшие случаи отражения ее в местных текстах ни в коем случае не указывают на время и территорию «зарождения» этой особенности, а отсутствие примеров ее отражения, как убеждают данные лингвистической географии, не означает отсутствия самой этой черты в диалекте авторов сохранившихся документов.

Данные лингвистической географии оказываются, таким образом, необходимым «корректирующим» материалом в тех случаях, когда морфологические новообразования или диалектизмы прослеживаются по памятникам письменности, и единственным материалом для реконструкции истории тех морфологических явлений, которые (по разным причинам) не отмечены в древних

текстах, но явно претерпевали изменения на протяжении истории русского языка, включая его диалектные разновидности.

§ 87. Историю грамматических категорий и форм русского языка (как и других славянских языков) целесообразно начинать со времени распада праславянского языкового единства и обособления славянских диалектов Восточной Европы (восточнославянских). В этом случае имеется возможность последовательно проследить те направления развития, которые определяли специфику восточнославянской, а затем (велико)русской морфологической системы, сформировавшейся на базе поздней праславянской.

Поздняя праславянская морфологическая система, которая может рассматриваться как исходная для всех современных славянских языков, восстанавливается с помощью сравнительно-исторического изучения славянских языков и диалектов. А показания старейших восточнославянских памятников письменности, «проверенные» сопоставительным изучением морфологических особенностей собственно восточнославянских диалектов, позволяют выделить в ней те не общеславянские черты, которые либо уже в позднем праславянском языке были диалектными (не общеславянскими), либо развивались в период обособления восточнославянских говоров, составляя их специфику по отношению к другим славянским диалектам (или диалектным объединениям) эпохи раннего средневековья, когда складывались языки формирующихся славянских народностей, в том числе и древнерусский.

Если сопоставить набор категорий и форм, характеризующих современную русскую морфологическую систему, с системой, что восстанавливается для эпохи распада праславянского единства и затем зафиксирована в старейших древнерусских текстах (начиная с «Остромирова евангелия»), то мы получим полное представление о том комплексе вопросов, решение которых составит содержание исторической морфологии русского языка. Иными словами, задача исторической морфологии — проследить, как, когда и где (в плане диалектных взаимоотношений) осуществлялись те исторические изменения, в результате которых восстанавливаемая ранняя древнерусская морфологическая система преобразовалась в современную морфологическую систему, определить связь этих преобразований с изменением фонетико-фонологической системы русского языка и с развитием синтаксических отношений.

Сформулированные таким образом задачи исторической морфологии определяют последовательность рассмотрения истории каждой части речи: от описания «исходной» системы категорий и форм, в которой должны быть выделены специфические по сравнению с современным состоянием черты (т. е. те, которые претерпели изменения в процессе развития языка), — к рассмотрению источников, причин и первоначальных ареалов тех морфологических новообразований, которые развивались в кругу выделенных особенностей и к оценке той роли, которую сыграли эти новообразования в перестройке всей подсистемы (части речи) в целом. Естественно, что в общем курсе основное внимание окажется сконцентрирован-

ным на процессах, определивших специфику морфологической системы национального русского языка. Развитие диалектных особенностей, оказавшихся в период формирования национальных связей периферийными, может быть рассмотрено лишь в той степени, которая необходима для понимания общих тенденций развития морфологической системы русской национальной языковой нормы.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

КАТЕГОРИИ И ФОРМЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 88. Основными грамматическими категориями существительного в той системе, которая восстанавливается как исходная и которая характеризует язык старейших древнерусских памятников письменности, являются род, число и падеж. Свойственные также и другим именам (прилагательным, местоимениям, именным формам глагола), эти категории только в кругу существительных обладают специфическим содержанием, не сводимым к выражению синтаксических отношений. Характеризуясь различной степенью грамматической абстракции, род, число и падеж для древнерусских существительных были универсальными категориями, т. е. охватывали словоформы этой части речи во всем ее объеме. Не было существительных, которые на морфологическом уровне не характеризовались бы принадлежностью к одному из трех родов или оказывались бы вне противопоставления по числу и падежу и не изменялись бы по числам и падежам.

Частными (не универсальными), по существу, лексико-грамматическими (лексически ограниченными) были категории собирательности и лица, которые также могут быть выделены для древнерусских существительных. В силу лексико-грамматического характера этих категорий их содержание в процессе развития русского языка претерпевает качественные изменения: можно утверждать, что древнерусские категории собирательности и лица — это лишь этап (близкий к начальному) в развитии современных категорий собирательности и одушевленности. Так что при «наложении» современной системы существительных и древнерусской эти категории не совпадут не только по своему объему и характеру грамматических противопоставлений (как это можно констатировать для рода, числа и падежа существительных), но и по своему грамматическому значению.

§ 89. Наиболее общей является для существительных категория рода, последовательно распределяющая их на три класса слов — мужского, женского и среднего рода. В древнерусском языке универсальность этой категории проявлялась в том, что каждое существительное сохраняло определенную родовую принадлежность во всех своих формах (ср. в современном языке нейтрализацию родовых противопоставлений в формах множественного числа: *высокие столы, стсны, дзретья*). И именно это постоянство родовой характеристики выделяет существительные среди других имен, например прилагательных, которые по осталь-

ным, собственно формальным, показателям в древнерусском языке могли полностью совпадать с существительными; ср.: **И-В** ед. ч. *столъ — новъ*; **Р** *стола — нова*; **И** мн. ч. *столи — нози*; **Д** *столъ — новомъ*.

Родовая принадлежность имени существительного — это исторически сложившаяся абстрактно-грамматическая классификация, которая уже в праславянском языке не имела прямой связи с лексическим значением слова: принадлежность существительных *столъ* < прасл. **stōlōs* и *сторона* < прасл. **stōrna* соответственно к мужскому и женскому роду никак не подсказывается их неграмматическими значениями. Лишь в кругу существительных, обозначающих людей, продолжает сохраняться «память» о том, что по происхождению категория рода связана с понятием о реальном поле (мужской ~ женский); ср.: *моя сестра, жена — мой брат, муж*. Но даже и в этом случае как древнерусские тексты, так и современные говоры изредка дают примеры родовой характеристики, соответствующей формально-грамматическим показателям, а не реальному полу лиц, обозначаемых существительными. В первую очередь это касается наименований типа *владыка, воевода, слуга, старейшина, староста* (и *юноша*), а также образований типа *детина, купчина, мужчина*, которые всегда обозначали лиц только мужского пола и генетически являются именами мужского рода, но характеризуются аффиксами, обычно (за пределами наименований лица) являющимися показателями слов женского рода. Правда, в старейших текстах характеристика таких слов как имен женского рода, как правило, связана не с формами единственного числа (см.: *слуги моя подвизалы ся быша* в Остр. ев., для мужского рода должно быть *мои, подвизали ся*); однако в современных северных говорах это «противоречие» между грамматическим родом и полом отмечено и для форм единственного числа: *слуга моя верная* (в былинах), *бол'ша мужьщина* (запись П. С. Кузнецова в Заонежье); в текстах старейший достоверный пример зафиксирован в «Пчеле» по списку XIV—XV вв.: *видимая сотона*.

Подобные случаи чаще встречаются в кругу так называемых имен «общего рода», которые могут обозначать лиц обоего пола, но исторически являются существительными женского рода (типа *сирота, калека*), даже если они применяются по отношению к мужчине. Как старые тексты, так и современная норма в последнем случае отражают колебания в родовой характеристике таких существительных; ср. в южновеликорусских грамотах начала XVII в.: *Бьёт челом сирота твоя... Анисьица Васильева дочь* (Курск), но *Бьёт челом сирота твоя... Ивашко Торасов сынъ* (Севск); более обычно *сирота твои, сиротъ твоему* (Курск). «Противоречие» между грамматическим родом и полом нередко и в кругу слов многосзначных, продолжающих употребляться в своем первичном (исходном) значении в качестве существительных «немотивированного» женского рода, как, например, распространенное в старых текстах слово *голова*: *(Велел) осадной головъ Семёну Кологривову...* в Белевск. гр. 1594; *Велено ему в Курске быть... кобатицкою голо-*

вою в Курск. гр. 1628. Показательны колебания в родовой характеристике этого существительного при указании на должность: *Бил челом но меня курской осадной голова Мотвей Опухтин* в Курск. гр. 1621; *Послал... казачью голову Василья Тарбьева да стрелетцково голову Плакиду Темирязева* в Курск. гр. 1623. Закрепление за такими именами грамматического значения мужского рода, хотя оно и отразило воздействие представления о поле обозначаемого лица, следует рассматривать как результат грамматической дифференциации омонимов, оформившихся на базе переносного употребления слова, т. е. как результат собственно языкового процесса; ср.: *умная голоза* — 'часть тела', *умный голова* — 'должностное лицо'.

Старые великорусские тексты отражают собственно грамматическое содержание категории рода и в примерах сохранения принадлежности к среднему роду уменьшительно-ласкательных (а в канцелярском языке и уничижительных) образований с суффиксами *-ушк-*, *-ишк-*, *-онк-* (т. е. исторически действительно относившихся к среднему роду), обозначающих лиц: *сынишко моё*, *попадъишко моё* в шуйских грамотах XVII в. Современную грамматическую характеристику таких образований как существительных соответственно мужского или женского рода (*мой сынишка*, *моя попадъишка*), нельзя оценивать как результат закрепления связи «грамматический род ← пол», ибо то же изменение коснулось и неодушевленных существительных, «немотивированный» грамматический род которых оказался соотносительным с родом производящего имени: например, *мой осадной дворнишко* (ср. *мой двор*), *за ту мою службишку* (ср. *ту мою службу*) в курских грамотах начала XVII в. Впрочем, в южновеликорусских текстах XVII в. образования от имен мужского рода чаще оформляются как существительные среднего рода (*тэ моё дворнишко*). А в северных (олонецких) говорах П. С. Кузнецовым еще в 40-х годах XX в. зафиксированы формы типа *фс'о кофтушко* (ср. *вся кофта*), которые можно встретить в актах XVII в., составленных не только на севере, но (иногда) и на юге (типа *моё деревнишко*, *моё клячонко*).

§ 90. На морфологическом уровне родовая принадлежность существительных в древнерусском языке оформлялась непоследовательно. Обязательным однозначным показателем принадлежности к определенному роду были лишь отдельные флексии: *-о/-е* в **И-В** ед. ч. и *-а(-я)* в **И-В** мн. ч. — как показатели принадлежности существительного к среднему роду; *-ъ* в **И-В** ед. ч. и *-ие* в **И** мн. ч. — как показатели принадлежности к мужскому роду. Внутри отдельных типов склонения показателем родовой принадлежности были флексии **Т** ед. ч. *-ию* (жен. р.) и *-ьль* (муж. и ср. р.). Однако подавляющее большинство флексий не имело однозначной связи с родовой классификацией существительных.

Более последовательным (хотя и не обязательным) показателем принадлежности к определенному роду были словообразующие суффиксы. Правда, некоторые древние, праславянские по происхождению (и общеславянские по распространению),

суффиксы могли характеризовать производные, относившиеся к разным родовым классам. Так, посредством суффикса *-ѣк-* образованы имена как мужского, так и женского рода: *сѣпис-ѣк-ѣ*, *гор-ѣк-а*; суффикс *-ѣц-* мог образовывать существительные всех родов: *молд-ѣц-ѣ*, *дѣвр-ѣц-а*, *кол-ѣц-е*. В еще большей степени это относится к суффиксам, которые в древнерусском языке в результате переразложения основ уже относились к корню, например **-п-* в отглагольных образованиях *станѣ* (этимологически *ста-н-ѣ* от *ста-ти*), *данѣ* (*да-н-ѣ* от *да-ти*), *сукно* (*сук-н-о* от *суч-и-ти*); **-г-* в образованиях типа *дарѣ* (этимологически *да-р-ѣ* от *да-ти*), *мѣра*, *ребро*; **-л-* в словах *тылѣ*, *жила* (*жи-л-а* от *жи-ти*), *быль* (*бы-л-ѣ* от *бы-ти*), *дѣло* [этимологически *дѣ-л-о* от *дѣ(я)-ти*] и др., которые характеризовали имена, относившиеся ко всем родам. Но усложненные варианты таких суффиксов, еще отчетливо выделяющиеся в словообразовательном составе производных имен в эпоху древнерусских памятников, как правило, однозначно характеризуют род существительных; см., например, образования с суффиксами *-сн-/-зн-ѣ* (*плѣ-сн-ѣ* от *плѣ-ти*, *жи-зн-ѣ* от *жи-ти*), *-ѣл-/-'ал-ѣ* (*гыб-ѣл-ѣ*, *печ-ал-ѣ*), которые образуют только имена женского рода.

Носителями однозначной родовой характеристики оказывается большинство продуктивных словообразующих суффиксов. Так, производные с суффиксами *-(ѣн)иц-а* (*вѣлч-иц-а*, *гор-ѣн-иц-а*, *дѣв-иц-а* — с разными словообразовательными значениями), *-об-а* (*жал-об-а*, *худ-об-а*), *-ѣб-а* (*бор-ѣб-а*, *сват-ѣб-а*), *-ост-ѣ/-ест-ѣ* (*жал-ост-ѣ*, *тяж-ест-ѣ*) и др. обязательно входили в класс существительных женского рода, а производные с суффиксами *-(ѣн)ик-ѣ* (*плот-ѣн-ик-ѣ*, *стар-ик-ѣ*), *-'ан-ин-ѣ* (*горож-ан-ин-ѣ*, *деревл-ян-ин-ѣ*), *-ич-ѣ* (*крив-ич-ѣ*, *Ярослав-ич-ѣ*), *-тел'-ѣ* (*сѣя-тел-ѣ*, *учи-тел-ѣ*), *-ар'-ѣ* и *-'ар-ѣ* (*знах-ар-ѣ*, *гусл-яр-ѣ*) были только именами мужского рода; только к среднему роду относились образования с суффиксами *-ѣств-о* (*лукв-ѣств-о*, *род-ѣ-ств-о*) и *-(ѣ)н[й]л-ѣ* (*сѣбѣра-н[й]л-ѣ*, *сѣпас-ен[й]л-ѣ*).

Универсальным показателем рода были флексии согласуемых слов (местоимений, прилагательных, причастий), являвшиеся обязательным (а в подавляющем большинстве случаев единственным) средством выражения родовой принадлежности существительного. Ср.: *сестра*, *земля*, *печаль*, *свекры* — *наш-а*, *нов-а(я)*; *воевода*, *судия*, *столѣ*, *конѣ*, *гостѣ*, *камѣ* — *наш-ѣ*, *нов-ѣ(и)*; *село*, *племя* — *наш-ѣ*, *нов-о(ѣ)*; то же в косвенных падежах: *сестр-ы*, *земл-ѣ*, *печал-и*, *свекрѣв-ѣ* — *наш-ѣи*, *нов-ы(-ѣи)*, но *воевод-ы*, *судѣ-ѣ*, *кон-ѣ*, *гост-и*, *камен-ѣ* — *наш-ѣго*, *нов-а(-ѣго)*. В древнерусском языке окончания согласуемых слов оформляли родовую принадлежность существительного не только в единственном, но и в других числах, например во множественном числе: *сестр-ы*, *земл-ѣ*, *печал-и* — *наш-ѣ*, *нов-ы(ѣ)* (жен. р.); *воевод-ы*, *судѣ-ѣ*, *кон-и*, *гост-ѣ* — *наш-и*, *нов-и(и)* (муж. р.); *сел-а*, *пол-ѣ*, *племен-а* — *наш-а*, *нов-а(я)* (ср. р.).

Грамматический род, таким образом, предстает перед нами как диалектически противоречивая категория, ибо, являясь (в плане содержания) обобщающим морфологическим классификатором

существительных как части речи, категория рода последовательно оформляется (в плане выражения) только на синтаксическом уровне — флексиями согласуемых слов и лишь факультативно — на морфологическом уровне — посредством словообразующих и словоизменительных аффиксов.

§ 91. Категория числа существительных в древнерусском языке в значительной степени сохраняла «предметную» соотнесенность — связь с указанием на единичный предмет, на пару или большее число предметов, что оформлялось (в плане выражения) с л о в о и з м е н и т е л ь н ы м и а ф ф и к с а м и — внешними флексиями. Старейшие тексты (подобно старославянским) отражают систему трех числовых форм — е д и н с т в е н н о г о числа: *столъ, сестра, село, плече* (указание на единичный предмет или лицо), д в о й с т в е н н о г о числа: *стола (дъва), сестръ (дъвь), сель (дъвь)* (как и *руць, плечи* — только ‘две руки’, ‘два плеча’, т. е. указание на два или неразрывную пару предметов) и м н о ж е с т в е н н о г о числа: *столи, рѹкы, сѣстры, сѣла, плеча* (указание на число предметов, большее, чем два: три, четыре и т. д.).

Регулярность числовых противопоставлений как функция словоизменения существительного в древнерусском языке проявлялась в возможности образования форм числа именами с отвлеченным, вещественным или собирательным значением, на что обратил внимание В. М. Марков, собравший убедительные примеры из текстов старейшей поры; ср.: *Жены их творять ту же скверну. — Погубить вся творящая безаконие и скверны днѹющая; Изби мразъ всяко жито. — Поби мразъ жита вся; Сии князь проля кровь свою. — Мученици проляша крови своя; человекъ съдѹть в доспѣсть — б человекъ в доспѣсехъ; Съ одежи и съ обуви и со всякихъ запасовъ тамги... не имали. — Нача на ногах своих обуви мазати жиром¹; ср. также: *И шьдѹше весь народ* пояша и из монастыря. — *И христоименитое людство по немъ идоша и мнози народи, испущающе слѣзы* в Новг. лет. С позиций носителя современного русского языка (в грамматической системе которого изменение формы числа в таких случаях невозможно без изменения собственно лексического значения: только *скверна, обувь, народ* и т. п., а если *народы*, то уже не ‘люди, толпа’, а ‘представители разных племен, наций’), в большинстве приведенных примеров трудно обнаружить какие-либо различия в употреблении разных форм числа; однако в некоторых случаях контекст позволяет заметить, что числовые различия обусловлены опосредованной предметной соотнесенностью: *кровь, доспех* (ед. ч.) — по отношению к отдельному лицу; *крови, доспехи* (мн. ч.) — по отношению ко многим лицам.*

§ 92. На фоне словоизменительной регулярности числовых противопоставлений, охватывавшей существительные с различными общими лексическими значениями, в морфологической системе древ-

¹ См.: Марков В. М. Историческая грамматика русского языка, Именное склонение. М., 1974, с. 20.

нерусского языка выделяется частная категория собирательности, грамматически не совпадающая с понятием собирательности в современном русском языке и не покрывающая лексико-семантические разряды существительных с собирательным значением в самом древнерусском языке.

Если в современном языке категория собирательности, по наблюдениям В. В. Виноградова, объединяет «слова, обозначающие совокупность лиц, предметов, мыслимых как коллективное или собирательное единство, как одно неделимое целое», и «находит свое грамматическое выражение в отсутствии форм множественного числа»¹ (ср.: *беднота, бельё, народ, обувь*), т. е. является, по существу, категорией лексико-грамматической, то в древнерусском языке значение «совокупности, единства, неделимого целого» не может служить основанием для выделения особого морфологического разряда существительных, ибо не затрагивает их словоизменения по числам. Категория собирательности в древнерусском языке выделяется как функция формования (без изменения собственно лексического значения) предметных (не отвлеченных), в том числе и личных, существительных, которые, наряду с формами множественного числа, могли с помощью суффиксов образовывать формы единственного числа со значением множественности (совокупности), в свою очередь изменявшиеся по числам, т. е. как и имена со значением единичных предметов, включавшиеся в систему числовых противопоставлений. Наряду с формами единственного числа *кѣнязь* (от форм двойственного числа, например *кѣ объма князема*, отвлечемся, так как они не показательны при определении специфики категории собирательности) и множественного числа *кѣнязи* (например, *Идоуть роустии князи противоу имѣ. и послаши послы кѣ роусскимъ княземъ* в Новг. лет.) известны также формы единственного числа со значением совокупности, единства — *кѣнязия* (*кѣняз-[й]л-а*), где это значение выражено суффиксом *-йл-* в сочетании с принадлежностью к классу имен женского рода. Ср.: *Не ходили... со всею князьею но сами поидоша особь; Святославъ... възвратися з Києву со всею князьею* в Лавр. лет. — при возможности образования форм множественного числа *кѣнязиь* (*кѣнязии, кѣнязиямъ* и т. д.). Подобные собирательные имена женского рода с личным значением, соотносимые с формами единственного-множественного числа со значением единичности, известны в современных говорах и встречаются не только в древнейших, но и в более поздних местных текстах: *Поимали курскихъ стрелцов жен и детей дядью и братью* в Курск. гр. 1637.

Еще шире параллельные образования со значением собирательности известны в ряду существительных с неличным значением, где суффикс собирательности сочетается с принадлежностью соответствующих словоформ к классу имен среднего рода. Например: ед. ч. *трупъ* (*Не наречеться человекъ, но трупъ* у К. Туровского) —

¹ См.: Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). 2-е изд. М., 1972, с. 131—132.

мн. ч. *трупы* (*Зогзици кокуютъ на трупы падаючи* в «Задонщине») — с тем же значением множества собирательное ед. ч. *труп*-[йј]-е (*По търгоу трупие, по оулицямъ троупие* в Новг. лет.) — мн. ч. *труп*-[йј]-а (*Но часто врани граяхуть трупия себь дяляче* в Сл. ПИ). Аналогично: *камень* (более раннее *камь*) — *камене* и параллельно формы обоих чисел с собирательным значением: *камене* (*каменье*) — *каменья* (мн. ч. *каменья*), *корень* — *корене* и с тем же значением ед. ч. *корение* (*коренье*) — мн. ч. *корения* (*коренья*).

В плане соотносительности грамматического значения числа и предметного (реального) числа в приведенных выше случаях представлены ряды форм, в которых «последний» член первого ряда (*кѣязи, трупы* — множество индивидуальностей) совпадает по значению с «первым» членом второго ряда (*кѣнязь, трупье* — единственное число как идея совокупности, единства), завершающегося формой, которая теоретически должна указывать на множество совокупностей, хотя с позиций носителя современного языка этого значения у форм множественного числа собирательных образований в известных древнерусских примерах не ощущается (ср.: *трупие* — *трупия*). С точки же зрения лексико-семантической собирательные существительные выступают в древних текстах как с и н о н и м ы форм множественного числа имен со значением единичных предметов или лиц, хотя уже встречаются и случаи нарушения этой синонимии (ср. приводившиеся ранее различия между *братъ* — *брати* — ‘родственники, принадлежащие к одному поколению’, и *(вся) братия* > *братья* — ‘товарищи, сподвижники’).

Таким образом, в древнерусском языке категория собирательности как явление грамматическое не совпадает со значением собирательности на лексико-семантическом уровне и представляет собой разряд словоформ, в которых отношение к реальной численности предметов выражено не противопоставлением флексий единственного-множественного числа, а формообразующими аффиксами, присоединяющимися к корням, лексическое значение которых не включает идеи собирательности.

§ 93. Категория падежа связана с функционированием имен в предложении и может быть определена как система синтаксических значений, закрепленных за формами словоизменения существительных.

Синтаксические значения могут выражаться окончанием словоформы существительного или сочетанием словоформы с предлогом. Например, словоформа с окончанием винительного падежа (без предлога) указывает на функцию прямого дополнения — охват действием всего объекта (*вылить воду*); та же словоформа в сочетании с предлогом *в* указывает на направление действия (*вылить в воду*), а словоформа с флексией предложного падежа в сочетании с тем же предлогом — на место осуществления действия (*купался в воде*). Некоторые падежные формы (например, именительный падеж) никогда не сочетаются с предлогом, а словоформы с флексиями предложного падежа в современном языке никогда не употребляются без предлога. В древнерусском языке словоформы всех падежей могли употребляться (выражать соответствующие синтаксические значения) без предлога, в связи с чем ни один падеж не может быть назван «предложным».

Одно и то же падежное значение в разных группах имен, даже при одном и том же числовом значении, выражалось **р а з н ы м и ф л е к с и я м и** (например, **Р** ед. ч.: *вод-ы, земл-ь, стол-а, дом-у, гост-и, камен-е*), которые, следовательно, были **с и н о н и м и ч н ы м и**. А одна и та же флексия даже в одной и той же группе имен может выражать разные падежные значения (например, в словоформе *гост-и* флексия может указывать на значения **Р, Д, М, В** в сочетании с разными числовыми значениями). Путем соотнесения возможных синтаксических (падежных) значений с реально существующими в языке сериями словоизменительных аффиксов (флексий) определяется система падежей данного языка. В древнерусском языке таким образом выделяется (как и в современном литературном языке) шесть падежей: **и м е н и т е л ь н ы й** — падеж главного члена предложения, **в и н и т е л ь н ы й** — падеж прямого дополнения, **р о д и т е л ь н ы й** — падеж отношения и границы перемещения в пространстве, **д а т е л ь н ы й** — падеж косвенного дополнения, **т в о р и т е л ь н ы й** — падеж орудия или способа действия, **м е с т н ы й** — падеж нахождения (локализации действия) в пространстве или во времени, а также изъяснения; кроме того, в древнерусском языке (как и в старославянском) большинство существительных мужского и женского рода в единственном числе имело особую форму обращения, которую принято называть **з в а т е л ь н ы м** падежом, хотя, употребляясь только в функции обращения, эта форма всегда оказывалась вне синтаксических отношений.

Несходство основных значений родительного падежа является яркой иллюстрацией оснований выделения реально существующих в языке падежей. В ряде древних индоевропейских языков значения, указанные для родительного падежа, оформляются разными флексиями, что позволяет выделять в этих языках разные падежи (родительный и отложительный, или исходно-достигательный). В древнерусском языке ни в одной группе имен эти два значения не оформлялись разными окончаниями, поэтому, несмотря на несходство значений, выделяется лишь один родительный падеж. Вместе с тем, например, существительное *гость* не только в этих значениях, но и в значении косвенного объекта функционировало в одной и той же словоформе *гости*; однако тот факт, что в других группах имен эти синтаксические значения закреплены за словоформами с разными флексиями (например, *стол-а, стол-у*), позволяет выделять в древнерусском языке разные падежи и считать, что у некоторых групп существительных **ф л е к с и и р а з н ы х п а д е ж е й** были **о м о н и м и ч н ы м и** (**Р-Д-М** *гост-и*).

Поскольку комплексная грамматическая семантика именных словоизменительных аффиксов, наряду с падежными, включала также и числовые значения, точнее было бы называть их не падежными, а падежно-числовыми флексиями. Обязательно указывая на падеж и число, флексии существительных факультативно могли нести информацию и об отношении словоформы к родовым классам. Так, в словоформе *сел-о* флексия указывает не только на **И-В** ед. ч., но также и на принадлежность словоформы к классу имен среднего рода; в словоформе *стол-ьмь* флексия, кроме указания на **Т** ед. ч., сообщает также о принадлежности словоформы к неженскому роду.

§ 94. Анализ грамматических значений падежных (падежно-числовых) флексий позволяет выделить в древнерусском языке

частную грамматическую категорию лица, которая не совпадает со значением лица на лексико-семантическом уровне и затрагивает особенности словоизменения отдельных групп существительных мужского рода со значением лиц мужского пола. При этом круг существительных, охватываемых этой категорией в языке ранних древнерусских (как и старославянских) текстов, указывает на ее формирование в период перехода от общинно-родовых к раннефеодальным отношениям.

Дело в том, что в старейших славянских письменных памятниках категория лица как явление грамматическое наиболее последовательно проявляется в совпадении формы **В-Р** ед. ч. существительных мужского рода собственных (*Володимѣръ, Исусъ, Ярославъ* и т. д.) и нарицательных типа *кѣнязь* (которые исторически имели форму **В** ед. ч., совпадающую с формой **И**), если они обозначали лиц мужского пола, занимавших господствующее положение в семейной или общественной иерархии¹: она охватывает такие существительные, как *господинъ, кѣнязь, мужь* ('взрослый мужчина, свободный гражданин'), *отць, цѣсарь* и др. (включая *богъ*), но за ее пределами оказываются такие наименования лиц мужского пола, как *вѣнукъ, сынъ, рабъ, смьрдъ, холопъ, челядинъ* и др. См.: *Поидоша сынове на отця братъ на братъ рабъ на господина господинъ на рабъ* в Новг. лет. Показательны случаи, когда слово *человѣкъ*, обычно включающееся в категорию лица, оказывается вне ее, если используется в значении 'слуга, наемный работник': *Пришли ми цоловѣкъ на жерепецъ* в Новг. гр. № 43. Очень последовательно охватывались категорией лица имена собственные, склонявшиеся по типу *братъ*: *посѣла Володимѣра, остави Вѣсьволода*.

То, что в древнерусском языке категория лица, опираясь на реальные социальные отношения, тем не менее была собственно грамматическим (словоизменительным) явлением, подтверждается примерами, в которых разные существительные, обозначающие одно и то же лицо, принимают разную форму **В**: *А сынъ посади Новгородѣ Вѣсьволода на столъ* в Новг. лет.; *И посла къ нимъ сынъ свои Святослава* в Ип. лет. С конца древнерусского периода, судя по памятникам, категория лица обнаруживает тенденцию к распространению на все существительные мужского рода со значением лица: *Посла к ним сына* своего; *А сына посади Переяславли*; *Посла... тивуна* своего в Сузд. лет.; ср.: *А что пошло ти княже тиоунъ свои держати* в Новг. гр. 1264—65.

Менее последовательно категория лица оформляется путем грамматической дифференциации флексий **Д** (ед. ч.): охватываемые ею существительные мужского рода явно предпочитают окончание *-ови/-еви*, противопоставленное окончанию *-у* остальных имен того же типа: *Вѣздаша хвалоу богови* в Остр. ев.; *Отдати Боуицъ*

¹ Аргументированный анализ возражений против социально-исторической обусловленности грамматической категории лица, как она проявляется в древнейших славянских текстах, см.: *Кузнецов П, С*, Очерк исторической грамматики русского языка, М., 1959, с. 92—98.

с(вято)моу Георгиеви в Мст. гр.; *Рекоша дружина Игореву* в Лавр. лет. и др., в том числе и в берестяных грамотах XI—XII вв. из Новгорода: *Посъли къ томуу моужеву; къ Стоянови; Несъдичеву* (= *Несодичу*) и др. Любопытно, что примеры употребления Д с окончанием *-ови/-еву* в кругу неличных имен, как правило, связаны с их персонификацией (олицетворением); ср.: *Покланяющи же ся крѣстови побѣждаютъ диявола... — За всякоу бѣдоу волноюу и невольноюу крѣста помощника призывая* в Усп. сб.

ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 95. Богатая синонимия флексий, выражавших основные грамматические значения существительного, позволяет выделить в древнерусском языке несколько серий падежно-числовых флексий, составляющих систему не совпадающих друг с другом флективных парадигм, которые принято называть **типами склонения**.

Каждый из типов склонения, восстанавливаемых для периода старейших восточнославянских памятников, не обнаруживает актуальных для этого времени грамматических признаков противопоставления другим типам склонения и объединяет словоформы, лишь этимологически связанные с определенным типом очень древних, индоевропейских именных основ, подвергшихся переработке в процессе развития праславянского языка. В связи с этим для начальной эпохи развития древнерусского языка, как и старославянского, в историко-грамматической традиции типы склонения принято характеризовать по тем показателям индоевропейских именных основ (по тем тематическим гласным), которые исторически определили особенность каждой из реально существовавших в древнерусском языке синонимических флективных парадигм. Однако в этой традиционной классификации древнерусского именного склонения существенный недостаток заключается в том, что само число реальных флективных парадигм, которые можно назвать словоизменительными классами существительных, значительно превышает число индоевропейских показателей именной основы и соответственно число традиционно выделяемых для древнерусского языка типов склонения. В связи с этим, не нарушая традиции, классификацию древнерусского именного склонения удобнее всего представить как **д в у х с т у п е н ч а т у ю**, чтобы каждый тип склонения объединял словоизменительные классы, этимологически связанные с одним и тем же индоевропейским показателем именной основы.

§ 96. Тип склонения, исторически связанный с индоевропейскими основами на **-ā* или **-jā*, объединяет два (I—II) словоизменительных класса существительных женского и мужского (только со значением лица) рода. Между флексиями обоих словоизменительных классов существовали строго определенные соответствия, обусловленные разной исторической судьбой тематического **-ā* после твердого или исконно смягченного (основы на **-jā*) согласного:

Число, падеж	Словоизменительные классы				
	I класс (основы на *-ā)		II класс (основы на *-ja)		
Ед.ч.	И В Р Д Т М Зв.	<i>вод-а,</i> <i>вод-у,</i> <i>вод-ы,</i> <i>вод-ъ,</i> <i>вод-ою,</i> <i>вод-ъ,</i> <i>вод-о!</i>	<i>слуг-а</i> <i>слуг-у</i> <i>слуг-ы</i> <i>слуг-ъ</i> <i>слуг-ою</i> <i>слуг-ъ</i> <i>слуг-о!</i>	<i>земл-я,</i> <i>земл-ю,</i> <i>земл-ъ,</i> <i>земл-и,</i> <i>земл-ею,</i> <i>земл-и,</i> <i>земл-е!</i>	<i>судия</i> <i>судию</i> <i>судить</i> <i>судии</i> <i>судиею</i> <i>судии</i> <i>судие!</i>
Дв.ч.	И-В Р-М Д-Т	<i>вод-ъ,</i> <i>вод-у,</i> <i>вод-ама,</i>	<i>слуг-ъ</i> <i>слуг-у</i> <i>слуг-ама</i>	<i>земл-и,</i> <i>земл-ъ,</i> <i>земл-яма,</i>	<i>судии</i> <i>судию</i> <i>судилама</i>
Мн.ч.	И-В Р Д Т М	<i>вод-ы,</i> <i>вод-ъ,</i> <i>вод-амъ,</i> <i>вод-ами,</i> <i>вод-ахъ,</i>	<i>слуг-ы</i> <i>слуг-ъ</i> <i>слуг-амъ</i> <i>слуг-ами</i> <i>слуг-ахъ</i>	<i>земл-ъ,</i> <i>земл-ь,</i> <i>земл-ямъ,</i> <i>земл-ями,</i> <i>земл-яхъ,</i>	<i>судить</i> <i>судии</i> <i>судиямъ</i> <i>судиями</i> <i>судияхъ</i>

Различий в склонении существительных обоих родов не было. Имена, основа которых оканчивалась исконноослабленным с в и с т я щ и м согласным (типа *дввиц-а*, *убоиц-а*), склонялись по II классу: **Р** *дввиц-ъ*; **Д** *дввиц-и* и т. д.

Наиболее резко флексии обоих словоизменительных классов противопоставлялись в единственном числе — общими они были здесь только в **И**, **В**; в остальных числах различия, напротив, наблюдаются именно в этих падежах и в **Р** мн. ч. (см. табл. склонения). Поскольку, как указывалось, эти различия определены собственно фонетическими изменениями, происходившими в праславянском языке, они соотносительны не только внутри данного типа склонения, но и в других словоизменительных парадигмах, оформившихся в результате дифференциации «твердого ~ мягкого» вариантов (в других типах склонения существительных, в склонении прилагательных и местоимений, некоторых глагольных формах). Формула этих соответствий затрагивает качество первого гласного флексии, а именно:

если в «твердом» варианте -о-, то в «мягком» -'е-

»	»	»	-ѡ-	»	»	-'ѡ-
»	»	»	-ѡ-	»	»	-'ѡ-
»	»	»	-ѡ-	»	»	-'ѡ-

«Формула соответствия», между прочим, указывает на то, что конечный -и в форме **Р** мн. ч. *судии* (также *мѡлнии*, *свинии* и т. д.) был редуцированным, фонетически образовавшимся в результате слияния флексии -ѡ с предшествующим -/и- основы: *суд[иѡ-ь]*, (ср.: *вод-ъ*, *земл-ь*). В то время как в остальных случаях, там, где ему соответствуют окончания -ъ ~ -и, он был гласным полного образования, например в **Д-М** ед. ч., *суд[иѡ-и]* (ср.: *вод-ъ*, *земл-и*).

В текстах в ряде падежей встречаются флексии, которые не указаны в приведенной таблице, поскольку они по разным причинам не могут быть отнесены к особенностям склонения начального периода развития древнерусского языка. Прежде всего это касается флексий, которые по происхождению являются старославянскими и никогда не характеризовали живую речь, а в собственно древнерусских текстах должны рассматриваться как церковнославянизмы и представляют интерес лишь в плане истории литературного языка. Такова флексия *-и* в **И** ед. ч. некоторых групп существительных II класса, встречающаяся достаточно часто не только в старейших, но и в более поздних восточнославянских памятниках: *кѣнягыни, мѣлши, судши*. Никаких следов этой флексии в восточнославянских говорах нет, а в памятниках (начиная с «Остромирова евангелия») встречаются примеры с окончанием *-а* (орфографически *-ѧ* или *-ѧ*), которое в живой речи распространилось в результате аналогического выравнивания флексий одного склонения (как *вод-а, земл-я*), видимо, еще в дописьменную эпоху: *мѣлшия, пустыня, судия*. Очень распространена в древнерусских текстах типично церковнославянская флексия *-а* (орфографически *-ѧ* или *-ѧ* — восточнославянская передача старославянской флексии *-ѧ*) в соответствии с *-ь* II класса (следовательно, в **Р** ед. ч. и в **И-В** мн. ч.): *отѣ земл-я, единѣ отѣ брати-я, мѣногы суди-я, умыкиваху дѣвиц-я*. Некоторые окончания, встречающиеся изредка уже в старейших текстах, отражают процесс перегруппировки исходной для древнерусского языка системы склонения существительных, а потому не должны учитываться при реконструкции этой исходной системы, если нет оснований считать их диалектными праславянскими.

Флексия *-ь* в словоформах I класса (см. **Д-М** ед. ч., **И-В** дв. ч.) представляла собой гласный дифтонгического происхождения, поэтому при склонении существительных с основой на задненёбный согласный перед этим окончанием оказывались мягкие свистящие согласные (по так называемому II переходному смягчению задненёбных): *слуг-а — слуз-ь, рук-а — руц-ь*.

Чередования задненёбных со свистящими продолжают сохраняться в формах словоизменения существительных в украинском и белорусском языках: укр. *дорога — по дорозі, рука — на руці*; бел. *нага — к назе, рука — на руце*. Русский язык утратил эту черту в результате обобщения основы, что произошло после изменения [кы > к'и] и т. д. и окончательного сложения новых фонологических отношений, допускающих сочетания задненёбных с гласными переднего ряда. Морфонологическое обобщение основ оказалось собственно великорусской особенностью потому, что происходило оно в северных восточнославянских диалектах, в том числе в северо-восточных, на базе которых с XIV в. формируется язык великорусской народности. В северных (прежде всего новгородских) памятниках результаты реализации тенденции к обобщению основы на задненёбный отражаются уже с XI в.: *рабоу своему Дѣмѣкѣ* в записи на полях Мин. 1096; *кѣ Коулотѣкѣ, ко Оуике* в Новг. гр.

XII; на *Местятке*, на *туске* в Новг. гр. XIII; в *Пудогль*, в *Пудоги*, по *бьлки* в Новг. гр. XIV. Вряд ли случайно, что все примеры связаны либо с местными (нехристианскими) именами и топонимами (*Пудога* — поселение к востоку от Онежского озера), либо с диалектизмами (*туска* — ‘вид подати’, *белка* — ‘местная единица расчета’), т. е. словами, отсутствующими в церковных книгах и не имевшими «образцов» склонения, кроме тех, которые существовали в живой речи. Это говорит о том, что в северных восточнославянских говорах задненёбные перед гласными переднего ряда оказываются возможными достаточно рано, в то время как в письменности чередования *г/з*, *к/ц* продолжают сохраняться и после XIV в. (в том числе и в новгородских памятниках).

§ 97. Тип склонения, исторически связанный с индоевропейскими основами на *-*ō* или *-*jō*, объединяет четыре (III—VI) словоизменительных класса существительных мужского и среднего рода. Парадигмы имен среднего рода последовательно противопоставлены парадигмам имен мужского рода в **И-В** всех чисел; парадигмы существительных одного рода противопоставлены флексиями, различия между которыми обусловлены разной судьбой тематического *-*ō* после твердого и исконно смягченного (основы на *-*jō*) согласного:

Число, падеж	Мужской род		Средний род	
	Словоизменительные классы			
	III класс (основы на *- <i>ō</i>)	IV класс (основы на *- <i>jō</i>)	V класс (основы на *- <i>ō</i>)	VI класс (основы на *- <i>jō</i>)
Ед. ч. И	<i>стол-ъ</i> <i>бог-ъ</i> ,	<i>отьц-ь</i> , <i>кон-ь</i>	<i>сел-о</i>	<i>корение</i>
В	<i>стол-ъ</i> <i>бог-а</i> ,	<i>отьц-я</i> , <i>кон-ь</i>	<i>сел-о</i>	<i>корение</i>
Р	<i>стол-а</i> <i>бог-а</i> ,	<i>отьц-я</i> , <i>кон-я</i>	<i>сел-а</i>	<i>корения</i>
Д	<i>стол-у</i> <i>бог-у</i> ,	<i>отьц-ю</i> , <i>кон-ю</i>	<i>сел-у</i>	<i>корению</i>
Т	<i>стол-ъмь</i> <i>бог-ъмь</i> ,	<i>отьц-ьмь</i> , <i>кон-ьмь</i>	<i>сел-ъмь</i>	<i>корениемь</i>
М	<i>стол-ть</i> <i>бог-ть</i> ,	<i>отьц-и</i> , <i>кон-и</i>	<i>сел-ть</i>	<i>корении</i>
Зв.	<i>стол-е!</i> <i>бог-е!</i>	<i>отьч-е!</i> <i>кон-ю!</i>	—	—
Дв. ч. И-В	<i>стол-а</i> <i>бог-а</i>	<i>отьц-я</i> , <i>кон-я</i>	<i>сел-ть</i>	<i>корении</i>
Р-М	<i>стол-у</i> <i>бог-у</i>	<i>отьц-ю</i> , <i>кон-ю</i>	<i>сел-у</i>	<i>корению</i>
Д-Т	<i>стол-ома</i> <i>бог-ома</i>	<i>отьц-ема</i> , <i>кон-ема</i>	<i>сел-ома</i>	<i>корениема</i>
Мн. ч. И	<i>стол-и</i> <i>бог-и</i> ,	<i>отьц-и</i> , <i>кон-и</i>	<i>сел-а</i>	<i>корения</i>
В	<i>стол-ы</i> <i>бог-ы</i> ,	<i>отьц-ь</i> , <i>кон-ь</i>	<i>сел-а</i>	<i>корения</i>
Р	<i>стол-ъ</i> <i>бог-ъ</i>	<i>отьц-ь</i> , <i>кон-ь</i>	<i>сел-ъ</i>	<i>корении</i>
Д	<i>стол-омъ</i> <i>бог-омъ</i>	<i>отьц-емъ</i> , <i>кон-емъ</i>	<i>сел-омъ</i>	<i>корениемъ</i>
Т	<i>стол-ы</i> <i>бог-ы</i> ,	<i>отьц-и</i> , <i>кон-и</i>	<i>сел-ы</i>	<i>корении</i>
М	<i>стол-ьхъ</i> <i>бог-ьхъ</i>	<i>отьц-ихъ</i> , <i>кон-ихъ</i>	<i>сел-ьхъ</i>	<i>коренихъ</i>

Существительные, основы которых оканчивались ископносмягченными свистящими согласными (типа *кѣнязь*, *отьць*, *лице*), как и в типе основ на *-*ā*, склонялись соответственно по IV и VI клас-

сам: **Т** ед. ч. *кѣнѣз-ѡмь, отьц-ѡмь, лиц-ѡмь*; **М** ед. ч. *кѣнѣз-и, отьц-и, лиц-и*; **Д-Т** дв. ч. *кѣнѣз-ема, отьц-ема, лиц-ема*; **В** мн. ч. *кѣнѣз-ѣ, отьц-ѣ, лиц-ѣ*; **М.** мн. ч. *кѣнѣз-ихѡ, отьц-ихѡ, лиц-ихѡ*. Однако исторически такое словоизменение для них является вторичным, сложившимся в результате аналогического выравнивания форм после появления исконно смягченных согласных на месте задненёбных по так называемому III переходному смягчению (до этого было прасл. **kъnegъ, *otъkъ, *liko* — со словоизменением по III и V классам). Имена мужского рода в древнерусском языке отражали их былую принадлежность к III классу в звательной форме, где перед старым гласным переднего ряда задненёбный изменился в мягкий шипящий до аналогического выравнивания форм словоизменения с основой на исконно смягченный согласный: *кѣнѣз-е, отьц-е*, как *бож-е, вѣлч-е (И вѣлк-ѡ)*; *человѣч-е (И человѣк-ѡ)*, а не как *кон-ю, муж-ю (И муж-ѡ)*, где в составе основы этимологически был *-j-.

Обращая внимание на соотношение флексий «твёрдого» и «мягкого» вариантов, противопоставлявших парадигмы имен одного рода, необходимо указать на отступление от «формулы соответствия» в **Т** мн. ч. (см. табл. склонения), что объясняется нефонетическим происхождением древнего общеславянского окончания в кругу основ на *-о, где отсутствует характерный падежно-числовой показатель — формант *-ми*. Распространение этого форманта на имена мужского и среднего рода — процесс письменного периода, начало которого, впрочем, отражено уже в старейших текстах: *Си вещьми а не глагольми съмьртъ глаголаше* (ср.: *сицими глаголы*); *Ангельми чьсть приемоуца* (ср.: *ангелы*); *Ликоуите съ чадъми своими* (ср.: *съ чады своими*) в Усп. сб. «Формула соответствия» указывает на то, что окончания словоформ IV и VI классов с [-j-] на конце основы (типа *краи, воробии > воробей, корение > корень, оружие > оружье*), обозначавшиеся на письме посредством *-и-*, имели неодинаковое фонетическое значение: в **И-В** ед. ч. (IV класса), в **Т** ед. ч. и в **Р** мн. ч. (обоих классов) *-и-* передавал редуцированный гласный, т. е. *кра[ʲ]ь, вороб[ʲ]ь* (ср.: *стол-ѡ, кон-ѡ*), *корен[ʲ]ь, оруж[ʲ]ь* (ср.: *сел-ѡ, пол-ѡ*), *кра[ʲ]ьмь, корен[ʲ]ьмь* (ср.: *стол-ѡмь, кон-ѡмь, пол-ѡмь*). В остальных словоформах та же буква передавала гласный полного образования: **М** ед. ч. *кра[ʲ]и, корен[ʲ]и* (ср.: *кон-и, пол-и*); **М** мн. ч. *кра[ʲ]ихѡ, корен[ʲ]ихѡ* (ср.: *кон-ихѡ, пол-ихѡ*); **И** мн. ч. *кра[ʲ]и, вороб[ʲ]и* (ср. *кон-и*; ср. после падения редуцированных: *вороб[ʲ]и*).

Как и в основах на *-jā, в основах на *-jǫ (IV класса) в **В** мн. ч. наряду с собственно древнерусской флексией *-ѣ* в восточнославянских текстах очень часто употреблена церковнославянская флексия *-а* (-а или -и из ст.-сл. ѡ; например: *на моченичьскыя вѣньця* в Усп. сб.), которая не характеризовала живую речь. В этом же плане специально следует отметить формы **Т** ед. ч., где в древнерусских текстах на протяжении всего исторического периода используются словоформы с окончанием *-омь/-емь* (наряду с *-ѡмь/-ѡмь*). В свое время А. А. Шахматов убедительно доказал, что *-ѡмь/-ѡмь*

в **Т** представляли собой собственно древнерусские (восточнославянские) флексии, противопоставлявшие древнерусскую парадигму основ на **-ǫ (-jǫ)* старославянской (для которой нормой было *-омь/-емь*). При этом *ѣ/ь* во флексии **Т** ед. ч. в древнерусском языке не были диалектными, так как именно эти гласные отражены современными говорами на всей восточнославянской территории в тех случаях, где проявляются следы бывшего различия *о/е* и *ѣ/ь*: в великорусских говорах, знающих *〈ѣ〉*, этот гласный, развившийся из «старого» *о* (т. е. не из [ъ] в сильном положении) под восходящей интонацией, никогда не встречается в флексии **Т** ед. ч. (только *столѣм*, но не «*столѣм*» — в говорах, обычно знающих *водѣю*); в говорах украинского языка также известны *-ом/-ем*, а не *-і(м)*, которые образовались из «старых» *о/е* (не из [ъ/ь]) перед утраченным редуцированным (т. е. только *столом*, *конем*, а не «*столім*», «*конім*», как, например, в случае *кін' < конь*). В более поздних текстах церковнославянская флексия **Т** ед. ч. совпадает с исконно древнерусской в связи с известными изменениями редуцированных: *столѣмь > > столо[м'] > столом*, *конѣмь > коне[м'] > конем > ко[п']ом* (орфографически: *столомь/столомѣ, конемь/конемѣ*).

В словоформах III и V классов *-ь, -и* происходят из дифтонгов, поэтому при склонении имен с основой на задненёбный согласный перед соответствующими флексиями (в **М** ед. и мн. ч. обоих классов и в **И** мн. ч. III класса) оказывались мягкие свистящие (по так называемому II переходному смягчению задненёбных): *бог-ѣ — бог-ь, бог-ьхѣ, бог-и; человек-ѣ — человек-ь, человек-ьхѣ, человек-и; послух-ѣ ('свидетель') — послух-ь, послух-ьхѣ, послух-и*.

§ 98. Существительные мужского рода с исторически односложной основой на твердый согласный (не только *дом-ѣ, сын-ѣ*, но и *берег-ѣ < *berg-ѣ*), характеризовавшиеся подвижным ударением (т. е. таким, которое в словоформах единственного числа падало на основу, а в остальных числах на флексию), должны быть объединены в VII словоизменительный класс, соотносимый с древним славянским типом склонения, флексии которого по происхождению связаны с индоевропейскими основами на **-й*:

Единственное число	Двойственное число	Множественное число
И-В сын-ѣ, дом-ѣ	И-В сын-ы, дом-ы	И сын-ове, дом-ове
Р сын-у, дом-у	Р-М сын-ову, дом-ову	В сын-ы, дом-ы
Д сын-ови, дом-ови	Д-Т сын-ѣма, дом-ѣма	Р сын-овѣ, дом-овѣ
Т сын-ѣмь, дом-ѣмь		Д сын-ѣмѣ, дом-ѣмѣ
М сын-у, дом-у		Т сын-ѣми, дом-ѣми
Зв. сын-у!		М сын-ѣхѣ, дом-ѣхѣ

Воспроизводимая в таблице парадигма в известной степени является реконструкцией, так как не только в древнерусских, но даже уже и в старославянских памятниках нельзя обнаружить существительных, которые последовательно характеризовались бы только флексиями основ на **-й* во всех падежах всех чисел: наряду

с ними те же существительные известны и с окончаниями основ на *-ǫ III класса, с которыми их сближает единство родовой принадлежности и тип новой основы — при совпадении отдельных падежно-числовых флексий, в частности в частотных **И-В** (*сын-ѳ, стол-ѳ*) и в **Т** ед. ч., где собственно древнерусское окончание *-ѳмь* скорее всего является отражением рано начавшегося взаимодействия основ на *-ǫ, *-ǫ. По существу, VII класс объединяет существительные, которые в старейших древнерусских текстах, наряду с окончаниями III класса, с большей или меньшей регулярностью встречаются также и с флексиями, генетически восходящими к основам на *-ǫ. Наиболее последовательно флексии VII класса в этой группе имен употреблялись в **Р-М** ед. ч., в **Р, Т, М** мн. ч., ибо достаточно широко использовавшиеся в тех же текстах флексии **Д** ед. ч. *-ови/-еви* и **И** мн. ч. *-ове/-еве* очень рано обнаруживают тенденцию к специализации в связи с необходимостью морфологического выражения категории лица.

С точки зрения этимологической с тематическим *-ǫ праславянский язык унаследовал очень небольшую группу имен, преимущественно мужского рода: **ilǫ-s > иль-ѳ*, **lǫdǫ-s > ледѳ*, **mǫdǫ-(n) > медѳ* (этимологически, видимо, среднего рода), **ǫlǫ-s > др.-русс. олѳ* ('пиво'), *sǫldǫ-s > др.-русс. солодѳ* ('сладковатые на вкус проросшие злаковые зерна'), **sǫnǫ-s > сынѳ*, **vǫrsǫ-s > верхѳ*. Такую основу имели, видимо, и существительные **pǫlǫ-s > полѳ* и **vǫlǫ-s > волѳ*, для которых нет надежных соответствий в других индоевропейских языках.

В результате переразложения основ уже в праславянском языке своеобразные флексии, противопоставлявшие небольшую группу имен мужского рода основной массе существительных того же рода с основами на *-ǫ, утратили грамматическую «мотивированность», что в плане синхроническом превращало омонимичные флексии этих двух групп существительных в дублетные. Поскольку этимологические основы на *-ǫ характеризовались в праславянском языке односложностью и нисходяще-долгой или краткой интонацией корневого гласного (что в русском языке отражается в подвижности ударения), то парадигма их словоизменения в процессе реализации тенденции к дифференциации омонимичных флексий приобретает значение морфологического показателя определенного типа основ мужского рода. Таким образом, к концу праславянского периода окончания, генетически связанные с основами на *-ǫ, характеризовали довольно широкий круг существительных мужского рода различного происхождения с общими морфонологическими показателями основы: **berg-ѳ* (*берег-ѳ — бръг-ѳ*), **bok-ѳ*, **bor-ѳ*, **brod-ѳ*, **čas-ѳ*, **čin-ѳ*, **dar-ѳ*, **dom-ѳ*, **dǫb-ѳ*, **dǫlg-ѳ*, **god-ѳ*, **grad-ѳ*, **grǫm-ѳ*, **jad-ѳ*, **kǫrm-ѳ*, **led-ѳ*, **lǫs-ѳ*, **list-ѳ*, **log-ѳ*, **med-ѳ*, **mir-ѳ*, **most-ѳ*, **mǫx-ѳ*, **niz-ѳ*, **nos-ѳ*, **ol-ѳ*, **peln-ѳ* (*полон-ѳ — плън-ѳ*), **pir-ѳ*, **pol-ѳ*, **prut-ѳ*, **pǫlk-ѳ*, **rod-ѳ*, **rost-ѳ*, **red-ѳ*, **sad-ѳ*, **san-ѳ*, **snǫg-ѳ*, **sold-ѳ* (*солод-ѳ*), **stan-ѳ*, **svǫt-ѳ*, **sqd-ѳ*, **syn-ѳ*, **tǫrg-ѳ*, **vol-ѳ*, **vǫrx-ѳ* и др. Это одинаково отражено древнейшими памятниками всех славянских языков — не только южными (старославянскими) и восточнославянскими, но и западнославянскими (древнепольскими и древнечешскими). Так что по собственно славянским словоизменительным и формообразующим показателям невозможно определить, какие из этой обширной группы существительных этимологически действительно принадлежали к основам на *-ǫ, а какие — к основам на *-ǫ.

«Разрушение» VII класса как своеобразной системы словоформ относится к историческому времени и в разных восточнославянских языках отражается неодинаково.

§ 99. Тип склонения, исторически связанный с индоевропейскими основами на *-ǫ, представлен двумя слабо дифференцирован-

ными словоизменительными классами существительных женского (VIII класс) и мужского (IX класс) родов (*гряз-ь, кост-ь, печ-ь; зят-ь, огн-ь, угл-ь*), парадигмы которых различались флексиями **Т** ед. ч. и **И** мн. ч.:

Число, падеж	Словоизменительные классы (основы на *-ĭ)			
	VIII класс (женский род)		IX класс (мужской род)	
Ед. ч. И-В Р Д Т М Зв.	<i>волост-ь,</i>	<i>ноч-ь</i>	<i>гост-ь,</i>	<i>путь-ь</i>
	<i>волост-и,</i>	<i>ноч-и</i>	<i>гост-и,</i>	<i>путь-и</i>
	<i>волост-и,</i>	<i>ноч-и</i>	<i>гост-и,</i>	<i>путь-и</i>
	<i>волост-ию,</i>	<i>ноч-ию</i>	<i>гост-ьмь,</i>	<i>путь-ьмь</i>
	<i>волост-и,</i>	<i>ноч-и</i>	<i>гост-и,</i>	<i>путь-и</i>
	<i>волост-и!</i>	<i>ноч-и!</i>	<i>гост-и!</i>	<i>путь-и!</i>
Дв. ч. И-В Р-М Д-Т	<i>волост-и,</i>	<i>ноч-и</i>	<i>гост-и,</i>	<i>путь-и</i>
	<i>волост-ию,</i>	<i>ноч-ию</i>	<i>гост-ию,</i>	<i>путь-ию</i>
	<i>волост-ьма,</i>	<i>ноч ьма</i>	<i>гост-ьма,</i>	<i>путь-ьма</i>
Мн. ч. И В Р Д Т М	<i>волост-и,</i>	<i>ноч-и</i>	<i>гост-ие,</i>	<i>путь-ие</i>
	<i>волост-и,</i>	<i>ноч-и</i>	<i>гост-и,</i>	<i>путь-и</i>
	<i>волост-ии,</i>	<i>ноч-ии</i>	<i>гост-ии,</i>	<i>путь-ии</i>
	<i>волост-ьмь,</i>	<i>ноч-ьмь</i>	<i>гост-ьмь,</i>	<i>путь-ьмь</i>
	<i>волост-ьми,</i>	<i>ноч-ьми</i>	<i>гост-ьми,</i>	<i>путь-ьми</i>
	<i>волост-ьхъ,</i>	<i>ноч-ьхъ</i>	<i>гост-ьхъ,</i>	<i>путь-ьхъ</i>

Парадигма VIII класса обнаруживает чрезвычайную устойчивость (ср. склонение тех же имен женского рода в современном литературном языке). Существительные мужского рода, изменявшиеся по IX классу, исторически характеризовались твердым (фонетически — полумягким) согласным на конце основы, что в течение длительного времени (до так называемого вторичного смягчения полумягких согласных) служило структурно-языковым основанием противопоставления имен одного и того же рода, изменявшихся по разным словоизменительным классам — IX и IV, объединявшему словоформы с основой на исконно смягченный согласный (генетически на *-jǫ); ср.: *му[ж']-ь — тьс[т']-ь, ко[н']-ь — ог[н']-ь*. Тем же фонетико-морфологическим показателем основы характеризовалось и существительное *людие*, изменявшееся по IX классу и употреблявшееся только в форме множественного числа в качестве синонима слова *человѣци*.

§ 100. Как особый тип склонения, представленный несколькими словоизменительными классами, унаследовал древнерусский язык словоформы индоевропейских нетематических основ, оканчивавшихся на согласные и *-ĭ. Падежно-числовые окончания этого типа склонения уже в старославянских памятниках представлены очень непоследовательно, а в отношении древнерусского языка могут быть воспроизведены лишь в результате реконструкции, в методических целях игнорирующей противоречивые свидетельства старейших текстов (как это было разъяснено для VII класса). Как тип склонения нетематические основы, включавшие имена всех

родов, характеризовались сложившимся еще в праславянском языке противопоставлением основы **И** ед. ч. (а для среднего рода и **В**) основе всех остальных словоформ.

§ 101. Из числа этимологических основ на согласные наиболее многочисленны существительные среднего рода, сохранившие в формах словоизменения индоевропейские показатели **-men*, **-ent*, **-(e)s* (*пле-мен-а*, *сп-мен-а*; *жереб-ят-а*, *порос-ят-а*; *неб-ес-а*, *тмл-ес-а* и др.), исторически являвшиеся словообразовательными аффиксами. Реконструируемые флексии этих имен (среди которых лишь основы на *-ят* в древнерусском языке продолжали сохранять продуктивность) позволяют представить их в качестве единого **X** словоизменительного класса:

Число, падеж	<i>*-men</i>	<i>*-ent</i>	<i>*-(e)s</i>
Ед. ч. И-В Р Д Т М	<i>имя</i> <i>имен-е</i> <i>имен-и</i> <i>имен-ьмь</i> <i>имен-е</i>	<i>теля</i> <i>телят-е</i> <i>телят-и</i> <i>телят-ьмь</i> <i>телят-е</i>	<i>слово</i> <i>слов-с-е</i> <i>словес-и</i> <i>словес-ьмь</i> <i>словес-е</i>
Дв. ч. И-В Р-М Д-Т	<i>имен-ѣ</i> <i>имен-у</i> <i>имен-ьма</i>	<i>телят-ѣ</i> <i>телят-у</i> <i>телят-ьма</i>	<i>слов-с-ѣ</i> <i>слов-с-у</i> <i>словес-ьма</i>
Мн. ч. И-В Р Д Т М	<i>имен-а</i> <i>имен-ѣ</i> <i>имен-ьмѣ</i> <i>имен-ы</i> <i>имен-ьхѣ</i>	<i>телят-а</i> <i>телят-ѣ</i> <i>телят-ьмѣ</i> <i>телят-ы</i> <i>телят-ьхѣ</i>	<i>словес-а</i> <i>словес-ѣ</i> <i>словес-ьмѣ</i> <i>словес-ы</i> <i>словес-ьхѣ</i>

Все указанные флексии встречаются в старейших древнерусских текстах, но не с одинаковой степенью регулярности. Так, в **Р** и особенно в **М** ед. ч. наряду с флексией *-е* чаще фиксируются словоформы с *-и*, типичной для VIII—IX классов: *имени твоего*, *сезаго словеси кѣнижьнаго*, *на небеси*, *на тмлеси* в Усп. сб. Создается впечатление, что колебания форм — особенность книжно-литературного языка Древней Руси, в то время как живая речь ко времени создания сохранившихся текстов, возможно, уже не знала окончаний, составляющих своеобразие той парадигмы, которая реконструируется для **X** класса.

С еще большей уверенностью можно утверждать, что существительные типа *слово* (этимологические основы на **-(e)s*: *коло* — *колеса*, *чудо* — *чюдеса* и др.) в живой речи ко времени появления старейших письменных памятников в единственном числе уже не склонялись по **X** классу: даже в текстах книжно-литературного характера, включая списки со старославянских оригиналов (Остр. ев., Изб. 1076, Мин. XI, Син. пат., Усп. сб. и др.), они достаточно

часто встречаются с полным набором окончаний по V классу при сохранении во всех формах единственного числа основы **И-В**: **Р** *слова, тьла* и даже *дрьва* (ср. в.-сл. *дерево* — *дерева*); **Д** *слову, тьлу, дрьву* (параллельно с формами *словеси, тьлеси, дрьвеси*); **Т** *словъмь, тьлъмь*. Словоформы этих имен по X классу (с указанными выше колебаниями флексий в **Р-М**) в единственном числе должны быть признаны книжно-литературными, не отражающими форм живой речи.

П. С. Кузнецов обратил внимание на то, что при обычной передаче словоформ *тьло, тьлъмь, въ тьль* через *ь* словоформы с *-ес-* часто, а в некоторых памятниках очень последовательно пишутся с *е* в корне (*телесе, телеси*), что обычно при передаче старославянских заимствований. Очевидно, для некоторых древнерусских писцов *тьло* и *телеси* существовали не как варианты форм одного слова, а как синонимы типа *голова* — *глава* или даже *глазъ* — *око*. Судя по подсчетам, в текстах книжно-литературного характера относительная частотность форм с *-ес-* (по отношению к формам без *-ес-*) со временем возрастает; например, увеличивается число таких форм от *дрьво* (*дрьвеси, дрьвесемь*) и даже *дъло* (*дълеси, дълесемь*), которые в ранних текстах в форме единственного числа чрезвычайно редки.

Сохранение *-ес-* в формах множественного числа в древнерусских текстах достаточно последовательно, так что для «исходной» системы склонения вполне вероятна реконструкция «смешанной» парадигмы:

Падеж	Единственное число	Множественное число
И-В	<i>слов-о</i>	<i>слов-ес-а</i>
Р	<i>слов-а</i>	<i>слов-ес-ѣ</i>
Д	<i>слов-у</i>	<i>слов-ес-ьмѣ</i>
Т	<i>слов-ѣмь</i>	<i>слов-ес-ы</i>
М	<i>слов-ѣ</i>	<i>слов-ес-ьхѣ</i>

То, что в единственном числе образцом для аналогического выравнивания основы послужила форма **И-В**, вполне естественно, ибо, как показывают подсчеты¹, формы **И** и **В** составляют свыше половины встречающихся в текстах словоформ, т. е. в речевой практике значительно употребительнее словоформ всех остальных падежей, вместе взятых. Вместе с тем реалистичность предположения о сохранении в древнерусском языке форманта *-ес-* в словоформах множественного числа, оказавшихся по этому признаку противопоставленными основам единственного числа, находит подтверждение в том, что в рассматриваемой группе только существительное *коло*, которое в силу своего лексического значения в диалогической речи должно было употребляться преимущественно в форме множественного числа, обобщило в единственном числе основу с этим форман-

¹ Здесь и далее используются статистические данные, содержащиеся в работе: *Именное склонение в славянских языках XI — XIV вв. Лингвостатистический анализ по материалам памятников древнеславянской письменности*. Л., 1974.

том: *колесó*, *колесá* и т. д. (как *колёса*), хотя в книжно-литературных текстах XI — XIII вв. можно встретить и формы без *-ес-*: *коло*, *кола*, *колу* и даже во множественном числе *кола*, *на колѣхъ*.

§ 102. Существительные мужского рода представлены двумя словоизменительными классами, из которых XI (этимологические основы на **-en*) по набору флексий очень близок X, а XII объединяет разносклоняемые существительные, характеризовавшиеся суффиксами *-тел'ь*, *-ар'ь*, *-ан-ин-ъ* и изменявшиеся в единственном и двойственном числах по IV и III классам (как *конь* — *столъ*), а во множественном числе — как этимологические основы на согласный:

Число, падеж	Словоизменительные классы			
	XI класс (основы на <i>*-en</i> мужского рода)		XII класс (разносклоняемые мужского рода)	
Ед. ч. И В Р Д Т М Зв.	<i>камен-ь</i> , <i>камен-ь</i> , <i>камен-е</i> , <i>камен-и</i> , <i>камен-ьмь</i> , <i>камен-е</i> , —	<i>дѣн-ь</i> <i>дѣн-ь</i> <i>дѣн-е</i> <i>дѣн-и</i> <i>дѣн-ьмь</i> <i>дѣн-е</i>	<i>учител-ь</i> , <i>учител-я</i> , <i>учител-я</i> , <i>учител-ю (-еви)</i> , <i>учител-ьмь</i> , <i>учител-и</i> , <i>учител-ю!</i> ,	<i>кыян-ин-ъ</i> <i>кыян-ин-а</i> <i>кыян-ин-а</i> <i>кыян-ин-у</i> <i>кыян-ин-ьмь</i> <i>кыян-ин-ь</i> <i>кыян-ин-е!</i>
Дв. ч. И-В Р-М Д-Т	<i>камен-и</i> , <i>камен-у</i> , <i>камен-ьма</i> ,	<i>дѣн-и</i> <i>дѣн-у</i> <i>дѣн-ьма</i>	<i>учител-я</i> , <i>учител-ю</i> , <i>учител-ема</i> ,	<i>кыян-ин-а</i> <i>кыян-ин-у</i> <i>кыян-ин-ома</i>
Мн. ч. И В Р Д Т М	<i>камен-е</i> , <i>камен-и</i> , <i>камен-ъ</i> , <i>камен-ьмъ</i> , <i>камен-ьми</i> , <i>камен-ьхъ</i> ,	<i>дѣн-е</i> <i>дѣн-и</i> <i>дѣн-ъ</i> <i>дѣн-ьмъ</i> <i>дѣн-ьми</i> <i>дѣн-ьхъ</i>	<i>учител-е</i> , <i>учител-ь</i> , <i>учител-ь</i> , <i>учител-емъ</i> , <i>учител-и</i> , <i>учител-ьхъ</i> ,	<i>кыян-е</i> <i>кыян-ы</i> <i>кыян-ъ</i> <i>кыян-омъ</i> <i>кыян-ы</i> <i>кыян-ьхъ (-ьхъ)</i>

Восстановленная система флексий XI класса, как и для имен среднего рода X класса, в памятниках письменности не выдерживается последовательно. В частности, в **Р-М** ед. ч. и в **И** мн. ч. уже в старейших текстах встречаются словоформы с флексией *-и*: *камен-и*, *корен-и*. Известная по письменным памятникам форма **Р** мн. ч. *днии* (ср. IX класс) вряд ли характеризовала живую речь: в современных говорах обычна словоформа (*пять*) *дѣн* < *дѣнъ*, противопоставленная литературной форме (*пять*) *дней* < *дѣнии*.

Существительное *дѣнь* — единственное, для которого не восстанавливается форма **И** ед. ч. без **-н*. Что касается остальных существительных мужского рода, то для них предполагается противопоставление основ в **И**, **В** ед. ч.: *камы* — *камен-ь*, **ремы* — *ремен-ь*, **ячмы* — *ячмен-ь*. Нет, однако, оснований считать, что такое соотношение основ характеризовало живую речь ко времени появления письменности: за исключением двух слов, этимологические

основы на *-en мужского рода фиксируются уже в старейших текстах только в форме **И** ед. ч., равной форме **В**: *корень, ремень, ячмень*. Без -н в основе, как и в старославянских памятниках, встречаются лишь имена *камы, пламы* (наряду с *камень, пламень*), что должно быть признано особенностью книжно-литературного языка Древней Руси. Обобщение основы **В** ед. ч. естественно, так как, судя по подсчетам, среди наиболее употребительных словоформ **И**, **В**, которые у существительных мужского рода в остальных типах склонения совпадают (кроме типа *слуга — слугу, судия — судию*), формы **В** абсолютно преобладают. А если учесть, что **И** — падеж главного члена и, следовательно, в речевой практике чаще встречается в кругу имен со значением лица (субъекта действия), то для наименований предметов форма **В** окажется намного более употребительной, чем форма **И** (среди этимологических основ на *-en мужского рода наименований лиц не было).

Бесспорным церковнославянизмом является принадлежность существительного *пламы — пламень* (с неполногласным сочетанием в корне) к мужскому роду. Современным диалектным формам этого существительного среднего рода *поломя — полымя* соответствуют изредка встречающиеся в памятниках примеры: *То все поломянемъ* взялося в Новг. лет.; *Вступи ногами на поломя доидеже изгоръ* в Печ. пат.; ср.: *пламя* (наряду с *пламы — пламень*) в Мин. XII; *пламе* (наряду с *пламень*) в Пск. лет.

Существительные, объединенные в XII класс, различаются своими парадигмами настолько существенно, что реально представляют разные словоизменительные классы, которые следовало бы разграничить в плане истории литературного языка, ибо наименования лиц с суффиксами *-тел-ь, -ар-ь* (также склонявшихся по типу *учитель*) в языке старейших текстов, безусловно, являлись книжными, заимствованными из старославянского языка или образованными по старославянским моделям. «Исходная» для древнерусского языка морфологическая система знала лишь образования на *-ян-ин* (в том числе *галич-ан-ин-ъ — галич-ан-е, древл-ян-ин-ъ — древл-ян-е, полоч-ан-ин-ъ — полоч-ан-е, пол-ян-ин-ъ — пол-ян-е*), очень продуктивные на протяжении всего древнерусского периода, которые и образуют особый словоизменительный класс. По этому классу (со всеми присущими ему особенностями) изменялось и слово *бояр-ин-ъ — бояр-е*, не имевшее «личного» суффикса *-ян-*.

§ 103. Существительные женского рода, этимологически связанные с нетематическими основами, также представлены двумя словоизменительными классами: XIII класс объединял словоформы с основами на *-er — *мати, дъчи* (ср. **В** ед. ч.: *матер-ь, дъчер-ь*), а также (с некоторыми различиями в окончаниях) с этимологическими основами на *-i — *кръвь, бръвь*, из которых первая представлена в древнерусских памятниках формами единственного и множественного числа, а вторая — преимущественно формами двойственного числа. Парадигмы этого класса относятся к парадигме XI класса (типа *камень*) примерно так же, как соотносятся между собой парадигмы женского и мужского рода VIII и

IX классов. XIV класс (остальные этимологические основы на *-ī, перед гласными представленный ступенью чередования *-īy > -ъe) специфичен по ряду форм двойственного и множественного числа и в кругу нетематических основ может быть охарактеризован как разносклоняемый (ср. с формами соответствующих падежей I класса):

Число, падеж	Словоизменительные классы		
	XIII класс		XIV класс
	основы на *-er	основы на *-ī	
Ед. ч. И В Р Д Т М	<i>мати</i> <i>матер-ь</i> <i>матер-е</i> <i>матер-и</i> <i>матер-ию</i> <i>матер-и</i>	<i>кръвь</i> <i>кръвь</i> <i>кръве</i> <i>кръви</i> <i>кръвию</i> <i>кръви</i>	<i>свекры</i> <i>свекръв-ь</i> <i>свекръв-е</i> <i>свекръв-и</i> <i>свекръв-ию</i> <i>свекръв-е (-и)</i>
Дв. ч. И-В Р-М Д-Т	<i>матер-и</i> <i>матер-у, -ю</i> <i>матер-ьма</i>	<i>бръви</i> <i>бръву</i> <i>бръвьма</i>	<i>свекръв-и</i> <i>свекръв-у</i> <i>свекръв-ама</i>
Мн. ч. И-В Р Д Т М	<i>матер-и</i> <i>матер-ѣ</i> <i>матер-ьмъ</i> <i>матер-ьми</i> <i>матер-ьхъ</i>	<i>кръви</i> <i>кръвици</i> <i>кръвьмъ</i> <i>кръвьми</i> <i>кръвьхъ</i>	<i>свекръв-и</i> <i>свекръв-ѣ</i> <i>свекръв-амъ</i> <i>свекръв-ами</i> <i>свекръв-ахъ</i>

В старейших древнерусских памятниках для имен обоих классов характерны те же колебания в употреблении флексий отдельных падежей (более других в **Р-М** ед. ч.), которые отмечались в отношении имен среднего и мужского рода. Однако для существительных женского рода такие колебания, возможно, не были только особенностью книжно-литературного языка, поскольку формы **Р-В** *матере, дочери* известны и современным говорам (на юге они довольно широко представлены в типичном для акающих говоров оформлении: *máte[r'a], dóce[r'a]*). Форма **И** мн. ч. известна только с флексией *-и*, хотя генетически здесь должна быть *-е* (ср. *камен-е*).

Очень устойчивы для обеих основ (в отличие от основ мужского рода) формы **И** ед. ч. без конечного согласного, которые продолжают сохраняться в современных восточнославянских говорах (*мати, мать, реже дочи, дочь, а также свекры и ятры* — 'жена брата'), что вполне естественно, поскольку все это имена со значением лиц, следовательно, обычные для диалогической речи в именительном падеже. Остальные этимологические основы на *-ī/*-īy не сохранили в русском языке древней формы **И**, которая, однако, известна по старославянским и церковнославянским текстам (в том числе русской редакции) и изредка фиксируется в диалектах других славянских языков: *букы (букъвь), золы (золъвь; ср. русск.*

золотка — 'сестра мужа'), *любы* (*любъвь*), *мъркы* (*мъркъвь*), *неплоды* (*неплодъвь* — 'бесплодная женщина'), *смокы* (*смокъвь*; ср. *смоква*), *тыкы* (*тыкъвь*), *църкы* (*църкъвь*) и др. Среди этих слов есть заимствования, указывающие на продуктивность таких образований в период распада праславянской общности. Тюркское заимствование **хоругы* представлено в текстах в формах *хоругъвь*, *хоругъви* и др. К этой же группе имен женского рода должно было относиться и первоначальное название Москвы: **Москы* — *Москъвь* (ср. иноязычные отражения именно этой формы: нем. *Moskau*; фр. *Moscou*). Лишь этимологически связаны с основами на *-*ъ* существительные *кръвь*, *бръвь*, о чем напоминают отмечаемая в текстах форма Р мн. ч. *кръве* и зафиксированные в кашубских и некоторых хорватских говорах формы И ед. ч. *kry/kri* (предполагаемая форма И ед. ч. **bry* фактически не отмечена).

§ 104. Сопоставление системы ранних древнерусских падежно-числовых парадигм (типов склонения) с современной позволяет наметить основные направления исторического развития форм и категорий имени существительного как части речи, группирующиеся вокруг таких процессов, как: 1) утрата двойственного числа; 2) сокращение и перегруппировка словоизменительных классов (типов склонения) в единственном числе; 3) отрыв форм словоизменения во множественном числе от форм единственного числа и их унификация; 4) утрата частной категории лица как морфологического явления и формирование универсальной морфологической категории одушевленности, не ограниченной типами склонения и числовыми различиями.

В своей совокупности эти процессы связаны, с одной стороны, с развитием абстракции грамматических характеристик существительных как единиц языковой системы (в плане развития категориально-грамматических значений), с другой стороны — с «упорядочением» функций морфологических единиц как способов выражения свойственных языку грамматических значений. Эта вторая сторона (доступная непосредственному наблюдению, так как она связана с материальным выражением языковых отношений) отражает взаимодействие двух тенденций в развитии морфологических единиц: тенденции к унификации синонимичных морфологических средств (показателей одних и тех же грамматических значений) и тенденции к дифференциации омонимичных средств выражения разных грамматических значений. В языковом развитии эти противостоящие друг другу тенденции выступают как способы реализации более общей тенденции к однозначной соотнесенности грамматических значений и способов их выражения.

УТРАТА КАТЕГОРИИ ДВОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА

§ 105. В силу заметной для носителей языка предметной соотнесенности грамматического значения числа система числовых противопоставлений в известной степени отражает уровень разви-

тия грамматической абстракции, т. е. опосредованно связана со степенью социально-культурного развития общества, пользующегося данной языковой структурой. Не случайно система многочисленных «конкретных» чисел (единственного — двойственного — тройственного и т. д.) в историческое время фиксируется лишь в языках, которые по тем или иным причинам не использовались как орудие культурного и социального прогресса (языки аборигенов Африки, Австралии, Америки, Полинезии). В частности, из славянских категория двойственного числа уцелела в сербо-лужицких языках, носители которых, оказавшись в германоязычном окружении, на протяжении столетий сохраняли язык предков лишь в бытовом общении (в сфере традиционной сельскохозяйственной деятельности), используя в качестве орудия культуры немецкий язык¹. Утрата двойственного числа восточнославянскими языками — естественный результат социально-культурного развития носителей этих языков.

Диалектически противоречивый (а не механически прямолинейный) характер отношений между системой числовых противопоставлений и ростом культурных функций языка проявляется в том, что утрата категории двойственного числа в живой (в частности, диалектной) речи протекала на фоне последовательного сохранения форм двойственного числа в книжно-литературном языке, где они оставались нормативными вплоть до «разрушения» средневекового языка восточнославянской книжности в период развития национальных отношений. Еще в XVI — XVII вв., когда в языке деловых текстов, ориентированном на систему народной речи, не обнаруживается уже никаких отголосков представлений о двойственном числе как грамматическом явлении, книжно-литературные произведения, как клерикального, так и светского характера, с меньшей или большей (иногда почти не нарушаемой) последовательностью продолжают использовать в необходимых случаях формы двойственного числа, составляющие органическую часть морфологической системы их языка. Ср.: *крыль простерта, от обою раму, от благочестиву родителу, отъ брату моею, от руку, до ногу, к родителма, поклонився братома, дѣлма чинома, предъ очима вашима, срдчныма рукама, съ двою естествоу* в Жит. Евфр. Пск.

Длительное сохранение форм двойственного числа в средневековом книжно-литературном языке восточных славян заставляет проявлять осторожность при интерпретации свидетельств письменных памятников в отношении времени и условий разрушения соответствующей грамматической категории.

§ 106. Для правильного понимания процесса разрушения категории двойственного числа необходимо также учитывать, что многие его формы сохраняются и в современном русском языке. Речь при этом идет не о реликтах типа *воочию* (исторически — М дв. ч., т. е.

¹ Культурную автономию (что вело к качественному расширению функций родного языка) лужицкие сербы получили лишь после второй мировой войны, когда области их поселений оказались в составе ГДР.

«в (двух) глазах») или *двоюродный* (здесь первая часть сложного слова является формой **Р** дв. ч. — ср. поздние образования типа *двухступенчатый*). С точки зрения формы в современном русском языке совершенно так же, как и в древнерусском, сочетаются *два коня, два стола*, где формы *коня, стола* воспринимаются, при отсутствии категории двойственного числа, как **Р** ед. ч. (ср. сохранение формы **И-В** дв. ч., отличной от формы **Р** ед. ч.: *два шага́, два часа́, прост. два разá, но с первого ша́га, ни одного ча́са*). Говоря о берегах реки, частях тела и т. п., мы, как и в древнерусском языке, употребляем словоформы *берега, бока, глаза, плечи, рога, уши*, которые некогда имели значение двойственного числа [древнерусские формы множественного числа *берези* → *береги, боци* → *боки, глаза* → *глазы, плеча, рози* → *роги, уха* были малоупотребительны, так как обычно имеются в виду *два* (а не три и более) *берега, бока* и т. д.), а теперь воспринимаются как формы множественного числа. Подобного рода факты подчеркивают, что в плане историческом в первую очередь должна прослеживаться не утрата формы, а утрата категории двойственного числа, т. е. история развития числовых противопоставлений на уровне грамматических значений, что в ряде случаев могло иметь следствием утрату форм двойственного числа, хотя и необязательно.

Если верно, что история двойственного числа — это проблема изменения категориальных грамматических значений, то решаться она должна в связи с историей имени существительного, где грамматическая категория числа опирается на представления о реальном числе предметов. Для всех остальных «изменяемых» частей речи (кроме личных местоимений), которые в древнерусском языке также имели формы двойственного числа (ср.: *от благочестив-у родителю* — мн. ч. *благочестив-ѣ; от брату мо-ею* — мн. ч. *мо-ихъ; очима ваш-има* — мн. ч. *ваш-ими; написави-ема* — мн. ч. *написави-ими; ес-та* — мн. ч. *ес-те*), эти формы принадлежали к категории согласовательной, не имевшей предметной соотнесенности, т. е. оформляли связь зависимого слова с существительным в форме двойственного числа. Это относится и к обозначению чисел, где название *два* употреблялось только в формах двойственного числа, потому что всегда относилось к существительному, указывающему на два предмета или лица.

§ 107. Несмотря на устойчивость двойственного числа в грамматической системе книжно-литературного (церковнославянского) языка, случаи употребления форм множественного числа при указании на двух лиц (или два предмета) встречаются уже в старейших памятниках. Например: *Рече женама, не боите вы ся* в Остр. ев. — кроме *вы* (дв. ч. *ва*) в форме множественного числа употреблен и глагол (дв. ч. *боита ся*), хотя реплика обращена к двум женщинам; *Вы небесьная чловѣка еста* в Усп. сб. — местоимение во множественном числе, хотя относится к двум мученикам, что отражено формами *небесьн-ая чловѣк-а ес-та*; *Помози работъ своимъ Ивалюу и Олексию написашема книги сия* в ЖН — существительное с определением во множественном числе (дв. ч. *раб-ома сво-има*), хотя оз-

начает двух переписчиков (см. форму двойственного числа причастия). К подобным нарушениям письменной-литературной нормы относятся и факты употребления двойственного числа в случаях, где его не должно быть. Например: *Перенесена быста Бориса и Глиба; На канонъ святою Петроу и Павлоу* в Новг. лет. — в форме двойственного числа оказываются имена собственные, каждое из которых обозначает одно лицо (в результате стремления писцов «правильно» употребить формы, связанные с указанием на двух лиц; ср. здесь же: *перенесен-а бы-ста* — речь идет о двух князьях; *святою* — речь идет о двух апостолах). В Лаврентьевской летописи, очень последовательно употребляющей формы двойственного числа, читаем: *А князя их яша рукама* — явное свидетельство редкого использования этого слова в форме множественного числа (обычно говорят о руках одного человека), в результате чего оно сохраняет форму двойственного числа и при указании на действия многих лиц (см. *я-ша*).

В своей совокупности отмеченные факты свидетельствуют о разрушении связи числовых форм со значением «двойственности» в грамматическом сознании писцов (или переписчиков), т. е. об отсутствии системы трех чисел в той языковой структуре, с которой древнерусский книжник XI — XIII вв. соотносил изучавшуюся им систему форм книжно-литературного (церковнославянского) языка.

§ 108. С XIII в. формы двойственного числа даже в текстах, заметно отражающих церковнославянское влияние, фиксируются в случаях, которые не могут указывать на сохранение самой грамматической категории, ибо являются закрепленными речевой практикой словоформами, грамматическое значение которых было со временем переосмыслено.

Прежде всего это формы существительных со значением предметов, обычно существующих в паре, а потому их названия почти не употреблялись во множественном числе. Формы двойственного числа таких существительных очень устойчивы: *сапога своя* в ЖН; *бока своя, за рога, завязавъ рукава* в переводах и списках XIV — XV вв. Употребление таких форм, если речь идет не об одном предмете, ничего не говорит о том, осмысливаются ли они в системе трех или двух грамматических чисел; см. со значением «множественности» (а не «двойственности»): *Роукава же ризъ и широци а долзи* в Хож. Игн. См. — речь явно идет не об одном платье с двумя рукавами. Именно в кругу этих слов авторы и переписчики памятников XV — XVII вв. почти не допускают «ошибок» в употреблении форм двойственного числа, хотя формы согласуемых слов при них большей частью оказываются во множественном числе, указывая на то, что авторы текстов, сохраняя устойчивую форму двойственного числа таких существительных (которые в этих текстах почти не встречаются с указанием более чем на два предмета), воспринимали ее с категориальным значением «множественности» (противопоставленной «единичности»), а не «двойственности». Например, в памятниках XVI в. книжно-литературного типа: *руць приторочены, нозе скорочены* в Уст. лет.; *божіими дланма, здравы быша*

нозь мои в Каз. лет.; крыль простерта, словесныя крыль свои, на мироукаанныя ланить, радостных очю, веселыми очима в Жит. Евфр. Пск. В синхронных деловых текстах и материалах частной переписки, не отражающих заметного церковнославянского влияния, формы, исторически связанные с двойственным числом, вне устойчивых оборотов встречаются только в кругу таких существительных, как *бока, глаза, жернова* и др.

Далее необходимо отметить сочетания с числительным *д(ѣ)ва*, закрепившиеся в разговорной речи как устойчивые (фразеологизированные), в которых форма существительных получила со временем грамматическое значение **Р** ед. ч. (ср. *два стола*). В древнерусской речи (по крайней мере, на севере) пересмысление элементов таких сочетаний, свидетельствующее о разрушении системы трех чисел на категориально-грамматическом уровне, началось, видимо, достаточно рано. Бытовые и деловые тексты уже в XII — XIII вв. дают примеры с нетрадиционной формой имен среднего рода в таких сочетаниях: *два льта* в Новг. гр. XII (вм. *двъ лтн*); *два села* в Дух. гр. Климента ок. 1270 (вм. *двъ сель*)¹, в связи с чем встречающиеся в тех же новгородских берестяных грамотах XII — XIII вв. формы типа *2 горошка масла, ябетника дова* не могут категорически оцениваться как свидетельства сохранения двойственного числа в качестве члена категориально-грамматических противопоставлений в древнем новгородском говоре. Ср. близкие по времени примеры непоследовательного употребления форм даже при числительном: *Та два была послѣмъ оу Ризе. из Ригы ехали на Гочькы берьго* в Смол. гр. 1229 (вм. ожидаемых *посл-а* или *посл-ома* и *ехал-а*, ибо речь идет о двух уполномоченных); *Изъ двою моихъ жеребьевъ* в Дух. гр. Дм. Донского 1378 (вм. *моею жеребью*). Показательно, что тексты XV — XVII вв. книжно-литературного типа, как указывалось, довольно последовательно употребляющие формы двойственного числа «парных» имен, при числительном *два* (также последовательно сохраняющем во всех падежах старые формы), как правило, употребляют существительные не с «парным» значением в косвенных падежах в формах множественного числа (*по двою лтнхъ, двѣма источники, з двѣма сынъми*), а в **И-В** дают нетрадиционные формы среднего и женского рода, которые в письменном оформлении могут восприниматься и как формы множественного числа, и как построенные по модели *два старьца* формы **Р** ед. ч.: *два льта, на два жрела, оба писания, обь ркы*.

Примером устойчивости формы, утратившей прежнее грамматическое значение, является фразеологизированная конструкция межевых документов *съ (нижнюю) сторону*, отмеченная А. А. Шахматовым в двинских грамотах XV в. и встречающаяся в южновеликорусских грамотах XVII в.: *А того Дмитрея Кунокова от нас старанили — с вышнюю сторону у меня* в Курск. гр. 1624; *а усада*

¹ О причинах наиболее раннего появления нетрадиционных форм при числительном *два* в **И-В** существительных именно среднего рода см. в главе, посвященной истории числительных.

ево Васильева с нижней сторону Олексея Конова в Курск. гр. 1627. Фиксация этой конструкции с формой **Р** дв. ч. на очень значительном пространственном и временном расстоянии, на территории распространения говоров, никогда не взаимодействовавших друг с другом, свидетельствует о том, что сложиться она должна была не позднее эпохи древнерусского языкового единства, может быть, еще в системе дописьменного (устного) народного права, но продолжала бытовать как устойчивый правовой термин в эпоху, для которой двойственное число — далекое прошлое.

§ 109. История форм двойственного числа в русском языке является ярким примером внутривидовой обусловленности морфологических процессов. Перестройка категориально-грамматических отношений, поднимающихся в плане содержания на более высокий уровень грамматической абстракции (от градации единственное — двойственное — множественное, т. е. конкретно-числовое «более двух», к противопоставлению единственное ~ множественное, т. е. единственное ~ неединственное), ведет к появлению синонимичных морфологических средств в плане выражения, ибо теперь, когда представление о «двойственности» «растворяется в более широком представлении о множественности, противопоставленной единичности»¹, формы *глаза́* (дв. ч.) — *глазы* (мн. ч.), *города́* (дв. ч.) — *города* (мн. ч.) теряют прежние различия в грамматическом значении и оказываются разными по употребительности средствами оформления одних и тех же синтаксических отношений. Под влиянием постоянно действующих тенденций развития грамматического строя оказавшиеся синонимичными формы теряют один из вариантов, сохраняя со значением множественного (неединственного!) числа более употребительную в речевой практике словоформу: *глаза́*, *города́* и т. д. В ряду новых синонимичных форм более высокого уровня *глаза́* (*берега́*, *бока́* и т. д.) — *города* (*до́мы*, *сто́лы* и т. д.) флексии *-а*, *-ы* с тождественным значением специализируются на оформлении словоформ разной фонетико-морфологической характеристики. В формах *глаза*, *города* и т. д. *-а* — показатель **И-В** мн. ч. имен с подвижным типом ударения, а в формах *стола*, *орла* и т. д. *-ы* — показатель **И-В** мн. ч. имен с постоянным ударением на флексии, что в данном случае пересекается с рядом других процессов в развитии форм множественного числа (см. далее).

Приобретая новое грамматическое значение, формы двойственного числа послужили моделью для ряда новообразований во множественном числе, для развития своеобразной русской системы сочетаний числительных с существительными и т. д.

Именно в связи с утратой категории двойственного числа в процессе развития русского языка происходит разрушение словоизменительного единства числовых форм, которое создает между ними формообразовательные отношения, временами доходящие до сло-

¹ Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение, с. 17—18.

вообразования, определяет разное отношение числовых форм к родовой классификации имен, формирует категории слов *singulalia* и *pluralia tantum*, т. е. употребительных только в единственном или только во множественном числе, и т. д. В этом отношении процесс утраты категории двойственного числа в истории существительного как части речи занимает едва ли не центральное место по своим последствиям, связанным с качественными отличиями современной системы категорий и форм существительного в сравнении с древнерусской. В плане историческом разрушение системы трех чисел, означавшее развитие грамматической оппозиции единственного ~ множественного числа как двучленной, определило относительно самостоятельное развитие словоизменительных парадигм единственного и множественного числа.

ПЕРЕГРУППИРОВКА ТИПОВ СКЛОНЕНИЯ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

§ 110. Богатая синонимия флексий, сложившаяся в результате переразложения древних именных основ и унаследованная древнерусским языком, в плане функциональном оказалась грамматически «немотивированной». То, что, например, в словоформах *слуг-ы*, *стол-а*, *сын-у*, *гост-и*, *камен-е* одно и то же грамматическое значение Р ед. ч. (муж. р.) выражалось разными флексиями, в структуре древнерусского языка представляло лишь исторически обусловленную грамматическую традицию, не связанную с актуальными для языка характеристиками основ. Отмеченная выше общая тенденция к преодолению синонимии флексий неизбежно должна была «упорядочить» исторически сложившиеся отношения, т. е. либо привести к объединению флексий, тождественных по своему грамматическому значению, либо закрепить разные флексии за разными группами имен, противопоставленными друг другу по актуальным для сложившейся языковой системы признакам.

Наиболее ярким грамматическим классификатором существительных в древнерусском языке и в последующие эпохи оставалась, как указывалось, к а т е г о р и я р о д а, которая и оказывается в центре перестройки унаследованных типов склонения.

«Образцами» для объединения парадигм с общим родовым значением служили давние различия флексий, связанные с родовой принадлежностью существительных — независимо от типа древнерусской основы. Таковы, например, показатели значения Т ед. ч. *-ию*, *-ою/-ею* (*материю*, *ночию*, *свекрѣвию*; *воду*, *землю*) — с общим формантом *-ю*, указывавшим на принадлежность к женскому роду в разных словоизменительных классах, и *-ѣмь/-ѣмь* (*столѣмь*, *селѣмь*, *сынѣмь*; *гостѣмь*, *каменьѣмь*, *именьѣмь*) — с общим формантом *-мь*, указывавшим (частично — в тех же словоизменительных классах) на принадлежность к мужскому или среднему роду. Существительные мужского рода разных типов склонения (кроме I и II классов) оформляли значение И-В ед. ч. посредством флексии *-ѣ/-ѣ* (*стольѣ*, *сынѣ*; *гостьѣ*, *дѣньѣ*, как и *каменьѣ*), а существительные среднего рода в основной своей массе имели в качестве показателя того же падежного значения флексию *-о/-е* (*село*, *слово*; *поле*, *знамение*). Указанные случаи означают, что в древнерусском языке уже на начальном этапе его развития флексии, повторявшиеся в нескольких словоизменительных классах и внутри некоторых из них противостоявшие другим флексиям с тем же падежным значением, также

повторявшимся в нескольких классах как связанные с родовой принадлежностью соответствующих существительных, в единственном числе составляли во всех типах склонения (кроме этимологических основ на *-ā/-ja) половину флексивных морфем парадигмы, включая флексии наиболее употребительных падежей.

Единство имен одного рода поддерживалось в форме единственного числа во всех, без исключения, падежах флексиями согласуемых слов (которые были основным и универсальным средством выражения родовой принадлежности существительных), не зависевшими от типа склонения определяемого слова. Например: в Р ед. ч. *стол-а, сын-у, гост-и, камен-е* — всегда *мо-его*, а *сестр-ы, земл-ь, кост-и, матер-е* — только *мо-ей*; Д ед. ч. *стол-у, сын-ови, гост-и* — *мо-ему*, а *сестр-ь, земл-и, матер-и* — *мо-ей*. Еще более выразительно это проявлялось в И (и В) ед. ч., где *сел-о, пол-е, им-я* — *мое*, *слуг-а, суди-я, гост-ь* — *мои*, а *сестр-а, земл-я, кост-ь* — *моя*.

§ III. Общность актуальной для функционирующей языковой системы родовой характеристики существительных уже к концу праславянской эпохи оказалась противопоставленной грамматически «бессодержательному» различию флексий, не отвечавшему сложившимся системным отношениям. Сохранение такого несоответствия становилось делом времени и зависело от устойчивости исторически сложившихся словоформ. Различие флексий, выражавших тождественные грамматические значения, в системе языка оказывалось наиболее «слабым» звеном в тех случаях, когда оно затрагивало лишь часть парадигмы, характеризовавшей непродуктивную или не обладавшую высокой частотностью группу имен, т. е. в тех случаях, если одна из тождественных по комплексу грамматических значений флексий характеризовала малочисленную группу слов, редко употреблявшихся в речевой практике¹, и противостояла флексии, свойственной многочисленному классу существительных, включавших широко употребительные словоформы.

Указанными обстоятельствами определяется отраженное старейшими древнерусскими текстами раннее разрушение парадигмы единственного числа, характеризовавшей этимологические основы на согласные. В частности, общность родовой принадлежности и раннее совпадение наиболее употребительных форм И-В ед. ч. обусловили начавшееся еще в дописьменное время сближение древних основ на *-(e)s (типа *дерев-о, слов-о*) с существительными типами *лнст-о, сел-о*. (см. § 101)

Выравнивание основ И-В ед. ч. муж. р., исторически принадлежащих к тому же типу склонения, что и *слово*, имело следствием совпадение частотных падежных форм этих существительных с формами этимологических основ того же рода на *-ī (которому до

¹ Последнее обстоятельство чрезвычайно важно: именно оно определяет поразительную устойчивость «индивидуальных» словоформ, не «подчиняющихся» продуктивным типам словоизменения. Яркий пример — глагольные словоформы *дам, ем*, сохранившие очень древнее окончание 1-го л. ед. ч. только для этих двух слов; ср. сохранение очень древнего по происхождению склонения личных местоимений, практически представленного лишь двумя словами.

развития согласных «вторичного смягчения» предшествовал фонетически полумягкий согласный основы): **И-В** *камен-ь* (как *пут-ь*); **Д** *камен-и* (как *пут-и*); **Т** *камен-ьмь* (как *пут-ьмь*; ср. древнерусские парадигмы ед. ч. IX и XI классов). Результатом этого совпадения явилась унификация форм остальных падежей (**Р-М** *камен-и*, как *пут-и*), что фиксируется уже старейшими текстами и началось, безусловно, в дописьменное время (вероятно, еще в эпоху праславянского языкового единства). Тот же набор флексий в период создания старейших текстов закрепляется и в склонении существительных среднего рода с этимологическими основами на **-ten*, сохранивших (в отличие от имен мужского рода) противопоставленность основ **И-В** и остальных падежей (*имя* — *имен-и* и т. д.). В системе книжно-литературного языка сложившаяся таким образом «вторичная» парадигма существительных типа *имя* прочно сохранялась на всем протяжении его истории и вошла в систему норм современного русского литературного языка.

Те же процессы отражены древнерусскими текстами и в словоформах имен женского рода, очень рано объединивших (кроме названий лиц женского пола) основы **И-В**. (см. § 103)

Таким образом, если отвлечься от возможных диалектных различий, хронологическая специфика которых пока в полной мере не может быть восстановлена, для древнерусского языка позднего периода памятники письменности отражают утрату в единственном числе особого склонения, представленного парадигмами X — XIV классов: основная масса соответствующих имен в зависимости от родовой принадлежности в это время получила формы словоизменения по VIII или IX классу, т. е. (с учетом «вторичного смягчения» и падения редуцированных, хотя в большинстве памятников при оформлении флексий оно отражено очень непоследовательно):

Падеж	VIII класс		IX класс	
И-В	<i>волос</i> [т'-∅]	<i>церковь, мати/матерь</i>	<i>пу</i> [т'-∅]	<i>камень, имя</i>
Р-Д	<i>волос</i> [т'-и]	<i>церкви, матери</i>	<i>пу</i> [т'-и]	<i>камени, имени</i>
Т	<i>волос</i> [т'-ју]	<i>церковью, матерью</i>	<i>пу</i> [т'-ем']	<i>каменемь, именемь</i>
М	<i>волос</i> [т'-и]	<i>церкви, матери</i>	<i>пу</i> [т'-и]	<i>камени, имени</i>

§ 112. Эта же парадигма, судя по памятникам письменности, реализовалась и в словоформах имен типа *жеребья, теля*, которые в дальнейшем не сохранили древних форм, заменив их новообразованиями с суффиксом (точнее, с комплексом суффиксов) уменьшительности *-ён-ок* > *-л'о/и-ок*: *жереб-ён-ок, тел-ён-ок* (ср. сохранение древней основы в формах множественного числа: *жереб-ят-а, тел-ят-а*). Без первого форманта известно лишь образование *щен-ок* (и соответственно *щен-к-и*; по ср. диал. *щен-ят-а*).

Напротив, сохраняется основа множественного числа в широко распространенном по диалектам образовании *реб-ят-ён-ок*, семантически оторвавшимся

от формы *реб-ят-а* — со значением 'молодежь', не являющимся для него первичным. Большинство говоров сохраняет при этом первоначальное оформление корня: *роб-ят-а* (и *робятёнок*) от др.-русск. *роб-я* с исходным значением 'сын раба, работника' (от в.-сл. *роб-*). Еще во времена Пушкина это слово могло употребляться лишь по отношению к «простонародью», отражая таким образом связь со своим давним значением.

Только новые образования известны чуждым книжному влиянию деловым текстам XVI—XVII вв.: *Взяли... жеребёнок гнид трех лнт* в Курск. гр. 1623. Время же их появления установить трудно, так как сложились они в обиходной речи сельского населения и не получили отражения в собственно древнерусских текстах.

Повсеместное (в диалектологическом плане) распространение образований на *-ен-ок*, которые в ряде говоров проникают и в формы множественного числа (*жеребёнк-и, телёнк-и*, в том числе *ребятёнк-и* со значением 'дети, малыши' — в отличие от *ребята* — 'молодежь'), указывает на их давность, на то, что они должны были появляться еще в период древнерусского языкового единства, хотя, видимо, и оставались в то время диалектными.

П. С. Кузнецов, ссылаясь на указанные Л. А. Булаховским украинские формы типа *кош-ен-я* (Р *кош-ен-ят-и*), предполагает, что в новообразованиях типа *тел-ён-ок* древний славянский суффикс уменьшительности *-ък-* мог присоединиться не к основе *тел-*, а к более сложной основе **тел-еня* (Р *тел-ен-ят-е?*). Если учесть крайне редкую употребительность рассматриваемых лексем в письменных памятниках (даже в близких к разговорной речи текстах берестяных грамот встречаются только формы слова *дьятя*), в связи с чем реальные древнерусские диалектные формы до нас не дошли, предположение Кузнецова может аргументироваться только диалектным материалом. Возможность существования в праславянском языке основы **tel-en-* как диалектной (наряду с **tel-*) подсказывается фактами других славянских языков, где она как будто также сохраняется (как и в украинских формах типа *кош-ен-я*) в уменьшительных новообразованиях; ср., например, сербск. *жеребёнце, телёнце* (< *тел-ен-ьц-е*) — с оттенком, близким русск. *жеребёночек, телёночек*. Формы *гус-ен-ят-ы, кот-ен-ят-ы, кур-ен-ят-ы* отмечены в русских говорах на территории Ливы.

Вместе с тем формы без *-ен-ок* (типа *теля — теляти*) в единственном числе были известны и диалектной древнерусской речи (а не только книжному языку), так как они встречаются в поговорках и пословицах, нередко сохраняющих формы, давно исчезнувшие из повседневной речи: *Нашему теляти да волка поймати; Озин с овсом, жеребя с хвостом; У кошки котя такое же дитя.*

Литературный русский язык, усвоив наименования детенышей животных с суффиксом *-ен-ок* в форме единственного числа, название ребенка сохраняет без этого суффикса: *дитя* (из более раннего *дьятя*, ср. *дети*) с устаревшей словоформой *дитяти*. Однако это «исключение» — явление сугубо книжное; в живой речи (и не только диалектной) такие формы не употребляются, заменяясь либо синонимом *ребёнок* (с супплетивной основой множественного числа *дет-и*; формы от основы *ребят-а* вне обращения употребляются с иным оттенком значения), либо производными (*детка, деточка* — обычно при обращении; во многих говорах зафиксировано производное *детёнок*). В диалектной речи это слово известно, но и здесь оно не сохраняет прежних форм, склоняясь (утратив аффикс *-ят-*)

как остальные существительные среднего рода (что проникает и в просторечие): **И-В** *дитё* (в северных говорах *детё*); **Р** *дитя*; **Д** *дитю*; **Т** *дитём* (ср.: *Я помню, ты дитёй с ним танцевала* у А. С. Грибоедова — отражение просторечной формы с «женским» окончанием).

§ 113. Дальнейшая судьба существительных, объединившихся в единственном числе в склонении типа *волость* (*церковь, мати/матерь*) — *путь* (*камень, имя*) с вариантами словоизменения женского и мужского рода, оказалась в русском языке различной, что опять-таки зависело от родовой принадлежности соответствующих существительных. Прежде всего это касается замкнутой группы существительных среднего рода типа *имя, племя*, которые в системе литературного языка удерживают формы словоизменения по IX классу (с сохранением противопоставленности основ **И-В** и остальных падежей), отражая нормы церковнославянского языка, сложившиеся еще в древнерусский период.

Не исключено, что устойчивость книжной традиции словоизменения этих имен поддерживалась тем, что среди них были образования мужского рода, соотносившиеся в живой речи с формами типа *имя*, а в литературном языке — с формами типа *камень*; это — *пламя* (*пламень*) и *стремя* < *стрья* (ср.: *Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремь* в Сл. ПИ). Образцом изменения таких имен в литературном языке, безусловно, служила заметная группа церковнославянизмов: *знамя* ('знак', в древних текстах 'божественный знак'), *письмя* (см.: *письмя едино* в Остр. ев.; ср. совр. литер. *письмен-а* — всегда со значением 'древнее письмо, надпись'), *бремя* [ср. диал. *беремя* — всегда с конкретным значением 'вязанка (дров), охалка, ноша'], *время* (см. *по врьемьнемь* в Смол. гр. 1229), а также *пламя* (диал. *поломя* — *польмя*; см.: *Из огня да в польмя*) и др., не отмеченные в памятниках в форме единственного числа. Вряд ли эти слова (кроме *время* и, вероятно, *пламя*) были известны обиходной диалектной речи; исследователями зафиксированы словоформы имен: *беремя, время, имя, племя, польмя* (и *пламя*), *семя, стремя, темя*.

В отличие от литературного языка, сохранившего традиционные формы этой группы образований, диалектная речь, где общая тенденция к объединению существительных одного рода в едином типе склонения до недавнего времени не сдерживалась вмешательством книжно-литературных норм, отразила «естественный» путь морфологического развития этих имен — их последовательное сближение с остальными существительными среднего рода, включая (наряду с обобщением форм словоизменения) ликвидацию противопоставленности основ **И-В** и остальных падежей.

В некоторых говорах была обобщена основа форм множественного числа, в результате сложились формы **И** *именó, стременó*; **Р** *имена, стремена*; **Д** *имену, стремену*. Но такие образования встречаются лишь в говорах северных окраин. В подавляющем большинстве диалектов была обобщена в единственном числе основа **И-В** (противопоставленная основе множественного числа *имен-а, стремен-а*); в результате существительные рассматриваемой группы усвоили формы словоизменения по типу *поле* (VI класс): **И-В** *име, семе* (на севере *имё, семё, стремё*, на юге *имя, семя*, как *пóл'а*); **Р** *имя, семя*; **Д** *илю, семю*; **Т** *имем, семем* (ср. *дитём*). Повсеместная распространенность таких форм словоизменения говорит об их

давности; однако в памятниках письменности они долгое время не находят отражения. Лишь с конца XVI в. в южновеликорусских деловых текстах изредка попадаются примеры таких форм: *до време, сьмя конопляного; вместо знамя, свободного время* в письмах Петра I и др. В XVIII в., в связи с характерными для этого времени поисками путей демократизации литературного языка, подобные формы нередко попадают в произведения известных писателей: *от твоего время* (Кантемир); *до высоты темя* (Радищев); *чужого племя, по имю, по времю, от бремя дел, плазем, в прошлом време* (Державин); *в пламе, из племе* (Дмитриев); *к телю, ни время ни охоты нет* (Крылов). Встречаются они еще и у авторов первой половины XIX в.: *до время* (Рылеев); *из пламя, другого имя, от время* (Лермонтов); *время нет* (Грибоедов), хотя уже А. С. Пушкин считал их неприемлемыми для нормализованного литературного языка. В разговорной же речи (в том числе и носителей литературной нормы) они и сейчас обычны (ср. постоянный вопрос *Сколько время?*).

§ 114. Существительные мужского рода, объединившиеся в древнерусском языке в IX словоизменительный класс (т. е. не только *пнь, путь*, но и *камень, ячьмень* и т. д.), в памятниках письменности довольно долго сохраняют окончания древних основ на *-i. И лишь редкие примеры (некоторые из которых очень выразительны) подсказывают, что объединение их в одном склонении с основной массой существительных мужского рода (этимологическими основами на *-ǫ/-jǫ) началось уже в древнерусский период, однако вряд ли ранее развития согласных «вторичного смягчения».

Дело в том, что имена мужского рода, изменявшиеся по IV и IX классам (*конь, путь*), хотя и имели общие окончания в большинстве падежей единственного числа (включая частотные **И-В** *кон-ь, меч-ь, пут-ь, камен-ь*; также: **Т** *кон-ьмь, меч-ьмь, пут-ьмь, камен-ьмь*; **М** *кон-и, меч-и, пут-и, камен-и*), до развития согласных «вторичного смягчения» противопоставлялись разной морфонологической характеристикой основы: имена IV класса характеризовались исконно смягченным согласным на конце основы (т. е. *ко[n']-, ме[ч']-, но[ж']-, оть[ц']-*), а имена объединенного IX класса — полумягким (фонологически — твердым) согласным: *голу[б']-, звы[р']-, ло[с']-, медвь[д']-, ог[н']-, пу[т']-*, как и *каме[н']-*. Развитие согласных «вторичного смягчения» ликвидировало это различие лишь для существительных с мягким сонорным на конце основы (в синхроническом плане согласные оказывались тождественными в таких случаях, как *ко[n']-* и *ог[н']-*, *звы[р']-*, *пы[n']-*, *каме[н']-*); в остальных случаях сохранялось противопоставление основ на непарный (бывшие основы на *-jǫ) ~ парный мягкий согласный (бывшие основы на *-i). Возможно, это обстоятельство и способствовало устойчивости книжно-литературной нормы, продолжавшей длительное время удерживать старую флексию -и в Р-Д существительных мужского рода с основой на парный мягкий согласный (в остальных падежах флексии совпадали). Такие формы довольно последовательно выдерживаются в летописных текстах разного происхождения: *къ зяти своему* в Новг. лет.; *от тести своего* в Лавр. лет.; и даже в грамотах:

роуському гѣсти в Смол. гр. после 1230; *без пути* в Новг. гр. XV; *до поути* в Двинск. гр. XV, а в текстах, ориентированных на церковнославянские нормы, флексии IX класса в Р-Д удерживаются вплоть до XVII в.

И все же изредка встречаются примеры, указывающие на то, что уже в древнерусском языке начался процесс сближения парадигм IX и IV классов, где окончания Р, Д были те же, что и в III классе, следовательно, характеризовали основную массу существительных мужского рода. Старейшие случаи, отражающие это сближение, отмечены уже в текстах XI — XII вв., притом церковнославянских; и вряд ли случайно в новой форме ранее всего зафиксировано существительное с основой на сонорный согласный: *огня* в Мин. 1097 и Юрьевск. ев. ок. 1120.

Появление инновации под пером писцов, стремившихся следовать традиционным книжно-литературным нормам, ни в коем случае не отражает начального этапа развития новообразования: книжник, учившийся чтению и письму путем заучивания Псалтыри и евангельских чтений, писанных церковнославянским языком, мог, переписывая более ранний по происхождению текст, нарушить норму лишь в том случае, если она решительно расходилась с его повседневной речевой практикой. Именно поэтому, учитывая факты отражения новых форм Р, Д ед. ч. существительных типа *огнь*, *путь* уже в текстах XI — XIII вв., следует согласиться с мнением П. Н. Дурново о том, что активное распространение таких форм происходило уже в «общерусском языке-основе» (т. е. в собственно древнерусском), а потому почти без исключения характеризует все современные восточнославянские языки.

Консервативность древних текстов, избегавших форм, противоречивших устойчивой и авторитетной грамматической традиции и тем самым затрудняющих реконструкцию реальных для живой речи морфологических процессов, хорошо иллюстрируется отражением форм существительного *путь*, которое в современном литературном языке является единственным словом мужского рода, последовательно удерживающим парадигму древнерусского IX класса, но в говорах отнюдь не составляет «исключения».

Формы Р-Д-М *пути* в настоящее время известны в северновеликорусских говорах; но сохранение таких форм в условиях, когда существительные мужского рода уже объединены в одном типе склонения (с флексиями, продолжающими традиции давних основ на *-*ō*), имело следствием переход этого существительного в класс женского рода: *большая путь*, *от дальней пути*. В литературном языке то же произошло и с существительными отвлеченного значения (типа *степень*), которые, сохранив флексии древних основ на *-*ī*, также перешли в класс имен женского рода (ср.: др.-русск. *предѣ степеньмъ соудищнымъ* в Мин. 1096; *на свои ему святительскыи степень* в Новг. лет.).

В южновеликорусских говорах существительное *путь*, сохранив принадлежность к классу имен мужского рода, вынуждено было расстаться со своими древними формами: *долгого путя*, *к долгому путию*. В памятниках первый пример перехода этого существительного в «объединенное» мужское склонение отмечен в довольно строгом в орфографическом отношении церковнославянском списке «Рязань-

ской кормчей» 1284: *долготы поутя, от поутя*. А следующие (очень редкие) фиксации относятся уже к южновеликорусским текстам XVII в.: *А зима... была малоснѣжна и **путя** не было* в Курск. гр. 1640. Но и в это время, когда можно не сомневаться в исключительности подобных форм в живой речи, в южновеликорусских текстах, как правило, продолжают употребляться традиционные словоформы: *от тяжелоєо пути* (с подтверждением принадлежности к мужскому роду), *зимним тяжелым путем* в Курск. гр. 1643.

То же касается и имен типа *камень, ячмень*, которые прочно удерживают в сохранившихся памятниках окончания **Р-Д** по IX классу. Даже в деловых текстах XV в., чуждых церковнославянскому влиянию, форме **Р** *ячменя* противопоставлены более многочисленные примеры с формой *ячмени*; в деловых памятниках первой половины XVI в. отмечены только формы **Р** *корени, ячмени*; обычны такие формы и в текстах XVII в., где лишь единичными примерами представлены формы **Р** *кореня, ячменя*; **Д** *каменю*. Еще в записях Петра I (конец XVII — начало XVIII в.) чаще употребляются формы **Р** *камени, ячмени*, хотя встречаются и *каменя* и даже *камню*. В настоящее время формы типа *камени* изредка фиксируются на севере, но неизвестны центральным и южновеликорусским говорам. Поэтому, с точки зрения возможностей отражения разговорных форм в ненормированных текстах, показательно, что в южновеликорусских челобитных XVII в. (знающих формы *кореня, ячменя*) продолжают постоянно употребляться словоформы с традиционным окончанием: *10 копен **ячмени**; Овса и **ячмени** по полутретьи чети* в Курск. гр. 1628.

«Беглый» гласный, являющийся нормой при склонении существительных этой группы в литературном языке (*камень — камня, корень — корня*), отражает процесс морфонологического преобразования основ [по аналогии с формами словоизменения основ, некогда содержавших редуцированный, типа *день (< дьнь) — дня, локоть (< локѣть) — локтя*], происходившего в северо-восточных, со временем — центральных, великорусских говорах (см. **Р** *камню* в одном из писем Петра I). На юге эти слова склоняются без «беглого» гласного; см. записи, осуществленные в окрестностях Курска: *Там кóр'ьн'а н'этут'и; Ваз'м'и пѣт-кám'ьн'ам; Я-ó:т т'иб'é р'ém'ьн'-ам!* Вошедшее в литературный язык из южных говоров слово *ячмень*¹ отразило эту особенность (поддержанную «нежелательностью» возможного стечения трех согласных): *ячменѣ* (или *ячменю*).

С XIII в. встречаются в памятниках новые формы других существительных мужского рода, исторически связанных с основами на *-ї: *Которыи русинѣ... имѣть **татя*** в Смол. гр. 1229; *немечькому гостю* в Гр. 1264; *Взяша... **тѣстя** своего* в Лавр. лет.; *Поиде на **тестя** своего; **зятю** своему* в Двинск. гр. и Тверск. лет. Они еще

¹ Культура ячменя в Восточной Европе преимущественно распространена к югу от границы леса; на севере (где он не везде выживает) его называют *житом* (в отличие от преимущественно северного распространения ржи, которую на юге называют *житом*); ср.: *ярая жита* — 'яровой ячмень' в Новг. гр. (рубеж XIII — XIV вв.).

довольно редки на фоне более обычных для текстов XIII — XV вв. форм **Р-Д-М** *гости, зяти, тати, тьсти*. Легко заметить, что все это — названия лиц мужского пола, которые в форме **Р** встречаются со значением **В**: *иметь татя, на тестя, взяша тьстя*. В этой связи А. А. Шахматов полагал, что фактором, определившим появление таких форм, было распространение категории лица на прежние **ī*-основы, которые под влиянием форм **В** *муж-я, отьц-я* принимали форму *зят-я, тат-я, тьст-я*, что и способствовало их переходу в IV класс. Если, однако, учесть, что наиболее ранние фиксации таких форм связаны не с личными именами (**Р** *огн-я, пут-я*), то в предположение Шахматова необходимо внести «поправку»: развитие категории лица было, скорее, не причиной объединения двух склонений мужского рода в одно, а условием, создававшим возможности нарушения нормативной для книжно-литературного языка системы форм, поскольку именно и **В** традиционные *зять, тьсть*, соотносившиеся с **И**, совпадая с формой **И** *мужь, отьць*, особенно резко противоречили уже сложившейся форме **В** *зятя, тьстя*, соотносившейся с формами **В-Р** *мужя, отьця*, и тем самым подчеркивали словоизменительное единство имен мужского рода с личным значением, исторически склонявшихся по-разному. Сохранившиеся в очень большом количестве и разнообразные по содержанию деловые и бытовые тексты XVI — XVII вв. знают только формы **В-Р** и **Д** *гостя, зятя, татя, тестя — гостю, зятю, татю, тьстю*, которые к этому времени уже повсеместно были единственно возможными, хотя в списках литературных произведений XVI в. еще можно встретить: *к гости, от своего тьсти*.

Памятники письменности не отражают рассматриваемого морфологического процесса в кругу названий животных, птиц, рыб, поскольку в форме единственного числа они в письменном языке чрезвычайно редки. Однако в живой речи эти существительные меняли формы словоизменения параллельно названиям лиц. При этом родовые названия животных, которые языковая традиция в формах единственного числа склонна использовать также в качестве названия самцов (особей мужского пола)¹, нередко переходили в класс существительных мужского рода, если в древности они принадлежали к женскому роду (как *выпь, лебѣдь, лосось, мышь, рысь* и др., в том числе и тюркское заимствование IX — X вв. *лошадь*; к мужскому роду всегда относились, кроме общеродового слова *звьрь*, также: *вьпрь, лось, медвьдь, олень, соболь* и др.) В системе литературного языка это нашло отражение в современной родовой принадлежности существительных *лосось* (ср. форму женского рода *двь лососи* в Гр. 1500), *гусь* и *лебедь* (былая принадлежность этого слова

¹ Формой единственного числа родового названия *гуси* является *гусь* (самец; самка — *гусыня*), *волки* — *волк* (самец; самка — *волчица*), *лоси* — *лось* (самец; самка — *лосиха*), *львы* — *лев* (самец; самка — *львица*); древнее родовое название *куры* имело формой единственного числа название самца — *куръ* (самка — *курица*). Между прочим, то же и в названиях лиц: *гости* — *гость* (женщина — *гостья*), *студенты* — *студент* (женщина — *студентка*), *ученики* — *ученик* (женщина — *ученица*).

к женскому роду закреплена в традициях устнопоэтического народного творчества, где *лебедь* всегда связывается с девицей, женщиной: *лебедь белая*). В русских говорах, как на юге, так и на севере, к мужскому роду относится слово *мышь*: *большой мыш(ь)*, *мыша поймали*. Другие названия, исторически принадлежащие к основам на *-й женского рода, в обиходной речи малоупотребительны в форме единственного числа и редко фиксируются диалектологами.

В окрестностях Курска записано: *Вып* (г. е. *выть*) — *он дробнай, а р'ив'ет' как бык* (форм других паджей не отмечено). От одного тасжного охотника довелось услышать: *Крупный рысь прошел*; впрочем, будучи человеком грамотным, он тут же заметил реакцию одного из спутников-горожан и стал пояснять, что размеры следов указывают на матерого *самца*.

Слово *лошадь*, обозначая только родовое понятие (в качестве наименований особой мужского пола используются специализированные термины *жеребец* и *мерин*), устойчиво сохраняет принадлежность к женскому роду.

Таким образом, ко времени обособления восточнославянских языков (к XIV — XV вв.) древнерусские диалекты фактически уже утратили парадигму IX класса, сохранив флексии бывших основ на *-й только в формах существительных женского рода — как старых, так и тех, которые некогда были именами мужского рода (вроде *степень* или *путь* в северновеликорусских говорах).

Единственным существительным мужского рода, в словоформах которого не только в литературном языке, но и в диалектной речи долгое время удерживались окончания IX класса, оставалось слово *день* (этимологически относившееся к основам на согласный и в церковнославянских памятниках встречающееся в форме **Р-М** ед. ч. *дъне*, которая, безусловно, была книжной). Во многих северновеликорусских говорах форма **Р** *дни* сохраняется до настоящего времени¹, в то время как на юге нормальные формы: **Р** *дня*; **Д** *дню*. Однако в южновеликорусских памятниках делового и бытового характера (известных с конца XVI в.) явно преобладает форма *дни*, которая в это время была нормой литературного языка; на десятки примеров этой формы в **Р** (форма **Д** не отмечена), например, в курских грамотах начала XVII в. (*после Велика дни, до Петрова дни, канун Троицына дни* и т. п.; постоянно: *в таком-то часу дни*) приходятся единичные фиксации: *с Петрова дня до Велика дня; до Велико дня; а дня сказал не упомянет*. Между тем форма эта в курских говорах давняя; в прошлом столетии она зафиксирована в песнях традиционного масленичного обряда, сложившихся в далеком прошлом:

Сударыня наша масленица!
Пратялися да Вялика дья,

Ат Вялика дья
Да Пятрова дья.

¹ См.: *Обнорский С. П.* Именное склонение в современном русском языке. Вып. I. Единственное число. Л., 1927, с. 82. См. записи П. С. Кузнецова в Зонежье: *с ыл'иня дни, с петровя дни, идного дни*. Форма этого существительного по IX классу сохранилась в наречии *намедни* ('недавно') из сочетания с формой **М** ед. ч. *ополь-дьяни*.

В московских текстах, в том числе бытового и делового характера, форма **Р дни** нормальна до XVII в., что кажется естественным, учитывая северное происхождение говора Москвы. Нормативность ее, видимо, поддерживалась и устойчивостью конструкций, в которых слово *день* обычно употребляется в форме единственного числа (см. однотипность приводившихся выше примеров разных столетий и разной территориальной приуроченности). Тем не менее единичная форма *дня* отмечена в московском Суд. 1497; редкие примеры формы **Р дня** встречаются у Г. Котошихина (вторая половина XVII в.), где вчетверо чаще употребляется форма **Р дни**, которая не уступает форме **Р дня** даже в письмах Петра I и закрепляется в качестве нормы литературного языка, складывающегося в XVIII в. В речи московской интеллигенции она еще обычна в первой половине XIX в. (*Пушкин бессмертный жил два дни, а вчера, в пятницу, он отлетел от нас* — в письме Е. Карамзиной 1837 г.), но позднее полностью оттесняется разговорной формой **Р дня**.

§ 115. Разрушению IX класса противостоит стабилизация парадигмы единственного числа VIII класса как типа словозменения существительных только женского рода. Эта парадигма (с учетом фонетико-фонологических преобразований в окончаниях: $kos[t'-y] > kos[t'-y] > kos[t'-\emptyset]$; $kos[t'-ijy] > kos[t'-ijy] > kos[t'-jy]$) устойчиво сохраняется в литературном языке (современное III склонение) и в подавляющем большинстве диалектов¹. Ее дальнейшее преобразование, известное многим русским говорам, связано с более поздними процессами, реализующими тенденцию к объединению всех имен женского рода в одном склонении. Этим процессам предшествовало обобщение форм **И-В** ед. ч. существительных, исторически связанных с основами на **-er* и **-ū/-ījy*, которое древнейшими текстами отражено лишь в кругу существительных с неличным значением.

Преимущественно субъектное употребление существительных с личным значением *мати* и *дъчи* определило наиболее известное для говоров русского языка обобщение древней формы **И**, которая (как и у всех существительных женского рода VIII класса) получает также и значение **В**. Это соотношение распространено повсеместно (в ряде областей — наряду с другими) и стало нормой литературного русского языка, но в текстах (в том числе и поздних, вплоть до XVII в.) не отражается. И в литературном языке, и в диалектах общая форма **И-В** никогда не встречается с конечным *-и* — только *ма[t']*, *до[ч']*, что при иных соотношениях форм **И**, **В** известно лишь в южновеликорусских и среднерусских (акающих) говорах. Вместе с тем только на территории великорусского центра (бывшей Ростово-Суздальской земли) формы **И-В** *мать*, *дочь* не сосущест-

¹ Авторы исследования, обобщающего диалектный материал всей европейской части РСФСР, констатируют: «Мощность III типа склонения колеблется по говорам незначительно и только за счет отдельных лексических различий» (*Бромлей С. В., Булатова Л. Н. Очерки морфологии русских говоров. М., 1972, с. 45*).

вуют с иными формами **В**¹. Все это позволяет утверждать, что кодификация в качестве литературных форм **И-В** *мать, дочь* обусловлена их развитием в говорах вокруг Москвы, где они должны были окончательно сложиться после распространения здесь аканья, т. е. после XIV в.; а их широкое распространение в русских говорах обусловлено тем, что они уже характеризовали московскую речь ко времени сложения на ее основе собственно великорусского языкового единства и в дальнейшем распространялись, вытесняя иные формы рассматриваемых существительных.

Древнее соотношение форм **И** и **В** продолжает сохраняться как на крайнем севере, так и к югу и далеко на запад от Москвы (в соседстве с белорусскими говорами); причем на севере противопоставление основ **И** и **В** существует при сохранении форм **И** ед. ч. *мати, дочи*, а в акающих говорах при **И** *мать, дочь*. По соседству с такими диалектами (чаще на севере) встречаются говоры, обобщившие для обоих падежей древнюю основу **В** (и других косвенных падежей) *матерь, дочерь*, т. е. полностью завершившие унификацию форм этих существительных по типу VIII класса (**И-В** *мате[r']ø*, как *кост[т']ø*; **Р** *матер-и*, как *кост-и*). То же встречается в некоторых северо-западных говорах, обобщивших форму **И** и склоняющих: **И-В** *до[ч']ø*, как *кост[т']ø*; **Р-Д-М** *доч-и*, как *кост-и*; **Т** *доч-ью*, как *кост-ью* (для слова *мать* такие формы единичны).

К югу от среднего течения Оки и на восток от течения Десны южновеликорусские говоры почти сплошь отражают переход существительных *мать* и *дочь* в продуктивное склонение имен женского рода, чему, безусловно, способствовало аканье, нивелирующее на фонетическом уровне различия между синонимичными флексиями разных склонений (ср. при аканье формы **Р-Д-М** *мате[r'-и]* как *бу[r'-и]*). В таких говорах формы **В** ед. ч. *матер-ю, дочер-ю* (как *бур-ю*) сочетаются либо с обобщенной формой **И**, сохраняющей *-ер* (*матерь, дочерь*), либо с новой — по продуктивному типу — *матер-я, дочер-я* (см. ниже), либо с формой, явно отражающей процесс нивелировки говоров в частотном **И** под влиянием нормативных форм *мать, дочь*. В многочисленных говорах Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областей форма **И** *мать, дочь* сочетается со своеобразной формой **В**, отражающей распространение на эти существительные категории одушевленности: *ма́те[r'a], до́че[r'a]* — явно из древней формы **Р** *матере, дочере*; интересно, что из всех диалектных многообразий форм **В** только эти формы встречаются в местных памятниках конца XVI — начала XVII в. и притом постоянно: *Вели .. дати на поруку матере ево и брата ево роднова Андриюшку и жану и детей* в Курск. гр. 1632; *И его Петрушкину жену и дочере били*; *И жену ево и дочеря били* в Курск. гр. 1639; *Взяли матеря мою* в Новосильск. гр. 1637; *Матеря ево срубили воинския люди* в Елецк. гр. 1660; *Взяли дочеря мою* в Чернавск. гр. 1660.

¹ См.: *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров*, с. 70.

Существительные женского рода, исторически связанные с основами на *-ī, уже в старейших памятниках встречаются с обобщенной формой **И-В** (*любѣвь, църкѣвь*), уподобляясь остальным существительным женского рода, изменяющимся по VIII классу: **И-В** *церк[о]в'лѣ* (< *църкѣвь*), как *кост'лѣ*; **Р-Д-М** *церке-и*, как *кост-и*; **Т** *церкоз-ью*, как *кост-ью*. Такое словоизменение этих существительных (исключая наименование лица *свекры* — *свекрѣвь*, а также *ятры*, которое встречается очень редко) отражается в памятниках на всем протяжении истории русского языка и кодифицировано в качестве нормы современного литературного языка. Как нормативное сохраняется такое словоизменение и для существительного *свекровь*; однако, как показывают данные лингвистической географии, форма **И-В** *свекровь* (с соответствующими формами словоизменения) является исключительной прежде всего для говоров великорусского центра (исторически — Ростово-Суздальской земли, на территории которой находилась Москва) и примыкающих к ним диалектов, что, по-видимому, и способствовало ее кодификации в качестве нормы литературного языка. К югу от сплошного ареала форм **И-В** *свекровь* (вдоль среднего течения Оки и до верховьев Дона) великорусские говоры сохраняют архаическую форму **И** ед. ч. *свекры*, которая в остальных южновеликорусских говорах отмечается лишь в отдельных пунктах и однажды зафиксирована в Елецк. гр. 1660: *А крестьян асталос Левка жена Улка крестьянка Акулка снѣ Гришка шти годов свекры Ирина*. Соответствие этой фиксации живой местной речи подсказывается тем, что форма **И** *свекровь* в то время уже была устойчивой книжно-литературной нормой. По-видимому, архаизм говоров средней Оки — это остаток долго сохранявшейся в южновеликорусских говорах формы, утраченной в процессе нивелировки диалектов под влиянием говоров великорусского центра. В остальных говорах нормативная форма **И-В** *свекровь* вытесняла ранее сложившиеся формы по образцу продуктивного склонения (**И** *свекроека, свекровья, свекра*), среди которых необходимо специально выделить известную как на севере, так и на юге (точнее, на юго-западе) форму **И** *свекрова* (**В** *свекрову*; **Р** *свекровы*)¹.

Дело в том, что этимологические основы на *-ī/-йи со значением конкретных предметов распространены в диалектной речи в формах типа *свекрова*, которые древним памятникам фактически неизвестны; это почти повсеместное диалектное *церква* — 'церковное здание' (но не 'религиозная организация'), *морква* (форма *морковь* говорам фактически неизвестна и явно отражает книжные традиции), *тыква* (ср. цсл. *тыкы* — *тыкѣвь*), *Москва* (лишь однажды, в ряду иных, в Суздальской летописи отмечена форма **В** *на Москозь* < *Москѣвь*), *буква* (ср. цсл. *букы* — *букѣвь*; но в старых текстах обычно во множественном числе, в том числе в формах *букѣвамѣ, букѣвахѣ*). Причины связи этих образований с наиболее продуктивным склонением имен женского рода (I класса) понятны:

¹ См.: *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров*, с. 80—82.

такое сближение началось еще в дописьменное время, что и нашло свое продолжение в дальнейшем развитии форм единственного числа в живой речи, не отразившись, однако, в старых памятниках. (А. И. Соболевский, правда, считал, что встречающаяся в некоторых текстах конца XIV — XVI вв. форма **И** ед. ч. *церкви* как-то связана с народной формой *церква*.) Судя по тому, что формы склонения по I классу названия *Москва* (которого, естественно, не было в древних книгах) в летописи фиксируются уже под 1147 г., в живой речи включение таких образований в единое склонение с древними основами на *-а в это время уже активно осуществлялось. Литературный язык кодифицировал формы этимологических основ на *-ѣ по III склонению, поэтому не признал ни *церкву*, ни *моркву*. Но слова, вошедшие в него в новое время из обиходно-разговорной (диалектной) речи, а не из старых книг, естественно, закрепились в народной, а не в книжной форме.

Формы *тыкы* — *тыкъвъ* встречаются в старославянских и церковнославянских текстах, но, во-первых, чаще со значением 'круглый сосуд с узким горлышком, кубышка', а во-вторых, — параллельно с формами склонения единственного числа по I классу (см. в примерах, приводимых П. И. Срезневским из переводных текстов: *Обрътоша тыкву воды; Крозь святаго мученика Пантелеимона в одной тыквъ; Лиха чловѣка учити аки въ оутлу тыкву воду лити*). Что же касается явно разговорных форм такой сугубо книжной лексемы, как *буква*, то, скорее всего, они были кодифицированы в период сложения норм нового литературного языка как противопоставленные церковнославянской форме *бука*, ассоциировавшейся с названием второй буквы славянского алфавита.

§ 116. Рассмотренные процессы означали, что в великорусских диалектах сложились в единственном числе три словоизменительные парадигмы существительных женского рода (для удобства сопоставления сохраним номера тех древнерусских словоизменительных классов, с которыми связаны окончания каждой из парадигм):

Падеж	I класс	II класс	VIII класс
И	<i>вод-а, церква</i>	<i>зѣмл-я, воля</i>	<i>кост-(ь), жизньь</i>
В	<i>вод-у, церкву</i>	<i>зѣмл-ю, волю</i>	<i>кост-(ь), жизньь</i>
Р	<i>вод-ы, церквы</i>	<i>зѣмл-ть, вольть</i>	<i>кост-и, жизнь и</i>
Д	<i>вод-ѣ, церквѣ</i>	<i>зѣмл-и, воли</i>	<i>кост-и, жизни</i>
Т	<i>вод-ю, церквою</i>	<i>зѣмл-ю, волю</i>	<i>кост-ю, жизнью</i> [$>$ -ju]
М	<i>вод-ь, церквѣ</i>	<i>зѣмл-и, воли</i>	<i>кост-и, жизни</i>

Единственным собственно морфологическим показателем, объединявшим эти парадигмы, был «родовой» формант в окончании **Т** ед. ч. [-ju]: -o/e-ju — -ju (< -йju). В говорах, распространенных вдоль полосы соприкосновения северно- и южновеликорусского наречий (со значительным расширением в западной части ареала, вдоль границы с белорусским языком) отражена тенденция к унификации флексий «женских» склонений в **Т**: *костей, грязей* (как *землей*)¹; *костей, грязей* или *костью, грязью*, т. е. *гряз' -juj* (в ре-

¹ Об изменении флексии **Т** ед. ч. -(o)ju > -(o)j см. в главе о местоимениях.

зультате контаминации *кост*[t'-ju] + *земл*'-ej]), и, наконец, *костюй*, *грязюй* — *землюй*, *солюй* ¹.

В целом по набору падежных окончаний II класс занимал как бы «промежуточное» положение, объединяясь с I классом флексиями частотных форм **И** и **В**, а с VIII классом — единством морфонологической характеристики основы, оканчивавшейся мягким согласным (что для русского языка, фонологизовавшего противопоставление твердых ~ мягких согласных, является очень существенным признаком) — при тождестве флексий **Д-М** (*земл-и*, *кост-и*). В ряде северных говоров, переживших в конце слов изменение [ê] (*и*) > [и], а также в южновеликорусских (акающих) говорах в словоформах с ударением на основе (типа *воля*, *воль*) на фонетическом уровне совпали также и флексии **Р** ед. ч. III и VIII классов. Постоянно действующая тенденция к преодолению синонимии флексий не могла не использовать указанных совпадений в парадигмах имен одного грамматического рода, что и отражено всеми, без исключения, русскими говорами, ни один из которых (так же как и литературный язык) не сохраняет трех словоизменительных классов для существительных женского рода.

Судя по памятникам письменности, наиболее ранним процессом, который должен рассматриваться в плане реализации тенденции к объединению форм словоизменения имен одного рода, явилось взаимодействие парадигм I и II классов. Начиная с XI в. в памятниках встречаются примеры употребления флексии *-и/-е* (которая была возможна после твердых и мягких согласных) в **Д-М** ед. ч. существительных типа *земля*, что, безусловно, отражает окончание соответствующих падежей I класса: *с(ся)тъи г(оспо)жъ богородицъ*, *въ ветъсп одежъ* в Мин. 1095; *въ поустынь* в Мин. 1096; *въ власяницъ*, *въ тьмьницъ* в Ев. XII; *на земль* в Мил. ев.; *по ноуже*, *въ тяже*, *въ продаже* в Р. пр. — параллельно с отражением того же процесса в формах имен мужского рода III и IV классов: *на конъ* в Новг. гр. XI; *въ Ярославль* в Новг. кормч.; *на жерепцъ*, *на одиномо конъ* в Новг. гр. XIV; *въ монастырь* в Лавр. лет. (как *на столъ*, *по братъ*).

В том же кругу текстов, как правило, связанных с древним Новгородом, довольно многочисленны примеры с **Р** имен типа *вода* с флексией *-и/-е*, явно восходящей к древней форме **Р** имен типа *земля* (которые до фонологического объединения [и, ы] оставались «невосприимчивыми» к окончанию **Р** имен I класса): *с высотъ* в Мин. 1096; *у Мануиле* в Новг. гр. XIII; *до сея суботъ* в Мил. ев.; *по полоу гривнъ*, *полъ гривне* в Р. пр.; *оу козь*, *полъ гривне* в Дух. гр. Климентя 1270. Много таких форм в старейшем списке Новгородской летописи: *ис псчеръ*, *бе(э) знатбе*, *рпль възъ*; исследователь языка новгородских берестяных грамот В. И. Борковский констатирует, что в них в **Р** ед. ч. имен I класса «форма с *ль*

¹ См.: *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров*, с. 79.

(или с *e* на месте *ь*) представлена многочисленными случаями» (*у Фомь, отъ Микити, от Фомь, с купной грамоть, у Фоминь жене, от Маринь, у старосте, с немецкой половинь, оу Микить, влдпрко осетринь, от Савь, от старость, без гривнъ*), причем в грамотах XIV — XV вв. они явно «господствуют»¹.

То, что формы типа *у жене, от Фоме* раньше всего и наиболее широко отражены в текстах новгородского происхождения, отнюдь не означает их сугубо новгородской принадлежности. Новгород — по существу, единственный восточнославянский культурный центр, представленный регулярными и очень разнообразными памятниками письменности (от канонических текстов до частных писем) начиная с XI в.; к тому же новгородские традиции письма допускали большие возможности отражения местных особенностей, чем в других культурных центрах Древней Руси. Между тем данные лингвистической географии обнаруживают, что рассматриваемые формы, встречаясь в говорах, распространенных вокруг Новгорода, являются постоянными и регулярными во всех средне- и южновеликорусских диалектах и с конца XVI в., т. е. с того времени, когда соответствующие территории представлены памятниками письменности не книжного характера, получают отражение в местных текстах: *у рикь, без твоеи гдрве грамоте* (Курск); *у правои рукь, у правои ногь, вмьсто вдовь, не пуцает скотини, у дочери моеи Матрене, у Татьяне* (Рязань); *вместа вдовы Ирине* (Новосиль)². Подобные формы, известные среднерусским говорам, отмечены и в московском просторечии, в частности в черновых экземплярах сочинений и частных письмах московских уроженцев Грибоедова и Пушкина: *у барышне, у докторше, у матушке, у мадонне*.

В древних новгородских текстах изредка встречаются формы **Р** ед. ч., отражающие обратное явление — воздействие парадигмы I класса на парадигму II класса (как в **Д-М**). При этом старейшие примеры (*изъ отроковици* в Мин. 1095) могут объясняться орфографически, ибо в тех же текстах не редкость употребление буквы *и* вместо ожидаемой *ь*. Именно поэтому частые для новгородских грамот написания типа *у Михаили, слушатъ Домни* (то же в двинских грамотах, отражающих диалект новгородских колоний: *оу Гаврили, Петрови жони*) можно интерпретировать как отражение форм **Р** ед. ч. типа *у жень*, хотя аналогическая поддержка флексий II класса, видимо, сыграла свою роль в появлении таких форм в текстах³. Бесспорные примеры воздействия парадигмы I класса на парадигму II класса в **Р**. ед. ч. (как в **Д-М**) встречаются в текстах более поздних, относящихся к тому периоду, когда после падения редуцированных произошло функциональное объединение [и/ы],

¹ См.: Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1956—1957 гг.) М., 1963, с. 219.

² См.: Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров, с. 77; Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии, с. 178.

³ Ср.: Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1953—1954 гг.) М., 1958, с. 111—112; Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка, с. 42—43.

получивших значение вариантов одной фонемы после твердых ~ мягких согласных. Именно в памятниках XIII — XIV вв. появляются регулярные формы **Р** ед. ч. *из земли, от зари*, которые в московских деловых текстах (не литературно-книжных) к XV в. становятся обычными: *золото княгини моее* в Дух. гр. Ив. Калиты 1327—28; *оудплъ дяди, оу княгини* в Дог. гр. 1436; *без торговли, съ семьи* в Дог. гр. 1447; *на поминок души* в Дух. гр. 1451; *тое купли* в Дог. гр. 1483. То же в новгородских берестяных грамотах XIV в. (более ранний пример лишь один: *оу господини* — предположительно — рубеж XI — XII вв.): *коробья пшеници, 2 короби пшеници, от Онании, у Захарии*. Очевидно, к XIV в. — ко времени распада древнерусского языкового единства — в говорах севера сложилась единая система форм словоизменения существительных, характеризовавшихся в **И-В** флексиями *-а, -у*, которая впоследствии закрепились в качестве нормы литературного языка, так как она характеризовала и московскую речь: **Р** *жены — земли*; **Д-М** *жене (<жень) — земле*.

Сложившиеся ранее формы **Р** типа *от жене, из воде*, закрепившись в речевой практике, оказались дублетными формам *жены, воды*, как бы заново «возрожденным» в объединенном женском склонении (на базе парадигмы I класса). Общая тенденция к преодолению синонимии флексий закрепила за теми и другими формами разные падежные значения: значение собственно родительного падежа закрепляется за формами *(не было) жены, (платье) сестры, (мало) воды*, а значение отложительного (по терминологии некоторых грамматистов, исходно-достигательного, отделительного) падежа закрепляется за конструкциями *у жене, от сестре, из воде*. Таким образом, после XIV — XV вв. во всех южных, в переходных (среднерусских), а также в части северо-западных великорусских говоров складывается более сложная система падежей, чем в литературном языке¹:

И	В	Р	Отл.	Д	Т	М
<i>вода</i>	<i>воду</i>	<i>воды</i>	<i>(из) воде</i>	<i>(к) воде</i>	<i>водој(у)</i>	<i>(на) воде</i>

Здесь и далее в отношении диалектного материала, извлекаемого из старых текстов или из диалектологических записей, осуществлявшихся с конца XIX в., но главным образом на протяжении XX в. (примущественно в последние 30—40 лет), следует учитывать, что он никогда не отражает последовательно выдерживаемой системы норм. Объясняется это прежде всего тем, что в любой период функционирования языка в его структуре сосуществуют элементы старого и нового качества, а в диалектах развитие нового осложняется междиалектным взаимодействием и все возрастающим (особенно заметно — в новое время) нивелирующим воздействием литературного языка. В силу этих обстоятельств диалектологический материал (если речь идет о фактах не единичных, не окказиональных) ценен тем, что он отражает «естественную» реализацию тенденций развития внутрисистемных отношений, в отличие от литературного языка, нормы которого сознательно поддерживаются обществом.

§ 117. В диалектах, сохранявших до XIV в. старые формы **Д-М** II класса, после обобщения флексии **Р** *(из) земл-и*, как *(из)*

¹ Ср.: Бромлей С. В., Булатова Л. Н. Очерки морфологии русских говоров, с. 35.

еод-ы, в парадигмах всех имен женского рода с основой на мягкий согласный совпали формы **Р-Д-М** ед. ч. *земл-и, зар-и* (как *кост-и, гряз-и, ноч-и*). Такое обобщение форм способствовало их стабилизации, ибо соответствовало развитию общей тенденции к сокращению словоизменительных парадигм существительных женского рода; оно довольно последовательно отражено в челобитных, поступавших в 20—40-е годы XVII в. в московские канцелярии из юго-западных уездов России, например из Курска: *против свогъ земли, с усады и з земли, до земли* и др.; *по мнстрѣскаи земли, отмежевал к той мнстрѣскаи земли; той на зари, о земли, на моги земли, в Турецкой земли, на выганнаи земли* и др. Формы **Д-М** типа (к) *земль* — (на) *земль(-е)* в текстах этих районов редки¹ и явно отражают нормы письменно-делового языка того времени; в частности, только они употребляются в московских грамотах, в том числе в ответах на указанные челобитные, как правило, повторяющих текст жалобы: *къ их мнстрской земль, в Турецкой земль, на той земль*. Те же формы отмечены и в ряде современных говоров в окрестностях Курска (по записям 50-х годов, в Бесединском, Иванинском, Ленинском, Стрелецком и Щигровском районах): *нѣ з'амл'и; корму с'ѡ 'ан'јѣ н'ѣ-ыстаѡ'ал; нѣ з'амл'ѣ, у з'амл'ѣ рас'т'ѣт', нѣ зар'ѣ рѣса бужајѣт', у с'ам'јѣ ш'атыр'а ш'ѡлаѡ'ѣкѣ* — так же как и *нѣ-ѡр'аз'ѣ, к-нач'ѣ; у-ѡр'аз'ѣ, у-нач'и*; то же по записям в Орловской области: *ѡ-з'ам'л'ѣ, к-рад'н'ѣ, к-с'ам'ѣѣ, нѣ-кѣнапл'ѣ; аб-рад'н'ѣ, нѣ-з'ам'л'ѣ, нѣ-авѣѣ, нѣ бакшѣѣ, нѣ-м'ажѣѣ, нѣ зар'ѣѣ*.

Совпадение окончаний непрямых падежей имен женского рода с основой на мягкий согласный после фонологического объединения [и/ы] в ряде говоров послужило образцом для полной унификации форм **Р-Д-М** — с передачей флексивного [и] после твердых согласных как [ы]. С XIV — XV вв. такие формы попадают в памятники письменности преимущественно новгородского происхождения: *на онои страны* в Сб. XV в.; *ко святыма Козьмы и Дамьяну* в записи на полях «Пролога» 1400 г.; *нашему старѣшныны* в Ип. лет.; *господину владыки Ионы* в Новг. гр. 1459—70; *при архимандрѣтъ Кузьмы* в записи на полях Ев. 1471; *о опришныны, въ деревни Снятѣшныны, на Впшеры рѣки, въ земшныны* в Новг. II лет. В настоящее время формы типа *у жены* — *к жены* — *о жены*, *из воды* — *к воды* — *на воды* фиксируются как в северо-западных, так и в юго-западных великорусских говорах².

В юго-западных говорах, объединивших флексии имен женского рода в непрямых падежах, встречаются случаи (правда, лексически ограниченные, но достаточно выразительно обнаруживающие общую тенденцию развития) распространения флексий **И** и **В** продуктивного женского склонения на существительные типы *грязь, кость*: **И** *жизня, постеля, гармоня* (или *гармонья*), *лошадя, матеря, дочеря, свекровя* (или *свекровья, свекровля*); **В** *жизню, лошадю, матерю, свекровю*.

¹ См.: Котков С. II. Южновеликорусское наречие в XVII столетии, с. 180—181

² См.: Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров, с. 77.

В таких говорах очевидно стремление к полному объединению словоизменительной парадигмы всех существительных женского рода.

В говорах, распространенных к северу от Москвы (север — северо-восток европейской части РСФСР), а также к юго-востоку от Москвы (от среднего течения Оки до верховьев Дона), где прочно закрепилась парадигма не прямых падежей с **Р** *воды — земли* (как *грязи, кости*) и **Д-М** *воде — земле*, тенденция к объединению имен женского рода в одном склонении осуществляется на базе флексий I класса: **Р** *грязи, печи, ночи* (как *воды, земли*); **Д-М** *по грязи, к ночи; в грязи, в ночи* (как *к воде — к земле; в воде — на земле*). Встречаются такие говоры и к северо-западу от Москвы¹.

Диалектный материал, таким образом, обнаруживает различные направления реализации общей тенденции к объединению словоизменительных парадигм существительных одного рода. Происходящие при этом морфологические изменения (подчас отражаемые уже древнейшими текстами) не должны интерпретироваться как результаты воздействия одних падежей на другие или воздействия окончаний одного склонения на окончания другого склонения в том или ином падеже. Речь может идти только о **взаимодействии** словоизменительных парадигм, в ходе которого, в зависимости от тех или иных частных условий, одни флексии (исторически принадлежащие не одной и той же парадигме) постепенно утрачиваются, другие становятся вариантными и со временем «специализируются» как морфологические средства выражения различных падежных значений (как в случаях *мало воды — из воде*).

§ 118. Существительные мужского рода, по существу, составили единый словоизменительный класс после того, как имена с неисконно смягченным согласным на конце основы (типа *гость, камень*) усвоили парадигму III—IV классов, включая и унифицированную флексию **М** ед. ч. *-нь* (> *-е*). Если учесть, что уже ко времени появления старейших памятников письменности имена мужского рода VII класса отличались от имен III класса лишь факультативной возможностью принимать в **Р**, **Д** и **М** иные окончания — исторически связанные с основами на **-й*, что сохранялось на протяжении всего древнерусского периода развития восточнославянских диалектов, то можно констатировать, что ко времени распада древнерусского языкового единства сложился один тип склонения существительных мужского рода (на базе III и VII классов) с вариантными окончаниями в **Р**, **Д** и **М** ед. ч. Только таким образом можно интерпретировать тот факт, что уже в древнерусском языке флексии разных падежей, восходящие к основам на **-й*, получают разную «специализацию»: флексия **Д** *-ози/-еви* «специализируется» на оформлении категории лица (*сын-ози, муж-еси*), в то время как флексия **Р-М** *-у*, напротив, уже в старейших памятниках оказывается невозможной в кругу личных имен и закрепляется как вариантный показатель словоформ существительных мужского рода с неличным значением, характеризовавшихся одно- или двухсложной основой с подвижным

¹ Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров, с. 75.

ударением, что последовательно отмечается всеми текстами XI — XIV вв. (хотя частотность форм **Р-М** с окончанием *-у* в различных типах письменных памятников неодинакова: она выше в языке деловых документов и частной переписки и не столь высока в памятниках книжно-литературного характера). Неодинакова и последующая судьба вариантных окончаний в каждом из названных падежей.

В собственно древнерусских памятниках (до XIV в.) показатель Д ед. ч. *-ови/-еви* существительных мужского рода с личным значением — явление обычное. Его можно встретить не только в книжно-литературных текстах, но и в деловых (например: *Георгиеви* в Мст. гр.; *богови, мастерови* в Смол. гр. ок. 1230; *Иванкови* в Новг. гр. 1264—65) и даже в берестяных новгородских грамотах XI — XII вв.: *Васильви, Несѣдицеви, къ Стоянови*. После XIV — XV вв. это окончание отмечается в великорусских памятниках только книжно-литературного жанра (до XVII в. включительно): *господеви, дневи, Кучумови* в «Сибирских летописях» — повестях о покорении Сибири Ермаком, но оно полностью исчезает из языка деловых текстов. Великорусским говорам (как и большинству белорусских) оно совершенно чуждо. По-видимому, в древнерусских памятниках вариантная флексия имен мужского рода *-ови/-еви* — результат старославянского влияния, где она известна также главным образом в кругу личных существительных. Учитывая, что в настоящее время флексия *-ови/-еви* встречается лишь в говорах украинского языка (обычно в названиях лиц) и юго-западных белорусских, пограничных с украинскими, можно предполагать, что до распада древнерусского единства ее употребление в памятниках различных типов могло поддерживаться авторитетом Киева, говор которого должен был знать такую форму Д ед. ч. Во всяком случае, замечено, что в древнерусских текстах южного происхождения (в том числе и киевского) формы с *-ови/-еви* распространены особенно широко. Позже подобные формы исчезают из местных текстов Великой Руси, но продолжают сохраняться в книжно-литературных произведениях как церковнославянские, поддержанные сначала так называемым вторым южнославянским влиянием (XV в.), а затем — влиянием юго-западной (украинской) книжности (XVII в.).

Флексия *-у* в **Р-М** ед. ч. в древнерусском языке продолжала оставаться вариантной (наряду с *-а* и *-ь/-е*) для существительных мужского рода с одно- или двухсложной основой с подвижным ударением; в текстах XI — XIV вв. в обоих падежах отмечены словоформы: *аду, берегу (брегу), бобу, боку, бору, бою, броду, воску, върху, гнѣву, гнсю, дару, дому, дубу, дѣлгу, году, гробу, грѣму, иску, краю, кѣрму, леду, логу, лугу, лѣсу, льну, меду, миру, мозгу, мосту, мѣху, мѣху, низу, олу, пиру, полону, полу, пѣлку, роду, ряду, саду, свѣту, снѣгу, солоду, стану, суду, тѣргу, хмелю, часу, чину* и др.¹ В словоформах

¹ См.: Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка, с. 241—245, 250—253; Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка, с. 15—16.

обоих падежей флексия *-у* и в последующие столетия удерживается именно в этом круге имен, к которым присоединяются заимствования (*шелку, шляху* и др.) и топонимы с той же морфонологической характеристикой основы: *Дону, Туреиску, Тържьску*. Всё те же существительные оказываются возможными с флексией *-у* в обоих падежах и в современном языке — как в литературном, так и в говорах, хотя в каждом из падежей границы употребления этой флексии значительно расширились, особенно в южновеликорусских говорах.

Памятники письменности отмечают с XV в. заметное расширение функций флексии **Р** *-у/-ю*, так что к XVI — XVII вв. она оказывается возможной практически для всех существительных с ударной основой в формах единственного числа, т. е. как с подвижным, так и с постоянным ударением на основе (что лишний раз подчеркивает отрыв парадигм единственного числа от парадигм множественного числа), а для существительных с вещественным и собирательным значениями — и при постоянном ударении на флексии: *борицу, свициу, киселю, ячменю*.

Пытаясь классифицировать многочисленный материал великорусских памятников (преимущественно XV — XVII вв.) с отражением флексии *-у* в **Р** муж. р., А. А. Шахматов высказал мысль о связи этой флексии с общей семантикой существительных, ибо, по его наблюдениям, «окончание *-у* переносилось в те основы на **-ѡ*, которые не обозначали индивидуальных предметов» (в связи с чем оно, вероятно, и не закрепилось среди имен с личным значением и вообще одушевленных), и характеризует такие группы существительных, как «1) слова, означающие вещество или собрание предметов; 2) слова, означающие местности; 3) слова, означающие отвлеченные понятия»¹. Многочисленные исследования 40—60-х годов по истории именного склонения дали чрезвычайно большой материал, с одной стороны, подтверждающий, что именно эти семантические группы существительных особенно «охотно» принимают в **Р** флексию *-у* и в текстах XVI — XVII вв. почти не встречаются с *-а*, с другой стороны, регистрирующий факты употребления *-у* в формах существительных со значением «индивидуальных предметов». В. М. Марков обратил внимание на то, что среди существительных, принимающих в **Р** флексию *-у*, много имен, соотнесенных с глаголами и употребительных при глаголах: *бою, дозоду, доходу, искупу, заводу, заряду, найму, наряду, надобору, оброку, обыску, окладу, остатку, отводу, отвѣту, отказу, откупу, отпуску, отъѣзду, перевозу, подговору, посулу, походу, приговору, приказу, приходу, приѣзду, приоту, провозу, прокорму, промыслу, проходу, роззозу, розгону, роздѣлу, роспросу, с(ѣ)бору, смотрю, с(ѣ)носу, созѣту, спору, съѣзду, сыску, указу, умолоту, уѣзду* (в **М** эти существительные *-у*, как правило, не имеют). Например, в деловых текстах начала XVII в. южновеликорусского происхождения такие формы особенно широко распространены: *от тово бою побѣжал* (здесь же: *...в моем иску брата моего и сынишка бои и в грабѣжи*); *Взял я...*

¹ Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка, с. 241.

наряду и в твоеи г(осударе)ве казне зелья и свинцу и всяких пушечных запасов (здесь же: *О зельи о пушечномъ и о пищальном и о наряде и о всяких пушечных запасах*); учинилос **недобору** (здесь же: в недоборе); хльбново **недороду** (здесь же: в хльбном недороде); **Оброку** с тех мьстечакъ 10 алтын (здесь же: *Земля... была в оброке за Феткам Колцовым*); Разорены без **остатку** (здесь же: в остатке); после **отказу** (здесь же: в отказе); недобрано против **откупу** (здесь же: *Откупщики... в откупе откажутъ*); без **отпуску** (здесь же: *Отписка... а отъпуске*); с тово **перевозу**, от того **перевозу** (здесь же: *на рѣке на Семи на перевозе*); от их **подговору** (здесь же: в подговоря); ис **походу** (здесь же: *Был я в походе*); **Приезду** торговымъ людемъ мало было (здесь же: о приезде); для **приходу** воинскихъ людей (здесь же: о приходе); для **роспросу** (здесь же: в роспросе сказал); для **смотру** (здесь же: о смотре); Искал я на нем... **сносу** 25-ти рублев (здесь же: *Сысказ... во крестьянствѣ и в сносе дати ему на них суд*).

Пытаясь объяснить причины особенно широкого распространения флексии *-у* в **Р** именно отглагольных образований, Марков указывает на соотнесенность с глаголами тех имен с односложной основой (и с подвижным ударением), которые обычны с *-у* в старославянских и старейших древнерусских текстах: *дарѣ — дарити, рядѣ — рядити, тѣргѣ — тѣрговати, чинѣ — чинити*¹. Хотя надо отметить, что эти имена в словообразовательном отношении не являются отглагольными (исторически во всех этих случаях глаголы произведены от именных основ, что отражено в огласовке соответствующих корней). Вместе с тем при таком соотнесении остается необъясненным не менее широкое распространение флексии *-у* в кругу вещественно-собираательных наименований, где она употребляется без каких-либо ограничений и фиксируется повсеместно. Очевидно, причины столь значительного расширения функций флексии *-у* в обеих группах имен должны быть идентичными.

В поисках реальных объяснений причин расширения функций флексии *-у* в **Р** муж. р. Марков руководствуется очень важным тезисом С. П. Обнорского, суть которого состоит в том, что «новообразованные формы на *-у* есть морфологический факт и требуют прежде всего своего полного истолкования с точки зрения явлений морфологии»². Если принимать этот тезис (а оспаривать его нет никаких оснований), то нельзя не заметить, что случаев непосредственного воздействия лексико-семантических или словообразовательных факторов на собственно морфологические изменения за пределами рассматриваемой проблемы не отмечено: на уровне плана выражения морфологические изменения происходят либо в связи с фонологическими преобразованиями, создающими условия для реализации собственно морфологических тенденций развития, либо под влиянием синтаксических отношений, определяющих эти тенденции, реализа-

¹ См.: Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение, с. 51—56.

² Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке, с. 102.

ция которых может зависеть или не зависеть от происшедших в языке фонологических преобразований. Учитывая общие причины историко-морфологических изменений, необходимо обратить внимание на то, что расширение функций флексии *-y* в **Р** существительных с отвлеченным значением (действий, состояний), в названиях «местностей» (А. А. Шахматов), а также существительных с вещественно-собирательным значением происходит тогда, когда флексии *-a/-y* становятся вариантными в парадигме одного типа склонения. Как правило, в таких условиях язык стремится либо к ликвидации одной из синонимичных флексий, либо к их «специализации» для выражения разных падежных значений (разных синтаксических отношений). В этой связи нельзя не отметить, что общее лексическое значение существительных в значительной степени определяет их функционирование в речи. В частности, нетрудно заметить, учитывая комплексное значение **Р**, что со значением собственно родительного (отношения, принадлежности и т. д.), как правило, функционируют имена, по терминологии Шахматова, «означающие индивидуальные предметы» (и прежде всего одушевленные), в то время как имена с отвлеченным значением и со значением «местностей» употребляются прежде всего в конструкциях с грамматическим значением давнего отложительного (или исходно-достигательного) падежа, а слова с вещественным и собирательным значениями — в словосочетаниях с грамматическим значением, которое некоторые исследователи называют **п а р т и т и в н ы м** падежом.

Итак, вновь приходится сталкиваться с фактом исторической дифференциации дублетных окончаний внутри одного, объединенного, склонения (как это было в случаях типа *мало воды — из воде*, развивавшихся примерно в это же время), когда язык воспользовался наличными морфологическими средствами для выражения разных падежных значений: флексия *-a* закрепилась в качестве показателя собственно родительного падежа (*дом брата, ножка стола*; см. уже в старейших текстах этимологические основы на **-й*: *отца и сына и святого духа* в Изб. 1076; *въ иля оця и с(ы)на и стого духа* в Юрьевск. ев.; *пусти бо с(ы)на своего единочадаго* в Усп. сб.), в то время как флексия *-y* постепенно закрепилась в качестве средства выражения значений отложительного, или исходно-достигательного (*с бою, из походу, от того чаю*), и партитивного падежей (*кусок воску, меду нет, ячменю мало было*). В силу того, что разные лексико-семантические группы имен в разных падежных значениях используются неодинаково, они закрепляются в речевой практике в словоформах либо с флексией *-a*, либо с флексией *-y*, иногда попадая в такой форме в конструкции с редким для них падежным значением, что и производит впечатление грамматической непоследовательности, заставляя связывать флексию *-y* (или *-a*) с определенными лексико-семантическими разрядами существительных.

В **М** после сложения единого типа склонения существительных мужского рода также развивается функциональная дифференциация форм с *-y* и *-n(-e)*. С XIV — XV вв. в памятниках встре-

чаются формы существительных, никогда не изменявшихся по VII классу, с флексией *-у* в конструкциях с собственно местным значением — локализации действия (события) в пространстве или во времени: по образцу конструкций типа *на берегу, в лесу* и далее — *на Дону, в Тържьку* все чаще появляются формы типа *у Луцку, на Волоку, во Смоленську, въ Можайску*. Особенно широко представлены они в южновеликорусских деловых документах конца XVI — XVII вв.: *во Брянску, во Мценску, в Острогужску, в Рыльску*; то же — в названиях речек: *на Мерчику, на рьчки на Пруту, на Гнилом Орлику*. Легко заметить, что во всех случаях, где названия местностей не совпадают с апеллятивами (именами нарицательными), характеризовавшимися односложной основой с подвижным ударением (как *Прутъ*), — это топонимы с основой на задненёбный согласный. В этой связи А. А. Шахматов полагал, что «благоприятным» условием расширения функции флексии *-у* в **М** была возможность сохранить единообразное оформление основы во всех падежных формах (без чередования [к/ц, г/з], ибо традиционная форма должна была быть *на Волоць, в Тържьць*). Так же объясняются и формы на *-у* от многосложных основ, которые в соответствии с нормами древнерусского склонения не должны были бы принимать этой флексии в **М**: *на лед(ь)нику, на чердаку*, отмечаемые не только в южновеликорусских говорах, но и в северных. Учитывая, однако, что *на Волоку, въ Новомь Търгу* встречаются в северо-западных древнерусских текстах позднее написаний, указывающих на обобщение в местных говорах основ на задненёбный в формах склонения, и притом параллельно с формами типа *на Пудогь*, предположение Шахматова скорее следует отнести к причинам более широкого проникновения форм **М** на *-у* в памятники письменности (а не к причинам их распространения в разговорно-бытовой речи).

В целом же следует констатировать, что в **М** флексия *-у* продолжает функционировать среди существительных неодушевленных с исконно односложной основой и подвижным ударением, а под влиянием основ с полногласными сочетаниями (типа *на берегу, в полу* — исторически также односложных: из **berg-, *peln-*) распространяется и на двусложные основы с подвижным ударением. Для этих групп основ существительных мужского рода долгое время остается нормой **М** с флексией *-у* при различных частных падежных значениях; см. в памятниках XVI — XVII вв. (с изъяснительным значением): *о броду, о созу, о дому, о миру, о строю, о ходу, о чину* и др. Подобные примеры чрезвычайно редки¹, поскольку в конструкциях с изъяснительным значением неличные существительные в диалогической речи почти не употребляются, а в древних текстах они встречаются в характерных канцелярских конструкциях — в указах, судебных актах, отчетах, куда и попадают в форме **М**, типичной для данного круга имен, закрепленной за ними в повседневной

¹ На этом основании А. А. Шахматов, имея в виду материал древних памятников, считал, что кроме как с предлогами *в* и *на* «в положении после других предлогов формы на *-у* вообще не известны» (Историческая морфология русского языка, с. 253).

речевой практике, обычно использующей такие существительные с предлогами *в* и *на* с местным значением. С XVII в. отмечается дифференциация функций флексий *-у*, *-е*, из которых первая постепенно закрепляется за собственно местным значением падежа, независимо от предлога; ср.: *Котел стоит железной а в том котлу затирают винные браги* в Курск. гр. 1634; *В худом котль 18 гривенак (весу)* в Курск. гр. 1629. Со временем такое различие флексий закрепляется в качестве нормы литературного языка (но только среди тех же неодоушевленных существительных с исконно односложной основой и подвижным ударением; ср.: *быть в лесу — знать толк в лесе*) и в подавляющем большинстве великорусских говоров.

Таким образом, в говорах русского языка постепенно сложилась на морфологическом уровне система большего числа падежей, чем принято выделять в современной грамматической традиции, так как в разных новых («объединенных») типах склонения, унаследовавших оказавшиеся вариантными флексии различных древних словоизменительных классов, по-разному могут оформляться разные значения традиционного родительного падежа (собственно родительный, партитивный и отложительный, или исходно-достигательный) и разные значения так называемого «предложного» падежа (собственно предложный, а точнее — изъяснительный, и собственно местный), что в некоторых южновеликорусских говорах отражено также в формах существительных женского рода типа *ночь*, *площадь* в переносе ударения на флексию:

И	В	Р	Парт.	Отл.	Д	Т	Изъясн.	М
<i>водá</i>	<i>вóду</i>	<i>воды́</i>		<i>(из, к) водѣ́</i>		<i>вогóј (у)</i>	<i>(о, на) водѣ́</i>	
<i>лес</i>		<i>лѣса</i>	<i>лѣсу</i>	<i>(із) лесу</i>	<i>лѣсу</i>	<i>лѣсом</i>	<i>о лѣсе</i>	<i>в лесу́</i>
<i>конь</i>		<i>коня́</i>			<i>коню́</i>	<i>конѣм</i>	<i>о коя́</i>	<i>(на коню́)</i>
<i>ночь</i>		<i>ночи́</i>				<i>ночью́ (ј)</i>	<i>о но́чи</i>	<i>в но́чѣ</i>

§ 119. Общее значение собственно **М** — это указание на локализацию действия (события) не только в пространстве, но и в **в р е м е н и**. Именно с этим частным значением закрепились с флексией *-у* формы односложных основ с подвижным ударением: *на, в (таком-то) годѹ́, в (таком-то) часѹ́*; в диалектной речи также: *в вечерѹ́* (см. в курских грамотах начала XVII в.: *И онѣ в вечеру у собя на подеорье учали меня бить; Про то дѣла на тот же день в вечеру ... сказывол*; но в **Р** в тех же грамотах: *того же вечера, до вечера*). С временным значением (в отличие от пространственного)

довольно часто используются в диалогической речи личные существительные с предлогом *при* (присутствие как временной локализатор: *когда?*); с конца XIV в. в таких конструкциях изредка встречаются с флексией *-у* имена собственные, причем все известные примеры относятся к древнерусской периферии — юго-западу (*при пану Блотишевскомъ* в Гр. 1371; *при кролю* в Гр. 1395) и северо-западу (в записях рукописей псковского происхождения: *при попь Пароуху*, *при князи Борису*; *при сыну* его великом князе Иоаннь в Моск. лет). С XVII в. такие случаи отмечаются в южно-великорусских грамотах: *при Лукьяну Борисове сыну Микулину* (Курск); *при Максиму Чуикову при Захару Сырову да при Алексею Коскову* (Обоянь); *при Лаврентьеву крестьянину Плахова при Филке Петрову да при Моксима Фролову сыну да при сыну его Силы Шевлековых* (Орел). Подобные формы с временным или пространственным значением (ср. примеры С. П. Обнорского: *при боку сабля*, *при лугу едетъ*, *при всем миру оттаскали*) в современных южновеликорусских говорах довольно широко распространены в кругу одушевленных существительных: *при брату*, *при купцу*, *при пастуху*, *при царю* — с различной акцентной характеристикой. Возможно, именно эти случаи послужили образцом распространения флексии *-у* на одушевленные существительные и в конструкциях с собственно местным значением при других предлогах, что широко отмечается в южных, но изредка и в северновеликорусских говорах: *на коню* (повсеместно), *на петуху*, *на мужику*.

Только в южновеликорусских говорах **М** с флексией *-у* оказывается возможным и для имен среднего рода (формы которых в косвенных падежах совпадают с формами имен мужского рода): *в теплу*, *в уху*, *в этом числу*, *на крыльцу*, *на окну* — *в окну*, *на плечу*, *на седлу*, в том числе и при сохранении ударения на основе: *на солнцу*, *в несчастью*, *в училищу*, *на деревцу*, *в чистом полю* — *на нашем полю*, а также *об письму*, *об сену* и др.¹ Изредка такие формы попадают в местных грамотах XVII — начала XVIII в.: *на том гумну авин* (Елец); *в том задатчанам памтьсью*, *в помтьсьишку стоять*, *в моём челобитью* (Курск); *в том земляном владенью на том помтьстью* (Рязань)². Таким образом, в отношении южновеликорусских говоров можно считать нормой возможность употребления флексии *-у* в собственно **М** ед. ч. существительных как мужского рода (одушевленных и неодушевленных), так и среднего вне зависимости от морфонологической (точнее, акцентной) характеристики основы.

§ 120. Обусловленность процесса перегруппировки древних типов склонения общей тенденцией к преодолению синонимии флексий обнаруживается в том, что в ходе этого процесса происходило неуклонное сокращение числа словоизменительных парадигм. В конечном счете оно в подавляющем большинстве говоров было дове-

¹ См.: Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке, с. 226—228.

² См.: Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии, с. 172.

дено до четырех: двух для имен женского рода (*вода — ночь*) — с тенденцией к их объединению в единую («однородовую») парадигму в единственном числе, и двух для имен мужского и среднего рода, формировавшихся на базе склонения древних основ на *-*ō/-jō* и различавшихся только флексиями **И-В** — при полном совпадении флексий обоих родов в «непрямых» падежах (ср. парадигмы III—IV и V—VI классов). Так же издавна совпадали во всех этих падежах формы согласуемых слов, не дифференцировавших, следовательно, родовой принадлежности существительных разных словоизменительных классов (см.: *мо-его стола, села; мо-ему столу, селу*). Последнее обстоятельство на фоне реализации общей тенденции к сокращению числа словоизменительных парадигм подсказывает возможность полного объединения в одном склонении имен мужского и среднего рода. Говоры, отражающие такое направление развития именного склонения, встречаются, но крайне редко (например, к западу от Москвы); а зафиксированный в таких говорах материал очень показателен в общезыковедческом плане.

Дело в том, что в частотных **И-В** флексия *-o/-e*, дифференцирующая парадигмы среднего и мужского склонений, является однозначным выразителем родовой принадлежности существительного, т. е. по комплексу грамматических значений не совпадает со значениями флексий **И-В** ед. ч. муж. р. А это значит, что полная унификация склонения существительных обоих родов возможна лишь при условии ликвидации родовых различий, видимо, в направлении включения имен среднего рода в более многочисленный (и более продуктивный) класс существительных мужского рода. Поскольку, однако, универсальным показателем родовой принадлежности существительных являются флексии согласуемых слов, ликвидация родовых различий должна прежде всего затронуть формы определений, которые в «непрямых» падежах издавна были едиными для обоих родов. Дialeктный материал свидетельствует о том, что далее этой ступени процесс сближения существительных среднего и мужского рода не пошел: зафиксированы достаточно многочисленные факты типа *большой село, парной молоко, новый корыто* (фонетически: *нóвѣй карытѣ*), но сами существительные среднего рода не отмечены в форме типа «(большой) сѣл» или «молок» (при **Р** *селá, молóká*; **Д** *селу, молоку*), как *большой дом* (**Р** *дóма*; **Д** *дóму*).

В акающих говорах редукция безударных окончаний как существительных, так и согласуемых с ними слов создает благоприятные условия для реализации тенденции к сокращению числа словоизменительных парадигм в ином направлении, отражающем сближение имен среднего и женского рода. На фонетическом уровне совпадение форм двух родов отмечается во всех, без исключения, южновеликорусских и акающих среднерусских говорах: *нóвѣѣ м'естѣ, св'ѣжѣѣ с'ѣнѣ* звучат совершенно так же, как и *нóвѣѣ хáтѣ, св'ѣжѣѣ рѣбѣ*. Подобные формы (при безударных окончаниях определений и самих существительных) нередко фиксируются в южновеликорусских памятниках XVII столетия: *дикая поля,*

судная дѣла, царская жалобанья. В этих условиях в акающих говорах становятся возможными случаи типа *такáѣ м'ѣстѣ* (как *такáѣ хáтѣ*), а затем — *бал'шáѣ в'áдрó, такáѣ с'алó*, когда согласуемые слова принимают форму женского рода даже при ударной флексии самих существительных. Местные тексты XVII в., как правило, не отражают этого этапа — ударные флексии имен и определений обычно оформляются с показателями среднего рода: *твое г(осудá)-рева багамолья, то судная дѣла, то бáтюшкова помпстеица написана за мною*¹. Редкие примеры с согласуемыми словами в форме женского рода зафиксированы при существительных с безударными флексиями: *ажерелья большая, та помпстеица, та помпстья, строения какая, усадица пустая, хмѣлевая угодья*².

Поскольку грамматический род — категория прежде всего согласовательная, то возможность постановки определения в форме женского рода создает условия и для изменения форм склонения самого существительного по I классу. Однако диалектологический материал показывает, что даже в И и В, где в акающих говорах окончания обоих родов различны лишь под ударением, флексии женского рода обычны для определяющих слов и редко проникают в склонение самих существительных, т. е. нормальны сочетания: **И** *адна в'áдрó, парная мѣлакó*; **В** *в новују с'алó, такују п'арó*. Случаи оформления по женскому склонению самих существительных единичны и производят впечатление случайных. По свидетельству диалектологов, в косвенных падежах флексии I класса у существительных среднего рода без определений необычайно редки, при этом в винительном чаще, чем в других падежах. Совершенно очевидно, что реализация открытых аканьем возможностей изменения парадигмы среднего рода, связанная с переходом самих существительных в женский род, наталкивается на мощное противодействие их единства в «непрямых» падежах с многочисленным и очень продуктивным классом имен мужского рода. Иными словами, полного объединения парадигм существительных среднего и женского рода нигде не зафиксировано, а факты современных говоров, как и материал южновеликорусских грамот XVII в., иллюстрируют лишь возможные направления реализации общих тенденций развития русского именного склонения.

§ 121. Иначе обстоит дело с изменением склонения существительных, характеризующихся уменьшительно-ласкательными и уничижительными суффиксами, которые частично (предметные) или полностью (личные) перешли из среднего рода в женский или мужской. В частности, уменьшительно-уничижительные образова-

¹ В ряде работ по истории русского языка (А. И. Соболевского, Р. Ф. Брандта, С. П. Обнорского и др.) как наиболее ранний случай безусловного отражения формы женского рода отмечен пример из письма Ксении Годуновой *морская повѣтрея*, заимствованный из «Исторической хрестоматии церковнославянского и древнерусского языков» Ф. И. Буслаева. Между тем у Буслаева явная опечатка, ибо в издании, откуда взят этот пример, напечатано: *Да у насѣ же, за грѣхѣ за нашѣ, моровоя повѣтрея* (Акты исторические, собранные и изданные Археограф. комиссией. Спб., 1841, т. 2 (1598—1613), с. 213).

² См.: *Котков С. И.* Южновеликорусское наречье в XVII столетии, с. 42—43,

пия от имен мужского и среднего рода с предметным значением, сохраняя принадлежность к среднему роду или переходя в разряд существительных мужского рода (что отражено только формами согласуемых слов в **И** и **В**), продолжали сохранять формы словоизменения по типу *село*. Сами такие образования в современной диалектной речи отмечаются редко, но в старой актовой письменности они обычны: **И-В** *на дворишко мое*; **Р** *своево дворишка*; **Д** *к моему дворишку*; **Т** *пхал с товаришком*; **М** *во дворишке моем*. Аналогичные образования от имен женского рода (которые лишь в окраинных северных говорах изредка сохраняют принадлежность к среднему роду) обычно, характеризуясь как существительные женского рода, склоняются по I классу. Для южновеликорусских говоров такое склонение отражено уже текстами конца XVI — начала XVII в. (более ранних деловых памятников, созданных на собственно южновеликорусской территории, нет): **В** *за ту службишку, повел в конюшнишку*; **Р** *из своей деревнишки, позад конюшнишки*; **М** *о той моеи службишке* в курских грамотах 20—40-х годов XVII в.

Аналогичные образования со значением лица (собственно ласкательные: *батюшка, матушка, сынишка* и др.) во всех говорах принадлежат к родовым классам, соответствующим **р е а л ь н о м у** **п о л у** обозначаемых ими лиц, что, видимо, произошло достаточно рано, поскольку находит отражение в памятниках с XVI в. Естественно, что названия лиц мужского пола продолжают сохранять исторически свойственные им формы косвенных падежей, которые издавна были общими для мужского и среднего рода. В северновеликорусских говорах такие формы обычны, в южновеликорусских нередки и почти не знают исключений еще в памятниках XVII в.: **В-Р** *Батюшка моего называл боярскимъ холопомъ; Брата моего и сынишка учали бить*; **Д** *дано батюшку моему; моему сынишку*; **Т** *с меним с братишком; Меня с сынишком били* и др. в курских грамотах. Относительно флексии **И** таких образований необходимо отметить, что она всегда является безударной, поэтому в акающих говорах оформляется как *-а*, что возможно и в северных говорах (наряду с *-о*: *мой батюшко, братишко*), но по причинам морфологического порядка, поскольку имена с личным значением мужского рода с флексией *-а* обычны: *старост-а, слуг-а*. Это последнее обстоятельство в южновеликорусских говорах сказалось на формах склонения уменьшительно-ласкательных образований мужского рода, которые в новое время начинают принимать флексии по I классу, что закрепилось в качестве нормы литературного языка (вероятно, под влиянием акающего говора Москвы): **В** *моего батюшк-у, мальчишк-у*; **Р** *моего батюшк-и*; **Д** *моему батюшк-е*; **Т** *с моим батюшк-ой, с мальчишк-ой* (как и *нашего старост-у, старост-ы, старост-е, старост-ой*; формы **М** у разных классов одинаковы). В южновеликорусских памятниках такие формы изредка фиксируются с XVII в., но только у образований, соотносящихся с производящими именами, изменяющимися по I классу: *Искал батюшки своезо бесчестья* (ср. *батя — бат-и*); *Дядюшку моего Семьна оне били* (ср.: *дядя — дяд-ю*) в курских грамотах.

Образования, обозначающие женщин, будучи всегда женского рода, естественно, склоняются только по I классу: **И** *моя бабушка, матушка*; **В** *мою бабушку, матушку*; **Р** *моей бабушки, матушки*. Изредка встречающиеся в юридических актах XVII в. (не только северных, но и южных) формы типа *с женишком* — явные канцеляризмы, попадающие в текст под влиянием более многочисленных образований мужского-среднего рода; см. в Курск. гр. 1637: *с женишком своим — с моею женишкомъ — над моею женишкою*

С XVI в. деловые тексты дают многочисленные примеры имен собственных мужского рода с уменьшительно-уничжительными суффиксами -к-, -шк-, которые принимают флексии разных словоизменительных классов:

И *Ивашк-о — Ивашк-а*
В *Ивашк-а — Ивашк-у*
Р *Ивашк-а — Ивашк-и*

Д *Ивашк-у — Ивашк-е*
Т *Ивашк-ом — Ивашк-оу*
М *Ивашк-е — Ивашк-е*

Явление это, чрезвычайно характерное для текстов разной территориальной принадлежности, не раз привлекало внимание исследователей. Была высказана мысль о связи склонения таких образований со склонением имен без -к-, от которых они произведены. Многочисленные наблюдения показывают, что подобная связь возможна; она особенно заметна в контекстах, употребляющих уничижительные образования с разными флексиями в однородных конструкциях: *Кирюшка з братьям своим с Федькаю да Потапка з братьям с Сидоркам* (ср.: с Федю, с Сидором) в приказном документе 1622 г.; *Губных дьяков Наумка Кабатова и Федьку Бозарова допрашивал* (ср.: Наума, Федю); *Жалоба на Микишку да на Захарка Федорова* (ср.: Микишу, Захара); *Вывез... крестьянина Степанка Рыжова и крестьянина Ортюшку* (ср.: Степана, Артюшу) в документах 1623 г.

В актовой письменности XVI — XVII вв. подобные факты многочисленны, хотя указанный принцип не выдерживается последовательно. Ср., например, рядом: *Привели ко мнѣ Бориска Соленика... и я дворника его Бориску Соленика да Демидку роспрашивал* в деле 1625 г.

При объяснении подобных явлений нельзя не учитывать, что они не отражают непосредственно живого употребления и являются принадлежностью канцелярского стиля. Не случайно уничижительные образования в большом количестве появляются в юридических документах именно с XVI в. — с того времени, когда завершается образование централизованного государства и развивается чиновно-бюрократический аппарат, что ведет к формированию официальных условностей, в том числе и в языке. Одной из таких условностей, связанных с закреплением сословной иерархии, было называние в официальном документе уничижительными именами всего, что связано с нижестоящим лицом при обращении к более высокой особе; в «нейтральном» случае уничижительные образования имен обычно отсутствуют. Типично, например, оформление переписки местной администрации с центральным правительством; все (без исключения) воеводские донесения начинаются с обращения: *Г(осуда)рю Царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси холоп твои Ивашка Стрешнев челомъ бьет* (другим может быть имя царя и имя воеводы); в инструкции из Москвы обязательно: *От Царя Г(осуда)ря и великого князя Михаила Федоровича всея Руси в Курскъ столнику и воеводе нашему Ивану Филиповичю Стрешневу*. То же — в прошениях горожан, служилых или крестьян и в решениях по делу. Ср. примеры из документов первой половины XVII в., хранящихся в делах Разрядного приказа (тогдашнего военного ведомства); *Бьет челом Осташка Захаров*. — *Изымался Остах Захаров сынъ Бочеров; Пришѣл он (беглый крепостной) к Ершизе Коневу. — за Ерроху Конева... А Яроха Конев был в полону; Мирожка Ярыгин. — Мироха Ярыгин*; например, воевода сообщает: *Дан ему приставъ курской россылицкъ Петрушка Еглевской*; горожане в своих поручительствах на имя «вышестоящего» по отношению к ним П. Еглевского именуют его иначе: *Выручили есмь у пристава у курского рассылика у Петруши Еглевского; Поручилия есмь... пристава курскому рассылику Петрухи Еглевскому*.

Подобные факты объясняют природу частого соответствия уничижительных форм имен собственных формам производящих имен собственных: поскольку употребление уничижительных образований требовалось условностями приказного делопроизводства, писец, «переводя» житейскую форму имени на «приказный язык», т. е. употребляя вместо обычного полного или сокращенного имени соответствующее ему уничижительное образование, мог перенести на последнее и падежную форму производящего имени собственного. А колебания в склонении уничижительных образований, формы которых не всегда соответствуют формам производящих имен, с одной стороны, обусловлены разным склонением самих производящих (например, как видно из примеров, для производных *Петрушка*, *Осташка* реально фиксируются производящие *Петруха/Петруша*, *Остах*, склоняющиеся по-разному), с другой стороны — уже вполне отстоявшимся к XVII в. в повседневной речи москвичей и носителей южновеликорусских говоров склонением уменьшительно-уничижительных образований мужского рода по I классу.

УНИФИКАЦИЯ ТИПОВ СКЛОНЕНИЯ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

§ 122. Если в единственном числе тенденция к преодолению синонимии традиционных именных флексий реализовалась в направлении сближения парадигм существительных одного рода, то во множественном числе та же общая грамматическая тенденция должна была вести к полной унификации словоизменительных парадигм. Связано это с тем, что в единственном числе тождественное падежное значение разных флективных морфем еще не означало их полной синонимии, если они характеризовали словоформы существительных не одного рода; и это обязательно поддерживалось формами согласуемых слов (ср., например, в Р, с одной стороны: *гост-и*—*печал-и*, *камен-е*—*матер-е*, с другой стороны: *наш-его гост-и*, *камен-е*, *отыц-а*, но *наш-еъ печал-и*, *матер-е*, *сестр-ы*). Во множественном числе родовая классификация существительных очень рано начинает нивелироваться.

Тенденция к унификации форм словоизменения во множественном числе наиболее последовательно реализовалась в непрямых падежах, т. е. не в И и В, а в связи с развитием категории одушевленности, связанной с соотносительностью форм В и Р, в ряду непрямых обособляются также и формы Р. Связано это с синтаксическими отношениями, ибо с самого начала древнерусской языковой истории различие флексий — выразителей одного и того же падежного значения, обусловленное исторической принадлежностью имен к разным типам склонения, в непрямых падежах множественного числа поддерживалось формами согласуемых слов лишь в том случае, если существительное определялось «кратким» (именным) прилагательным (ср.: Д *добр-омъ отыцемъ*, *воеводамъ* — *добр-амъ женамъ*, *матеръмъ*), в то время как формы местоимений и «полных» (членных) прилагательных были общими для всех родов (Д *т-ьмъ добр-ымъ отыцемъ*, *воеводамъ*, *женамъ*, *матеръмъ*). Если же учесть, что как раз именные формы прилагательных в функции определения использовались редко (а со временем вообще исчезли), то наиболее последовательная реализация тенденции к унификации форм словоизменения существительных во множественном числе именно в

непрямых падежах, и прежде всего в **Д**, **Т** и **М**, окажется вполне естественной.

Последовательная реализация тенденции к преодолению синонимии флексий в **Д**, **Т** и **М** определяет целесообразность начать рассмотрение истории форм множественного числа именно с этих падежей. При этом причины, условия и течение процесса в **Д** и **М**, как они представляются на основании показаний памятников письменности и современных говорков, совершенно идентичны, в то время как в **Т** мн. ч. заметны своеобразные особенности реализации того же процесса, что требует специального описания.

§ 123. В унаследованных древнерусским языком парадигмах множественного числа флексии **Д** и **М** сохраняли древний тематический гласный именной основы, за которым следовали универсальные показатели падежного значения *-мѣ*, *-хѣ*: **Д** *жен-а-мѣ*, *город-о-мѣ* (*отыц-е-мѣ*), *вол-ѣ-мѣ*, *кост-ѣ-мѣ*; **М** *жен-а-хѣ*, *город-ѣ-хѣ* (*отыц-и-хѣ*), *вол-ѣ-хѣ*, *кост-ѣ-хѣ*.

Можно напомнить, что в **М** древних основ на **-ѣ* тематический гласный был представлен на ступени дифтонга **oi(>ě) / *ei(>i)*; славянский *ь < *i*, а *ѣ < *i*. Нетематические основы уже в позднем праславянском характеризовались либо флексиями древних основ на **-i* (*камен-ь-мѣ* — *камен-ь-хѣ*, *матер-ь-мѣ* — *матер-ь-хѣ*), либо флексиями основ на **-ā* (*църкѣв-а-мѣ* — *църкѣв-а-хѣ*), в связи с чем при рассмотрении процесса унификации форм **Д**, **М** флексии этих древних словоизменительных классов специально выделять нет необходимости.

После падения редуцированных (следовательно, уже в XII в.) это разнообразие флексий значительно сократилось (так как *волѣмѣ > волом*, *костѣмѣ > костем*), в связи с чем специфический гласный распространитель обеих флексий сохранили лишь старые основы на **-ā*, в то время как все остальные основы по причинам неморфологического характера оказались объединенными флексиями, не соответствовавшими их разному словоизменению не только в единственном числе, но и в остальных падежах множественного числа; ср.: **Д** *жен-ам* — *стол-ом* (*кон-ем*), *вол-ом*, *кост-ем* (как *пут-ем*); **М** *жен-ах* — *стол-ѣх* (*кон-их*), *вол-ох*, *кост-ех* (как *пут-ех*).

Позднее, независимо от собственно грамматических изменений, в связи с судьбой *ě(n) (> [e] или [i])* и изменением перед твердыми согласными [*e > 'o*] противопоставление флексий оказывается двучленным не только в **Д**, где *-(')ам ~ -(')ом*, но, по существу, и в **М**, где при наборе флексий имен неженского рода *-ех*, *-их*, *-(')ох* формы типа *в монастырѣхѣ*, *на кораблѣхѣ* после XIII в. sporadически встречаются лишь в книжно-литературных текстах, в то время как тексты не книжного характера знают только формы типа *вѣ лицѣхѣ(ѣ)*, *на конѣхѣ(ѣ)* [как *вѣ городѣхѣ(ѣ)* (*в городех*), *вѣ селѣхѣ(ѣ)* (*в селех*)], следовательно, отражают сложившееся в живой речи противопоставление флексий **М** мн. ч. *-ах ~ -ѣх*, где второй член был представлен вариантом *-ех/-(')ох*.

Наконец, для понимания причин и условий расширения функций флексий *-ам*, *-ах* необходимо отметить, что как памятники письменности, так и современные говоры указывают на раннее

обособление форм не прямых падежей существительных женского рода типа *кость, лошадь*, которые не принимали участия в общем процессе унификации флексий **Д, М**, а также **Т, Р** мн. ч. вплоть до нового времени, т. е. до завершения перестройки системы словоизменения существительных во множественном числе, когда прочно закрепившиеся единые флексии не прямых падежей стали распространяться и на словоформы этой группы имен. Это подтверждается и тем, что до XVII в. слова типа *крепость, площадь*, по существу, не зафиксированы с *-ям* или *-ях* в **Д** и **М**; и тем, что в современных периферийных великорусских говорах (на запад и юго-запад от Москвы), а также в пограничных белорусских достаточно прочно продолжают удерживаться формы существительных с основой на мягкий согласный: *дочерём — о дочерёх, к дверём — в дверёх, лошадём — на лошадёх*, а также *к латём — в латёх, к людём — в людёх, к санём — на санёх* и др., отражающие древние окончания основ на **-i*, пережившие естественные фонетические изменения: *-ьмъ > -ем > -l'olm, -ьхъ > -ех > -l'olx*.

Таким образом, еще до распада древнерусского языкового единства процесс распространения флексий *-ам(ъ), -ах(ъ)* на морфологическом уровне связан с вытеснением форманта *-e-/-(')o-*, характеризовавшего флексии **Д, М** мн. ч. муж. и ср. р., формантом *-а-*, характеризовавшим флексии основной массы имен женского рода, а также названий лиц мужского пола (типа *воевода, слуга, судья*). Учитывая это обстоятельство, можно считать вполне естественным тот факт, что наиболее ранние примеры употребления флексий *-ам, -ах* за пределами исторических основ на **-ā* встречаются с конца XIII в. (старейшие — в «Паремейнике») и в значительном числе случаев связаны с названиями лиц. Впрочем, такие примеры в текстах XIII — XIV вв. еще очень немногочисленны и в основном уже были известны А. И. Соболевскому (после его «Лекций по истории русского языка» они почти без пополнения приводятся во всех пособиях и исследованиях по истории именного склонения): 1) **Д** *безакониямъ, боярамъ, владычествиямъ, дворянамъ, к егуптянамъ, къ гробищамъ, къ латинамъ, книжникамъ, купцамъ, княжоостровьямъ, мати-горьямъ, по мьстам, по постояниямъ, посадникамъ, требищамъ, чернцамъ*; к ним можно добавить не указанные Соболевским формы *рижнянамъ* в Смол. гр. 1297—1300; *людгоищамъ* в надписи на кресте 1359 г. ¹; 2) **М** *в сборищахъ, въ гробищахъ, на распутьяхъ, на сонмищахъ, о глаголахъ, о раздорахъ* (скорее всего, это существительное женского рода *раздора — раздоры*); наиболее ранним является неучтенный Соболевским пример *въ еуангелияхъ* в Усп. сб. Число форм существительных неженского рода с *-ам, -ах* ненамного возрастает в текстах XV в., т. е. уже собственно великорусских, следовательно северных (памятников южновеликорусской территории до конца XVI в. нет), где эти формы фиксируются преимущественно в деловой письменности (грамотах и судебныхниках):

¹ Более ранними являются единичные написания, указанные В. М. Марковым: *жителямъ* в Пут.мин. и *люагоционамъ* в надписи на кресте XII в.

Д енучатамъ, ловищамъ, озеркам, попамъ, посадникамъ, селамъ, сябрамъ, церенчамъ, черенцамъ, чернцамъ; М в лесахъ, в ловищахъ, оу ловищахъ, оу перевищицахъ, оу путикахъ, угодьяхъ, хмелникахъ в двинских грамотах, исследованных А. А. Шахматовым. В текстах ростово-суздальского происхождения: *Д людям старожилцам, по жереб(ь)ям, по иным местам, хрестьянамъ; М на селищах, о недълищикахъ.*

Уже И. В. Ягич обратил внимание на то, что в старейших примерах с «новыми» окончаниями, наряду с наименованиями лиц, которые явно сближались с древними основами на *-ā мужского рода (*египтян-амъ, жител-ямъ, матигорыц-амъ*, как *воевод-амъ, слуг-амъ, суди-ямъ*, для которых формант -а- исторически закономерен), встречаются и существительные среднего рода (в то время как существительные мужского рода с предметным значением представлены явно случайными примерами). Учитывая это обстоятельство, Ягич полагал, что для имен среднего рода воздействия основ на *-ā предполагать не следует: здесь имело место обобщение форманта -а-, характеризующего издавна формы **И-В** мн. ч. (*ловищ-а, сел-а, угоди-я*), в качестве показателя множественности. В свете того материала, которым в настоящее время располагает историческая грамматика русского языка, идея Ягича представляется чрезвычайно перспективной, а сам процесс распространения форманта -а- в формах множественного числа существительных выглядит как результат взаимодействия разных частных тенденций, осуществлявшихся параллельно и вместе с тем поддерживавших друг друга.

С одной стороны, имена с личным значением, составлявшие единую семантическую группу, но традиционно склонявшиеся во множественном числе по-разному (ибо одни из них исторически связаны с основами на *-а: *воевод-а-мъ, воевод-а-хъ*; другие же исторически связаны с иными основами, преимущественно на *-ō), в условиях отрыва словозменительных парадигм множественного числа от парадигм единственного числа начинают сближаться в склонении, что, впрочем, не давало преимущества именно форманту -а-, ибо наименования лиц, не связанные с древними основами на *-ā, количественно явно преобладали. С другой стороны, среди имен среднего рода, устойчиво сохранявших древний показатель формы множественного числа -а, в тех же условиях намечается аналогичское распространение этого показателя на флексии не прямых падежей, где он находит «поддержку» в реально существующих флексиях -а-мъ, -а-хъ, в свою очередь, поддерживая перспективность именно этих флексий (противопоставленных -омъ/-емъ и -ьхъ).

Возможность обобщения форманта -а- в качестве показателя множественности заставляет вспомнить предположение А. А. Шахматова относительно истоков «экспансии» именно этого форманта в процессе обобщения форм множественного числа существительных с личным значением: Шахматов обратил внимание на то, что формы не прямых падежей с течением времени могли быть соотнесены с собирательными образованиями на -а со значением совокупности лиц,

которые соответствовали «единичным» наименованиям, не принадлежавшим к основам на *-а. Таковы известные по «Повести временных лет» формы **Д** *пол-ямъ, древл-ямъ*; **М** *въ древл-яхъ, въ пол-яхъ* (наряду с формами *древл-ян-омъ, пол-ян-омъ; древл-ян-ыхъ, пол-ян-ыхъ*), соотносимые с незафиксированными в текстах, но вполне реальными собирательными **древл-я, *пол-я*. Именно по их образцу могли быть оформлены словоформы типа *волоч-амъ* в Смол. гр. 1229 (ср. *волоч-ан-омъ*); *вазилон-ямъ* в Лавр. лет. (ср. *вавилон-ян-омъ*); *содомл-ямъ* в Арх. ев. (ср. *содомл-ян-омъ*). Формы типа *бояр-а-мъ, дзэрян-а-мъ* должны были соотноситься с реально зафиксированными собирательными *бояр-а, дворян-а*, которые, как считал Шахматов, уже в XIV в. могли получить значение множественного числа.

Учитывая, что окончательный отрыв парадигм единственного и множественного числа друг от друга и грамматическое переосмысление давних собирательных образований как форм множественного числа происходит в связи с разрушением категории двойственного числа, примеры типа *египтянамъ, матигорыцамъ* из текстов XIII в. можно отнести к тому времени, когда процесс распространения форманта -а- в **Д** и **М** активизируется в живой речи. Единичные более ранние примеры можно расценивать как результат аналогической «ошибки» переписчиков, т. е. явление, свойственное письменной речи (подобно тому, как в XVII в., когда об отражении «живых» форм уже не может быть и речи, в текстах книжно-славянских, следующих рекомендациям церковнославянских грамматик, изредка встречаются смежные словоформы типа *к наперсникомъ и слугомъ* вместо ожидаемых *наперсник-о-мъ, но слуг-а-мъ*).

Памятники письменности не дают точного представления о течении процесса распространения форманта -а- в **Д, М**: даже в деловых текстах XVI — XVII вв. (не говоря уже о книжно-литературных) «старые» флексии имен среднего и мужского рода, в том числе и названий лиц, еще преобладают над «новыми». Между тем их употребление в памятниках московского и южновеликорусского происхождения определенно говорит о стремлении местных писцов следовать нормам, а не об отражении особенностей разговорной речи. И дело не только в том, что лексика некнижного характера почти не встречается в соответствующих падежах со «старыми» флексиями (ср. в курских грамотах начала XVII в., в которых «старые» формы преобладают над «новыми»: *в наших лугах, в сенных покосах, на себрах своих*). В условиях акающего произношения постоянные написания типа *атаманом, к розбойником* (наряду с *разбойникам*) не могут отражать «старой» флексии, как не являются отражением «старых» окончаний встречающиеся в тех же курских челобитных написания *на порутчилах, в статках, даже на дзу десетинех, писан воездомъ, по книгом, к губным старостом, по ямом и по землянском*, где написание -о- — обычный для текстов акающих районов способ передачи редукции заударного гласного. Не случайно челобитные из Курска, нередко отражающие типично местное произношение безударных гласных после мягких согласных (в том числе и во флексиях: *в нынешням, в Розрядя, в уездя, з зельям*,

за *Дмитреям, у сваем вычета*) и постоянно употребляющие в **М** твердого варианта «старую» флексию (типа *в городьх/городех, в селъх/селех*), никогда не отражают редукции гласного в такой флексии (т. е. абсолютно не знают написаний типа «*город-ях*», «*сел-ях*»), хотя изредка и дают примеры типа *в город-ах, в сел-ах*. Впрочем, не знают эти тексты и «новых» форм в кругу существительных женского рода типа *кость* (только: *по волостем, крепостем, по площадем; в волостех, в крепостех, на площадех, на моих лошадах*), что с учетом южновеликорусских реликтов типа *лошадём — лошадѣх* говорит о незавершенности к концу XVII в. процесса закрепления форманта *-а-* как показателя флексий **Д, М** мн. ч.

§ 124. Принципиальное отличие условий унификации синонимичных флексий в **Т** мн. ч. (несмотря на ряд внешних аналогий с тем же процессом в **Д, М**) заключается в том, что здесь многочисленные имена мужского и среднего рода в унаследованной древнерусским языком системе флексий не имели характерного падежного показателя, представленного в традиционных флексиях большинства именных склонений; ср. (без привлечения нетематических основ): *жен-а-ми — город-ы/кон-и — вол-ѣ-ми — кост-ь-ми (пут-ь-ми)*.

После падения редуцированных (т. е. уже к XII в.) флексии основной массы имен мужского и среднего рода *-ы/-и* оказались противопоставленными флексии всех остальных существительных с единым падежно-числовым показателем *-ми*: *жен-а-ми — город-ы (сел-ы)/кон-и — вол-ми — кос[т']-ми*.

А. А. Шахматов полагал, что омонимия флексий **Т-В** (позднее **И-В**) мн. ч. *город-ы, стол-ы — кон-и, отьц-и* явилась исходной причиной вытеснения «старого» окончания **Т** новым с более «выразительным» специфическим показателем падежного значения *-ми*. Если это предположение справедливо, то следует признать, что вытеснение «старой» флексии должно было происходить в условиях конкуренции флексий *-ами*, характеризовавшей имена женского рода и названия лиц мужского пола (*жен-ами — воевод-ами, слуг-ами, суди-ями*), и *-ми*, характеризовавшей имена мужского рода (*вол-ми — гос[т']-ми, кам[е]н[']-ми*) и имена женского рода типа *кость*, которые, как и в других случаях, оказывались в стороне от общего процесса унификации форм множественного числа. Материал памятников письменности не противоречит такому представлению о процессе унификации флексий в **Т** мн. ч., о чем свидетельствуют уже старейшие примеры: *лобъзаниями*¹ и *ангельми, глагольми, жидѣми, коньми* в Усп. сб. В более поздних текстах, составляя относительно незначительную часть словоформ **Т** мн. ч. муж. и ср. р., «новые» формы с *-ами* чаще отмечаются в документах делового характера (*с селищами, с угодьями* в актах Северо-Восточной Руси XV в.; *истоками, льсами, хмелниками* в двинских грамотах;

¹ В учебных пособиях, начиная с Лекций А. И. Соболевского, в качестве старейшего приводится пример *съ клубуками* в Пар.; однако это досадное недоразумение, так как в подлиннике *съ клубуки* (см.: Марков В. М., Историческая грамматика русского языка, Именное склонение, с. 101).

дворами, деревцами, поездами в грамотах XVI в.), а с флексией *-ми* — преимущественно в книжно-литературных памятниках (довольно часто: *жителями, коньми, свидетелями, учителями, также повеленьми, помышленьми*). В целом же «новые» формы в **Т** мн. ч. еще и в XVII в. встречаются значительно реже, чем в **Д, М**; даже в таком большом памятнике делового языка, как «Уложение» 1649 г., формы **Т** мн. ч. с *-ами* единичны, хотя изданная ранее «Грамматика» М. Смотрицкого рекомендует именно такие формы¹. Трудно сказать, действительно ли это связано с меньшей интенсивностью процесса унификации флексий в **Т** (по сравнению с **Д, М**) в живой речи, или здесь сказываются обстоятельства, вытекающие из принципиальной разницы в отношениях между книжно-письменной нормой и живой речью при оформлении непрямых падежей.

Дело в том, что в **Т**, в отличие от **Д, М**, различия между традиционными формами (*с товары, перед дьяки, за монастыри, с товарищи, своими персты*) и «новыми», которые могли уже закрепиться в живой речи (*товарами, дьяками, монастырями*), были настолько заметными, что позволяли грамотному человеку отличать их друг от друга как нормативные и «просторечные», недопустимые на письме. Такая интерпретация устойчивости «старых» форм **Т** мн. ч. муж. и ср. р. подсказывается «малограмотными» текстами конца XVI — XVII вв., прежде всего периферийными, в которых именно в **Т** «старые» флексии удерживаются особенно последовательно и почти не нарушаются в устойчивых предложных сочетаниях, где они явно не осознавались как формы **Т**. См., например, в курских челобитных XVII в.: *з зипуны с козач(ь)и* (ср. ответ из Московского приказа: *с зипуны казачьими*); *з детми и своими крестьянские животы*. Восприятие и усвоение таких конструкций как нормативных, не соответствующих формам живой речи, но обязательных в языке письменном, отражается в довольно многочисленных случаях употребления в их составе писцами-непрофессионалами форм **Т** без *-ами* в кругу существительных женского рода на *-а*; например, в тех же курских челобитных: *с телеги и с проводники* (ср. в московской резолюции на одну из грамот: *с телегами и с проводники*); *с твоими государевыми пошлины*; *послал с отписки курчанина* — тот же писец в усвоенной им канцелярской формуле пишет: *(Велено) сыскать игумены попы и дьяконы головы и детми боярскими*. То же в брянских челобитных XVII в.: *с телеги, (горькими) слезы, с нашими усадьбы*; в грамотах Новгорода и Пскова: *оральми земли и пожни, с старыми грамоты, с вельможи, карты и зерню играют*; в шуйских актах: *собрався... с рогатины и с бердыши, ездитъ... съ собаки*. Именно в составе устойчивых формул «старые» формы **Т** доживают до конца XVIII в. как явные канцеляризмы, что в начале XIX в. использовано А. С. Пушкиным в качестве стилизации: *...с пашенною и непашенною землёю, лесами, санными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистенёвке в «Дубровском»; Гюго с товарищи в «Домике в Коломне».*

¹ См.: Черных П. Я. Язык Уложения 1649 г. М., 1953, с. 295.

Из относительно немногочисленных случаев употребления в текстах не книжного характера форм Т мн. ч. муж. и ср. р. с флексией *-ами* большая часть примеров оказывается в не устойчивых формулировках; например, в одном из документов 1631 г., где сообщается о том, что *Дети боярские приезжали с писцы,* в конструкции не со значением совместности читаем: *очная ставка с писцами.* В курских челобитных XVII в. новая флексия заметно преобладает в формах существительных, обозначающих бытовые реалии, родственные отношения и т. п., т. е. в формах слов, не характерных для книжного языка: *мианик з дверью и з желабамы* (и даже *з жалабамы*), *дворами завладѣл, своими дворами живу(т), живатами их завладѣлъ, с своими себрами, с нашими шабрами, з девер(ь)ями, своими друз(ь)ями*; только с *-ами* отмечаются уменьшительно-уничижительные образования, для которых нет «образцов» в книжном языке: *з детишками, с двумя сынишками, з жиеотишками.* То же в шуйских актах XVII в., где большая часть примеров с *-ами* (составляющих менее четверти форм Т мн. ч. муж. и ср. р.) также связана с названиями обиходных реалий: *покосами владеют, с хомутами, билъ то кулаками, то толчками, дзумя загонами, с огородами, с топорками, с кистенями.* Подобные факты говорят о том, что к XVII в. живая речь уже знала новую форму Т мн. ч. для имен мужского, а также среднего рода, поддержанную единством флексий множественного числа не прямых падежей, т. е. характеризовавшуюся тем же формантом *-а-* со значением множественности, который повторялся также и в окончаниях Д *-а-м;* М *-а-х.*

Существительные типа *кость* до XVIII в. фактически не встречаются в Т с формантом *-а-*; даже тексты XVII в. очень последовательно употребляют формы: *с вестми (вьстьми), граньми, перед дверьми, з дочерми, с записми, крепостьми, с пицалми, как и дет(ь)ми, люд(ь)ми, сан(ь)ми.* Флексия этой группы существительных начинает «принимать» формант *-а-* лишь в самое последнее время, когда он становится «узаконенным» показателем множественности, т. е. прочно закрепляется в унифицированных флексиях не прямых падежей множественного числа. Еще у авторов XIX в. постоянно встречаются формы *костьми, над пропастьми, сетьми, цепьми*; для отдельных существительных такая флексия (наряду с *-ами*) допустима и сейчас: *дверьми, дочерьми, лошадьми,* во фразеологизмах *лечь костьми, сечь плетьми,* а также в супплетивных формах множественного числа *детьми, людьми.*

§ 125. Отмеченное выше своеобразие условий унификации флексий в Т сказалось в разнообразии ее результатов по говорам, не соответствующих процессу, как он прослеживается на основании показаний древних текстов, по-видимому, прежде всего отражающих течение процесса в говорах формирующегося великорусского центра. За пределами бывшей Ростово-Суздальской земли флексия *-ами* в Т мн. ч. до сих пор не является единственно возможной; видимо, ее преобладание в наше время — результат нивелировки диалектов, в ходе которой она вытесняла иные флексии. В частности, во

многих средневеликорусских и (особенно) южновеликорусских говорах очень распространена (только в безударном положении) всеобразная флексия *-ы/и-ми* (*окн-ыми, перьими*), явно появившаяся в результате присоединения универсального падежно-числового форманта *-ми* к «старой» форме имен неженского рода. Фонетически (в результате редукции заударного [a]) эта флексия не может быть объяснена, поскольку перед ней задненёбные согласные оказываются смягченными, т. е. [к'и < кы]: *ут[к']ими, дснь[г']ими, оре[x']ими*. Древние тексты таких форм не отражают, но они должны были формироваться до активизации процесса нивелировки южновеликорусских говоров под влиянием центральных, т. е. до XVI столетия.

На севере (в Прионежье и далее на восток, включая нижнее течение Северной Двины) отражена флексия, представляющая собой результат контаминации (наложения друг на друга) двух вариантов флексии Т: распространяющейся в ходе диалектной нивелировки *-ами* и развившейся в местных говорах *-ама* (т. е. *-ам- + -и: с дом-амы, коров-амы*), явно представляющей собой бывшую флексию Т дв. ч. Такое происхождение флексии *-амы* подсказывается наличием в отдельных северо-западных говорах, а также на Псковщине и вдоль границ с белорусским языком флексии *-ама* (*доама, рукама*) и единично отмечаемых словоформ с флексией *-амя*, отразившей иной результат той же контаминации (с сохранением мягкости губного перед конечным *-а*, вытеснившим *-и*). Источником таких флексий, безусловно, являются формы двойственного числа «парных» существительных (типа *ногама, рукама*), употреблявшиеся в диалогической речи более часто, чем *ногами, руками*, и получившие после утраты двойственного числа как грамматической категории значение множественного числа. Древние памятники таких форм также не отражают. Правда, А. И. Соболевский приводит из текстов XIV — XV вв. редкие примеры с прилагательными и местоимениями: *безаконьными, околными, ратными, всьми* и *есими*, но они могут иметь и иное объяснение (в том числе фонетическое и орфографическое), ибо появление контаминированных форм существительных на территории новгородских колоний в столь раннее время маловероятно.

Дело в том, что в старейших северных говорах — к югу от ареала форм с *-амы, -ама* и до северных границ средневеликорусских говоров — распространены формы Т с синкретическим окончанием Д-Т *-ам* (как и для прилагательных и местоимений): *за новым дсмам* (как *к домам*), *с рукам* (как *по рукам*). Изоглосса таких форм указывает на то, что они оформились в древненовгородском говоре в период его обособления, т. е. не позднее XIII в.¹ А поскольку моделью для них явилось совпадение форм Д-Т дв. ч. (ср. распространение реликтов форм Т дв. ч. с флексией *-ама* на окраинах именно этого ареала) и, следовательно, развиваться они могли не позднее периода разрушения двойственного числа как категории

¹ См.: *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров*, с. 191.

грамматической, то хронология, подсказываемая данными лингвистической географии, представляется вполне реальной. В этой связи указанные Соболевским в новгородских памятниках XIII — XVI вв. формы местоимений и прилагательных на *-м(ѣ)* (не *-ми*), которые должны были формироваться параллельно с формами существительных на *-а-м(ѣ)* (см.: *Грѣшники приемлетъ и съ нимѣ есть* в Мил. ев.; *Со всеми боящимися тебе и хранящимъ заповѣди твоя* в Новг. сл. XIV; *съ нимѣ*, т. е. «с грешниками», в Сб. XV в.), могут отражать уже развивавшиеся в то время диалектные формы. Впрочем, как и в других случаях, будучи формами диалектными, они не встречаются в более поздних памятниках, создававшихся в период распространения московских письменных норм.

§ 126. Тенденция к унификации склонений во множественном числе отчетливо проявляется в развитии форм **И** и **В**: хотя в современном языке, как литературном, так и в говорах, словоформы **И-В** мн. ч. характеризуются разными флексиями, эти различия не связаны с типами склонения существительных в единственном числе и не совпадают с родовой принадлежностью существительных.

Рассматривая развитие форм **И-В** мн. ч., необходимо отвлечься от имен среднего рода, которые на протяжении всей обозримой истории языка продолжали сохранять собственно родовую флексию *-а*, не зависевшую от типа склонения (см. бывшие основы на **-ѡ/-јѡ*: *села, поля, знаменія*; бывшие нетематические основы: *слова, имена, телята*). Характеризуясь во множественном числе (как и в единственном) единой флексией **И-В**, что соответствовало наиболее типичным отношениям этих двух падежей на уровне формы (во всех типах склонения издавна формы **И, В** совпадали либо в единственном, либо во множественном, либо в обоих числах), отдельные группы существительных среднего рода отступают от традиции (несколько шире — в южновеликорусских говорах) лишь в самое последнее время, когда единство форм **И-В** частотных имен женского и мужского рода стало прочно сложившейся особенностью парадигмы множественного числа.

То, что в процессе унификации форм **И-В** мн. ч. решающую роль сыграла тенденция к объединению флексий обоих падежей во множественном числе, представляется бесспорным и обнаруживается не только в ранней унификации флексий обоих падежей внутри тех словоизменительных парадигм, где исторически они не совпадали, но и в последующем расширении такого взаимодействия, которое отражено формами множественного числа муж. р., исторически различавших флексии **И, В**. См. в древних основах на **-ѡ*, имевших в **И** флексию *-и*, а в **В** — *-ы*: *Ангелы окръетъ престола* (вм. *ангели*) в Изб. 1076; *Человѣкы зѣлы творяхоу* (вм. *человѣци*) в Усп. сб.; *Върхы огорниа и притворы* (вм. *върхосе и притвори*) в Новг. лет.; *Приехаша послы* (вм. *посѣли*) в Новг. гр. 1270; *Быша ми осьли и рабы* (вм. *раби*) в Пар.; *Оужаси бѣси* (вм. *бѣсы*) в Усп. сб.; *Идѣмъ въ ближняя вѣси и гради* (вм. *грады*) в Мил. ев.; *Придохомъ... на холопы и на конюси свое* (вм. *конюхы*) в Новг. лет.; *Видѣхъ и звѣри и гади* (вм. *гады*) в Ап. Общая тен-

денция проявляется в том, что в дальнейшем, по мере развертывания унификации склонений во множественном числе, во всех, без исключения, группах существительных устанавливается обязательное тождество флексий **И-В** (если оставить пока в стороне вопрос об оформлении категории одушевленности); более того, как в говорах, так и в литературном языке во всех случаях, где норма допускает варьирование формы в **И** и **В** мн. ч., это варьирование в равной степени относится как к **И**, так и к **В** (ср.: совр. *тракторы* — *тракторá*, *цехи* — *цехá*; в южновеликорусских говорах: *площади* — *площадя́*). Сам же процесс реализации общей тенденции к объединению форм **И, В** в истории разных групп существительных осуществлялся неравномерно и разными путями — в зависимости от особенностей отдельных словоизменительных парадигм и взаимодействия с иными частными тенденциями, определявшими развитие форм множественного числа отдельных групп существительных.

Рассматривая историю унификации форм множественного числа в соответствии с общей тенденцией к отождествлению флексий **И, В**, нельзя не обратить внимание на то, что в унаследованной древнерусским языком системе склонений наблюдались «перекрещивающиеся» совпадения форм (исключая существительные среднего рода), которые и создавали фактическую основу унификации: **И** *воевод-ы*, *земл-ть* — *стол-и*, *кон-и* — *кост-и*, *гост-ие* — *сын-ове* — *камен-е*; **В** *воевод-ы*, *земл-ть* — *стол-ы*, *кон-ть* — *кост-и*, *гост-и* — *сын-ы* — *камен-и*.

Очевидно, что в плане реализации тенденции к отождествлению форм **И, В** основные изменения должны были коснуться существительных мужского рода, ибо существительные женского рода, независимо от типа склонения, издавна имели единую форму **И-В** (как и склонявшиеся по типу основ на **-ā* имена мужского рода со значением лица: *воевод-ы*, *слуг-ы*) или отождествили формы **И, В** достаточно рано. Тот факт, что в качестве такой общей, единой для обоих родов оказалась флексия *-ы/-и*, указывает на активизацию процесса унификации парадигм после падения редуцированных, когда наметилось фонологическое объединение гласных [и, ы], получающих на функциональном уровне значение фонетических вариантов одной фонемы. Именно в этих условиях флексии **И, В** *воевод-ы*, *жён-ы*, *стол-ы*, *сын-ы* — *кон-и*, *кост-и*, *гост-и*, *камен-и* начинают функционировать как варианты е (фонетические) разновидности одной флексии, определяемые качеством конечного согласного «новой» основы. Это и определило дальнейшее течение процесса, в результате реализации которого ни в одном из восточнославянских диалектов не осталось следов бывших флексий мягкого варианта *-ть*: **И-В** *вóд-ы/зёмл-и*, *стол-ы/ключ-и*.

В плане относительной хронологии процесс унификации флексий **И** и **В** мн. ч. муж. и жен. р. должен был завершиться после распространения категории одушевленности на формы множественного числа имен со значением лица, но до включения в эту категорию названий животных. Этим объясняется тот факт, что названия

животных в **И** мн. ч. всегда характеризуются унифицированной флексией *-ы/-и*: *бобр-ы* (вм. *бобр-и*), *волки* (< *вълк-ы*), *медвед-и* (вм. *медвѣд-иѣ* > *медвед-ье*), *звер-и* (вм. *звѣр-иѣ*). Напротив, существительные мужского рода со значением лица, принявшие в связи с развитием категории одушевленности в **В** форму **Р**, т. е. переставшие употреблять старую форму **В** (совпадавшую с распространявшейся унифицированной формой **И-В** мн. ч.) в связи с развитием категории одушевленности, в ряде случаев сохранили прежнюю форму **И** (не совпадавшую с формой **И-В** мн. ч.) или модифицировали ее, включившись в формирующиеся в новое время словоизменительные парадигмы множественного числа, характеризующие отдельные группы имен, объединенные семантической или морфонологической общностью «новой» основы.

Так, в литературном языке и большинстве говоров сохранили древнюю флексию **И** названия жителей с суффиксом *-ан-е*, пополняемые новообразованиями: *воложан-е*, *горьковчан-е*, *курян-е*, *минчан-е* (хотя в ряде говоров и они могут принимать унифицированную флексию: *волочан-ы*, *крестьян-ы* наряду с *волочан-а*, *крестьян-а*). Памятники книжного характера, в которых примерно с XIII в. исчезают аналогичные формы **И** в кругу образований на *-тель* (см.: *подрожателе*, *рѣвнители* в Усп. сб.), впоследствии довольно широко используют новую форму, связанную с древней парадигмой имен типа *гость*: *жител-иѣ*, *родител-иѣ*. Под влиянием старославянских текстов книжно-литературные памятники Древней Руси с XI в. спорадически употребляют в **И** мн. ч. флексию *-ове* (*сын-ове*) с вариантом *-езе* (после мягких согласных), которая для них становится очень характерной (ее можно встретить в литературных текстах даже XVI — XVII вв.: *ледове*, *снѣгове*, *уланове* в Сибирских летописях XVII в.); в деловых текстах с XIV в. эта флексия обычна в форме **И** существительного с личным значением *татарове* (в XVII в. встречается вариант *татарова*). В современной речи (особенно в диалектной) отражение этой флексии находим только в кругу существительных со значением лица: *зятевья*, *кумовья*, *сыновья* и др.; при этом формант *-ов'* закрепляется здесь в качестве постоянного показателя основы множественного числа, противопоставляющего ее основе единственного числа: *кумов-ьям* — *кумов-ьями*, *сынов-ьям* — *сынов-ьями*.

В текстах книжно-литературного характера в кругу существительных мужского рода формы **И** и **В**, хотя не всегда последовательно, различаются до XVII в. включительно, т. е. как норма: *воин-и* — *воин-ы*, *город-и* — *город-ы*, даже *друз-и* — *друг-и*, *посланниц-ы* (позднее отражение древней формы *посланниц-и* — в результате переходного смягчения задненёбного перед *и* дифтонгического происхождения) — *посланник-и* (позднее отражение древнего сочетания *-к-ы*), *угодниц-ы* — *угодник-и*. В памятниках некнижного характера, в частности в деловой документации XVI — XVII вв., устойчиво удерживают «старую» форму **И** лишь существительные с личным значением: *холоп-и*, *сосѣд-и*, *послус-и* (ед. ч. *послух* — 'свидетель'), хотя в этих текстах имена мужского рода выступают

только в форме с унифицированной флексией **И-В** мн. ч.: *город-ы, жернов-ы, мастер-ы*. И здесь (как и в случае *сыновья*) сохранение «старой» флексии, не соотносившейся с флексией **В** (где употреблялась форма **Р**), в действительности обусловлено морфологизацией мягкости конечного согласного основы, т. е. развитием противопоставления основ единственного и множественного числа, что отражено формами косвенных падежей: *холопей, холопям* (такие формы употребляли еще в начале XIX в. — А. С. Пушкин, В. Г. Белинский и др.); *послузей, послусям* (это особенно показательно, так как исторически должно было быть *послух-ам*); *соседей, соседям*. Встречающиеся у писателей первой половины XIX в. формы *соседы, соседов* могут объясняться аналогическим выравниванием основы множественного числа по образцу основы единственного числа в речевой практике носителей литературного языка (в тот же период чаще употребляются формы *соседи, соседей*), как это затем произошло с формами *холосы, холопов*. Закрепление мягкости конечного согласного в основе словоформ множественного числа *черти (чертей, чертям)*¹ говорит о том, что морфологизация этого фонетического явления происходила в живой речи.

§ 127. В кругу существительных с личным значением, утративших «старую» форму **В** в связи с заменой ее формой **Р**, закрепление своеобразной формы **И** мн. ч., не соответствующей унифицированному показателю форм **И-В** жен. и муж. р., — явление достаточно распространенное в диалектной речи и в системе литературного языка. И во всех таких случаях «выпадающая» из унифицированной парадигмы форма частотного для личных имен **И** используется языком для оформления специфической основы множественного числа, противопоставленной основе единственного числа, т. е. для вычленения формообразующих средств в системе именного склонения.

Именно так случилось с формами множественного числа существительного *черт*, где развившийся фонетически в положении перед гласным переднего ряда мягкий согласный в конце основы в форме **И** мн. ч. (*чер[т'ли*; старый **Р** мн. ч. *черт < чьрт-ѣ*; **Д** *чертом < < чьрт-омѣ*) переносится в словоформы остальных падежей и таким образом морфологизуется в качестве средства образования основы множественного числа *чер[т'л-*, противопоставленной основе единственного числа *чер[т-*, а сохранившийся в корне форм множественного числа гласный [e] (ср. в единственном числе перед сочетанием твердых согласных: [ч'о]рт, [ч'о]рта), говорит о том, что закрепление мягкого согласного в формах косвенных падежей множественного

¹ Общеславянское (праславянское по происхождению) слово *черт* (<чьртѣ) связано с языческой мифологией и потому в средневековых славянских текстах (не только клирических) никогда не встречается (употребляются его семантические эквиваленты — гречизм *диаволъ*, евангельское *блсъ* — *блси* и различные эвфемизмы типа *лукавий, враг*). Поэтому современный литературный язык должен был кодифицировать словоформы этого существительного такими, как они сложились в разговорно-речевой практике.

ного числа должно было произойти до завершения изменения [e > o] как фонетической закономерности (иначе было бы «[ч'о]р-ти»). То же происходит и в формах впоследствии утраченного русским языком слова *послух*, где развившийся фонетически только в форме **И** мн. ч. [с'] (*послус-и* — старая форма **Р** мн. ч. *послух* < *послух-ѣ*; **Д** *послух-ом* < *послух-омѣ*) получает значение показателя основы множественного числа, что с XVI в. изредка отражается в «малограмотных» текстах (*послус-ей*, *послус-ям*); между тем перенесение [с'] в формы косвенных падежей должно было произойти не позднее процесса выравнивания основ на задненёбные в северных (будущих великорусских) говорах. И вновь, как и в предыдущем случае, факты указывают на осуществление процесса дифференциации основ единственного и множественного числа не позднее XIII — XIV вв., что вполне соответствует утверждению о развитии противопоставленности форм единственного и множественного числа в связи с утратой двойственного числа как грамматической категории.

Ярким примером изменения грамматического значения формообразующего аффикса является использование древних собирательных образований для обозначения множественности. Частотность форм типа *братья*, *дядья*, *князья* (< *кънязия*) при указании на совокупность лиц (по сравнению с формами множественного числа *брати*, *дядь*, *князи* с тем же реально-числовым значением) в процессе дифференциации парадигм единственного и множественного числа обуславливала закрепление за ними грамматического значения множественного числа, в связи с чем прежний показатель собирательности — аффикс -j- (< -ij-) приобретал значение показателя множественности (т. е. на более общем семантическом уровне сохранял свое прежнее значение) и распространялся на все формы множественного числа. Таким образом, прежние формы *наша братья*, *моя дядья*, *вся князья* приобретают новое собственно грамматическое значение *нашими братья*, *мои дядья*, *все князья* и распространяют аффикс множественности на остальные формы: *дяд[д']-j[я]м*, *кня[з']-j[я]м*, противопоставляя основу множественного числа *дяд[д']-j-*, *кня[з']-j-*, *бра[т']-j-* основе единственного числа *дяд[д']-*, *кня[з']-*, *бра[т]-*.

В некоторых работах по исторической морфологии русского языка формы типа *князья*, а также *дядья*, *шурья* и др. отделяются от формы *братья* на том основании, что последняя в системе литературного языка противопоставлена остальным в акцентологическом отношении — ударностью основы во множественном числе. Диалектологические данные не дают оснований для выделения этой формы, так как в говорах (где и происходил процесс переоформления словоформ типа *братья*, *дядья* в образования множественного числа) различий в акцентологической характеристике таких образований нет (произносится *братья́*, *братья́м*, как *дядья́*, *дядья́м*). В ходе же кодификации норм литературного языка, которые, опираясь на речевую практику москвичей, вместе с тем во многом сохраняли и старые книжные традиции, судя по всему, произошло «столкновение» народно-разговорной формы множественного числа *братья́* ('родственники одного поколения') и книжно-славянской формы *бра́тья* ('говарищи, сподвижники, единомышленники'); причем последняя служила основанием для признания формы *братья́* (с ударной флексией) «просторечной», нелитературной, каковой она продолжает восприниматься и в настоящее время.

В повседневной разговорной практике формы **И** на *-ья* [-j-a] с обобщенным показателем основы множественного числа *-j-* характеризовали прежде всего термины родства: *братья, дядья, шурья* и др., в том числе и *мужья* — со значением родственных отношений, отличным от прежнего, сохранявшегося книжно-литературным языком значения 'мужчина' (ср. книжн. *мужи*). К этому кругу имен принадлежит и существительное *сын*, присоединившее специфический показатель формы к исконной для него форме **И** мн. ч. *сын-ове*, что и дало *сын-о[в'-j]-а* — с распространением на формы косвенных падежей усложненного показателя множественности *-ов'j-*. Этот новый аффикс в ряде говоров (прежде всего северновеликорусских) оказался более выразительным конкурентом аффикса *-j-*: диалектологами зафиксированы формы **И** мн. ч. *братовья, зятевья, мужевья* и др., из которых в литературный язык (кроме *сыновья*) вошла словоформа *кумовья* (с сохранением нового аффикса множественности *-ов'j-* в формах косвенных падежей).

Другая очень древняя группа собирательных образований, со временем также получивших значение множественного числа, — существительные типа *господа*, особенно широко представленные этническими наименованиями: *латина, лит(ъ)ва, моравя, мордва, черемиса* и др. (фиксируемыми, например, в старейших записях «Повести временных лет»). Все эти образования объединяются тем, что они соотносительны с наименованиями одного лица, характеризующимися суффиксом единичности *-ин-* (*господ-ин-ъ, литв-ин-ъ, мордв-ин-ъ*). Видимо, именно они послужили образцом для характерных северновеликорусских форм **И** мн. ч. *бояр-а, бологжан-а, крестьян-а, устюжан-а*, заменяющих более широкие по употребительности архаические образования типа *крестьян-е*. Грамматическим основанием такой «замены» являлась все та же тенденция к обобщению основы множественного числа с твердым согласным (ср.: *крестьян-ю, крестьян-ам* и т. д.; в «старой» форме **И** мн. ч. конечный согласный основы был позиционно мягким: *крестьян'le*), противопоставленной основе единственного числа отсутствием суффикса единичности *-ин-*. По типу отношений между основами числовых форм с ними совпали бывшие существительные среднего рода на **-t*, сохранившие в форме **И** мн. ч. прежнее окончание *-а* после твердого согласного и получившие в единственном числе новую основу с суффиксом *-'онок* (отсутствующим в формах множественного числа), включившим их в категорию имен мужского рода: *ребят-а, а также поросят-а, телят-а* и т. д.

В кругу личных существительных типа *крестьяне* в результате контаминации старой и новой форм в тех же северных говорах развиваются формы **И** мн. ч. *крестьян-я, устюжан-я* и т. п., которые А. А. Шахматов считал результатом фонетического изменения заударного *-е*, что для некающих говоров маловероятно. Встречающиеся в южновеликорусских текстах XVI — XVII вв. формы типа *крестьяня, курчяня — курченя, орляня — орленя* (наряду с *курчане, орляне*), безусловно, отражают результат фонетического изменения в абсолютном конце слова не под ударением. Не исклю-

чено, что на морфологическом уровне северновеликорусские формы **И** мн. ч. типа *крестьяня* были поддержаны формами личных существительных типа *друзья, дядья*.

Особую группу составляют формы **И-В** мн. ч. существительных с предметным значением типа *дерева, листья*, соотносящиеся с формами единственного числа мужского и среднего рода. Их связь с древнерусскими собирательными образованиями среднего рода *деревице, листие, уголие* и т. п. (после падения редуцированных: *листье, уголье*), существовавшими наряду с числовой парадигмой единичных наименований [*лист(ъ) — (дѣва) листа — листи, листы, перо — (дѣвъ) перь — пера*], несомненна. Традиционно считается, что *-ья* в таких формах развился относительно поздно либо фонетически (т. е. *листья < листье, перья < пѣрье* — в безударной позиции), либо под влиянием имен типа *братья*. Оба предположения неубедительны уже потому, что в равной степени не соответствуют акцентологической характеристике таких форм: все сохранившиеся предметные собирательные имена (т. е. не получившие грамматического значения множественного числа и употребляющиеся и сейчас как формы единственного числа) характеризуются ударностью флексии (ср.: *бельѣ, вороньѣ, дубьѣ*, в том числе и новообразования типа *хулиганьѣ*), так же как и получившие значение множественного числа бывшие собирательные имена, обозначавшие совокупность лиц (*друзья, дядья, князья*), между тем как современные формы множественного числа существительных с предметным значением никогда не имеют ударения на флексии (*листья, пѣрья*). Фонетическое объяснение, таким образом, требует предварительного объяснения причин оттяжки ударения на основу, а воздействие форм типа *дядья* было бы обязательно связано с сохранением ударности окончания.

Объяснение форм типа *листья, перья* дано недавно В. М. Марковым, который предлагает видеть в них бывшие формы множественного числа собирательных образований среднего рода¹, имевшие формы **И-В** ед. ч. *листвие, перие* (*листье, пѣрье*); **И-В** мн. ч. *листя, перия* (*листья, перья*). Древние числовые различия между такими формами, как указывалось, для носителя современного языка неощутимы. Однако Марков, опираясь, правда, на относительно поздний текстовый материал (XVIII в.), высказывает предположение, что эти различия были связаны с числом «носителей» совокупности предметов. Действительно, давно замечено, что в древних славянских текстах (не только древнерусских, но и старославянских) при указании на множество предметов в определенных случаях употребляются не формы множественного числа, а собирательные образования среднего рода типа *деревице, каменеи, листие* (ст.-сл. *листвице*). Вполне вероятно предположить такие отношения (не свойственные современной грамматической системе), когда при формах **И-В** ед. ч. *лист, перо* формы **И-В** мн. ч. *листы, пера* исполь-

¹ См.: Марков В. М., Историческая грамматика русского языка. Именное склонение, с. 69—76.

зовались лишь для указания на несколько (отдельных) листьев, перьев, а формы **И-В** ед. ч. *листье* (< *листие*) — одного дерева, *перье* — одной птицы; в этом случае формы **И-В** мн. ч. *листья* — нескольких деревьев, *перья* — нескольких птиц. Такое толкование грамматических различий между формами единственного и множественного числа собирательных образований естественно объясняет закрепление именно последнего ряда форм (мн. ч.) в период дифференциации единичности ~ множественности в грамматической системе русского языка, поскольку в качестве форм множественного числа указанного круга лексем они должны были характеризоваться в реальной речевой практике более высокой частотностью, чем формы множественного числа единичных наименований (о *листьях деревьев* говорится чаще, чем о нескольких отдельных листьях; о *перьях птиц* — чаще, чем о нескольких отдельных перьях). В новой грамматической системе они становятся коррелятами форм единственного числа единичных наименований (т. е. мн. ч. *листья* — ед. ч. *лист*, мн. ч. *перья* — ед. ч. *перо*), а в случае многозначности форм единственного числа они дифференцируют формы множественного числа с разными лексическими значениями; ср.: *лист* — *листья* (деревьев) и *листы* (бумаги — без оттенка собирательности); *зуб* — *зубья* (бороны, грабель) и *зубы* (человека). Необходимо при этом учесть, что еще в XVIII — XIX вв. круг таких образований был более широким, чем в современном языке, а главное — они фиксируются в условиях сосуществования с одноосновными формами множественного числа: *батюги* — *батюжья*, *волдыри* — *волдырья*, *кнуты* — *кнутья*, *пруты* — *прутья*, *струпы* — *струпья*, *угли* — *уголья* и др.

§ 128. Рассматривая историю форм **И-В** мн. ч., нельзя не остановиться специально на характерной для современного русского языка (и притом специфически великорусской) флексии, которая не может быть возведена к какому-либо древнерусскому показателю значения **И-В** мн. ч. Речь идет об интенсивно распространяющейся с относительно недавнего времени ударной флексии *-а*, присоединяющейся к основе единственного числа существительных мужского рода: *городá*, *домá*, *лугá*; в южновеликорусских говорах также и в формах имен женского рода: *матеря́*, *площадьá* и др. Эта флексия не связана с собирательными образованиями и как показатель грамматического значения множественного числа неизвестна ни одной древнерусской парадигме, следовательно, является собственно великорусским морфологическим новообразованием. А это значит, что ударная флексия *-а* **И-В** мн. ч. существительных несреднего рода должна была распространяться после распада древнерусского языкового единства, а исходным ареалом ее должны были быть говоры, впоследствии вошедшие только в состав великорусского языка.

Впрочем, если обратиться к старым текстам, то флексию *-а* как показатель грамматического значения **И-В** мн. ч. несобирательных существительных несреднего рода (помимо случаев типа *днлá* — *днло*, *поля́* — *поле*) в них можно встретить не так уж редко:

в такой форме со значением множественного числа в памятниках XIV — XV вв. продолжают употребляться существительные мужского рода со значением парных предметов, для которых исторически она была формой **И-В** дв. ч., более частотной, чем форма **И-В** мн. ч. Более того, до середины XVII в., за исключением очень редких случаев, часть из которых вызывает сомнения в точности публикации (XV в.: *городá, колоколá*¹; XVI в.: *лугá* — но там же *ть луги*; XVII в.: *лсá* — при обычных *лсы*), рассматриваемые формы известны только существительным, обычно указывающим на пару предметов: *бока, жернова, рога, рукава*, а также *берега, глаза* и др. При этом интересно, что все примеры (включая и спорные) касаются существительных с подвижным типом ударения, т. е. противопоставлявших ударную основу в формах единственного числа и в «старой» форме **И** мн. ч. ударности флексии в остальных формах множественного числа.

Материал памятников вполне соответствует современному употреблению ударной флексии *-а* в именах несреднего рода. Поэтому в русском историческом языкознании сложилось убеждение, что источник рассматриваемых форм — **И-В** дв. ч. парных существительных мужского рода с подвижным ударением: будучи более обычной в речевой практике, форма **И-В** дв. ч. таких существительных в процессе разрушения представления о двойственности на грамматическом уровне вытесняет их прежнюю форму **И-В** мн. ч., приобретая значение множественности. Главное возражение против этого традиционного предположения сводится к тому, что имена указанного акцентологического типа, согласно сравнительно-историческим разысканиям в области древнего славянского ударения, в **И-В** дв. ч. исконно характеризовались ударностью основы, а не окончания. Это возражение не учитывает того, что «активность» флексии *-а* развивается не ранее XV — XVII вв., когда в восточнославянских говорах, и прежде всего в северных, вошедших только в состав великорусского языка, очень заметен процесс выравнивания акцентных парадигм словоизменения существительных, по времени совпадающий, между прочим, с процессом унификации флексий не прямых падежей *-ам, -ах, -ами* во множественном числе. Учитывая это обстоятельство, можно пренебречь первоначальной акцентной характеристикой собственно форм двойственного числа: закрепившись в качестве показателя грамматического значения **И-В** мн. ч. парных существительных с подвижным ударением, флексия *-а* со временем именно в этом новом грамматическом значении принимает ударение, как и в остальных формах множественного числа, и только после этого начинает распространяться на другие существительные мужского рода, превращаясь в способ выравнивания акцентной парадигмы, т. е. противопоставляясь прежней безударной флексии **И-В** мн. ч. имен с подвижным ударением как ударная, обеспечивающая единство акцентной характеристики всех, без исключения, форм множественного числа.

¹ Эту форму принято связывать с именем среднего рода *колоколо*,

Процесс распространения ударной флексии *-а* как показателя значения **И-В** мн. ч. можно считать продолжающимся: литературный язык едва ли не каждое новое десятилетие вынужден признавать нормативность все новых словоформ с *-а* (типа *директорá, тракторá, цехá*), вытесняющих еще недавно считавшиеся единственно возможными словоформы с *-ы/-и* (*дирéкторы, трáкторы, цéхи*), а в диалектной речи, как отметил в свое время С. П. Обнорский, особенно в южновеликорусской, флексия *-а* становится действенным средством унификации форм **И-В** мн. ч., распространяясь и на существительные женского рода (имена среднего рода издавна характеризовались флексией *-а*): *площадя́, лошады́, дзерьá, вещьá, матеря́, доиерьá* (см. вошедшую в литературный язык диалектную форму *зеленя́*) и даже *горá* (*крутые горá*), *деревня́, гривá, голова́* (*в голозá, под головá*), *грядá* и др.

Результаты распространения флексии *-а* как выразителя значения **И-В** мн. ч. характеризуются рядом особенностей, которые убедительно подтверждают реалистичность описанного выше процесса и его условий. Прежде всего нельзя не заметить, что ни в одном говоре, как бы широко она в нем ни употреблялась, флексия *-а* не затрагивает форм, имеющих в **И-В** мн. ч. ударение на флексии *-ы/-и* (только *орлы́, столы́* и др.). Становясь средством акцентного выравнивания парадигмы множественного числа, флексия *-а* распространяется на существительные различного акцентологического типа, в том числе и с постоянным ударением на основе. Однако во всех случаях, когда фиксируется форма **И-В** с ударным *-а*, она оказывается в парадигме, переносящей ударение на окончания во всех падежах множественного числа. Например, очень распространенная в просторечии форма **И-В** мн. ч. *выборá* свойственна парадигме с ударностью флексии и в остальных падежах: *выборáм, выборáми*; идущие из профессиональной речи формы *слесаря́, токаря́* характеризуют парадигму *слесаря́м, слесаря́ми; токаря́м, токаря́ми*. Отмеченная в Подмосковье (в Подольске) форма **И-В** мн. ч. *дворника́* является членом новой парадигмы: *дворника́м, дворника́ми*. То же и в формах имен женского рода, фиксируемых в южновеликорусских говорах: *лошадя́, матеря́, площадя́* (ср.: литер. *лошадя́, матери́, пло́щадя́*) явно развились как способ акцентного выравнивания парадигмы *лошадя́м, матеря́м, площадя́м*. Наконец, встречающиеся изредка в южных говорах словоформы имен женского рода типа *водá* в формах **И-В** зафиксированы только в парадигмах с ударной флексией остальных падежей множественного числа: (*в*) *головá* — ср. *головáм, головáми*; (*крутые*) *горá* — ср. *горáм, горáми*; *деревня́* — ср. (*по*) *деревня́м*.

Таким образом, в развитии великорусских говоров реализация общей тенденции к обобщению парадигмы множественного числа в формах **И-В** отражает конкуренцию двух флексий, каждая из которых стремится стать универсальной: распространяющейся в более ранний период флексии *-ы/-и*, охватившей все имена женского рода и подавляющее большинство имен мужского рода, а в ряде говоров (преимущественно южновеликорусских) проникающей и в

формы **И-В** имен среднего рода (*озёры, окны, сёлы, яйцы*; ср. литер. *яблски*), противопоставляется более поздняя по происхождению ударная флексия *-а*, оформившаяся в парадигме имен мужского рода со значением парных предметов и в условиях унификации склонения имен разных родов во множественном числе поддержанная «старой» формой существительных среднего рода с подвижным типом ударения (ср.: *мѣсто — мѣста́, мѣстам*; *по́ле — поля́, поля́м*) и имевшими иной источник формами личных имен разных типов склонения (ср.: *дру́г, дру́га — друзья́, друзья́м*; *дядя́ — дядьа́, дядьа́м*). Распространение этой флексии, сопровождающееся закреплением во всех формах множественного числа ударения на окончании (в новейшее время — с передвижкой ударения с основы на окончание), создает условия для вычленения формообразующего аффикса *-а* как универсального показателя множественности (в отличие от очень ограниченных по сфере употребления показателей основы множественного числа *-ј-, -ов'ј-, -'*). Ср. (с учетом просторечных и диалектных форм):

Ед. ч. *дѣм-ѡ-ѡ, вы́бор-ѡ-ѡ, дяд-ѡ-я, деревн-ѡ-я, лоша́д'-ѡ-ѡ, мѣст-ѡ-ѡ*
дѣм-ѡ-а, вы́бор-ѡ-а, дяд-ѡ-и, деревн-ѡ-и, лоша́д'-ѡ-и, мѣст-ѡ-а
 Мн. ч. *дом-а́-ѡ, вы́бор-а́-ѡ, дяд-ј-я-ѡ, деревн-ја́-ѡ, лоша́д-ја́-ѡ, мѣст-а́-ѡ*
дом-а́-м, вы́бор-а́-м, дяд-ј-ја́-м, деревн-ја́-м, лоша́д-ја́-м, мѣст-а́-м
дом-а́-ми, вы́бор-а́-ми, дяд-ј-ја́-ми, деревн-ја́-ми, лоша́д-ја́-ми, мѣст-а́-ми
дом-а́-х, вы́бор-а́-х, дяд-ј-ја́-х, деревн-ја́-х, лоша́д-ја́-х, мѣст-а́-х

Речевая традиция, а в последние десятилетия и все усиливающееся влияние норм литературного языка сдерживают процесс универсализации *-а* как показателя множественности. Однако изучение диалектологического материала не оставляет сомнений в том, что в развитии великорусского именного склонения традиционной норме противостоит определенная тенденция развития внутрисистемных отношений, к нашему времени уже реализовавшаяся в склонении прилагательных и неличных местоимений, но с трудом утверждающаяся в склонении существительных.

Начавшаяся сравнительно недавно и продолжающаяся в наши дни история распространения *-а* как показателя множественности, реализующая тенденцию к расчленению средств выражения категориально-морфологических (число существительных) и синтаксических значений (падеж существительного), хорошо иллюстрирует процесс реализации общей тенденции путем последовательного преодоления традиционной нормы там, где обнаруживаются «слабые» звенья: сначала это парадигма множественного числа имен с подвижным ударением (где ударение именно в формах **И-В** противостояло ударению в формах остальных падежей); затем — постепенная ликвидация единообразного постоянного ударения на основе в парадигмах разных чисел (когда перенесение ударения на флексию в формах множественного числа реализует тенденцию к противопоставлению единичности ~ множественности); наконец, это распространение процесса на имена всех родов (что способствует реализации тенденции к унификации склонений во множественном числе).

§ 129. В развитии именного склонения выделяется история форм **Р** мн. ч. (использующихся и для выражения значения **В** в связи с формированием категории одушевленности). Если отвлечься от особенностей реализации общевосточнославянского процесса в отдельных говорах и от форм отдельных слов, то «внешняя» история форм **Р** мн. ч. оказывается предельно простой.

Древнерусский язык унаследовал в **Р** мн. ч. для разных склонений три флексии: $-osъ > -ov$ (основы на *-й только мужского рода), $-ии > -ей$ (основы на *-й мужского и женского рода) и разные по происхождению, но на фонологическом уровне (следовательно, на уровне плана выражения) соотносительные флексии $-ъ, -(')ь$, совпавшие после падения редуцированных в одной нулевой флексии $-(')\emptyset$ (все остальные основы, в число которых входили и наиболее многочисленные имена мужского рода на *-ǫ/-jǫ, а также на согласный).

В кругу имен мужского рода (первоначально только с основами на *-ǫ/-jǫ) традиционная форма **Р** мн. ч. была омонимична частотной форме **И-В** ед. ч. *стол-ъ — кон-ь* (после падения редуцированных *стол-ǫ — ко[n']ǫ*); это обстоятельство определяло возможность повозобразований, которые отвечали бы стремлению языка к однозначному выражению грамматического значения **Р** мн. ч. Только так можно объяснить очень раннее (начавшееся, очевидно, еще до распада праславянского языкового единства) распространение на имена мужского рода флексии $-ov(ъ)$, что известно всем славянским языкам и зафиксировано уже в старославянских памятниках, прежде всего в формах имен того же акцентологического типа, что и древние основы на *-й (ср. выше условия первоначального распространения флексии **Р** и **М** ед. ч. $-y$): *бис-овъ, плод-овъ*, а также *врач-евъ, знэзвъ* и др. (с $-евъ$ после мягкого согласного). Старейшие восточнославянские тексты дают примеры дальнейшего распространения этой флексии (хотя такие примеры немногочисленны по сравнению с употребительностью «старых» форм, тем не менее они фиксируются с XI в.): *воздєвъ, грѣховъ* в Изб. 1073; *дѣлговъ* в Зл.; *бисовъ, доуховъ, пѣлковъ, трудовъ* в Усп. сб.; *розбоиниковъ* в Смол. гр. ок. 1230; *послуховъ, хлѣбовъ* в Р. пр.; *образовъ, презвитеровъ, сборовъ, трудоовъ* в Ряз. кормч.; *коупцевъ, новъгородъцевъ, ноботоръжьцевъ, посозовъ* в Новг. гр. XIII — нач. XIV. По-видимому, эти примеры отражают широко осуществлявшийся в речи процесс распространения флексии $-ov(ъ)/-ev(ъ)$ в качестве универсального показателя значения **Р** мн. ч. муж. р., так как только формы с этим окончанием отмечаются в письмах на бересте, наиболее свободно отражающих черты живой речи.

После падения редуцированных, а точнее, после фонологизации противопоставления твердых ~ мягких согласных, когда имена типа *гость* (**Р** мн. ч. к этому времени *гостей* из более ранней *гостии*, продолжавшей сохраняться в книжно-славянской системе именных форм) составили единую морфологическую группу с бывшими основами на *-jǫ (типа *конь, мужь*), среди существительных мужского рода с мягким согласным на конце основы начинает распростра-

няться флексия *-ей*, конкурирующая с *-ев(ѣ)*. Старейшие примеры употребления этой флексии в словоформах имен, не принадлежащих к историческим основам на **-ї*, встречаются с конца XIII в.: *пнязии* в Новг. ев.; *безѣ стихарии* в Новг. кормч.; *моужи* в Ряз. кормч.; *князии*, *мечии*, *мужи* в Лавр. лет. Легко заметить, что оформление словоформ указывает на их книжный характер и, скорее, отражает сложившиеся условия распространения флексии *-ей* (< *-ии*), а не активность этого процесса в живой речи.

Конкуренция двух флексий среди существительных мужского рода с мягким согласным на конце основы довольно широко представлена в более поздних памятниках (особенно не книжного характера) — XVI — XVII вв., где иной раз на одном и том же листе можно встретить: *рублев — рублеи*, *товарищев — товарищеи*, *конев — конеи*, *знахорев-знахореи*, *монастырев — монастыреи*; причем еще в текстах XVII в. словоформы с *-ев(ѣ)* (*рублез*, *товарищев*) встречаются едва ли не чаще, чем слово формы с *-ей*.

Литературный язык, нормы которого окончательно оформились на протяжении XVIII в., кодифицировал то соотношение флексий **Р** мн. ч., которое сложилось в говоре Москвы и ее окрестностей: *-ов* закрепилась за именами мужского рода с твердым согласным на конце основы (*городов*, *кустов*), включая отвердевший [ц] (*купцов*, *месяцев*), а также в словоформах имен с основой на *-j* (*воробѣев*, *краѣев*), в том числе имеющих этот показатель только в основе множественного числа (*братѣев*, *листвѣев*, *деревѣев*, *перѣев*). Флексия же *-ей*, сохраненная словоформами несреднего рода бывших основ на **-ї* и рано объединившихся с ними древних основ на согласный (*крепостей*, *ночей*, *площадей — дочерей*, *матерей*; *гостей*, *гусей*, *медведей — дней*, *камней*), стала принадлежностью существительных мужского рода на мягкий согласный (кроме *-j*), в том числе и отвердевший: *ключей*, *коней*, *ножей*, *шалашей*. Колебания в употреблении флексий **Р** мн. ч. по говорам прежде всего касаются именно последнего круга основ: в одних говорах начавшая распространяться ранее флексия *-ов/-ев* закрепилась в словоформах с основами на отвердевшие шипящие: *ножов*, *товар[ышш]ов*, *шалашов*; в других говорах флексия *-ей* в период ее распространения присоединилась и к основам на остававшийся мягким [ц']: *зайцей*, *отцей*.

В силу более раннего распространения и охвата большого числа словоформ флексия *-ов/-ев* по говорам стремится стать единственным и универсальным показателем значения **Р** мн. ч. В южновеликорусских и переходных говорах она охватывает имена среднего рода (*болотов*, *озѣров*, *корытов*), что известно также и московскому просторечию (*делов*, *местов*; ср. разг. *наделать делов*), и проникает в формы имен женского рода (*бабов*, *ложков*, *банев*). Наличие таких форм в белорусских говорах (*сталоў*, *канѣў*) *палѣў*, *бабаў*, свидетельствует о том, что в говорах центра старой восточнославянской территории распространение флексии *-ов/-ев* как специфического показателя значения **Р** мн. ч. могло непрерывно продолжаться с древнерусского времени, реализуя общую тенденцию к унификации форм словоизменения существительных во множественном числе.

РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ ОДУШЕВЛЕННОСТИ

§ 130. Категория одушевленности — как последовательная омонимия (или совпадение) форм **Р** и **В** обоих чисел в кругу существительных с исходным значением 'живое существо' (люди, животные, рыбы, птицы, насекомые)¹ — специфически русская (великорусская) грамматическая особенность, развивающаяся, судя по показаниям памятников письменности, на протяжении XV — XVII вв. В современном литературном языке этой категорией не охвачены лишь имена женского рода в форме единственного числа: **И-В** *мать, лошадь, мышь*, а также *жена — жёну, корова — корову* и т. д., где **В** имеет «индивидуальный» падежно-числовой показатель (поэтому и существительные мужского рода этого склонения в **В** имеют форму, не совпадающую с формой **Р**: *воевод-у, юнош-у*); ср.: **В-Р** мн. ч. *матерей, лошадей, мышей, жён, короз* (ср.: **И** мн. ч. *матери, лошади, мыши, жёны, коровы*).

Как омонимия форм **В, Р**, категория одушевленности развилась на базе древнерусской категории лица, а перерастанию категории лица в современную категорию одушевленности предшествовало распространение омонимии форм **В-Р** ед. ч. на все существительные мужского рода со значением лица — независимо от его социальной принадлежности и от древней основы соответствующего существительного. Так, уже в текстах XIII — XIV вв., в которых омонимия форм **В-Р** не выходит за пределы имен мужского рода со значением лица, встречаются случаи **В-Р** ед. ч. (наряду с примерами **В-И**): *имѣть татя* в Смол. гр. 1229; *И взяша и Стополкѣ акы тѣстя своего* в Лавр. лет.: *Посла к ним с (ы)на своего* в Сузд. лет. Правда, в памятниках такие формы до XV в. относительно немногочисленны, но не надо забывать, что они нарушают традиционную книжно-славянскую систему норм, а потому достаточно информативны в плане несоответствия книжно-литературной грамматической традиции разговорной практике авторов и переписчиков, видимо, уже не дифференцировавших в **В** ед. ч. названий лиц различного социального положения. Во всяком случае, деловые тексты московского происхождения с начала XV в. очень последовательны в употреблении форм **В-Р** ед. ч. всех существительных мужского рода со значением лица: *сына, татя, недруга, москвитина, стрелка, мастера, дьяка, рыболова, псаря* — без каких-либо исключений.

С конца XIV в., когда активизируется процесс обобщения флексий **В, И** мн. ч., существительные мужского рода с личным значением фиксируются в форме **В-Р** мн. ч. В книжно-литературных текстах такие формы еще нерегулярны, но в грамотах московских князей

¹ Следует подчеркнуть, что об «одушевленных предметах» можно говорить, имея в виду только исходное, первоначальное значение соответствующих слов как единиц языка. Так, существительное *баран* обнаруживает принадлежность к категории одушевленности не только в значении 'животное', но и в значении 'блюдо, кушанье': *Зарезали барана. — Подали (жареного) барана* (ср.: *Подали вкусный пирог*); *Гроссмейстер отдал коня за слона* (одушевленными являются существительные, а не сами предметы).

конца XIV — XV вв. они обычны, особенно в функции прямого дополнения: *Послали есмь своихъ **пословъ**; И намъ отъслати своихъ бояръ; Нятцевъ намъ отпушати; Привелъ коузгородцевъ и новоторжцевъ к целованью; Своихъ воеводъ послати.* В деловых текстах XV в. подобные формы отмечены и в предложных конструкциях: *на мытниковъ и на таможенниковъ, на татаръ, на его знахарей, на техъ князей, по татей, на диаков.* В свете этих фактов отдельные примеры со «старой» формой **В** (теперь уже **В-И**) выглядят в тех же текстах как архаичные: *Послати свои данщюки в Гр. ок. 1367; Нятци отпушати в Гр. 1375; Тиучи и дозодищюки судит сама в Гр. 1423.*

Более консервативными оказываются в отношении форм **В-Р** мн. ч. существительные *дѣти, люди*, которые до конца XVII в. в текстах книжного характера довольно последовательно употребляются в форме **В-И**, а в деловой документации, менее строго следующей традиционным книжным нормам, в этот период в формах **В-И** встречаются не реже, чем в формах **В-Р**. Еще в «Уложении» 1649 г., по наблюдениям П. Я. Черных, можно встретить: *Возмутъ в полонъ... и жену его и дѣти; Собака на люди мечется.* Впрочем, в периферийных, в частности южновеликорусских, грамотах уже в начале XVII в. нормальны формы **В-Р**, подчеркивающие традиционно-книжный характер форм **В-И**: *И кошавыхъ людей розгонял в Курск. гр. 1623; Взялъ с собою тутошнихъ и стороннихъ людей в Гр. 1627; Взяли крестьянъ и крестьянскихъ жон и дѣтей в Гр. 1636.* Последний пример интересен формой **В-Р** существительного женского рода со значением лица, ибо наименования лиц женского пола во множественном числе позже других имен с личным значением фиксируются в формах **В-Р**: в текстах книжно-литературных их нет вплоть до XVII в., а в деловых текстах XVI в. они представлены единичными примерами и только к середине XVII в. становятся обычными. Периферийные тексты и в этом случае отражают формы **В-Р** как нормальные ранее московских: *Пожалуй нас холопей своихъ и удовъ и недорослей в Курск. гр. 1629; Жен нашихъ и дѣтей и крѣстьянщакъ нашихъ в полонъ поимали в Курск. гр. 1644.*

§ 131. О перерастании категории лица в категорию одушевленности можно говорить лишь с того времени, когда омонимия **В-Р** распространяется с названий лиц на названия животных. По данным памятников, ранее всего это происходит в форме единственного числа существительных мужского рода (т. е. так же, как и в названиях лиц). Единичные примеры таких форм, встречающиеся еще в текстах древнерусского периода (*Съвративъ коня приѣха къ нимъ; Въмѣниша мя яко овьна на сѣньдѣ в Усп. сб.; Камень върѣтъ на пѣса в Ряз. кормч.*), требуют специального объяснения и, по мнению П. С. Кузнецова, могут отражать влияние южнославянских традиций церковного языка, так как отмечаются они в памятниках книжно-литературного характера, а в деловых текстах неизвестны и в более позднее время. До XVII в. зафиксирован лишь один пример (рядом с формой **В-И**): *И мы к тобѣ пѣсъ борзю да собаку посоколью и кречета послали в Гр. 1521.* Этот пример представляется очень показательным в плане реконструкции про-

цесса развития категории одушевленности в свете данных актовой письменности первой половины XVII в., где формы **В-Р** ед. ч. названий животных достаточно многочисленны.

Дело в том, что центральные и периферийные деловые тексты XVI в. продолжают сохранять формы **В-И** ед. ч. названий животных в предложных сочетаниях и в стереотипных для юридической документации фразах: *Взяли грабежу трое лошадеи — мерин рыж да мерин карь да жеребец гнд; Отняли конь да кобылу; Да под ним конь убили; Взято за боран денег...; Стясти на конь* (последний случай, по-видимому, следует рассматривать как древний фразеологизм). Вне стереотипных формулировок в функции прямого дополнения обычны в это время формы **В-Р**, что особенно заметно, когда такие формы встречаются рядом с формами **В-И**: *И коня мсео рыжава оне били ослопам; Купил де у меня сын ево коня и денег де мнь не отдал дву рублев за тот мои конь; Шол... торговать коня; Отбили у тотарина лошед рускою мерин пте соврас и я... того мерина скупил* в курских грамотах XVII в.

До середины XVII в. названия животных в формах **В-Р** мн. ч. вообще не встречаются. См. в курских грамотах XVII в., менее консервативных в отношении традиционных форм: *Рыбу ловит и бобры бьет; Дати еи, Ностасы, пчелы; Лошеди и рухледь отнел; В наши стерегли лошеди*. Только такие формы, по утверждению П. Я. Черных, известны «Уложению» 1649 г.: *Загонять чьи лошади; Кто пчелы выдереть; Кто звъри и птицы отгонитъ; За ть бобры доправити денги; И ему за свиньи и за кобылы и за коровы и овцы... и за пчелы править*; однако в «Книге о ратном строении», наряду с обычными — *Лошади позади полкою поставити; И коуры и оутяты и гоуси крадут*, встречаются примеры: *Коурь лоеитъ; Досмерти оубиваютъ как есть собак*; да и в «Уложении» 1649 г. встречаются: *И птиць от той привады отгонитъ; Искать свиней или кобыль или коровъ*. Очевидно, середина XVII в. — это время сложения категории одушевленности, как она отражена современным языком.

Нельзя не заметить, что все примеры **В-Р** мн. ч. названий животных, относящиеся к середине XVII в., связаны с позицией прямого дополнения, а не с предложными конструкциями с **В**. Объясняется это тем, что категория одушевленности развивается в связи с необходимостью различения форм субъекта и объекта в грамматической системе со свободным порядком слов, следовательно, связана с основной функцией **В** — функцией прямого дополнения. Лишь закрепившись в этой функции, **В-Р** из формы выражения прямого объекта становится формой выражения категории одушевленности, т. е. обнаруживает тенденцию стать постоянным показателем значений **В** существительных, способных функционировать в качестве субъекта действия.

Поскольку в составе предложных конструкций синтаксическая функция словоформы выражена однозначно и омонимия флексий, следовательно, не создает коммуникативных «помех», синтагматические отношения не требуют нарушения традиционной формы:

она в этом случае может подвергаться изменению только под влиянием парадигматических отношений, т. е. только по мере того, как она осознается как форма того падежа, который в основной своей функции оформляется иначе. Именно поэтому, несмотря на очень раннее закрепление формы **В-Р мужа** (*Мужа твоего убихомъ* в Лавр. лет.), в предложной конструкции продолжала употребляться со временем она реченная форма *за мужь* (совр. *выйти замуж*; ср. в составе той же предложной конструкции: *Поиди за князь наш за Малъ* в Лавр. лет., но здесь же в значении прямого объекта: *Се князя убихомъ рускаго*). По той же причине застыли в старой форме в конструкциях с предлогом и наименования лиц во множественном числе со значением сословия, профессии и т. п., а не совокупности лиц: *выйти в люди, отдать в солдаты, пойти в гости*, в то время как с собственно личным значением те же существительные включаются в парадигматические ряды *сестра — (в) сестру, солдат — (в) солдата, люди — (в) людей*, что и обуславливает проникновение в такую конструкцию показателя формы **В-Р** одушевленного существительного (ср.: *Солдаты стреляли в безоружных людей*). Еще тексты XVII в. содержат большое число примеров «старых» форм **В-И** в предложных конструкциях с существительными, обозначающими лиц, особенно в устойчивых юридических формулировках; см. в курских грамотах XVII в., никогда не употребляющих формы **В-И** мн. ч. существительных со значением лиц в функции прямого дополнения: *Шлюсь на попы и на козаки и на стрелцы и на пушкори и на затинцики и на дворники; И на жену и на дети и на есо род-племя не бити челом*; ср. там же в нестереотипных предложных конструкциях: *Спрашивали про татей и про разбойников; За тех питухов докладывали своими денгами; А женишка наши про работников и дьловцов псть еарили*.

§ 132. Что касается диалектных особенностей в оформлении категории одушевленности, то они не отличаются большим разнообразием, хотя и содержат отдельные местные черты, подтверждающие вывод о более интенсивном развитии этой категории в южно-великорусских говорах по сравнению с северными (как это отмечалось в связи с показаниями текстов XVI — XVII вв.). На севере, а также в отдельных говорах Сибири зафиксированы формы **В-И** мн. ч. названий животных: *били звери, пасу коровы*. Напротив, в говорах великорусского юго-запада категория одушевленности не только во множественном числе, но и в единственном числе охватила существительные женского рода, не имевшие специального показателя значения **В**. Это явление, известное современным западным южновеликорусским говорам, отражено памятниками с начала XVII в.: *Вели... дати на поруку матери ево и брата ево роднова Андрюшку и жану и детей; жену Федору дочери Устинью да зятя Луку; И жену ево и дочеря били* (Курск); *Взяли жену до дочери* (Новосиль); *дочеря Арину* (Орел); *матеря Мотрену, дочеря Акилину; дочеря Авдотью, матеря Наталью* (Елец); *Взяли в полон матери мою; Взяли дочеря мою* (Чернавск); *Взявъ матеря и попадью свою съвез и(з) села Вереики* (Землянск). В старейшем

диалектологическом сочинении — статье Васьянова «Курское наречие» (1840) — указано, что форма **В-Р** ед. ч. охватывает также и название животного: *В лошаде* (фонетически *лбшадя*); отражено это и современными записями в окрестностях Курска: *з'ит'ја блъудар'йл'и мат'бр'а за дбч'ьк; Нашл'и лошд'а; Вон мају лбшд'а в'ид'ет'*. Иными словами, юго-западные великорусские говоры отразили последовательную ликвидацию омонимии форм **В-И** среди существительных, способных употребляться в позиции активного производителя действия, независимо от рода таких существительных.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 133. Грамматические особенности прилагательных как части речи, относящейся к группе имен, определяются их наиболее общим лексическим значением п р и з н а к а (качества, свойства, отношения), носителем которого является предмет (в широком смысле — включая «опредмеченные» действия, состояния и т. д.). Указывая на признак предмета, прилагательное всегда о п р е д е л я е т с у щ е с т в и т е л ь н о е как наименование предмета, т. е. функционирует либо в качестве (согласованного) определения, либо в качестве именной части сказуемого (если указание на признак является целью сообщения), следовательно, синтаксически всегда относится к существительному. В противном случае в плане синхронии мы уже имеем дело не с прилагательным, а с иной частью речи, даже если генетически она восходит к прилагательному. Ср.: *течение быстро* и *быстро бежит* — во втором случае та же по происхождению словоформа является наречием; *столовая ложка* и *столовая закрыта* — во втором случае та же по происхождению словоформа является существительным; ср.: *От зѣла съмени.* — *Да не творять имъ з(ѣ)ла* в Лавр. лет.

В «исходной» древнерусской грамматической системе прилагательные в плане выражения продолжали сохранять морфологические признаки, объединяющие их с существительными, и, подобно существительным, характеризовались формами р о д а, ч и с л а и п а д е ж а. Однако синтаксические функции, вытекающие из общего лексического значения прилагательных, определяют в плане содержания принципиально иную, чем у существительных, семантику форм, общих для обеих групп имен: род, число и падеж прилагательного — это единая согласовательная категория, выражающая одно синтаксическое значение — указание на связь с существительным. Что же касается терминологической нерасчлененности в обозначении этой единой согласовательной категории, то она, по существу, характеризует грамматические категории определяемого существительного [перечисляя грамматические значения, например, словоформы *нова(я)*, мы в действительности указываем на то, что она согласована с существительным женского рода в форме **И** ед. ч.]

и связана с генетическим единством флексий существительных и согласуемых с ними прилагательных; ср. реликты этого единства в современном языке: *нов-а(я)* (как *стен-а*), *нов-у(ю)* (как *стен-у*), *нов-о(е)* (как *сел-о*), *нов-ы(е)* (как *стен-ы*).

§ 134. Формально-морфологическое единство прилагательных и существительных в системе древнерусского языка продолжало сохраняться в формах словоизменения прилагательных, которые совпадали с формами словоизменения существительных, образуя вместе с ними единую систему именного склонения.

Прилагательные еще в праславянский период (следовательно, значительно раньше существительных) обобщили формы словоизменения по родовому признаку. В результате все прилагательные, относившиеся к существительным женского рода, закрепились с наиболее частотными для имен женского рода флексиями древних основ на **-ā* или **-jā* (как *вода*, *земля*; см. парадигмы I и II словоизменительных классов), а прилагательные, относившиеся к существительным мужского и среднего рода, — с флексиями древних основ на **-ō* или **-jō* (как *столъ*, *конь*, *село*, *поле*; см. парадигмы III—IV и V—VI словоизменительных классов), в частности, с теми соотношениями окончаний после конечных твердых или мягких согласных основы, которые были характерны для указанных типов склонения.

Число, падеж	Женский род	Мужской род	Средний род
Ед. ч. И В Р Д Т М	<i>нов-а</i> , <i>сич-я</i>	<i>нов-ѣ</i> , <i>син-ѣ</i>	<i>нов-о</i> , <i>син-ѡ</i>
	<i>нов-у</i> , <i>сич-ю</i>		
	<i>нов-ы</i> , <i>сич-ть</i>	<i>нов-а</i> , <i>син-я</i>	<i>син-я</i>
	<i>нов-ѣ</i> , <i>сич-и</i>	<i>нов-у</i> , <i>син-ю</i>	<i>син-ю</i>
	<i>нов-ою</i> , <i>сич-ю</i>	<i>нов-омь</i> , <i>син-смь</i>	<i>син-смь</i>
	<i>нов-ѣ</i> , <i>син-и</i>	<i>нов-ѣ</i> , <i>син-и</i>	<i>син-и</i>
Мн. ч. И В Р Д	<i>нов-ы</i> , <i>син-ѣ</i>	<i>нов-и</i> , <i>син-и</i>	<i>нов-а</i> , <i>син-я</i>
		<i>нов-ы</i> , <i>син-ѣ</i>	
	<i>нов-ѣ</i> , <i>син-ѣ</i>	<i>нов-ѣ</i> , <i>син-ѣ</i>	<i>син-ѣ</i>
	<i>нов-амъ</i> , <i>син-ямъ</i>	<i>нов-омь</i> , <i>син-емъ</i> и т. д.	

При этом окончания именных форм прилагательного, разумеется, не зависели от окончаний определяемого существительного, а обуславливались только его родом. Например, в Р ед. ч. жен. р. не только *нов-ы стѣн-ы*, но и *нов-ы земл-ѣ*, *нов-ы тыкъѡ-ѣ*; в Д ед. ч. муж. р. как *нов-у стол-у*, так и *нов-у сын-оѡи*, *нов-у гост-и*, *нов-у камен-и*.

В значении существительных формы с теми же окончаниями широко представлены в древних памятниках: *молодо* (ср. ошаренную конструкцию *смолоду*), *слѣпо* (ср. *сослепу*), *далеко* (ср. *издалека*), *лѡво* — *право* (ср.: *налево*, *направо*, *слева*, *справа*), *мало* (*Сѣ маломъ же дружины възвратися* в Лавр. лет.). Большое число таких форм встречается еще в юридических текстах XVII в.: *Дурна над ними никакова не учинили*; *Прибудеть на него в розбоиномъ дѣль иное лихо*; *И над гѡдрвою казноу никакова худа не чинить*.

Возможно, что такие образования — результат ранней субстантивации прилагательных, произошедшей до развития так называемых членных форм (иначе было бы *лихое*, *правое* и т. п.). Однако более вероятно, что *мало* (сущ.) — *мало(е)* (прил.), *молодо* (сущ.) — *молодо(е)* (прил.) и т. п. (были, вероятно, и существительные мужского рода типа *малъ* — 'коротышка', *молодъ* — 'юнец'; см. имя собственное *Малъ* в Лаврентьевской летописи, ср. совр. *сдуру* < *съ дуру*, *смолоду* < *съ молоду* и др. — с учетом того, что флексия *-у* в Р могла характеризовать лишь имена мужского рода с подвижным ударением) — это результат дифференциации первоначально нерасчлененного имени в процессе синтаксической специализации названий предметов и признаков. Во всяком случае, как подметил П. С. Кузнецов, формально-морфологическое тождество рассматриваемых образований не дает оснований видеть в них первоначальные прилагательные или существительные.

Большинство существительных, омонимичных прилагательным, со временем вышло из употребления, по крайней мере в литературном языке, где они уступили место производным образованиям, синонимам или словосочетаниям: *молодо* → *молдость*; *слыно* → *слепота*; *пьяно* → *опьянение* (*Пьяху до великого пьяна* в Моск. лет.); *дурно* → *коварство*, *лозни*; *льво* → *левая сторона*. Однако немало таких образований продолжает сохраняться и в современном языке: *добро* и *добро(е)*, *зло* и *зло(е)*, *право* и *право(е)*, *тепло* и *тепло(е)* и др.

§ 135. Древнерусским памятникам, как и старославянским, известны формы прилагательных, осложненные указательным местоимением *и* (морфологически *јь*) — *его*, первоначально выполнявшим функцию определенного члена, в связи с чем их принято называть ч л е н н ы м и (или определенными), противопоставленными именным формам. Общеславянский характер членных форм указывает на то, что их образование относится к эпохе праславянского языкового единства.

Старославянские и старейшие древнерусские книжно-литературные памятники, отражающие церковнославянские традиции, содержат членные формы, связанные с различными этапами процесса слияния члена с именной формой; в результате формируется единая, нечленимая по формальному составу флексия, объединяющая склонение членных форм и неличных местоимений. Например.

Мужской род

И-В *нов-ъ* + *и* = *нов-ыи*, т. е. [-ъјь] > [-ои]
Р *нов-а* + *его* = *нов-аего*, т. е. *-ајего* > *-аего* > *-ааго* > *-аго*
Д *нов-у* + *ему* = *нов-уему*, т. е. *-ујему* > *-уему* > *-ууму* > *-уму*

Женский род

И *нов-а* + *я* = *нов-ая*, т. е. *-аја*
В *нов-у* + *ю* = *нов-ую*, т. е. *-ују*
Р *нов-ы* + *еть* = *нов-ыеть*, т. е. *-ыјејѣ* > *-ыејѣ* > *-ыыје* > *-ыјѣ*

В результате утраты интервокального *-j-*, ассимиляции и стяжения гласных (*-ајѣ-* > *-ае-* > *-аа-* > *-а-* и т. д.) утратившая морфологическую членимость сложная местоименная флексия сближается с соответствующей флексией указательных местоимений, что ведет к появлению новых местоименных форм прилагательных, объединяющих их со склонением неличных местоимений: *нов-аго* → *нов-ого* (как *того*), *нов-уму* → *нов-ому* (как *тому*), *нов-ытъ* → *нов-отъ* (как *тотъ*) и т. д.

Выравнивание членных форм прилагательных по образцу склонения неличных местоимений в восточнославянских диалектах,

по-видимому, началось в единственном числе еще в дописьменное, время, поскольку «новые» формы встречаются sporadически уже в старейших древнерусских памятниках, в том числе и церковно-книжных, включая списки со старославянских оригиналов, использующие «старые» формы: *златоустого, ближньому, врачбному* в Изб. 1073; *първому, вышьнему* в Изб. 1076; *с(вя)тоѣ мѣнцѣ* в Арх. ев.; *бѣсовьскомоу* в Мин. 1096; *въчьномуу, тихомоу* в Мин. 1097; *селикого князя* в надписи на чаре (до 1151); *чюжего, градьномуу, дивьномуу, живомоу* в Усп. сб. Такие формы нормальны в частных письмах на бересте (до XIV в.): *железного, другого, желтого, курицкого, доброго, золотого, черленого* и др. Впрочем, окраинные северные говоры, возможно, не знали аналогического выравнивания членных форм по образцу местоимений и могли усваивать флексии местоименного склонения в процессе междialeктного общения. Такое предположение диктуется фактом сохранения в некоторых северных говорах вплоть до настоящего времени форм типа *от злыѣ собаки, у молодыѣ жоны*.

В формах косвенных падежей множественного (и двойственного) числа, встречающихся относительно редко, старейшие памятники, как правило, отражают обобщенные членные формы без стяжения гласных — типа *нов-ыхъ (син-ихъ), нов-ыми (син-ими)*. В грамотах (в частности, в берестяных) с XIII в. фиксируются стяженные формы: *с Офлемовими, оу Кануниковыхо, къ сотьскимъ*.

Таким образом, для системы древнерусского языка может предполагаться парадигма членных форм, в значительной степени унифицированных и противопоставленных парадигме книжно-литературного языка:

Число, падеж	Мужской род	Средний род	Женский род
Ед. ч И	-ыи(>ои)/-ии(>еи)	-ое/-ее	-ая/-яя
В Р Д Т М		-ого/-его -ому/-ему ымь/-имь -оль/-емь	-ую/-юю -оѣ(-ыѣ)/-еѣ -ои/-еи -ою/-ею -ои/-еи
Дв. ч. И-В Р-М Д-Т	-ая/-яя	-юу(-ою)/-юю -ыима/-иима	-ѣи/-иѣ
Мн. ч И В Р Д Т М	-ии -ыѣ/-ѣѣ	-ая/-яя	-ыѣ/-ѣѣ
		-ыхъ(ыхъ)/-ихъ(-ихъ) -ымъ(ьмъ)/-имъ(-имъ) -ыми(-ими)/ими(-ими) -ыхъ(-ыхъ)/-ихъ(-ихъ)	

Членные формы по происхождению связаны с определительной функцией прилагательных, ибо они первоначально использовались в качестве актуализаторов индивидуального, известного собеседнику признака. В этой функции они были свойственны лишь качественным и относительным прилагательным. Исследование древнерусских памятников показывает, что ко времени их появления различие между именными и членными формами в живой речи уже начинало стираться. Даже в книжно-литературных текстах, довольно последовательно отражающих традиционные нормы употребления форм и значительно чаще использующих в функции определения местоименные формы прилагательных, те и другие формы фиксируются в тождественных синтаксических условиях, так что с позиций носителя современного языка невозможно заметить какие-либо различия в их грамматической семантике; ср.: ...*услыша шьпѣтъ зѣль* — и сего зѣлааго убиства; сию землю *русьску* — и всю волость *русьскую*; въ *русьскѣ* земли — и всеи *русьскѣ* земли в Усп. сб.

Вместе с тем в древнейших текстах не так уж редко используются местоименные формы не только относительных, но и качественных прилагательных в предикативной функции: *Се мощь крѣпѣкая*; *Се власть истинная*; *Се образи страшнии*; ...*яко годъ есть утрѣнии*; *Годъ бытъ вечерѣнии*; *И пакы мнози будутъ послѣдѣнии* ибо си и *послѣдѣнии*; *Онъ же иже по истинѣ теплыи* душею на бѣжю любовь в Усп. сб. Эти факты очень важны, поскольку по происхождению членные формы в функции предиката были недопустимы и их появление в этой синтаксической позиции может быть объяснено только утратой первоначальных различий в грамматической семантике тех и других форм¹.

Местоименные флексии служили также морфологическим средством субстантивации прилагательных: *Жаляху по немь... добрии а злии* радовахоуся в Новг. лет.; *Пакы ветхая* мимо идоша. и се быша *новая* в Лавр. лет.; *Правии* у того возметъ в Ряз. гр. 1381. Любопытно, что при субстантивации местоименную форму приобретают даже притяжательные прилагательные, для которых она в определительной функции нехарактерна. Подобные примеры неоднократно встречаются в Лаврентьевской летописи: *Всеволожая* же и митрополитъ придоста [имеется в виду княгиня — Всеволодова жена; ср. в определительной функции: *с(ы)на Ярослава* внука Всеволожа]; *Преставися Володимеря*; И *С(вя)тополчая* преставися. Под влиянием такого употребления в том же тексте попадают и местоименные формы при существительном: *Преставися княгыни* Изяслава.

§ 136. Лексико-семантическая классификация прилагательных на качественные (указывающие на признак как таковой), относительные (указывающие на признак, вытекающий из отношения к чему-то) и притяжательные (указываю-

¹ См.: Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков, Простое предложение, М., 1977, разд. «Согласованное определение».

щие на принадлежность) в системе древнерусского языка находят соответствие и в формально-грамматических различиях этих трех разрядов прилагательных. При этом относительные прилагательные и в плане их общего лексического значения, и в грамматическом отношении занимают как бы промежуточное положение между качественными и притяжательными прилагательными.

Как и качественные, относительные прилагательные указывают на признак, воспринимаемый органами чувств или познаваемый в результате чувственного восприятия (ср.: *красный, длинный, высокий — железный, бородатый, речной*), и это отражается в постоянном пополнении разряда качественных прилагательных за счет относительных. С другой стороны, в плане общей лексической семантики притяжательные прилагательные связаны с относительными, поскольку принадлежность — частный случай отношения. И это, в свою очередь, отражается в переходе притяжательных прилагательных в относительные, если значение принадлежности теряет индивидуальную соотнесенность; ср.: *медвежий* — 'свойственный или даже принадлежащий медведям (а не конкретному медведю)'. В плане грамматическом притяжательные прилагательные в системе древнерусского языка противопоставлены качественным и относительным отсутствием местоименных форм (в случаях субстантивации мы уже имеем дело не с прилагательными, а с существительными); качественные же прилагательные противопоставлены относительным и притяжательным способностью образовывать формы сравнительной степени.

Признак, обозначаемый качественным прилагательным, может проявляться в большей или меньшей степени¹, в связи с чем в речи нередко возникает необходимость указания на степень интенсивности качественного признака. Не всегда эта необходимость находит в системе языка специализированные морфологические способы выражения. Например, древнерусские тексты, подобно старославянским, обнаруживают отсутствие универсальной формы выражения высшей степени проявления признака: соответствующее значение передается различными способами — либо присоединением к формам положительной или сравнительной степени приставки *пръ-* (*пръдобръ* — 'очень, самый добрый') или *наи-* (*наидобръе*), либо описательно — с помощью наречий *зъло, вельми, весьма* и др. (*зъло добръ, вельми мудръ*); с XVII в. в северновеликорусских текстах встречается в этой функции слово *очунь*.

Указание на большую или меньшую степень интенсивности признака осуществлялось в древнерусском языке специальными формами с р а в н и т е л ь н о й с т е п е н и. Формы сравнитель-

¹ Имеется небольшая группа прилагательных, по образованию не связанных с названиями предметов или действий, отношением к которым определялись бы обозначаемые ими признаки, в связи с чем их принято включать в разряд качественных, хотя обозначаемые ими признаки и не могут иметь разной степени проявления. В системе современного языка генетическая общность этой группы прилагательных с качественными отражается в наличии у них «краткой» формы. *бос-ой, глух-ой, крив-ой, наг-ой, слеп-ой, хром-ой* и др.

ной степени по образованию были праславянскими (следовательно, теми же, что и в старославянском языке), сформировавшимися задолго до активизации фонетических процессов переходного смягчения согласных и до начала процесса морфологической дифференциации имен. Последнее отражается в образовании форм сравнительной степени исконно качественных прилагательных от основ, общих с существительными, в тех случаях, когда в процессе дифференциации имен эти прилагательные получили специализированный суффикс *-к-* с распространителями. Например: сущ. *низъ*, прил. *низъкъ*, сравн. степ. от основы *низ-* — *ниже*; сущ. *высъ*, прил. *высокъ*, сравн. степ. от основы *выс-* — *выше*.

Памятники древнерусского языка знают формы сравнительной степени, образованные посредством суффикса **-jъs* (с чередованием **-jes* в форме среднего рода), присоединявшегося непосредственно к основе положительной степени [в этом случае с чередованием конечного согласного основы: *хужи(и)* или *хуже* — из **xid-jъs* или **xid-jes*] или посредством соединительного *-ѣ-* < **-ē-* (типа *новъи* < **nov-ě-jъs* — *новъе* < **nov-ě-jes* или *кръпъчъаи* < **krěpъk-ě-jis* — *кръпъчъае* < **krěpъk-ě-jes*, где [ч'а] < **č'ě* < **kě*), и склонявшиеся с отражением именного распространителя *-j-* в формах косвенных падежей (**И** ед. ч. муж. р. *хужи(и)*, *новъи*, *кръпъчъаи*; **Р** *хужъишъа*, *новъишъа*, *кръпъчъаишъа*). Некоторые прилагательные имели супплетивные формы сравнительной степени: *великъ* — *болъи*, *болъе*, *болъишъи*; *малъ* — *мънъи*, *мънъе*, *мънъишъи*.

Формы сравнительной степени не являются частотными. Однако памятники все же отражают первоначальное изменение этих форм как по именному, так и по местоименному склонению, которое образовывалось так же, как и у форм положительной степени, но с отражением особенностей склонения именных форм сравнительной степени. Например (по типу существительных, исторически связанных с основами на **-jъ* для мужского и среднего рода и на **-jā* для женского рода):

Число, падеж	Мужской род	Средний род	Женский род
Ед. ч. И Р Д	<i>хужъи(и)</i> , <i>новъи</i>	<i>хужъе</i> , <i>новъе</i>	<i>хужъишъи</i> , <i>новъишъи</i>
	<i>хужъишъя</i> , <i>новъишъя</i>		<i>хужъишъь</i> , <i>новъишъь</i>
	<i>хужъишъю</i> , <i>новъишъю</i>		<i>хужъишъи</i> , <i>новъишъи</i>
Мн. ч. И Д М	<i>хужъишъе</i> , <i>новъишъе</i>	<i>хужъишъя</i> , <i>новъишъя</i>	<i>хужъишъь</i> , <i>новъишъь</i>
	<i>хужъишъемъ</i> , <i>новъишъемъ</i>		<i>хужъишъамъ</i> , <i>новъишъямъ</i>
	<i>хужъишъихъ</i> , <i>новъишъихъ</i>		<i>хужъишъяхъ</i> , <i>новъишъяхъ</i>

Соответственно образовывались и членные формы, выравнивавшиеся по образцу местоименного склонения прилагательных:

Число, падеж	Мужской род	Средний род	Женский род
Ед. ч. Р Д	<i>хуж-ьш-его, нов-тъиш-его</i> <i>хуж-ьш-ему, нов-тъиш-ему</i>		<i>нов-тъиш-еть</i> <i>нов-тъиш-ей</i>
Мн. ч. И В Р Д	<i>хуж-ьш-ей,</i> <i>нов-ейш-ей</i> <i>хуж-ьш-тъть,</i> <i>нов-ейш-тъть</i> <i>хуж-ьш-иихъ (хуж-ьш-ихъ), нов-тъиш-иихъ (нов-тъиш-ихъ)</i> <i>хуж-ьш-имъ (хуж-ьш-имъ), нов-тъиш-имъ (нов-тъиш-имъ) и т. д.</i>	<i>нов-тъиш-яя</i>	<i>нов-тъиш-тъть</i>

ИСТОРИЯ ИМЕННЫХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 137. Сопоставление современного (литературного) употребления именных форм с той системой форм прилагательных, которая восстанавливается для древнерусского языка, обнаруживает разные направления исторического изменения именных форм для разных разрядов прилагательных. Эти формы полностью утрачены относительными прилагательными. Притяжательные прилагательные, напротив, до настоящего времени в разных синтаксических функциях используют именные формы, которые в одних образованиях лишь в самое последнее время получают местоименные варианты (ср.: *сестрин-ого* — *сестрин-а*, *сестрин-ому* — *сестрин-у*), а в других образованиях продолжают оставаться единственно возможными: *отцов-а*, *отцов-у*. Наконец, в разряде качественных прилагательных отражается функциональная дифференциация тех и других форм: именные формы сохраняются только в функции сказуемого (следовательно, только в **И**), в то время как местоименные формы оказываются единственно возможными в качестве определений, следовательно, употребляются во всех падежах и числах, а потому на функциональном уровне, как более регулярные, приобретают статус основных, между тем как именные формы на их фоне начинают восприниматься как «производные» — неполные, образованные от местоименных.

Предполагаемое исходное различие семантики именных и членных форм хорошо согласуется с формальной историей **к а ч е с т в е н н ы х** прилагательных. Если признать первоначальное противопоставление именных и членных форм как «неопределенных» (именные) и подчеркивающих известность признака (членные), то естественно, что последние могли употребляться только в функции определения, ибо сказуемое — это всегда новое в высказывании, следовательно, в функции сказуемого членная форма была невозможна. Поскольку в речи употребление согласованного определения, как правило, вызывается необходимостью охарактеризовать предмет по признаку, известному собеседнику (с целью его выделения, уточнения), членная форма должна предполагаться как более

регулярная в атрибутивной позиции. Постепенное стирание первоначальных различий в морфологическом значении тех и других форм должно было иметь следствием их узуальную дифференциацию: членная (местоименная) форма закрепляется как специфически атрибутивная, вытесняя в этой функции именную, сохраняющуюся только в функции сказуемого, следовательно, только в форме **И** всех родов и чисел (коль скоро подлежащее, с которым она всегда согласована, может быть выражено именем любого рода и в форме любого числа, но только в **И**). Отсутствие именных флексий в косвенных падежах — характерная особенность словоизменения качественных прилагательных в русском языке, как литературном, так и в говорах.

В косвенных падежах именную (по происхождению) форму можно встретить лишь в устойчивых словосочетаниях, функционирующих с обстоятельственным значением, типа *на босу ногу, по белу свету*; то же и в **И** в определительной функции: *сыр бор (разгорелся)*. Согласованные определения в именной форме нередки в поэтической речи XVIII — начала XIX в. (*Героев слышу весел крик* у Ломоносова); но здесь они являются элементами высокого «штиля», т. е. явно книжно-славянскими по происхождению, не отражающими особенностей живой речи. Впрочем, в поэтическом языке чаще встречаются не именные, а так называемые *у с е ч е н н ы е* формы — искусственные книжные образования **И** и **В** разных родов и чисел, стилизованные под именные формы как приметы приподнятого (высокого) стиля: *Так сильну он вносил десницу* у Ломоносова; *Он пел... и нечто и туманну даль*; *Пред ними мрачна степь лежит* у Пушкина (ср. у Лермонтова именную форму в предикативной функции: *Душа моя мрачна*).

В говорах в **И**, **В** встречаются с т я ж е н н ы е формы, внешне похожие на именные, но в действительности входящие в местоименную парадигму.

При критическом подходе к показаниям древних текстов можно заметить, что рассматриваемый процесс начался еще в дописьменный период и в древнерусскую эпоху функциональное распределение именных и членных форм качественных прилагательных, видимо, уже было близко тому, что обнаруживается в настоящее время. Такой вывод подсказывается не только преимущественным употреблением местоименных форм в определительной функции в древнерусских памятниках (они составляют до 75 % всех согласованных определений, а в разряде качественных прилагательных этот процент значительно выше)¹, но и наличием почти исключительно местоименных форм в этой функции в деловых и бытовых памятниках. Так, в частных письмах на бересте именные формы прилагательных практически отсутствуют; вообще в грамотах они отмечаются исключительно в устойчивых конструкциях с терминологическим значением, в которых встречаются вплоть до XVII в. (как правило, в **В** и **И** и всегда в постпозиции): *взяли... жеребец гнѣд, мерин каур, кобылу чалу, мерин рыж; принёс... шубу отлас синь; сапоги сафьяны черлены; прислал бобрѣ карь*. Об очень ранней утрате семантических различий между именными и членными формами свидетельствуют и приведенные выше примеры местоименных

¹ По наблюдениям П. С. Кузнецова, в Смоленской грамоте 1229 г. согласованные определения в 113 случаях выражены местоименными формами, а именными — лишь в 7 случаях, часть из которых — не качественные прилагательные (например: *княжю хълопу*).

форм в функции сказуемого в древнерусских текстах: зафиксированные не только в деловых, но и в книжно-литературных памятниках, сохраняющих церковнославянские нормы, подобные факты возможны лишь в том случае, если в языковом сознании пишущих местоименные формы уже оценивались как обычные, «исходные» в парадигме качественных прилагательных.

Изложенная схема «функционального распределения» именных и местоименных форм неприменима к истории относительных и притяжательных прилагательных, ибо они не отражают предполагаемых различий в грамматическом значении форм без члена и с членом.

Для объяснения своеобразия формальной истории относительных прилагательных, видимо, целесообразно обратить внимание на то, что отмеченные в древних памятниках именные формы этого разряда прилагательных, как правило, связаны с книжно-литературными текстами и могут быть интерпретированы в плане отражения церковнославянских норм. В этом случае необходимо предположить, что нормы употребления форм относительных прилагательных в живой речи не совпадали полностью с теми, что сохранили нам древние литературные памятники.

Развитие языка связано с его функционированием как средства живого общения; между тем надо заметить, что в обиходно-разговорной речи (в отличие от книжно-письменной) употребление относительных прилагательных в функции сказуемого — явление редкое. Так, если целью является сообщение, например, о материале, то обычно говорят: *из камня, (покрыто) соломой* и т. д.; а прилагательные *каменный, соломенный* в диалоге используются как определения, выделяющие уже известный или воспринимаемый признак. С учетом этой особенности функционирования относительных прилагательных в речи утрата ими именных форм за счет распространения членных (местоименных) образований должна быть отнесена ко времени, когда различия в грамматическом значении тех и других форм еще отчетливо ощущались носителями языка. В силу нерегулярности употребления относительных прилагательных в функции сказуемого, они могли утратить именные формы (единственно возможные в предикативной функции) до их синтаксической специализации, противопоставившей именные формы местоименным как специфически атрибутивным, а потому и более характерным для относительных прилагательных. Высказанное предположение опирается не только на наблюдения над особенностями современной диалогической речи, но и на тот факт, что в древнерусских текстах, противопоставленных по языку книжно-славянским (т. е. в грамотах и частных письмах, включая берестяные), относительные прилагательные (не субстантивированные) в функции сказуемого — явление необычное.

Длительное сохранение именного словоизменения притяжательными и прилагательными следует, видимо, связывать с их общей лексической семантикой, из-за чего они не приобретали членных форм в период их семантической противопоставленности

именным формам и, следовательно, не имели традиции использования местоименных форм ко времени синтаксической дифференциации именных и членных (местоименных) образований. Речь идет о том, что принадлежность — признак, не воспринимаемый органами чувств, а потому при указании на нее в эпоху формирования членных форм с их значением актуализации известности (может быть, «очевидности») признака член был не нужен, не использовался даже при определении. Следовательно, ко времени функциональной дифференциации именных и местоименных образований не могло существовать традиции употребления местоименных (генетически членных) форм притяжательных прилагательных в функции определения (тем более сказуемого).

В последующей истории русского языка притяжательные прилагательные сохраняли именные формы словоизменения, не зависевшие от синтаксической функции. И лишь в относительно новое время, когда местоименные формы на синхроническом уровне стали восприниматься как специфические для прилагательного как части речи (как основные, «полные»), они стали вторгаться и в разряд притяжательных прилагательных. «Слабым» звеном здесь оказались притяжательные образования от названий животных, постоянно теряющие значение индивидуальной принадлежности за счет развития значения отношения к роду, т. е. прилагательные типа *лисий, медвежий*: сближение их семантики с общим значением относительных прилагательных неизбежно влекло за собой приобретение ими флексий местоименного словоизменения, характерного для относительных прилагательных (*лисьего, лисьему* и т. д.). Впрочем, в **И-В** (для женского рода в **И** и **В**), которые постоянно выступают в предикативной (или полупредикативной, как в **В**) функции, они сохранили именную форму: *лисье, лисья, лисью, лисьи*. Форма мужского рода не составляет исключения, ибо по морфологическому своему составу *лисий* — форма именная (ср.: *ли[с'j-a]*, *ли[с'j-y]* и *ли[с'ьj-ø]*, как *про[ч'н-a]* и *про[ч'ьн-ø]* — с беглым гласным в суффиксе). В новое время местоименные флексии, как специфические для прилагательных вообще, начинают проникать и в словоизменение остальных притяжательных образований, вытесняя именные (*об отцов-ом, о сестрин-ом*, как *о нов-ом*) или вступая с ними в «конкурирующие» отношения (ср.: *сестрин-а — сестрин-ого, сестрин-у — сестрин-ому*). Внутри именной парадигмы звеном, способствовавшим распространению местоименных флексий, были формы **Т** ед. ч., где флексия женского рода была той же, что и в местоименном склонении (ср.: *жен-ою — нов-ою, т-ою*), а флексия мужского и среднего рода характеризовалась общим формантом *-м(ь)* (ср.: *стол-ом < стол-ѣмь — нов-ым < нов-ыишь, т-ем < т-ишь*). Естественно, что местоименная флексия в **Т** притяжательных прилагательных встречается уже в памятниках позднего древнерусского периода. Так, П. С. Кузнецов заметил, что в грамоте рижских ратманов в Витебск (ок. 1298 г.), употребляющей обычно притяжательные прилагательные с именными флексиями, в **Т** муж. р. оказывается местоименная флексия: *со розбоиникозыишь*

товаромъ (здесь же в других падежах: *у розбоиникову клеть, у розбоиникове клетки*).

В формах косвенных падежей множественного числа притяжательные прилагательные именных флексий не сохранили, заменив их местоименными: **Р** *отцов-ых*; **Д** *отцов-ым*; **Т** *отцов-ыми* (как *новых, новым, новыми*). Проследить этот процесс на конкретном материале невозможно, поскольку в памятниках формы множественного числа притяжательных прилагательных почти не встречаются. Однако морфологические условия процесса очевидны: в нем отразилась общая тенденция нивелировки родовых различий во множественном числе адъективного склонения, реализации которой способствовало единство падежных формантов именных и местоименных флексий во множественном числе [ср.: *-а-м(ѣ), -о-м(ѣ) — -(ѣ)и-м(ѣ)*; *-а-ми — -(ѣ)и-ми*; *-а-х(ѣ), -ѣ-х(ѣ) — -(ѣ)и-х(ѣ)*] и вычленение форманта *-ѣ/-'и* как внеродового числового показателя в **И** мн. ч. именного склонения.

§ 138. В истории именных форм проблема нивелировки родовых различий во множественном числе представляет особый интерес¹; причем касается эта проблема лишь **И** (и **В**), коль скоро формы косвенных падежей именного склонения прилагательных не сохранились.

В **И** мн. ч. (как и в **В**) в именном склонении последовательно различались формы всех родов: муж. р. *нов-и, отцев-и, син-и*; жен. р. *нов-ы, отцев-ы, син-ѣ*; ср. р. *нов-а, отцев-а, син-я*. Процесс утраты родовых различий во множественном числе в склонении существительных не мог не распространиться и на формы словоизменения согласуемых слов — прилагательных, которые, по существу, и являлись формальными выразителями рода существительных. Естественно поэтому ожидать, что унифицированный показатель **И** (и **В**) мн. ч. *-ѣ/-'и*, оформившийся в склонении существительных, должен был распространиться и на именную форму прилагательных, что и отражено в системе литературного языка: *нов-ы, отцов-ы — си[н'-и], ли[с'ј-и]* (как *столы, жены — ко[н'-и], зем[л'-и]*). Во всех великорусских говорах эта обобщенная флексия характеризует форму **И** мн. ч. притяжательных и большинства качественных прилагательных; она обычна в нелитературных великорусских текстах XVI — XVII вв., указывая тем самым, что ко времени формирования национальных языковых норм характерная для современного языка система именного словоизменения прилагательных уже стабилизировалась.

Некоторые качественные прилагательные в предикативной функции в московских текстах делового и бытового характера довольно регулярно встречаются в форме **И** мн. ч. с флексией *-и*, присоединяемой к основам, в формах единственного числа не характеризую-

¹ Формы двойственного числа в плане исторической грамматики интереса не представляют, ибо судьба их, как форм согласуемых, была предопределена разрушением самой категории двойственного числа, а в литературных текстах XIV — XVII вв. они встречаются как формы, принадлежащие системе книжно-славянского (церковнославянского) языка.

щихся конечным мягким согласным. П. Я. Черных указал на такие формы в текстах московского происхождения середины и второй половины XVII в.: *государя ради, братия пьяни, они... прости* в «Книге о ратном строении»; *поймани... пьяни* в «Уложении» 1649 г.; *прислать гусей, которые сыти* в частном письме царя Алексея Михайловича. В начале XIX в. такие формы встречаются у Пушкина: *Взять тебя мы все бы ради* и Лермонтова: *И три дня были пьяни*. На то, что формы эти были характерны для живой русской речи, указывают данные лингвистической географии: флексия *-и* для определенной группы прилагательных (*виновати, ради, пьяни, сыти* и др.) зафиксирована на огромной территории распространения южновеликорусских говоров (кроме пограничных с белорусскими) и в говорах вокруг Москвы — вплоть до Волги (от Калинина до Ярославля). В том, что флексия эта исторически восходит к форме **И** мн. ч. муж. р., сомневаться не приходится. Однако следует подчеркнуть, что в современном употреблении (как, видимо, и в XVI — XVII вв.) она не является родовой, а так же, как и *-ы* в системе литературного языка, указывает только на множественное число.

Круг прилагательных, обобщивших в **И** мн. ч. флексию *-и*, подсказывает причины этого явления, как будто выпадающего из системы именного словоизменения: все это слова, закрепившиеся в предикативной функции со значением **с о с т о я н и я** (а не качественного признака), в силу чего они оказались оторванными от словоизменительной парадигмы собственно прилагательных¹. А то, что они закрепили во множественном числе бывшую форму мужского рода, естественно, ибо, обозначая состояние, они функционируют только при названиях **ж и в ы х с у щ е с т в**, между тем как эти названия при указании на множество (если нет необходимости в специальном подчеркивании «однополости» этого множества) употребляются в форме исторически мужского рода (*студент — студент-к-а — студент-ы, учитель — учитель-ниц-а — учител-я, гусь — гус-ын-я — гус-и*). При этом как предикативы названия состояний в **В** (где в мужском роде, как и в женском, было *виноваты, рады*) не употреблялись.

Отсутствие форм типа *виновати, ради, сыти* в литературном языке и в большинстве говоров является результатом морфологического обобщения показателей числа в именном склонении: *рад — рад-а — рад-ы* (как *стол — стол-ы, сестр-а — сестр-ы*); формы среднего рода типа *радо, сыто* допускаются системой языка, но почти не встречаются в речевой практике, коль скоро речь идет об обозначении состояния живых существ.

¹ Некоторые из слов этой группы уже не воспринимаются носителями языка как прилагательные: *должен — должны* (ср. книжн. *должный*), *рад — рады* и др. Другие, правда, соотносятся с реально существующими «полными» прилагательными, но отличаются от них по значению; ср.: *виноват(ы)* — как характеристика состояния лица по совершенному им действию (*виноват в чем-либо*) и *виноватый* — как характеристика внешнего, воспринимаемого признака (*виноватый вид*),

§ 139. Формирование местоименного склонения как словоизменительной парадигмы согласуемых слов (т. е. не только прилагательных и причастий, но и неличных местоимений), начавшееся еще в древнерусскую эпоху, активно продолжалось в восточнославянских диалектах и после распада древнерусского единства. И если на раннем этапе этот процесс находит отражение в воздействии форм неличных местоимений на формы прилагательных в единственном числе (ср.: *нов-ого*, как *т-ого*, вм. *нов-аго* < *нов-аего*; *нов-ому*, как *т-ому*, вм. *нов-уму* < *нов-уему*), то в дальнейшем в говорах русского языка обнаруживается обратное явление — воздействие форм прилагательных во множественном числе на формы неличных местоимений: под влиянием форм *нов-ых* < *нов-ыхъ* — *ин-ых*, *так-их* [вм. *ин-ьх(ъ)*, *тац-ьх(ъ)*]; под влиянием форм *нов-ыми* < *нов-ыми* — *ин-ыми*, *так-ими* (вм. *ин-ьми*, *тац-ьми*). О времени и условиях проникновения таких форм в склонение неличных местоимений будет говориться в главе о местоимениях; в данном же случае представляет интерес вопрос о том, что могло способствовать стабилизации именно этих форм в склонении прилагательных.

Здесь следует предположить очень раннее начало процесса слияния члена с именной формой прилагательного в целостную, нечленимую форму. В самом деле: если в единственном числе встречающиеся в старославянских и ранних церковнославянских памятниках формы типа *новаего*, *новуему*, *новыиъ* можно интерпретировать как именные формы с членом, т. е. как *нова его*, *нову ему*, *новыи еъ*, то во множественном числе форм типа *новомъ имъ* или *новами ими* не встречается: зафиксированы только формы, в которых предполагаемая «граница» именной флексии и члена обобщена, т. е. для всех родов только **Р-М** *нов-ыхъ*; **Д** *нов-ыхъ-мъ*; **Т** *нов-ыхъ-ми*. Конечно, если эти формы рассматривать изолированно друг от друга, то и здесь (как в единственном числе) можно видеть в **Р** форму *нов[ѣ]ихъ* < *новъ* + *ихъ*, а в **Т** только форму мужского и среднего (но не женского) рода *новы* + *ими*. Но такой взгляд на эти формы, скорее, подсказывает источник обобщения и не отражает реального морфологического членения форм периода старейших славянских памятников, ибо если в *новыхъ* или *новыми* ранних текстов видеть именную форму с членом, то последовательное употребление рядом с ними форм *новыхъ* (а не *новъхъ ихъ* и *новахъ ихъ* в **М**), *новымъ* (а не *новомъ имъ* и *новамъ имъ* в **Д**) и *новыми* (а не *новы ими* и *новами ими* в **Т**) окажется необъяснимым. С учетом всей членной парадигмы прилагательных можно утверждать, что слияние члена с именной формой на уровне плана содержания (т. е. восприятие членной формы как цельной, противопоставленной именной форме, но не членимой на именную и член) относится ко времени до создания старейших славянских текстов, может быть, даже является по времени процессом праславянским. Именно он и обусловил возможность обобщения флексий в формах косвенных падежей множе-

ственного числа, где местоимения не знали родовых форм и где, следовательно, член в одном и том же падеже выступал с одной и той же флексией при разных родовых именных формах: *Д новомъ-имѣ, новамъ-имѣ; Т новы-ими, новами-ими* и т. д.

Итак, морфологическая неразложимость членной формы создавала возможность для развития обобщенных внеродовых форм в косвенных падежах множественного числа членных прилагательных (т. е. так же, как и в склонении неличных местоимений) в период, предшествующий появлению старейших славянских памятников письменности: грамматическая система старославянского языка зафиксировала не формы с членом, а целостные членные формы прилагательных, противопоставленные именным по набору флексий и по синтаксическим функциям. Иллюзия «членности» (а некоторые старославянские памятники совершенно определенно отражают в членных формах *нов[а-jelgo, нов[у-jelmu* и т. д.) создается из-за того, что морфологическая тенденция до какого-то времени не находила возможности для ее реализации на уровне плана выражения. Возможность эта появляется в период, когда происходит утрата интервокального *-j-*, повлекшая за собой ассимиляцию и стяжение соседних гласных. Это собственно фонетическое по своей природе изменение проявилось относительно поздно: в течение длительного времени славянские диалекты не допускали соседства гласных и обычно развивали (а не утрачивали) между ними *-j-*. О позднем характере этого фонетического изменения говорит и то, что его результаты, даже во флексиях прилагательных, оказались неодинаковыми в разных славянских диалектах. Вместе с тем факт длительного сохранения во флексиях прилагательных во множественном числе написаний *-ыи/-ии* (без отражения стяжения гласных) также указывает на то, что в произношении, по крайней мере в период сложения книжно-письменных норм, здесь должен был присутствовать *-j-*, т. е. [ыji] или [иji].

Утрата интервокального *-j-* и стяжение гласных по времени совпали с активизацией общей морфологической тенденции в развитии словоизменения имен — утратой родовых различий во множественном числе. На фоне этой тенденции появление флексий *-ых/-их, -ым/-им, -ыми/-ими* создавало благоприятные условия для вычленения обобщенного числового показателя (со значением множественности) *-ы/-'и-*, приобретающего статус формообразующего (ср. в § 128 замечания о тенденции к вычленению формообразующего аффикса *-а-* как показателя множественности в истории именного склонения): *нов-ы-х, син-и-х; нов-ы-м, син-и-м; нов-ы-ми, син-и-ми*. Именно в ходе этого процесса и происходит стабилизация в качестве обобщенного (внеродового) выразителя значения **И-В** мн. ч. флексии *-ые/-'ие* (<*-ыть/-ить*), кстати сказать, наиболее частотной из флексий **И-В** разных родов, так как до утраты родовых форм во множественном числе местоименного склонения прилагательных она функционировала со значениями **И-В** жен. р. и **В** муж. р.

Судя по показаниям памятников письменности, процесс утраты родовых форм в **И-В** мн. ч. в местоименном склонении прилагатель-

ных происходил не позднее XIV — XV вв.; к XVI в. деловые тексты Московской Руси (противопоставленные церковно-книжным по многим языковым особенностям) довольно последовательно отражают унифицированную словоизменительную парадигму прилагательных во множественном числе с новым аффиксом *-ы/-'и-*, противопоставляющим формообразующую основу множественного числа основе единственного числа:

И-В *нов-ы-е, син-и-е*
Р-М *нов-ы-х, син-и-х*

Д *нов-ы-м, син-и-м*
Т *нов-ы-ми, син-и-ми*

Впрочем, в говорах на территории формирования великорусского языка этот процесс (как и во многих других случаях) мог завершиться ранее, чем он получил отражение в письменности. В частных письмах на бересте из Новгорода унифицированные местоименные флексии обычны в формах множественного числа притяжательных прилагательных, которые в единственном числе продолжают использовать именные флексии (кроме **Т**): *с Офлемовими людми* (вт. пол. XIII в.); *оу Кануниковыхо* (сер. XIV в.); *у Чупровыхо, на тых жь Конев-ыхъ водахъ* (нач. XV в.). то же в исследованных А. А. Шахматовым двинских грамотах XV в. В склонении притяжательных прилагательных унифицированные местоименные флексии не могли появиться ранее того, как они стабилизировались в склонении качественных и относительных прилагательных с обобщенным формообразующим аффиксом *-ы/-'и-* как показателем числового значения.

Характерное для многих северновеликорусских говоров совпадение форм **Д**, **Т** мн. ч. (типа *к, за нсв-ым изб-ам*) не требует специального рассмотрения, так как развивалось это явление параллельно однозначным формам именного склонения, как и реже встречающиеся формы **Т** с флексией *-ы/и-ма* или *-ы/и-мы*.

Отмечаемые в некоторых великорусских говорах (главным образом вдоль границ с центральными) формы типа **Р-М** *нов-ыф, худ-ыф* нельзя не связать с историей усвоения этими говорами фонемы ⟨ф⟩, т. е. с произношением не только *х(в)артук, х(в)онарь, Лома*, но и *офота, фодит, фудой* (= *худой*) и т. д. Однако современные ареалы указанного фонетического и морфологического явлений не совпадают; поэтому закрепление *ф* во флексии местоименной парадигмы приходится предполагать первоначально в **Р** мн. ч., т. е. в сочетаниях типа *новы[х] домо[ф], худы[х] платко[ф]*, где в условиях взаимной мены *х — ф* и могло закрепиться *худы[ф] платко[ф]* и даже *худы[ф] платко[х]*. В старых текстах подобные формы не встречаются.

§ 140. Выше было отмечено, что одним из оснований для предположения об относительно поздней утрате интервокального *-j-* в склонении прилагательных является неодинаковое осуществление этого процесса в разных восточнославянских диалектах. Дело в том, что *-j-* в интервокальной позиции содержался не только в формах косвенных падежей разных чисел, где его утрата с последующим стяжением гласных (имеются в виду формы типа *нов[ajel]go > новаго* или *нов[ыји]хъ > новых*) является общевосточнославянской, но и в местоименных флексиях **И**, **В**: *нов[aja], нов[yju], нов[ojel], нов[ыjě]* и др. Во многих славянских языках, в том числе и в восточнославянских диалектах, в этих флексиях отражен тот же фонетически закономерный процесс: *нов[aja] > новаа > нова, нов[yju] >*

новуу > *нову*, *нов[ојe]* > *нов[оe]* > **новоо* > *ново*. Такие формы (включая и *новаа*, *новоо* — *новее*) известны украинским и граничащим с ними (неакающим) белорусским, а также многим северновеликорусским говорам. То, что в широко распространенных в северновеликорусских говорах сочетаниях типа *но́ва изба*, *но́ву избы* мы имеем дело именно со стяженными (а не именными) флексиями, обнаруживается не только в месте ударения ряда словоформ (именная форма: *изба нова́*, *река велика́*; ср.: *вели́ка река*), но прежде всего в том, что такие формы входят не в именную, а в местоименную парадигму: **И** *но́ва изба*, *ново село*; **Р** *из новой избы*, *из новово села*; **Д** *к новой избе*, *к новому селу* и т. д. (а не **из новы избы*, **нове избе*).

Стяженные флексии в древнерусских и даже более поздних — собственно великорусских — памятниках не встречаются. Это обстоятельство вряд ли можно объяснить только книжно-письменной традицией: в **И**, **В** формы без утраты *-j-* и стяжения гласных сохраняются в акающих (т. е. не только южновеликорусских, но и белорусских) говорах, включая средневеликорусские, на базе которых формировалась система московского просторечия. А о том, что в северновеликорусских говорах утрата интервокального *-j-* и последующее стяжение гласных были процессами собственно фонетическими, свидетельствует наличие стяжения и в других аналогичных фонетических позициях (в частности, в глагольных формах типа *знат* < *зн[ајe]т*, *думут* < *дум[ајy]т*), что является характерной особенностью северновеликорусского наречия. Отсутствие результатов подобного изменения в акающих говорах говорит о том, что оно не могло быть процессом общеславянским, следовательно, в разных славянских языках (и диалектах) осуществлялось после распада праславянского языкового единства.

Во многих южновеликорусских (например, юго-западных) говорах интервокальный *-j-* сохраняется и во флексии **Т** ед. ч. жен. р. *-оју/-еју* (типа *новою хатою*). Отсутствие конечного гласного этой флексии в подавляющем большинстве русских говоров не является результатом фонетических изменений: *-j-* в этой флексии сохраняется повсеместно. А объяснять утрату конечного напряженного (бывшего долгого) [y] как результат редукции невозможно, тем более, что сохранение конечного [y] наблюдается как раз в говорах, для которых редукция заударных гласных обычна; и напротив, в северных говорах, не знающих редукции заударных гласных, в **Т** ед. ч. жен. р. нормальны формы без *-у*: *новой избой*, *ранней весной*.

Судьбу флексии **Т** ед. ч. жен. р., видимо, надо связать с изменением флексии **Р** ед. ч. (др.-русск. *отъ новыѣ/новоеѣ избы*) и искать истоки этого изменения на севере — в говорах, переживших стяжение гласных во флексиях **И**, **В** ед. ч. жен. р. В этом случае представляется перспективным предположение А. А. Шахматова о том, что здесь могло произойти преобразование двусложного окончания в односложное как результат реализации тенденции к выравниванию флексий после фонетических изменений, преобразовавших в остальных падежах местоименного склонения двусложные флексии женского рода в односложные. Дело в том, что в **Д**, **М** ед. ч. жен. р.

флексия после падения редуцированных стала односложной: *нов-ой*, *син-ей*. Именно в северных говорах, переживших стяжение гласных во флексиях **И**, **В**, односложными стали также флексии и в этих падежах. Так могла наметиться тенденция «уравнять» флексии местоименного склонения в единственном числе женского рода, где формы **Р** *нов-оѣ* и **Т** *нов-ою* нарушали «единообразие» падежно-числовых показателей.

Можно утверждать, что «выравнивание» флексий ранее произошло в **Р**. На это указывает и то, что новая флексия в **Р** встречается в частных письмах на бересте конца XIV — начала XV в. из Новгорода (*нимечкоі, истовнои*), в то время как в **Т** старая флексия является единственно возможной вплоть до XVII в. даже в малограмотных текстах; и то, что в **Т** старая флексия в современных говорах охватывает значительно больший ареал, чем в **Р**. Объяснить это можно тем, что в **Т** преобразование флексии «сдерживалось» единством флексий именного и местоименного склонений (*нов-ою изб-ою*). Действительно, в юго-западных великорусских говорах, т. е. на окраине той территории, где новые флексии **Р**, **Т** могли усваиваться в результате междиалектного взаимодействия (или иначе: могли проникнуть из говоров центра, а не развиваться «самостоятельно»), в **Р** известно только *-ой/-ей*, а в **Т** местоименного склонения *-ой/-ей* и *-ою/-ею* сосуществуют, в то время как в именном склонении в тех же говорах фиксируется только *-ою/-ею*.

В результате указанных преобразований в единственном числе женского рода местоименного склонения наметилось (а в большинстве говоров и завершилось) противопоставление флексий прямых падежей (односложных на севере или двусложных в остальных говорах и в системе литературного языка) и обобщенной (синкретической) флексии косвенных падежей, подобно тому как это обнаруживается и в склонении существительных женского рода, определяемых этими формами:

И	<i>нов-а(я),</i>	<i>син-я(я)</i>	ср.: <i>вод-а,</i>	<i>кост(ь)</i>
В	<i>нов-у(ю),</i>	<i>син-ю(ю)</i>	<i>вод у,</i>	<i>кост(ь)</i>
Р-Д-М	<i>нов-ой,</i>	<i>син-ей</i>	<i>вод-е,</i>	<i>кост и</i>
Т	<i>нов-ой(ю),</i>	<i>син-ей(ю)</i>	<i>вод-ои(ю),</i>	<i>кост-ью</i>

§ 141. Специальных замечаний требует история отдельных флексий единственного числа мужского рода, специфичных только для русского языка — даже внутри восточнославянской группы. Это флексии **И** (и **В**) и **Р** (и **В**).

Этимологически в местоименном (членном по происхождению) склонении **И** (и **В**) ед. ч. муж. р. имел флексии [-йъ] или [-'йъ], образовавшиеся из (*нов*)-ъ + *и* или (*син'*)-ь + *и*, где местоименная форма *и* = *йъ*. В подавляющем большинстве славянских языков в этой флексии отражен уже знакомый нам процесс стяжения гласных, обычно связываемый с утратой интервокального *-j-*: *нов-ьш* (где было [йъ]) > *новы* и *син-ш* (где было [йъ]) > *сини* — с гласными [ы, и] полного образования. Процесс этот происходил достаточно рано: он отражен уже старославянскими памятниками, в ко-

Историю флексии **И** ед. ч. муж. р. в разных, по крайней мере восточнославянских, языках невозможно разделить. Именно поэтому трудно признать, что, например, в будущих белорусских говорах в эпоху древнерусского языкового единства произошла утрата *-j-* и стяжение при сохранении интервокального *-j-* в будущих великорусских говорах, т. е. как раз тех, где позднее сильные напряженные редуцированные изменились не в [ы, и]. Более вероятно, что наличие или отсутствие стяженных форм связано с судьбой самих напряженных редуцированных: стяжение произошло после падения редуцированных там, где фонетически окончания преобразовались в [-ии, -и], т. е. в сочетаниях одинаковых по образованию звуков. Иными словами: *нов[ы́й]* > *нов[ыи]* > *новы*, как и *син[и́й]* > *син[ии]* > *сини*, в то время как *нов[ои]* и *син[еи]*, содержавшие во флексии звуки разного образования, сохранились.

Еще более узкой по диалектному распространению является кодифицированная литературным русским языком флексия **Р** ед. ч. муж. и ср. р. с согласным [в].

Общеславянская флексия *-(о)го* варьируется в разных славянских языках на собственно фонетическом уровне — в зависимости от качества звонкой задненёбной согласной фонемы: польск. *-ego*; чешск. и слов. *-eho*; укр. и бел. *-(о)ho*, *-(о)ґа* (при одинаковом обозначении буквой *г*). Во многих южновеликорусских говорах (наиболее последовательно в юго-западных), где звонкая задненёбная фонема является фрикативной, то же: *молод-о́[ґъ]* или *молод-о́[ґа]*, *прéж-лн'-ъґа]* и т. п.; напротив, в отдельных северновеликорусских говорах (преимущественно окраинных), где звонкая задненёбная фонема является взрывной, — *молод-о́[го]*, *прéжн-е[го]*. Так же оформляется окончание и в старейших славянских текстах, как старославянских, так и древнерусских, что (как книжно-письменная традиция) закреплено и в современной русской орфографии: *молодого*, *нового*, *прежнего*. Все это не оставляет сомнения в том, что любое иное оформление флексии **Р** ед. ч. должно рассматриваться как результат исторического преобразования первоначального (праславянского) *-о/его*, по происхождению связанного со склонением неличных местоимений (*т-ого*, *наш-его*), но в памятниках письменности впервые нарушаемого в местоименных формах прилагательных.

Данные лингвистической географии достаточно определенно указывают на то, что флексия *-(о)во* по своему происхождению и первоначальному распространению является чертой узкодиалектной. И если впоследствии эта черта оказалась общенациональной, то лишь потому, что характеризовала говоры великорусского центра, с одной стороны, служившие базой кодификации норм национального русского языка, с другой стороны, являвшиеся наиболее престижными в процессе междиалектного взаимодействия, сопровождавшего формирование великорусской народности и обособление великорусов от белорусов и украинцев. На лингвистической карте, в частности, хорошо видно, как ареал флексии *-(о)во*, целиком охватывая великорусский центр, мощным «клином» вторгается на

юг (за Оку — через Тулу вплоть до Орла и Курска), оттесняя на окраины говоры, сохраняющие флексию *-(o)γo*¹. Сходная картина наблюдается и на севере, где, как отмечает Ф. П. Филин, как бы «ступенями» в сторону от великорусского центра располагаются варианты флексии *-o/evo* (и *-o/eва*), *-oo*, *-o/eγo* (с [γ], не соответствующим качеству задненёбной звонкой согласной фонемы в данных говорах) и, наконец, *-o/ego*². Этот ряд фактов недвусмысленно указывает на собственно фонетические условия появления [в] на месте [г] в рассматриваемой флексии.

Идея о фонетических причинах развития флексии *-(o)vo*, высказанная еще в прошлом столетии, не раз подвергалась сомнениям в связи с трудностями, которые возникают в исторической интерпретации этого процесса. Было обращено, в частности, внимание на то, что подобного изменения не наблюдается в достаточно многочисленных формах типа *дорого*, *строго*, где собственно фонетические условия те же, что и в *молод-ого* или *нов-ого*. Это возражение не учитывает взаимоотношений между явлениями фонетическими и морфологическими, ибо формы типа *строго* входят в парадигму, не содержащую рассматриваемых фонетических условий (*строг-о*, *строг-а*, *строг-ие*, *строж-е* и т. д.) и обеспечивающую прочную основу для аналогического сохранения задненёбного в основе. В тех же немногочисленных случаях, где парадигматических условий для аналогии нет, северновеликорусские говоры обнаруживают колебания в произношении согласных [г — γ — в] в сходной фонетической позиции: во многих северных говорах, знающих флексию *-ovo*, зафиксированы, с одной стороны, *повост* и *поγост* (наряду с *погост*), с другой — *корогод* и *короγод* (наряду с *хоровод* и *коровод*).

Действительной проблемой при фонетической интерпретации развития *-o/evo* является объяснение причин появления в этой флексии фрикативного [γ] в говорах, обычно знающих лишь смычной [г].

Вывод о первоначально диалектном, узколокальном употреблении *-o/evo* подсказывает, что памятники письменности при объяснении происхождения этой флексии могут служить лишь вспомогательным материалом: в подобных случаях новообразование проникает в письменные тексты лишь тогда, когда получает достаточно широкое распространение или приобретает социально-языковой престиж. И действительно, очень многие тексты вплоть до XVII в. почти не дают примеров с *-o/evo*, даже если они написаны на территории, где в повседневной речи это окончание уже было обычным. Вместе с тем представляется естественным, что старейшие примеры употребления флексии с *в* отмечены в памятниках не ранее XV в., преимущественно московского происхождения: *третьево*, *другово*, *белово*, *великово Новагоро(да)* в московских грамотах; с *Новагорода* с *великово*, *тысяцково*, *литовъсково*, *поганово* в Моск. лет. Примеры немосковского происхождения редки: *великово Новагорода*, *убоговъ* в Пр.; однако в других новгородских текстах, включая не только местные списки летописи, но и берестяные грамоты, а также в двинских грамотах XV в., связанных с территорией древней новгородской колонизации, таких примеров нет.

¹ См.: *Русская диалектология* /Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой, с. 253.

² См.: *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков, с. 411—419.

Еще в прошлом столетии М. А. Колосовым было высказано (поддержанное затем многими исследователями) предположение, что [в] в местоименной флексии мог появиться фонетически в тех говорах с [г], в которых в интервокальном положении стал произноситься [ʏ]. Не свойственный фонетической системе таких говоров фрикативный задненёбный согласный должен был утрачиваться, создавая зияние — сочетание *oo*, которое и ликвидировалось развитием лабиального [в], что в диалектной речи обычно в такой фонетической позиции (ср. повсеместное произношение с [в] иноязычных по происхождению имен типа *Левонтей* вм. *Леонтий*). Наличие на севере (т. е. в ареале [г]) говоров, знающих флексии *-oʏo* и *-oo*, воспринимается как фактическое подтверждение предполагаемого направления в развитии *-ovo* < *-ogo* (через ступень *-oʏo* > *-oo*)¹. Что касается причины появления [ʏ] на месте [г], то традиционная гипотеза связывает этот процесс с ослаблением артикуляции смычного задненёбного в интервокальной позиции, если в этот процесс не вмешивались аналогические связи (ср. замечания о сохранении [г] в случаях типа *строг-о* и о вариантности произношения в северных говорах слов типа *погост* — *поʏост* — *повост*, *корогод* — *короʏод* — *коровод*).

Время изменения [г > ʏ] в интервокальной позиции в северно-восточнославянской диалектной речи установить трудно, как и первоначальный район этого изменения. Тот факт, что реликты флексии *-ogo* (с сохранением [г]) обнаруживаются на северной окраине старейших восточнославянских поселений (в Заонежье, в отдельных говорах Архангельской и Вологодской областей), как будто указывает на древнерусский северо-восток как очаг формирования флексии *-ovo/-evo*. Может быть, поэтому из числа старейших наиболее многочисленными оказываются случаи употребления *-ovo/-evo* именно в московских памятниках (кстати, в Лаврентьевской летописи, переписанной в этом же регионе в конце XIV в., отмечено и написание *повостъ*). Предположение о первоначальном распространении *-ovo/-evo* в древнерусских говорах северо-востока относит развитие этой черты ко времени до XIV в. и вполне объясняет ее «престижность» в эпоху формирования великорусской народности, историческим центром которой была Ростово-Суздальская земля: именно местные особенности (в числе которых и губно-зубное образование [в]) после XIV в. получают широкое распространение, оказываясь при этом специфически великорусскими, не свойственными ни белорусским, ни украинским говорам.

Во многих северновеликорусских говорах, не знающих аканья, наряду с *-ovo/-evo* распространена также и флексия *-ова/-ева*, которая не может быть объяснена фонетически (в акающих говорах формы типа *молодѡва* связаны с редуцией заударного гласного). Высказывалось мнение о появлении такой флексии под влиянием форм Р ед. ч. притяжательных прилагательных (*молод-ова*, как

¹ См.: Толкачев А. И. Об изменении *-ogo* > *-ovo* в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода членных прилагательных и местоимений русского языка. — В кн.: Материалы и исследования по истории русского языка, М., 1960.

Петр-ов-а); при этом П. Я. Черных считал именно эти формы источником появления флексии *-ово/-ево* в северных говорах (как результат контаминации *-ого + -ова*). Учитывая, что *-ова/-ева* характерна для парадигмы именно прилагательных, а не местоимений (*молод-ова* при *т-ово, наш-ево*), связь *-ова/-ева* с *ов-а/-ев-а* можно признать вполне возможной в языковом сознании говорящих; но только после развития [в] в местоименной флексии и утраты грамматической противопоставленности местоименных и именных форм в косвенных падежах прилагательных, т. е. тогда, когда формы типа *Петрова* соотносились с формами типа *молодово*, а не *молодого*. Иными словами, только появление [в] в форме Р. ед. ч. могло обусловить сближение на уровне плана выражения двух регулярных форм, тождественных по своему грамматическому содержанию.

ИСТОРИЯ ФОРМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

§ 142. Именные формы сравнительной степени, как и формы положительной степени качественных прилагательных, уже ко времени появления старейших восточнославянских памятников закрепились в предикативной функции, и для них формы косвенных падежей за пределами книжно-славянских текстов неизвестны. Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что в функции сказуемого форма сравнительной степени (в отличие от формы положительной степени) нормально входит в трехчленную конструкцию и имеет двустороннюю семантическую связь, ибо сама необходимость в этой форме возникает при сопоставлении степени проявления одного и того же признака разными носителями этого признака. Иными словами, необходимость в употреблении формы, например, *шире* возникает тогда, когда сопоставляются два *широких* объекта; следовательно, названный прилагательным признак относится как бы к обоим сопоставляемым объектам, один из которых противопоставляется другому именно по этому общему для них признаку.

Например, предложение *Волга шире Обмети* безупречно по содержанию и грамматически; и все же оно искусственно, ибо в естественном общении носитель языка (а не его исследователь или кодификатор, которому нужно проиллюстрировать соответствующее правило) никогда не употребит сравнительную степень с целью сопоставления величайшей европейской реки с маленькой местной речушкой. В плане соответствия практике речевого общения реально лишь утверждение типа *Волга шире Днепра*, опирающееся на сопоставление двух *широких рек*.

По содержанию и грамматической форме вполне реально и предложение *Волга шире других рек Европы*, объективно констатирующее, что Волга по этому признаку превосходит все, без исключения, реки континента, как большие, так и малые. Однако в практике речевого общения такое предложение не «прождается» для выражения этого содержания: употребление формы сравнительной (а не превосходной) степени реализует (не только для говорящего, но и для собеседника) совершенно определенное коммуникативное задание, связанное с сопоставлением только крупных рек Европы, т. е. как бы подчеркивает наличие и других широких рек, кроме названной.

Короче говоря, в речевой практике высказывание со сказуемым, выраженным формой сравнительной степени, типа *Наш дом красивее вашего (дома)* обязательно включает в себе словесно не выраженное (имплицитное) утверждение: *Ваш дом (тоже) красив*. Если говорящий этого не признает, то не станет употреблять форму сравнительной степени и выскажется иначе: *Наш дом красив* (может быть, с продолжением: *А ваш дом некрасив*).

Поскольку названия сопоставляемых предметов могут быть именами разных грамматических родов (*Волга шире Днепра*) и

могут употребляться в формах разных чисел (*Волга шире других рек*), двусторонняя семантическая соотнесенность формы сравнительной степени (которая в функции сказуемого выступала только в **И**) оказывалась в противоречии с односторонней ее зависимостью от формы подлежащего: формальное согласование по роду и числу, функция которого — указание на связь с существительным, для сравнительной степени не является актуальным. В результате очень рано намечается тенденция к утрате сравнительной степени согласовательных форм и преобразованию ее в неизменяемую форму с предикативной специализацией. В качестве универсальной закрепляется бывшая именная форма **И** ед. ч. ср. р., видимо, как форма «нейтральная», не подчеркивающая формально-грамматической зависимости этой формы от подлежащего, а моделью для нее, как формы неизменяемой, послужили формы качественных наречий, восходящие и в положительной степени к среднему роду (ср.: *высоко* — *выше*, *широко* — *шире*). Редкие примеры таких «свободных» от согласования форм проникают уже в старейшие древнерусские памятники письменности: *Не еси богатъе Давида* в Зл. (по нормам литературного языка должно было быть *богатии* — **И** ед. ч. муж. р.). Подобные примеры, как бы редки они ни были, очень показательны, ибо в системе книжно-литературного языка изменение форм сравнительной степени прилагательных по родам и числам сохранялось как норма вплоть до нового времени. Процесс формирования неизменяемой формы протекал в живой, по сути дела диалектной речи, а национальный русский литературный язык кодифицировал ту систему форм сравнительной степени, которая сложилась к XVIII в. в московском просторечии, продолжавшем, видимо, традиции древнерусских северо-восточных (ростово-суздальских) говоров.

Формирование неизменяемой сравнительной степени, возможной только в предикативной функции, начавшись очень рано, в восточнославянских диалектах протекало по-разному. В частности, великорусские говоры обнаруживают неодинаковое перераспределение формообразующих средств сравнительной степени — с разной их активностью в говорах разных территорий. Однако во всех случаях основное направление процесса — выработка действительно единой, унифицированной формы, «преодоление» исторических различий в образовании форм сравнительной степени от основ разных типов; но говорить об этом можно лишь как о тенденции, ибо в действительности абсолютно единой формы для всех прилагательных ни в одном говоре не отмечено¹. Говоры великорусского центра, например, в основном сохранили различие между формами, произведенными с помощью соединительного гласного (типа *длиннее*, *новее* < *новле*) и без него (типа *глуше*, *моложе*, в том числе и без суффикса *-к/-ок-*: *выше*, *ниже* и т. д.); но последний тип

¹ См.: Бромлей С. В. Формы сравнительной степени в русских говорах в свете данных диалектологического атласа. — В кн.: Материалы и исследования по русской диалектологии, Новая серия, М., 1959, т. 1.

образований распространен и на основы суффиксальные, некогда имевшие в форме сравнительной степени гласный: *богаче* (вм. *богатѣе*), *проще* (вм. *простѣе*) *громче* (вм. *громѣчае*), *крепче* (вм. *крѣпѣчае*) и др. Напротив, в ряде говоров севера *-ае* после шипящих не только сохраняется, но и переносится на другие основы: не только *громчае*, *крепчае*, но и *верняе*, *прочняе*, *сильняе*. В XVIII в. при становлении литературной нормы такие образования конкурировали с образованиями на *-ее* (они, например, встречаются даже у Сумарокова: *пожирняе*, *смирняе*, *страшняе*), но уступили образованиям на *-ее*, в значительной степени благодаря авторитету М. В. Ломоносова, считавшего их диалектными, недопустимыми в литературном языке за пределами низкого стиля.

Многие говоры отражают тенденцию к обобщению *-ее* или *-яе* в качестве универсального суффикса сравнительной степени; это видно по довольно широкой употребительности форм типа *хужее* (или *хужае*), *тишее*, *тужее*.

Распространен в говорах специализированный суффикс сравнительной степени *-ше*: *длин(ь)-ше*, *креп-ше*, *шир(ь)-ше* и т. д. [с контаминированным вариантом *креп-шей(е)*, *шир-шей(е)*], в том числе и *гор-ше*, *дол(ь)-ше*, *ран(ь)-ше*, *тон(ь)-ше*, вошедшие в систему литературного языка, а также *бол(ь)-ше*, *мен(ь)-ше*, *стар-ше*, которые литературный язык закрепил в порядке своего рода «компенсации» исторически закономерных форм *бол-е(е)*, *мен-е(е)*, *стар-ее*, приобретших иное функциональное или лексическое значение.

Литературные формы *больше*, *меньше*, *старше* обычно возводят к форме **И** мн. ч. муж. р. Однако здесь мы, скорее всего, имеем дело с совпадением: образования на *-ше*, видимо, результат сложных морфологических взаимодействий, в которых на определенном этапе принимали участие членные формы сравнительной степени типа *большій*, *меньшій*, а впоследствии — оформление большого числа форм сравнительной степени, оканчивающихся на шипящие, типа *выше*, *глуше*. Только как результат взаимодействия разных форм можно объяснить, в частности, очень распространенное по говорам *-ше* в соответствии с ожидаемым *-ч-*: *гор-ше* (вм. *гор-ч-ае*), *креп-ше* (вм. *креп-ч-ае*), *тон(ь)-ше* [вм. *тон(ь)-ч-ае*] и т. д., которым на северо-западе (от Пскова до Великих Лук) соответствуют *креп-оше*, *лег-оше*, *мяг-оше* и т. д.

На возможность взаимодействия морфологически различных, но фонетически сходных финальных оформлений в сравнительной степени указывает фиксируемый в ряде говоров специфический суффикс сравнительной степени *-же*, исторически с соответствующими образованиями никак не связанный: *глубже*, *слабже* (ср. литер. *глубокий* — *глубже*); предполагаемая в таких образованиях регрессивная ассимиляция по звонкости (не характерная для русских говоров), если и имела место, то, безусловно, под влиянием чрезвычайно частотных форм с финалом основы на соответствующий согласный: *ближе*, *глаже*, *моложе*, *ниже*, *хуже* и т. д.

Еще одним примером совпадения с некогда реально существовавшей формой являются встречающиеся в обиходно-бытовой речи образования на *-ей*: *нозей*, *здоровей* и т. п. Напоминающие древнюю форму **И** ед. ч. муж. р. (*новѣи* и т. д.), эти образования к названной

форме в действительности не восходят, а представляют собой результат редукции конечного гласного в беглой речи — образованы от *новее, здоровее* и т. д.

§ 143. Указание на возможность употребления в древности форм сравнительной степени с местоименными флексиями в функции определения опирается на свидетельства книжно-литературных текстов: в деловой и бытовой письменности таких образований нет. Если учитывать материал современных говоров, то можно утверждать, что местоименные формы *новейший, сильнейший, кратчайший* связаны с книжно-славянской языковой традицией. Не только в говорах, но и в речи носителей литературного языка они не свойственны бытовому диалогу. В системе же литературного языка, который усвоил их как церковнославянские по происхождению, они употребляются со значением превосходной степени, т. е. для выражения высшей степени обладания признаком.

На то, что в русском литературном языке указанные образования являются по происхождению церковнославянскими и не были свойственны живой речи, указывает, между прочим, тот факт, что существуют образования *дражайший, кратчайший* и т. п. — от церковнославянских корней *драг-*, *крат-*, но нет «*дорожайший*» (к *дорогой*), «*коротчайший*» (к *короткий*); ср., однако, в значении сравнительной степени: *дороже, короче* (но, напротив, нет «*драже*» или «*кратче*»). С другой стороны, даже носители литературного языка, знакомые с такими формами, в разговоре пользуются ими редко и не со значением превосходной степени, а для выражения эмоциональной оценки; в бытовом диалоге *добрейший, милейший* — это не «самый добрый» (и т. д.), а «очень приятный, очень нравящийся мне» (*Он добрейший человек!*).

Образования с *-ейш-/-айш-* как атрибутивные формы со значением сравнения (а не высшей степени обладания признаком) в книжно-литературном языке еще встречаются у писателей на рубеже XVIII—XIX вв.: *Москва осажденная не знала о сих важных происшествиях, но знала о других, еще важнейших* («более важных») у Карамзина; *Огромнейший* первого камень схватил («большой первого») у Жуковского в переводе «Одиссеи». Последующее закрепление за такими формами значения превосходной степени именно в системе литературного языка, видимо, обусловлено их связью с традиционными книжно-славянскими формами с этим значением типа *наиважнейший, наисильнейший*.

В обиходно-разговорной речи (включая диалектную) способом выражения большей или меньшей степени обладания признаком, выраженным в определении, является сочетание местоименной формы положительной степени с онареченным показателем компаратива: *более добрый, менее сильный*. Лишь в отдельных говорах западных окраин распространения русского языка отмечены склоняемые (местоименные) формы сравнительной степени типа *беднейший, богатейшие, молодейшая* — именно со значением сравнения (т. е. «более бедный», «более богатые», «более молодая»), а не со значением превосходной степени.

С. В. Бромлей высказала предположение, что именно эти формы отразились в распространенных на территории Смоленской, Брянской, Калужской, Курской областей диалектных формах сравнительной степени (неизменяемых)

с суффиксом *-ейше*: *белейше, покрупнейше, холоднейше*. Такие образования широко представлены в пограничных белорусских и украинских говорах, что указывает на возможность сохранения атрибутивных форм сравнительной степени как специфической грамматической особенности древнерусских центральных (в географическом смысле) говоров, занимавших периферийные районы домонгольской Руси — от Полоцка до Курска.

Из местоименных (исторически — членных) форм сравнительной степени в диалектной речи широко представлены образования *большой* (ср. древние супплетивные членные формы сравнительной степени к *великыи* — ‘большой, крупный’: *болии* — *большаево*) и *меньшой* (ср. супплетивные формы сравнительной степени к *малыи* — ‘маленький’: *мънии* — *мъньшаево*), которые, будучи частотными, сохранились, вопреки общей тенденции к исчезновению склоняемых форм сравнительной степени, именно потому, что утратили собственно компаративное значение [диал. *меньшóй* фиксируется со специализированным значением ‘самый молодой (из)’, но не ‘более молодой’]. Литературный язык, усвоив из центральных великорусских говоров прилагательное *большой* с положительным значением (в русском литературном языке оно заменило общеславянское *великий*, употребляющееся как книжное только не с физическим значением; но см. возможность сохранения этого значения в книжно-литературной форме превосходной степени: не только *величайшее открытие века*, но и *величайшая вершина мира*), выработал частотный склоняемый компаратив *больший* и по аналогии с ним — *меньший*, вряд ли связанный непосредственно с диал. *меньшой* (*брат*).

Явно по аналогии с *меньшой* оформилось в русской речи и прилагательное *старшой* со значением ‘самый старший (из)’ (ср. древние членные формы сравнительной степени: *старыи* — *старшиаево*; например, *сына своего старшиаго* в Лавр. лет.). Возможно, именно это образование явилось образцом для литературной склоняемой формы сравнительной степени *старший*; но не исключено, что форма *старший* сложилась в системе литературного языка независимо от диалектной, по модели, объединяющей и другие частотные оценочные прилагательные (ср. *худший* — ‘самый плохой’).

МЕСТОИМЕНИЕ

МЕСТОИМЕННИЯ КАК ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗЯДЫ СЛОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 144. Термином «местоимения» (‘заместители имен’) объединяются очень разные по своим лексико-грамматическим особенностям разряды слов, которые на грамматическом уровне характеризуются именными функциями и категориями, а на лексическом — высокой степенью обобщенности, «непредметностью» семантики. Указывая на предмет или признак вообще, местоимения отсылают либо к единицам языка, обозначающим предметы или признаки (в монологической, в частности письменной форме, речи), либо

к различным предметам или признакам, реально присутствующим в ситуации общения (в диалогической речи). Например, *тот* указывает на лицо или предмет, о котором было сказано или который сам присутствует в ситуации общения; *такой* — это указание на признак, о котором было сказано или который наблюдают, воспринимают участники акта общения; *столько* — это обозначение любого числа, названного или наблюдаемого общающимися.

Собственно «заместителями» имен являются лишь слова, которые принято называть *неличными местоимениями*, а также *личные местоимения 3-го л.*: только они могут быть «замещены» словами, обозначающими предметы, признаки, числа, не названные в акте общения. *Личные местоимения 1—2-го л.* являются *обобщенными названиями участников акта общения*. Это значение объединяет их с возвратным местоимением, которое вместе с личными 1—2-го л. включается в отдельную группу местоименных слов, противопоставленных неличным местоимениям также и в грамматическом отношении. Таким образом, характеризуя местоимения той языковой системы, которая отражена в старейших восточнославянских памятниках и может быть представлена как исходная, необходимо выделять два лексико-грамматических разряда, четко дифференцированных как в функционально-семантическом, так и в формально-грамматическом отношениях.

§ 145. Разряд *личных местоимений* представлен в древнерусском языке малочисленной, но очень древней по своему происхождению группой слов, характеризовавшихся при склонении супплетивизмом основ (см. табл. склонения на с. 248). В состав этой группы входили названия говорящего (автора) и его собеседника, а также указания на связанных с ними лиц (местоимения 1—2-го л. разных чисел) и на отношение действия или состояния к самому субъекту (возвратное местоимение). Являясь обозначениями лиц, эти слова функционировали как *существительные* (т. е. могли быть подлежащими или дополнениями, а возвратное местоимение, указывающее на отношение к субъекту, но не обозначающее самого субъекта, — только дополнением) и характеризовались категориями и формами числа и падежа, но не имели категории рода. Возвратное местоимение не имело также и категории числа, но в формально-грамматическом отношении на протяжении всей истории русского языка склоняется как формы единственного числа собственно личных местоимений.

Специальных замечаний требует форма **И** ед. ч. местоимения 1-го л. Дело в том, что старейшие древнерусские тексты употребляют в этой функции три варианта, а по существу, — три слова: *азъ*, *язъ*, *я*; частотность их в памятниках письменности соответствует указанному порядку по убывающей, при этом последняя форма в старейших памятниках встречается особенно редко. Вариант *азъ* в древнерусских текстах — бесспорный старославянизм, напоминающий о своем южнославянском происхождении начальным *а-*; вариант *я*, впервые отмеченный в Мстиславовой грамоте (*А се я*

Всеволодъ далъ есмь блюдо...) и в Новгородской берестяной грамоте, относящейся к рубежу XII—XIII вв. (*А я даю князю дньскамоу гривноу сьрьвра*), — бесспорная черта живой древнерусской речи. Что же касается варианта *язъ*, противопоставленного ст.-сл. *азъ* начальными *ja-* (ср.: др.-русс. *ягня*, ст.-сл. *агньць*), то до XIV в. это наиболее употребительное слово для указания на 1-е л. в деловых текстах, а позднее — типичное для книжно-литературных текстов и для традиционных юридических формул. Генетическая связь *язъ* со старославянским (а точнее, с южнославянским: болг. *аз*, *яз*; словенск. *jáz*) *азъ* очевидна, как и индоевропейское происхождение этой формы (ср.: др.-инд. *aham*; авест. *azāt*; гр. *ἐγώ*; лат. *ego*); что же касается варианта *я*, то этимологически связать его с *язъ* невозможно.

Принято считать, что *язъ* — это собственно восточнославянский вариант праславянского местоимения 1-го л., функционировавший в живой речи наряду с *я*. Между тем характер текстов, использующих *язъ*, отсутствие каких-либо следов этого варианта в живой речи, его употребление параллельно с *азъ* в правовой формуле, сложившейся еще в южнославянской среде на базе греко-византийских юридических формул (*Се азъ Мьстиславъ Володимирь снъ... повелѣлъ есмь...* в Мст. гр.), отсутствие после XIV в. в текстах, авторы которых не обнаруживают книжной выучки, — все это заставляет считать вариант *язъ* особенностью церковнославянского языка русской редакции, развившейся в результате контаминации ст.-сл. *азъ* и в.-сл. *я*. Сам же вариант *я* следует рассматривать как очень древнюю, праславянскую диалектную особенность, закрепившуюся, в частности, в восточнославянских (а также в западнославянских: см. чешск., слов., польск., в.-луж. и н.-луж. *ja*) говорах.

Чтобы понять причину редкой употребительности *я* в старейших текстах и сохранения *язъ* и даже *азъ* в поздних текстах, как будто не отражающих (а точнее, не отражающих явно) церковнославянского влияния, необходимо учесть, что во всех текстах система глагольных форм обуславливала отсутствие личного местоимения в функции подлежащего, т. е. в форме интересующего нас **И**: в этой функции оно употреблялось лишь в тех случаях, когда на него падало логическое ударение, т. е. когда на форме **И** личного местоимения (в частности, 1-го л.) сосредоточивалось внимание. И в этих условиях сказывались обстоятельства, по отношению к языку внешние, но хорошо объясняющие «приверженность» не только книжников, но и писцов-непрофессионалов к книжно-славянским вариантам *азъ*, *язъ*. Дело в том, что именно слово *азъ* прочно усваивалось любым грамотным человеком, ибо с него (название первой буквы славянского алфавита) начиналось обучение грамоте. Более того, усвоение первой буквы, по свидетельству древних источников, являлось едва ли не ритуальным актом начала учения вообще. Поэтому связь *азъ* — *язъ* с системой письменного языка понималась всяким пишущим, независимо от его книжной выучки.

Что касается остальных падежно-числовых форм личных (и возвратного) местоимений, то в древнерусском языке они были такими же, как и в старославянском; различались лишь гласные основы в Д-М ед. ч.: южнославянскому [e] в древнерусском (как и в западнославянских) языке был противопоставлен [o], до сих пор сохраняющийся во всех восточнославянских говорах (*тобе*,

собе — *тобі, собі* в окающих великорусских и в украинских говорах; *табе, сабе* в белорусских и акающих великорусских). Таким образом, склонение местоимений для древнерусского языка периода старейших текстов может быть восстановлено следующим образом:

Число, падеж	Личные		Возвратное
	1-е л.	2-е л.	
Ед. ч. И В Р Д Т М	<i>я (язь?)</i> <i>мя</i> <i>мне</i> <i>мѣчѣ, ми</i> <i>мѣнсю</i> <i>мѣнѣ</i>	<i>ты</i> <i>тя</i> <i>тебе</i> <i>тобѣ, ти</i> <i>тобою</i> <i>тобѣ</i>	— <i>ся</i> <i>себе</i> <i>собѣ, си</i> <i>собою</i> <i>собѣ</i>
Дв. ч. И В Р-М Д-Т	<i>въ</i> <i>на</i> <i>наю</i> <i>нама</i>	<i>ва</i> <i>ва</i> <i>ваю</i> <i>вама</i>	
Мн. ч. И В Р-М Д Т	<i>мы</i> <i>ны</i> <i>насъ</i> <i>намѣ, ны</i> <i>нами</i>	<i>вы</i> <i>вы</i> <i>васѣ</i> <i>вамѣ, вы</i> <i>вами</i>	

В склонении личных местоимений кроме супплетивизма основ (*я* — *мен-* — *мѣн-*; *ты* — *теб-* — *тоб-*; *ся* — *сѣб-* — *соб-*; *мы* — *н-*) необходимо отметить также энклитические формы, употреблявшиеся в значении Д как в единственном, так и во множественном числе: *ми, ти, си; ны, вы*. Эти формы (не имевшие самостоятельного ударения и примыкавшие к предшествующему слову) в древнерусских текстах книжного характера менее употребительны, чем в старославянских памятниках, где по частотности они значительно превышают «полные» формы; нет следов древних энклитических форм в современных восточнославянских говорах, что заставляет ставить вопрос об их, возможно, книжно-славянском происхождении в памятниках древнерусской письменности.

§ 146. Разряд **неличных** местоимений более обширен и менее однороден по своему составу, чем разряд личных, так как объединял слова, которые могли «замещать» названия признаков, чисел и предметов, т. е. выступать в функциях различных имен. При этом основной для подавляющего большинства неличных местоимений (притяжательных, указательных, определительных, относительно-вопросительных, отрицательных и неопределенных) была функция **согласованного определения**: *по грѣхомъ нашимъ, в родъ своемъ, съ Котянь, того города, на оу сторону, всю землю, съ инѣми кѣнязи, котораго племени, пѣрсть*

кыи любо, *въ чьей вьрви, нтькоему новъгородьцу*. Исключение составляли относительно-вопросительные местоимения *къто* — *чьто* и производные от них отрицательные и неопределенные *никъто* — *ничьто*, *никъто* — *ничьто*, которые употреблялись только как существительные. В функциональном отношении им противопоставлены притяжательные местоимения, которые могли выступать в роли подлежащего или дополнения только в связи с контекстуально обусловленным эллипсисом определяемого слова: *Опять воротить челядина, а свои поиметь* в Р. пр.; *Нашю землю днь (съ) отяли. а ваша заутро възята будеть* в Новг. лет. Притяжательные противопоставлены остальным неличным местоимениям и по своей лексической семантике: указывая на принадлежность лицу, они, как и личные местоимения, не являлись словами-заместителями и, подобно относительным и притяжательным прилагательным, были соотносительны по значению и образованию с названиями соответствующих лиц: я, мене — *мои*; ты, тебе — *твои*; себе — *свои*; мы, насъ — *нашъ*; вы, васъ — *вашъ* (ср.: *отць* — *отнь* — *отцьевъ*, *братъ* — *братнь* — *братовъ*).

Все остальные неличные местоимения, выступая «заместителями» имен, наряду с исходной для них функцией согласованного определения могли выполнять и функции существительных: *Оже мы бра(ть)е симъ не поможемъ тъ си имоуть придати ся к нимъ тъ онъмъ* больши будеть сила; и *съмятоша ся вся*; *А зовоуть я татары а инии гл(аголю)ть таоурмены* в Новг. лет.; *Вины ему в томъ нтьоуть* в Р. пр.

В словоизменительном отношении все неличные местоимения составляли единый разряд слов; при этом именно словоизменение неличных местоимений принято называть местоименным склонением. Так как исходной для неличных местоимений была функция согласованного определения, то они, подобно прилагательным, изменялись по родам, числам и падежам, оформляя синкретическую согласовательную категорию — указание на связь с определяемым существительным. И лишь в случае употребления местоимения в функции подлежащего или дополнения его формы приобретали категориальное значение рода, числа и падежа того существительного, «заместителем» которого оно выступало. Например, во фразе *Съ же Котянь бь тьсть Мьстиславоу Галицьскомоу* из Новгородской летописи форма **И** ед. ч. муж. р. *съ* обусловлена согласованием с подлежащим *Котянь*; а во фразе *Тако и се аще не оубьемъ его то все ны погубить* из Лаврентьевской летописи форма **И** ед. ч. муж. р. *се* (< *съ*) обусловлена тем, что в функции подлежащего это местоимение замещает название одного лица (ед. ч.) мужского пола (*князь* или *Игорь*).

Местоименное склонение представлено двумя вариантами, флексии которых различались первым гласным, следовавшим после твердого или мягкого (исконноосмягченного) согласного основы. Формы рода последовательно противопоставлялись только в **И, В** всех чисел, где они оформлялись окончаниями именного склонения (как *стол-ъ* — *кон-ь*, *сел-о* — *пол-е*, *жен-а* — *вол-я*); во всех осталь-

ных падежах (всех чисел), на уровне плана выражения противопоставленных **И**, **В** первоначальной двусложностью флексий, лишь в единственном числе различались формы неженского (мужского и среднего) и женского рода.

Число, падеж	Мужской род	Средний род	Женский род
Ед. ч И В Р Д Т М	<i>т-ъ, наш-ь</i> <i>т-ъ, наш-ь</i> <i>т-ого, наш-его</i> <i>т-ому, наш-ему</i> <i>т-гьмь, наш-имь</i> <i>т-омь, наш-емь</i>	<i>т-о, наш-е</i> <i>т-о, наш-е</i> 	<i>т-а, наш-я</i> <i>т-у, наш-ю</i> <i>т-оъ, наш-еъ</i> <i>т-ои, наш-еи</i> <i>т-ою, наш-ею</i> <i>т-ои, наш-еи</i>
Дв. ч. И-В Р-М Д-Т	<i>т-а, наш-я</i> 	<i>т-гь, наш-и</i> <i>т-ою</i> <i>т-гьма</i>	<i>т-гь, наш-и</i> <i>наш-ею</i> <i>наш-има</i>
Мн. ч. И В Р-М Д Т	<i>т-и, наш-и</i> <i>т-ы, наш-гь</i> 	<i>т-а, наш-я</i> <i>т-а, наш-я</i> <i>т-гьхъ</i> <i>т-гьмъ</i> <i>т-гьми</i>	<i>т-ы, наш-гь</i> <i>т-ы, наш-гь</i> <i>наш-ихъ</i> <i>наш-имъ</i> <i>наш-ими</i>

Местоимения-существительные *кѣто* — *чѣто* (и производные от них) ни по родам, ни по числам не изменялись и характеризовались флексиями единственного числа мужского рода: *к-ъ(то)* — *ч-ь(то)*, *к-ого* — *ч-его*, *к-ому* — *ч-ему*; при этом *кѣто*, всегда соответствовавшее существительному со значением лица, зафиксировано уже в старейших текстах в форме **В-Р** *кого* (а не *кѣто*).

По образцу местоимения *т-ъ* (*т-ого*... — твердый вариант местоименного склонения) изменялись *он-ъ* (*он-ого*, *он-гьмь*...), *ин-ъ* (*ин-ого*, *ин-гьмь*...), *кѣтор-ъ* (*кѣтор-ого*, *кѣтор-гьмь*...) и др. При этом [ê] (ъ), начинавший флексии ряда падежей твердого варианта склонения, был дифтонгического происхождения, поэтому задненёбный [к] в соответствующих падежно-числовых формах чередовался со свистящим: *вѣськ-ъ*, *вѣськ-ого* — *вѣсьц-гьмь*, *вѣсьц-гьхъ*; *так-ъ*, *так-ого* — *тац-гьмь*, *тац-гьхъ*; *к-ъ(то)*, *к-ого* — *ц-гьмь*.

По образцу местоимения *наш-ь* (*наш-его*... — мягкий вариант местоименного склонения) изменялись *ваш-ь* (*ваш-его*, *ваш-имь*...), *с-ь* (*с-его*, *с-имь*...), *ч-ь(то)* (*ч-его*, *ч-имь*...) и др., в том числе *мои*, *твои*, *свои*, *кѣши*, *чѣи*; в фонематической записи — с отражением морфологического членения формы — *мој-ь* (*мој-его*, *мој-имь*...), *кѣј-ь* (*кѣј-его*, *кѣј-имь*... — после падения редуцированных: *кој-его*, *кој-имь*), *чѣј-ь* (*чѣј-его*, *чѣј-имь*... — после падения редуцированных: *чј-его*, *чј-имь*). По мягкому варианту склонялось и указательное местоимение *его*, *ему*, *имь*... (в фонематической записи *ј-его*, *ј-ему*, *ј-имь*...). **И** и **В** этого местоимения должны были оформляться

как *и* [j-ъ], *е* [j-е], *я* — *ю* [j-а — j-у]; *и* — *ь* [j-и — j-ê], *я* [j-а] и т. д.; однако уже в старейших древнерусских текстах такие формы встречаются только в **В** всех родов и чисел, в то время как в значении **И** в качестве собственно указательного фиксируются только формы местоимения *онъ* (*он-ъ*, *он-о*, *он-а*; *он-а*, *он-ь*, *он-ь*; *он-и*, *он-а*, *он-ы*); ср.: *Онъ же рече...* — *Позъваша и ростовьци*; *Она же рече имъ...* — *Въда ю за Ярополка*. Формы **И** (всех родов и чисел) в старейших памятниках продолжали сохраняться только в сочетании с частицей *же* со значением относительного местоимения: *иже*, *еже*, *яже*, *ъже* и т. д.

Древнейшие восточнославянские тексты, подобно старославянским, отразили «смешанное» склонение определительного местоимения *всь*: окончания мягкого варианта характеризовали падежно-числовые формы этого местоимения в тех случаях, когда начальный гласный флексии твердого варианта был невозможен после исконно смягченного согласного: *всь-ь*, *всь-е*, *всь-его*, *всь-ему*, *всь-ь* и т. д. (ср.: *наш-ь*, — *т-ъ*, *наш-е* — *т-о*, *наш-ему* — *т-ому*, *наш-ь* — *т-ы*). В остальных случаях это местоимение, конечный согласный основы которого развился фонетически из [x], сохраняло флексии твердого варианта, начинавшиеся с гласного переднего ряда: *всь-ьмь*, *всь-ьхь*... (ср.: *наш-имь* — *т-ьмь*, *наш-ихъ* — *т-ьхъ*). Древние новгородские тексты отразили местные (северо-западные) формы этого местоимения с сохранением задненёбного на конце основы: *вхоу же тоу землю из вьх-у* в Вкл. Варлаама; *къ вьхемо вамо* (вм. *вьх-ьмъ вама*) в Новг. бер. гр. XII; *вхе полъ* (вм. *вьх-ъ*) в Новг. лет. Сохранение задненёбного в основе этого местоимения, несомненно, связано с возможностью употребления в северо-западных древнерусских говорах задненёбных перед гласными переднего ряда.

Характеризуя формы местоименного склонения, необходимо отметить, что в старейших древнерусских текстах, особенно книжных, постоянно встречаются церковнославянские флексии, представляющие собой результат древнерусской огласовки старославянских. Таковы, например, флексии **Р** ед. ч. жен. р. *тоя*, *нашея*, *ея* и др., передающие восточнославянскую огласовку ст.-сл. *тоѣ*, *нашеѣ*, *еѣ*; **И**, **В** мн. ч. жен. и муж. р. (мягкого варианта) *нашя*, *мая*, *всья* и др. — в соответствии с др.-русск. *нашь*, *моь*, *всьь* и т. д. (из ст.-сл. *нашѣ*, *моѣ*, *всьѣ*),

ИСТОРИЯ ФОРМ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ

§ 147. Рассматривая историю форм личных местоимений, необходимо отвлечься от форм двойственного числа, которые долго продолжали употребляться (с большей или меньшей последовательностью) в книжных текстах, но выходят из употребления в живой речи по мере разрушения самой категории двойственного числа. По-видимому, в этом плане должны рассматриваться и древние энклитические формы **Д**, не оставившие каких-либо следов в диалектной речи. Правда, не только в говорах, но и в просторечии можно встретить форму **Д** ед. ч. *те* (ср., например: *Что те надо?* у Пушкина; в разговорной речи обычно: *Я те дам!*); но эта форма вряд ли имеет отношение к энклитике книжно-славянских текстов

ти: она развилась в результате редукции словоформы Д ед. ч. *тебе* или *тобе* в беглой диалогической речи и, следовательно, должна быть поставлена в один ряд с такими нередко встречающимися в говорах формами, как **Р-В** *тея* (< *тебя*), *сея* (< *себя*), *меня* (< *меня*), а также *тее* (< *тобе*), из которой в результате стяжения гласных и могло появиться *тѣ* > *те*.

§ 148. Сопоставление реконструируемой «исходной» древнерусской системы форм личных местоимений с современной, характеризующей прежде всего диалектную речь и отразившейся в системе норм литературного языка, позволяет заметить очень немногие изменения, которые так или иначе связаны с историей форм **В**. Речь идет о развитии очень ранней тенденции к употреблению в значении **В** форм **Р** личных местоимений в связи с развитием категории лица, что отмечается уже в старославянских памятниках. Это приводит к параллельному употреблению форм **В** и **В-Р**, между которыми складываются отношения, типологически сходные с употреблением энклитических и «полных» форм **Д**: формы **В-Р** *мене*, *тебе*, *себе*, *насъ*, *васъ* используются для логического выделения лица-объекта, в то время как формы **В** *мя*, *тя*, *ся*, *ны*, *вы* функционируют в древнерусских памятниках как энклитики. Впрочем, соотношение форм **В** *мене* — *мя*, *тебе* — *тя* и т. д. прежде всего прослеживается в литературных текстах, устойчиво и последовательно удерживающих энклитики *ми*, *ти*, *си* и в **Д** (именно такое употребление отмечено С. П. Обнорским в сочинениях Владимира Мономаха и в «Молении Даниила Заточника»), в то время как деловые тексты, по наблюдениям В. И. Борковского, удерживают формы **В** *мя*, *тя*, *ны* и т. д. вплоть до XV в. лишь в устойчивой формуле *чимъ* (*мя*, *тя*, *ны* и т. д.) *благословил* (*пожаловал*)... употребляя во всех нестандартных конструкциях формы **В-Р** *мене*, *тебе* и т. д.¹ Ср.: *Или что мя благословила которыми волостми тетка моя; А чимъ ны благословилъ Отець нашъ; Чемъ тя благословилъ Отець твои* в московских грамотах XIV в. и др.; хотя встречается *А чимъ мене благословилъ Отець мои Князь Великий* в Дух. гр. Дм. Донского 1371; см. в иных конструкциях: *Имети ти мене собе братомъ старешимъ; И язъ тебе пожаловалъ; Отрималъ... за себя от татаръ; А поидутъ на насъ Татарозе или на тебе битися намъ и тебе съ одиного всемъ*. Что же касается данных берестяных грамот, где личные местоимения находят достаточно широкое применение, то в них формы **В-Р** не отмечены: вплоть до XV в. в значении **В** употребляются только старые формы; так в грамотах XI—XII вв. (*оустрячу тя*), так и в грамотах конца XIV в.: *А живото есть у мьнь розграбилъ лъзни мя в плищъ; Цему мя еси погубилъ*.

Данные лингвистической географии не исключают возможности того, что отмеченные факты отражают более длительное сохранение специализированных форм *мя*, *тя*, *ся* именно в северных говорах —

¹ См.: Борковский В. И. Синтаксис древнерусских грамот. (Простое предложение), Львов, 1949, с. 365—366.

на территории Новгорода и новгородских колоний. Дело в том, что украинский и белорусский языки, а также все южновеликорусские и южные средневеликорусские говоры до сих пор продолжают сохранять старую форму **Р** (получившую также и значение **В**) *мене, тебе, себе*, в то время как северновеликорусские говоры и сформировавшиеся на их основе говоры великорусского центра (в том числе в окрестностях Москвы) знают в **Р-В** закрепившуюся и в литературном языке форму *меня, тебя, себя*. Эта новая форма скорее всего имеет морфологическое происхождение и должна быть связана с условиями распространения категории лица на формы личных местоимений.

§ 149. Если признать, что в северных древнерусских диалектах развивавшаяся в кругу существительных омонимия **В-Р** не затрагивала долгое время парадигмы личных местоимений, поскольку здесь **В** имел специфическую форму выражения, не совпадавшую с формой **И** (ср. § 148), то свойственное современным восточнославянским говорам использование в значении **В** формы **Р** следует связывать с воздействием парадигматических отношений личных (и шире — одушевленных) существительных. Выше отмечалось, что в системе форм существительных категория лица (затем — одушевленности) как омонимия форм **В-Р** ед. ч. развивается только в кругу существительных мужского рода и всегда (независимо от исторической принадлежности существительного к тому или иному типу склонения) оформлялась посредством флексии *-а/-я* (не только *брат-а*, но и *сын-а, зят-я* и т. д.). На уровне плана выражения это создает возможность предельного обобщения в оформлении одного и того же комплекса грамматических значений: не только в виде совпадения форм **В, Р**, но и в распространении на все формы объекта в единственном числе показателя принадлежности к лицу — флексии *-а/-я* [-'а]. Поскольку, однако, эта структурно-грамматическая возможность оказалась реализованной лишь в диалектах севера, то необходимо предполагать какие-то дополнительные условия, способствовавшие реализации указанной возможности. В этой связи представляется неправомерным взаимно исключающее противопоставление изложенным соображениям возможности контаминации старой формы **Р**, используемой для выражения значения **В**, со старой формой **В**, т. е. *мене + мя = меня; тебе + ты = тебя; себе + ся = себя*. Оба предположения должны не исключать друг друга, а рассматриваться как внутривидовая возможность и внешнее условие реализации возможности. При такой интерпретации развития северновеликорусских и (впоследствии) литературных форм **Р-В** *меня, тебя, себя* показания древних памятников приобретают определенный смысл. В южных древнерусских говорах, как и в южнославянских, очень рано стали употребляться в кругу личных местоимений формы **Р** для выражения значения **В**, в связи с чем древние формы становились энклитиками и постепенно выходили из употребления, а формы **Р-В** *мене, тебе, себе* оказывались единственно возможными. На севере древние формы **В** продолжали сохраняться как основное средство выражения значения **В**

в кругу личных местоимений; формы **Р** с этим значением начинают использоваться лишь тогда (судя по памятникам, не ранее XIV в.), когда категория лица как омонимия форм **Р-В** ед. ч. с флексией *-а* становится устойчивой нормой именной парадигмы. Это значит, что в **В** оказываются вариантными формы *мене, тебе, себе* и *мя, ты, ся*, под влиянием которых они и приобретают показатель категории лица в единственном числе — флексию *-а(-я)*. Если такое предположение справедливо, то оно означает, что *меня, тебя, себя* сначала должны были закрепиться как формы только **В** и лишь затем, в силу соотносительности форм **Р, В** как показателя категории лица, должны были вытеснить формы **Р** *мене, тебе, себе*. Эти отношения полностью подтверждаются данными лингвистической географии, которые указывают на то, что «при сосуществовании форм с окончанием *-а* и окончанием *-е* в говорах северного наречия часто наблюдается... возможность разграничения тех и других форм по падежам, например: *ме/нѣ/, те/бѣ/, се/бѣ/* в род. п., *ме/н'а/ те/б'а/, се/б'а/* в вин. п.»¹, в то время как в южновеликорусских говорах, где в настоящее время формы *меня, тебя, себя* известны под влиянием норм литературного языка, они обязательно характеризуют как **В**, так и **Р**.

Рассматриваемые новые формы впервые (наряду со старыми) отмечаются в московских и новгородских деловых текстах с конца XIV в., причем в полном соответствии с предложенной выше гипотезой сначала в значении **В**: *А чимъ благословилъ тебя отецъ твои князь Андреи* в Дог. гр. Дм. Донского 1389; *Имъти ти меня собъ братомъ* в Дог. гр. Вас. Дмитриевича 1389; *А что Новгородъ пожаловалъ отца моего и меня и далъ грамоту на Волжане въ томъ у отца моего и у мене купилъ Александръ посадникъ четвертую часть* в Дух. гр. ок. 1396. В берестяных повгородских грамотах до XIV в. новые формы неизвестны, а с середины XIV в. они отмечены в значении **В**: *А на меня вистъ*; в грамотах первой половины XV в.: *Чтобы ся на меня не родила грамота бесудная; Надеемся осподине на бога и на тебя на своего осподина*; в грамоте XV в. отмечена единичная новая форма **Р** *у себя*. В великорусских текстах XV в. (не южных) формы **Р-В** *меня, тебя, себя* становятся обычными, а к концу XVI в. они закрепляются в качестве нормы делового языка Московской Руси, так что нередко встречаются и у писцов южновеликорусских районов (разумеется, наряду с формами *мене, тебе, себе*).

§ 150. Еще одно направление изменений связано с выравниванием основ косвенных падежей личных местоимений в единственном числе, т. е. с реализацией тенденции к ликвидации противопоставления основ *мен-/мн-, теб-/тоб-, себ-/соб-*. Результаты этого процесса (хотя и по-разному) отражены всеми великорусскими говорами, а старейшие примеры обобщения основ отмечены в памятниках письменности с конца XIV в. Впрочем, здесь надо отделить процесс выравнивания основы местоимения 1-го л. от процесса,

¹ Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров, с. 178,

охватывающего формы местоимения 2-го л. и возвратного, которые во всех, без исключения, говорах используются параллельно. В частности, обобщение основ косвенных падежей единственного числа местоимения 1-го л. отмечено только в периферийных, преимущественно южновеликорусских, говорах, памятники которых известны лишь с конца XVI в., а потому может проследиваться только по материалам лингвистической географии.

Для южновеликорусских говоров можно считать характерной особенностью образование форм косвенных падежей местоимения 1-го л. от обобщенной основы *мен-*, исторически представленной в форме **Р** *мен-е*, закрепившейся в функции частотного **В** (соответственно **Д-М** к *мен-е*, на *мен-е*). На севере обобщенная основа **Р-В**, **Д**, **М** *мен-* образует компактный ареал в бассейне оз. Белого; подавляющее же большинство северновеликорусских говоров сохраняет древнее соотношение основ *мен-* (**Р-В**) и *мн-* (**Д**, **Т** и **М**).

Процесс обобщения основ местоимений 2-го л. и возвратного, напротив, был типично северновеликорусским, охватившим также диалект Ростово-Суздальской земли, и, видимо, поэтому с конца XIV в. получает (хотя и непоследовательное) отражение в памятниках письменности. Необходимо, однако, отметить, что показания памятников требуют критического отношения, так как, с одной стороны, на пишущих могли оказывать влияние нормы книжно-литературного (церковнославянского) языка, характеризовавшиеся формами **Р** (и **В**) *теб-е*, *себ-е* и **Д-М** *теб-ь*, *себ-ь*; с другой стороны, в условиях противопоставленности разговорных и книжно-славянских основ *тоб-*, *соб-/теб-*, *себ-* в **Д-М** в письменных памятниках возможно появление форм **Р-В** с основой *тоб-* или *соб-* в результате гиперкоррекции. Так, с конца XIV в. в деловых памятниках Москвы и более северных районов, где диалектологами такие формы не зафиксированы, встречаются формы **Р-В**: *Тобе, брата своего, держати въ братьстве* в Дог. гр. Дм. Донского 1362; *Благословилъ тебе отецъ твой... и язъ тебе пожаловалъ* в Дог. гр. Дм. Донского 1388; *А намъ тебе держати въ братьстве и во чести* в Дог. гр. Вас. Дмитриевича 1389; *Дали на себя сю грамоту* в Новг. гр. 1456; см. также *от тебе*, *близъ тебе*, *оу себе* в Лавр. лет.

К северу от изоглоссы, разделяющей говоры с формами **Р-В** *меня* — *мене*, распространены формы местоимений с обобщенной основой *теб-*, *себ-* в **Р**, **В**, **Д**, **М**. Это совпадение ареалов **Р-В** на *-я* и **Д-М** с основой *теб-*¹ настолько показательное, что не оставляет сомнений в тесной связи процессов, приведших к образованию тех и других форм. Именно поэтому следует согласиться с мнением Н. Н. Дурново о том, что встречающиеся в древних восточнославянских памятниках книжного происхождения формы **Д-М** *тебь*, *себь* (наряду с более частыми *тобь*, *собь*) являются церковнославянизмами, противостоявшими разговорным восточнославянским *тобь*, *собь*, сохраняющимся в белорусских, украинских, большин-

¹ Сл.: Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров, с. 179.

стве южновеликорусских и отдельных северновеликорусских говорах. Что же касается форм **Д-М** *тебѣ, себѣ*, появляющихся с конца XIV в. в грамотах московских князей, то они, возможно, уже отражают начавшийся в живой речи процесс обобщения основ (см., например, *тебѣ брату моему; а тебѣ треть* в Дог. гр. Дм. Донского 1388 — наряду с *тобѣ*), который ориентировался на огласовку основы, получавшей в это время распространение в частотном **В** (в связи с развитием форм *тебя, себя*). К XVII в. новые формы здесь становятся единственно возможными, закрепляясь, в частности, в качестве нормы делового языка Московской Руси, а потому оказываются обычными и в деловых текстах XVII в. южновеликорусского происхождения, где сосуществуют с редкими отражениями местных форм: *Бил челом тебѣ Г(с)дрю тот Гаврила... И то судное дѣло вели прислать к собѣ* в Курск. гр. 1622; *к себѣ* и *к сабѣ* в Гр. 1644.

ИСТОРИЯ ФОРМ НЕЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ

§ 151. История неличных местоимений до сих пор остается наименее изученным разделом исторической грамматики русского языка не только в плане осмысления основных тенденций и процессов, но даже и в плане накопления фактического материала. Некоторые данные имеются лишь по истории флексий **Р** ед. ч., тождественных для местоимений и полных прилагательных.

Прежде всего это касается флексии мужского-среднего рода *-ого*, которая в настоящее время в подавляющем большинстве северновеликорусских говоров, в центральных говорах (что и способствовало закреплению этого варианта в качестве нормы литературного языка), а также в части говоров к югу от Москвы представлена вариантом с *в* (*тово, иново, нашево* и т. д.; на юге — *таво, инѡвъ, нашѣвъ*), в то время как юго-западные великорусские говоры (как и белорусские и украинские), а также некоторые говоры севера сохраняют *г* (обычно фрикативный): *то[гѡ], наш[гѣ]*. Письменные памятники в этой флексии отражают *в* с XV в. в формах прилагательных, а в кругу собственно местоимений старейшие примеры зафиксированы в новгородских грамотах XVI в.: *иванегородцкого князя нашево, тово великого государя; нашево роду* отмечено в Тверск. гр. 1572. Закрепившись на протяжении XVI в. в качестве нормы московского приказного языка, такие формы становятся обычными в деловой письменности, и лишь в южновеликорусских челобитных наряду с ними встречаются написания типа *того — таго, нашего — нашега*.

Показания старых текстов и современной диалектологии не позволяют отделять друг от друга развитие *в* во флексиях прилагательных и местоимений. Хотя в сообщениях о диалектных особенностях определенных населенных пунктов эти флексии и дифференцируются (например, [г] у местоимений, но [в] у прилагательных, и наоборот), однако данные сообщения настолько противоречивы, что дифференциация истории форм прилагательных и место-

имений пока в значительной степени носит умозрительный характер.

Еще более противоречив материал разных источников, касающийся истории флексии **Р** ед. ч. женского склонения. Древние формы *тоь, нашеь* (нередко в церковнославянском оформлении: *тоя, нашея*) в памятниках письменности встречаются очень последовательно до XVII в. включительно. Например, в обширном материале южновеликорусских грамот XVII в. С. И. Котков зафиксировал лишь один пример (из Ливен) с новой формой **Р**: *С той реке оброчные денги плотим*; в остальных случаях: *с тое, нашее* и т. д. Приписать новую форму книжному влиянию невозможно в силу ее массовости и обычности в текстах явно «малограмотных»: *Апрично тае грабленые паяны даходцу никакова нет* в Курск. гр. 1642 (ср. в заключении московских канцеляристов на эту грамоту: *Кромь тое полянки... никаково доходцу ннт*). Между тем современным великорусским говорам такая форма **Р** неизвестна (за исключением *у нее*, а также в **В** некоторых местоимений — см. формы *тбе, тае, тье*). Так что проследить развитие современной флексии **Р** -ой (*той, нашей*) по памятникам письменности пока невозможно, но и в этом случае приходится предполагать параллелизм в изменении формы прилагательных и местоимений.

Тот же параллелизм очевиден и в изменении флексий **Т** ед. ч., где в женском склонении большинство говоров знает односложную флексию: (*с*) *т-ой, наш-ей* и т. д. [как и у прилагательных: (*с*) *нов-ой*]. В мужеско-среднем склонении большинство неличных местоимений в твердом варианте употребляется сейчас с флексией **Т**, также совершенно тождественной флексии прилагательных: (*с*) *ин-ым, котор-ым* [ср. в мягком варианте: (*с*) *наш-им, мо-им*]; в др.-русск. *ин-ьм(ь), котор-ьм(ь)*.

§ 152. Отмеченный параллелизм в развитии флексий местоимений и прилагательных не случаен: исторические изменения в формах неличных местоимений определены общим процессом развития местоименного склонения как унифицированной системы словоизменения согласуемых частей речи — местоимений и прилагательных. Правда, отдельные местоименные слова в тех или иных говорах (что иногда отражает и система литературного языка) лексикализуют свою словоизменительную парадигму, избегая, таким образом, «материальной» унификации флексий; но общий принцип построения парадигмы сохраняется.

Наиболее полно тенденция к оформлению единого местоименного склонения реализуется в истории форм множественного числа (формы двойственного числа в живой русской речи не имеют истории, ибо исчезают в связи с утратой самой категории двойственности), где, как и у прилагательных, ликвидируются родовые различия в **И, В** и формируется постоянный числовой показатель.

Нельзя не заметить, что в формах непрямых падежей двусложные флексии местоименного склонения, противопоставленные односложным родовым флексиям **И, В** мн. ч., характеризовались постоянным показателем *-ь-* после твердого согласного и фонологически не соотношенным с ним *-и-* после мягкого согласного (см. § 146).

В процессе развития русского языка этот показатель, параллельно с показателем *-ы/-и-* в склонении прилагательных, сосредоточивает в себе значение множественного числа и таким образом обнаруживает тенденцию стать формообразующим аффиксом. Нейтрализация родовых различий в **И, В**, обуславливающая необходимость оформления унифицированной флексии (без родового значения), ведет к утрате прежних дифференцированных флексий **И, В** и распространению на **И, В** показателя множественного числа. Вычленившийся из форм *т-ть-х(ъ)*, *т-ть-м(ъ)*, *т-ть-ми* показатель множественного числа *-ть-* распространяется и на форму **И** (и **В**), образуя словоформу *ть*, заменяющую выходящие из употребления родовые словоформы **И, В** муж. р. *ти* — *ты*, жен. р. *ты*, ср. р. *та*. Так же формируется и внеродовая словоформа **И-В** мн. ч. *всть*, которая не может быть интерпретирована как бывшая форма **И-В** жен. р. (или **В** мн. ч. муж. р.), якобы получившая общеродовое (внеродовое) значение. Совпадение с указанными формами — это историческая случайность: современная словоформа *все* (< *ввсть*) — морфологическое новообразование, сложившееся в результате обобщения показателя множественного числа. Таким образом, в процессе развития склонения неличных местоимений, как и у полных прилагательных, образуется система форм, характеризующихся расчлененностью показателей числа и падежа:

И (и В)	<i>т-ть-о, вс-ть-о</i>	где <i>-ть-</i> (> <i>-е-</i>) — показатель значения множественного числа, а <i>-о, -х, -м, -ми</i> — показатели соответствующих падежных значений,
Р (и В)	<i>т-ть-х, вс-ть-х</i>	
Д	<i>т-ть-м, вс-ть-м</i>	
Т	<i>т-ть-ми, вс-ть-ми</i>	
М	<i>т-ть-х, вс-ть-х</i>	

В ряде говоров отразились формы, свидетельствующие о тенденции к распространению указанной парадигмы на все местоименное склонение. Таково происхождение формы **И** мн. ч. *оне* в говорах Ростово-Суздальской земли и ее колоний (следовательно, в восточном ареале северновеликорусского наречия), а также форм типа *моех, моем; твоех, твоем*, зафиксированных в южном ареале северновеликорусских говоров и на территории Калининской, Владимирской и Московской (в северной ее части) областей, т. е. опять-таки в говорах окраины (колоний) Ростово-Суздальской земли. По памятникам эти формы не прослеживаются, видимо, потому, что они оставались периферийными. Правда, в книжных текстах долго сохранялась со специализированным значением женского рода словоформа *оне* (см. как стилизацию *И завидуют оне государевой жене* у Пушкина), чему, возможно, способствовало распространение такой формы в говорах Подмосковья; к этой же группе форм П. С. Кузнецов относил и встречающуюся в московских грамотах XV в. форму *до стхъ поръ*.

В мягком варианте склонения в качестве показателя множественности вычленился аффикс *-и-*: *мо-и-х, мо-и-м, мо-и-ми* (*мо[j-и]ми*) и т. д. Как и в твердом варианте, этот аффикс становился унифицированным показателем значения множественного числа и закреплялся в **И, В**, лишь внешне совпадая с древней флексией **И** мн. ч.

муж. р. Формируется парадигма, совпавшая с парадигмой мягкого варианта склонения полных прилагательных:

И (и В)	<i>наш-и-о</i> , <i>мо[ʝ]-и-о</i> , <i>ч[ʝ]-и-о</i>	ср.: <i>син-и-е</i>
Р (и В)	<i>наш-и-х</i> , <i>мо[ʝ]-и-х</i> , <i>ч[ʝ]-и-х</i>	<i>син-и-х</i>
Д	<i>наш-и-м</i> , <i>мо[ʝ]-и-м</i> , <i>ч[ʝ]-и-м</i>	<i>син-и-м</i>
Т	<i>наш-и-ми</i> , <i>мо[ʝ]-и-ми</i> , <i>ч[ʝ]-и-ми</i>	<i>син-и-ми</i>
М	<i>наш-и-х</i> , <i>мо[ʝ]-и-х</i> , <i>ч[ʝ]-и-х</i>	<i>син-и-х</i>

В условиях фонологического тождества *-ы/-и-* это совпадение сыграло решающую роль в реализации тенденции к унификации местоименного склонения как единой системы словоизменения согласуемых слов: по тому же образцу постепенно оформляется и система падежных форм множественного числа твердого варианта, где тот же показатель после твердых согласных выступает в фонетическом варианте [ы]:

Р-М	<i>наш-и-х</i> , <i>ин-ы-х</i> , <i>сам-ы-х</i>	ср.: <i>син-и-х</i> , <i>нов-ы-х</i>
Д	<i>наш-и-м</i> , <i>ин-ы-м</i> , <i>сам-ы-м</i>	<i>син-и-м</i> , <i>нов-ы-м</i>
Т	<i>наш-и-ми</i> , <i>ин-ы-ми</i> , <i>сам-ы-ми</i>	<i>син-и-ми</i> , <i>нов-ы-ми</i>

После задненёбных показатель множественности, естественно, выступает в варианте [и]: *всяк-и-х*, *так-и-х*.

То, что формант *-ы-* во флексиях неличных местоимений твердого варианта склонения распространился в результате аналогического сближения их парадигмы с парадигмой полных прилагательных, подтверждается повсеместным отождествлением флексий неличных местоимений и полных прилагательных во всех падежно-числовых формах, в то время как местоимения исторически мягкого варианта склонения в **И-В** сохраняют однофонемные флексии. Ср.: мн. ч. *ин-ы-е*, *котор-ы-е*, *сам-ы-е*, *так-и-е* (как *нов-ы-е*, *туз-и-е*), но *наш-и*, *мо[ʝ]и*, *ч[ʝ]и*; ед. ч. *ин-ой*, *ин-ая*, (как *туз-ой*, *туз-ая* и т. д.), но *наш-о*, *наш-а*, *наш-у*, *наш-е*. В окончании **Т** ед. ч. мужско-среднего склонения согласному издавна предшествовал гласный, тождественный показателю множественного числа; ср.: др.-русск. (с) *т-ѣм(ѣ)* — *т-ѣх(ѣ)*, *т-ѣми*; (с) *наш-им(ѣ)* — *наш-их(ѣ)*, *наш-ими*; совр. (с) *ин-ы-м* — *ин-ы-х*, *ин-ы-ми*.

§ 153. Отождествление местоименной парадигмы с парадигмой полных прилагательных во всех говорах распространилось на склонение местоимений, сохранивших в качестве основной функцию согласованного определения. Что же касается местоимений, развивших способность к «независимому» употреблению, то их формы словоизменения развивались по говорам неодинаково.

Судя по данным лингвистической географии, морфологическое «обособление» местоимений, закрепившихся в субстантивной функции, первоначально было диалектной особенностью северо-востока; именно в говорах Волго-Окского междуречья фиксируется последовательное образование форм *та* и *те*, *тех* и т. д., как и *вся*, *всю* и *все*, *всех*. Обобщение форманта *-е-* (< *-ь-*), как наиболее характерная особенность флексий местоимений с функцией существительных, распространяется и на формы **Т** слов *что* [< *чь(то)* — мягкий вариант] и *кто* [< *кѣ(то)* — твердый вариант], никогда

не употреблявшихся в функции определений: *чем* (впервые фиксируется в написании *чьмь* в грамотах московских князей со второй половины XIV в.; др.-русск. *чимь*), а также *кел* (в результате фонетического выравнивания основы после изменения *кы* > *к'и*; др.-русск. *цльь*).

Особо следует отметить судьбу форм II ед. ч. муж. р. местоимений с однофонемной основой *т-ъ* и *с-ь*, которые в процессе осуществления известных фонетических изменений (редуцированный во флексии, находясь под ударением, должен был «проясниться») совпали с формами среднего рода *т-о*, *с-е*. Стремление избежать омонимии форм достаточно рано реализуется с помощью удвоения словоформы, т. е. путем образования *тѣтѣ* > *тот*, *сьсь* > *сес(ь)*, что в памятниках встречается с XIII в.

Словоформа *тот* известна на всей территории распространения русского языка (хотя и не везде как единственная), а также в отдельных белорусских говорах. Единственно возможной она оказывается на территории Ростово-Суздальской земли, т. е. там, где местоимения-существительные сохранили парадигму, не совпадающую с парадигмой полных прилагательных; *тот*, таким образом, становится неотъемлемой частью парадигмы *тот — та — то, те — тех — тем*, что и было кодифицировано затем системой нового литературного языка.

Словоформа *сесь*, отмеченная в Евангелии 1307 г., в Ипатьевской летописи и даже в московской грамоте 1504 г. (*сесь список*), не имеет традиции в диалектной речи по причине утраты самого этого местоимения, которое со временем оказалось элементом системы книжно-литературного языка. В русской речи семантика этого местоимения передается новообразованием *этот* (диал. *энтот*, *эвтст/эфтот* и др.), время появления которого пока не установлено.

За пределами северо-восточной зоны в древнерусских говорах местоимения-существительные рано втягиваются в общий процесс унификации форм словоизменения местоимений — полных прилагательных, что ведет к разрушению парадигмы *тот — та — то — тех — теми* в результате усвоения парадигмы типа *крут-ой — крут-ая — крут-ое — крут-ы-е — крут-ы-х*. Именно так сложилась известная всем восточнославянским языкам (в говорах русского языка распространенная в основном на западе¹) парадигма по образцу полных прилагательных: *той* (диал. *тый, тэй*) — *тая* (диал. *тая, тая*) — *тое* (диал. *тоё, тоё*) — *тыи* (диал. *тыйи, тыйе, тэйи, тэйе*); ср.: *новый* (диал. *новой, новэй*) — *новая* — *новое* — *новые* (диал. *новыи, новыйе, новэйи*). Общевосточнославянское распространение таких форм, с одной стороны, указывает на то, что нормативная русская парадигма (*тот — та — то — те*) исторически является диалектной и имеет своим источником систему местоименных форм диалекта Ростово-Суздальской земли (где, как указывалось, она и сейчас является единственно возможной), откуда и начинается ее «экспансия» в период формирования языка

¹ См.: *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров*, с. 91—92.

великорусской народности. С другой стороны, география парадигмы *тыи — тая — тое — тые* свидетельствует о том, что процесс унификации склонения местоимений и полных прилагательных должен был начаться не ранее XII в. (после обособления северо-восточной диалектной зоны) и до распада древнерусского языкового единства, т. е. до XIV в. Материал памятников письменности не противоречит такой хронологизации процесса. Формы типа *тая, тѣи — той* фиксируются с начала XIII в.: *тая правда* в Смол. гр. 1229; *тая обида, про тую дѣтину, тые люди* в Рижск. гр. (ср. здесь же: *инши человекъ, инше люди*); так же: *На тыхъ жѣ Коневыхъ Водахъ* в Новг. бер. гр.; *тѣми; оу тыхъ, ис тыхъ волости*; *А тым дал еси* в московских грамотах XIV в.; *тымъ володѣти, тыхъ земель, о тыхъ земляхъ* в двинских грамотах XV в., исследованных А. А. Шахматовым. Закрепление или, напротив, последующая утрата этой парадигмы тесно связаны с основной синтаксической функцией местоимения — как согласованного определения или как субстантива, сохранявшего парадигму, отличную от парадигмы полных прилагательных, и распространявшего ее на формы того же местоименного слова в функции определения (как это произошло в говоре Москвы).

§ 154. Зависимость форм словоизменения от основной синтаксической функции хорошо прослеживается в истории «раздвоения» местоимений *сам-ѣ* и *он-ѣ* («тот далекий»; см.: *Ярославъ прия сѹ сторону, а Мьстиславъ ону* в Лавр. лет.), каждое из которых в разных функциях закрепило разные системы падежных флексий, образовав, таким образом, два местоименных слова.

В определительной функции оба местоимения стали склоняться по образцу полных прилагательных: *сам-ый — сам-ая — сам-ое — сам-ых*; *он-ый, — он-ая — он-ое — он-ых* (второе оказывается элементом книжно-литературной системы; см. в текстах XVII в.: *на оный свитѣ* у Котошихина; *оная болезнь* у Аввакума). В субстантивной же функции они продолжали сохранять собственно местоименные формы *сам(ѣ) — сама — само, он(ѣ) — она — оно*, что фактически означало появление новых лексем, развивших значение, отличное от *самый, оный*: *он(ѣ)* прочно закрепилось в качестве универсального показателя 3-го л. (предмета), включившись в парадигму *он — его — их* и т. д., а *сам(ѣ)* специализировалось на выделении лица при местоимении *он(ѣ)* (ср.: *он самѣ — его самого*). Это обстоятельство сказалось на тех формах косвенных падежей, где парадигма местоимений-существительных отличалась от парадигмы определительных местоимений и полных прилагательных: так как местоимение *он(ѣ)* вместо прежних форм *онѣх(ѣ) — онѣм(ѣ)* (см.: *Си имоуть придатися к нимѣ. тѣ онѣмѣ больши будеть сила* в Новг. лет.; *И не бѣ лъзѣ... изъ града к онѣмѣ* в Лавр. лет.) приобретает формы *их(ѣ) — им(ѣ)*, то вслед за ним формант *-и-* усваивает и *сам(ѣ)* (в отличие от *самый*): *сам-и-х(ѣ) — сам-и-м(ѣ)*, что распространяется и на внеродовую форму И мн. ч.: *он-и, сам-и*. То, что образцом для развития таких словоформ у местоимения *сам(ѣ)* явилось «равнение» на формы косвенных падежей *его —*

им(ъ) — их(ъ), обнаруживается в **В** ед. ч. жен. р., где оба местоимения закрепили бывшую форму **Р** *еѣ* (из др.-русск. *en*) и *самое* (*Ее восхищение перед ним часто пугало ее самое* у Л. Толстого), что местоимениям, сохраняющим в качестве основной функцию определения, в **В** не было свойственно, а в **Р** было утрачено. Впрочем, в ряде говоров именно в **В** (но не в **Р**) такая форма характеризует парадигму *тот — та — тоё*, что еще в XIX в., видимо, было известно и просторечию (*Кого ж подстерегли? Тое ж лису-злодейку!* у Крылова). В некоторых диалектах та же форма **В** известна и другим местоимениям, обычно «замещающим» существительные: *всее, одной*. В **Р** ед. ч. такие формы изредка встречаются в говорах, граничащих с белорусскими, в которых они (в вариантах *тоё, таё, тѣе* и др.) распространены очень широко.

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТОИМЕНИЯ 3-го ЛИЦА

§ 155. Принято считать, что в составе унаследованных древнерусским языком местоимений не было специализированного слова, которое бы использовалось в качестве универсального обобщенного обозначения любого 3-го л. Мнение это опирается на показания текстов, которые используют для обозначения 3-го л. различные указательные местоимения, отражая при этом традицию различения трех степеней отношения 3-го л. (предмета) к участникам диалога. Для указания на близкое ему лицо говорящий пользовался местоимением *сь* (*сего — сему* и т. д.); для указания на лицо, близкое собеседнику, — местоимением *тѣ* (*того — тому* и т. д.); в остальных случаях в качестве обобщенного обозначения 3-го л. (предмета) выступают указательные местоимения *и* (*его — ему* и т. д.) и *онѣ* (*оного — оному* и т. д.).

Старейшие восточнославянские тексты отразили традицию, хорошо известную по старославянским памятникам, в соответствии с которой местоимение *и* в указательной функции перестает употребляться в **И** всех родов и чисел, где закрепляются формы местоимения *онѣ* — *она* — *оно* и т. д. Так формируется парадигма фактически нового местоименного слова *онѣ* — *его* — *ему* и т. д., употребляющегося в качестве обобщенного указателя «постороннего» (3-го) лица или предмета, что, по-видимому, началось еще до распада праславянского языкового единства.

Наблюдения над способами указания на 3-е л. (предмет) в старейших славянских текстах (не только собственно древнерусских, но и старославянских) обнаруживают, что высокая частотность в них форм *онѣ* — *его* объясняется не столько их повествовательным характером [«объективное» повествование (не от 1-го л.) сообщает о ком-то или о чем-то, непосредственно не связанном с автором или читателем], сколько тем, что это относительно новое местоименное слово ко времени создания старейших памятников уже приобрело функцию нейтрального показателя 3-го л. Как правило, *сь* и *тѣ* в них появляются в случаях особого подчеркивания отношений, а в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть «внешний» характер

названного (или не названного) лица (предмета), используется местоимение *онъ — оного* (а не *он — его*). См., например: ст-сл. *Зъвазы тѣ и оного. речеть ти. даждѣ семоу мѣсто* в Савв. кн. (при обычном употреблении в повествовательных фрагментах формы *онъ — его*: *Възмѣ же и на скотѣ свои. приведе же и в господѣ*); этот пример, взятый из поучения, изложенного в форме непосредственного обращения к собеседнику, интересен тем, что *оного* и *сему* указывают на одно и то же лицо: *оного* — 'постороннего, чужого для нас с тобой'; *сему* — 'близкому мне, говорящему'.

Как средство подчеркивания «чуждости» 3-го л. местоимение *онъ — оного* встречается и в древнерусских текстах: *Оже мы бра(ть)е симъ не поможемъ. тѣ си имоуть придатися к нимъ. тѣ онѣмъ больши будеть сила* в Новг. лет. — при передаче речи Мст. Галицкого, выступающего в качестве защитника половецких беженцев, пострадавших от (пока неизвестных!) татар; *Истѣцю свое лицо взяти. а что с ним погыбло. а того емоу желѣти. а оному желѣти своихъ коунѣ зане не знает оу кого купивѣ. познает ли надолзѣ оу кого купивѣ то свое коуны възметъ и семоу платити что оу него погыбло* в Р. пр., где отделение главных «персонажей» от лиц, играющих второстепенную роль в рассматриваемых правонарушениях, чрезвычайно важно; в этих формулировках *оному* — не истцу и не вору, а случайному покупателю, у которого обнаружено ворованное; *сему* — это истцу, интересы которого данная статья защищает.

В плане восстановления реальной древнерусской системы обозначений 3-го л. приведенные примеры, свидетельствующие об использовании разных указательных местоимений только при необходимости выделения «близкого» и «отдаленного» — при постоянном использовании в качестве обобщенного обозначения 3-го л. местоимения *онъ — его* (см.: *к нимъ* в Новг. лет; *с нимъ, емоу, оу него* в Р. пр.), показывают то, что можно наблюдать и в современной диалогической речи: при необходимости подчеркнуть отношения местоимение 3-го л. *он — его* заменяется указательным *этот* или *тот* (ср.: *А этот знает? — Ты к тому не подходи!*). Отличия древнерусского языка от современного, как это свидетельствуется древними памятниками, связаны лишь с набором местоимений, используемых в качестве «заменителей» нейтрального указателя 3-го л. Что же касается исторических изменений, обусловивших эти различия, то они не могут быть поняты в отрыве от истории собственно указательных местоимений, набор и значение которых в современном языке, как и в древнерусском, совершенно тождественны в обеих функциях — и в сочетании с существительными (ср.: др.-русск. *челозька сего — отъ того терема — на ону сторону рѣкы*; совр. *этого человека — от этого — от того дома — на той стороне реки*), и в качестве уточняющих «заместителей» местоимения 3-го л. [ср.: др.-русск. *сь(сей) — тѣ (тот) — онѣ*; совр. *этот — тот*].

§ 156. Главное в исторических изменениях системы указательных местоимений — это переход от трехчленной системы отношений

к двучленной, что, безусловно, отражает более высокую степень абстракции мировосприятия (ср. переход от трехчленной системы числовых противопоставлений к двучленной): на смену более конкретной системе обозначений 'здесь (у меня)' — 'там у тебя' — 'там далеко' приходит более общая система обозначений близкого (вообще) и далекого (вообще): *здесь* — *там*, соответственно *этот* — *тот*. Новая система представлений требовала перестройки унаследованных от ранних эпох языковых средств, что могло осуществляться либо за счет развития новых местоименных слов, либо за счет изменения значений старых местоимений. О лексическом выражении обобщенного значения 'близкий' уже сказано (см. § 153); естественно, что новое указательное местоимение *этот* (*человек*) используется и в качестве уточняющего «заместителя» местоимения 3-го л. [как использовалось в древнерусском языке в этом случае *сь* (*сей*) — *сего* — *сему*]. Что же касается более общего (чем прежде) значения 'далекий', то в этом обобщенном значении в восточнославянских языках (следовательно, еще до XIV в.) закрепилось местоимение *тот*, видимо, потому, что *он* еще до этого оказался связанным с нейтральным обозначением 3-го л. в парадигме *он* — *его* — *ему*.

В большинстве славянских языков (кроме восточнославянских) местоимение *тѣ* (*tej* или *ten*) — *та* — *то* закрепилось в значении 'этот'. Столь разная специализация этого местоимения при переходе к двучленному противопоставлению близкого ~ далекого вполне соответствует тем реальным фактам, которые можно отметить в старейших славянских памятниках.

Дело в том, что первоначальное значение, обычно приписываемое местоимению *тѣ* (*та*, *то*), — это значение предположительно восстанавливаемое, в то время как самые древние из сохранившихся текстов не дают примеров с вполне определенным значением 'близкий тебе, связанный с тобой': в повествовании обычно употребление местоимения *онѣ* — *его* в значении 3-го л., а в конструкциях прямой речи, где указание на отношения актуально, противопоставляются *сь* (*сего*) — *онѣ* (*оного*) как способы выделения «близкого» и «постороннего». Местоимение же *тѣ* (*того*) в значении 3-го л. (предмета) встречается в случаях, где оно воспринимается как средство отсылки к указанному, подчеркивания известности, определенности (соответствуя современному 'тот самый'), т. е. в том значении, которое особенно хорошо ощущается в его определительной функции и из которого в дальнейшем могли развиваться значения 'этот (которого мы знаем)' и 'тот (упомянутый посторонний)'. Так, уже в старейшем подлинном юридическом тексте — Мстиславовой грамоте, являющейся удостоверением акта дарения монастырю св. Георгия (Юрьеву монастырю): *А б(ог)ѣ боуди за тѣмѣ и с(вя)тая б(огороди)ца и тѣ с(вя)тми Георгии* — 'тот, который только что был назван'.

Именно значение известности, определенности обусловило закрепление местоимения *тѣ* (*та*, *то*) в качестве члена (определенного артикля) в болгарском языке (*столот* < *столъ-тѣ*, *жената*, *селото*), а также в ряде северо-восточных великорусских говоров (*домот* < *домъ-тѣ* или *дом-тот*, *изба-та*, *село-то*). С этим же значением местоимение *тот* (*та*, *то*) довольно последовательно употребляется вплоть до XVII в. в юридических актах, где оно является не одним из средств уточнения отношений, а способом отсылки к упомянутому: ...*И какъ де онѣ будут идучи из Лосицкаго острогу на рѣчке но Каменке и в томѣ де мѣсте пришли на них татаровѣ... И на тои рѣчке их тѣ де татаравѣ осадили и приступали к ним с утра и до обѣда, и на томѣ де бою тѣбѣ (суда)рю служили курчѣня...* в Курск. гр. 1644 — каждое повторение однажды названного непременно сопровождается указательным местоимением *тот*, которое, по существу, выполняет функцию определенного артикля.

§ 157. Происхождение восточнославянского (в частности, русского) местоимения 3-го л. из указательного обусловило его особое место в системе современных личных местоимений: в отличие от местоимений 1—2-го л. оно характеризуется категорией рода и изменяется по родам (*он — она — оно*), сохраняет формы словоизменения неличных местоимений (*его — ему — им*, как *нашего — нашему — нашим*) и, в отличие от древних личных местоимений, не имеет «своего» притяжательного (ср., однако: *меня — мой, нас — наш, тебя — твой, вас — ваш, себя — свой*). Последняя особенность, впрочем, — черта литературного языка; в диалектной же речи, закрепившей местоимение *он — его* в качестве собственно личного, этот «пробел» активно восполняется новообразованиями. Производящей основой притяжательных новообразований является форма **Р**, которая издавна использовалась (а в литературном языке продолжает использоваться) со значением принадлежности: *его* (ср.: *его тетрадь — тетрадь ученика*), *её, их*. От этих форм посредством суффикса *-н-* образованы широко употребительные в говорах (и проникающие в просторечье) формы *евоный* или *евойный, ейный* или *ейный, ихный* или *ихний*.

§ 158. Слияние *он (она, оно, они)* и *его (её, их)* в одну парадигму имело следствием естественное для языка «выравнивание» (т. е. аналогическое обобщение) основы единого местоимения 3-го л. Наиболее распространено отражение этого процесса в закреплении начального *j-* (исторически — основы местоимения *j-ь — j-a — j-e*) в формах **И**: *јон — јонá (јанá) — јоны (јаны, јонé)*, что является особенностью западных говоров (Псковщина, Смоленщина и Западная Брянщина) и известно всем белорусским, а также украинским диалектам. Следовательно, этот процесс относится еще к позднему древнерусскому периоду — после обособления северо-восточного (ростово-суздальского) диалекта (т. е. в XII—XIV вв.), но в памятниках отражения не нашел.

Замечательно, что диалектологами зафиксированы формы множественного числа *јон-ы, јон-е*, но не «*јон-и*», так как распространение на **И** мн. ч. показателя множественности *-и* (в результате обобщения в парадигме *их, им, ими*) — особенность бывших северо-восточных говоров, не распространяющих *j-* на формы **И**. Кодификация в качестве литературной нормы словоформы *они* (без *j-* и с *-и*) — напоминание об ориентации норм современного литературного языка на говор Москвы, сложившийся на основе бывшего северо-восточного диалекта.

На Псковщине и прилегающих территориях обобщение основы отражено и в форме **В** ед. ч. жен. р., где при форме **И** *јанá* бытует форма **В** *јану́*. Наконец, повсеместно (в западных говорах — почти исключительно) «выравнивание» основы местоимения 3-го л. отражено в утрате начального *н'* после предлогов¹, т. е. в распространении предложных сочетаний *от его, у её* (или *у ей*), *с им* (или даже *с ём*).

Диалектологический материал, таким образом, представляет убедительные свидетельства достаточно раннего (относящегося ко

¹ О закреплении *н'* после предлогов (*к нему, с ним, у нее, от них* и т. п.) см. в курсе старославянского языка,

времени формирования древнерусского языка) образования собственно личного местоимения 3-го л., включающегося в систему личных местоимений (см. формирование связанных с ним притяжательных местоимений, закрепление в функции **В** только формы **Р** — независимо от значения и отношения к категории одушевленности «замещаемого» существительного) и прочно слившегося в единую парадигму формы **И** всех родов и чисел от основы *он-* и формы остальных падежей от основы *j-*.

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КАК ЧАСТИ РЕЧИ

СОСТАВ СЧЕТНЫХ СЛОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 159. Постановка вопроса о формировании числительных как части речи отнюдь не означает, будто в древнерусском языке ко времени сложения старейших текстов не было названий отвлеченных чисел. Более того, если иметь в виду названия узловых (для принятой у славян десятичной системы счисления) чисел (1—10, 100 и далее), то их состав до 1000 (следовательно, включавший слова, необходимые для последовательного обозначения чисел вплоть до 999 999) в древнерусском языке был тот же, что и в современном, а остальные наименования, формирующиеся путем комбинации узловых, почти полностью отражены в системе наименований современного языка — с учетом закономерных (и «индивидуальных») фонетических изменений. Исключение составляет лишь название *сорок*, которого в период создания древнейших памятников не было и которое оформлялось в русском языке в исторический период, заменив более древнее *четыре-десяте* (как *трие-десяте*, откуда совр. *тридцать*).

В старых текстах, правда, встречаются еще и наименования чисел более 1000: *тьма* — 10 тыс. или 1 000 000, *легионъ* — 100 тыс., *леодръ* — 1 млн, *воронъ* — 10 млн, а также *колода* — 'бесчисленное множество'; но либо их числовое значение было слишком неопределенно (*тьма*, *колода*), либо они были заимствованиями, встречающимися в переводных текстах,

Наличие в языке названий отвлеченных чисел само по себе еще не дает оснований для выделения числительных как особой части речи. Если части речи рассматривать как лексико-грамматические разряды слов, то специфическими признаками, позволяющими в современном языке выделять числительные в особую часть речи, наряду с общесемантическими (название отвлеченного числа), оказываются лишь немногие грамматические, среди которых самым ярким является своеобразная сочетаемость числительных с существительными, а также (хотя и менее последовательно) отсутствие категорий рода и числа (и изменения по родам и числам) при наличии категории падежа, включающей числительные в группу имен. По этим признакам как особую часть речи можно выделить прежде всего так называемые количественные числительные (как определенно-количественные — *два*, *тридцать шесть* и т. д., так и неопределенно-количественные — *много*, *несколько* и т. д.), вклю-

чая отчасти и дробные, а также собирательные числительные (*двое, десятеро*), но не порядковые прилагательные (*второй, тридцать шестой*), не имеющие никаких специфических грамматических особенностей, которые отличали бы их от относительных прилагательных.

Особенность числительных как особого разряда имен в современном языке заключается в том, что, согласуясь с существительными в косвенных падежах (причем существительное в этом случае всегда в форме множественного числа: *двух столов, нескольких столов, пятерых товарищей; двум столам, нескольким столам, пятерым товарищам*), числительные в **И** (неопределенные, собирательные, а также *два, три, четыре* с неодушевленными существительными — также и в **В**) управляют существительными, которые при них всегда употребляются в **Р** единственного (при *два, три, четыре, оба*) или множественного числа: *два стола, оба стола; пять столов, несколько столов, пятеро товарищей*.

Не обладают указанными признаками, как и в древнерусском языке, числительные *один*, продолжающее сохранять омонимические связи с неопределенным местоимением (*один человек* — 'некий', *одни люди* — 'некоторые'), и, следовательно, подобно неличным местоимениям, всегда согласующееся с существительным, и *тысяча*, а также новые заимствования — существительные *миллион, миллиард* (и далее), подобно существительным, всегда управляющие **Р** мн. ч. существительных: *тысяча, тысячи, тысячью людей* и т. д. (как *группа, группы, группой людей*). С точки зрения грамматической эти наименования являются не числительными (с которыми их объединяет лишь общая лексическая семантика — название отвлеченного числа), а либо местоимениями-прилагательными: *один, одного* и т. д. (ср.: *тот, того*), либо счетными существительными. Указанные наименования чисел выпадают из системы числительных как лексико-грамматического разряда и по собственно морфологическим признакам: они имеют категории рода и числа, что для собственно числительных не характерно. Ср.: *пришло пять человек* — *пришли пять человек* — с колебаниями согласуемых слов, отражающими отсутствие рода (вообще) и числа (как грамматической категории) у числительного *пять*; *один человек* — *одна женщина, целая тысяча людей пришла* — с четким оформлением рода; *одни сутки, пять тысяч, тридцать миллионов* — с сохранением собственно числового значения в формах множественного числа.

§ 160. Если к древнерусским названиям отвлеченных чисел подойти с позиций тех признаков, по которым в современном языке числительные могут быть выделены в самостоятельный лексико-грамматический разряд имен, то необходимо отметить, что в период создания древнейших восточнославянских памятников такого разряда имен (числительное как часть речи) выделить нельзя. Все, без исключения, древнерусские названия отвлеченных чисел функционируют и характеризуются грамматическими категориями прилагательных или существительных.

Счетными прилагательными были названия чисел 2, 3, 4, которые, подобно прилагательным, всегда согласовывались с существительными в роде, числе и падеже. При этом название числа 2 согласовалось с существительным, которое, естественно, употреблялось с ним только в форме двойственного числа, следовательно, и само название числа употреблялось только в форме двойственного числа, характеризуясь флексиями местоименного склонения, и различало формы рода (мужского и женско-среднего) только в **И-В** (ср. склонение неличных местоимений):

И-В	<i>дѣв-а, дѣв-ѣ</i>	<i>об-а, об-ѣ</i>
Р-М	<i>дѣв ою</i>	<i>об-ою</i>
Д-Т	<i>дѣв-ѣма</i>	<i>об-ѣма</i>

Названия чисел 3 и 4, естественно, согласовались с существительными, которые употреблялись с ними только в форме множественного числа, следовательно, и сами счетные слова употреблялись только в формах множественного числа. Оба слова изменялись по именному склонению: название 3 — по типу основ на *-i, название 4 — по типу основ на согласный:

И	<i>трие, три</i>	<i>четыре, чѣтыри</i>
В	<i>три</i>	<i>четыри</i>
Р	<i>трии</i>	<i>чѣтырь</i>
Д	<i>триѣ</i>	<i>чѣтырьмѣ</i>
Т	<i>трии</i>	<i>чѣтырьми</i>
М	<i>трихѣ</i>	<i>чѣтырьхѣ</i>

Формам мужского рода *трие, четыре* (ср.: *гостие, камене*) в **И** были противопоставлены формы женского рода *три, четыре* (ср.: *кости, матери*; но в **В** мн. ч.: *гости, кости; камни, матери*), которые употреблялись и с именами среднего рода.

Названия чисел 5—9, т. е. *пять* (< *petь*), *шесть*, *семь* (< *sedь*; ср. порядковые прилагательные: литературное, продолжающее книжно-славянские традиции *седм-ой* и народное *семой/смый* — от *семь*), *осьмь* (литературный язык позднее кодифицировал народно-разговорную форму с протетическим *в* перед ударным начальным губным и вставочным *е*, развившимся в **И-В** после падения редуцированных в конечном сочетании согласного с сонорным: *восемь*, как *востер* < *острѣ*), *девять*, были существительными женского рода, характеризовавшимися категорией числа (но как названия единиц употреблявшимися только в формах единственного числа) и изменявшимися по типу склонения основ на *-i (как *кость*): **И-В** *пять, шесть*; **Р-Д-М** *пяти, шести*; **Т** *пятию* > *пятью, шестию* > *шестью* и т. д. (ср.: *кость, кости, костию* > *костью*). Родовая отнесенность этой группы числовых наименований нередко получает оформление в старейших памятниках, преимущественно церковнославянских: *друзою пять талантѣ* в Остр. ев.; так же *та пять лѣтъ* в Новг. гр. 1349.

Будучи существительными, названия чисел 5—9 в древнерусском языке управляли **Р** существительных, которые (как при словах со значением количества) употреблялись в форме мно-

жественного числа: **И-В** *пять коровъ* (как и *тысяча, стадо коровъ*); **Т** *пятию коровъ* (как *тысячию, стадомъ коровъ*).

Наименование числа *10* (*десять*) было существительным мужского рода, изменявшимся по числам и падежам — с окончаниями именных основ на согласный (ср. *камень*): ед. ч. **И-В** *десять*; **Р-М** *десяте*; **Д** *десяти*; **Т** *десятьмь*; мн. ч. **И** *десяте*; **Р** *десятъ* и т. д.

Название числа *100* (*съто*) было существительным среднего рода, изменявшимся по числам и падежам — с окончаниями именных основ на *-*о* (см. *село*): ед. ч. **И-В** *съто*; **Р** *съта...*; мн. ч. **И-В** *съта*; **Р** *сътъ*; **Д** *сътомъ* и т. д.

Оба слова сохраняли изменение по числам в связи с активным участием в образовании наименований десятков и сотен. А поскольку по своим морфологическим особенностям они оставались существительными, то их сочетания с названиями единиц (количество десятков и сотен) строились по тем же моделям, что и сочетания названий единиц с существительными:

Муж. р.	<i>дѣва десяти,</i>	<i>трие десяте,</i>	<i>пять десятъ</i>
Ср. р.	<i>дѣвь сътъ,</i>	<i>три съта,</i>	<i>пять сътъ</i>
ср.: ср. р.	<i>дѣвь сель,</i>	<i>три села,</i>	<i>пять сель</i>
жен. р.	<i>дѣвь тысячи,</i>	<i>три тысячъ,</i>	<i>пять тысячъ</i>

При склонении такие сочетания изменялись; при названиях чисел 2—4 необходимую падежную форму (дв. или мн. ч.) принимало существительное (*десять* или *съто*), а название единиц (количество десятков или сотен) согласовалось с ним в падеже; при названиях чисел 5—9 существительное (*десять* или *съто*) сохраняло форму **Р** мн. ч. Например, в **Т**:

	<i>дѣвьма десятъма,</i>	<i>трѣми десятъми,</i>	<i>пятию десятъ,</i>
	<i>дѣвьма сътома,</i>	<i>трѣми съты,</i>	<i>пятию сътъ,</i>
ср.:	<i>дѣвьма селома,</i>	<i>трѣми селы,</i>	<i>пятию сель,</i>
	<i>дѣвьма тысячама,</i>	<i>трѣми тысячами,</i>	<i>пятию тысячъ</i>

§ 161. Названия чисел внутри десятков и сотен в древнерусских текстах оформлены по-разному. В частности, известны аналогичные старославянским сочетания с соединительными союзами: *дѣва десяти и пять* (25), *пять десятъ да семь* (57), в том числе и в цифровом изображении, соответствующем совр. 20 и 5, 50 да 7. Трудно сказать, в какой степени такие союзные сочетания связаны с восточнославянской устно-разговорной традицией: в современной речи их следов не осталось. Более распространено обозначение составных наименований «перечислением» чисел, что сохраняется всеми современными восточнославянскими диалектами и является нормой литературного языка: *дѣва десяти пять* (совр. *двадцать пять*), *пять десятъ семь* (совр. *пятьдесят семь*).

По иному принципу обозначались числа 11—19 — указывалась единица, прибавленная к десяти: *одинъ на десяте*, *дѣва на десяте*. Объяснения этому «отклонению» от общей схемы соединения десятков с единицами (почему, например, не *десять одинъ*, *десять дѣва*, как *дѣва десяти одинъ*?) пока не найдено. Нельзя, однако, не заметить, что это своеобразие полностью соответствует греко-визан-

тийской письменной традиции обозначения чисел цифрами, когда, начиная с третьего десятка, сначала указывалось число десятков, а затем единиц (т. е. так же, как это принято в числовых обозначениях и теперь: $\cdot\overline{кв}\cdot = \text{двадцать два}$, $\cdot\overline{лд}\cdot = \text{тридцать четыре}$), а при обозначении чисел второго десятка сначала писалась цифра, обозначающая число единиц, а затем — десять: $\cdot\overline{ві}\cdot = 12$ — в точном соответствии с названием: «два и десять»; $\cdot\overline{ді}\cdot = 14$ — «четыре и десять» и т. д.

Любопытна народная традиция поименования чисел, включающих половину очередного разряда, путем «вычитания из большего» этой половины. Именно так обозначалось число 1,5: *полъ вѣтора* (совр. *полтора*) — букв. ‘половина второго (числа)’; соответственно: *полъ вѣтора съта* (совр. *полтораستا*) — ‘половина второй сотни’; так же *полъ вѣторы тысячъ* (совр. *полторы тысячи*). Так же обозначалась и ‘середина на пути к трем’: *полъ третия* (2,5); *полъ третья десяте* (гривен) в Мст. гр. — ‘половина третьего десятка’, т. е. 25.

§ 162. Специально следует отметить образования, которые в современном языке отражены как **с о б и р а т е л ь н ы е** (числительные). Очень редкие в старейших (собственно древнерусских) текстах, они функционируют как прилагательные со значением числовой совокупности, образованные от основы названия числа посредством суффикса *-ер-*: *сем-ер(о)*, *тридесят-ер(о)* и т. д. Исключение составляли образования от числовых прилагательных (т. е. от 2—4), которые не имели суффикса *-ер-* (*двое*, *трое*, *четверо*), изменялись по числам, согласовываясь с определяемым существительным, и характеризовались флексиями местоименного склонения; ср.: *единого троего б(о)га* в Мин. 1096; *въ пятерьницахъ кънижьныхъ четворьхъ* в Изб. 1073.

Единичные примеры в древнейших текстах не противоречат более регулярным показаниям старорусских деловых памятников, согласно которым собирательные числовые наименования использовались в двух случаях, что сохраняется и в системе современного языка.

1. Употребление собирательных образований при существительных, обозначающих парные предметы или совокупность предметов. Естественно, что в этом случае числовое наименование не имеет собственно собирательного значения: оно как бы «согласуется» с существительным в этом значении. В старых текстах оно и формально представлено не как собирательное, а как согласованное определение в форме множественного числа — не только в косвенных падежах (что свойственно собирательным числительным в современном языке: *дво-их*, *пятер-ых*, как *новых*), но и в **И**, что зафиксировано диалектологами в отдельных говорах и теперь. См., например, в курских челобитных начала XVII в.: *двои ворота*, *дсои жорновы*, *четверы жорновы*, *поставил... пятъры пчолы*, *отнял... семеры пчелы*. Значение собирательного образования в таких случаях хорошо разъясняется приводимыми А. А. Шахматовым

из современных говоров примерами *двои колеса* — *два колеса*: *двои* — это 'две пары'. Иными словами, *два сошника* — 'пара у одной сохи'; *двои сошники* — 'две пары', т. е. сошники двух сох. *Пятеры (семеры) пчелы* в приведенных примерах — это, конечно же, не 'пять пчел', а 'пять множеств', т. е. 'пять ульев (или роев) пчел'.

2. Употребление собирательных числовых названий при существительных, в данный период входящих (или включающихся) в категорию одушевленности, следовательно, при существительных, обозначающих людей (но никогда со словом *человѣкъ*: только *два человека, пять человекъ* и т. д.), а затем и животных, прежде всего мужского рода, что в современном нормативном литературном употреблении отразилось в невозможности сочетания собирательных числительных с существительными женского рода: *двое товарищей, но две женщины*.

Именно в этом случае наименования чисел приобретают характер собственно собирательных, что отразилось в утрате согласительной флексии в **И** ед. ч. (согласование с существительными в форме множественного числа в косвенных падежах в современном языке, соответствуя исторической форме собирательных числительных, отражает общие особенности сочетаемости числительных с существительными) и оформлении их посредством форманта *-о*, выражающего идею собирательности, множественности как единого целого (ср.: *всѣ, что у нас есть* — 'совокупность имеющегося'; ср. также: *несколько, много* и т. п., которые исторически восходят к форме среднего рода). Особенно выразительно это представлено в тех же курских грамотах XVII в.: *двое детишек, трое лошадей, четвера лошадей, шестера лошадей; Потравил свиней — семера старых да молодых осмера*; см. колебания при существительных женского рода: *Остало(сь) четверо коней да четыре коровы тридцать овец да трицетеро свињи*. Связь собирательных числовых обозначений с категорией одушевленности четко отражена в двух местных грамотах 1624 г., одна из которых является истцовой жалобой, составленной частным лицом, а другая — официальным протоколом следствия по этому иску: *А грабежу взяли четвера лошадей да четыря зипуна да чатыря топоры да чатыря шапки да чатыря потпояски бѣлых; И грабежемъ четверых лошадей да четырех зипунов да четырех топоров да четырех шапок да четырех подпоясокъ бѣлых не имывали*.

ИСТОРИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОГО ОБОСОБЛЕНИЯ СЧЕТНЫХ СЛОВ

§ 163. Исторические изменения в формах и моделях сочетаемости числовых наименований непосредственно или косвенно связаны с разрушением категории двойственного числа. Так, утрата категориальных различий между разными формами последнего компонента составных наименований *11—20, 30, 40*, где слово *десять* выступало в форме единственного, двойственного или множественного числа, но неизменно с мягким конечным согласным основы (*деся[т'] е, деся[т']и*), вело к выравниванию этих форм, постепенно

отождествлявшихся и приобретающих функцию средства образования производного числового наименования. В результате редукции, неизбежной из-за приобретения «несамостоятельности» этим компонентом прежнего сочетания, он превратился в словообразовательный суффикс, грамматические характеристики которого «подравнивались» под характеристики простых наименований с мягким согласным на конце основы. Так сложился очень заметный (в составе в целом немногочисленных «простых» названий чисел) ряд образований на [-цаг'] (орфографически *-дцать*) из [-тс'ат' < -дс'ат'] < *дѣсят(ь)* (где конечный, подвергшийся редукции гласный может восходить к *-е, -и*), совпавших по своим грамматическим характеристикам с *пять, шесть* и т. д. В этот ряд попало и простое наименование *десять*, которое стало приобретать в косвенных падежах флексии по типу *пять — двадцать*. А поскольку восходящие к основам на **-i* женского рода наименования чисел 5—9 характеризовались единством форм прямых и омонимией форм косвенных падежей (кроме Т), в процессе обособления числовых названий в самостоятельную категорию имен этот признак становится специфической особенностью их склонения, распространяющейся в разговорно-обиходной речи на весь ряд названий с компонентом *-дцать/-дѣсят(ь)*, т. е. и на названия чисел 50, 60, 70, 80, что проникает и в И-В¹:

И-В	<i>пять, десять, двенадцать, двадцать</i>	ср.:	<i>семьдесят(ь)</i>
Р-Д-М	<i>пяти, десяти, двенадцати, двадцати</i>		<i>семидесяти</i>
Т	<i>пятью, десятью, двенадцатью, двадцатью</i>		<i>семидесятью</i>

Общеславянские названия чисел 40 и 90, образованные по общей модели (*четыре десяти, девять десятъ*) и известные собственно книжным текстам (*четыре десяти лакъть нарече длъготу* в Изб. 1073; *широту четыреъ десяти* в Чуд. нов. зав.), по причинам, не совсем ясным, не были свойственны восточнославянским говорам. В текстах, более свободно отражающих особенности местной речи (в частности, деловых), рано появляются названия чисел, свойственные современному языку, но чаще числа обозначались цифрами. *Девяносто* зафиксировано по памятникам с XIV в.; *сорокъ* как название числа встречается уже в «Русской правде».

Восточнославянское название *сорок* интересно с точки зрения типологии формирования наименования отвлеченных чисел: будучи родственным слову *сорока* (ср. совр. *сорочка* — «рубашка»), оно обозначало связку необходимых для одного платья шкурок или мешок с четырьмя десятками (беличьих) шкурок, постепенно превращаясь в «специализированное» число — указание только определенного вида предметов, а затем и четырех десятков вообще. Судя по всему, исторически такой или приблизительно такой путь должны были пройти и другие числовые наименования, прежде чем они стали названиями отвлеченных чисел.

В процессе оформления числовых наименований в часть речи противопоставление форм прямого ~ косвенного падежей, наметившееся в склонении названий 5—20 (и далее), становится специфической особенностью словоизменения числительных — с тен-

¹ Именно поэтому при изучении грамматики школьникам приходится заучивать правило, согласно которому «в числительных 20, 30 мягкий знак пишется в конце, а 50—80 — в середине»; при ударении на первом компоненте (*семьдесят, восемьдесят*) мягкое произношение конечного согласного свойственно также и речи лиц, владеющих литературным языком,

денцией к утрате «особой» формы **Т**. Правда, в названиях давнего происхождения литературный язык не признает этой особенности. Но в диалектной речи, не подчиняющейся книжно-литературным нормам, «двупадежность» числовых названий свыше *четырёх* выражена очень четко: *пяти годами ране, с двадцати дружками* и т. п.; в литературном языке она отражена в названиях собственно восточнославянского происхождения, т. е. как раз в тех самых, которые не имели книжно-славянской традиции: **И-В** *сорок, девяносто*; **Р-Д-Т-М** *сорока, девяноста*; под влиянием последнего образования: *сто — ста*.

§ 164. Непосредственно с утратой категории двойственного числа связано формирование той специфики сочетания числовых названий с существительными, которая выделяет числительные в грамматической системе русского языка и определяет ряд собственно морфологических особенностей этой части речи (в частности, утрату числительными категории рода).

Разрушение категории двойственного числа имело следствием утрату грамматического значения теми формами существительных, которые употреблялись при числительном *дѣва — дѣвь* (как *оба — оба*). Усваивавшиеся речевой практикой сочетания типа *д(ѣ)ва стола — д(ѣ)вь стпнь, сель* вступали в противоречие с логическим осмыслением таких сочетаний, как обозначения множества, что подкреплялось принципиальным синтаксическим единством сочетаний с *три, четыре*, при которых существительные всегда были в форме множественного числа и которые, как и название числа 2, всегда согласовывались с существительным. То, что соотносительность названий чисел *два, три, четыре* продолжала оставаться фактом языка и после утраты категории двойственного числа, обнаруживается в «выравнивании» форм словоизменения всех трех числовых наименований, выработавших относительно единую парадигму, в которой часть флексий исторически связана с формами именного склонения слов *три(е), четыре(-и)* (постепенно утративших родовые различия в **И-В** при унифицированных формах **И-В** мн. ч. существительных), а часть явно связана с воздействием традиционных форм слова *дѣва — дѣвь*.

Необходимо отметить, что с XII в. в восточнославянских памятниках встречается в **Р-М** форма *дву*, которая по происхождению может быть связана с влиянием флексии **Р-М** дв. ч. существительных (*десяту*, как *столу, стпню, селу*) и, по мнению И. В. Ягича, возможно, является собственно восточнославянской, противостоявшей церковнославянской форме **Р-М** *двою*. Эта форма и была обобщена впоследствии как основа косвенных падежей числительного.

Как слова согласуемые, все три числовых названия усвоили омонимию **Р-М** с показателем *-х* (ср.: **Р-М** мн. ч. *нов-ы-х, тль-х*), чему способствовала старая форма **М** числительных *три, четыре*: *тре х < трьхъ, четыре-х < четьрьхъ* (соответственно и *дву-х*), и закрепили в **Д** традиционную форму тех же числительных, совпадавшую с формой согласуемых слов: *тре-м < трьмъ, четыре-м < четьрьмъ* (ср.: *нов-ы-м, тль-м*), соответственно и *дву-м*. То же следовало бы ожидать и в **Т**: *тре-ми (?) < трьми, четыр-ми (?) < четьрьми*. Действительно, такие формы в восточнославянских говорах очень распространены (как и «подстраивающаяся» под них *дву-ми*): они встречаются во многих северновеликорусских диалектах, в отдельных средне- и южновеликорусских, известны говорам белорусского языка и западноукраинским говорам. Вместе с тем восточносла-

вянские языки знают в **Т** иную форму, подтверждающую тесную связь истории парадигм числительных *два, три, четыре*: в большинстве украинских и белорусских говоров употребляются кодифицированные нормативными грамматиками этих языков формы **Т**, явно восходящие к словоформе *дѣвь-ма*, которые известны также и многим северновеликорусским и отдельным южновеликорусским говорам: *дву-ма* (укр. и бел. также *двома, двима*), *тре-ма, четыр-ма*. В результате контаминации тех и других форм развились кодифицированные затем русским литературным языком формы *дву-мя, тре-мя, четыр(ь)-мя*, встречающиеся в великорусских памятниках с начала XVI в.

Итак, в восточнославянских диалектах нет единства в склонении названий чисел 2, 3, 4; в действительности оно еще более разнообразно, чем это представлено выше (если учесть особенности, зафиксированные лишь в отдельных говорах). Но как бы ни была своеобразна парадигма склонения указанных слов, она во всех говорах является единой для рассматриваемых числовых наименований, которые, следовательно, и после утраты категории двойственного числа везде продолжали осознаваться как тесно связанные друг с другом и в грамматическом отношении противопоставленные остальным названиям чисел. Естественно в этом случае ожидать и выравнивания форм существительных в сочетаниях с *два, три, четыре*, где различия, усвоенные речевой практикой от периода существования двойственного числа и некогда определявшиеся различиями числовых (а не собственно падежных) форм в сочетаниях с *два* (дв. ч.) и *три, четыре* (мн. ч.), утратили грамматический смысл, поскольку *два* получило такое же значение множества, как и *три, четыре*. Восточнославянские памятники отражают этот процесс с XIV в., обнаруживая при этом, что распространение форм множественного числа на сочетания существительных с *два* (как с *три, четыре*) в косвенных падежах началось еще до выравнивания парадигмы склонения самих названий чисел 2, 3, 4: *изъ двою моихъ жеребьевъ, по двою лптьхъ, двьма источниками, с двьма сынми* и т. п. (как и *из трии жеребьев, по трьхъ лптьхъ, с четырьми источники*). Теперь уже неизбежным было и выравнивание форм в сочетаниях со значением **И-В**, где различия типа *(два) стола — (три, четыре) столы, (двь) стпнь — (три, четыре) стпны, (двп) лпть — (три, четыре) лпта* полностью утратили грамматический смысл и оставались фактами языковой традиции.

С точки зрения логической выравнивание форм существительных при 2, 3, 4 в **И-В** должно было осуществляться в том же направлении, что и в косвенных падежах. Поэтому вполне последовательными представляются встречающиеся в старых текстах, а также в современных диалектах и являющиеся нормативными для украинского и белорусского языков сочетания названий чисел 2, 3, 4 с формой **И-В** мн. ч. существительных: *два, три, четыре столы; две, три, четыре стены*. Отмечаемые в старейших деловых и бытовых текстах (новгородских по происхождению) сочетания типа *два лпта* (не *две лпть*), *два села*, с одной стороны, свидетельствуют о том, что очень рано (до XIII в.) в живой речи сочетания с *два* теряют значение двойственного числа и форма

числового наименования при существительном среднего рода, как и в других случаях, отождествляется с формой, обычной при существительных мужского рода; с другой стороны, на фоне сочетаний *три, четыре села, стлыны* (и *два столы*) заставляют видеть в них формы **И-В** мн. ч.

Современный русский язык нормировал иные формы существительных при числительных *два, три, четыре*, которые в парадигме склонения существительных воспринимаются как формы **Р** ед. ч. Такие сочетания прослеживаются не ранее чем с XVI в., что затрудняет локализацию их происхождения. Поскольку, однако, они являются чертой исключительно великорусской, противопоставляющей русский язык другим восточнославянским, следует предполагать, что первоначально такие сочетания формировались как особенность северо-восточного диалекта, и притом в период, когда сочетания типа *два стола* еще не вышли из употребления как традиционные, но уже утратили грамматическое значение двойственного числа.

Нетрудно заметить, что существительные с постоянным ударением на флексии характеризовались омонимией форм **Р** ед. ч. и **И-В** дв. ч.: *у столá — два столá*. Естественное осмысление таких форм после утраты категории двойственного числа как форм **Р** ед. ч. оказалось в соответствии с употреблением именно **Р** при остальных числовых наименованиях (выше 5). Это соответствие и создавало возможность «встречного» процесса выравнивания форм при *два, три, четыре*: закрепление во всех случаях формы **Р** ед. ч. существительных; а формы **И-В** мн. ч. при *три, четыре* и их распространение на сочетания с *два* создавали благоприятные условия для осуществления этого процесса условия в связи с появлением новых омоформ, которые также могли восприниматься как формы **Р** (ср.: *у корыта — три корыта, из деревни — три деревни*).

В том, что закрепление значения **Р** за формами типа *два (три, четыре) стола, корыта, деревни* было обусловлено тенденцией к распространению модели «название числа + форма **Р**» на все сочетания числовых наименований с существительными под влиянием давних конструкций типа *пять (шесть и т. д.) столов, корыт, деревень* (с **Р** мн. ч.), убеждают формы согласуемых слов при существительных, которые с конца XVI в. в периферийных текстах, отражающих колебания форм самих существительных в сочетании с *два, три, четыре*, всегда оказываются в форме **Р** мн. ч. (а не единственного). См., например, в южновеликорусских грамотах начала XVII в.: *два двара крестьянских, три топара новых* (как *пять дворов крестьянских, шесть топоров новых*); такие формы согласуемых слов сохраняются и при нормативных для приказного языка этого времени формах **И-В** мн. ч. существительных: *взяли... чатыря зипуны сермяжных да чатыря кофтаны борановых* в Курск. гр. 1627; *четыря котлы пушныхъ* в Курск. гр. 1628 (собственноручная запись частного лица). Примеры доказывают, что в великорусских говорах сочетания всех числительных в **И-В**

с формой **Р** существительных к XVII в. уже сложились как устойчивая норма.

Итак, в великорусской речи центра и в соседствующих с ней говорах наметилось сближение между двумя группами сочетаний формирующихся числительных с существительными:

И-В два (три, четыре) **новых** дома ← пять (и т. д.) **новых** домов
 но: **Р** двух (трёх, четырёх) **новых** **домов** пяти (и т. д.) **новых** **домов**
Д двум (трем, четырёх) **новым** **домам** пяти (и т. д.) **новых** **домов**

Судя по свидетельствам местных текстов (типа *трое лошадей, четверо коней, семеро свиней*) к XVII в. по той же модели стали строиться и сочетания с оформившимися собственно собирательными числительными в **И-В**, при которых существительные во всех случаях принимали форму **Р** мн. ч.; в косвенных падежах числительные в этих сочетаниях сохраняли согласование с существительными во множественном числе, что соответствовало парадигматическим отношениям сочетаний числительных *два, три, четыре* (но не *пять* и далее!) с существительными; ср.:

И-В	Р	Д (и т. д.)
два новых <i>дóма</i>	двух [новых] домов	двум [новым] домам
три новых <i>дóма</i>	трех [новых] домов	трём [новым] домам
двое гнедых <i>коней</i>	двоих коней	двоим коньям
пятеро гнедых <i>коней</i>	пятерых коней	пятерым коньям

Так формируется парадигматическая модель сочетаний числительных с существительными, в соответствии с которой в **И-В** числительное управляет **Р** существительного (ед. ч. *два дома, четыре дома* — но обязательно *новых*, ибо осознается значение множества, которое отражено на уровне плана выражения в остальных случаях: *двое коней, пять новых домов*), а в косвенных падежах согласуется с существительным, обязательно имеющим форму множественного числа (*двух домов, двоих коней, четырёх домов, четверых коней*); причем модель эта уже не связывается только с числительными *два, три, четыре* (ср.: *пятеро коней — пятерым коньям, тридцатеро коней — тридцатерым коньям*). Единство оформления модели в наиболее частотных **И-В** со всеми числительными (как *двое коней, пятеро коней*, так и *пять домов, десять домов*) постепенно ведет к ее распространению на сочетания со всеми названиями чисел и в косвенных падежах, т. е. к формированию современной сочетаемости числительных с существительными в результате взаимовлияния первоначально двух принципиально различных моделей сочетаемости: *два (три, четыре) новых дома, двое коней* ← *пять* (и т. д.) **домов**; *двум (трём, четырёх) домам, пятерым коньям* → *пяти* (и т. д.) **домам**.

§ 165. Закрепление в русском языке универсальной модели сочетаемости числительных с существительными, нормирующей принципиально разные отношения между компонентами сочетания в прямых и косвенных падежах, повлекло за собой ряд существенных изменений, связанных с морфологической характеристикой

счетных слов, как категориальной, так и формальной. В частности, употребление числовых названий при существительных всегда в форме множественного числа (даже в случаях типа *три дома нозык*) вело к утрате формирующимися числительными категориального родового значения: если в древнерусском языке *пять* (и т. д.) относилось к категории женского, *десять* — мужского, *сто* среднего рода, то утрата существительными родовых противопоставлений во множественном числе способствовала деактуализации родовых значений в группе числовых наименований, закрепившихся во фразеологизированных сочетаниях с существительными во множественном числе. Вместе с тем значение множественности стало характеристикой самих этих сочетаний, а не входящих в их состав числительных, которые как имена утратили некогда свойственную им категорию числа.

Наконец, именно синтаксическая противопоставленность сочетаний числительных с существительными в прямых и косвенных падежах способствовала категориально-морфологическому преобразованию исторически обусловленной омонимии форм косвенных падежей числовых названий типа *пять, шесть* в универсальную форму, реализующую тенденцию к двучленному противопоставлению прямого ~ косвенного падежей в формах словоизменения числительных: *пять — пяти, сорок — сорока, сто — ста* и т. д.

Таким образом, в основе развития тех грамматических особенностей, которые выделяют количественные названия (определенно- и неопределенно-количественные и собирательные) в своеобразный лексико-грамматический разряд имен — имя числительное (отсутствие категорий рода и числа, тенденция к противопоставлению в парадигме склонения форм прямого ~ косвенного падежей, способность образовывать с существительным номинативную единицу, лишенную родового и числового значения¹) лежит процесс переформления древних свободных сочетаний счетных слов с существительными во фразеологизированные сочетания определенной парадигматической модели, что, в свою очередь, явилось следствием переосмысления и переформления традиционных синтаксических конструкций разного типа (с согласованием — *два, три, четыре* и управлением — *пять* и далее) в связи с разрушением категории двойственного числа и развитием оппозиции единичности ~ множественности в системе грамматических отношений.

¹ Ср.: Из окружения *вышло двадцать бойцов*. — *Двадцать бойцов сдерживали наступление противника в течение нескольких часов*; колебания согласовательной формы, типичные в этих случаях для русского языка, обуславливаются необходимостью выделения разных семантических оттенков, а не требованиями грамматической системы: форма единственного числа именно среднего рода позволяет представить совокупность как целостное единство, в то время как форма множественного числа подчеркивает определенность количества в этом единстве.

Наиболее подробную характеристику грамматической специфики числительных в современном русском языке см.: Супрун А. Е. Имя числительное и его изучение в школе. М., 1964.

ГЛАГОЛ (СПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ)

КАТЕГОРИИ И ФОРМЫ ГЛАГОЛА В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 166. Глагол во всех его формах в плане семантическом обозначает действие или состояние: *бежать — бегать — бегу — беги, строить — построить — построенный, худеть — похудеть — худеет — похудевший* и т. д. Лексическая семантика глагола может быть выражена и именем (ср.: *бежать — бег, пробег, беготня; построить — построение, строительство; похудеть — худой, худоба*), но в отличие от имени глагол представляет действие как процесс, охарактеризованный с точки зрения времени и реальности его осуществления. Эти характеристики глагол приобретает с помощью грамматических категорий в и д а, в р е м е н и и н а к л о н е н и я, которые являются специфически глагольными, противопоставляющими глагол как часть речи именам и обеспечивающими ему роль коммуникативного центра высказывания. Более того, именно категориальная «неудоконплектованность», т. е. отсутствие хотя бы одной из указанных категорий (наклонения, а иногда и времени) лишает так называемые именные формы глагола специфически глагольных функций.

Будучи грамматическим, а в самостоятельном употреблении и содержательным центром информации, глагол соотносит ее с предметом высказывания, что обеспечивается согласовательными категориями ч и с л а и л и ц а, которые, таким образом, связаны с синтаксическими особенностями глагольной словоформы. Лексикограмматической является специфически глагольная категория з а л о г а, тесно связанная с семантикой глагольной лексемы, но оформляющаяся в синтаксических связях глагольной словоформы и лишь в неспрягаемых (именных) формах имеющая морфологические средства выражения.

Все названные категории искони присущи славянскому глаголу, в том числе и древнерусскому. Однако формы выражения этих категорий и их значимость в системе глагольных категорий и форм в древнерусском языке существенно отличались от того, что свойственно современному русскому языку, и, если опираться на показания памятников письменности, напоминали систему категорий и форм старославянского глагола.

§ 167. Категория в и д а (несовершенного ~ совершенного) — специфическая особенность славянского глагола, сложившаяся, как принято считать, на базе индоевропейских видовых отношений. Следы этих древних видовых различий, которые можно отметить в разных славянских языках внутри глаголов одного вида, по-разному характеризующих действие (типа *вести — водити, съдѣти — садити*), вполне определенно отражают несовпадение древней видовой классификации с двучленным (бинарным) противопоставлением глаголов несовершенного ~ совершенного вида в славянских языках, где несовершенный вид — это «нейтральная» характеристика процесса в отношении времени его развертывания, а

совершенный вид — уточнение временных границ осуществления процесса (обычно — окончания, реже — начала или двусторонней ограниченности; ср. совр.: *писать* — *написать*, *петь* — *запеть*, *прыгать* — *прыгнуть*).

Формирование двучленного противопоставления глаголов несовершенного ~ совершенного вида относится к эпохе, предшествующей периоду распада праславянского языка. Так что ко времени появления старейших славянских текстов видовую оппозицию глаголов следует считать вполне оформившейся. Все древнерусские и даже старославянские глаголы можно однозначно охарактеризовать как относящиеся либо к несовершенному, либо к совершенному виду, и это ни в коем случае не будет результатом «навязывания» современных видовых противопоставлений. В славянских языках все глаголы включаются в парное противопоставление по виду с одинаковой степенью регулярности, что может иметь только одно объяснение: вид как категория морфологическая, выражающаяся в противопоставлении значения неограниченности ~ ограниченности одного и того же глагольного действия или состояния во времени, сформировался окончательно до разобщения славянских диалектов, на базе которых сложились славянские языки исторического времени.

Единство всех современных славянских языков в отношении видовой корреляции (противопоставления глаголов по виду) и принципиальное единство способов видообразования заставляют сомневаться в справедливости очень распространенного мнения, будто в «исходной» системе древнерусского языка развитие двучленного (парного) противопоставления глаголов по виду еще не было завершено и не совпадало с современным: уже к концу праславянского периода оно должно было быть таким, каким воспринимается носителями всех славянских языков. Различия между системами древнерусского и современного русского языков касаются не меньшей или большей последовательности в парном противопоставлении глаголов по виду, а неодинаковой «ценности» вида в системе глагольных категорий: если в современном языке видовое значение неотделимо от временного, то в древнерусском языке вид и время выступают как категории относительно автономные, функционирующие самостоятельно. При этом вид является постоянной характеристикой глагольной основы, не предопределяющей ее временного значения и не налагающей «запрета» на образование той или иной формы.

Развитие видового противопоставления требовало стабилизации морфологических способов видообразования. Исследования последних десятилетий позволили установить, что старейшим является способ префиксации, который исторически тесно связан с глагольным словообразованием; придавая глаголу несовершенного вида значение совершенного вида, приставка образовывала производный глагол с новым значением или новым оттенком значения (ср.: несов. в. *писати* — сов. в. *дописати*, *переписати*, *подъписати*). Собственно морфологическим, не меняющим лексического значения

глагола, является способ с у ф ф и к с а ц и и, который в старейших восточнославянских памятниках представлен достаточно последовательно (ср.: сов. в. *переписать* — несов. в. *переписывать*).

§ 168. Категория в р е м е н и связана с характеристикой действия или состояния по отношению к определенной временной точке — моменту речи (в бытовом диалоге) или иному моменту, принимаемому за исходный (в повествовании). В соответствии с этим в категориально-грамматической интерпретации действительности противопоставлены три основных временных плана: момент речи или основного действия — как исходный (настоящее время), вне грамматического сознания — поступательно перемещающийся (например, на протяжении диалога или от одного события к другому — в повествовании); до (прошедшее время) или после временной «точки отсчета» (будущее время). В отличие от категории вида, характеризующей самой глагольной основой (в связи с чем видовое значение остается неизменным во всех формах одного глагола), категория времени в древнерусском языке (как и вообще в славянских языках) находит выражение в формообразующих и словоизменительных глагольных аффиксах.

Каждая конкретная языковая система может располагать (или не располагать) специальными морфологическими средствами для выделения внутри основных временных планов тех или иных частных временных отрезков. Именно таково, например, в старославянском языке противопоставление форм аориста, подчеркивающих безотносительность прошлых действий (состояний) к моменту речи (к «точке отсчета»), и перфекта, связывающих прошлое действие с моментом речи, в то время как в современном русском языке такое противопоставление осуществляется с помощью неморфологических средств. Ср.: *пришел и сразу же сел за работу* — форма *сел* подчеркивает безотносительность действия *пришел* к моменту речи; *Вот я и пришел!* — говорит вошедший, обращая внимание на завершение действия к моменту речи. Вместе с тем надо учитывать, что грамматическое время является значением глагольной формы и не обязательно совпадает с реальным (хотя и опирается на него). Так, словоформа *светят* всегда имеет грамматическое значение настоящего времени, которое совпадает с реальным настоящим, скажем, в реплике *Как ярко (сегодня) светят звезды!*, но не имеет никакого отношения к реальному моменту речи в предложении *Планеты светят отраженным светом*, где *светят* — постоянная (вневременная) характеристика планет, а не констатация наблюдаемого в данный момент явления действительности (именно поэтому невозможна фраза вроде «*Планеты светили отраженным светом*», хотя это не значит, что глагол *светить* не имеет формы прошедшего времени).

§ 169. Категория н а к л о н е н и я характеризует отношение процесса к действительности, т. е. связана с выражением м о д а л ь н ы х отношений. При этом следует учитывать, что представленный в системе языка набор форм наклонений далеко не исчерпывает возможностей выражения тех многообразных модальных значений,

необходимость в которых возникает в речевой практике. Поэтому наклонение как категорию собственно морфологическую следует отличать от синтаксической категории модальности, которая выражается как с помощью форм наклонения, так и с помощью лексических и собственно синтаксических средств, подчеркивающих реальность, гипотетичность, желательность, условность, невозможность и т. д. действия или состояния.

Категории глагола, являющегося грамматическим и содержательным центром высказывания, наглядно иллюстрируют соотношенность, но не тождественность грамматических значений и реальных отношений. Подобно тому как вид или время отражает не реальный характер или время процесса, а их оценку автором (в диалоге — говорящим), так и наклонение отражает отношение автора (говорящего) к действию, а не его реальное соответствие действительности. Например, читая в фантастическом романе фразу *На следующий день земляне познакомилась с аборигенами новой планеты*, читатель XX в. знает, что реально такого события никогда не было; но у него не вызывает «протеста» тот факт, что глагольная форма характеризует это высказывание как сообщение о реальном прошлом событии, ибо это соответствует общему модальному и временному плану романа, в котором освоение новой планеты описывается автором как реальное прошлое.

Как категория морфологическая, наклонение представлено в разных языках неодинаковым набором форм, грамматические значения каждой из которых в языках также не совпадают. В частности, сопоставительное изучение славянских языков позволяет предполагать, что исходная система праславянского языка (по крайней мере, на раннем этапе своего развития) располагала более детальным набором форм наклонения, чем это можно заметить в исторический период, по отношению к которому в славянских языках выделяется т р е х ч л е н н о е противопоставление форм категории наклонения. При этом система древнерусского языка (как и современного) отражает двухступенчатый характер средств выражения категории наклонения: р е а л ь н о м у (и з ь я в и т е л ь н о м у) наклонению, выражаемому посредством временных аффиксов (суффиксов, личных окончаний и вспомогательных глаголов различных форм прошедшего, настоящего или будущего времени), противопоставлены ирреальные наклонения (п о в е л и т е л ь н о е и с о с л а г а т е л ь н о е), каждое из которых выражалось специализированными морфологическими средствами. Таким образом, наклонение, как и время, является грамматическим значением глагольной формы, характеризующим устанавливаемое автором (говорящим) отношение действия (состояния) к действительности.

§ 170. Категории л и ц а и ч и с л а связаны с синтаксической функцией глагольной словоформы и всегда выражаются ф л е к с и я м и, присоединяемыми к формообразующим суффиксам. При этом категория лица характеризует только спрягаемые глагольные формы, функционирующие в качестве самостоятельного сказуемого или связки при именном сказуемом, а категория числа охватывает все изменяемые глагольные формы (включая именные), обеспечивая их синтаксическую связь с именем (подлежащим).

Формы лица соотносят действие (состояние), выраженное глагольной словоформой, либо с говорящим (автором) или совокупностью лиц, представляемых говорящим (1-е л.), либо с собеседником или совокупностью лиц, являющихся собеседниками или представляемых собеседником (2-е л.). У ч а с т н и к а м д и а л о г а (1 и 2-му л.) противопоставлено 3-е л., формы которого соотносят действие (состояние) с предметами или лицами, не являющимися участниками диалога; 3-е л., таким образом, понятие условное, означающее «не 1 или 2-е л.».

На протяжении истории языка категории лица и числа в плане содержания не изменились: изменения коснулись лишь ф о р м в ы р а ж е н и я лица и числа, включая утрату форм двойственного числа в связи с развитием грамматической оппозиции единственного ~ неединственного числа у существительных, которым глагольные формы подчинены на уровне синтаксических связей.

§ 171. Категория з а л о г а связана с противопоставлением действия (состояния) как а к т и в н о й функции субъекта (активный залог) и как его п р и з н а к а, не вытекающего из его активности или являющегося результатом внешнего воздействия. Из этого определения следует, что залог тесно связан с семантикой глагола и выражается в его синтаксических связях, оказываясь, таким образом, категорией лексико-грамматической.

Проблема залоговых значений и способов их выражения до сих пор не имеет общепринятой интерпретации. Пока можно лишь констатировать, что способы выражения залоговых отношений полисемантчны, а внутри общих залоговых значений можно выделить серию частных, создающих постепенный переход от значения переходности (действия, непосредственно направленного на объект, что на грамматическом уровне выражается в способности управлять **В** без предлога: *Студент читает/прочитал книгу*), которое принято связывать со значением д е й с т в и т е л ь н о г о залога, к значению страдательности (состояния, являющегося результатом внешнего воздействия: *Книга читается/прочитана студентом*), которое является «крайним» выражением пассивности и определяется как с т р а д а т е л ь н ы й залог, находящийся в прямой оппозиции к действительному залогу. Наличие ряда частных значений на пути от переходности к страдательности легло в основу популярной интерпретации залоговых значений как трехчленной системы действительного ~ средневозвратного ~ страдательного залогов — с выделением внутри средневозвратного залога серии частных значений, не имеющих специфических форм выражения.

Реализация залоговых значений — проблема лексико-синтаксическая. На уровне морфологическом выделяется лишь оппозиция действительного ~ страдательного залогов, в которой действительный залог сформлен негативно (отсутствием показателей страдательности), а страдательный залог факультативно выражается добавлением к глагольной словоформе возвратной частицы *-ся* (исторически — формы **В** возвратного местоимения) и регулярно —

формой страдательного причастия. Факультативность *-ся* как выразителя значения страдательного залога проявляется как в низкой частотности возвратных глаголов в страдательных конструкциях (в древнерусском языке они достаточно заметны лишь в настоящем времени), так и в широкой употребительности возвратных глаголов не в страдательных конструкциях (в древнерусском языке собственно страдательное значение составляет не более 20—23% от общего числа употребляющихся в текстах возвратных глаголов), т. е. не для выражения страдательного значения. Страдательные причастия являются специализированным (а исторически — древнейшим морфологическим) способом выражения залогового значения.

Исторически восходящая к местоимению частица *-ся* в древнерусских памятниках, как и в старославянских, употребляется свободно по отношению к глаголу: *И како ся моють и хвоцють ся; И то ми ся выня* в Лавр. лет. Проследить процесс закрепления *-ся* в контактной постпозиции по отношению к глаголу очень трудно, поскольку в текстах книжно-литературных эта черта продолжает сохраняться до XVII в., т. е. до тех пор, пока они ориентируются на систему церковнославянских норм, а деловые памятники, относительно редко использующие возвратные глаголы в страдательных конструкциях, в иных случаях, как правило, употребляют *-ся* непосредственно с глаголом (*воротися, убося*), в связи с чем не исключена возможность очень раннего прикрепления *-ся* к глаголу в живой речи.

ТИПЫ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВ

§ 172. Разные формы одного и того же глагольного слова (т. е. с одним и тем же лексическим и видовым значением) образуются с помощью формообразующих и словоизменяющих аффиксов от разных основ, которые, учитывая их морфологическую функцию, принято называть **формообразующими** (они не равнозначны основе каждой отдельной глагольной словоформы) и которые для подавляющего большинства глаголов не совпадают; ср. совр.: *писа-ть, писа-л(а), писа-ви-(ая), писа-н-(ы) — пиш-(ут), пиш-й-(те), пиш-уц-(ая)*. Древнерусский язык унаследовал для каждого глагола (исключая единичные случаи) две формообразующие основы, одну из которых принято называть основой инфинитива (или основой прошедшего времени, так как она еще в праславянском языке обобщила разные индоевропейские основы прошедших времен), другую — основой настоящего времени (ср.: *писа-* — *пиш-*). Основа инфинитива использовалась для производства всех спрягаемых и причастных форм прошедшего времени, а также инфинитива и супина; от основы настоящего времени образуются спрягаемые и причастные формы настоящего времени и формы повелительного наклонения. Способы образования форм зависели от типа формообразующей глагольной основы.

§ 173. Основа и н ф и н и т и в а могла оканчиваться на согласный или (чаще) на гласный, корневой или суффиксальный. По этим особенностям можно выделить пять типов основы инфинитива:

I тип — основа инфинитива, оканчивающаяся твердым корневым согласным, который еще в праславянском языке мог претерпеть различные (фонетические) изменения в образованиях с суффиксом, начинавшимся с согласного (например, в инфинитиве): *нес-ѣши*, *вед-ѣши* (ср.: *вести* < **ved-ti*, *вела* < **ved-l-a*), *пек-ѣши* (ср.: *печи* < **pek-ti*), *мог-л-а* (ср.: *мочи* < **mog-ti*). Глаголы с основой инфинитива I типа, как правило, имеют такую же основу настоящего времени (ср.: *нес-уть*, *вед-уть*, *пек-уть*, *мог-уть*), представляя единственную группу глаголов с тождественными формообразующими основами. Это тождество настолько регулярно, что редкие древние глаголы, исторически его не имевшие, в процессе развития русского языка «выровняли» отношения между обеими основами; см.: русск. *обрести* (ср. *плести*), *обрет-ши* — *обрет-ут*, ст.-сл. *обрѣсти* — *обрѣшт-ѣтъ*, цсл. *обрѣц-ут(ѣ)*.

II тип — основа инфинитива, оканчивающаяся корневым гласным (как правило, дифтонгического происхождения или входящим в сочетание дифтонгического происхождения): *би-ти*, *ду-ти*, *мы-ти*, *пль-ти*, *(по)ча-ти* (ср.: ст.-сл. *начь-ти* — *начьн-ѣтъ*), *кѣло-ти*, *моло-ти* (ср.: ст.-сл. *кла-ти*, *мль-ти*).

III тип объединяет формообразующие основы, которые в инфинитиве характеризуются суффиксом *-ну-*: *гасну-ти*, *(про)дрогну-ти*, *вяну-ти*, *(у)съну-ти*, *дуну-ти*, *мину-ти* и т. д. По особенностям образования остальных форм этот тип представлен двумя подтипами, сближение между которыми в истории русского языка настолько заметно, что в ряде случаев прежние формообразовательные отношения уже утрачены или сохраняются архаизмами, церковнославянизмами или диалектизмами.

Подтип А первоначально сохраняли основы, в которых *-ну-* присоединялся к корневному согласному: *гас-ну-*, *сѣх-ну-*, *вяну-* (< **ved-nq-*), *(у)съну-* (< **sъp-nq-*); эти основы образовывали некогда формы без *-ну-*; см. наряду с закрепившимися в современном языке разг. *гас-ну-л*, *(вы)сох-ну-л*, *дрог-ну-вший*, *(у)с-ну-вший* и т. п. архаические (в отдельных случаях единственно признаваемые литературными): *(по)гас-л-а*; *(по)гас-ший*; *(вы)сох-л-а*, *(вы)сох-ший*; *(про)дрог-л-а*, *(про)дрог-ший*; *(у)зяла* (< **ved-l-a*), *(у)вяд-ший*; диал. *(у)соп-л-а*, цсл. *(у)соп-ший*.

Подтип Б объединяет основы, в которых суффикс *-ну-* присоединен к корневному гласному (*ду-ну*, *ми-ну-* и под.); эти основы устойчиво удерживали суффикс *-ну-* во всех формах: *ду-ну-л-ѣ*, *ду-ну-вѣш-ий*; *ми-ну-л-ѣ*, *ми-ну-вѣш-ий*.

IV тип объединяет основы инфинитива, оканчивающиеся суффиксальными гласными *-ь*, *-а* (в том числе и в составе более сложных суффиксов): *вись-ь-ти* (*вись-л-ѣ*, *вись-вѣш-ий*), *лет-ь-ти*, *крич-а-ти*, *бы-ва-ти*, *слѣд-ова-ти* и т. д.

V тип — это основы инфинитива, оканчивающиеся суффиксальным гласным *-и*: *прос-и-ти* (*прос-и-л-ѣ*, *проси-вѣш-ий*), *ход-и-ти* и т. д.

§ 174. Основа настоящего времени всегда оканчивалась согласным — корневым или суффиксальным. При образовании форм аф-

фиксы (формообразующие или словоизменительные) присоединялись либо непосредственно к этой основе (без тематического гласного), либо с помощью тематического гласного *-e/-o-* или *-и-*: *нсс-е-мъ*, *нес-о-м-ый*; *люб-и-мъ*, *люб-и-м-ый*. По способу соединения аффикса с основой настоящего времени в славянской грамматической традиции принято различать глаголы нетематического спряжения, I тематического и II тематического спряжения. В соответствии с особенностями состава и способа аффиксации основы настоящего времени также представлены пятью типами ¹.

I тип — основы настоящего времени I спряжения (с тематическим *-e/-o-*), оканчивающиеся твердым корневым согласным: *нес-уть* (ср.: *нес-е-мъ*, *нес-уч-и* < **nes-o-nt-*, *нес-ь-те* < **nes-o-i-*), *бер-уть*, *стон-уть*, *(но)чьн-уть*, *пек-уть* (с чередованиями задненёбного перед гласными переднего ряда различного происхождения: *печ-е-мъ* — *пек-уч-и* — *пыц-ь-те*) и т. д. [Основы инфинитива этих глаголов могут быть различными: *нес-ти*, *брь-а-ти*, *(но)ча-ти*.]

II тип объединяет основы настоящего времени I спряжения с суффиксальным *-н-*: *гас-н-уть* (*гас-н-е-мъ*, *гас-н-уч-и*), *сѣх-н-уть* (*сѣх-н-е-мъ*, *сѣх-н-уч-и*, *сѣх-н-ь-те*), *ду-н-уть*, *ста-н-уть* и т. д. Эти глаголы, как правило, имеют основу инфинитива III типа (*гас-ну-ти*, *ду-ну-ти* и т. д.; ср.: *ста-ти* — основа инфинитива II типа).

III тип объединяет основы настоящего времени I спряжения, исторически оканчивавшиеся на *-j*, который морфологически может быть различного происхождения, (корневым или суффиксальным), а фонетически сохранялся в древнерусском языке только после гласных: *по|j-у|ть* (*по|j-е|л-мъ*; *по|j-у|ч-и*), *б|й|j-у|ть*, *лѣта|j-у|ть*, *пиш-уть* (< **pis-j-*), *плач-уть* и т. д. Разный морфологический состав основ (*poj-*, *bij-* — конечный согласный корневой; *лѣта-j-*, *пиш-* < **pis-j-* — конечный согласный суффиксальный) не влиял на способ производства форм от основы настоящего времени, что и позволяет включать их в один формообразующий тип.

IV тип объединяет основы настоящего времени II спряжения: *люб-ять* (< **ljęub-i-nti*; ср.: *люб-и-мъ*, *люб-ѣ-те*, *лю-б-и-м-ая*), *ход-ять* и т. д.

V тип традиционно связывается с нетематическими основами настоящего времени, которые в древнерусских текстах представлены пятью бесприставочными глаголами (с учетом приставочных образований таких глаголов значительно больше), известными также и старославянскому языку. Можно, однако, предполагать, что в живой речи еще в дописьменное время началось сокращение числа непродуктивных нетематических основ. Нетематическое спряжение в древнерусском языке устойчиво удерживали основы трех (бесприставочных) глаголов: *ес-мъ* (от *быти*), *да-мъ* (< **dad-mūs*), *ь-мъ* (< **jěd-mūs*), из которых два последних в отдельных формах утратили нетематический способ аффиксации (см. спряжение нете-

¹ Именно на базе формообразующих основ настоящего времени разработана классификация древних славянских глаголов, получившая, благодаря работам П. С. Кузнецова, широкую популярность в педагогической практике.

матических основ). В древнерусских памятниках письменности встречаются также отдельные нетематические формы глаголов *въмъ* (< **věd-tiis*; от *въдѣти*) и реже *има-мъ* (от *имѣти*), которые, скорее всего, следует оценивать как церковнославянизмы.

§ 175. Тот или иной тип основы настоящего времени не был однозначно связан с определенным типом основы инфинитива; напротив, в ряде случаев тип основы инфинитива «предсказывает» определенный тип основы настоящего времени. Выше указывалась такая связь основ инфинитива I типа с основами настоящего времени I типа, что вело к полному отождествлению этих основ. Все глаголы с основой инфинитива V типа обязательно имели основу настоящего времени IV типа: *ход-и-ти* — *ход-и-мъ*.

Основы инфинитива III типа, как правило, имели основу настоящего времени II типа, что также способствовало их обобщению, поскольку основы инфинитива подтипа А [*гас-ну-ти*, *дви(г)-ну-ти*] в древности имели основу настоящего времени I или III типа. Изредка это отражается в старославянских текстах и (значительно реже) в некоторых древнерусских памятниках: *движ-е-т(ѣ)*, *движ-ущ-ий* [от *дви(г)-ну-ти*; собственно в.-сл. *двин-е-тъ*, *двин-е-мъ*], *и(с)сяч-е-т(ѣ)* [от *и(с)яч-ну-ти*; русск. *иссякн-е-тъ*], *(по)гыбл-е-т(ѣ)*, *(по)гыбл-е-мъ* [от *(по)гыб-ну-ти*; русск. *погибн-е-тъ*] и др.

СИСТЕМА СПРЯГАЕМЫХ ФОРМ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 176. Древнерусские памятники письменности в своей совокупности отражают принципиально ту же систему спрягаемых форм, что и старославянские тексты, обнаруживая лишь частные отличия на уровне оформления отдельных аффиксов. При этом тексты повествовательные (не делового характера), собственно книжные, в том числе и оригинальные (включая летописи и другие литературные произведения древнерусских авторов), используют спрягаемые формы в тех же функциональных значениях, что и старославянские переводы. Более того, та же система спрягаемых глагольных форм без существенных изменений продолжала сохраняться в древнерусской повествовательной литературе вплоть до конца XVII столетия. Эту систему целесообразно сначала рассмотреть такой, как она представлена во всей совокупности памятников письменности собственно древнерусского периода (XI — XIV вв.).

Формы настоящего времени

§ 177. Формы настоящего времени, образованные от основ несовершенного ~ совершенного вида, в древнерусских текстах употребляются со значениями как настоящего, так и будущего времени: значение настоящего (актуального, т. е. совпадающего с моментом создания документа, и обычного, постоянного) времени: *Ожь ли право запираються* я даю княжю дньскамоу гривноу сьрьвра в Новг. бер. гр. XII — XIII; *На томь хрьстѣ цѣлуемъ* в Новг. гр. 1266; *А се тебе поведываемъ...* в Рижск. гр.; *Поляне бо своих оць обычаи имоуть кротокъ и тихъ* в Лавр. лет.; *То ти отьче повѣдаю...* в Новг. гр. 1296—1301; *...Из него же озера потечеть Волховъ и вътечеть в озеро великое Нево (ис) того озера внидеть устье в море Варяжское... А от Цря-*

города прити в Понотъ моря в не же **втече (т)** Днѣпръ рѣка-Днѣпръ бо потече из Оковскаго ль(са) **потечеть** на полѣдне . А Двина ис того же льса **потече (т)** а **идеть** на полунощѣ и **внидетъ** в море Варяжское. Ис того же льса **потече(т)** Волга на вѣстокъ и **втечетъ** семью десять жерелъ в море Хвалисьское в Лавр. лет.; *Како ты оу мене и чѣстьное дръво вѣзъмъ и вевериць ми не присълещи то девятое лето* в Новг. бер. гр. XI;

значение будущего времени: *А не присълещи ми полоу пята гривны а **хоцю** ти вырути* в Новг. бер. гр. XI; *Мы коня не дамы ни **продамы** его — не смеемъ* в Рижск. гр.; *Поедуть дружина Савина чадь* в Новг. бер. гр. XIII; *Идѣте съ данью домови а я **возвращюся** похожю* и еще в Лавр. лет.; *Николи же **всяду** на нь (на коня) ни **вижю** е(го) боле* в Радз. лет.; *Ожъ ли право запираются я **даю** княжю дѣньскамоу гривноу сѣрьвра **едоу*** с нимов Новг. бер. гр. XII — XIII; *Ти **даютъ** Двиноу свободноу от вѣрхоу и до низоу... От моря **даемо** (с)вободно кто **хочете** по Двине ехати оу вѣрхъ или оу низъ. Оу кого **ся избиетъ** оучанъ а любо челнъ б(ог)ъ того не даи* в Смол. гр. 1229; *Не шли отрока **ѣду** самъ и две гривны **везу*** в Бер. гр. из Ст. Руссы XIII; *Аже **будеть** полочанинъ чимъ виноватъ рижанину я за тѣмъ **не стою** своими дѣтми исправу **дамъ*** в Пол. гр. 1308; *Аще се **ся сбуде(т)** и самъ **ся кр(ь)щю*** в Лавр. лет.

Как видно из примеров, временное значение форм не обуславливалось видовым значением основы и определялось контекстом (в повествовании) или коммуникативным заданием (в юридических документах или письмах).

Некоторые примеры позволяют заметить различия в значениях форм, образованных от основ разных видов. Так, форма от основы совершенного вида *дамъ* (и т. д.) используется со значением будущего времени при указании на единичный акт, в то время как с тем же временным значением, если речь идет о долговременном предоставлении, дарении «навечно», используется форма от основы несовершенного вида *даю*. Обычное для писем и жалоб *повѣдаю* («сообщаю в настоящем документе» — явное совпадение с моментом «речи») в Рижской грамоте ок. 1300 г., содержащей перечень многочисленных нарушений договора, заменено необычным для текстов этого времени образованием с суффиксом итеративности *повѣды-ва-емъ*. Постоянство, определенность действия подчеркивается формами от основ совершенного вида *втечетъ*, *потечеть* и т. д., где никакое иное значение, кроме настоящего постоянного, не может предполагаться, что и подчеркивается формой *идеть* в ряду приставочных. Напротив, контекст не оставляет сомнений в значении будущего форм *не вижю* (вспомним эпизод с князем Олегом, который обещает, что в будущем никогда *не будет видеть* своего коня), *еду* и *везу* (= *сам приеду и привезу*), *не стою* (= *не буду защищать* неправого), *крещюся* (= *приму крещение*) и т. п. Некоторые из таких форм (на фоне более обычных со значением будущего времени форм от основ совершенного вида) очень напоминают свойственные и современному разговорному языку формы настоя-

щего времени со значением ближайшего или неизбежного будущего. То же можно заметить и в отношении формы от основы совершенного вида *не присълеши* со значением 'в течение (девяти лет) не присылаешь', где основа несовершенного вида неуместна, так как при сохранении автономности видового значения она создавала бы возможность иного смысла: 'регулярно не присылаешь'.

Интересно, что формы от основ разных видов отмечаются в одном ряду (как однородные): *Ис того же льса потечеть, а идеть на полунощье; (Не) всяду и ни вижду; Хочеть ехати и избиесться; Не стою и дамь исправу; Сбудеться и крыщюся.*

§ 178. Спряжение форм настоящего времени в древнерусском языке с точки зрения индоевропейских соответствий оказывается более архаичным, чем в старославянском. Оно представлено, как указывалось, тремя типами — I, II и нетематическим, которые различались лишь отдельными флексиями:

Число, лицо	I спряжение	II спряжение	Нетематическое спряжение
Ед. ч. 1-е л. 2-е л. 3-е л.	<i>вед-у, пек-у, зна[j]-ю</i> <i>вед-сшь, печ-сшь, зна[j]-сшь</i> <i>вед-еть, печ-еть, зна[j]-еть</i>	<i>хож-ю</i> <i>ход-ишь</i> <i>ход-ить</i>	<i>ес-мь, дамь</i> <i>ес-и, даси</i> <i>ес-ть, дасть</i>
Дв. ч. 1-е л. 2-3-е л.	<i>вед-евъ, печ-евъ, зна[j]-евъ</i> <i>вед-ета, печ-ета, зна[j]-ета</i>	<i>ход-ивъ</i> <i>ход-ита</i>	<i>ес-въ, давъ</i> <i>ес-та, даста</i>
Ми. ч. 1-е л. 2-е л. 3-е л.	<i>вед-емъ, печ-емъ, зна[j]-емъ</i> <i>вед-ете, печ-ете, зна[j]-ете</i> <i>вед-уть, пек-уть, зна[j]-ють</i>	<i>ход-имъ</i> <i>ход-ите</i> <i>ход-ять</i>	<i>ес-мъ, дамь(ы)</i> <i>ес-те, дасте</i> <i>с-уть, дад-ять</i>

Собственно флексии тематических и нетематических спряжений различались лишь в 1—2-м л. ед. ч., где нетематическое спряжение сохраняло очень древние формы. Именно под влиянием нетематического спряжения в ряде славянских языков, в том числе и в старославянском, появляется *-и* в форме 2-го л. ед. ч. тематических спряжений (*вед-е-ши, ход-и-ши* и т. д. — как результат контаминации *-шь + -си*), что обычно и в древнерусских текстах. Вряд ли, однако, *-ши* было свойственно живой речи: на основной восточнославянской территории никаких следов этой флексии нет, а *-шь* изредка отмечается уже в старейших текстах. Все это позволяет считать формы 2-го л. на *-ши* церковнославянизмами, сохранявшимися, между прочим, в качестве нормы книжно-литературного языка вплоть до XVIII в.

Древней была и флексия 1-го л. ед. ч. нетематического спряжения *-мь*, которую в древнерусских памятниках (в книжно-славянских до конца XVII столетия) сохраняли не только глаголы *есмь, дамь, пьмь*, но и *вьмь, имамь*. В живой речи формы настоящего времени первого из этих глаголов вообще вышли из употребления,

сохранив лишь выпавшую из парадигмы спряжения полубезличную словоформу *есть* со значением 'имеется, существует, наличествует' (совр. *Это у меня есть*). Два последних глагола в нетематических формах вряд ли употреблялись вне сферы литературного языка даже в древнерусское время. Глагол *видѣти* книжного (старославянского) происхождения (ср. русск. *знати*) и в языке восточнославянских текстов рано получает дублетный вариант продуктивного класса *вид-а-ти* — *вид-а [j-y]ть*. А глагол *имѣти*, впоследствии также начинающий спрягаться по продуктивному классу (*им-ѣ-ти* — *им-ѣ [j-y]ть*), в древнерусских говорах, в отличие от балканских (получивших отражение в системе старославянского языка), видимо, образовывал формы настоящего времени от основы I типа (*им-у, им-е-шь, им-е-ть*), что сохранили говоры украинского языка, закрепившие этот глагол в качестве вспомогательного в сложном будущем: *писати-му, ходити-му* и т. д. И лишь частотные глаголы *дати, ѣсти* повсеместно сохранили древнюю форму I-го л. ед. ч. (с фонетически обусловленным отвердением конечного губного согласного: *дам, ем*), а в некоторых северных говорах — и форму 2-го л. ед. ч.: *даси, еси* — *јиси*.

Все остальные формы (на синхронической оси — кроме 3-го л. мн. ч.) различаются в разных спряжениях лишь тематическим гласным (ср.: *-е-ть* ~ *-и-ть, -е-мѣ* ~ *-и-мѣ*) или его отсутствием (*-ть, -мѣ* и т. д. в нетематическом спряжении).

§ 179. Особых замечаний требуют флексии 3-го л. ед. и мн. ч., которые в древнерусских памятниках отличаются от старославянских формантом *-ть* (*несе-ть, ходи-ть* — *несу-ть, ходя-ть*; ст.-сл. *несе-тъ, нес-ѣтъ*). Этот формант (после падения редуцированных *-т'*) соответствует древним индоевропейским окончаниям 3-го л. обоих чисел и продолжает сохраняться в большинстве славянских языков, в том числе в украинском, белорусском и южновеликорусских говорах русского языка. Древнерусские книжники, даже в тех случаях, когда они переписывали с оригиналов южнославянского происхождения, начиная с «Остромирова евангелия» очень последовательно заменяли в глагольных окончаниях старославянский *-тъ* на «свой» *-ть*. Именно по этой причине нельзя приписать церковнославянскому влиянию появляющиеся с XIII — XIV вв. в московских памятниках формы 3-го л. с *-т(ѣ)*, которые в настоящее время отмечаются на территории к северу от линии, соединяющей Псков с течением средней Оки северо-восточнее Рязани¹.

Примечательно, что в ареале форм 3-го л. с формантом *-т* (твердым) реликты *-т'* (мягкого), а также форм 3-го л. без этого форманта полностью отсутствуют в говорах междуречья Волги — Москвы, включая полностью бассейн Клязьмы, т. е. на старейшей Ростово-Суздальской территории, так что создается впечатление, что именно здесь находился очаг развития новых флексий 3-го л. ед. и мн. ч. За пределами этого региона либо распространены формы на *-т'*, либо, наряду с господствующими формами на *-т*, известны также и

¹ См.: *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров*, с. 197.

формы без этого форманта и даже формы на *-m'*. В этой связи не кажется случайным, что старейшие примеры форм 3-го л. с *-mъ* встречаются именно в памятниках письменности Ростово-Суздальской земли XIII — XIV вв. (более ранних неканонических памятников этого региона не сохранилось), на территории которой формировался, в частности, говор Москвы, определивший впоследствии кодификацию в качестве нормы национального литературного языка флексий 3-го л. обоих чисел с твердым *-m*.

Вопрос о происхождении *-m(ъ)* в глагольных окончаниях давно привлекает внимание исследователей истории русского языка, ибо речь здесь идет о явлении, получившем, несмотря на первоначально узколокальное распространение, характер специфической особенности русского языка. А. И. Соболевский, А. А. Шахматов и другие исследователи высказывали мысль о фонетическом происхождении рассматриваемого явления — в результате отвердения конечного [т'] после падения редуцированных. Сама по себе возможность отвердения согласного в абсолютном конце слова, т. е. в постоянно изолированной позиции, не должна исключаться. Но в данном случае поддержать гипотезу о фонетической природе рассматриваемого явления мешают два обстоятельства. Одно из них уже было отмечено С. П. Обнорским, а затем и П. С. Кузнецовым: трудно признать фонетическим процесс, который оказался столь «избирательным» в морфологическом отношении. Это сомнение увеличивается по мере изучения системных фонологических отношений, характеризовавших древнерусские диалекты XIII — XIV вв.: именно в говорах северо-востока, где локализуется первоначальный очаг распространения твердого *-m* в глагольных флексиях, рано происходит фонологизация противопоставления твердых ~ мягких согласных, в связи с чем именно здесь конечные мягкие согласные сохраняются очень последовательно. В то же время на северо-западе категория твердых ~ мягких согласных фонем (фонетически необусловленной твердости ~ мягкости) была развита слабо, между тем как здесь (на окраинах ареала) *-m'* в глагольных флексиях (наряду с *-m*) сохраняется до настоящего времени.

Морфологическое объяснение глагольного форманта *-m* было предложено С. П. Обнорским, который попытался проверить на широком диалектологическом материале гипотезу Ф. Ф. Фортунатова о старославянском *-mъ* в окончаниях 3-го л.¹ Дело в том, что всем славянским языкам известны формы 3-го л. без *-m*, которые особенно широко распространены в 3-м л. ед. ч., но известны и во множественном числе и отмечаются уже в старейших славянских текстах: такие формы (*достои, подобаа, бжде, оузьрѣ, може, хоште, нарицаѣ* и др.) отмечены в списках Маринского, Зографского и Ассеманиева евангелий, в «Саввиной книге», в «Синайской псалтири» и особенно — в «Супрасльской рукописи». Зафиксированы они и в старейших восточнославянских памятниках: «Остро-

¹ См.: Обнорский С. П., Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953, с. 117—137.

мировом евангелии» (*напише*) и «Минее» 1095 г. (*обрлице*), причем в обоих случаях не в основном тексте, а в записях переписчиков; много их в «Изборнике» 1073 г., а также в «Изборнике» 1076 г., «Архангельском евангелии»; значительное количество форм 3-го л. настоящего времени обоих чисел без *-m(b)* отмечено в других восточнославянских памятниках XI — XIII вв. Все это вместе с распространённостью форм 3-го л. без *-t* в славянских языках (очень широкой в западнославянских языках, в сербскохорватских и словенских говорах, в болгарских, многих великорусских, а также в украинских и белорусских диалектах, где они особенно употребительны в единственном числе) заставляет относить их к праславянской эпохе.

Развивая мысль Ф. Ф. Фортунатова о происхождении старославянского *-mъ* в глагольных флексиях 3-го л. в связи с присоединением указательного местоимения *mъ* к формам без согласного форманта, С. П. Обнорский, естественно, сталкивается с необходимостью объяснить, почему славянские языки, знающие формы без *-t*, продолжают сохранять индоевропейские по происхождению формы с *-t'* (< *-tb*). Материал древнейших текстов заставляет высказать предположение, что некогда (возможно, в отдельных диалектах праславянского языка) формы без *-t* приобрели специализированное значение «неопределённости». Ср.: *Да иже горазнье сего напише* ('если кто-то напишет лучше') в записи к Остр. ев.; *А что переиде чересь срокъ* в Новг. гр. 1314; *А хто поспитъ отимати*; *А хто сии рядъ поруши*; *А буде тируну не до земли* в двинских грамотах и т. д. В тех диалектах, где такие формы со временем расширяли свою функцию, в случаях актуализации противопоставления неопределённости ~ определённости субъекта для образования «определённых» форм могло использоваться указательное местоимение *mъ*, которое, между прочим, в балканских и северо-восточных восточнославянских говорах, т. е. как раз в пределах тех славянских ареалов, где известны формы 3-го л. с *-m*, функционирует в качестве постпозитивного определённого члена (артикля) при существительных.

Гипотеза о связи северного великорусского форманта *-m* с указательным местоимением, во-первых, требует допущения, что первоначально в качестве «члена» могла употребляться не только форма мужского рода, с которой формально связан *-mъ* (именно в таком оформлении), во-вторых, что *-m* сначала должен был закрепиться в формах 3-го л. ед. ч. и лишь затем распространяться на формы 3-го л. мн. ч. Оба допущения соответствуют диалектологическому материалу. С одной стороны, в говорах от Архангельска до северных границ Рязанской области (т. е. до южной границы ареала *-m*) диалектологами неоднократно фиксировались формы 3-го л. на *-то* или *-та* (*он берётто, ходитто, идётто, сидитто* и т. д.), которые сосуществуют с формами без форманта *-m(o)* и могут интерпретироваться как результат обобщения в местном говоре различных форм члена (скажем, исторически среднего или женского рода). С другой стороны, в говорах крайнего северо-запада (в олонецких) отмечены

парадигмы спряжения с *-т* в 3-м л. ед. ч., но с *-т'* в 3-м л. мн. ч.: *несёт, хвалит*, но *несут, хвалят*.

Если согласиться с гипотезой о местоименном происхождении *-т* в глагольных флексиях, то следует исходить из признания достаточной древности форм 3-го л. без форманта *-t*, которые могли употребляться с безлично-неопределенным значением. В северо-восточных древнерусских говорах (до XIII — XIV вв.) к таким формам при необходимости подчеркивания «известности» субъекта могло добавляться местоимение *тѣ* (*та, то*), обобщенное впоследствии в качестве показателя грамматического значения 3-го л. При этом Обнорский считал возможным возводить северновеликорусский формант *-т* не обязательно к *-тѣ* (муж. р.), но в равной степени к *-та* и *-то*, где гласный, оказавшийся в постоянно заударной флексии, мог в живой речи подвергнуться редукции (подобно тому, как это произошло с возвратной частицей, закрепившейся в конце глагольной словоформы: *купал*[ас'] < *купалася*), в связи с чем *-т'* в формах множественного числа он связывал не с древней флексией 3-го л., а с редукцией формы множественного числа местоимения *ти*, сохранившей мягкий конечный согласный.

Вследствие деактуализации категории неопределенности ~ определенности противопоставление форм без *-т* и с *-т(ѣ)* теряет прежнее грамматическое основание, что ведет к превращению этого форманта в универсальный показатель значения 3-го л. В этой связи указания памятников письменности на возможность первоначального распространения *-т* как универсального показателя формы на северо-востоке приобретает важное историческое значение, так как именно здесь в говорах отсутствуют следы категории неопределенности ~ определенности и именно эти говоры соседствуют с диалектами, до сих пор сохраняющими постпозитивный изменяемый член *-(о)т, -та, -ту, -то* и т. д. Закрепившись в 3-м л. ед. ч., *-т* как универсальный показатель значения 3-го л. распространяется и на формы множественного числа. Северо-западные (олонецкие) говоры отражают состояние, когда *-т* продолжает оставаться показателем 3-го л. ед. ч. (параллельно с формами без *-т*), но еще не распространяется на формы множественного числа, где параллельно с формами без *-т* функционируют формы с *-т'*.

§ 180. Все остальные формы настоящего времени тематических спряжений сохраняются до сих пор в подавляющем большинстве восточнославянских диалектов (разумеется, с учетом закономерных фонетических изменений). Можно отметить лишь украинские, известные также юго-западным белорусским говорам, а изредка отмечаемые и в северных великорусских диалектах формы 1-го л. мн. ч. на *-мо* (*идемо, ходимо*), которые в памятниках письменности не прослеживаются. Напротив, не зафиксированы в говорах довольно рано встречающиеся в памятниках формы 1-го л. мн. ч. нетематического спряжения на *-мы* (*есмы, дамы, вьмы*), которые, возможно, являются книжно-литературной контаминацией старой формы с местоимением [*esm(ѣ) + мы*], позволяющей противопоставить формы

1-го л. ед. и мн. ч., которые должны были совпадать после падения редуцированных (ибо *есмь* > *ес[м']* > *есм*, как и *есмъ* > *есм*).

Наконец, в говорах севера зафиксированы формы 2-го л. мн. ч. с ударением на флексии: *несетѣ*, *ходитѣ*; с изменением ударного гласного в [’о]: *несетѣ*, *ходитѣ*. Время и условия развития таких форм определить невозможно.

Формы будущих времен

§ 181. Для выражения значения будущего в древнерусских текстах кроме форм настоящего времени использовались специализированные аналитические конструкции со вспомогательными глаголами. Значение абсолютного будущего выражалось конструкциями с инфинитивом спрягаемого глагола (ср. совр. русск. *буду писать*); для выражения значения относительного будущего, предшествующего другому будущему, как и в старославянском языке, использовались конструкции с причастием прошедшего времени, выражавшим «предшествование».

§ 182. Сложное будущее абсолютное (по терминологии традиционных европейских грамматик, будущее первое) в древнерусском языке выражалось сочетанием инфинитива со вспомогательным глаголом в форме настоящего (будущего простого) времени. По своей семантике оно отличалось от будущего (простого), выражавшегося формами настоящего времени, менее тесной связью с моментом речи и, главное, наличием модальных оттенков, передававшихся вспомогательным глаголом. Именно это принципиально отличает древнерусские конструкции с инфинитивом от современных форм сложного будущего времени, построенных по той же модели.

Древнерусские памятники письменности дают примеры абсолютного сложного будущего времени от глаголов обоих видов со вспомогательными глаголами *хочю* (с цсл. вариантом *хощю*), *начьну* (*почьну*), *имамь*, *буду*, из которых *буду* в сочетании с инфинитивом наименее употребителен. В парадигме сложного будущего времени, таким образом, изменялся только вспомогательный глагол:

хочю (*имамь*, *начьну*) *писати/написати*

хочешь (*имашь*, *начьнешь*) *писати/написати* и т. д.

§ 183. Использование нескольких вспомогательных глаголов, естественно, ставит вопрос о грамматическом статусе конструкций с инфинитивом: являлись ли они сложившимися аналитическими формами (частью общей глагольной парадигмы) или представляли собой свободные синтаксические сочетания со значением будущего времени (подобно совр. *стану писать*, *начну работать*).

То, что выбор одного из вспомогательных глаголов был связан с необходимостью выражения модальных значений, носителями которых являлись глаголы *хочу*, *начьну* и др., сомнений не вызывает. В ряде случаев сохранение вспомогательным глаголом своего основного лексического значения ощущается очень заметно. Например, в Лаврентьевской летописи: *Но хсчю вы почтити наутрия*

предъ людьми сеоими — значение желательности не вызывает сомнения, хотя общее грамматическое значение — ‘почту, окажу почести’; *Како азъ хочю инъ законъ прияти единъ а дружина сему смѣяться начнутъ* — при общем грамматическом значении ‘будут смеяться, засмеют’ оттенок начинательности несомненен, как и оттенок волеизъявления в конструкции с *хочю*; *Аще кто не приступитъ с утра предатися имамъ печеньгомъ* — выбор вспомогательного глагола явно обусловлен необходимостью передать оттенок неизбежности, неотвратимости последствия, если к утру не подоспеет помощь.

Известны, правда, случаи, когда мотивы выбора вспомогательного глагола, с позиций носителя современного русского языка, не столь очевидны. Так, П. С. Кузнецов указал фразу *Оуже хочемъ потерети от глада а от князя помочи нѣту* в Лавр. лет., в которой никак нельзя усмотреть оттенка желательности, но здесь надо учитывать, что модальные значения глагола *хочю* (как и других модальных глаголов) в древнерусском языке были более широкими. Это можно заметить в правовых текстах, наименее зависимых от литературно-книжных традиций и в то же время требующих однозначного понимания формулировок. Например: *Аже не отложиши лишнего съла и всякое неправды мы хочемъ богу жяловатися и темъ кто прасду любить* в Рижск. гр. — сохранение вспомогательным глаголом модального значения несомненно, но не ‘хотим, желаем’, а ‘намерены, можем, имеем право’ или ‘будем вынуждены’ (а не просто ‘будем жаловаться, пожалуемся’). См. также очень типичную формулировку в «Русской правде» (в статье о правах вдовы): *Не хотѣти ли начнутъ дѣти еи на дворъ и она начнетъ* всяко *хотѣти и сѣдѣти то творити* всяко волю а *дѣтемъ не дати* воли; если в отношении детей допустимо понимать *начнутъ не хотѣти* как указание на начальный момент (до смерти отца они не проявляли желания избавиться от матери), то в отношении самой вдовы понимать *начнетъ хотѣти*, а тем более *начнетъ сѣдѣти* как начало — невозможно, ибо она и раньше *сидела* (‘жила’) в этом доме. С точки зрения носителя современного языка парадокс здесь заключается в том, что общее значение при вспомогательном глаголе *начнстъ* — ‘по-прежнему будет хотеть жить’, следовательно, *начнетъ* — ‘проявит, обнаружит намерение, волю’. Только в этом случае получают смысл многочисленные формулировки в «Русской правде» типа *Аже начнетъ не знати у кого купилъ...* — вспомогательный глагол здесь означает ‘проявит, обнаружит (незнание)’.

Таким образом, по отношению к периоду создания древнерусских текстов можно констатировать, что значение абсолютного будущего времени выражалось сочетанием одного из модальных глаголов с инфинитивом (как несовершенного, так и совершенного вида) и противопоставлялось будущему, выражавшемуся формами настоящего времени (обоих видов), прежде всего выделением того или иного модального оттенка, который необходимо было подчеркнуть пишущему (говорящему). Иными словами, *псидстъ* (*идеть*) и *начнетъ* (*хочеть, имать*) *ити* (*пойти*) противопоставлялись не по линии

собственно временных значений, а по линии «нейтральности» ~ модальности будущего действия.

§ 184. Использование модальных глаголов для выражения значения будущего действия не является специфически древнерусской особенностью. Эта черта свойственна многим европейским языкам. Дело в том, что указание на действие в будущем само по себе уже содержит модальное значение. Если *пишу* или *написал* — это констатация реально осуществляющегося (или осуществленного) действия, то *напишу*, указывая на действие в будущем, содержит в себе стенок намерения, коль скоро в момент общения (речи) этого действия еще нет. Однако говорящий (автор) может не подчеркивать или, напротив, специально выделять модальный оттенок, связанный с осуществлением действия в будущем. Именно с этой точки зрения и должны рассматриваться различия между формами настоящего со значением будущего и конструкциями «модальный глагол + инфинитив», которые актуализируют возможность, намерение, неизбежность и т. п. действия в будущем. Так, обращение Игоря к дружинникам *Идъте съ данью до мси, а я возвращюся похожю и еще* в Лавр. лет., конечно же, означает 'намерен вернуться и еще собрать (даии)'; но Игорь в своих словах этого намерения не подчеркивает, ограничиваясь указанием на то, что именно он намерен предпринять (а не на то, что он намерен это сделать). Напротив, в заявлении осажденных *Аще кто не приступит с утра предатися имамъ печенъгомъ* (а не *предадимся*) в Лавр. лет. конструкция с модальным глаголом свидетельствует о том, что заявители специально подчеркивают неизбежность последствия, а не «бесстрастно» констатируют эту неизбежность при условии, которое сформулировано с помощью формы настоящего со значением будущего *не приступит*.

§ 185. Не составляет исключения и глагол *буду*, который в древнерусских деловых текстах встречается (в условных конструкциях) в сочетании с инфинитивом: *Аже будетъ тѣрговати смолянину съ немъщиземь, смолянину одинъхъ смолянъ на послушьство не выводити* в Смол. гр. 1223—25; *Аже будъте русину платити латинескому, а не въсхочетъ платити, то тѣ латинескому просити дѣтского у тиуна; Аже будетъ русину товаръ имати на немчини... а рубежа не дѣяти* в Смол. гр. 1229; *А чего будетъ искати мнѣ и моимъ бояромъ у новгородцевъ... а тому всему судъ дати безъ перевода* в Новг. гр. 1296—1301. Во всех случаях *будетъ*, употребляясь в безличной конструкции, подчеркивает ее условный характер и ясно обнаруживает значение 'случится, придется'. С тем же значением зафиксированы и случаи употребления формы прошедшего времени от основы *буд-*: *Аще поѣхати будяше обрину, не дадяше въпречи коня...* ['если авару случилось (приходилось) куда-то ехать...'] в Лавр. лет.

Таким образом, сочетания инфинитива с *будетъ* в еще большей степени, чем с остальными модальными глаголами, производят впечатление свободных синтаксических конструкций.

§ 186. Формы относительного будущего времени (именуемые в европейской грамматической традиции будущим сложным вторым) в соответствии со своим значением могут быть названы «предбудущим» или «преждебудущим» временем. Значение предшествования будущему очень точно отражено в этом образовании, которое представляло собой соединение основного глагола в форме действительного причастия прошедшего времени (выражение значения предшествования) со вспомогательным гла-

голом *буду* (отнесение действия или состояния, выраженного причастием, к будущему):

Ед. ч. 1-е л. *буду* (на)писал-ѣ(-а, -о)

2-е л. *будеши* (на)писал-ѣ(-а, -о)

3-е л. *будеть* (на)писал-ѣ(-а, -о)

Мн. ч. 1-е л. *будемъ* (на)писал-и(-ы, -а) и т. д.

Конструкция «*буду* + форма на -л» является довольно редкой в древнерусских памятниках: в текстах повествовательных обычно сообщается о прошлых событиях, а значение будущего в них может появляться либо при воспроизведении прямой речи, либо в формулировках правовых норм, устанавливающих, как должно поступать (в будущем). Именно поэтому свыше 80% случаев употребления рассматриваемой конструкции в памятниках XI — XIV вв. отмечены в деловых текстах (в «Русской правде» и различных договорных грамотах и завещаниях), а из остальных 20% большая часть — в Лаврентьевской летописи при изложении договоров с греками, т. е. опять-таки в юридических текстах.

Вместе с тем нельзя не отметить ряд специфических особенностей употребления конструкции «*буду* + форма на -л» в собственно древнерусских памятниках письменности. Самая яркая из них связана с тем, что все примеры рассматриваемой конструкции употреблены в придаточных предложениях — условных или иных с условным оттенком. Другая особенность связана с тем, что все конструкции «предбудущего» времени непременно содержат оттенок значения 'случится, окажется, обнаружится в будущем', который отмечается и во всех других случаях употребления *буду* (не только с причастием на -л). Так, во фразе *Аще буду б(о)гу оугодилъ. и принялъ мя будетъ б(о)гъ. то по моему о(т)шествии манастирь начнетъ строити и прибывати в не* в Лавр. лет. явно имеется в виду уже наблюдающаяся к моменту речи (создания текста) «праведная» жизнь говорящего — к будущему отнесена возможность обнаружения этого факта (т. е. 'если окажется, выяснится, что я угодил богу...'); в записи к Сузд. лет. *Оже ся гдѣ буду описалъ. или переписалъ или дописалъ. чтите исправливая* переписчик говорит о том, что уже им сделано — к будущему отнесена возможность обнаружения ошибок, описок и т. д. ('если окажется, обнаружится, что я где-то описался...'). Столь же очевидно выступает этот оттенок и в формулировках правовых статей. Например: *Паку ли боудеть что татебно коупилъ въ тѣргоу. или конь или портъ или скотиноу. то выведеть свободна мужа два или мытника* в Р. пр. — употребление «предбудущего» времени оправдано, казалось бы, тем, что сначала совершается акт купли, а затем может возникнуть необходимость доказательства этого акта (а не кражи); но в действительности статья говорит не об акте купли, а об обнаружении ворованного, и точный ее смысл — 'если окажется, что куплено ворованное, то надо представить свидетелей' (которые докажут, что куплено, а не украдено).

Указанные особенности сопровождают и иные конструкции с *буду* (без сочетания с причастием на -л). Например: *Аже убьютъ посла или попа. то двое того*

дати за голову аже не будетъ разбойниковъ. Будутьъ разбойници. выдати е в Смол. гр.1223—25 — дело явно не в том, были или не были «разбойники» (т. е. убийцы), — если есть убитый, то были и убийцы, — речь идет о том, обнаружатся ли (найдутся, окажутся ли налицо) убийцы или не обнаружатся; следовательно, и значение статьи: «...за убитого выдать двоих, если не найдутся убийцы; если же найдутся (обнаружатся) убийцы, то выдать их».

Таким образом, анализ отношений, для выражения которых древнерусские писцы использовали формы глагола *буду*, позволяет заметить один и тот же круг значений, проявляющихся в формах этого глагола не только в сочетании с причастием на *-л*, но и в сочетании с именем: возможность выявления, о б н а р у ж е н и я признака (имя) или действия (причастие на *-л*) как условие для последующих действий (в будущем). Это значение в о з м о ж н о г о в ы я в л е н и я признака в будущем как условия для последующих действий обнаруживается и в самостоятельном употреблении *буду*: *Будеть ли голоеникъ их въ вѣрви. то зане к нимъ прикладываетъ* в Р. пр. — «если будет обнаружено, что убийца из их общины...».

§ 187. Итак, хотя конструкция «*буду* + форма на *-л*» является очень устойчивой и функционирует в полном соответствии со «вторым будущим сложным» латинского, немецкого и других европейских языков («футурум экзактум» латинских грамматик), ее компоненты сохраняют свое лексическое и грамматическое значение, устанавливаемое для них вне связи друг с другом.

Только признание самостоятельности компонентов сочетания «*буду* + форма на *-л*» позволяет понять некоторые случаи его употребления не только в поздних древнерусских, но и в старославянских текстах. Например, в рассуждении Марии по «Супрасльской рукописи» *Паче съкрыжъ тайное се. еда бѣдетъ сългалъ приходивши* Мария решает скрыть от окружающих «божественное» сообщение о зачатии сына, ибо опасается, что «приходивший» (вестник божий) обманул ее. Специфичность этой фразы с грамматической точки зрения заключается в том, что если Мария обманута, то в прошлом, а к будущему относится возможность обнаружения лжи, и в приведенной фразе, таким образом, *сългалъ* предшествует тому, что выражено... глаголом *будеть*, т. е. «...если *окажется* (в будущем), что приходивший *солгал* (в прошлом)».

При учете этих временных отношений можно понять многочисленные случаи употребления конструкции «*буду* + форма на *-л*» в московских грамотах XIV — XV вв., в которых, по мнению П. С. Кузнецова, «формы преждебудущего времени совершенно ясно [?] обозначают прошлое, т. е. совершившееся до момента речи, а не будущее», что будто бы свидетельствует о начале разрушения формы¹. Например: *Тако и нынеча. што будете взяли на Москву нын е ш ѣ ни м ѣ приходом оу меня... и вам то отъдати* в Гр. 1434 — текст говорит об уже случившемся к моменту составления грамоты; *будете*, как и в приводившихся выше примерах, указывает лишь на обнаружение в будущем как условие: «если обнаружится (в будущем), что вы взяли (в прошлом)...»; *А которые мѣсти по-*

¹ Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка, с. 252.

рубежными потягли будутъ к Литвь или к Смоленску. а подать будутъ давали ко Тфери. ино имъ и н(ы)нечя тягнути по дззному в Гр. 1427 — речь идет о прежних политических связях, которые могут быть обнаружены в ближайшем будущем; при этом формы *потягли* и *давали* обозначают предшествование настоящему (а не будущему), а *будут* в обоих случаях обозначает 'если обнаружится, выявится...'. Прямая традиция в употреблении конструкции от «Супрасльской рукописи» до московских грамот XV в. совершенно очевидна. Она объясняет, почему в дальнейшем *будет* теряет формы согласования (превращается в неизменяемое модальное слово) и даже может употребляться вне всякой связи с формой на *-л* — со специализированным значением показателя у словной конструкции. См.: *А чево будетъ (я) забыла написати, и в томъ выдаетъ богъ* в Гр. 1579 ('а если окажется, что я забыла...'); *А будетъ мы учнемъ...* в Гр. 1615 ('а если случится, что мы станем...'); *А будет я ныне в Курску и мене вельно дати за приставы* в Курск. гр. 1636 ('а если выяснится, что я нахожусь в Курске...'); *А будет они в том станут запиратца...* в Моск. гр. 1642—43; *А будет тых сестръ н(а)ших которую зговорят замуж...* в Моск. гр. 1660; *Буде волею божиею меня не станеть и приказщиком моимъ после смерти моеи выдать годовое жалованье* в Моск. гр. 1678; ср. стилизацию под официально-деловой стиль *Буде же я, Обломов, пожелаю прежде времени съехать с квартиры у Гончарова*.

Предложенная интерпретация конструкций с *буду* (*будеть*), вопреки сложившимся в славистике представлениям, не позволяет видеть в примерах из текстов XV — XVII вв. противоречий с их традиционным использованием.

§ 188. Одну из причин синтаксической «самостоятельности» компонентов сочетания *буду* + форма на *-л* можно усматривать в том, что в живой речи периода формирования письменно-литературных традиций оно не употреблялось как аналитическая временная форма, хотя, возможно, и было известно в традиционных формулировках устного (так называемого обычного) народного права, касающихся правонарушений (т. е. в условной части двучленного построения). Наличие нных способов обозначения будущего времени могло способствовать специализации сочетания *буду* + форма на *-л* в качестве средства оформления именно условных конструкций. Вместе с тем наблюдения над употреблением форм с *буду* (и т. д.) в иных синтаксических сочетаниях позволяют утверждать, что эта уникальная для древней славянской глагольной системы форма — единственная простая (не аналитическая) форма со значением только будущего времени — могла сохраняться в системе древнерусского языка именно потому, что, кроме временного (грамматического) значения (которое во всех остальных случаях выражалось иначе), имела и собственное (специфическое) лексическое (или модальное) значение, определенно обнаруживаемое как в сочетании с формой на *-л*, так и в сочетании с именем (или инфинитивом), — значение возможного обнаружения признака (действия, состояния) в будущем, что и должно было отличать ее от формы настоящего времени, которая для остальных глаголов в разных конституциях существовала как форма, функционировавшая со значением и настоящего, и реального (в модальном отношении нейтрального) будущего времени. Иными словами, грамматическая специализация сочетания *буду* + форма на *-л* могла поддерживаться тем, что в восточнославянской речи при *есть* — 'имеется, существует' (соответственно *быть* — 'имелось, существовало') *будеть* — это 'обнаружится, проявится' (как *будяше* — 'случалось, приходилось'). Наконец, «самостоятельности» компонентов сочетания должно было способствовать уже наметившееся в системе древнерусского языка вос-

приятие формы на -л как выражения собственно прошедшего, следовательно, указывавшего на предшествование вне связи с *буду* (ср. параллельные конструкции с одним и тем же временным значением: *А что будет с ним погыбло...* — *А что с ним погыбло...* в Р. пр.).

Восприятие древнерусскими авторами конструкции «буду + форма на -л» как сочетания относительно независимых друг от друга форм подчеркивается наличием уже в старейших текстах, с одной стороны, дополнительных членов при форме на -л, указывающих на отнесенность признака к прошлому, предшествующему его возможному обнаружению в будущем; с другой стороны, взаимозаменяемостью причастий па -л и -н в активных и пассивных конструкциях с одним и тем же временным значением. Например: *Аже латинескый члвкъ учинить насилле свободнъ жене, а будетъ пь р е же на неи не былъ сорома. за то платити гривнъ 5 серебра. Аже будъте пь р в ь е на нъи соромъ былъ. взяти еи гривна серебра за насилле* в Смол. гр. 1229. См. страдательные причастия в сочетании с *будетъ* в условных конструкциях со значением возможного выявления признака в будущем: *Нъ оже будетъ оубилъ... ему платити.* — *Нъ оже будетъ без вины оубьен.. заплатити на нь оурокъ* в Р. пр.; в качестве однородных членов со значением «чистого предбудущего»: *Аще кто познаетъ свое что будетъ погубилъ или оукрадено оу него. поиди на сводъ* в Р. пр.; *Которая си тяжа будетъ сужона Смоленскъ... или урядили будутъ добрии мужи... не поминати того* в Смол. гр. 1229.

Формы прошедших времен

§ 189. Восстановление «исходной» древнерусской системы прошедших времен на основании всей совокупности старейших восточнославянских памятников письменности дает примерно ту же картину, что и в старославянском языке (если отвлечься от фонетических и некоторых формальных отличий): четыре образования со своими специфическими временными значениями, не зависящими от видового значения основ, — аорист, имперфект, плюсквамперфект и перфект. Впрочем, необходимо обратить внимание на то, что весь набор временных образований фиксируется лишь в текстах книжно-литературного типа, в то время как тексты делового и бытового характера (юридические акты, письма и надписи) никогда не используют имперфекта, а аорист встречается в них не чаще, чем однажды на 11—12 случаев обращения к прошлому. Традиционные временные значения различных образований прошедших времен, вполне соответствующие тем, что отмечаются в старославянских текстах, также можно проследить только в текстах книжно-литературных, в том числе и оригинальных (не списанных с южнославянских).

§ 190. Наиболее употребительная временная форма книжно-литературных повествовательных текстов, изредка встречающаяся и в деловых документах, — а о р и с т. В повествовании аорист довольно последовательно используется как средство указания на действие (состояние), целиком отнесенное к прошлому и представляемое как единый, нерасчлененный акт. Это временное значение соответствует сообщению о событиях, последовательно сменявших друг друга в прошлом, — вне связи с настоящим, что и обуславливает наибольшую употребительность аориста как в старославянских (и церковнославянских) евангельских текстах, так и в древне-

русских летописях (до 75—80% всех форм прошедших времен). См., например, в Новгородской летописи:

«Съ же Котянь бѣ тѣсть Мьстиславоу, Галгцьскомоу, и *приде* съ поклономъ съ князи половцьскыи, къ зяти въ Галичъ къ Мьстиславоу, и къ всемъ княземъ роусьскымъ, и дары *принесе* многы, кони, и вельблуды, и боуволы, и дѣвки, и *одариша* князь роусьскыхъ (...) и *възмолися* Котянь зяти своему, Мьстислав же *гося* молитися княземъ роусьскымъ (...) И такъ доумавъше много о собе, *яша* ч по гоуть... и *начаша* все пристраивати, кождо свою власть, И *поидоша* съвъкоупивъше землю всю роу(с)скоую, противоу татаромъ, и *быша* на Днѣпрѣ (...) Кизи роу(с)стни, *поидоша* за Днѣпръ, и *поидоша* вси въкоупѣ, по нихъ же *идоша* 6 днин, и *заидоша* за Калакъ рѣкоу, и *послаша* въ сторожихъ, Яроуна съ половци, а сами *сташа* ту, тѣгда же Яроунъ *сѣстоупися* с ними хотя битися, и *побѣдоша* не оуспѣвъше ни что же половци назадъ, и *потѣпташа* бежаше станы роу(с)скыхъ князь, не *оуспѣша* бо исполчитися противоу имъ, и *сѣмятшася* вся, и *бы(сть)* сѣця зла и люта».

Этот отрывок (рассказ о заключении союза с половцами — с опущением диалогов, где формы прошедших времен отсутствуют, — и описание разгрома при Калке) типичен для повествования, когда рассказчик, не останавливаясь на особенностях осуществления действия, отмечает его как один из последовательных актов, что и соответствует собственно временному значению аориста. Это значение определяет преимущественное образование форм аориста от основ совершенного вида (т. е. от основ со значением действия, ограниченного во времени). Однако независимость временного значения формы от видового значения основы не мешала образованию форм аориста от основ несовершенного вида, указывающих на действие как таковое: глагол в этом случае приобретал значение состояния, не рассматриваемого с точки зрения его проявления, а включающегося в ряд сменяющихся друг друга процессов, которыми оно и ограничено во времени. См. в приведенном отрывке форму *идоша*, получающую в ряду других форм аориста (сов. в. *поидоша*, *заидоша*, *послаша*, *сташа*) оттенок 'прошли, находились в пути, пропутешествовали' — в промежутке между другими событиями.

§ 191. Аорист в древнерусских памятниках письменности, в том числе и тех, которые могли быть переписаны с южнославянских оригиналов, в отличие от старославянского языка, представлен только обобщенной формой с нерасчлененным показателем времени, числа и лица -хъ, -хомъ, -сте, -ша и т. д. (сигматический аорист), присоединявшимся непосредственно к основам инфинитива на гласный (II—V типов) и посредством тематического -о- к основам на согласный (I типа — тематический сигматический аорист), которые во 2—3-м л. ед. ч. сохраняли форму, генетически восходящую к асигматическому аористу. Исключение представлял глагол *речи* (цсл. *рзичи*), который в древнерусских текстах в равной мере встречается в форме как тематического, так и нетематического сигматического аориста (нередко на одной и той же странице и даже в пределах одной строки). Глагол *быти* кроме «нормальной» (образованной от основы инфинитива) имел еще и форму аориста от основы *бъ*, которая функционировала со значением имперфекта.

Таким образом, представленные в древнерусских памятниках письменности формы аориста дают следующую парадигму:

Число, лицо	ОСНОВЫ II—V ТИПОВ	ОСНОВЫ I типа	Глагол речи	Глагол быти
Ед. ч. 1-е л.	<i>купи-хъ</i>	<i>нес-о-хъ</i>	<i>рекохъ, рѣхъ</i>	<i>быхъ, бѣхъ</i>
2—3-е л.	<i>купи</i>	<i>нес-е</i>	<i>рече, рече</i>	<i>бы(сть), бѣ</i>
Дв. ч. 1-е л.	<i>купи-ховѣ</i>	<i>нес-о-ховѣ</i>	<i>рекоховѣ, рѣховѣ</i>	<i>быховѣ, бѣховѣ</i>
2—3-е л.	<i>купи-ста</i>	<i>нес-о-ста</i>	<i>рекоста, рѣста</i>	<i>быста, бѣста</i>
Мн. ч. 1-е л.	<i>купи-хомѣ</i>	<i>нес-о-хомѣ</i>	<i>рекохомѣ, рѣхомѣ</i>	<i>быхомѣ, бѣхомѣ</i>
2-е л.	<i>купи-сте</i>	<i>нес-о-сте</i>	<i>рекосте, рѣсте</i>	<i>бысте, бѣсте</i>
3-е л.	<i>купи-ша</i>	<i>нес-о-ша</i>	<i>рекоша, рѣша</i>	<i>быша, бѣша</i>

§ 192. И м п е р ф е к т встречается только в книжно-литературных древнерусских текстах (в том числе и оригинальных), когда на действии (состоянии, признаке), целиком отнесенном к прошлому, необходимо сосредоточиться как таковом, а не просто констатировать его совершение. См., например, сообщение о неурожайном годе в Новгородской летописи:

«Тои ж осени мно(го) зла ся створи. поби мразъ обилъе по волости... кадъ ржи *коуп.гяхсутъ* по 10 грвиѣ. а овса по 3 грвиѣ. а рѣпѣ возъ по 2 грвиѣ. *ядяхсу* люди сосновоую кору. и листь липовѣ. и мохъ... О горѣ *бляше*. по търгоу трупиѣ. по оулицямъ трупиѣ. по полю трупиѣ. не *можаху* пси изѣдати члѣвкъ...».

Имперфект появляется в тех фрагментах текста, где рассказ о сменявших одно другое событиях (выражаемых формами аориста) прерывается описанием обстановки отдельно взятого периода прошлого. Яркий пример — сообщение «Повести временных лет» о вторжении аваров и их военных действиях в Северном Причерноморье, когда летописец специально сосредоточивает внимание на описании господства аваров над славянскими племенами (формы аориста выделены разрядкой, имперфект — курсивом):

«Въ си же времена *быша*. и обрѣ *ходиша* на Арѣкляя прѣ. и мало его не *яша*. си же обрѣ *восваху* на словѣиѣх. и *примучиша* дулѣбы. сущая словѣны. и насилье *творяху* женамъ дулѣпскимъ. Аще поѣхати *будяше* обѣрину. не *дадяхе* въпрячи коня. ни вола. но *веляше* въпрячи 3 ли 4 ли 5 ли женѣ в телѣгу. и повести обѣрна. и тако *мучаху* дулѣбы. *быша* бо обѣрѣ тѣломъ велици. и оумомъ горди. и бѣ *потреби* я. по *чроша* вси. и не *оста* ся ни единъ обѣринъ. естъ притѣча в Руси. и до сего дне. по *гибоша* аки обрѣ... по *сихъ* же *придоша* печенѣзи. паки *идоша* оугри чернии мимо Кieve».

В приведенном отрывке аорист последовательно используется при «хронологическом» изложении событий («авары *пытались* захватить Константинополь и едва не *взяли* в плен царя Ираклия, а затем *покорили* славян... в конце концов бог *истребил* их и они все *вымерли* до единого... после них *появились* печенеги, затем мимо Кieve вновь *прокочезали* угорские племена»), в то время как имперфект появляется при описании событий синхронных, относящихся к определенному периоду прошлого. Интересно при этом,

что выбор временной формы зависит не от объективного характера действия (его недлительности ~ длительности, повторяемости ~ однократности и т. п.), а от интерпретации действия в соответствии с авторскими задачами, т. е. (в более широком плане) определяется коммуникативным заданием. Так, о неоднократных (в течение не менее полувека, если верить византийским авторам VI — VII вв.) попытках аваров захватить Константинополь летописец сообщает формой аориста *ходиша* (несов. в.), поскольку в контексте его рассказа — это лишь один из этапов в ряду исторических событий, предшествовавших созданию Русского государства; по той же причине использована и форма аориста *помроша* (сов. в.), хотя полное исчезновение аваров — длительный исторический процесс. Напротив, проявление воли того или иного аварского феодала (акт сам по себе единичный) передано формой имперфекта (*не дадяше* — от основы сов. в.), так как включено в описание отношений аваров-завоевателей с одним из славянских племен. Эти факты хорошо иллюстрируют общее различие значений аориста и имперфекта, употреблявшихся для сообщения о действиях, относящихся к прошлому и не связанных с настоящим: аорист использовался, когда надо было сообщить, что это произошло; имперфект — когда надо было сообщить, что это происходило так...

§ 193. Свойственное имперфекту как временной форме внимание к действию (состоянию) как таковому обуславливало его преимущественное образование от основ несовершенного вида. Соединение имперфектного временного значения со значением несовершенного вида основы придавало форме общее значение подчеркнуто длительного, постоянного состояния, отнесенного к давнему прошлому, что особенно заметно в случаях включения имперфекта в ряд форм аориста в повествовании. Например, в Лаврентьевской летописи: *Заутра призва Игорь слы и приде на холмъ кде стояше Перунъ* — 'пригласил послов и пошел (с ними) туда, где (всегда и в то время) стояло изображение Перуна'; *Се слышавше деревляне. собращася лучыше мужи. иже держажу Дерезьску землю. и послаша по ню* — в ходе изложения последовательных событий (собрались и послали к ней, к Ольге) дается разъяснение, что речь идет о старейшинах, которые управляли (*держажу* — всегда и в то время, независимо от происходящих событий) союзом древлянских племен (специфика временного значения имперфекта хорошо ощущается при замене его аористом, что означало бы: 'собрались и стали управлять').

Древнерусские авторы тонко использовали возможности разных временных форм в художественно-литературных произведениях. Яркий пример — знаменитое «Слово о полку Игореве», например фрагмент, где рассказывается о начальном этапе похода. Литературоведы утверждают, будто автор поэмы, искажая фактическую последовательность событий, перенес солнечное затмение в начало похода, в то время как в действительности оно застало Игоря в середине пути (уже на Донце): *Тогда в ъ с т у п и Игорь князь в златъ стремянь и поьха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; ношь стонуци ему грозою птичь у б у д и; свистъ звъринъ в ъ с т а...*

Формы аориста *въступи*, *поьха*, а также *убуди*, *въста* и т. д. отнюдь не означают, что затмение отнесено к началу похода: для авторского взгляда на события

не существенно, как долго двигалось войско Игоря до затмения, поэтому о предшествующих действиях он и сообщает посредством форм аориста, представляющих эти действия как последовательные акты (собрался и поехал). Автор не перемещает, а выделяет затмение из последовательной смены событий и с помощью имперфекта (и это о самом скоротечном событии рассказа!) представляет его как фон, на котором разворачивается неудавшийся поход Игоря. С учетом использованной в поэме временной формы приобретает смысл и метафорическое описание затмения: солнце тьмою преграждает (а не освещает) Игорю путь, ибо в контексте решаемых автором идейно-художественных задач затмение — символ краха сепаратных действий героя.

§ 194. Имперфект мог быть образован не только от основ несовершенного вида, но и от основ совершенного вида (*дадьяше* — от *дати*; вероятно, *купляхуть* — от *купити*, а также *будьяше*). Образования эти относительно редки и чаще встречаются в текстах древней языковой традиции, чем в более поздних. Они сохраняют основное значение имперфекта — указание на длительное состояние в прошлом, но в сочетании с видовым значением основы приобретают специфическое значение прошлого состояния как серии повторявшихся действий, каждое из которых ограничено во времени и доведено до конца (этот последний оттенок привносится видовым значением основы). Ср. в приводившихся выше примерах: *Аще поьхати будьяше обьрину. не дадьяше въпряхи коня ни вола...* — 'всякий раз когда авару случалось куда-либо ехать, он не разрешал запрягать ни коня, ни вола...'; *Кадь ржи коупляхуть по 10 гривнъ* — в течение всего описываемого времени неоднократно 'меру ржи покупали за 10 гривен'. См. в «Слове о полку Игореве»: *Тогда пуцашетъ 10 соколов на стадо лебеднь, который дотечаше, та преди пьсь. пояше...* — форма *пуцаше(ть)* возможна и от основы *пусти-ти* (сов. в.) и от основы *пуца-ти* (несов. в.), но *дотечаше*, несомненно, от основы *дотечи* (сов. в.), поэтому обе формы позволяют воспринимать их одинаково, как указание на неоднократно повторявшиеся действия, каждое из которых однократно (Боян всякий раз заново брал инструмент и дотрагивался пальцами до струн), но вместе характеризуют действия певца, которые на протяжении определенного прошлого периода повторялись.

§ 195. Славянский имперфект представлял собой довольно ясную по составу форму, сложившуюся под влиянием аориста. В отношении флексий имперфект в древнерусских текстах отражает еще большее сближение с формами сигматического аориста, чем в старославянском языке. А в отношении особенностей образования древнерусские памятники письменности (кроме самых ранних списков со старославянских оригиналов) отражают так называемый «стяженный» имперфект, в котором на месте раннего сочетания гласных *-ĕa(x)-* в основах инфинитива I, III и IV типов оказывается *-'a(x)-* (после согласного вторичного смягчения), т. е. так же, как и в образованиях от основ V типа (где исконносмягченный согласный перед суффиксом имперфекта образовался из сочетания конечного согласного корня с **j* из суффиксального *-i-*) и тех основ I типа, где задненёбный согласный подвергся переходному смягчению перед суффиксальным гласным имперфекта. Глаголы с основой

инфинитива II типа, как и в старославянском языке, обычно образуют формы имперфекта от основ настоящего времени: *поише* от *по[ж-у]ть* (а не от *пѣти*); *дадыше* от *дад-ять* (а не от *дати*); так же и *жьняше* от *жьн-уть* (а не от *жяти*) и т. д. Основы IV типа с суффиксальным *-а-* после твердого согласного сохраняли его и в имперфекте: *писахъ* < *пис-а-ахъ*.

В 3-м л. ед. ч. и мн. ч. древнерусские книжники часто присоединяли к окончанию имперфекта *-ть*, по-видимому, из формы настоящего времени. Представленные в древнерусских текстах формы имперфекта образуют следующую парадигму:

Число, лицо	Основы I типа (исти, мочи)	Основы II—IV типов (писати, видѣти)	Основы V типа (ходити)
Ед. ч 1 е л.	<i>несяхъ, можсахъ</i>	<i>писахъ, видяхъ</i>	<i>хожахъ</i>
2—3 е л.	<i>несахъ(ть), можахъ(ть)</i>	<i>писахъ(ть), видяхъ(ть)</i>	<i>хожахъ(ть)</i>
Дв. ч 1 е л.	<i>несяловь, можаховь</i>	<i>писаховь, видяховь</i>	<i>хожаловь</i>
2—3 е л.	<i>несялѣ, можаста</i>	<i>писахѣ, видяхѣ</i>	<i>хожаста</i>
Мн. ч 1 е л.	<i>несяломъ, можаломъ</i>	<i>писахомъ, видяхомъ</i>	<i>хожаломъ</i>
2 е л.	<i>несятъ, можасть</i>	<i>писахотъ, видяхотъ</i>	<i>хожасть</i>
3 е л.	<i>несяху(ть), можалу(ть)</i>	<i>писаху(ть), видяху(ть)</i>	<i>хожаху(ть)</i>

Необходимо отметить, что формы 2—3-го л. дв. ч. и 2-го л. мн. ч. с формантом *-с-* являются особенностью древнерусских текстов и отражают сближение парадигмы имперфекта с парадигмой аориста: *несоста, куписта; несосте, куписте*. Наряду с ними известны и собственно старославянские формы с формантом *-ше-*: *несяшета, можащите, пишашета, видяшите, хожащите*. Изредка встречаются и «контаминированные» формы типа *несяш(ь)та, идяш(ь)те*.

§ 196. Аналитические временные образования перфект и плюсквамперфект принято противопоставлять синтетическим (простым) аористу и имперфекту как формы относительных прошедших времен. Противопоставление это основано на особенностях плана выражения: значение предшествования в формах аналитических прошедших времен имело внешнее выражение в действительном причастии прошедшего времени на *-л* (ср. выражение предшествования в формальном составе «предбудущего» времени: *будеть купилъ*). В плане же собственно временных значений в том смысле, в каком обычно в грамматике противопоставляются абсолютные и относительные времена (соотнесенность с моментом речи или с моментом осуществления другого действия), относительным временем был только плюсквамперфект, указывавший на прошедшее, предшествовавшее другому прошедшему (чаще аористу), а не моменту речи, т. е. обозначавший «предпрошедшее» (или «преждепрошедшее») время.

Относительное временное значение плюсквамперфекта отражено в его формальном составе: сочетание действительного причастия прошедшего времени (выражающего значение предшествования) и вспомогательного глагола *быти* в форме прошедшего времени (следовательно, указывавшего на отнесенность к прошедшему). В древнерусских текстах литературно-книжного характера, как и

в старославянских памятниках, плюсквамперфект чаще оформляется с помощью вспомогательного глагола в форме имперфекта или аориста от имперфектной основы. При этом в парадигме плюсквамперфекта по лицам изменялся только вспомогательный глагол, а причастие, в зависимости от формы подлежащего, принимало различные родовые окончания во всех числах:

Ед. ч. 1-е л.	(на)писал-ѣ(-а,-о)	бяхъ (или бьхъ)
2—3-е л.	(на)писал-ѣ(-а,-о)	бяхе(ть) (или бл)
Мн. ч. 1-е л.	(на)писал-и(-ы,-а)	бяхомъ (или бьхомъ) и т. д.

Плюсквамперфект — довольно редкая форма в текстах, поскольку употреблялся он лишь в тех случаях, когда предшествование прошедшему требовало специального выделения (при последовательном изложении событий ранее названное действие, естественно, предшествовало последующему). Ср. в Лаврентьевской летописи: *Оу Ярополка же жена грекини бл и бяхе была черницю. бл бо привел оць его Стослазъ* — формы плюсквамперфекта подчеркивают, что монашенкой жена Ярополка была раньше (до того, как стала его женой) и что Святослав привез ее в Киев до того, как ее узнал Ярополк; *И положенъ бы(сть) в стѣни Софьи. юже блъ самъ создаъ* — отсутствие формы плюсквамперфекта создавало бы бессмысленное в данном случае последование: (сначала) был захоронен в Софийском соборе, который (затем) сам построил; *И пришед Мстиславъ и(с)стиче [кыяны]. иже блъша выстѣли Всеслава* — именно форма плюсквамперфекта разъясняет, что Мстислав отомстил киевлянам за надругательство над Всеславом, а не действия киевлян были ответом на действия Мстислава; *И срубил городъ Гюргевъ. его же блъша пожгли по(ло)вци* — форма плюсквамперфекта подчеркивает, что Юрьев был восстановлен после того, как был сожжен половцами, а не сожжен после того, как был построен.

Последние примеры очень характерны для повествовательных текстов, где формы плюсквамперфекта включаются (обычно в придаточной конструкции) в ряд форм аориста, сообщающих о последовательных действиях, — при необходимости указания на более раннее действие. Например: *Володимеръ... поиде противу им. испросилъся бяхе оу Стослава* в Сузд. лет. — подчеркивается, что Владимир со своим отрядом выступил против половцев только после того, как получил на это разрешение; *Тоу же к нимь и сторожеви припхаша. их же бяхоуть послалъ языка ловитъ* в Ип. лет. — именно форма плюсквамперфекта разъясняет, что вернулись те, кого посылали (раньше), а не те, кого (затем) послали поймать пленника.

В текстах делового характера плюсквамперфект отмечен единичными примерами, представляющими иное образование, получившее в языкознании название «русского плюсквамперфекта». В этом образовании, известном и современным русским говорам, использованы в качестве вспомогательных формы перфекта глагола *быти*:

Ед. ч. 1-е л.	(на)писал-ѣ(-а,-о)	был-ѣ(-а,-о)	есмь
2-е л.	(на)писал-ѣ(-а,-о)	был-ѣ(-а,-о)	еси
3-е л.	(на)писал-ѣ(-а,-о)	был-ѣ(-а,-о)	еть
Мн. ч. 1-е л.	(на)писал-и(ы,-а)	был-и(-ы,-а)	есмѣ и т. д.

Нет сомнения в том, что живой речи был свойствен только «русский плюсквамперфект», в то время как образования с формой *бѣхъ* или *бяхъ*, безусловно, являлись принадлежностью книжно-славянского (церковнославянского) языка.

§ 197. В отличие от плюсквамперфекта п е р ф е к т по своему основному временному значению (и по происхождению) был всегда соотнесен с моментом речи, следовательно, в плане грамматического временного значения являлся «классическим» абсолютным (а не относительным) временем. Как аналитическое временное образование перфект обозначал состояние, наблюдающееся в момент речи и являющееся результатом совершенного в прошлом действия (ср. совр. *Я пришел*, если это слова вошедшего: ‘я сейчас здесь’, потому что уже выполнено соответствующее действие). Это значение отражено в формальном составе перфекта: спрягаемый глагол в форме причастия прошедшего времени (состояние как результат прошлого действия) + вспомогательный глагол в форме настоящего времени (отнесение состояния к моменту речи). В парадигме перфекта по лицам и числам изменялся вспомогательный глагол (*есмь* — *еси* и т. д.), а причастие, в зависимости от формы субъекта, изменялось по родам и числам:

Ед. ч. 1-е л.	(на)писал-ѣ(-а,-о),	есмь
2-е л.	(на)писал-ѣ(-а,-о),	еси
3-е л.	(на)писал-ѣ(-а,-о),	еть
Мн. ч. 1-е л.	(на)-писал-и(-ы,-а),	есмѣ и т. д.

Обозначая состояние как результат, перфект в старейших текстах чаще встречается от глаголов совершенного вида (где результативность подчеркивается видовым значением основы). Однако во всех старейших текстах зафиксирован и перфект от глаголов несовершенного вида: *мѣрилъ* в Надписи 1068; *баялъ* в Новг. бер. гр. XI; *велълъ есмь* в Мст. гр.; причем, как обратил внимание П. С. Кузнецов, во всех примерах форма выступает в значении собственно перфекта. Видимо, как и в других случаях, реализация временного значения перфекта не зависела от видового значения основы, которое либо подчеркивало результативность действия, определявшего наличное состояние (*Отроци Свпнълъжи. изодълълися суть оружемъ и порты. а мы нази* в Лавр. лет.), либо ограничивалось указанием на действие, следствием которого является наличное состояние: в Надписи 1068, содержащей «неглагольное» указание на результат, *В лето [1068] Глбѣ князь мѣрилъ м(оре) по леду о(т) Тѣмutorоканя до Кѣрчева 10000 и 4000 сяже(нь)* форма перфекта констатирует само действие мерщиков, наличный результат которого выражен в цифровой информации.

§ 198. В старейших текстах книжно-литературного характера перфект встречается преимущественно при передаче прямой речи, что предопределено его грамматическим значением: указание на

наличное (в момент речи) состояние — это (как и значение настоящего или будущего времени) принадлежность диалога, а не повествования. Вместе с тем перфект — абсолютно преобладающая форма в старейших деловых и бытовых текстах: иные временные образования в них либо вообще не встречаются (например, имперфект), либо обнаруживаются в редких случаях (как аорист). По мнению исследователей, преимущественное употребление перфекта здесь «вполне оправдано с точки зрения его древнего значения»¹. Действительно, деловой документ (договор, жалоба, завещание и т. п.) или частное письмо — это своего рода «письменный диалог» автора с адресатом (читателем), ориентированный на «момент речи» — время составления документа; и в нем обращение к прошлому, как и в бытовом диалоге, связано зачастую с интересами настоящего. Например, в частном письме замечание *А ныне... иную поял* (Новг. бер. гр. XI) констатирует наличный в настоящем (*ныне*) результат совершенного (в прошлом) действия, следовательно, форма перфекта закономерна. Договорная статья *А кому раздаялъ солости братъ твои Александръ... тебе техъ волости бсзъ сины не лишати* в Новг. гр. 1262—63 определенно утверждает, что в «настоящее время волости управляются теми, кому они в прошлом были даны». Фраза *А нынъ есмь увъдалъ любовь ваша празая* в заявлении полоцкого епископа 1308 г. указывает на то, что в момент речи (написания грамоты: *нынъ*) автору известно доверие горожан, что и соответствует временному значению перфекта.

И тем не менее безраздельное господство перфекта в старейших нелитературных текстах не соответствует тем значениям прошедшего, необходимость в выражении которых возникает в различных текстах. Деловой документ нередко содержит элементы повествования о прошлых событиях, где перфектному значению нет места. Так, в преамбуле к договору с Ригою (в Смол. гр. 1229) читаем:

«Того лѣ(та) коли Альбрахтъ вѣдка Ризкий оумьрлѣ. уздоумалѣ князѣ Смольнеский Мьстиславъ Двѣдвѣ снѣ. прислалѣ въ Ригоу своего лоучьшего попа. Ерьмея. и съ нимъ оумьна моужа Пангеля. и-своего горда Смольнеска. та два была послъмь оу Ризѣ. из Ригы ехали на Гочкыи берьго. тамо твердити мирь: . Оутвърдили мирь что былѣ немирно. промьжю Смольньска. и Ригы. и Готскимъ бергомъ, всемъ коупчемъ Пре сеи мирь тroudилися дѣбрии людие. Ролфо ис Кашеля б(ожи)и дворянинѣ. Тоумаше Смолняпинѣ».

В этом отрывке, который предшествует статьям договора, все прошедшие действия переданы формами перфекта, хотя ни в одном из соответствующих случаев нет значения собственно перфекта. В первой фразе *умьрлѣ* употреблено со значением плюсквамперфекта, поскольку утверждается, что ко времени переговоров епископ Альбрехт был мертв, как и во фразе *что было немирно*, напоминающей, что до того, как *утвердили мирѣ*, его не было. В последней фразе *тroudилися* употреблено со значением имперфекта, поскольку констатируется, что в прошлом на протяжении определенного периода (пока велись переговоры) над текстом договора работали пред-

¹ Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка, с. 203.

ставители сторон, и не имеет в виду результатов этой деятельности в настоящем. Остальные формы сообщают о последовательных действиях, сменявших одно другое в прошлом, т. е. использованы со значением аориста: князь *решил*, *послал* своих представителей, они *явились* в Ригу, *оттуда поехали* на Готланд и там *подписали* мирный договор.

То же и во всех случаях, где возникают условия для передачи неперфектного временного значения; например, в Рижской грамоте ок. 1300 г., где каждая из восьми жалоб («обид») содержит подробное изложение прошлых событий:

«Наш горожанинъ Фредрикъ продал челоувѣку мехъ соли... и онъ *шолъ* с темъ челоувекомъ соли весить, как то еще соли *не весили*. твои дворяне *стояли* ту у дворе. у Фредрика ключъ *взяли* силою клетьныи и *пошли* прочь. потом твои дѣтський Плосьь *пришодъ*. *рекль* Фредрику. поиди ко князю. и онъ *пошолъ* к тебе по твоему слову. и как то *пришолъ* к мостови. *рекль* Плосьь. поиди семо. здѣ князь. не ведя его к тебе княжо (н)о к собе в ыстобъку. и ту портъ с него снемъ. за шию *оковалъ* и руки и ноги и *мучилъ* его так. как то буди богу жяль. и потомъ ты дѣтський свое пославъ на его подворие и *велелъ еси* товаръ его розграбити».

И здесь используются только формы перфекта, хотя мы явно имеем дело с повествованием о последовательно сменявших одно другое (в прошлом) событиях, т. е. с условиями реализации аористного (а не перфектного) значения, прерываемого в двух случаях: *еще соли не весили* (значение плюсквамперфекта, так как уточняется, что ко времени излагаемых прошлых событий соль еще не была взвешена), *твои дворяне стояли ту* (значение имперфекта, так как события происходили «на фоне» пребывания княжеских приближенных на территории торгового двора).

Подобные факты не оставляют сомнения в том, что в сфере нелитературного творчества древнерусские писцы формами на -л (исторически — формами перфекта) могли обозначать различные прошедшие действия, в то время как авторы собственно литературных произведений для выражения временных значений стремились использовать различные временные формы. Это заставляет считать представленную в книжно-славянских текстах многочисленную систему прошедших времен литературной традицией, не распространявшейся на такую сферу письменного творчества, как деловая документация или частная записка, где изображение прошлых событий осуществлялось в соответствии с языковым чутьем пишущего.

Интересно в этом отношении созданное на рубеже XI — XII вв., но дошедшее до нас в списке XIV в. (как вставка под 1096 г. в Лаврентьевской летописи) сочинение Владимира Мономаха, в целом писанное тем же языком, что и остальные фрагменты летописи, в частности, широко использующее аорист при изображении последовательных прошлых действий (*Оусрътноша бо мя слы от брата (ти)я моего на Волзь. рѣша.. И отрядивъ я вземъ псалтырю в печали разгнухъ ю и то ми ся выня..*) и имперфект при характеристике прошлых состояний (*Яко же бо оць мой дома спдя изумляше 5 языкъ. Тако бо оць мой дьяше(ть) блжнныи*). Рассказывая о своих охотничьих приключениях, которые он перечисляет вне связи с настоящим и, вероятно, не в хронологической последовательности, автор (как и его последующие редакторы) не находит образца в известной ему литературной традиции и использует формы перфекта, которые, будучи образованы от основ разных видов, позволяют ему передать и повествовавшиеся в прошлом эпизоды, и единичные факты, что в одних случаях следовало бы сообщить с по-

мощью форм имперфекта, в других — аориста, который и появляется в конце цитируемого отрывка: ... *Тура мя 2 метала на розь(х) и с копомъ. Олень мя одинъ боль. а 2 лоси сдинъ рогама топналъ а други рогама боль. Вепрь ми на бедръ мечь о(п)тялъ. Медведь ми оу кольна подъклада оукусиль. Лютыи звьрь ско-чилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною по в е р ж е.*

В свете этих фактов приобретает смысл неуклонное возрастание частоты употребления форм перфекта от начала к концу Лаврентьевской летописи, так что за пределами «Повести временных лет» — в собственно Суздальской летописи формы эти появляются и в повествовании летописца, а не только при передаче прямой речи, причем «лишь в сравнительно небольшом числе случаев отчетливо выступает исконное значение результата завершенного в прошлом действия, отнесенного к настоящему»¹.

§ 199. Характеризуя особенности употребления форм перфекта в собственно древнерусских текстах, необходимо отметить очень ранние случаи опущения вспомогательного глагола, зафиксированные уже в старейших восточнославянских памятниках письменности. Наиболее регулярным является отсутствие вспомогательного глагола в формах 3-го л., что обусловлено его лексико-синтаксическими особенностями.

Дело в том, что в комплексе грамматических значений вспомогательного глагола заметное место занимает (кроме отнесения действия к определенному временному плану) указание на лицо и число. Так, во фразе *Почто идеши опять. поималъ еси всю дань* в Лавр. лет. отнесенность действия к собеседнику обозначена формой вспомогательного глагола *еси*, так же как и в приписке *Оже ся гдѣ буду описалъ* отнесенность действия к писцу (автору) выражена формой вспомогательного глагола *буду*. В обоих случаях вспомогательный глагол указывает еще и на единственное число. Но эта грамматическая информация избыточна, так как число выражено также и формой причастия (*псимал-ѣ, описал-ѣ*), несущего и содержательную (а не только грамматическую) информацию. Вместе с тем именно вспомогательный глагол обеспечивает соотносительность результата действия с настоящим (*еси*) или будущим (*буду*), так же как и в других образованиях вспомогательный глагол информирует об отнесенности действия или его результата к прошлому (например, в плюсквамперфекте: *бяхуть послалъ*) или к ирреальному плану (например: *А быхъ не слала къ нему слезъ* в Сл.ПИ, где форма вспомогательного глагола *быхъ* указывает на 1-е л. ед. ч. и в сочетании с формой на *-л* реализует значение сослагательного наклонения).

Таким образом, в комплексе грамматических значений вспомогательного глагола постоянно избыточным является указание на число (оно обязательно содержится и в причастии на *-л*), абсолютно необходимым — указание на время и наклонение (оно обеспечивается только вспомогательным глаголом), а указание на лицо оказывается факультативно избыточным, ибо на лицо может также указывать и подлежащее. Например, в старейшей дарственной гра-

¹ Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка, с. 218.

мсте, составленной от имени двух лиц (Мст. гр.) ввиду необходимости выделить дарителя, в тексте *А се я Всеволодъ дал есмь блюдо серебряно* появляется личное местоимение (*я*, Всеволод, а не он...), в связи с чем в комплексе грамматических значений вспомогательного глагола избыточным оказывается не только указание на число, но и на лицо. И если в 1—2-м л. подобная ситуация возникает эпизодически (личные местоимения — это только обозначения участников диалога, а потому их употребление в высказываниях, содержащих личные глагольные формы, необязательно), то в 3-м л. она обычна, поскольку 3-е л. — это указание на посторонний предмет речи, который вне частных условий общения должен быть назван; следовательно, в этом случае значение лица вспомогательного глагола оказывается избыточным с той же регулярностью, что и значение числа.

Грамматическая функция вспомогательного глагола, таким образом, сужается, и на его обязанности остается только указание на наклонение и время. И если в языке вырабатывается традиция обязательного употребления личного местоимения (выразителя значения 1-го или 2-го л.), то создаются условия для превращения вспомогательного глагола в неизменяемый показатель наклонения и времени, как это случилось с формой *будеть*, ставшей показателем условности и утратившей значение лица и числа, как это произошло с формой 3-го л. вспомогательного глагола сослагательного наклонения *бы*, превратившейся в неизменяемый показатель наклонения, или со вспомогательным глаголом «русского плюсквамперфекта», превратившимся в неизменяемый показатель *было*. То же могло бы произойти и со вспомогательным глаголом перфекта. Но тут сказалась общая судьба форм настоящего времени глагола *быти* в восточнославянских говорах.

Формы настоящего времени глагола *быти* использовались также для указания на отнесенность к моменту речи всякого признака, выраженного существительным, прилагательным или причастием. Известно, что из двух типов именного сказуемого с разными значениями настоящего времени восточнославянские языки обобщили предложения без связки, так что показателем настоящего времени (отнесенности к моменту речи) постепенно становится отсутствие связки, которая могла бы быть выражена формами *есмь*, *еси*, *есть* и т. д. По объясненным выше причинам раньше всего отсутствие связки становится нормальным в 3-м л. ед. и мн. ч. (как и двойственного числа), в то время как в 1—2-м л. связка дольше удерживалась как показатель лица (но уже не времени).

Начиная с древнейших памятников письменности типичными для древнерусского языка были предложения без *есть* и *соуть* даже тогда, когда они имели конкретное значение ('имеется в настоящий момент')¹. Естественно, что и в составе перфекта эти формы перестают употребляться в тех же синтаксических условиях, где за

¹ См.: Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка, М., 1963, с. 332.

ними оставалось только указание на отнесенность к настоящему, ибо это грамматическое значение оформляется теперь отсутствием вспомогательного глагола. Иными словами, как в предложениях типа *А кто мнѣ ратныи с тимъ ся въдаю* в Новг. гр. 1266—72 или *А мы нази* в Лавр. лет. отнесенность признака к моменту речи выражена отсутствием связки (*будеть* или *бысть*), так и в предложениях типа *Гльбѣ князь мѣрилъ м(оре) по леду* в Надписи 1068 или *Князь оуже почалъ* в Лавр. лет. значение перфекта (отнесенность результата уже совершенного действия к моменту речи) выражено отсутствием вспомогательного глагола при форме на -л (*мѣрилъ*, *почалъ*, а не *будеть мѣрилъ*, не *бѣ почалъ* или *бы почалъ*).

Формы перфекта (в значении собственно перфекта) без вспомогательного глагола фиксируются начиная с самых ранних нелитературных памятников: *мѣрилъ* в Надписи 1068; *Еже ми отьць даялъ и роди съдаяли... Поустилъ же мя а иную поялъ* в Новг. бер. гр. XI; *А ныне мя въ томъ яла кънягыни. а ныне ся дружина по мя пороучила* в Новг. бер. гр. XI—XII; то же в старейших деловых документах, например в цитированном выше отрывке из Смоленской грамоты 1229 г., где вспомогательный глагол не встречается ни разу (*оумьрлѣ*, *оуздумалѣ*, *прислалѣ*, *была*, *ехали*, *оутвърдили*, *было*, *трудоудили* и далее *оурядили*, *было*); ср. в Договоре Новгорода с ганзейскими городами 1262—63 гг.: *А се старая наша правда. и грамота. на чемъ цѣловали оци ваши и наши кр(с)тѣ*. Формы 3-го л. без вспомогательного глагола встречаются и в книжно-литературных текстах: *прислала... Словньска земля, нахазалъ Мефодии, казалъ црѣ, заповѣдала Ольга* в Лавр. лет.; см. формы без вспомогательного глагола в приводившемся ранее отрывке из сочинения Мономаха: *метала*, *болѣ*, *о(т)тялѣ*, *оукусилѣ*, *скочилѣ*; *То бо были рати*; *А братцю моему судѣ пришелѣ* и др.

Старейшие деловые тексты дают примеры перфекта без вспомогательного глагола также и в 1—2-м л. при условии употребления личного местоимения: *А язъ далѣ роукою своею* в Мст. гр.; *Я Ивана ялѣ* в Новг. бер. гр. XII; *Язо ти олово попродала и свинеце*; *Я заплатилѣ 20 грвенѣ. а ты свобонѣ* в Новг. бер. гр. XIII (нет связки и при именном сказуемом); *Мы ваше братие не обидѣли ни грабили тозара силою без правды как то ты княжо днешь... Ты его товарѣ со розбоиниковымъ товаръмъ узялѣ... То ты ему не далѣ Ты не велелѣ гостеви съ гостемъ торговати... И ты ему велелѣ продати... Ты реклѣ княжо...* в Рижск. гр.

Наличие в старейших нелитературных текстах вспомогательного глагола (не в 3-м л.) обычно связано с отсутствием личного местоимения: *Оже то еси казале Несѣдѣ въвиричь тихѣ дѣля. коли то еси приходиле въ Роусѣ съ Лазѣвкъмѣ. тѣгѣдѣ възяле оу мене Лазѣвке* в Новг. бер. гр. XI—XII (в 3-м л. без вспомогательного глагола); *А иных грамотѣ у насъ нѣтуть. ни потаили есмы* в Новг. гр. 1262—63; *Княжо. то еси неправду дѣялѣ. забылѣ еси княжо своего крестнаго челования... И ты имѣ выдавѣ розбоиника. потомъ шолѣ еси у розбоиникову клетѣ... товарѣ еси розбоиниковѣ взялѣ и иныхъ людий товарѣ былѣ тутотѣ и то поималѣ еси княжо... И потомъ*

княжо ты на другии день емъ его оковалъ и държалъ его еси дотого же дне (...). Ныне новую правду ставишь как то есме не чювали отъ отчовъ ни отъ дъдовъ... Тимъ словомъ не дослужилъ еси ся того коня в Рижск гр.; Упомни цто есмь платилъ серебро перьдо тобою Давыду. А тогды улицанъ поминалъ в Новг. бер. гр. XIII—XIV (в 3-м л. мн. ч. без вспомогательного глагола); Оже еси продало порты а купи ми жита за 6 гривено. Али цего еси не продало а послы ми лицеме. Али еси продало а добро сътворя оукоупи ми жита в Вит. бер. гр.; А нынъ есмь увъдалъ любозъ ваша в Пол. гр. 1308; Промиловалъ еси оже еси не ставилъ послуховъ; Яко не въдалъ еси оже есть холопъ в Р. пр.

На фоне последовательного «опущения» вспомогательного глагола в 3-м л. и в 1—2-м л. при наличии местоимения приведенные примеры позволяют предполагать, что для древнерусских авторов XI—XIII вв., не искушенных в книжно-славянском языке, вспомогательный глагол при причастии на -л был функциональным эквивалентом личного местоимения, т. е. я и есмь, ты и еси, мы и есмы (есме) функционировали как равнозначные показатели лица.

Тезис о синтаксической синонимии я — есмь (и т. д.) можно проиллюстрировать отрывком из Рижской грамоты ок. 1300 г., где формы со значением аориста (а не перфекта), т. е. указывающие на последовательные прошлые действия 2-го л. вне связи с настоящим, сопровождаются формой еси, замещающей местоимение ты: И ты имъ выдавъ розбоиника потомъ шолъ еси у розбоиникову клетъ товаръ еси розбоиниковъ взялъ... и то поималъ еси; Мы тебе псевдываемъ 4-ю обиду в чомъ то еси неправду дъялъ, как то ныне новую правду ставишь как то есме не чювали отъ отчовъ ни отъ дъдовъ ни отъ прадыдовъ нашихъ — выделенные формы не имеют никакой связи с моментом речи и относят действия полностью к прошлому (в последнем случае — очень давнему), а еси и есме соотносят их с разными лицами.

Об очень ранней утрате глагольности формами есмь, еси (и т. д.) свидетельствует и постановка отрицания при форме на -л (а не при «вспомогательном глаголе», как это наблюдается в аналитических формах), что в пелитературных текстах (в отличие от старославянских) фиксируется начиная с самых ранних: еси не взялъ в Новг. бер. гр. XI—XII; А иных грамотъ у насъ нѣтъ ни потаили есмы не въдаем в Новг. гр. 1262—63, как и во всех документах XIII в.: оже еси не ставилъ послуховъ, не въдалъ еси, али цего еси не продало, есме не чювали, не дослужилъ еси ся. Очевидно, для древнерусских авторов постановка отрицания перед вспомогательным глаголом была невозможна, если он по своей функции был равнозначен местоимению: не еси ставилъ, видимо, означало бы 'не ты ставил'.

Таким образом, сопоставление функции перфекта в книжно-литературном языке и в языке деловых и бытовых текстов периода создания старейших древнерусских памятников письменности (XI—XIV вв.) позволяет считать, что многочленная система прошедших времен со строгим разграничением между ними частных временных значений — это особенность системы книжно-литературного языка Древней Руси, в то время как в живой речи прежний перфект уже приобретал функцию универсальной формы, служащей для выражения различных оттенков значения прошедшего времени. В это же время вспомогательный глагол в составе перфекта явно утрачивает значение предикативного центра (средоточия глагольных категорий), сохраняя за собой только значение лица (и числа),

которое в определенных синтаксических контекстах оказывается избыточным, что создает условия для полной утраты вспомогательного глагола и преобразования бывшего перфекта в синтетическую форму прошедшего времени.

Повелительное наклонение

§ 200. Оба древнерусских ирреальных наклонения (повелительное и сослагательное) в отличие от реального (изъявительного) не имели временных форм и характеризовались специальными морфологическими средствами, в частности собственными парадигмами.

Повелительное наклонение функционирует как средство побуждения к действию (или принятию состояния), т. е. модально по своему значению и связано с планом будущего. В древнерусском языке оно образовывалось от основ настоящего времени посредством суффиксов *-ь-* (для основ I—II типов) и *-и-* (для основ III—V типов) и имело одну общую для всех основ форму единственного числа на *-и* (*нес-и*, *стан-и*, *пиш-и*, *прос-и*) дифтонгического происхождения (поэтому после задненёбных: *моз-и*, *ньц-и*, *рьц-и* от основ *мог-*, *пек-*, *рек-*). Глаголы *дати*, *исти*, *видѣти* сохраняли в единственном числе своеобразную форму: *дажь* (от *дад-*), *пжъ* (от *пд-*), *вижь* (от *вид-*), соответствовавшую старославянским (и церковнославянским) *даждь*, *яждь*, *виждь*, а также *виждь* [от *видѣти*; в текстах нецерковнославянских только (*по*)*вѣдаи-те*]. Соотнесенность повелительного наклонения с планом будущего отражена в том, что глагол *быти* — единственный, имевший специальную форму будущего времени, отличную от формы настоящего (*буду* и т. д.), — образовывал формы повелительного наклонения от основы будущего (а не настоящего) времени: *буд-и*, *буд-ь-те*.

Обозначая побуждение к действию, повелительное наклонение является принадлежностью диалога, а потому не имеет специальных форм 3-го л., а в единственном числе не имеет также и формы 1-го л. (обычно говорящий сам себя к действию не побуждает):

Число, лицо	Основы I—II типов	Основы III—V типов
Ед. ч.	<i>нес-и</i> , <i>моз-и</i>	<i>пиш-и</i> , <i>праз-и</i> , <i>дажь</i>
Дв. ч. 1-е л.	<i>нес-ь-вѣ</i> , <i>моз-ь-вѣ</i>	<i>пиш-и-вѣ</i> , <i>праз-и-вѣ</i> , <i>дад-и-вѣ</i>
2-е л.	<i>нес-ь-та</i> , <i>моз-ь-та</i>	<i>пиш-и-та</i> , <i>прав-и-та</i> , <i>дад-и-та</i>
Мн. ч. 1-е л.	<i>нес-ь-мъ</i> , <i>моз-ь-мъ</i>	<i>пиш-и-мъ</i> , <i>прав-и-мъ</i> , <i>дад-и-мъ</i>
2-е л.	<i>нес-ь-те</i> , <i>моз-ь-те</i>	<i>пиш-и-те</i> , <i>прав-и-те</i> , <i>дад-и-те</i>

Принято считать, что форма единственного числа повелительного наклонения имела значение как 2-го, так и 3-го л. Однако это встречается только в связи с «побуждением» к действию божественной силы. Например: *Данъ емоу г(осподь) б(огъ) бл(агословен)ие с(вя)тыхъ евангелистъ* в записи к Остр. ев. — в этой фразе *господь богъ* не обращение (иначе было бы *господи боже*), а подлежащее; *А б(огъ) боуди за тѣмъ и с(зя)тая б(огороди)ца* в Мст. гр. Во всех остальных случаях побуждение, имеющее в виду вполне реальное 3-е л. в единственном числе выражалось, как и в остальных числах, описательно,

§ 201. В текстах книжно-литературного характера повелительное наклонение, естественно, встречается при воспроизведении прямой речи: *Поступаи* княже. бра(т) твои Ярославъ побѣлѣ; *Выдаите* мои ворогы; Аже того оубиете. *оубиите* мене переже в Новг. лет.; *Идѣте* съ данью домови; Да *пойди* за князь нашѣ; А ныне *идѣте* в лодью свою и *лязите* в лоды... Выже *рыцѣте*: не едемъ на конь(х) ни пѣши идемъ. но *понесѣте* ны в лодь; Князь оуже почалъ: *потягнѣте* дружина по князь в Лавр. лет.; *Вступита* Господина въ злата стремя; *Стреляи* Господине Кончака; *Възлелѣи* господине мою ладу къ мнѣ в Сл. ПИ.

Особенно часто формы повелительного наклонения встречаются в частных письмах, а также в таких деловых текстах, как жалобы, которые составлялись от 1-го л. и были обращены ко 2-му л.: *Доеди* добръ сътворя; *Посѣли* же добрѣмъ в Новг. бер. гр. XI; *А едеши* по корову а *възи* ['вези'] (8) *гривнь* в Новг. бер. гр. XII; *А се пакы шьдоши воземи* десять *гривньо* ногатами в Новг. бер. гр. XIII—XIV; *Али еси продало* а добро сътворя *оукоупи* ми жита в Вит. бер. гр. Примеры использования повелительного наклонения в авторских обращениях к читателю находим уже в записи к старейшему древнерусскому датированному памятнику — «Остромирову евангелию»: *Да иже горазнѣ сего напише. то не мози зазърѣти мнѣ... Молю же въспѣхъ почитающихъ. не мозѣте* кляти. нѣ исправлише. *почитаите*.

В случае необходимости передать отнесенность побуждения к 3-му л. книжно-литературные тексты по образцу старославянских использовали описательное сочетание формы настоящего (будущего) времени с частицей *да* типа *Да придетъ!* (ср. совр. *Да здравствует!*); такая конструкция отмечена в древнейшей грамоте на пергамене: *Даже кто запѣртитъ или тоу дань и се блюдо. да соудитъ* емоу б(ог)ѣ в день пришьствия своего в Мст. гр. Обычно же в нелитературных текстах XI—XIII вв. в аналогичных случаях встречается либо инфинитивное предложение, либо личное предложение с формой 3-го л. настоящего (будущего) времени без частицы *да* (или ее разговорного эквивалента *пусть* < *пусти* со значением 'пускай'¹: *И онъ пусть едетъ* ко Пскозу в Пск. гр. 1463—65). В параллельных конструкциях из «Русской правды» более ощутимый в инфинитивной конструкции оттенок 'должен, необходимо' не мешает в обоих случаях заметить общее значение побуждения (в форме категорического предписания) — 'пусть выведет', 'пусть пойдут':

«Или не боудеть на немъ знаменія. то *привести* емоу видокъ».

«Аже начнетъ не знати оу кого коупиль. то *ити* по немъ тѣмъ видокомъ на търгоу на ротоу».

«Пакы ли боудеть что татебно коупиль... то *выведеть* свободьна моужа два».

«Оже на нь выведеть послоуси. то *ти поидоуть* на ротоу».

¹ См. старейший пример использования этой частицы (в первоначальной форме *пусти*) с побудительным значением, но еще без глагола: *Пусти на немъ тяжя а не на мнѣ* в Новг, бер. гр. XIII.

То же общее значение можно заметить и в очень распространенных конструкциях договорных грамот, завещаний: *А которое село зашло бес кунъ. то бес кунъ поидеть к Ноугороду* ('пусть идет') в Новг. гр. 1305—08. Предписание является одной из разновидностей побуждения, а его выражение с помощью формы, функционирующей со значением будущего времени, лишний раз подчеркивает уже отмеченную выше связь побуждения с планом будущего.

Сослагательное наклонение

§ 202. Сослагательное наклонение представлено в книжно-литературных текстах аналитическим образованием, состоявшим из сочетания спрягаемого глагола в форме причастия на -л с формой аориста *быхъ, бы* (и т. д.) в качестве вспомогательного глагола:

Ед. ч. 1-е л. (на)писал-ъ(-а,-о) *быхъ*

2—3-е л. (на-)писал-ъ(-а,-о) *бы*

Мн. ч. 1-е л. (на)писал-и(-ы,-а) *быхомъ* и т. д.

В древнерусских текстах сослагательное наклонение встречается редко и, как правило, в целевых придаточных предложениях с оттенком желательности или обусловленной возможности (невозможности в отрицательных конструкциях): *Възлетѣи господине мою ладу къ мнѣ, а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано в Сл. ПИ; Аще бо бы перевозникъ Киѣ. то не бы ходилъ Црюгороду; И посла Стополкъ къ Володимеру г(лаго)ля. да быхове се съняли и о томъ подумали быхомъ с дружиною в Лавр. лет.* В древнейших нелитературных текстах примеры со спрягаемой формой вспомогательного глагола отмечены только в списках Смоленской грамоты 1229 г.: *На томъ мироу аж бы миръ твърдъ былъ. тако былъ князю любо. и рижанъмъ всемъ. и всемоу латинескому языкоу. И всемъ темъ кто на оустоко моря ходить, аж бы нальзлъ правдоу. то напсати. како то держати Роуси. съ латинескимъ языкомъ. и латинескомуу языкоу съ Роусию. то държати аж быхъмъ что тако оучинили* [в «Русской правде», где сослагательное наклонение не отмечено, в соответствующих конструкциях встречаем союз *аже* (или *оже*) с формой настоящего (будущего) времени]; *Которою правдою быти роусиноу въ Ризе и на Готьскомъ березе тою правдою Немцомъ в Смоленьске. а быша ся тои правде държали въ веки.*

В старейших деловых и бытовых письменных памятниках собственно форм сослагательного наклонения со спрягаемым вспомогательным глаголом не отмечено (исключая приведенные примеры из Смоленской грамоты 1229 г.); более того, с XIII в. *бы* как показатель сослагательного наклонения в неизменяемой форме фиксируется изредка даже в канонических церковнославянских текстах: *Аще б(ог)ъ оць вашъ былъ бы любили бы вы мя есте* в Ев. 1283. Известны и случаи, когда *бы* в церковнославянских текстах XIII—XIV вв. добавляется к традиционной форме аориста: *любили бы бысте мя*, что свидетельствует о том, что аналитическая форма *любили бысте*, скопированная с ранних оригиналов, уже не вос-

принимается переписчиками как форма сослагательного наклонения. Параллельно с этими фактами причастия на -л фиксируются в целевых придаточных с неизменяемой формой *бы* (или даже *бѣ*), примыкающей к союзу. Старейшие примеры связаны с сочетанием *а бы* (ср. *а быхѣ* в Сл. ПИ): *А Кузекѣ соци а бы не истряле* (кунѣ в Новг. бер. гр. XII; *А за тотѣ мирѣ страдалѣ Рулфѣ ис Каиля и Тумашѣ Михалевичѣ а бы добросердѣе межю ихѣ было а бы Русьскымѣ купцомѣ... любо было* в Смол. гр. 1229; *А ныне мы молимѣ тебе а бы тыи товарѣ отдалѣ его племени* в Рижск. гр. С XIII в. в памятниках нелитературного характера с целевым значением встречается союз, развивающийся из *что бы* (эквивалент цсл. *да бы*), впоследствии наиболее употребительный союз целевых придаточных: *Не дазайте воли... надѣ нашими купцинами, чтобы опять не держалѣ наших купцинѣ никого* в Пол. гр. 1265; *Староста Олескандрова погоста бѣет целомѣ стобы еси господине окупилѣ* в Новг. бер. гр. XIII—XIV; *чоби... господине попецелилѣся* в Новг. бер. гр. XIV; *Да переслышизаи о Таныи цобѣ не блодила цого зря* в Новг. бер. гр. XIV—XV; *А пишу вамѣ се слово того дѣля чтобы не перестала память родителей нашихѣ* в Моск. гр. 1353.

Слияние *бы* с союзом свидетельствует об окончательной утрате этой формой значения вспомогательного глагола и превращении ее в модальную частицу при форме прошедшего времени. Подтверждается это, с одной стороны, передачей в «малограмотных» текстах новой модальной частицы в виде *б(ѣ)* (что возможно лишь после выпадения *бы* из парадигмы глагола *быти*), с другой стороны — употреблением в сослагательном наклонении в 1—2-м л. (к этому времени двух чисел) формы перфекта, ибо после превращения *бы* (*бѣ*) в неизменяемую модальную частицу форма сослагательного наклонения в речевом сознании грамотного человека воспринимается как «перфект + *бы* (*бѣ*)», что он и отражает на письме: ...*любили бы вы мя есте*. Впрочем, в текстах нелитературных *есмь* — *еси* (и т. д.) при сослагательном наклонении, скорее, следует оценивать как способ указания на лицо: ... *стобы еси господине окупилѣ* в Новг. бер. гр. XIII—XIV; *Купилѣ есмь соль нѣмецкую. то бѣ еси стмѣ припрывадилѣ* в Новг. бер. гр. XIV; *А лихихѣ бы есте людии не слушали и хто иметь васѣ сваживати слушали бы есте отца нашего* в Моск. гр. 1353; *Цо бѣ еси прислало востѣку да мѣда* в Новг. бер. гр. XIV—XV.

Отмеченные факты указывают на то, что сослагательное наклонение как спрягаемая аналитическая форма поддерживалось в Древней Руси книжно-литературной традицией, в то время как живая речь (по крайней мере на западе и севере) уже в ранний древнерусский период использовала в качестве показателя сослагательного наклонения неизменяемое модальное слово *бы/б(ѣ)*, лишь генетически связанное с формой 2—3-го л. ед. ч. аориста вспомогательного глагола. Отрыв *бы/б(ѣ)* от формы на -л и превращение в «самостоятельное» средство выражения модальности (преимущественно желательности) подтверждается возможностью употребления *бы*

с инфинитивом, что фиксируется с XIII—XIV вв. в летописных списках северного происхождения: *О сем бы разумѣти комуждо из насъ* в Новг. лет.; *Антонию же приде Кыеву и мышляше гдѣ бы жити* в Лавр. лет.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ СПРЯГАЕМЫХ ФОРМ

История настоящего и будущего времени

§ 203. Сопоставление системы временных форм древнерусского языка с современной, характеризующей литературный язык и подавляющее большинство русских говоров, позволяет заметить, что принципиальные различия между ними обусловлены изменениями, произошедшими во взаимоотношениях категорий вида и времени. Иными словами, перестройка унаследованной древнерусским языком многочленной системы времен в направлении ее формального упрощения (одно настоящее, одно будущее¹ и одно прошедшее) обусловлена слиянием в каждой конкретной словоформе видового значения основы с временным значением формы, что вело к развитию новых отношений между планом выражения и планом содержания. И если подсистема прошедших времен в развитии этих новых отношений пошла по пути максимального упрощения на уровне формы (плана выражения), то подсистема настоящего и будущего времен пошла по пути дифференциации грамматических значений и, следовательно, функциональной специализации временных форм, уже существовавших в древнерусском языке.

Анализ функционирования форм настоящего времени в древнерусских текстах позволил заметить, что, независимо от видового значения основы, они могли использоваться со значением как настоящего, так и будущего. Однако в узуальном плане (практически, на уровне речи) уже в то время со значением собственного настоящего времени чаще использовались формы от основы несовершенного вида, подчеркивающие совпадение действия (а не его границ) с моментом речи или (в повествовании) с моментом совершения другого действия, принимаемым за исходный. Слияние временного значения формы с видовым значением основы и выразилось в том, что постепенно форма настоящего времени от основы несовершенного вида закрепила за собой значение только настоящего времени. Напротив, форма от основы совершенного вида, фиксирующей внимание на временной границе действия, что для момента речи, как правило, неактуально (если момент завершения совпадает с моментом речи, то процесс относится к прошлому; если с моментом

¹ Согласно нормативным грамматикам, в современном русском языке два будущих времени — простое и сложное; однако каждый глагол может иметь форму лишь одного будущего времени — простого (*написать* — только *напишу*) или сложного (*писать* — только *буду писать*), что принципиально отличает минимую «дзучленность» современного будущего времени от действительной многочленности древнерусской системы будущих или прошедших времен.

речи совпадает начало процесса, то процесс относится к будущему), постепенно закрепила за собой только значение будущего времени. Таким образом, формы *пишу — напишу*, противопоставленные в древнерусском языке по видовому значению основы, постепенно оказываются противопоставленными и как временные формы — каждая со значением только настоящего или только нейтрального будущего времени. Старейшие восточнославянские грамматики отразили это достаточно определенно; например, в «Грамматике славенской» Л. Зизания (1596) как настоящее время даны формы *спасаю, являю*, а как будущее — *спасу, явлю*.

Сказанному не противоречит тот факт, что *еду, пишу* и т. п. в речевой практике могут использоваться со значением будущего времени, а *поеду, напишу* и т. п. могут использоваться со значением настоящего (или даже прошедшего) времени. В плане истории грамматических категорий и форм должны рассматриваться лишь «нейтральные» системные отношения, а не возможности модально-экспрессивного или изобразительного употребления форм. Между тем различие между предложениями *Через месяц я поеду в командировку* и *Через месяц я еду в командировку*, равно возможными в речи с одним и тем же временным значением, как раз и заключается в том, что первое «бесстрастно» отмечает предполагаемое в будущем действие, а второе подчеркивает обязательность осуществления запланированного действия — именно потому, что ее «нормальное» значение в системе глагольных форм современного языка — значение настоящего времени.

§ 204. Функциональная дифференциация настоящего и будущего (простого) времен создает возможности их использования в повествовании для передачи разных значений прошлого (для форм как настоящего, так и будущего) и настоящего (для форм будущего) времени. Речь идет о случаях, характерных для современного устного рассказа или описания (в литературно-художественных произведениях они встречаются только как средство стилизации под непринужденный устный рассказ), которые впервые встречаются в записях следственных показаний XVII в. Например: *А сказали стрельцы: **стоят** они на карауле по Бялому городу у Яускихъ воротъ, и тотъ Ивашко у их караулу кричал...* в Моск. деле 1676 — настоящее как фон развертывавшихся в прошлом событий; *И Федотко Криницын ... говорил: то я видялъ как Пронка... выолок еъ на огород и та жонка **пойдет поидет да упадет**, а я шол в то время мимо* в Моск. деле 1657—58 — формы будущего (простого) обозначают последовательные повторявшиеся действия в прошлом.

Рассматривая функции форм в повествовании, следует учитывать, что развитие языка как средства живого общения связано с повседневной диалогической речью, а не с монологом, формами которого, в частности, являются устный рассказ или описание. Повествование, не связанное с реально воспринимаемой ситуацией, опирается на контекст и потому может пользоваться существующими в системе языка данного периода формами так, как они никогда не используются в повседневном диалоге. Например, в диалоге форма *упадёт* невозможна при указании на действие, наблюдаемое в момент речи, — она будет отнесена к возможному исходу происходящего, в то время как для констатации исхода, наблюдаемого в момент речи, будет использована форма *упал(а)* (для происходящего в момент речи — *падает*).

Трудно сказать, как рано стали возможны приведенные выше случаи использования форм настоящего (будущего) времени в устном повествовании. Единственный древний текст, где форма настоящего времени встречается как изобра-

ительное средство (т. е. связана с описанием прошлого) — это «Слово о полку Игореве»: *Дълго ночь мркнетъ заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла...* (формы перфекта подчеркивают план настоящего: 'поля *покрыты* туманом'). Но текст этот известен нам по списку XVI в., и мы не знаем, принадлежит ли отмеченный прием автору XII в. или он появился в ходе позднейшего редактирования (древнерусские тексты дают в этом случае имперфект от основы несовершенного вида).

Те же формы от основ совершенного вида, закрепив за собой значение будущего однократного времени, могут указывать на действия последовательные: *Пойду, отдам, (а затем) вернусь*. Перенесенные в устном рассказе в план прошлого, они приобретают значение многократно повторенных последовательных действий (в приводившемся выше примере *пойдет, пойдет да упадет* понимается только как сообщение о том, что женщина неоднократно пыталась встать, пойти и снова падала); ср. в древнерусском повествовании употребление в таких случаях форм имперфекта от основ совершенного вида.

«Память» о первоначальном временном единстве форм типа *пишу — напишу* продолжает сохраняться в возможности употребления и тех и других в контекстах со значением расширенного (или обычного, постоянного) настоящего времени [ср. др.-русск.: (*из того же леса*) *потечетъ и идетъ на полунощѣ*]. Но теперь в таком контексте форма будущего времени используется при необходимости обратить внимание на последовательность действий и подчеркивает повторяемость (а не длительность) действия, в то время как форма настоящего времени отмечает обычное действие как таковое, не указывая на его повторяемость. И если она употреблена в одном ряду с формой будущего, то завершает последовательно повторяющиеся действия: *Есть за нею и иной промыслъ: у которыхъ люди в торговле товаръ заляжет, и она тѣмъ торговымъ людямъ наговаривает...* И от того еѣ наговору у тѣхъ торговыхъ людей на товары купцы *бываютъ* скорые в Моск. деле 1638—41. Такое употребление форм характерно для описания обычаев (т. е. действий, обычных в определенных ситуациях): *И слъзши съ лошадей, послы и ихъ дворяне шпаги съ себя снимутъ и идутъ къ царю въ верхъ безъ шпагъ; И царь в то время *встанетъ*, и шапку *сыметъ*, и спрашиваетъ пословъ о королевскомъ здорově самъ стоя у Котошихина.*

§ 205. Временная дифференциация форм, образованных от основ разных видов, связана с развитием новых способов так называемой имперфективации глагольных основ — образования основ несовершенного вида от приставочных основ совершенного вида. Старейший способ имперфективации — использование суффиксов *-а-* и производного *-ва-*, которые достаточно заметны уже в системе старославянского глагольного видообразования; см. старославянские (и русские церковнославянские) формы: *въпраш-а-етъ* к основе сов. в. *въпрос-итъ*, *отъвѣщ-а-етъ* к *отъвѣт-итъ*, *отъпад-а-етъ* к *отъпад-етъ*, *ослабъ-ва-етъ* к *ослабъ-етъ*, *омы-ва-етъ* к *омы-етъ*, *уби-ва-етъ* к *уби-етъ*, а также *отъръз-ова-етъ* (от *отъръз-ова-ти*) к *отъръз-а-ти*, *отъръж-етъ*, *свѣяз-ова-еть* (от *свѣяз-ова-ти*) к *свѣяз-а-ти*, *свѣяз-етъ* и т. д. В результате контаминации образований с *-ы(и)-ва-* и *-ова-* вычленяется новый суффикс имперфективации *-ыва-/-ива-*, который полу-

чает широкое применение в период временной дифференциации форм, образованных от основ разных видов, для актуализации именно временного значения форм настоящего времени и имперфекта.

Случаи использования суффикса *-ва-* в целях актуализации значения настоящего времени в книжно-литературных памятниках встречаются с конца XIII—XIV вв. — в Новгородской летописи [*зыдаваемъ* — в качестве противопоставления традиционной форме *выдаемъ* — от (*вы*)*дати*, которая в сознании писцов, видимо, противопоставлялась форме (*вы*)*дамъ* по виду, но не по временному значению], в Лаврентьевской летописи [*сбывається* — противопоставлена форме *сбудет(ь)ся*], в Ипатьевской летописи (*отдаваю, отдаваете, отдаваеви; познавается; искрываете; доспываете, доспываеви*). В Ипатьевской летописи встречаются и формы, значение настоящего времени которых подчеркивается суффиксом *-ыва-/ива-*: *покладываетъ, поущиваютъ, сваживаетъ, сказываютъ, складываемъ, ся смерзываютъ* и др.; к этому же времени относится и форма *переписываютъ* в Нзг. бер. гр. XV (с опской: *переписывываютъ*). Более ранний пример употребления этого суффикса именно с целью актуализации значения настоящего времени был отмечен в Рижской грамоте ок. 1300 г., где традиционной приставочной форме осведомительных актов *позыдаю* — *позыдаемъ* (со значением настоящего времени) противопоставлена форма *позыдыаемъ*, свидетельствующая о восприятии *позыдаемъ* как формы будущего времени. Синхронные этому свидетельству формы имперфекта книжно-литературных текстов (типа *оумькизахоу, прикладывахуть*) доказывают, что к XIII—XIV вв. в живой речи временные значения основ разных видов уже дифференцировались, что и вело к активизации специальных средств имперфективации соответствующих форм.

Если судить по памятникам письменности, суффикс *-ыва-/ива-* особенно часто применяется в XVI—XVII вв., что, по-видимому, отражает широкую употребительность таких образований и в живой речи. При этом, по данным С. П. Обнорского, образования с *-ыва-/ива-* фиксируются в говорах к северу от Москвы — на территории Ростово-Суздальской земли и ее колоний; западнее и севернее этой территории встречаются лишь редкие формы, практически полностью отсутствующие к югу от северной границы распространения аканья. Эти данные позволяют высказать предположение о том, что резкое возрастание численности образований с *-ыва-/ива-* в нелитературных памятниках после XV в. — это отражение роста влияния говора Москвы и ее окружения в процессе формирования норм делового языка Русского государства.

В деловой письменности формы с *-ыва-/ива-* в XVI—XVII вв. оказываются противопоставленными «старым» формам от основ несовершенного вида специфическим временным значением, связанным с необходимостью формального разграничения настоящего актуального (совпадающего с моментом речи) и настоящего неактуального (постоянного, обычного). Именно с этим вторым значением и появляются в текстах бесприставочные формы типа *писывает, сиживает*, образованные, как показал П. С. Кузнецов, от

соответствующих приставочных [т. е. *писывает* от (*под*)*писывает*]. Бесприставочные и приставочные формы со значением настоящего времени чрезвычайно широко распространены в деловом языке XVI—XVII вв.: *А рейтаромъ и казакомъ бываетъ нужда и голодъ, и имъ для нужного времени прибавливаютъ жалования* (ср. *прибавляют*); *А стряпчие собираютъ тѣ памяти, справляются с книгами, чтобъ воровскихъ не было* (ср. *справляются*) у Котошихина; *И они свою рухлядь и запасы оставливаютъ* (ср. *оставляют*) в Улож. 1649. Образования с тем же суффиксом, подчеркивающие обычность и противопоставленные формам несовершенного вида, постоянны и в южновеликорусских текстах: *Тваи гдрвы ваеводы заставливаютъ насъ халопей тваих силна в ыных людей кнудом би(ть) и пыта(ть)* (ср. *заставляют*) в Оск. гр. 1635; *И у смотру передо мною холопом твоим не о(бъ)явливаютца* (ср. *не объявляются*) в Курск. гр. 1638.

Использование таких форм для актуализации значения настоящего обычного времени (формально противопоставленного настоящему моменту речи: *заставливают* — 'всегда, постоянно', а *заставляют* — 'в настоящее время') — особенность системы приказного языка, постепенно исчезающая в течение первой половины XVIII в. Для бытового диалога такое временное значение не характерно, а диалектологические записи фиксируют формы с *-ыва-/ива-* как явно экспрессивные, подчеркивающие повторяемость или продолжительность действия, что и содержит в себе возможность употребления их в повествовании или описании со значением настоящего обычного.

§ 206. Закрепление за формами типа *пишу, говорю* только значения настоящего времени выдвигало необходимость образования специализированной формы «нейтрального» абсолютного будущего времени для глаголов несовершенного вида, т. е. требовало образования формы, которая при сохранении свободных сочетаний *хочу (могу) (на)писать, начну писать* и под. с различными модальными оттенками могла бы указывать на отнесенность действия (а не его границ) к будущему без выделения каких-либо модальных значений. Формирование такого образования осуществлялось в рамках уже существующей модели («вспомогательный глагол + инфинитив»), естественно, только для глаголов несовершенного вида (глаголы совершенного вида уже имели «нейтральное» будущее), а в качестве модального должен был быть найден глагол, свободный от собственного лексического значения и способный выполнять только функцию предикативного центра аналитической формы.

Из числа глаголов, использовавшихся в конструкциях с инфинитивом для выражения значения будущего времени, наибольшие возможности к формализации имел глагол *иму*. Постепенно он и закрепился в качестве вспомогательного во многих восточнославянских диалектах — не только украинских (и соответственно в литературном украинском языке), но и великорусских. В частности, в говорах к северу от Москвы (главным образом на территории Яро-

славской, Костромской, Вологодской и соседних областей) зафиксированы достаточно многочисленные формы будущего времени с этим глаголом: *иму робить, имёт уважать, в горелки имём играть, лён имём связывать*; собственно вспомогательная функция подчеркивается местом отрицательной частицы: *нему плакать* ('не иму, не буду').

Судя по показаниям памятников письменности, тенденция к закреплению глагола *иму* в качестве вспомогательного была очень сильна в восточнославянской речи в начальный период формирования великорусского диалектного объединения. В частности, «нейтральное» будущее глаголов несовершенного вида в грамотах московских и удельных князей XIV и (в значительной степени) XV вв. зафиксировано только с этим вспомогательным глаголом: *Хто сю грамоту иметь рушити, судить ему б(ог)ъ; А имут тебе обидѣти, нам дозря твоие правды боронитися с тобою; А имут чего искати ноугородци на тферицах, суд им во Тфери; А язъ иму московьскыи суды судити; А хто г(осподи)не имет жити наших бояръ въ твоеи сотчине, блюсти их; А кои ся не имет тягати, съ того пошлины нѣт*. Примеры использования такой формы будущего несовершенного времени отмечены А. А. Шахматовым в двинских грамотах XV в.: *иметъ подвигивати, иметь наступати, имет быти* и др. Эти показания текстов нелитературного характера существенны, так как книжно-литературные памятники продолжают вплоть до XVII в. использовать сочетания, традиционность которых подчеркивается церковнославянским оформлением таких вспомогательных глаголов, как *хощу, имам(ъ) — имаша — имат(ъ)*.

С XV в. в деловой письменности, наряду с *иму*, получают распространение в составе конструкций с инфинитивом формы от корня *ч(б)н-*, среди которых постепенно активизируются *почну* (наряду с *начну*) и *учну*, который к XVI в. в документах особенно активен в сочетании с инфинитивом. В текстах XVI в. сочетание «*учну + инфинитив*» явно не имеет начинательного значения и указывает только на действие в будущем: *Учнет дияк судной список набело писат(ь) и ему писчево десет(ь) денег* (оплате подлежит не начало переписывания, следовательно: 'будет переписывать') в Суд. XVI; *И хто у них... в починках учнет жити людей, и наместницы наши кормов своих у них не емлют* (сбор подати не может быть связан с началом переселения, следовательно: 'будут жить') в Гр. XVI. С конца XVI в. в качестве вспомогательного при инфинитиве часто встречается глагол *стану*, который в XVII в. оказывается одним из наиболее употребительных при оформлении будущего времени, что связано с традицией живой речи; в приказных документах он почти не уступает глаголу *учну*. Например, в московских поручных записях функционируют оба глагола: *А будет анъ Трифон да Емельянъ не учнут жить в Кадашевскѣй слободѣ или гсѣрва дѣла дѣлат(ь) не станут...* или *с воровскими людьми учнут водитися* или *в дом их к себѣ учнут приводит(ь)* или *в Кадашевскую слободу воровским дѣлом какой убыток учинят или от гсѣрва дѣла*

и от годовых служб ис Кадашева збегут и но нас на порутчиках пеня; А будет он Семен... **учнет нит(ь)** и **бражничет(ь)** или в свою очередь **дневат(ь)** и **начеват(ь)** не **станет** или **учнет** с воровскими людьми **знатца** или **гѡдрву** казну украдет... Только так оформляется сложное будущее время и в официальных документах других районов Московской Руси XVII в.

До конца XVII в. конструкция «*буду* + инфинитив» со значением «нейтрального» будущего времени в официальных текстах почти не встречается. Случаи употребления этой конструкции без оттенка условности, который был отмечен в отношении древнерусских текстов, зафиксированы впервые в старобелорусских грамотах конца XIV — начала XV в. (по спискам XVI в.) и все связаны с одним и тем же глаголом: *буду (будеть) держати* в значении 'управлять (государством)'. Лишь эпизодически встречается эта конструкция в официальных текстах XVII в., созданных на территории Московской Руси. Например, ее совсем нет в «Уложении» 1649 г., а в обширном собрании документов первой половины XVII в. конструкция с *буду* составляет около 4% всех случаев выражения сложного будущего времени (конструкция с *учну* — около 74 %, а с *стану* — около 22 %).

И тем не менее в живой речи великорусов конструкция «*буду* + инфинитив» в значении собственно будущего времени в XVI—XVII вв., несомненно, уже употреблялась не менее широко, чем «*стану* + инфинитив». Отсутствие ее в официальных деловых актах — результат устойчивости норм приказного языка Московской Руси, оформившихся примерно к середине XVI в. и закрепивших те способы выражения будущего, которые тогда казались наиболее «авторитетными» приказным дьякам.

Распространенность формы «*буду* + инфинитив» как способа выражения собственно будущего времени подтверждается материалом частных писем, изучение которых началось в недавнее время. Анализ способов оформления будущего времени в официальных документах XVII в., с одной стороны, и в частных письмах — с другой, на фоне показаний книжно-литературных текстов обнаруживает «промежуточный» характер системы приказного языка в отношении форм не только будущего, но и прошедшего времени. В частности, «излюбленной» формы будущего времени книжно-литературных текстов «*иму (имамь) + инфинитив*» нет в деловой документации Московской Руси XVII в., а самая характерная для актов конструкция «*учну + инфинитив*» отсутствует в частных письмах, в которых будущее время оформляется при помощи глаголов *стану* и *буду*. См. в частных письмах: *А ты с нами же будешь сидет(ь) за реиоткою; А бежисотов их принимать не буду; Я буду с лица на лицо гозорит(ь); А я тебе буду бит(ь) челом.* В этой связи редкие случаи употребления такой конструкции в официальных текстах XVI—XVII вв. должны рассматриваться как свидетельства «вторжения» в систему письменного языка форм, уже закрепившихся в живой речи населения Московской Руси и из великорусского центра распространявшихся на соседние диалекты, где

они противостояли другим способам образования будущего сложного времени (например, с глаголом *иму*).

Вывод о принадлежности живой речи конструкций «*буду* + инфинитив» и «*стану* + инфинитив» подтверждается свидетельством Г. Лудольфа. В своей «Русской грамматике» (Оксфорд, 1696) он утверждает, что «будущее обычно образуется прибавлением к инфинитиву *буду* или *стану*», и ничего не упоминает о других вспомогательных глаголах (Лудольф сознательно ограничивал разговорную речь от системы книжно-славянского языка, принятого в то время, по его наблюдениям, в письменном творчестве), которых не встречается и в его записях диалогов.

§ 207. Специального рассмотрения требует вопрос о причинах вытеснения глаголом *буду* других вспомогательных глаголов в составе формы «нейтрального» аналитического будущего времени несовершенного вида.

Приведенный выше материал свидетельствует о том, что единственная собственно аналитическая форма будущего времени («*буду* + инфинитив»), закрепившаяся с XVIII в. в русском литературном языке, сформировалась за его пределами и была им признана лишь тогда, когда она оказалась отчетливо противопоставленной всем остальным способам указания на будущее время как форма, лишенная модальной актуализации. Тот факт, что эта конструкция оформилась задолго до появления ее в официальной письменной речи и вместе с тем широко распространена в современных великорусских говорах, а в системе литературного языка закрепились лишь тогда, когда наметился процесс формирования новых литературных норм, ориентированных на живую речь москвичей, говорит о том, что мы имеем дело с явлением, диалектным по своему происхождению (именно поэтому, видимо, и не признававшимся долгое время ревнителями книжно-письменных норм). Это обстоятельство заставляет отказаться от попыток объяснить «экспансию» конструкции «*буду* + инфинитив» западнославянским влиянием, которое в XVII в. было довольно заметным в сфере литературного языка (но не разговорного), а потому допустимо объяснить этим влиянием лишь признание книжно-письменным языком этой конструкции.

Расширение функции глагола *буду* как показателя значения будущего времени понятно: он издавна использовался в этом значении. И если в глагольных сочетаниях, как свидетельствуют примеры, он сохранял модальное значение и оформлял условную конструкцию, то в составном именном сказуемом в древнерусских грамотах встречаются примеры с *буду* без подчеркивания каких-либо модальных оттенков (по крайней мере, с точки зрения носителя современного языка): *Кто былъ ту, то будете послухъ* в Смол. гр. 1229; *По бозе ты имъ будешь печалникъ* в Моск. гр. 1328; хотя в большинстве древнерусских текстов и в сочетании с именем *буду* употребляется в условных конструкциях¹ и с сохранением модаль-

¹ См.: Борковский В. И. Синтаксис древнерусских грамот. (Простое предложение). Львов, 1949, с. 190—195,

ного значения. Но модальность была свойственна и другим глаголам, использовавшимся для оформления значения будущего времени. Так что вопрос о путях вычленения аналитической формы будущего времени заключается не в том, почему именно *буду*, а в том, когда и как, в каких именно говорах *буду* лишается дополнительных модальных оттенков и вытесняет другие глаголы в конструкции с инфинитивом, включая и глагол *иму*, который, как указывалось, явно был более приспособлен к функционированию в качестве вспомогательного и выполнял эту функцию в северо-восточных говорах.

Исчерпывающе ответить на поставленные вопросы пока невозможно: процесс формализации *буду* протекал в говорах не северных (в том числе и не северо-восточных), а потому он и не прослеживается по памятникам письменности. Но некоторые предположения на этот счет высказать можно. В частности, следует учесть, что старейшие примеры с *буду* связаны с территорией, где формировался белорусский язык, а в Москве эта конструкция могла появиться между XIV и серединой XVI в., т. е. примерно в то же время, когда в речь москвичей проникает аканье и некоторые другие особенности, которые по происхождению связаны с говорами, распространенными к югу от Москвы, не представленными памятниками письменности ранее конца XVI в. и в древнерусский период развивавшимися вместе с будущими белорусскими. Иными словами, первоначальный ареал конструкции «*буду* + инфинитив» в качестве аналитической формы нейтрального будущего времени мог находиться в географическом центре Древней Руси и охватывать говоры, которые до распада древнерусского культурно-политического единства были периферийными. В период формирования московского говора как смешанного диалекта великорусского центра конструкция «*буду* + инфинитив» могла получить в нем распространение на правах «просторечной» черты (каким было здесь первоначально аканье и другие особенности южного происхождения), вытесняющей еще не завершившую свое формирование в качестве аналитической формы конструкцию «*иму* + инфинитив».

История форм прошедшего времени

§ 208. Общая история форм прошедших времен, восстанавливаемых для «исходной» системы древнерусского языка, представляется как процесс постепенного отмирания синтетических временных образований (имперфекта и аориста) за счет расширения функций перфекта. Процесс этот, если исходить из сопоставления представленной в старейших текстах многочленной системы прошедших времен с современной, очевиден, как и очевидна способность современной универсальной формы прошедшего времени на *-л*, исторически связанной с перфектом, выражать и аористное, и имперфектное, и плюсквамперфектное, и «свое» прежнее перфектное значение.

Следует, впрочем, помнить, что все эти значения прошедшего времени и сейчас реализуются в разных сферах функционирования языка; и если при ре

конструкции истории прошедших времен принять во внимание процесс слияния видовых и временных значений в каждой отдельной глагольной словоформе, то, строго говоря, и в отношении современного языка нельзя говорить об одном прошедшем времени. В самом деле: *написал* или *пришел*, даже вне контекста, это не «вообще» прошедшее, а только перфект или аорист; а *писал* или *шел* — это либо имперфект, либо плюсквамперфект. Не учитывая этого обстоятельства, невозможно понять, куда «исчезли» в русском языке различные прошедшие времена: не уменьшились ли с утратой многочленной древней системы времен выразительные возможности языка, не утратилась ли его способность оформлять различные оттенки временных отношений?

Для того чтобы, прослеживая историю форм прошедших времен, не терять реальной перспективы, целесообразно проанализировать сначала способы выражения основных значений прошедшего времени в современном русском языке — тех значений, необходимость в выражении которых всегда возникает в речевой практике и в древнерусском языке удовлетворялась разными временными образованиями. И в этом случае, как и в других, следует учитывать неодинаковые коммуникативные потребности в разных сферах функционирования языка — диалоге и повествовании (рассказе и описании).

Диалектологам хорошо известно, что в диалоге обращение к прошлому в подавляющем большинстве случаев (не менее чем на 80—90 %) связано с непосредственными интересами настоящего — момента речи. Иными словами, в диалогической речи прежде всего возникает необходимость в выражении перфектного значения (историки языка постоянно подчеркивают, что именно этим и объясняется наибольшая жизненность перфекта по сравнению с остальными прошедшими временами древней славянской системы временных форм). *Я пришёл*, — говорит входящий в комнату («я здесь»); *Написал!* — сообщает закончивший контрольную работу («задание выполнено — вот оно»); *Спасибо, я пообедал*, — говорит гость радушному хозяину («я сейчас сыт») и т. д. В диалоге это значение, как правило, выражается формой на -л от основы совершенного вида. Очень редко в диалоге возникает необходимость указания на действие, полностью отнесенное к прошлому (т. е. значение аориста); в этой сфере функционирования языка оно обычно выражается формой на -л от основы несовершенного вида. Например: *Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать, да осматривать* у Пушкина — здесь *бежал* констатирует факт прошлого (и не более), и носитель современного языка без труда ощущает, что в повествовании он бы употребил форму *убежал*...

В повествовании (в монологе) о прошлых действиях не говорится изолированно; в тех случаях, когда сообщается о действиях, следовавших одно за другим (типичный аорист рассказа), в современном языке используется форма на -л от основы совершенного вида, которая и представляет собой аорист монологической речи. В этом легко убедиться если перевести на современный язык любой из отрывков древнего текста, приводившихся ранее для иллюстрации значения аориста, например отрывок из Новгородской летописи (см. § 190):

«Этот Котянь был гестем Мстислава Галицкого. И пришёл (он) вместе с половецкими князьями с просьбой к своему зятю Мстиславу в Галич, и принёс подарки. И одарили они русских князей... И убедил Котянь своего зятя; Мстислав же стал убеждать русских князей... И так, посоветовавшись между собой, отправились в дорогу, уступив просьбам и уговорам половецких князей. И начали собирать войска, каждый в своей волости. И пошли, объединив всю Русскую землю, против татар. И остановились на Днепре...».

В тех случаях, когда в повествовании появляется описание или отмечается действие, являющееся как бы фоном осуществления сменяющихся одно другое событий, или возникает необходимость в характеристике прошлого состояния (безотносительно к границам его осуществления), т. е. когда возникает потребность в выражении собственно имперфектного значения, оно реализуется в форме на -л от основы несовершенного вида.

Ср. современный перевод отрывка из Новгородской летописи (см. § 192):

«В ту осень много несчастий произошло: побил мороз урожай по всей области [в тексте в обоих случаях аорист].... Кадь ржи покупали по 10 гривен... Ели люди сосновую кору, липовый лист и мох... О! Горе было! По рынку — трупы, по улицам — трупы, по полю — трупы; псы не успевали поедать мертвцов...».

Ср. описание в «Медном всаднике» Пушкина:

Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали во тьме почной
Перекликался часовой...

Что же касается значения плюсквамперфекта, то современный язык, как правило, его избегает, используя описательные конструкции. Например, фразы из летописей (см. § 196) в современном языке будут оформлены по-разному: *Мьстиславъ истече кыяне, иже бѣша выстѣкли Всеслава* — 'Мстислав перерезал киевлян, за то что они высекли Всеслава'; *Володимеръ поиде противу им, испросилъся бѣше у Святослава* — 'Владимир выступил против них, после того как получил разрешение от Святослава'. Но возможна и передача значения предшествования без дополнительных члснов или временных союзов — с помощью формы на -л от основы несовершенного вида; ср. перевод *Ту же к ним и сторожеве прихаша, ихже бяхуть послалъ языка ловитъ* в Ип. лет. — 'В это время вернулись разведчики, которых посылали (но не послали) за пленником'.

Последнее соответствие современной и древнерусской форм особенно убедительно иллюстрирует тот факт, что формы на -л от основ разных видов в современном языке — это не способы указания на «законченные» или «незаконченные» действия, а способы оформления разных временных значений прошедшего. Более того, в определенных повествовательных контекстах только с помощью формы от основы несовершенного вида можно сообщить о том, что действие полностью исчерпано в прошлом (а не продолжается). См., например, очень характерный по использованию глагольных форм отчет о военных действиях из отписки путивльского воеводы (сер. XVII в.):

«В прошлом году августа месяца *приходили* в Рылской и в Путивлской уезд татарове многие, и он Степан *посылалъ* из Рылска иа татаръ голову Ермолу Дурова... И рылские ратные люди... татаръ многих п о б и л и и языков п о и м а л и... На том бою в з я л и татарина раненова...».

При таком построении текста именно формы от основ несовершенного вида *приходили* и *посылал*, предшествующие рассказу о конкретных событиях, сразу же настраивают читателя на то, что соответствующие действия ко времени рассказа уже полностью исчерпаны, в то время как *пришли* и *послал* означали бы здесь продолжающиеся действия. Точно так же, как и в переводе фразы из Ипатьевской летописи, где явно обозначено действие полностью исчерпанное (что и подчеркивается в оригинале основой совершенного вида), оно не может быть передано формой на -л совершенного вида, ибо только формой от основы несовершенного вида можно передать значение предшествования.

Таким образом, слияние видового значения основы с временным значением формы обусловило и пути преобразования древней системы форм прошедших времен, что достаточно очевидно при сопоставлении древней системы с современной. Выяснению, таким образом, подлежит вопрос: когда и каким образом происходило это преобразование в истории русского языка.

§ 209. Принято считать, что ранее всего в древнерусском языке были утрачены простые (синтетические) прошедшие времена — имперфект и аорист. При этом предполагается, что имперфект «исчезает» раньше, поскольку «мы не находим его в грамотах, даже самых ранних (...). В современном русском языке мы не находим никаких явных следов старого имперфекта. Это также говорит в пользу особенно ранней его утраты»¹.

Утрату аориста относят к более позднему времени; при этом считается, что «утрата аориста проходила не одновременно во всех говорах древнерусского языка, но раньше осуществлялась на юге, позднее на севере (в особенности в Новгороде и в землях, колонизованных новгородцами)»². В отношении времени исчезновения аориста в северных говорах (тех, где он, считается, держался дольше) обращается внимание на то, что «некоторые факты северных, именно — новгородских памятников XIII—XIV вв., и даже не только светских, оригинальных, но и церковных, говорят о начавшейся утрате его и о том, что встречающиеся случаи употребления являются остатками старины и не отражают живого говора этого времени»³. «Болсе пздняя (сравнительно с имперфектом) утрата аориста имеет следствием то, что некоторые следы аориста в современном русском языке представлены. Остатком аориста в современном русском литературном языке и в говорах является междометие *чу!* — по происхождению форма 2-го л. ед. ч. аориста от глагола *чути* — 'слышать' (...). По значению кое в чем близко

¹ Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка, с. 277.

² Там же.

³ Там же, с. 279.

к старому аористу в современном языке особое употребление единственного числа повелительного наклонения (чаще в сочетании с той же формой повелительного наклонения от глагола *взять*, но возможно и без него) для выражения внезапного, неожиданного действия, часто противопоставляемого другому действию, которое ожидалось, например: *Ему бы в сторону броситься, а он **возьми да прямо и побег**...*¹. Функции утраченных простых прошедших времен взял на себя перфект, превратившийся в универсальную форму прошедшего времени в русском языке.

Изложенная интерпретация последовательности утраты простых прошедших времен традиционна и вместе с тем очень авторитетна по своим хронологическим характеристикам и их обоснованию. Ссылки на материал грамот, на отсутствие или наличие следов имперфекта или аориста в современном языке, прямое указание на неодновременность утраты простых претеритов (форм прошедших времен) в разных древнерусских говорах не оставляют сомнения в стремлении восстановить языковые процессы живой речи, опираясь на памятники древней письменности. Между тем интерпретация материала памятников лишь односторонне учитывает соотношение между устной и письменной формами реализации структуры языка — только в плане устойчивости грамматических традиций в книжно-литературных текстах и меньшей их устойчивости в текстах деловых и бытовых. Совершенно не учитываются различия в потребностях выражения различных временных значений в диалогической речи (в сфере которой и осуществляется историческое изменение языка) и в речи повествовательной, куда относятся не только книжно-славянские памятники письменности с устойчивой грамматической традицией, но и памятники деловые, как не учитывается и соотношение временных форм с теми временными значениями, которые они должны выражать в том или ином конкретном тексте. Результатом игнорирования этих важных моментов являются очевидные противоречия, не позволяющие однозначно представить хотя бы и гипотетическую картину развития форм прошедших времен в живой речи.

Примером такой противоречивости оценок может служить интерпретация показаний новгородских текстов XIII — XIV вв., когда, с одной стороны, утверждается, что эти показания свидетельствуют о «начавшейся утрате» аориста, с другой стороны, — что формы аориста в этих текстах «являются остатками старины и не отражают живого говора этого времени». Если о процессе «начавшейся утраты» говорится в связи с развитием системы местного диалекта (как это можно понять из контекста), то это не согласуется с оценкой таких форм как «остатков старины»; если же осуществившейся к XIII — XIV вв. утрате аориста в новгородском говоре противопоставлен происходивший (якобы) в это время процесс утраты его как временной формы в системе письменного языка, то это не соответствует действительности, так как не только аорист, но и имперфект в языке восточнославянской книжности сохранялись до конца XVII в.

Посмотрим на общее соотношение различных форм прошедших времен в классических старославянских текстах («Мартинском евангелии», «Синайской псал-

¹ Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка, с. 280.

тири», «Синайском требнике» и «Сборнике Клоца»), в Лаврентьевской летописи (по исследованиям Д. Н. Кудрявского) и в светских литературных произведениях XVII в., включая бытовые погести и переводные новеллы.

Тексты	Аорист		Имперфект		Перфект	
	всего форм	%	всего форм	%	всего форм	%
Старославянские тексты	5964	77,5	1376	17,6	376	4,9
Лаврентьевская летопись	7700	82,2	1200	12,8	463	5,0
Литературные тексты XVII в.	4895	80,3	447	7,3	753	12,4

Цифры вполне очевидно показывают не только рост употребительности форм перфекта после XIV в. (когда они начинают использоваться и с неперфектным значением), но, главное, на самостоятельную историю простых форм прошедших времен в системе книжно-литературного языка, где они дожили до нового времени, и в живой речи, где их утрата никак не может быть отнесена ко времени позднее XIII — XIV вв.

§ 210. Реалистическая интерпретация истории форм прошедших времен в живой речи, опирающаяся на показания памятников письменности, должна учитывать не только употребительность их в текстах, наименее зависящих от книжно-славянских языковых традиций (т. е. в деловых и бытовых памятниках), но и учитывать их связь с теми значениями прошедшего времени, которые ими обозначены в каждом конкретном случае употребления. Последнее чрезвычайно важно потому, что не только древнерусские, но и более поздние книжники, учившиеся грамоте по церковнославянским богослужебным текстам, хорошо были знакомы с простыми претеритами и нормами их употребления и в текстах повествовательных, соответствовавших по своему жанру «классическим» образцам, использовали эти формы достаточно последовательно даже тогда, когда таких форм в живой речи уже давно не было (например, в XVI—XVII вв.).

Анализ употребления форм на *-л* во всех старейших некнижных текстах показал, что оно связано не только с собственно перфектным значением: те же формы употребляются и для выражения значений аориста и имперфекта, что уже само по себе означает, что и смоленские и новгородские писцы (XII—XIII вв.) в своем языковом сознании связывали различные частные значения прошедшего времени с формами на *-л*, образованными от основ разных видов. Вместе с тем те формы в новгородских грамотах, которые дают повод говорить о более длительном сохранении аориста в северных говорах, на поверку используются отнюдь не со значением аориста. Это относится и к старейшему примеру с формой аориста *въда (т)ебѣ* (в берестяной грамоте XII в.), где обычно предполагается пропуск *-л(ѣ)* (ибо далее есть *далѣ еси* и, наконец, *въда еси*) и где в любом случае бесспорно перфектное значение (выраженное перфектом, если в написании *въда* действительно описка). То же касается и примеров из преамбулы к «Русской правде»: *По Ярославѣ же пакы съвѣкоупивъшеся снѣе его. Изяславъ. Стѣславъ. Всеволодъ. и моужи ихъ*

Къснячько. Перенгъ. Никифоръ. и о(т)ложшиа оубиение за голову. нъ коунами ся выкоупати. А ино все яко же Ярославъ соудилъ тако же и снѣе его оуставиша. Давно обращено внимание на то, что формы аориста и здесь выступают со значением перфекта, поскольку (по тексту) в настоящем сохраняет силу закон, принятый сыновьями Ярослава (которые *отложиша* и *уставиша*); зато здесь же формой на -л выражено действие, результат которого к настоящему времени (текста) ликвидирован решением сыновей Ярослава и которое, следовательно, не может иметь значения перфекта.

С перфектным значением употреблены и все остальные немногочисленные формы аориста, зафиксированные в новгородских деловых текстах XIII—XIV вв. См.: *Се язъ Ярославъ Володимъричь... съ встми новгородъци подтвердихомъ мира старого...* в Дог. гр. 1189—99 — форма аориста оказывается в составе традиционной конструкции, сложившейся очень рано и закрепившей здесь форму перфекта в собственном значении (см. не раз приводившуюся начальную формулу из Мстиславовой грамоты: *Се азъ Мъстиславъ Володимиръ снъ... повелъль есмь...*); и опять, как и в предыдущем случае, в следующей фразе употреблен перфект со значением аориста: *послалъ есмь*.

Ряд форм аориста оказывается и в новгородском договоре 1262—63 гг., в формулировках также нарушающем традиционные формы перфекта деловых документов: *Се азъ князь Олександръ... и съ встми новгородци. докончахомъ миръ. с посломъ нъмьцькымъ. Шивордомъ. и с любьцькымъ... Что ся оучинило тяже. межи новгороци. и межю нъмци... то все о(т)ложихомъ. а миръ докончахъмъ. на сеи правдъ... Пoudъ о(т)ложихомъ а скалви поставихомъ. по своеи воли и по любви. а в ратишноу тяжу. п л а т и л и е с м ы (20) грвнъ серебра. за двъ голове а третьюю выдахомъ...* — и здесь формы аориста, указывающие на результат, сохраняющий (отныне) силу, сопровождают формы перфекта, указывающие на действия, утратившие силу, т. е. явно не со значением перфекта. Ср. формулировки смоленских и новгородских договоров в XIII—XIV вв.: *То же есмь с вами рядъ доконьчалъ...*; *Се язъ князь смоленьскши Александръ доконьчалъ есмь...*; *Се доконьчал великии князь Михайло...*

То же касается так называемой «Рядной Тешаты» (до 1299 г.), в которой формы аориста и перфекта функционируют как однородные члены предложения с одним временным значением: *Се поряди ся. Тъшата. съ Якымомъ. про складъство... и роцеть. оучинила. про межи себе.* Со значением перфекта отмечены и некоторые другие единичные формы аориста в новгородских грамотах, включая и берестяные, где достоверные примеры относятся к текстам XIII—XIV вв. Эти факты никак не могут указывать на процесс «разрушения» аориста в новгородском говоре, а, напротив, говорят о том, что в языковом сознании составителей грамот формы аориста (которые, безусловно, были им известны) не ассоциировались с указанием на действие или состояние, целиком отнесенное к прошлому и не связанное с настоящим — моментом составления документа. Видимо,

как и для составителей более поздних документов, это была лишь форма, тем более уместная, чем более значительным казался составляемый текст.

§ 211. Что касается формы имперфекта, то положительных свидетельств его существования в восточнославянских диалектах нет. Мнение о том, что в начальный период создания древнерусской письменной культуры имперфект в местной речи был, основано на довольно последовательном (с точки зрения выражения соответствующего значения) его употреблении в старейших списках «Повести временных лет», в частности в Лаврентьевском; только на этом основании П. С. Кузнецов сделал заключение, что «имперфект, вероятно, был живой формой в эпоху создания подлинника «Повести временных лет». Следовательно утрата его происходила, по меньшей мере, после начала XII в.»¹. Между тем, если опираться на этот материал, нельзя не заметить, что уже в старейших списках «Повести временных лет» значение имперфекта эпизодически актуализируется включением во временную форму суффикса *-(ы)ва/- (и)ва-*, активизация которого в живой речи может быть связана только с утратой специализированных временных форм.

Уже в начале «Повести временных лет» встречаем *оумькисаху* (наряду с *оумькаху*), *избиваху*, *проливашеть*, *убивашета* и др. То же и в более раннем списке Новгородской летописи (XIII—нач. XIV в.): *разграбливахуть*. Особенно много таких образований в Ипатьевской летописи (в списке начала XV в.): *сбивашеться*, *выдаешеть*, *избивахуть*, *покрывахуть*, *проливахуться*, *прикладывахуть*, *нашивахуться*, *въжигивашеть*, *оустягивахуть*, *припждивахуть*, *подъмолвливашеть* и др. Природа подобного явления ясна: хорошо усвоенный имперфект с тем значением, которое характерно для него в евангельских и других канонических текстах, продолжавших старославянские традиции, в языковом сознании книжников соотносился с уже оформившимся образованиями с тем же временным значением *умьк-ива-л(и)*, *разграбл-ива-л(и)* и т. п., которые не были «литературными», но тем не менее изредка заставляли автора или переписчика включать в форму имперфекта суффикс *-ыва/-ива-* в целях выделения собственно имперфектного значения. Иными словами, формы типа *умькиваху* являются свидетельством уже завершившейся в структуре родного для писца диалекта перестройки прежней многочленной системы прошедших времен. На смену им пришли образования на *-л* с разными видовыми (и «подвидовыми») значениями основ, способные выразить те оттенки значения прошедшего времени, необходимость в которых возникает в диалоге.

Структурно обусловленная необходимость развития форм типа *умькивал(и)*, *сваживал(и)*, а затем и *кашивал(и)*, *нашивал(и)*, источником которых всеми безоговорочно признается живая речь, понятна, если учесть, что в диалоге формы на *-л* от основ несовершенного вида используются обычно для выражения значения аориста, а не имперфекта. Иными словами, диалектная речь, расширяя функции

¹ Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка, с. 215.

суффикса *-ыва-/ива-* за рамки собственно видообразования (он начинает распространяться и основы несовершенного вида: *умыкива-ли* — *умыка-ли*, *сважива-ли* — *свози-ли*), явно использует его как средство выражения временного значения, как и в формах настоящего времени. Именно поэтому такие образования и распространяются на беспроставочные формы, что по памятникам письменности фиксируется с XV в., где они всегда подчеркивают отнесенность действия к более раннему периоду. См. в московских грамотах конца XV в.: *А дал еси ему то(го) деля, что еси у него даров **имывал** много; Онъ та(ть) въдомои и **преж того** не одинова **крадывал***. А. А. Шахматовым такие формы отмечены в двинских грамотах XV в. с отчетливо выраженным значением более раннего прошедшего: *Межа да мшарины по ручси. гдъ Евши рожь **сывалъ*** ('раньше сеял'); *Се купи Грихне Иванъве снъ... цимъ **вълодъвалъ** игуменъ и его дъти* ('купил то, чем прежде владел игумен').

С XVI в. образования на *-ыва-л* особенно характерны для канцелярско-делового языка как удостоверительных, так и осведомительных актов (включающих повествование). Соотнесенные с формами настоящего времени с тем же суффиксом, они нередко обнаруживают значение повторяемости или обычности действия в прошлом, что дало повод охарактеризовать соответствующие формы как «прошедшее многократное». Между тем значение повторяемости для них является вторичным, потенциально связанным с общим значением основы (а не формы), но не обязательным. См. примеры из текстов XVI в., приводимые С. Д. Никифоровым¹, в которых значение повторяемости всегда связано с основным для этих форм временным значением — отнесенности в давнее прошлое, а в ряде случаев вообще отсутствует: *А послы великие... **хаживали** ко... царем всеа Русии от прежних датцких королей и **делывали** о всем; Луг **кашивал** истори Кузма Баръдатой; **Преж сего** ту землю **пахивал**; **А наперед сего служивал** у Захария... **а после Захария служил** у Микиты; **Продав**... **росолу**... **что еси тот росол купливал** у Терентья.*

Потенциальное значение обычности или повторяемости обусловило широкое применение таких форм в конструкциях с отрицанием (где они усиливают отрицание, придавая ему оттенок 'никогда, ни разу не...') и с вопросительно-предположительной частицей *ли* (с оттенком 'было ли хоть раз'). См. в текстах XVI в.: *И тое дани **не плачивали** много лет; И вы наперед сего к Ивану про то... **не писывали**; Правят на них свежие поледние рыбы, **а наперед того на них поледние рыбы, никакие **не правливали****; И крепости ему на себя никакие **не даывал** и на приданой **не женивался***. Последний пример особенно выразительно подчеркивает отрицание единичного действия. То же в текстах XVII в.: *Онъ тои свои вотчины никому самъ не продавалъ... и руки къ купчей или закладной въ свое мнго прикладывать **не веливалъ**; Вотчинных грамотъ на ть земли **не имывали**... Своих помътееи никому **не менивали** в Улож. 1649. Онъ **не крадывалъ**... и из Ростова **не бѣгивалъ** в деле 1649; И жена ево Тимофьева сына еъ Дарына Кузму **не бивала** и **не увѣчивала** и **не дазливала** и зять еъ Лука Костянтинсв сына еъ... **не отнимывалъ** в деле 1688; в документах местных канцелярий, например из Курска: *Меня **не подговаривал**... **не научивал** и **не веливал**; И с Курска **не схаживал** на инья города **никуда**;**

¹ См.: Никифоров С. Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI в. М., 1952.

А тот Савоска... откупу не имывал и его не пускавал ... и под скно не прихаживал; Би(ть) челом на нас не посылавали и челобитных встм городом не писывали; А мы... преже сево кнотом не бивывали и не пытысали а служивали твою гдбру службу в гораде у варот в Оск.гр.1635. В письмах и челобитных, составленных частными лицами (а не профессиональными подьячими), подобные образования встречаются именно в отрицательных конструкциях.

Характерны в документах XVI в. вопросительно-предположительные конструкции, свойственные протоколам судебных допросов («отвечай, было ли?») и «наказам» — циркулярам центральных учреждений местным властям («следует выяснить, так ли»): *Покрадиеси от княгини бегивал ли и тое татбу имывал ли; И у неделника еси саживал ли и ножем сидячи у него резывал ли; Хто к ней.. приезживал ли и ее бивал ли и мучивал ли... и ее грабливал ли и хто ее из подворья и человека се Федка связывал ли. То же и в записях XVII в.: А письма заговорные или иные какие воровские они писывали л(ь) я того не видал в деле 1676.*

Следует подчеркнуть, что широкая употребительность образований на *-ыва-л/-ива-л* вне устойчивых моделей (с отрицанием или частицей *ли*) — особенность именно канцелярского языка второй половины XVI—XVII вв.: в частных письмах она незначительна, а в челобитных (деловых памятниках неофициального происхождения) не столь высока. Сопоставление функций таких образований в деловом языке с системой глагольных форм и их функциями в книжно-литературных текстах XVII в. показывает, что они являются функциональными эквивалентами форм имперфекта, который в это время использовался в литературном языке со значением подчеркнутого отнесения действия к давнему прошлому. См. в примерах из текстов XVI в.: *Наперед сего служисал у Захария* — а потом *служил у Микиты*; *Продал росол* — который (раньше) *купливал у Терентья* (однажды); *А Петрушка заставлял тое тетрадку писать пришед из гостей* в деле 1676 (речь явно идет об однажды случившемся); *Слышали... от казаков, которые казаки на Орле живали, что тот У(ль)янка Волков орленин* в деле 1627 ('те, которые в то время, давно жили в Орле').

Впрочем, ситуация нередко способствует реализации в таких формах (со значением давности) оттенка обычности; см. в примерах из текстов XVI в.: *Луг кашивал исстари* (не только 'давно', но и 'в течение длительного времени'); *преж сего ту землю пахивал*; см. то же в челобитных XVII в. из Курска: *А гречих з десетины молачивали по десети четвертеи курской мьры. Пчелы мои то льто не роили(с) четверы, а пяты и сами умерли.. А пущиволи те пчелы мои в льто по пяти роев.* Подобные факты, между прочим, объясняют, почему в системе книжно-литературного языка имперфект, традиционно связанный с указанием на обычное (продолжительное, а как частный случай — и повторяющееся) прошлое действие, очень рано прибавляет к своему основному значению чисто временное значение давности, исторически принадлежавшее плюсквамперфекту. А то, что древнерусские книжники соотносили имперфект с разговорными формами на *-ыва-л/-ива-л* (*умык-ива-ху* и т. п.), говорит о сосуществовании книжно-литературного имперфекта и разговорного «давнопрошедшего продолжительного» на *-ыва-л* уже в древнерусское время.

Функциональное тождество тех и других форм, принадлежавших разным языковым системам, подтверждено переводом латинской грамматики Доната, осуществленным в 1522 г. (сохранился в списках середины XVI в.). Как заметил П. С. Кузнецов, переводчик грамматики Д. Герасимов (Толмач) в соответствии с латинским *plusquamperfectum* — «минувшим пресвершенным», которое означает вообще очень давнее действие («давнопрошедшее», а не только «предпрошедшее»), дает формы имперфекта, в его примерах последовательно образованные от основ на *-ыва/-ива*:

Число, лицо	<i>люблю</i>	<i>учю</i>	<i>хочу</i>
Ед. ч. 1-е л.	<i>люблывах</i>	<i>учивах</i>	<i>хачивах</i>
2-е л.	<i>люблываше</i>	<i>учивашъ</i> или <i>ты учивалъ</i>	<i>хачивал еси</i>
3-е л.	<i>люблывалъ той</i>	<i>учивал той</i>	<i>хачивал</i>
Мн. ч. 1-е л.	<i>люблывахомъ</i>	<i>учивахом</i>	<i>хачивахомъ</i>
2-е л.	<i>люблывасте</i>	<i>учивасте</i>	<i>хачивасте</i>
3-е л.	<i>люблываху тии</i>	<i>учиваху</i>	<i>хачивали</i>

Предлагаемые формы не вполне соответствуют практике книжников XVI в. (на *-л* обычно образовывались формы имперфекта и аориста во 2-м, а не в 3-м л.), но они интересны как свидетельство тождественности временных значений книжно-славянского (церковнославянского) имперфекта и «давнопрошедшего продолжительного» на *-л* живой речи. Источник же основ типа *люблыва-* представлен в оформлении основы глагола *хотѣти*, где Герасимов последовательно дает *хачива-* (а не «*хачива-*»; ср. исходную форму *хочу*).

§ 212. Итак, наблюдения над употреблением простых претеритов в старейших древнерусских памятниках в связи с позднейшими традициями не дают оснований предполагать более или менее длительное их сохранение в древнерусских говорах. Ни аориста, ни имперфекта как глагольных форм со своими специализированными временными значениями в живой речи восточных славян к XII в. уже не было. Значение аориста в некнижных текстах XII в. постоянно выражается формой на *-л* от основ совершенного и (реже) несовершенного вида (последнее характерно для диалога); а сами формы аориста в этих текстах свидетельствуют лишь о знакомстве с ними грамотных людей, но ни в одном известном случае не употреблены с собственно аористным значением (которое для них продолжало оставаться характерным в книжно-литературном языке вплоть до нового времени). Имперфект же как временная форма не имеет на восточнославянской почве никаких традиций, но достаточно рано проявляется его функциональная соотнесенность со специализированной по своему грамматическому значению и явно новой в плане истории славянской глагольной системы формой на *-ыва-л/-ива-л*. И если в существовании аориста как временной формы живой древнерусской системы (до XII в.?) сомневаться все же не приходится (он оставил по себе память в виде *чу!*, *бы* и, возможно, других форм), то принадлежность имперфекта как глагольной формы системе восточнославянских диалектов хотя бы и дописьменного времени не может быть доказана. Критический анализ употребления глагольных форм в нелитературных текстах убеждает в том, что не позднее XII в. в языковом сознании их создателей частные зна-

чения прошедшего времени связывались с функциями образований на -л от основ разных видов, которые, утратив вспомогательный глагол (в 1—2-м л. еще использовавшийся как показатель лица, а не времени), уже не соотносились с настоящим (моментом речи), получив тем самым возможность выражать различные значения собственно прошедшего времени.

Функциональное преобразование формы на -л в большинстве восточнославянских говоров имело следствием развитие «нового перфекта» — специализированной неизменяемой формы краткого действительного причастия прошедшего времени, употребляющейся в качестве глагольного сказуемого со значением перфекта: *Он уехавши; У нее муж погибши; Руки вроде как опухши* (в ряде говоров эта форма используется в личных и безличных страдательных конструкциях с перфектным значением: *У мя в колхозе наработавши много; В доме всё наживши*)¹. Легко заметить, что во всех случаях констатируется наличное состояние, являющееся результатом осуществившегося в прошлом действия: *уехавши* — ‘его сейчас нет’, *погибши* — ‘она теперь без мужа’ и т. д.

Причины развития таких форм очевидны: перфектное значение является самым актуальным для диалога; поэтому переобразование прежнего перфекта в универсальную форму прошедшего времени, т. е. превращение его в собственно прошедшее, не связанное с указанием на наличное состояние, создавало «вакуум» в системе средств выражения самого актуального для диалога предикативного значения. Именно поэтому «новый перфект» должен был развиваться «после принятия на себя старым перфектом функции прошедшего времени»². Предложенная выше хронология перестройки форм прошедших времен означает, что «новый перфект» должен был появиться не позднее XII столетия. Какие данные позволили бы проверить это предположение и тем самым косвенно подтвердить справедливость (или бездоказательность) мнения о завершении перестройки древней системы прошедших времен в живой восточнославянской речи до XII столетия?

Памятники письменности не могут дать ответа на поставленный вопрос. Дело в том, что использование кратких действительных причастий в предикативной функции чрезвычайно характерно для древних славянских текстов, в том числе и книжно-славянских, продолжавших старославянские традиции. Более того, древнерусские тексты, в отличие от старославянских, где действительные причастия выполняют функцию «второстепенного сказуемого», тождественную функциям современных деепричастий (ср.: *Видь-вше же клевети бывшаа. съжалишися злю* — ‘Товарищи же, увидев случившееся, очень опечалились’), постоянно дают примеры функционального равноправия причастных и спрягаемых форм, что подчеркивается не только включением подлежащего в причастную

¹ См.: Кузьмина И. Б., Немченко Е. В. Синтаксис причастных форм в русских говорах. М., 1971.

² Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Морфология, М., 1953, с. 248.

конструкцию (как в приведенной фразе), но и употреблением соединительных союзов между теми и другими формами: *И въсь уставъ испъсавъ и посъла; И се увъдѣвъ Стоплѣкъ посълавъ два варяга и прободоста и мечемъ* в Усп. сб.; *Игорь же възрѣвъ на нѣбо и видѣть слнце стояще яко мсць...* Они же *оузрѣвши и видиша* вси в Ип. лет. И тем не менее такие построения не могут быть непосредственно связаны с «новым перфектом», так как они полностью лишены... значения перфекта. И это понятно, ибо «новый перфект» (как и перфект вообще) является принадлежностью диалога, между тем как известные случаи употребления предикативных причастных форм связаны с текстами повествовательными, в которых «второстепенное сказуемое», выраженное кратким действительным причастием (не только прошедшего, но и настоящего времени: *И хотя удръжатися и не можааше* в Усп. сб.), имеет давнюю книжную традицию, в языке старославянских переводов, между прочим, полностью соответствующую конструкциям греческих оригиналов.

Можно высказать уверенность в том, что устойчивость традиции употребления кратких причастий в предикативной функции могла поддерживаться ее соответствием конструкциям живой речи; но это соответствие допустимо и для того периода, когда причастия использовались в «доперфектной» функции. Впрочем, некоторые примеры употребления причастий, отмеченные в новгородских берестяных грамотах с XII в., очень напоминают фразы диалектологических записей с «новым перфектом»: *Се Жядѣке пославъ. ябетника дова и пограбила мя. въ братни долгъ (...) а възборони емоу; А се пакы шьдоци воземи десять гривьно погатами.* В более поздних деловых текстах встречаются примеры, где причастная форма соотнесена с настоящим временем: *Князь мейстеръ поймавъ ихъ а держитъ по городомъ* в Пол. гр. XV; *И судья възрѣвъ в грамоту и в грамоте пишет* в Яр. гр. 1495—97.

Долгое время «новый перфект» считался особенностью северо-западных великорусских говоров. Однако исследования последних десятилетий показали, что он распространен в подавляющем большинстве великорусских говоров, в том числе и в южновеликорусских (на территории старейших восточнославянских поселений; в соответствии с современным диалектным членением — в западных и юго-западных говорах), а также в говорах других восточнославянских языков; причем на территории Белоруссии фиксация этой формы «редет» лишь в ареале полесских говоров. Если иметь в виду территорию Древней Руси, то «нового перфекта» (представленного хотя бы отдельными примерами) не оказывается только в говорах Ростово-Суздальской земли и ее колоний (чем и объясняется отсутствие его в системе литературного языка, нормы которого формировались под влиянием диалекта Москвы). Изоглосса этого явления совпадает со множеством изоглосс диалектных особенностей, распространявшихся в период обособления северо-восточной диалектной зоны, т. е. примерно с конца XI—XII вв. Данные лингвистической географии, следовательно, подтверждают вывод о завершении процесса преоб-

разования древней славянской системы прошедших времен в восточнославянских говорах до XII в.

Развитие «нового перфекта» связано с функциональной перестройкой образования на *-л*. В самом деле, принципиальное отличие значения перфекта от значения аориста (а отчасти и имперфекта) связано с указанием на наличное состояние, что и объединяет перфект с «предбудущим» и «предпрошедшим», где также указывается на состояние, которое вполне оформится (или оформилось) до завершения (или начала) следующего действия (в будущем или прошлом). Именно этим было обусловлено оформление древних аналитических форм с причастием прошедшего времени (на *-л*) как формы, актуализирующей значение состояния как результата прошлого действия. По мере того как форма на *-л* принимала на себя собственно значение процесса (действия, а не признака предмета), она, естественно, теряла значение признака как результата прошлого действия, т. е. теряла собственно причастное значение, необходимость в котором постоянно возникает в диалоге (ибо надо сообщить не то, что он *приехал* в смысле 'завершил процесс', — потребность в выражении этого значения обычно возникает в рассказе, — а то, что 'он находится здесь, а не в отъезде'). И коль скоро *приехал* получило значение 'совершил действие' (что в древнерусском выражалось формой *приѣха*), то для указания на наличное состояние начинает использоваться форма *приехав(ши)* — 'является приехавшим'.

Закрепившись в этом значении (т. е. только в функции предиката, следовательно, с утратой форм косвенных падежей), формы типа *приехав(ши)* начинают использоваться и при указании на состояние разных временных планов. См. диалекто-логические записи: *Уходили—ещё солнышко не вставши было* (состояние в прошлом — в период осуществления другого действия); *Погибши сын у меня* ('теперь его нет'; в северо-западных говорах встречается вспомогательный глагол: *Мы не ездивши естя со своей деревни*); *Магазин будет закрыши* (указание на состояние в будущем).

§ 213. С историей перестройки древней системы прошедших времен отчасти связана и судьба плюсквамперфекта в русском языке, если иметь в виду не книжно-литературную традицию, а историю живой речи. В этом плане, естественно, может рассматриваться лишь история «русского плюсквамперфекта», который как форма до сих пор сохраняется в украинском и белорусском языках (укр. *ходили були*; бсл. *я быў зрабіў*) и в некоторых северных русских говорах (главным образом в иноязычном окружении): *ошио не собрались были, был остался от отца, у ей была болела голова* и т. п. Будучи довольно редкой формой, плюсквамперфект в значении «нейтрального» указания на предшествование прошлому действию или состоянию (*Хотѣхомъ с ними ради битися но оружье бяхомъ услали напередъ* в Лавр. лет.) известен, как правило, повествовательным книжно-литературным текстам. Что же касается памятников деловой и бытовой письменности, то начиная с древнейших они используют плюсквамперфект лишь в случаях, когда обращается внимание на действие, прерванное или «отмененное» следовавшим за ним действием в прошлом. См.: *А что былъ отялъ бра(т) твои Александръ. позже. а то ти княже не надобъ* в Новг. гр. 1264—65 (ср. обозначение действия того же временного отрезка, но без указания на «отмену» его результатов: *А что, княже брать твои Александръ дѣялъ насиле на Новгородъ. а того ся княже отступи* — «отменять» нечего, но 'не делай так'); *Ярославъ былъ оуставилъ и оубити. нъ снве его оуставиша по отьци на куны* в Р. пр. (плюс-

квамперфект явно связан с констатацией отмены прежнего порядка; ср. указание на предшествование без подчеркивания «отмены» ранее установленного: *А ино все яко же Ярославъ соудилъ. тако же и снѣ его оставиша*); *Въ тыи жо день по его слову приготовилися есме были и рекли есме Прокопию. се мы готовы. поедимъ... Прокопию на конь свои уседъ поехалъ у Витьбескъ. а наю братью попустилъ* в Рижск. гр.

По-видимому, во всех приведенных примерах мы имеем дело с явлением узуальным: общее значение предшествования, свойственное плюсквамперфекту и реализуемое в текстах повествовательных, в диалоге оказывается актуальным лишь в случаях, когда необходимо подчеркнуть его «незавершение» или «отмену» последовавшим затем действием. Это, первоначально частное, значение постепенно и закрепляется в качестве основного. К сожалению, записи диалектной речи, сохраняющей плюсквамперфект, как правило, не дают контекста, и нельзя проверить, какие именно условия вызывают появление в диалоге конструкций типа *собрались были, была болела*¹. Между тем в тех редких случаях, когда контекст позволяет это проследить, значение «отмененного» прошлого очень заметно: *Земля была высохла но опеть промокла* (Арх. губ.); из записей В. И. Чернышова: *Был паехал а ево не взяли* (Моск. губ.). Ср.: *А который деревни отомалъ былъ князь Волдимеръ... а те деревни потянутъ* (к Москве) в Моск. гр. 1389.

В условиях утраты спрягаемой части вспомогательного глагола (*болела была* из *болѣла была есмь*) значение «отмененного» прошлого целиком сосредоточивается на форме *был-*, согласовательная функция которой оказывается избыточной. Создаются условия для превращения этой части сочетания «форма на -л + *был-*» в неизменяемый показатель модально-временного значения [подобно *бы, буде(т)* и т. п.]. Так оформляется конструкция типа *(за)болел было, пошёл было*, встречающаяся во всех великорусских говорах и известная литературному языку (см.: *Он ударил по лошади: бедное животное пошло-было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом* у Пушкина).

Если диалектологи фиксируют остаточные формы плюсквамперфекта только в говорах, распространенных к северу от Москвы, то это можно объяснить тем, что превращение *был-* в неизменяемый показатель «отмененного» прошлого активнее протекало в акающих говорах, более резко противопоставляющих ударные слоги безударным: закрепившись в постпозиции к спрягаемому глаголу, *было* фактически превращается в энклитику, что и ускорило его изменение в постпозитивную частицу (ср.: *пошлѣ-было* у Пушкина, *привелѣ боло* в письме Аввакума — явное отражение редукции). И это оказывается не отмеченным наблюдателями, считающими, что они имеют дело с конструкцией, тождественной литературным сочетаниям формы прошедшего времени с *было*. Между тем южновеликорусские деловые памятники начала XVII в. дают не меньше приме-

¹ См.: Обнорский С. П. Очерки по морфологии русского глагола, с. 160.

ров с «плюсквамперфектом», чем северные, иногда параллельно используя в них *было* и изменяемую форму. Вырванные из контекста, они, как правило, производят впечатление традиционного плюсквамперфекта — со значением «нейтрального» предпрошедшего: *И запись на то помѣсье мнѣ были дали...; И пошли были на них в ночи...; Онъ почел был осиливать батюшка моево...* Однако широкий контекст (иногда всего документа в целом) каждый раз позволяет заметить, что такая конструкция появляется в связи с необходимостью подчеркнуть «неосуществление» или «отмену» более раннего действия или состояния последующим. См. в курских грамотах 20-х годов XVII в.:

«Ннѣшнего (1620)-го го(ду) поступилис мнѣ тот Игнатей да Лѣвонтеи своего помѣ(сь)я... и запись тог Игнатей да Лѣвонтеи на то помѣ(сь)е мнѣ *были дали* в пятидесят рублехъ что было имѣ то помѣ(сь)е справи(гь) за мною... И ннѣшнего ж (1620)-го го(ду) за неделю до Покрова сѣи бѣи начевал у меня тот Игнат Мяхкон и умысля воровски *покрал* у меня в начи в ызбе ис коро(бѣ)и тѣ помѣстныя записи и пократчи в ночи от меня з двора побежалъ»;

«...А *дошли было* они ихъ (татар) на полднѣхъ верхъ рѣчки Лещина и *приходи(ть) на них не потерпѣли*... А татаровя стаявъ пошли Муравскимъ шляхомъ... И ходили ['следовали'] з белагородцы за тѣми татары до Мерчика... *И дошли было* гсдрь тѣх татар на Мерчику. *И пошли были на них в ночи з белагородцы пехотою всѣ*. А послали перед собою вожа белагородца Гришу Селипского с товарищи осмотре(ть) которым бы мѣсто(м) прити(ть) на них пехотою. И Гришка Селипский с товарищи заблудил и к головам в той ночи не бывал. И головы на татар в той ночи потому *не пошли* — чаели тово, что тово Гришку с товарищи взяли татарове, и *поворотилися х кошу*»;

«Я (его) не бивал и не граблывал и руки ему не переламливал и бороды не выдчрал, а шол за отцом своимъ подале. И как батюшка мой подрался... я то(го) Пегрища *сопхнул* з батюшка свое(го), какъ онъ *почел был осиливать батюшка моево*».

В текстах второй половины XVII в. «отмененное» (или незавершенное) прошлое действие выражается обычно формой, которая свойственна ему и сейчас: *А какъ началъ царствовать* (Лжедмитрий), *и в Росийскомъ государстве учалъ было заводить вновь вѣру папижскую...* *и ему того не потерпѣли* у Котошихина; *И Пашковъ велѣлъ* (сына Ивана) *кинуть в студеную тюрьму, гдѣ я сидѣлъ: начевалъ милой и замерзъ было тутъ. И наутро опять велѣлъ к матери протолкать*;... в ыную пору бивше меня на колѣ *было посадилъ, да еще богъ сохранилъ* у Аввакума; ср. у него же с изменяемой формой бывшего вспомогательного глагола, но с тем же значением: *Надавали были кое чево во имя Христова люди добрые много, да все осталось тутъ.*

Материал деловых памятников и условия современного употребления бывшего плюсквамперфекта заставляют обратить внимание на то, что и в древних повествовательных текстах плюсквамперфект используется либо в тех случаях, когда надо зафиксировать состояние, уже наличное к моменту осуществлявшегося в прошлом действия (*И приде Ростовоу, и въ то время оумьрѣ бѣше Михалко* в Новг. лет. — обращено внимание на то, что ко времени прибытия Мстислава в Ростов Михалко был уже мертв), либо с «имплицитным» (не выраженным явно, но заключенным в контексте всего повествования) значением нереализованного или «отмененного» последующими действиями более раннего действия или состояния. Так, употребление плюсквамперфекта во фразе *Оу Ярополка же жена грекшии бѣ и бѣше была черницею. бѣ бо привелъ оць его Стославъ и вдою за Яро-*

полка в Лавр. лет. заставляет обратить внимание на то, что, во-первых, став монахиней, женщина не должна была возвращаться к мирской жизни, следовательно, здесь не просто 'прежде была монахиней', а 'была было монахиней, но затем стала женой Ярополка', а потому, как выясняется из последующих записей, сын ее Святополк оказался «окаянным», *отъ грѣховыаго бо корене зълъ плодъ бываеть, понеже была бѣ мати его черницею*; во-вторых, летописец сообщает, что Святослав вывез ее из монастыря *красы ради лица ея*, видимо, прельстившись ею; следовательно, не просто 'привез раньше, чем выдал за Ярополка', а безусловно: 'привел было (себе), но отдал за Ярополка' (иначе при данной последовательности форм плюсквамперфекта вообще не было бы). Точно так же появление плюсквамперфекта во фразе *Ту же къ нимъ и сторожеве приѣхаша, ихже бяхуть послали языка ловитъ* в Пп. лет. теперь заставляет обратить внимание на дальнейшее изложение, из которого следует, что языка разведчики не поймали, следовательно, и здесь употребление формы связано с тем, что заданное не было реализовано.

История форм ирреальных наклонений

§ 214. Если сослагательное наклонение уже в древнерусский период приобретает в живой речи ту форму, которая характерна для него и в современном языке (см. § 202), то формы повелительного наклонения претерпели в процессе развития языка довольно существенные изменения. Общее для этих изменений, если отвлечься от истории форм отдельных глаголов в разных говорах, заключается в том, что прежние, зафиксированные памятниками письменности формы множественного числа (не говоря о формах двойственного числа) повелительного наклонения были утрачены. Современные формы единственного числа как в литературном языке, так и во всех говорах (при всем их различии в образовании форм отдельных глаголов) являются новообразованиями, создаваемыми путем агглютинации показателя множественности к форме единственного числа.

Следует отметить, что глаголы, сохранившие в русском языке отдельные нетематические формы (*дам, ем*), «материально» не утратили прежних форм множественного числа повелительного наклонения, а стали использовать их с новым грамматическим значением настоящего-будущего времени, заменив ими непродуктивные нетематические формы: вместо *дам(ѣ)* — *дасте*, *ѣм(ѣ)* — *ѣсте* теперь повсеместно употребляются бывшие формы множественного числа повелительного наклонения *дадим* — *дадите*, *едим* — *едите*. Сохранились «материально» и формы единственного числа этих глаголов, где конечный шипящий после падения редуцированных подвергся оглушению: *да[ш]* < *даж* < *дажь*, *ѣ[ш]* < *ѣж* < *ѣжь*. Закрепление результатов оглушения в орфографии явно обусловлено аналогическим сближением таких форм с флексиями 2-го л. ед. ч. тематических глаголов: *дашь, ешь*, как *идеши, ходиши* [*ши(ѣ)* сохраняет также и значение повелительного наклонения].

В живой речи изменение грамматического значения прежними формами повелительного наклонения нетематических глаголов и замена их новообразованиями, судя по показаниям памятников

письменности, осуществились очень рано. Даже в книжно-литературных текстах уже в XI в. наряду с традиционными встречаются формы *даи* («Изборник» 1076 г., «Галичское евангелие» 1144 г., Лаврентьевская летопись и др.) и *даите* (*въдаите*, *выдаите* и др.), которые оказываются едва ли не единственными возможными в нелитературных текстах, — со значением совершенного вида (т. е. вместо *дажь*, *дадите*), хотя генетически они и связаны с основой несовершенного вида *дај-* (*даю*). Встречающееся параллельно написание *нѣжь* после падения редуцированных не может отражать звонкого конечного согласного и лишний раз напоминает о хорошей орфографической выучке древних авторов (написание *нѣшь* впервые встречается у Аввакума); ср. отмеченную в «Повести о Горе Злочастии» форму *нѣте* (не *ндите*), хотя она явно отражает новое образование формы повелительного наклонения.

§ 215. История формы единственного числа повелительного наклонения связана, как обратил внимание Л. А. Булаховский, с особой акцентуацией форм побуждения, выделяющей в них ударный слог резче, чем в других глагольных формах. Это имело следствием утрату конечного гласного формы, если он оказывался в безударной позиции: *вста[н']* вм. более ранней формы *въстани*, *ре[ш]* вм. *рѣжи*, *зна[ј]* вм. *зна[ји]*. В современной системе глагольных форм образования типа *режь*, *знай* могут интерпретироваться как произведенные от основы настоящего времени посредством нулевого аффикса (*реж-ут*, *зна[ј]-ут*); однако исторически они оформились именно в результате редукции безударного [и]. Об этом говорит оформление повелительного наклонения от основ настоящего времени I—II типов, где конечный согласный, некогда находившийся перед гласным переднего ряда, остался мягким (в случае нулевой аффиксации основы настоящего времени в повелительном наклонении было бы «*стан*», «*трон*», а не *стань*, *тронь*). О том же говорят и диалектные формы, когда при перенесении ударения на основу (в связи с аффектацией формы побуждения) [и] также подвергается редукции; см. проникающие в просторечие формы типа *глянь* (вм. *взгляни*), *положь* (вм. *положи*).

В соответствии с нормами литературного языка *-и* в безударном положении сохраняется при скоплении согласных в конце основы (*крикни*, *исполни*, *исчисли*; формы типа *узедоми* по происхождению книжно-славянские), а также в образованиях с приставкой *вы-*, «перетягивающей» на себя ударение: *вѣнеси* (ср. *неси*), *вѣведи* (ср. *веди*), *вѣпиши* (ср. *пиши*); по аналогии с этими образованиями в разговорной речи постоянно можно встретить *вѣправи* (ср.: *правь*, *поправь*), *вѣброси* (ср. *брось*).

Формы 2-го л. мн. ч. образуются присоединением показателя множественности *-те* к форме единственного числа: *встань-те*, *знай-те*, *крикни-те*, *ходи-те*. Тот факт, что для глаголов с основами настоящего времени III—IV типов эта форма в известных случаях совпадает с древнерусской, является результатом совпадения, а не сохранения старой формы [ср.: *режь-те* при др.-русск. *рѣжи-те*, *исправь-те* при др.-русск. *(ис)прави-те* в тех случаях, ког-

да форма единственного числа не имеет условий сохранения конечного *-и*].

Судя по показаниям памятников письменности, преобразование форм повелительного наклонения в живой речи началось достаточно рано, хотя в текстах книжно-литературных этот процесс получил отражение лишь с XV в. (см. в Ипатьевской летописи: *буть, видь, оспазь, поьдь; не пздь, лязьте, не правьте, станьте, молъсьте*). Памятники бытового и делового письма отражают такие формы значительно раньше, хотя, разумеется, и здесь они до XVI в. не являются господствующими. Старейший пример зарегистрирован в новгородской берестяной грамоте XII в.: *Не ходь ко Шедьре*; все остальные известные случаи относятся к XIV и последующим столетиям: *прикаж, да сыль сьби в клить, не обидьте, не двиньте* в Новг. гр. XIV; *будь* в Гр. 1391; *поедь* в Гр. 1409. Некоторые авторы XVI — XVII вв. хорошо отражают условия проникновения таких форм в тексты: так, в письмах Курбского (XVI в.) обычно встречаются формы с *-и* (*буди, избави, остави, слыши*), но в цитации пословицы и «сниженном» (не связанном с религией) обращении находим: *вьрь, образумься*; Аввакум при обычных формах на *-и* (*Боже милостивъ буди; Плачи суетнаго жития своего*) в нарочито сниженных фрагментах своего «Жития» употребляет явно разговорные: *зажмурь глаза-ть, плюнте, поплач-ко*.

Диалектная речь отражает последовательное распространение редукации [и], связанной с перенесением ударения в формах повелительного наклонения на основу. Не только на юге (в акающих говорах), но и на севере широко отмечаются формы типа: *выпрось, отворь, пасодь, подь, покажь, прогонь*. Формы множественного числа везде последовательно образуются от формы единственного: *выпросьте, отворьте, покажьте, робьте*.

§ 216. Ситуативные условия употребления повелительного наклонения таковы, что постоянно возникает необходимость в побуждении к совместному действию с говорящим других лиц, т. е. необходимость в инклюзивных формах 1-го л. неединственного числа.

Утрата древних форм неединственного числа повелительного наклонения (причину которой пока трудно объяснить) отнюдь не означала утраты необходимости в самих таких формах, которые и сложились в великорусских говорах как новообразования. При этом в повелительном наклонении в силу коммуникативной потребности оформились уникальные для системы современного языка формы 1-го л. дв. ч. (разумеется, инклюзивного), которые говорящий использует, чтобы предложить собеседнику выполнить что-либо вместе с ним: *Пойдём! Давай сделаем!* В тех случаях, когда необходимо побудить к совместному действию ряд лиц, т. е. когда возникает необходимость в форме 1-го л. мн. ч. (инклюзивного), она образуется так же, как и форма 2-го л. мн. ч. — прибавлением показателя множественности *-те*: *Пойдёмте! Давайте сделаем!* Формы эти исключительно разговорные, поэтому проследить время их появления по памятникам письменности невозможно.

ПРИЧАСТИЕ

ИМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 217. Именные формы глагола представлены в древнерусском языке инфинитивом, супином и причастиями, образованными от глагольных основ, сохранявших свое видовое значение, что и отличало их от глагольных имен [ср.: *строить, построить* — *строй(ка), строение, построение*]. Именные формы, находившиеся вне наклонений, т. е. лишенные категории модальности, были противопоставлены спрягаемым формам по синтаксическим функциям: как и имена, они использовались в качестве второстепенных членов предложения и могли употребляться в функции подлежащего (что для спрягаемых форм полностью исключено), а в качестве сказуемого употреблялись только в сочетании со спрягаемой формой, т. е. вели себя в предложении как имена.

Следует, однако, учитывать, что в грамматической системе древнерусского языка собственно именными, объединявшими именные признаки с глагольными, были только причастия, в то время как инфинитив и супин могут быть отнесены к именным формам лишь с точки зрения генетической: в плане синхроническом они представляли собой неизменяемые образования, произведенные от глагольных основ посредством формобразующих аффиксов и не сохранявшие никаких именных признаков.

§ 218. С у п и н уже в древнерусском языке начального периода использовался только в функции второстепенного члена предложения с целевым значением при глаголах движения и напоминал о своей связи с глаголом лишь видовым значением основы, но утратил способность управления **В** без предлога (при супине, как и при имени, объект употреблялся в форме **Р**): *На Озвадо ехати з в ъ р и гонитъ* в Новг. гр. 1264—65; *И онъ шолъ с темъ человекомъ с о л и веситъ* в Рижск. гр.; *Посла Ярополкъ искатъ б р а т а своего* в Лавр. лет.; *Ихъ же бяхоуть послалъ я з ы к а ловитъ* в Ип. лет.

Примеры употребления супина в древнерусских памятниках письменности относительно редки, ибо в той же функции часто использовался и инфинитив (*Посъла призъвати*, а не *призъватъ* в Остр. ев.; *Ехали тамо твердити миръ*, а не *твердитъ мира* в Смол. гр. 1229), как это наблюдается в современных восточнославянских литературных языках и в диалектной речи. И тем не менее сомневаться в принадлежности супина системе древнерусского языка (хотя, может быть, и не всем диалектам) не приходится: северновеликорусские говоры (прежде всего в иноязычном окружении) изредка дают примеры употребления супина в целевых конструкциях (типа *Иду пахат*; *Пошли рыб ловит*).

§ 219. И н ф и н и т и в в древнерусском языке, как и в старославянском, характеризовался аффиксом *-ти* (*би-ти, писа-ти, ходи-ти*), но от основ I типа на задненёбный согласный древнерусский инфинитив, в отличие от старославянского, оканчивался на *-чи*: *мочи* < **mog-ti*, *речи* < **rek-ti* (ст.-сл. *мошти, решти*).

По данным памятников, в древнерусский период инфинитив устойчиво сохранял формант *-ти* (как и *-чи*), который количественно преобладает и в собственно великорусских текстах (после XIV в.), включая деловые. Инфинитивные образования с этим формантом в настоящее время сохраняются в украинских и северновеликорусских говорах (наиболее последовательно — к северу и северо-востоку от Москвы). Однако в белорусских (кроме пограничных с украинскими) и южновеликорусских, а также переходных средневеликорусских говорах (включая район Москвы) *-ти* сохраняется лишь под ударением (т. е. от основ I типа не на заднепёбные): *вѣстѣи, мѣстѣи, нестѣи* (как и *вѣместѣи, вѣнестѣи*); при ударении на основе *-и* утрачен: *висѣть, писѣть, ходѣть*, как и *мочѣ, печѣ, стерѣчь*, а также *прѣсть, сѣсть, (у)насть* и т. п. Тот факт, что утрата заударного *и* в инфинитивном суффиксе (очень напоминающая аналогичное явление в формах повелительного наклонения) характеризует только акающие говоры, заставляет исследователей связывать это изменение с редукцией напряженного заударного гласного. Проследить время развития этой черты невозможно, ибо она должна была развиваться в диалектах, не представленных ранними памятниками письменности. Между тем есть основания предполагать, что преобразование инфинитивного суффикса могло происходить очень рано. Редкие примеры типа *садить* (вм. *садити*) отмечаются с XIII в., а в памятниках XV — XVI вв., в которых преимущественно продолжает употребляться *-ти*, относительно немногочисленные примеры с *-ть* не связаны с традиционными глагольными словами. Ученые обратили на это внимание, исследуя особенности языка «Домостроя»: при соотношении образований на *-ти/-ть* = 7/1 редкие примеры с *-ть* характеризуют в этом памятнике только разговорно-бытовую лексику: *бить, бранить, вывалить* (хлебы), *залить, засыпать, поддать, прополоскать*. Видимо, ко времени создания «Домостроя» инфинитивные образования на [-т'], явно противопоставлявшиеся книжным на *-ти*, в разговорной речи уже были вполне устойчивыми и обычными.

В ареале [-т'] наблюдается довольно последовательное перенесение ударения на основу в инфинитивных образованиях от основ I типа, где, следовательно, также оказывается [-т']: *вѣсть, мѣсть, несть*, как *красть, прѣсть, (у)насть*. Эти образования известны и говорам вокруг Москвы и встречаются в произведениях русских писателей конца XVIII — начала XIX в. (у Сумарокова, Державина, Дмитриева, Пушкина, Гоголя и др.). Но их ареал уже, чем ареал форм на [-т'] от основ на гласные: их нет на северо-западе (в частности, в псковских акающих говорах), а на территории Белоруссии они встречаются лишь вдоль границы с южновеликорусскими говорами.

В отношении рассматриваемых форм карты атласа белорусского языка дают очень интересную картину, представляющую как бы пространственное отражение временной последовательности процесса: узкой полосой вдоль восточной границы Белоруссии распространены формы типа *мѣсть, несть* (фонетически в разных говорах: *ме[с'ц']*, *не[с'ц']* — *ме[с']*, *не[с']*); к западу тянется глубокий

массив говоров, сохраняющих в инфинитиве *-и*, но с оттянутым на основу ударением: *мѣсти*, *нѣсти*; еще далее к западу инфинитивные образования от основ I типа сохраняют старое ударение: *месті*, *несті* (фонетически [м'ас'ц'і] — [н'ас'ц'і], [м'есты] — [н'есты]), но *кѣсти*, *сѣсти*.

В говорах северного Заволжья (в частности, владими́ро-поволжских), где *-ти* независимо от ударения сохраняется наиболее последовательно, от основ I типа на задненёбные обычны контаминированные инфинитивные образования: *пек-чи* (*пек-у* + *печи*), *помсчи* и т. п. Условием такой контаминации могло быть отмечавшееся выше совпадение основы инфинитива и основы настоящего времени у глаголов этого класса. С. П. Обнорский, видимо, был прав, считая образования на *-чи* относительно новыми. Развитие таких форм отражает реализацию общей тенденции к обобщению морфологического строения словоформ с одним и тем же грамматическим значением.

§ 220. Собственно именными глагольными образованиями не только по происхождению, но и по употреблению и формам словоизменения оставались в древнерусском языке *п р и ч а с т и я*.

В причастиях особенно ярко обнаруживается противоречивость общей глагольной семантики, которая, с одной стороны, представляет действие как процесс, а с другой стороны — как признак, носителем которого является существительное. Спрягаемые формы, характеризующиеся категорией модальности, обозначают действие как реальный, возможный, желательный и т. д. процесс. И лишь в личных предложениях синтаксическая зависимость глагольной словоформы от подлежащего напоминает о его признаковой сущности, которая морфологически остается невыраженной. Необходимость в определенных случаях специально выделить (актуализировать) признаковую сущность глагольного действия и реализуется в причастиях, которые, таким образом, являются специализированным морфологическим средством выражения *д е й с т в и я* *к а к* *п р и з н а к а* *п р е д м е т а* (а не самостоятельно развивающегося процесса; ср.: *моросит*, но *моросящий дождь*).

Специфика признака, выражаемого причастием, заключается в том, что он, в отличие от признака, выражаемого прилагательным, не теряет связи со значением процесса. Эта связь поддерживается формообразовательным единством спрягаемых и причастных форм, регулярно производимых от тех же формообразующих глагольных основ (инфинитива и настоящего времени), посредством специализированных аффиксов (собственно причастных суффиксов), что и позволяет глагольной основе сохранять как свое видовое значение, так и свои валентности, включая способность управления **В** прямого объекта; ср.: *куплю сестре книгу* — *купиши(ий) сестре книгу* *пашет землю плугом* — *пашущ(ий) землю плугом*; но *покупка книги*, *пахота* (или *впашка*) *земли*.

Сохранение процессуального значения проявляется в свойственном причастным формам грамматическом значении времени, что и позволяет им выражать признак динамичный, связанный с *д е й с т в и е м* *с у б ъ е к т а* (действительные причастия) или с *в о з*

действием на объект (страдательные причастия). Однако время причастных форм (находящееся вне категории модальности) подчинено их общему признаковому значению: оно либо характеризует признак как результат действия (прошедшее время: *студент, сдавший экзамен; криша, сорванная ветром*), либо подчеркивает его процессуальный (не статичный) характер (обычно настоящее время: *студент, сдающий экзамен; ветка, колеблемая ветром*). Собственно признаковое значение причастия на уровне плана выражения оформляется словоизменительными согласовательными аффиксами (внешними флексиями), которые и отождествляют причастия с прилагательными.

Таким образом, причастие может быть охарактеризовано как глагольное прилагательное, обозначающее динамический признак предмета, обусловленный его действием или воздействием на него.

§ 221. В древнерусском языке было пять типов причастных образований, один из которых связан с причастиями лишь по происхождению. Речь идет о неоднократно упоминавшихся образованиях от основ инфинитива с суффиксом *-л*, генетически являвшихся действительными причастиями прошедшего времени, но уже в праславянском языке закрепившихся в именной форме в предикативной функции и утративших формы косвенных падежей (ср. современные членные формы со значением прилагательных: *быва-л-ый, загорел-ый, лежа-л-ый*). Закрепившись в составе сложных глагольных форм, именные формы бывших причастий на *-л* постепенно утратили значение динамического признака, состояния (первоначальное значение форм типа *будеть пришьль* или *есть пришьль* — 'окажется пришедшим' или 'является пришедшим') и выдвинули на первое место значение развивающегося процесса, что и обусловило их превращение в собственно глагольные формы.

Остальные четыре типа образований оставались в древнерусском языке собственно причастными, обеспечивавшими потребность в указании на процессуальный признак предмета (лица).

Действительные причастия настоящего времени образовывались от основ настоящего времени посредством суффиксов *-уч-* (от основ I—III типов) и *-ач-* (от основ IV—V типов): *нес-уч(и), стон-уч-, пиш-уч-, зна[ж-у]ч-, слыш-ач(и), ви[с'-а]ч-, хо[д'-а]ч-*.

Действительные причастия прошедшего времени образовывались от основ инфинитива посредством суффиксов *-ѣш-* (от основ I и отчасти III типов) и *-вѣш-* (от основ II—V типов): *нес-ѣш(и), (при)вед-ѣш-, (ис)пек-ѣш-, (изне)мог-ѣш-, (по)гас-ѣш-; би-вѣш(и), (сѣ)двину-вѣш-, видѣ-вѣш-, ходи-вѣш-* и т. д.

Особенностью склонения действительных причастий (как настоящего, так и прошедшего времени), изменявшихся по типу именных основ на **-jъ* или **-jа* (в зависимости от рода определяемого слова), являлось отсутствие суффикса в форме II ед. ч. муж.-ср. р., кроме того, в форме II ед. ч. жен. р. и в форме II мн. ч. муж. р. действительные причастия характеризовались флексиями, не свой-

ственными соответствующим типам именного склонения (ср. склонение форм сравнительной степени прилагательных).

Число, падеж	Мужской род	Средний род	Женский род
Ед. ч. И	<i>неса, несъ</i> <i>видя, видѣвъ</i>	<i>неса, несъ</i> <i>видя, видѣвъ</i>	<i>несучи, несъши</i> <i>видячи, видѣвъши</i>
В	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>	<i>несуче, несъше</i> <i>видяче, видѣвъше</i>	<i>несучу, несъшу</i> <i>видячу, видѣвъшу</i>
Р	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>
Д	<i>несучу, несъшу</i> <i>видячу, видѣвъшу</i>	<i>несучу, несъшу</i> <i>видячу, видѣвъшу</i>	<i>несучи, несъши</i> <i>видячи, видѣвъши</i>
Т	<i>несучемь, несъшемь</i> <i>видячемь, видѣвъшемь</i>	<i>несучемь, несъшемь</i> <i>видячемь, видѣвъшемь</i>	<i>несучею, несъшею</i> <i>видячею, видѣвъшею</i>
М	<i>несучи, несъши</i> <i>видячи, видѣвъши</i>	<i>несучи, несъши</i> <i>видячи, видѣвъши</i>	<i>несучи, несъши</i> <i>видячи, видѣвъши</i>
Дв. ч. И-В	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несучи, несъши</i> <i>видячи, видѣвъши</i>	
Р-М		<i>несучу, несъшу</i> <i>видячу, видѣвъшу</i>	
Д-Т	<i>несучема, несъшема</i> <i>видячема, видѣвъшема</i>		<i>несучама, несъшамма</i> <i>видячама, видѣвъшамма</i>
Мн. ч. И	<i>несуче, несъше</i> <i>видяче, видѣвъше</i>	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>
В	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>
Р	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>
Д	<i>несучемь, несъшемь</i> <i>видячемь, видѣвъшемь</i>	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>
Т	<i>несучи, несъши</i> <i>видячи, видѣвъши</i>	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>
М	<i>несучихъ, несъшихъ</i> <i>видячихъ, видѣвъшихъ</i>	<i>несуча, несъша</i> <i>видяча, видѣвъша</i>	<i>несучь, несъшь</i> <i>видячь, видѣвъшь</i>

Примечание. Формы косвенных падежей действительных причастий в древнерусских текстах редки с флексиями именного склонения, а в двойственном и множественном числе почти не встречаются. Поэтому в таблице такие формы даны в соответствии с системой флексий именного склонения, а не как реальные факты древнерусских памятников письменности.

Как и прилагательные, действительные причастия могли употребляться и в членных формах, образованных и функционировавших в полном соответствии с членными формами прилагательных. При этом членные формы в **И** ед. и мн. ч. муж. р. и **И** ед. ч. жен. р. отличались от соответствующих форм прилагательных, так как отличались именными формами этих двух частей речи: **И** ед. ч. муж. р. *несаи, видяи; несъши, видѣвъши*, ибо *неса + и* (ср. *новыи < новъ + и*), но *несучаго, видячаго; несъшаго, видѣвъшаго* (как *новаго*); *несучуму, видячуму; несъшуму, видѣвъшуму* (как *нозуму*); **И** мн. ч. муж. р.

несучи, видячи, несъщи, видявѣши (ср. *новиши* < *носи* + *и*).
И ед. ч. жен. р. *несучия, видячия; несъщия, видявѣщия* (ср. *новая* < *нова* + *я*).

§ 222. Страдательные причастия настоящего времени характеризовались суффиксом *-м-*, который присоединялся к основам настоящего времени посредством тематических гласных *-о-* (основы I типа), *-е-* (основы III типа), *-и-* (основы IV типа): *нес-о-м(ый)*, *зна[ж]-е-м-*, *вид-и-м-*. Достоверных образований с *-м-* от основ II и V типов нет, если не считать редких церковнославянизмов типа *движим(ый)* (от *двигнути?*), а также теряющей связь с соответствующим глаголом образования *вѣдом(ый)* (от *вѣдѣти*). Впрочем, причастия с *-м-* являлись наименее употребительными и, по мнению большинства исследователей, принадлежали системе книжно-литературного языка.

Страдательные причастия прошедшего времени образовывались от основ инфинитива при помощи суффиксов *-т-* (основы II—III типов) и *-н-*, который к основам I и V типов присоединялся посредством тематического гласного *-е-*: *би-т(ый)*, *(сѣ)пль-т-*, *коло-т-*; *(про)тѣк-ну-т-*, *(сѣ)дви-ну-т-*; *(при)вед-е-н-*, *(ис)печ-е-н-*; *(ис)хож-е-н-* (от *ходи-ти* < **ходи-е-н-* с изменением **dj* > **dj* > *ж*), *купл-е-н-* (от *купи-ти*); но от основ I типа: *видѣ-н-*, *(у)слыша-н-*.

Суффиксы *-т-* и *-н-*, одинаково древние, обнаруживают разную продуктивность в индоевропейских языках. Праславянский язык унаследовал оба суффикса; продуктивность которых неодинакова в разных славянских диалектах. В частности, старославянский язык был связан с диалектами, в которых суффикс *-н-* явно стремился вытеснить суффикс *-т-*, в связи с чем его можно обнаружить в причастных образованиях от большинства основ инфинитива II и III типов. Эти образования, как старославянские по происхождению (церковнославянизмы), нередки в книжно-литературных памятниках Древней Руси: *убиенѣ, омовенѣ (вѣ)дѣхновен(ыи), (при)тѣкновѣн(ыи)* и др.

Страдательные причастия изменялись как именные основы на *-*ō* и *-*ā* (по типу *столѣ, село, жена* — в зависимости от рода определяемого существительного) и также могли употребляться в членных формах, образование которых ничем не отличалось от образования членных форм прилагательных: *ведом-ѣ — куплен-ѣ* (как *столѣ*), *ведом-а — куплен-а* (как *стола*), *ведом-у — куплен-у* (как *столу*) и т. д.; соответственно: *ведом-ыи — куплен-ыи* (как *новыи*), *ведом-аго — куплен-аго* (как *новыаго*), *ведом-ая — куплен-ая* (как *новая*) и т. д.

§ 223. В древнерусских текстах лишь членные формы причастия всегда выступают со значением собственно определений, указывающих на динамический признак предмета: *Льно ми есть обратити заблужшоую овцю; Дро(у)гы... не троужающая ся съ нимъ, но з(а)любящая его* в Усп. сб. (только членные формы употреблялись в значении существительных: *Молю же въстѣхъ почитающихъ* в Остр. ев.; *Бл(а)гословяи бл(а)гословить ся. а кльныи проклинает ся* в Усп. сб.). Что же касается именных форм, то в функции собственно определений они использовались относительно редко; для них языке древнерусских текстов типичны иные функции (единственн

возможные в деловых текстах), которые для действительных и страдательных причастий были неодинаковы.

Действительные причастия (как настоящего, так и особенно прошедшего времени) обычно использовались в функции, которую А. А. Потебня определил как «второстепенное сказуемое»: оставаясь с точки зрения синтаксических связей определениями, они указывали на сопутствующее или предшествующее действие субъекта, дополняющее его характеристику как производителя действия, названного глагольным сказуемым, и тем самым как бы уточняли обстоятельства осуществления действия, названного сказуемым. Например: *Се азъ Мьстиславъ... държа Роусьскоу землю въ свое княжение повелѣлъ есмь... о(т)дати* в Мст. гр. — причастный оборот, определяющий имя деятеля, не только характеризует его состояние, сопровождающее акт дарения (он князь Руси), но вместе с тем и указывает, что акт дарения осуществляется в период, когда Мстислав был великим князем Киевским.

Такое функционирование действительных причастий, образующих полупредикативную синтаксическую конструкцию, очень характерно для повествования: *И пришедъша. сидоста Радимъ на Съзю... А Вятъко спде съ родомъ своимъ по Оцъ* (пришедшие = после того как пришли); *И по семь собравше кости. вложяху в судину малу* (собравшие = после того как соберут); *Си же творяху обьямая кривичи... не вѣдуще закона б(о)жя* (творят не знающие = потому что не знают христианских обычаев); *И заоутра Волга съдѣящи в терель, посла по гости* (сидящая = в то время как сама сидела, ожидала в тереме; ср.: *послала, находясь в это время в тереме*) в Лавр. лет.

Именно с этой функцией действительных причастий связано их употребление в качестве предикативного центра так называемого дательного самостоятельного — полупредикативной конструкции с обстоятельственным значением, синонимичной обстоятельственным придаточным предложениям; ср.: *Идущую же ему опять. приде къ Дунаеви. — Аще кто оумряше творяху трызно надъ нимъ* в Лавр. лет.

В системе современного языка морфологическим эквивалентом действительных причастий в функции «второстепенного сказуемого» оказываются деепричастия; ср.: *Подарил, будучи Киевским князем; И, придя, поселились...; Собрав, клали в урну; Делают, не зная; Послала, сидя в тереме; Идя назад [возвращаясь], вышел к Дунаю.*

Страдательные причастия (в именной форме) прочно закрепились в предикативной функции, т. е. в качестве сказуемых пассивных (страдательных) конструкций: *Одежа же его бѣ хоуда и сплатана* в Усп. сб.; *И ту убиенъ бысть воевода ихъ* в Новг. лет.; *Всяка власть къ грѣхоу причтена есть* у К. Туровского; *И нынѣ имена ихъ хвалими суть* в Иуд. в. В именной форме страдательные причастия, как правило, выступают функциональным эквивалентом спрягаемых (невозвратных) глагольных форм в пассивных оборотах; ср.: *Убиенъ бысть воевода. — Убиша соссоду; И нынѣ имена ихъ хвалили суть. — И нынѣ имена их хвалятъ;*

И да заколенъ будетъ своимъ оружьем. — Да заколотъ...; Князь нашъ оубьенъ. — Князя нашего убили (суть) в Лавр. лет. Последний пример с прямой речью напоминает о характерном для диалога употреблении страдательных причастий прошедшего времени со значением «страдательного перфекта» — настоящего состояния, являющегося результатом действия (в данном случае воздействия), совершенного к моменту речи; см.: *Как еси дѣкѣнчалъ Марке съ мнѣю. мне выехати на Петрово дне. к тобѣ... а истина дана* в Новг. бер. гр. XIII.

ИСТОРИЯ ПРИЧАСТНЫХ ФОРМ. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЙ

§ 224. Сопоставление системы причастных форм, восстанавливаемой для древнерусского языка начального периода, с их местом в системе современного русского языка достаточно определенно обнаруживает общее направление перестройки древнерусских причастий как своеобразной лексико-грамматической категории.

В процессе развития русского языка членные формы причастий, закрепившие за собой в качестве основной функцию определения, сближаются с прилагательными не только функционально, но и семантически: обозначаемый ими признак теряет оттенок процессуальности и приобретает характер постоянного, статичного признака предмета. Именно такого происхождения русские прилагательные типа *горячий, колючий; бывалый, загорелый; варѣнный, солѣнный; колотый, треснутый*, которые генетически являются действительными или страдательными причастиями.

Проследить время и условия адъективации членных причастий по памятникам письменности очень трудно, поскольку письменный язык продолжал сохранять традиции широкого использования причастных форм, отличные от разговорной практики; а то, что адъективный характер одиночных членных причастий ощущается уже в старейших памятниках (см., например, *зablужьшую овцю* в Усп. сб.), понятно, ибо процесс адъективации, без сомнения, осуществлялся в условиях, когда причастная форма не соприсоединялась дополнительными членами, которые поддерживали бы в ней значение признака, связанного с действием или воздействием на определяемый предмет (ср. в современном литературном языке неодинаковую степень «действенности» признака в таких случаях, как *плетѣная корзина — сплетѣнная из прутьев корзина*). Членные формы в собственно причастном значении (динамичного признака) в диалоге практически отсутствуют даже в речи носителей литературных норм; фактически их нет в деловых памятниках Древней и Великой Руси, а в современной диалектной речи редкие членные формы причастий — это в основном страдательные причастия прошедшего времени, употребляющиеся, как правило, в предикативной функции (*Горох-то весь снятый; Стол не мытый; Конь зерном не кормленный*), что позволяет заметить параллелизм в употребле-

нии причастий как выразителей страдательности (предикативного центра пассивных конструкций) и прилагательных, которые в предикативной функции могут использоваться как в именной, так и в членной форме.

Современные (полные) причастия (со значением динамичного признака), характерные для системы литературного языка, по происхождению не связаны с собственно древнерусскими: это церковнославянские образования, закрепленные книжно-литературной традицией. Церковнославянское происхождение современных причастий обнаруживается не только в сфере их употребления, но и в их оформлении — суффиксах *-ущ-*, *-ащ-* (ср.: *кол-юч-ий* — *кол-ющ-ий*, *гор-яч-ий* — *гор-ящ-ий*), *-нн-* < *-ньн-* (ср.: *ран-е-н-ый* — *из-ран-е-нн-ый*); в отсутствии редукции *-ся* после гласных, которая характерна для форм, функционирующих в устной речи (ср.: *купавшаяся* — *купала-сь*, *купаю-сь*).

§ 225. Судьба именных причастных форм также связана с их функциями, т. е. для действительных и для страдательных причастий неодинакова.

Страдательные причастия прочно закрепились в функции сказуемого пассивных конструкций и сохраняют эту функцию как в системе литературного языка, так и во всех говорах. Что же касается действительных причастий, то они, продолжая употребляться в качестве «второстепенного сказуемого», определяющего действие субъекта и вместе с тем характеризующего обстоятельства действия, выражаемого глаголом, в противоположность членным формам, утрачивали адъективный характер и примыкали к глаголу-сказуемому, теряя непосредственную связь с подлежащим. Это отразилось, между прочим, в утрате действительными причастиями форм словоизменения, поскольку, примыкая к глаголу, они теряли согласование с подлежащим. Так оформилась специализированная категория глагольных распространителей, которая в современном литературном языке характеризуется как *деепричастия*, являющиеся неизменяемыми отглагольными образованиями: *видя*, *будучи*, *написав*, *искупавшись*. Единственная формальная «память» о происхождении деепричастий из причастных форм, характеризовавших сопутствующее действие подлежащего (т. е. употреблявшихся в форме подлежащего) сохраняется в том, что, примыкая к глаголу, современные деепричастия могут указывать только на действие *п о д л е ж а щ е г о*. Значение сопутствующего, «второстепенного» действия субъекта соответствует традиционному книжно-литературному употреблению именных форм действительных причастий, которое обнаруживается уже в языке старославянских памятников письменности.

Функциональная соотнесенность с деепричастиями и должна была поддерживать устойчивость книжно-литературной традиции употребления причастных форм, что не дает возможности по памятникам письменности восстановить в деталях историю причастий в живой речи. Об этой истории можно лишь догадываться по ряду косвенных свидетельств, подсказывающих, когда мог начаться и как

мог протекать процесс преобразования именных форм действительных причастий в неизменяемые отглагольные образования.

§ 226. Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что в диалектной речи бывшие действительные причастия встречаются только в неизменяемых формах (типа *установиши, наклоня, умеючи*), т. е. в таком оформлении, в каком в русском литературном языке они функционируют в качестве деепричастий.

Кроме того, непредикативное употребление таких образований (назовем его условно деепричастным) — явление в целом довольно редкое для диалектной речи; что же касается предикативного употребления таких форм, то в значительной степени оно связано с разбиравшимся ранее «новым перфектом» — образованиями на *-(в)иши* в значении сказуемого, и очень редко — с образованиями на *-(')а* или *-(у)чи* (генетически — «застывшими» формами **II** ед. ч. муж. и жен. р.).

Любопытно распределение трех типов образований с точки зрения их общего грамматического значения: формы на *-(в)иши*, одинаково возможные от основ как совершенного, так и несовершенного вида, противопоставлены двум другим оттенком состояния, определяемого действием субъекта (или воздействием на объект), что особенно заметно при их употреблении в функции сказуемого. Формы на *-(у)чи*, более заметно обнаруживающие значение активного действия, образуются от основ несовершенного вида (*жалееючи, живучи, идучи, крадучи, шибаючи, умеючи, хвораючи* и т. п.) и всегда указывают на действие, сопутствующее основному: *Устала в байне моючи; Ногу досадила гряды копаючи; Едучи из леса колесо сломалось*. Напротив, формы на *-(')а* явно тяготеют к основам совершенного вида (*зажмуря, заходя, отворя, отделя, отдохня, прислоня* и т. п.). Хотя эти образования возможны и от основ несовершенного вида (*стоя, сидя, лёжа, любя, шутя* и т. п.), противопоставляясь в этом случае образованиям на *-(в)иши* не столько временным значением, сколько функционально или территориально: они не употребляются в предикативной функции там, где эту функцию выполняют формы на *-(в)иши*, и имеют ее в говорах, не использующих в этой функции формы на *-(в)иши*.

Указанные морфологические различия образований на *-(у)чи*, *-(')а*, *-(в)иши* (но обязательно в «деепричастном» употреблении) последовательно прослеживаются в деловых и бытовых текстах XVI — XVII вв., в языковом отношении противопоставленных книжно-литературным, где в том же «деепричастном» употреблении продолжают функционировать согласуемые формы действительных причастий. См., например, в курских грамотах XVII в.: *Жил за ним бѣгаючи из-за меня; Выпустил его без сыску и бес поруки коравлючи ему; И яблони перепортили въ(ть)я обломали шибаючи палками; Дѣти боярские... к смотру не ходет и по городам ездет и по селом и по деревням не спрашиваючися*; ср. образования других типов: *И умысля воровски покрал у меня... записи и пократчи в ночи от меня з двора побежал; И тот Трафим сугоня брата моево на улице зарьзал ножем на смерть; Лохтионосы покиня свою усаду*

на чем сидели и **перешед** через усадю себра моего... поселилися на отца нашего усаде; Сыщик... **поблюдыс** ево Якушка **поймав** посадил ево в тюрьму; Наше шабры **советався** с попом Тимофьем **умысля** по недружбе... дали на нас обыскъ лиховной.

В грамотах этого периода формы на **-в(ши)** (формант **-ши** почти никогда не употребляется) очень заметно обнаруживают оттенок непосредственного временного предшествования: **И приьхов** сказал; **А татаровя стаязъ** пошли Муравскимъ шляхомъ; **Велено...** за то ево соровстео **разнастав** бить; **И тот Савостька стакався** с теме людме... били меня в курских грамотах XVII в. Юридические тексты, стремящиеся к фактологической точности, постоянно используют указанный временной оттенок, употребляя деепричастия на **-в(ши)** для повторения только что названного действия, за которым непосредственно следует другое: **Те дозоришки тому Дмитрею вымерзели...** 45 четвертеи и **сымерив** отделили тому Дмитрею землю; **Ту сестру умысля соровски...** **убил** и **убив** отвез на Снавы и **вкинул** в воду в рьчку Снабу; **Учел...** **бить** и **бив** замертва **пакинул**; **Велена мнъ...** **сыскать** и **сыскав** поставитъ перед собою; **Нас...** **перъввязали** и **пръввязавъ** отвели в город; ...**Велъл взя(ть)** а **вземъ** велъл держа(ть) в курских грамотах 20 — 30-х годов XVII в.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что «деепричастное» употребление именных причастных форм, типичное для книжно-славянского языка, соответствовало традициям живой речи, ибо только примыкая к глаголу и характеризуя действие подлежащего, они могли утратить в восточнославянских говорах формы изменения и «застыть» в форме бывшего **И**. Вместе с тем редкая употребительность рассматриваемых образований в собственно «деепричастном» значении, отмечаемая для всех русских говоров, говорит о том, что идущее от древних причастий значение признака как связанного с действием состояния обуславливало возможность использования этих образований в предикативной функции — при указании на наличное (в настоящем или прошлом) состояние, откуда берет начало «новый перфект» с формами на **-(в)ши** (или иными; например, в вологодских и некоторых южновеликорусских говорах: **Я у их живучи**; **Хата растваря**; **Пришол яво брат старшай, а йон уже был аддяля**), или, при более тесной связи с глаголом, превращения этих образований в наречия со значением действия как обстоятельства осуществления «основного» действия субъекта: **Сидит зажмуря**; **Сгибя косили**; **Лёжа парюсь**; **Собравшись баяли басни**. Поскольку и в том и в другом случае бывшие причастия функционируют только в неизменяемой форме, то можно утверждать, что в плане относительной хронологии собственно деепричастное употребление нечленных причастий предшествовало их использованию в качестве сказуемых; или иначе: «новый перфект» сложился тогда, когда формы типа **уставиши** (**живучи**, **наклоня** и т. д.) уже были неизменяемыми [в противном случае эти формы сохранили бы изменение по родам и числам, как сохранили их закрепившиеся в предикативной функции причастия на **-л** и страдательные причастия:

писал-(ѣ) — писал-а — писал-о — писал-и, (на)писан(ѣ) — писан-а — писан-о — писан-ы].

Поскольку, по данным лингвистической географии, «новый перфект» мог оформиться не позднее XII в., то следует предполагать, что утрата форм рода и числа нечленными причастиями осуществилась до этого времени. Она могла, например, произойти в период, синхронный времени сложения старославянского языка, — как естественный результат тех функций причастных форм, которые вполне оформились к концу праславянского периода и явились базой тех норм употребления нечленных действительных причастий, которые отражены собственно старославянскими переводами греческих текстов, с одной стороны, и привели к образованию восточнославянских деепричастий (и аналогичных форм других славянских языков) — с другой. Более того, только такое предположение позволяет естественно объяснить функциональную соотносительность собственно причастных форм старославянского языка и восточнославянских (в частности, русских) деепричастий. Вместе с тем это предположение позволяет удовлетворительно объяснить разрозненные, но хорошо известные факты из древнерусских памятников письменности, в целом стремившихся следовать старославянским традициям употребления нечленных действительных причастий, обозначающих «второстепенное» действие субъекта и последовательно согласованных с подлежащим.

§ 227. Если процесс преобразования нечленных действительных причастий в неизменяемые глагольные формы деепричастного типа в живой речи отнести к достаточно раннему времени, то оказываются понятными редкие случаи «нарушения согласования» такими причастиями, отмечаемые с XI — XII вв. в текстах книжного характера, явно стремившихся следовать старославянским нормам (например, в «Минее» 1096 г., в «Ефремовской кормчей» и др.)¹. Присматриваясь к этим случаям, нельзя не отметить в оригинальных древнерусских текстах (прежде всего в летописных списках XIII — XIV вв.) фактов преимущественно одиночного употребления с явно обстоятельственным значением (т. е. совершенно «деепричастным») генетически причастных форм с хорошо знакомым по диалектологическим записям суффиксом *-уци/-уче* (во втором случае формально можно было бы видеть форму согласованную; но это вряд ли так) — на фоне последовательных и многочисленных согласованных причастных форм с *-уц-*, типичных для языка соответствующих текстов. В Новгородской летописи в таких случаях встречается обычно *-уче* (для удобства синтаксического членения фраз расставим современные знаки препинания): *Ини же татари поидоша по роу(с)скихъ кнзихъ, быуче, до Днѣпря; А иныхъ кнзь, до Днѣпръ гоняче, оубиша.* В Лаврентьевской летописи чаще находим *-уци*, т. е. по происхождению форму **И** ед. ч. жен. р., в действительности никогда не определяющую имя женского рода, что следует воспринимать не

¹ См.: Борковский В. И. Синтаксис древнерусских грамот. (Простое предположение), с. 212.

как «нарушение согласования», а как отражение реальной деепричастной формы с обстоятельственным оттенком, именно поэтому появляющейся среди обычных для текста согласованных причастий в соотносительном «деепричастном» употреблении. См., например: *Чтите гость...: ти бо, мимоходячи, прославятъ челоуька по всь(м) земля(м)* у В. Мономаха; *Поидоша противу Володимеру, кличючи, яко пожрети хотяше; Они же, не пустячи в вежь, срьтоша ихъ* в Сузд. лет.; *И поидоша, бьючися; И о(т)тудь слюче* [‘посылая друг к другу послов’], *межю собою створиша миръ* в Ип. лет.

В тех же текстах образования на *-учи/-уче* встречаются и в необычном предикативном употреблении, совершенно аналогичном известным диалектологическим фактам: *А копы не снимали, а дружины ожидаючи, а к водь не дадуче имъ ити* в Сузд. лет.; известную сентенцию В. Мономаха *Его же оумльючи, того на забываете, а его же не оумльючи, а тому ся оучите* нельзя не сопоставить, например, с записями, осуществленными в наши дни в Кировской области: *Я ведь старуха-то умеючи, только ребенка не носила — это (я) не умеючи; Сегодня я хвораючи.*

Признание соотносительности книжно-славянских нечленных причастных форм с рано оформившимися в живой речи неизменяемыми формами причастного происхождения, возможными не только в собственно «деепричастном», но и в предикативном употреблении, позволяет объяснить очень распространенное в восточнославянских текстах соединение склоняемых действительных причастий в функции «второстепенного сказуемого» и спрягаемых глагольных форм посредством союзов, т. е. как однородных (или, во всяком случае, равноправных) членов предложения. Причем встречается эта особенность не только в текстах бытового назначения и деловых, язык которых лишен церковнославянизмов (*Се Жядъке пославъ. ябетника дова и пограбила мя* в Новг. бер. гр. XII; *Аще оутнетъ мечемъ а не вынемъ его* в Р. пр.), но и в текстах книжно-литературных, с большей или меньшей последовательностью следующих церковнославянским языковым традициям: *И вьсь уставъ испьсавъ и посъла; И се увьднвъ Стоплъкъ посълавъ два варяга и прободоста и мечемъ* в Усп. сб.; *И одариша князь роуьскихъ а рекоуче тако...; И тьхъ прия. а въ Новъгородъ приславъ Ивора* в Новг. лет.; *И бишася дружина моя с нимъ... и негдадуче имъ в острогъ* у В. Мономаха; *А копы не снимали. а дружины ожидаючи* в Сузд. лет.; *Игорь же возръвъ на нбо и видь слнце; И тако оугадавшие. и гьхаша черес ночь* в Ип. лет. Явление это, для собственно старославянских текстов не характерное, обычно объясняется близостью «второстепенного сказуемого» основному, глагольному, а также утратой древнерусскими книжниками «чутья» к церковнославянским причастным формам, смешивавшимся в период перестройки старой системы прошедших времен с уже «неживыми» формами имперфекта и аориста. Предположения о более ранней перестройке системы спрягаемых форм и раннем использовании неизменяемых отглагольных образований в предикативной функции объясняют отмеченные факты тем, что книжно-славянское согласо-

важное «второстепенное сказуемое», усвоенное древнерусскими книжниками из канонических (старославянских по происхождению) текстов, в их языковом сознании соотносилось с собственно предикативной функцией тех же причастных по происхождению форм, которые синтаксически действительно были однородны глагольному предикату, когда, как и в современных говорах северо-запада, уже могли сказать: *Он написавши и послал; Копья не снимали и дружины ожидаючи.*

§ 228. История причастий очень ярко отражает основное направление морфологической истории русского языка, которое заключается в последовательной грамматической дифференциации частей речи. Оно проявляется в собственно морфологическом разграничении существительных и прилагательных, закрепляющем различие их синтаксических функций и семантики их грамматических категорий; в выделении числовых названий в особую лексико-грамматическую категорию; в последовательном разрушении причастий как переходных глагольно-именных образований, если иметь в виду историю причастий в живой речи, а не в системе литературного языка, который в новое время компенсировал утрату этой переходной категории за счет кодификации церковнославянских причастных образований.

С точки зрения исторической морфологии причастия предстают как вполне автономная часть речи — со своим комплексом грамматических категорий и форм, со своей специфической функцией и со своей «собственной» историей, различной в разных сферах функционирования языка и особенно ярко подчеркивающей соотносительность, но не тождественность истории живой русской речи (во всех сферах ее функционирования) и истории книжно-литературного языка.

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов	3
Введение	7
Предмет и задачи исторической грамматики русского языка.	7
Источники исторической грамматики русского языка.	12
Методы исторического изучения языка	21
Периодизация истории русского языка	24
Краткие сведения из истории науки	30
Фонетика	37
Предмет и проблематика исторической фонетики	37
Звуковой строй восточнославянских диалектов древнейшей (дописьменной) эпохи	43
Праславянское наследие	44
Общевосточнославянские фонетические изменения	51
Проблема вторичного смягчения согласных	53
Фонетическая система древнерусского языка	57
Звуковые особенности раннего периода	57
Основные диалектные различия	61
Развитие звуковой системы древнерусского языка	65
История фонологической системы русского (великорусского) языка (XIV—XVII вв.)	74
Изменения в системе консонантизма	74
Изменения в системе вокализма	81
История аканья	97
Структура диалектных различий великорусского языка к XVII в.	111
Условия формирования орфоэпической системы национального русского языка	118
Фонетическая система московского просторечия XVII—XVIII вв.	118
Основные тенденции развития звуковой системы национального русского литературного языка	119
Морфология	124
Предмет и проблематика исторической морфологии	124
Имя существительное	135
Категории и формы существительных в древнерусском языке	135
Типы склонения существительных в древнерусском языке	144
Утрата категории двойственного числа	157
Перегруппировка типов склонения в единственном числе	163
Унификация типов склонения во множественном числе	193
Развитие категории одушевленности	215
Имя прилагательное	219
Прилагательное как часть речи в древнерусском языке	219
История именных форм прилагательных	226
История местоименных форм прилагательных	232
История форм сравнительной степени	241
Местоимение	245
Местоимения как лексико-грамматические разряды слов в древнерусском языке	245
История форм личных местоимений	251
История форм неличных местоимений	256
История образования местоимения 3-го лица	262

Формирование числительных как части речи	266
Состав счетных слов в древнерусском языке	266
История категориального обособления счетных слов	271
Глагол (спрягаемые формы)	278
Категории и формы глагола в древнерусском языке	278
Типы формобразующих глагольных основ	283
Система спрягаемых форм в древнерусском языке	286
Формы настоящего времени	286
Формы будущих времен	293
Формы прошедших времен	299
Повелительное наклонение	313
Сослагательное наклонение	315
Формирование современной системы спрягаемых форм	317
История настоящего и будущего времени	317
История форм прошедшего времени	325
История форм ирреальных наклонений	341
Причастие	344
Именные формы глагола в древнерусском языке	344
История причастных форм. Формирование деепричастий	351

**Клавдия Васильевна Горшкова,
Георгий Александрович Хабургаев**

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА**

Редактор Н. А. Страхова
Художник Э. А. Марков
Художественный редактор Л. К. Громова
Технический редактор Е. И. Герасимова
Корректор Е. К. Штурм

ИБ № 2290

Изд. № РЛ—60. Сдано в набор 23.06.80. Подп. в печать 10.02.81. Формат 69×90¹/₈.
Бум. тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Объем 22,5 усл. печ. л.
22,5 усл. кр. отг. 25,77 уч. изд. л. Тираж 60 000 экз. Зак. № 1404. Цена 1 р. 20 к.
Издательство «Высшая школа». Москва, К-51, Пеглингия ул., д. 29/14
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское
производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства,
полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский просп., 15.